



Annotation

В пятый том Собрания сочинений Н.Г. Гарина-Михайловского вошли очерки, рассказы и сказки, созданные во время путешествия по Корее, Маньчжурии и Ляодунскому острову, пьесы, воспоминания, статьи.

- [Николай Георгиевич Гарин-Михайловский](#)
 - [По Корее, Маньчжурии и Ляодунскому полуострову](#) *
 - [Вокруг света](#) *
 - [I](#)
 - [II](#)
 - [III](#)
 - [IV](#)
 - [V](#)
 - [VI](#)
 - [VII](#)
 - [VIII](#)
 - [IX](#)
 - [Корейские сказки, записанные осенью 1898 года](#) *
 - [Предисловие](#)
 - [Заяц](#)
 - [Три брата](#)
 - [Восьми-несчастный](#)
 - [Кучи Кантхегана](#)
 - [Художник](#)
 - [Пак](#)
 - [Добродетельная жена](#)
 - [Отгадчик](#)
 - [Нен-Мои](#)
 - [Чаиоги](#)
 - [Знаем!](#)
 - [Два патриота](#)
 - [Небесная подруга](#)
 - [Благородный муж](#)

- [Охотники на тигров](#)
- [Законные и незаконные дети](#)
- [Еще добродетельная женщина](#)
- [Женское любопытство](#)
- [Наказание](#)
- [Ловкий стрелок](#)
- [Конфуций](#)
- [Династия Ли](#)
- [Вторая легенда о царствующей в Боре династии](#)
- [Легенда о бобре](#)
- [Ловкий человек](#)
- [Выгодный оборот](#)
- [Желтая собака](#)
- [Тринадцатилетний муж](#)
- [Как появились мыши и с каких пор перестали убивать стариков](#)
- [Уан-Чине](#)
- [Еще тысяченожка](#)
- [Дядя](#)
- [Нян и Тори-си](#)
- [Еошеи](#)
- [Воловий труд](#)
- [Волмай](#)
- [Счастливая могила](#)
- [Тутонтайна](#)
- [Ни-Муей](#)
- [Ким](#)
- [Курей](#)
- [Сыновья любовь](#)
- [Права отца](#)
- [Перевозчик](#)
- [Водка из камня](#)
- [Птичий язык](#)
- [Недостойный друг](#)
- [Сироты](#)
- [Судья](#)
- [Богатырь](#)

- [Любовь](#)
- [Два камня](#)
- [Сын тысяченожки](#)
- [Сим-Чен](#)
- [Честный человек](#)
- [Ню-сан](#)
- [Родовая месть](#)
- [Похороны](#)
- [С каких пор в Корее появилось тонкое полотно](#)
- [Змеи](#)
- [Жена раба](#)
- [С каких пор женщины Кореи стали вести замкнутую жизнь](#)
- [Ко и Кили-си](#)
- [Клятва](#)
- [Сказки для детей *](#)
 - [Книжка счастья *](#)
 - [Курочка Куд *](#)
 - [Попугай *](#)
- [Пьесы](#)
 - [Орхидея *](#)
 - [Действие первое](#)
 - [Действие второе](#)
 - [Действие третье](#)
 - [Действие четвертое](#)
 - [Картина I](#)
 - [Картина II](#)
 - [Подростки *](#)
- [Воспоминания, статьи](#)
 - [Памяти Чехова *](#)
 - [На выставке *](#)
 - [К современным событиям *](#)
- [Комментарии](#)
- [Выходные данные](#)
- [notes](#)
 - [1](#)

- [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)
 - [13](#)
 - [14](#)
 - [15](#)
 - [16](#)
 - [17](#)
 - [18](#)
 - [19](#)
 - [20](#)
 - [21](#)
 - [22](#)
 - [23](#)
 - [24](#)
 - [25](#)
 - [26](#)
-

**Николай Георгиевич Гарин-
Михайловский**
Собрание сочинений в пяти томах
**Том 5. Воспоминания, сказки, пьесы,
статьи**

По Корею, Маньчжурии и Ляодунскому полуострову * —

Карандашом с натуры

9 июля 1898 г.

С петербургским курьерским поездом сегодня утром мы прибыли в Москву.

Сегодня же, с прямым сибирским поездом, мы выехали из Москвы.

Наш путь далекий: чрез всю Сибирь, чрез Корею и Маньчжурию до Порт-Артура. Оттуда чрез Шанхай, Японию, Сандвичевы острова, Сан-Франциско, Нью-Йорк, чрез Европу, обратно в Петербург.

Перед самым отъездом явилось предложение — ознакомиться с производительностью мест между Владивостоком и Порт-Артуром. Я с величайшим удовольствием вместе с своими товарищами принял это попутное для меня предложение посетить Корею и Маньчжурию и посмотреть.

11 июля

Сегодня Самара.

Опять неурожай, и мне сообщают печальные подробности. В общем ожидается такой же, как и 91 год.

Память о нем читаешь на испуганных лицах встречающихся крестьян.

Итоги урожая налицо: мелкорослые, чахоточные, занесенные пылью хлеба мелькают в окнах. Уже кое-где приступили к их уборке. Скоро кончится жатва, и потянется длинная пустая осень среди черных полей. Кончится осень, и белым саваном покроется земля. Там, за сугробами снега, исчезнут все эти испуганные крестьянские лица, будут сидеть там, в своих задымленных логовищах, в смраде и голоде, до тех дней, когда снова растворятся ворота мастерской, когда

снова они, оголодалые, истощенные и изнуренные, с такой же скотиной, примутся опять, за свое пустое дело.

«Пустое дело» — слова теперешнего моего соседа, одного местного деятеля.

Он говорит, как заученный и в то же время намозоливший ему самому язык урок:

— Мировые конкуренты сбили цены, — в урожайный год хлеб не оправдывает больше расходов примитивного производства, а в голодный, в силу тех же примитивных условий, втридорога обходится доставляемый хлеб... Все так ясно, и кто этого не знает? Мы теперь ведь всё знаем...

С размаху останавливается поезд у станции, мой сосед озабоченно вскакивает, и, стоя у окна своего вагона, я уже вижу его сгорбленную фигуру на станционном дворе, у плетушки.

Дальше мчится поезд, и опять поля, — изможденные, чахлые, как больной в последнем градусе чахотки.

13 июля

В окне вагона Уфимская губерния, с ее грандиозными работами Уфа-Златоустовской железной дороги, с ее башкирами, лесами и железными заводами.

Как змея извивается поезд, и с высоты обрывов открывается беспредельная даль долин Белой, Уфы, Сима, Юрезани с панорамой синеватой мглой покрытых, лесистых, вечнозеленых гор Урала.

В этой мглистой синеве щемящий и захватывающий простор, покой и тишина.

В этих таинственных лесных дебрях, в сумрачной тьме их, прячется фанатик отшельник, бродяжка, прятался прежде делатель фальшивых денег.

И здесь и в Сибири эти запятанные в дебрях делатели фальшивых денег положили основание многим крупным состояниям, получая сами в награду всегда смерть, — от ножа ли, от удара ли топором сзади, или во сне, а то дверь одинокой кельи, — мастерская несчастного мастера, — подопрут снаружи, обложат келью соломой и зажгут солому.

— О, какой перекося! О, как страшно! А смотрите, смотрите, совсем нависла та гора: вот-вот полетят оттуда камни... Ничего хуже

этой дороги я не знаю... А вот на ровном месте зачем понадобились все эти извороты... мошенничество очевидное, чтоб больше верст вышло... Ведь они, все эти инженеры, как-то от версты у них: чем больше верст... понимаете? Ужасно, ужасно...

— Но, помилуйте, это образцовая дорога. Поразительная техника, смелость приемов.

— Вы, вероятно, тоже инженер?

— Д-да.

Веселый смех.

Поезд гулко мчится, и притихли навек загадочными сфинксами залегшие здесь насыпи-гиганты, темные, как колодцы, выемки, мосты и отводы рек... Смирялись камнем и цементом окованные реки, — не рвутся больше и только тихо плачут там, внизу, о былой свободе.

А в окнах все те же башкирские леса — в долинах ободранные от коры береза и липа, на горах — сосна и лиственница; те же вымирающие башкиры.

Станция Мурсалимкино.

Русские крестьяне о чем-то спорят с башкирами.

Башкиры смущенно говорят:

— Наши леса...

— Ваши, так почему же, — раздраженно возражают им крестьяне, — казенные полесовщики?

— Чтоб никто не воровал, — отвечают не совсем уверенно башкиры.

— Да ведь воры-то кто здесь, как не вы? Первые воры и жулики... Палец об палец не ударят: «я дворянин», а свести лошадь да в котле сварить — первое его дворянское дело, сколько ты их ни корми и ни пои.

Смущенные, худые башкиры спешат уйти от нас, а Василий продолжает с той же энергией:

— Землю на пять лет сдает, а уже зимой опять идет: дай чаю, дай хлеба, дай денег... «Да ведь ты все деньги взял уже?» — Ну, снимай еще на пять лет вперед... Чего же станешь делать с ним? И снимаешь...

— Дорого?

— Да ведь как придется... Уж, конечно, за пять лет вперед больше двугривенного на десятину не приходится платить.

Я смотрю в веселые глаза говорящего со мной.

— Худого ведь нет, — говорю я ему.

Усмехается довольнo:

— Да ведь не было б, коли б другой народ был...

— Вас-то, русских, много теперь?

— Пятьсот в нашей деревне. Вот только эти хозяева донимают...

— Выморите ведь их скоро, — утешаю я.

— Дай бог скорее, — смеется крестьянин, смеются другие, окружившие нас крестьяне.

— А я вот слышал, — говорю я, — что у башкир землю отберут и из вас и башкир одну общину сделают.

Лица крестьян мгновенно вытягиваются и перестают сиять.

— Бог с ней и с землей тогда: уйдем... От своих ушли, а уж на башкир еще не заставят работать... Уйдем, свет за очи уйдем...

— Но ведь башкиры тоже люди...

— Ах, господин хороший, а мы кто? Довольно ведь мы и на барина и на нашу бедноту поработали, — пора и честь знать. В этакой работе и путный обеспутится, а беспутный и вовсе из кабака не выйдет.

— Хоть путный, хоть беспутный, — деловито перебивает другой, — а уж где нужно, к примеру сказать, тройку запретить, а он с одной клячей — толков не будет... Хуже да хуже только и будет... Книзу пойдет. Он те одной пашней загадит землю так, что без голоду голод выйдет... земля как жена — по рукам пошла, дрянью стала. Из-за чего же ушли? Чего пустое говорить: отбилась земля, народ отбился. Люди башкиры, кто говорит... Все люди, да не всякий к земле годится. У другого топор сам ходит, а я вот, золотом меня засыпь — не столяр, хоть ты что.

— Это можно понять, — уткнувшись в землю, поясняет третий.

— Вы вот здесь так говорите, — отвечаю я, — а в России скажи крестьянам, что общину уничтожат, разрешат продавать участки, — я думаю, они запечалились бы.

Светлый блондин неопределенных лет, нос кверху, Василий, задорно потрянул кудрями:

— Так ведь с чего же печалиться? Нужда придет, погонит — также уйдешь... Нас погнало... Тридцать лет за землю платили, —

кому досталось? На обзаведенье пригодились бы теперь денежки наши... кровные денежки от детей отнимали, а чужим осталось.

Последний звонок, и я спешу в вагон.

Там, в России, я не слыхал еще таких речей, там пока только меткие характеристики: «пустое дело», «бескорыстная суета».

15 июля

Все дальше и дальше. Вот и Сибирь... Челябинск...

Помню эти места, где проходит теперь железная дорога, в 91 году, когда только производились изыскания.

Здесь, в этой ровной, как ладонь, местности, царила тогда николаевская глушь, — полосатые шлагбаумы, желтые казенные дома, кувшинные, таинственные чиновничьи лица, старинный суд и весь распорядок николаевских времен.

Тогда еще, как последняя новость, сообщался рассказ об исправнике, который, скупив у киргиз ветер, продавал киргизам же его за большие деньги (не позволяя везть хлеб, молоть его на ветрянках и проч. и проч.).

Я помню наше обратное возвращение тогда.

Была уже глубокая осень. Мы ехали по самому последнему колесному пути. По двенадцати лошадей впрягали в наш экипаж, и шаг за шагом они месили липкую грязь: уехать тридцать верст в сутки было идеалом.

Надвигалась голодная зима 91 года, и деревня за деревней, которые мы проезжали, стояли наполовину с заколоченными избами; это избы разбежавшихся во все концы света от голодной смерти людей.

Редкий крестьянин, торчащий тогда у своих ворот, имел жалкий, растерянный вид, провожая пустыми глазами нас, последних путников.

Один растерянно подошел к нашему экипажу, когда мы выезжали из грязной околицы его деревушки.

— А вы постойте-ка... — Мы остановились. — Вы чиновники? Это что ж такое?

Так и замер этот крик, вопль, стон в невылазных лужах далекой Сибири.

Им не привозили хлеба — это факт. Нечем было везти за сотни и тысячи верст. Подохла скотина от бескормицы, и на оставшихся в живых, никуда не отшатившихся мужиках и бабах пахали они весной свою землю.

А теперь уже прошла здесь железная дорога, и мы мчимся в вагонах. И в каких вагонах: вагон-столовая, вагон-библиотека, ванная, гимнастика, рояль. Почти исчезает впечатление утомительного при других условиях железнодорожного пути. Тогда, при проектировке только дороги, едва-едва натягивали одиннадцать миллионов пудов возможного груза. Так и строили, в уверенности, что не скоро еще дойдет дело до этих одиннадцати миллионов пудов.

И в первый же год тридцать миллионов пудов.

Факт, с одной стороны, очень приятный, но с другой — несомненно, что дорога, в теперешнем своем виде, совершенно несостоятельна.

И сколько, сколько еще не перевезенного груза в одном Челябинске.

16 июля

Все та же ровная, как ладонь, степь, прямая по сто пятьдесят верст, вода отвратительная до самой Оби. До Омска солено-горькая, в Барабинской степи — родина сибирской язвы — отвратительная на вкус и запах.

Там и сям, около станций, уже видны поселки переселенцев. Конечно, пройди дорога южнее верст на двести, она захватила бы более производительный район, и в эти два-три года там эти поселки успели бы уже разрастись в большие села.

Здесь же только сравнительно узкая полоса кое-где годна под посевы, все остальное, налево к северу — тайга и тундры, направо верст на сто — солончак и соляные озера.

Вот и Омск с мутным Иртышом.

Я сижу у окна и вспоминаю прежние свои поездки по этим местам.

Помню этот бесконечный переезд к северу, вниз по течению Иртыша.

Иртыш серый, холодный, весь в мелях. Ночи осенние, темные. Пароход грязный, маленький.

На его носу однообразно выкрикивает матрос, измеряющий глубину:

— Четыре! Три с половиной! Три!.. И команда в рупор:

— Тихий ход.

— Два с половиной!

— Самый тихий ход.

— Два с половиной... Три... Пять!.. Не маячит!.. Не маячит!..

— Полный ход.

— Два?!

— Самый тихий ход.

Поздно: пароход уже врезался с размаху в неожиданную мель, мы уже стукнулись все лбами и будем опять сидеть несколько часов, пока снимемся.

Мрачный контролер, наш тогдашний спутник, когда и водка вышла, упал совершенно духом и не хотел выходить из своей каюты.

— Сибирь ведь это, — звали его на палубу, — сейчас будем проезжать место, где утонул Ермак.

— Какая Сибирь, — мрачно твердил контролер, — и кого покорял здесь Ермак, когда и теперь здесь ни одной живой души нет.

И чем дальше, тем пустычнее и печальнее этот Иртыш, а там, при слиянии его с Обью, это уже целое море мутной воды, в топких тундрах того, что будет землей только в последующий геологический период.

Там и в июне еще голы деревья, там вечное дыхание Ледовитого океана.

Иные картины встают в голове, когда вспоминается Иртыш к югу от Омска.

Частые, богатые станицы зажиточных иртышских казаков. Беленькие домики, чистенькие, как зеркало, комнатки, устланные половиками, с расписанными печами и дверями. Рослый красивый народ, крепкий патриархальный быт. Чувствуется сила, мощь, веет патриархальной стариной, своеобразной свободой и равенством среди казаков.

Здесь юг, и яркие краски юга чувствуются даже зимой, когда земля покрыта снегом.

Что это за яркий снег и какими переливами играет он, когда солнце начинает спускаться с безбрежно голубого неба к своему

закату.

Тогда снежная даль отливает всеми цветами радуги: там она нежно-лиловая, здесь зеленоватая, где выступает жнива — окраска золота. К северу потянулись холодные голубоватые тона и стальными переливами на горизонте напоминают уже безбрежную поверхность какого-то оледеневшего моря. К западу еще богаче краски, еще ярче подчеркивают красоту неба и земли. Небо кажется выше, и весь купол его, вылитый из лазури, наполнен искорками яркого света — золотистыми, бирюзовыми, нежно-прозрачными.

Со скоростью двадцати четырех верст в час, по ровной, как скатерть, дороге мчит вас тройка, хотя и мелкорослых, но поразительно выносливых лошадей. Звон колокольчика сливается в какой-то сплошной гул. Этот гул разливается в морозном свежем воздухе и уже несется откуда-то издалека назад, напевая какие-то нежные, забытые песни, нагоняя сладкую дрему. Иногда разбудит вдруг обычный дикий вопль киргиза-ямщика, с головой, одетой в характерную цветную меховую шапку, с широким хвостом сзади, — откроешь глаза и не сразу сообразишь и вспомнишь, что это иртышских казаков сторона, что старается на облучке работник казака — киргиз.

Туда, к Каркалинску, там сам киргиз хозяин.

Там вгоняют в хомуты (надо ездить с своими хомутами, у киргизов их нет) совершенно необъезженных лошадей, вгоняют толпой, с диким рычаньем, наводящим звериный страх на лошадей, и, когда дрожащие, с прижатыми ушами, лошади готовы, вся толпа издает сразу резкий, пронзительный вопль. Ошеломленные кони мнутя на месте, взвиваются на дыбы, рвутся сперва в стороны и, наконец, всё оглушаемые воплями, стрелой вылетают в единственный, оставляемый им среди толпы проход по прямому направлению к следующему кочевью.

Так и мчатся они по прямой линии, ни на мгновение не замедляя ход, а тем более не останавливаясь.

Раз стали, — конец, надо новых лошадей.

Будь овраги, горы, и гибель с такими лошадьми неизбежна, но худосочная, солончаковатая степь ровна, как стол, и нет опасности опрокинуться.

Хлебородна только полоса верст в пятнадцать у Иртыша, вся принадлежащая казакам.

Эта земля да киргизы — все основание экономического благосостояния казака. Земля хорошо родит, киргиз за бесценок обрабатывает ее.

Зависимость киргиза от казака полная.

И казак, не хуже англичанина, умеет соки выжимать из инородца. Но казак ленивее англичанина, он сибарит, не желает новшеств.

Казак здесь тот же помещик, а киргиз его крепостной, получающий от своего барина хлеб и работу.

Киргиз при казаке забит, робок и больше похож на домашнее животное.

Очень полезное животное при этом, и не для одного только казака, так как без киргиза эти солончаковатые, никуда не годные степи пропали бы для человечества, тогда как киргиз разводит там миллионы окота и не только всю жизнь свою там проводит, но и любит всей душой свою дикую голодную родину.

Один киргиз, ездивший на коронацию, говорил мне:

— Много видал я городов, и земли, и людей, а лучше наших мест что-то нигде не нашел.

Зимой киргизы перекочевывают ближе к населенной казаками полосе и строят там свои временные, из земляного кирпича, юрты-зимовки.

Скот же пасется на подножном корму, отрывая его ногами из-под снега.

В юртах темно, сыро, дымно и холодно. Есть, впрочем, и богатые юрты, сделанные срубам без крыш, устланные внутри коврами, увешанные одеждами и звериными шкурами.

Иногда ряд юрт-зимовок составляет целое село-зимовье.

С первыми лучами весеннего солнца киргиз со своим скотом и запасами хлеба откочевывает в степь, вплоть до китайской и даже за китайскую границу.

Часть же мужского населения отправляется на все лето на звериную охоту, в горы.

Отправляются без всякой провизии, с своими ножами, ружьями и стрелами.

Там они едят зверей, неделями обходятся без воды, а к зиме уцелевшие возвращаются домой, со шкурами оленей, медведей, коз, изюбров, а иногда и тигров.

Киргизы большие мастера по части насечки из серебра, и учителя их — сарты, от которых и заимствована вся киргизская культура.

Киргиз высок, строен, добродушен и красив.

Темное лицо и жгучие глаза производят сначала обманчивое впечатление людей, легко воспламеняющихся.

Но загораются они легко только в пьяном состоянии, и пьянство, к сожалению, становится довольно распространенным между ними пороком.

Прошлая зима 1897–1898 года для киргиза была особенно тяжелой: выпало много снега, и скот не мог доставать себе корма.

— У кого было четыреста голов, осталось сорок.

Совершенно опять новую картину представляет местность от Семипалатинска к Томску.

Это — кабинетские земли, до 40 миллионов десятин.

Земля здесь сказочно плодородна. Урожай в 250 пудов с десятины (2400 кв. саж.) — только хороший.

Качество пшеницы выше самых высоких сортов самарской.

Там, южнее, еще выше сорта могут произрастать, но, за отсутствием железной дороги, продажная цена такой пшеницы — 8 копеек за пуд, что даже при урожае в 300 пудов не оправдывает расходов производства.

Не только пшеница, лен, подсолнух, здесь произрастает рис, и цена его здесь 45 копеек за пуд, в то время как у нас он 3, 4, 6 рублей пуд.

Несомненно, что с проведением здесь железной дороги все эти миллионы десятин, теперь празднично лежащих, наводнили бы и рисом, и масличными продуктами, и хлопком мировой рынок, и из Туркестанского края и этого создалась бы одна из самых цветущих колоний мира.

На кабинетских землях живут кабинетские крестьяне.

Они имеют 15 десятин на душу; могут еще арендовать до 50 десятин, по 20–30 копеек за десятину.

Живут очень зажиточно, но тип крестьян иной, чем соседи их, иртышские казаки. Казак не торопится гнуть свою спину, в то время

как здешний крестьянин и не ленится кланяться, и не скупится величать проезжающих «ваше превосходительство».

Как киргиз у иртышских казаков, так здесь беглые каторжники являются главным подспорьем их зажиточности.

Каторжник по преимуществу бежит сюда и живет здесь, по местному выражению, как в саду.

Житье, впрочем, мало завидное: зимой на задах где-нибудь, в банях. Летом на свежем воздухе, в тяжелой, очень плохо оплачиваемой работе.

Отношение к этим беглым, как к полулюдям: с одной стороны, конечно, люди — «несчастные», но с другой — живи себе там в лесу или бане, но в избу не смей порога переступить, не смей с бабой слова сказать и т. д.

Достаточно посмотреть на белье этих несчастных; оно всегда черно, как земля, и с отвратительным запахом.

Где-то, между Барнаулом и Томском, живет в глуши какой-то крестьянин.

Ежегодно в день благовещенья, 25 марта, он раздает этим беглым хлеб и разные вещи.

Говорят, в этот день приходят к нему, этому крестьянину, за сотни верст несколько тысяч бродяг.

Они получают кто рубаху, кто шарф, кто сапоги, кто пуд-два хлеба.

Очевидно, из-за этого одного, за сотни верст, рискуя замерзнуть или попасться в руки правосудия, не пошли бы эти холодные, голодные, передвигающиеся только ночью, а дни проводящие где-нибудь на задах или в банях, если пустят.

Тянет этот обездоленный люд ласка этого жертвователя, видящего в них таких же, как и он, людей, тянет свидеться друг с другом и узнать все новости таежной жизни.

Как-то раз я проезжал здесь перед благовещением, и ямщики наотрез отказались везти меня ночью:

— Никак нельзя: ни узды, ни креста нет на нем, — как-никак, бродяжка, бродяжка и есть.

Я знаком с этими темными фигурами бывшего большого сибирского тракта.

По два, по три бредут они, сторбленные, с котомкой за плечами, с чайником, с громадной сучковатой палкой.

То стоит и смотрит на вас, а то вдруг неожиданно покажется из лесной чащи.

В блеске солнца и веселого дня он вызывает сожаление, и ямщик, вздыхая, говорит:

— Несчастливая душа.

Но ночью страшна его темная фигура, и рассказы ямщика об их проделках рисуют уже не человека, а зверя и самого страшного — человека, потерявшего себя.

И сколько их стоят и смотрят — темные точки на светлом фоне, загадочные иероглифы Сибири.

«Да-с, батюшка, — вспоминаю я слова одного сибиряка, — надо знать и понимать Сибирь. Во многих футлярах она: казенная, чиновничья Сибирь, купеческая, крестьянская, инородческая, переселенческая и раскольничья и плубже и плубже, до самой коренной, бродяжнической Сибири. Вот она какая, эта вольная, неделинная Сибирь. И что в ней, в самой коренной, того никто еще не знает и не ведает, и если б нашелся человек, который поведал бы да смог бы рассказать о том, что там, тогда бы только узнали, где предел силе и мученичеству русского человека, какими страданиями и горем вынашивает он любовь свою к воле-волюшке вековечной».

Кабинетская земля граничит с Алтаем, и, когда едешь из Семипалатинска в Томск, он все время на правом горизонте гигантскими декорациями уходит в ясную лазурь неба. В нем новые сказочные богатства — богатства гор: золото, серебро, железо, медь, каменный уголь.

Пока здесь вследствие отсутствия капиталов, железных дорог все спит или принижено, захваченное бессильными и неискусными руками, но когда-нибудь ярко и сильно сверкнет еще здесь, на развалинах старой — новая жизнь.

16 июля

Низко нависли тучи, заходящее солнце придавлено ими и, словно из пещеры, ярко смотрит оттуда тревожно своим огненным глазом. Несколько отдельных деревьев залиты багровыми лучами, и далекая тень от них и от туч заволакивает землю преждевременной мглой.

Напряженная тишина.

Какое-то проклятое место, где низко небо, низки деревья, где словно чувствуется какое-то преступление.

Это Каинск.

Население его почти всё ссыльные. И ремесло странное. Говорят, в какой-то статистике, в рубрике «чем занимаются жители», против Каинска стоит отметка «воровством».

Несомненно, что и до сих пор часть ссыльного населения города Каинска исключительно занимается тем, что, отправляясь в Томск, заявляет о себе. Из Томска такого сейчас же отправляют обратно в Каинск, выдавая, по положению, ему халат, одежду, сапоги... За все это можно выручить пятнадцать — двадцать рублей. Несколько таких путешествий, и человек на год обеспечен. Зато местные крестьяне, на обязанности которых лежит везти таких обратно, в Каинск, и конвоирующие солдаты ненавидят ссыльных.

Еще бы: они сидят на возах, а жалеющие своих лошадей крестьяне и солдатики, при своих ружьях и ранцах, все время маршируют возле, пешком.

17 июля

Река Обь, село Кривошеково, у которого железнодорожный путь пересекает реку.

На 160-верстном протяжении это единственное место, где Обь, как говорят крестьяне, в трубе. Другими словами, оба берега реки и ложе скалисты здесь. И притом это самое узкое место разлива — у Кольвани, где первоначально предполагалось провести линию, разлив реки — двенадцать верст, а здесь — четыреста сажей.

Изменение первоначального проекта — моя заслуга, и я с удовольствием теперь смотрю, что в постройке намеченная мною линия не изменена.

Я с удовольствием смотрю и на то, как разросся на той стороне бывший в 91 году поселок, называвшийся Новой Деревней. Теперь это уж целый городок, и я уже не вижу среди его обитателей прежней кучки смиренных, мелкорослых вятичей, год-другой до начала постройки поселившихся было здесь.

За Обью исчезает ровная, как скатерть, Западная Сибирь.

Местность взволновалась, покрылась лесом и глубокими падыми (оврагами), повалилась вдаль, открывая глазу беспредельные горизонты.

Здесь и тайга, и пахотные места (гривы), государственная земля и общественники-крестьяне.

Села зажиточные, но грязные. В избах гнутая мебель, цветы, особенно герань; всякая баба приготовит вам и вкусные щи и запечет в тесте такую стерлядь, какую только здесь и умеют готовить. Но не обижайтесь, если рядом с стерлядью очутится и черный таракан, а то и клоп, которых множество здесь и которые особенно любят (или не любят?) иностранцев.

Не обижайтесь, если летом, кроме клопов, вас заедят комары, слепни, овода, мошкара — все, что называется здесь «гнусом», зимой 50-градусный мороз отморозит вам нос, а ночью нападут бродяги.

Так и говорят здесь сибиряки:

— Три греха у нас: гнус, мороз и бродяжка.

Все остальное хорошо:

— Пашем — не видим друг дружку, косим — не слышим, мясо каждый день.

Здешний сибиряк не знает даже слова «барин», почти никогда не видит чиновника, и нередко ямщик, получив хорошо «на водку», в знак удовольствия протягивает вам, для пожатия, свою руку.

Здесь нет киргиза, не прививается к оседлости бродяжка, и место их в экономической жизни местного населения заменяет свой же брат победнее, и эксплуатация бедного богатым здесь такая же, как и везде.

Иногда бедные уходят на заработки, а богатые скупают их участки, платя им гроши за это.

В общем же все-таки, и это несомненный факт, что отношение к беднякам здесь неизмеримо более гуманное, чем в русских деревнях, и благотворительность в Сибири крупная.

Что до отвратительных сцен грабежа, — попавшего ли в лапы мира бедняка, осиротевшей ли матери семейства, у которой, за долги миру покойного мужа, отнимают все, несмотря на то, что земля, за которую покойный всю жизнь выплачивал, поступает тому же миру, — то здесь, в Сибири, и помину о них нет.

Это и понятно: оголодалее волки злее рвут.

Другое дело — задетое самолюбие, и здесь сибирский мир не уступит русскому: выскочку, талантливого ли человека заест так же, как и русский, без сожаления и остатка.

В последнее время распорядки пошли иные, и богатеи угрюмо ворчат:

— Доведут, как в России: ни хлеба, ни денег не станет.

Вообще о России осталось впечатление сбивчивое.

Говорят с уважением:

— Расейский плуг, расейский пахарь...

А, поджав руки, баба кричит мне:

— А что в глупой Расеи умного может быть?

Впрочем, что до баб, то отношение к ним тоже смешанное: иные хозяева иначе не называют своих домочадцев-женщин, как средним родом: «женское», но в то же время говорят «вы».

— Женское, насыпьте чаю!

— Женское, плесните гостю!

Насыпьте — налейте, плесните — дайте умыться.

18 июля

Вот и станция Тайга, откуда идет ветка на Томск.

Заведуя в этом районе участком сибирских изысканий, я навлек на себя тогда гнев томских газет за то, что провел магистраль не через Томск, ограничившись веткой к нему.

Но дело в том, что ветка вышла короче удлинения магистрали, если бы она прошла через Томск. При таких условиях, принимая во внимание транзитное значение Сибирской дороги, не было никаких оснований заставлять пробегать транзитные грузы лишних сто двадцать — сто пятьдесят верст.

Основное правило идеальной дороги — кратчайшее расстояние и минимальные уклоны.

В этом отношении — образец, как это ни странно, наша первая Николаевская железная дорога.

Затем мы точно разучились строить, и Московско-Казанское общество дошло в этом отношении до обратного идеала, умудрившись накрутить между Москвой и Казанью лишних двести верст.

19 июля

Средне-Сибирской железной дороге делают упреки за то, что она с крутыми уклонами.

Это, конечно, большой недостаток, но не надо забывать, что такие уклоны допущены только для скорейшей прокладки железнодорожного пути.

А затем неизбежно будет сейчас же приступить к дополнительным работам по уменьшению этих уклонов.

Последние знакомые еще мне места.

Коренная тайга, напоминающая хлам старого скряги, гиганты-деревья, поросшие мохом, лежат на земле, тонкая же непролазная чаща, давя друг друга, тянется кверху: сухая уже там, вверху и подгнившая от стоялого болота здесь, внизу: запах сырости и гнили.

Но ближе к сухим пригоркам попадаетесь поразительной красоты лес, ушедший вершинами далеко в небо. Желтые стволы сосен, там вверху заломившие, как руки, свои ветви. Нежная лиственница с своим серебряным, стройным стволом. Могучий кедр темно-зеленый, пушистый. Целая куртина нарядных кедров: больших, стройно поднявшихся кверху, маленьких, как дети, окружившие своих отцов. Между ними сочная мурава, и яркие солнечные пятна на ней, и аромат, настой аромата в неподвижном, млеющем воздухе. Поднимешь голову и, где-то там, вверху, в беспредельной высоте, видишь над собой кусочек яркого голубого неба. Все притихло и спит в веселом дне. Но треск ветки гулким эхом разбудит вдруг праздничную тишину, и проснется все: какой-то зверек прошмыгнет, отзовется редкая птица, а то, ломая сухие побеги, прокатит и сам хозяин здешних мест — косолапый, проворный и громадный мишка.

А то зашумит иногда там, вверху, как море в бурю, тайга, но по-прежнему все тихо внизу.

22 июля

До Иркутска мы не доехали по железной дороге всего семьдесят две версты, хотя путь уже и был уложен до самого города. Но приходилось ждать поезда до утра, и мы решили проехать это пространство на лошадях.

За это мы и были наказаны, потому что ехали эти семьдесят две версты ровно сутки, без сна, на отвратительных перекладных, платя за

каждую тройку по сорок пять рублей... На эти деньги по железной дороге в первом классе мы сделали бы свыше трех тысяч верст.

А впереди таких верст на лошадях свыше тысячи: если так будем ехать, когда приедем, и что это будет стоить?

В Иркутске мы останавливаемся на два дня, так как для такой большой лошадиной дороги, какая предстоит нам, надо запастись многое: экипажи, телеги, провизию.

Иркутск, третий большой сибирский город, который я вижу. Первый, несколько лет тому назад, я увидел Томск, и он произвел на меня тогда очень тяжелое впечатление: вся Сибирь представлялась тогда каким-то адом мне, а Томск, через который я вступал в Сибирь, достойным входом с дантовской надписью: *las-ciate ogni speranza...* [1]

Когда я поделился этим впечатлением с одним своим приятелем, он сказал:

— Слишком громко для Томска и Сибири, — просто российская живодерня.

Помню это ужасное, с казарменными коридорами и висячими замками на дверях номеров, «Сибирское подворье», эти домики с маленькими окнами и дверями, которые и летом имеют такой же нахлобученный вид, как и зимой, когда снег засыпает их крыши.

В девять часов вечера уже весь город спит, темно на улицах, и спущены собаки с цепей.

Обыватель, погрязший в расчетах, прозаичный, некультурный, ничем посторонним, кроме вина, еды и карт, не интересующийся. Сплетни, как в самом захолустном городке.

Развлечений никаких; везде грязь; молодецкие рассказы о похождениях исправников и станowych; торговля краденым золотом и всякой гнилью московской залежи.

Словом, за две недели жизни в Томске тогда я так истосковался, что, когда выехал, наконец, из него и увидел опять поля, леса, небо, я вздохнул, как человек, вдруг вспомнивший в минуту невзгоды, что наверно за этой невзгодой, как за ночью день, придет и радость.

Эта радость заключалась в том, что я больше не в Томске и, вероятно, никогда больше не увижу его.

Может быть, этому скверному впечатлению содействовало и то, что все время я был под тяжелым впечатлением нападок местной прессы на меня, за обход Томска.

Другой большой город Сибири — Омск, я увидел, возвращаясь в Россию, и своим открытым видом, широкими улицами он очень понравился мне.

Впрочем, здесь тоже нужно сделать оговорку: я возвращался в Россию.

Один мой приятель, наоборот — попал в Сибирь через Омск и возвратился в Россию через Томск. Омск ему очень не понравился, а Томск произвел очень хорошее впечатление.

Что до Иркутска, то это такой же городок в шубе, как и все сибирские города.

Маленькие здания, деревянные панели, деревянные дома, грязные бани и еще более грязные гостиницы с их нечистоплотной до последнего прислугой.

Из интеллигентного кружка города видел только П. (остальные вследствие лета в разъезде), который и показал нам интеллигентную работу города: музей, детский приют.

Вопрос, занимающий теперь жителей Иркутска: останется ли у них генерал-губернаторство.

Ввиду теперешнего, уже не окраинного положения генерал-губернаторства прежнее его значение несомненно утратилось.

25 июля. Озеро Байкал

Выехали из Иркутска. Тянемся, как на волах. Железная дорога кончилась, а с ней сразу, как ножом отрезало и от всех удобств. Почтовые станции не в состоянии удовлетворять и третьей части предъявляемых к ним требований.

Ожидающие очереди пассажиры всех видов и оттенков.

Вот сидит купеческая семья: он, она и несколько подростков детей, — сидят, пьют чай с горя, в ожидании. Напряжение на детских лицах. Маленький ребенок, с заботой взрослого в глазах. Единственный выход — двигаться дальше на вольных. Но и их скоро не сыщешь: сенокос. За перегон в двадцать верст — пять-десять рублей, то есть в пятьдесят раз дороже, что по железной дороге. А сколько времени пропадает: два часа ищут, два запрягают, два едут, и опять такая же история. В результате скорость три версты в час, а на все сутки и того меньше, потому что дни и недели в дороге нельзя же проводить совсем без сна.

Переехав Байкал, разбились на два отряда: Б. и С. уехали, а я, К. и А. сидим и ждем лошадей.

Темный вечер. Монотонно и однообразно барабанит в окна мелкий осенний дождик. Все небо обложено сплошными низкими тучами. В памяти встают картинки пережитого дня. В общем, впрочем, бедные и несодержательные. Многого ждали от Байкальского озера — говорят о его бурях, таинственных волнениях без ветра, объясняя их вулканическими или иными подземными причинами; но при нашем переезде озеро было тихо, был туман, шел дождь, и впечатление от переезда через Байкал получилось не большее, как от переезда на пароме через любую холодную лужу-реку.

В каюте дрянного парохода, или, вернее, в черный цвет окрашенной баржи, холодно и сыро, как в подмоченном погребе, тускло освещенном верхним окошечком.

Вода в Байкале с постоянной температурой около двенадцати градусов. Такая же температура и в красивой Ангаре, вытекающей из него, вдоль которой вчера всю ночь мы ехали.

Красивая, но холодная, с своими ледяными туманами. Каждый раз, как спускались к ней, нас обдавало туманным холодом глубокой осени. Иногда часть реки обнажалась и ярко сверкала, но остальная река и крутой противоположный берег, поросший лесом, все время были окутаны облаками непроницаемого тумана. Молчаливо, быстро несет река свои зеленовато-прозрачные воды.

Пустынно: поросшие лесом косогоры, никаких посевов, селения редки, малонаселенные, с нищенскими постройками. Среди жителей много сосланных с Кавказа.

И холод севера не охлаждает этих южан: бьют, режут друг друга и чужих. Самые сильные разбои и грабежи всегда дело их рук, и другие народности только их неискусные ученики.

Физиономии нехорошие: рассказов много об их делах, — не только, впрочем, о кавказцах, — все Забайкалье кишит теперь всяким бродячим народом.

Железнодорожные работы подходят к концу, приближается зима, денег нет, нет жилья и крова, и идет сплошная облава по большим дорогам.

Ценности жизни — никакой.

Топором рассекает головы трем за то только, что те улеглись на его полушубке.

На днях повешенный здесь разбойник, Бен-Оглы, поражал своими цинично равнодушными ответами на суде и, наконец, заявил, что и таких не намерен больше давать.

Спит душа, и не человек, а зверь, самый страшный из всех, рыскает здесь по этой трущобе.

Плохо и местному населению: у них голод, и пуд овса доходит до двух рублей, сено до рубля восьмидесяти копеек.

Мы слушаем рассказы из местной жизни, а дождь льет и льет.

Мы в номере: столик, кровать, два деревянных стула. Я сижу и думаю, как остроумно я распорядился. В вагоне было жарко, и вот теплые вещи я отправил с багажом, а теперь на дворе холод и дождь. В своих прюнелевых ботинках и с кушаком вместо жилета — хорош я буду. С багажом же уехало и оружие мое, бог весть для чего купленное, обычная, впрочем, судьба таких моих покупок. Потом я все это раздарю. Бекиру подарю карабинку Маузера.

Бекир — кавказец, — наш слуга. Он был сперва в восторге от встречи с своими здесь. Радостно удивлялся и говорил:

— Всё земляки и близко от нашей деревни.

При его протекции эти земляки вздули нас самым безбожным образом: за провоз шестидесяти верст на шести тройках взяли сто двадцать рублей, под всякими предлогами выудили еще пятнадцать рублей, пользуясь моим отсутствием, сорвали еще семь рублей, всучили за тридцать рублей уже поломанную телегу, стащили купленную для экипажей мазь, и, если б мы не уехали, наконец, на пароходе, то, вероятно, не отпустили бы нас до тех пор, пока брать было бы нечего.

При всем желании быть терпимыми, мы все разочаровались в здешних восточных людях. Один Бекир еще отстаивал их. Но они умудрились и у Бекира стащить его узел с револьвером. Узел и вещи — пустяки, но с потерей револьвера Бекир не мог примириться.

— Двенадцать лет, — твердил он, — двенадцать лет. Я пристрелял его к себе, я знаю его, как себя...

И как ни отговаривали мы его, он уехал назад за своим револьвером, с тем, чтобы нагнать нас где-нибудь.

Глаза Бекира мечут искры, и кто знает, чем кончится у них там. Я предсказывал ему худой конец, но он твердил одно:

— Мне только револьвер...

2 августа

Вот и Сретенск.

Сретенск — что такое Сретенск? Сретенск — село на одной параллели с Харьковом, на реке Шилке, Шилка впадает в Амур и т. д. Утро. Тихо и ясно. Я сижу в тени террасы; не смущайтесь названием, — терраса простая, сколоченная из леса, под тон всей остальной простой и деревянной сибирской архитектуре.

В нескольких саженьях от меня пристань амурского пароходства, и в настоящую минуту снизу ползет пассажирский пароход: род арестантской барки, с красным колесом сзади; он пыхтит и шумит, плохо подвигается вперед.

А на той стороне, в тесноте, между нависшими камнями надвинувшихся холмов, видны здания железнодорожной станции.

Самого Сретенского еще не видел и даже не справлялся в календаре о значении и истории его.

Мы в гостинице «Вокзал». Привезли нас в эту гостиницу ночью, после тысячи верст перекладных, и мы моментально уснули на грязных донельзя матрацах.

И. Н. осведомился у прислуживавшего бойкого мальчугана:

— Клопов хватит на каждого?

Подмываемый ласковым тоном, мальчик фыркнул и в тон, лукаво, ответил:

— Хватит...

Засыпая, я думал: какой в сущности грязный и неопрятный народ мы, русские.

Чуть выедешь из Петербурга или Москвы, и уже начинается эта непролазная грязь везде: и в роскошных вагонах первого класса, и в залитых отвратительной карболкой третьего, и на станциях, и в городах во всех этих гостиницах.

Иркутск — большой город, столица Восточной Сибири, а какая грязь, опущенность в лучшей из ее гостиниц, «Деко». А Чита? Теперь этот «Вокзал»? А в избах крестьян, несмотря на цветы, ковры, гнутую мебель?

Во дворах вонь, и негде в селах вздохнуть свежим воздухом.

Но эта же баба, которая вытащила только что из вашего стакана таракана, обтирая палец о свой пропитанный салом сарафан, с пренебрежительным выражением лица говорит об аборигенах здешних мест, бурятах:

— Грязно живут... Падаль у них первое блюдо...

Вот от язвы лошадь и скот валятся — жрут. Другая собака рыло отвернет, а ему все бог дал...

Перед падалью, конечно, и клоп и таракан — идеал гигиены. И. Н. говорит:

— Я раз как-то студентом от нечего делать в одной деревне начал практиковать, а по воскресеньям публичные лекции читать...

— С разрешения?

— Кто бы мне позволил? Без всякого, конечно, разрешения. Приходит баба: нога, вот! Оказывается, порезала и лечила жженым навозом да навозной жижей — это у них первое лекарство — ну, вздуло, конечно: во. И заметьте, к фельдшеру ходила, и фельдшер ей хорошее лекарство прописал, — бросила лекарство, и вот свой способ. Я отказался ее лечить. Что ж лечить такую? Все равно не послушает. Как раз в это же время одна девочка тоже порезала ногу, и в три дня я залечил ее рану. Приходит воскресенье. На лекции и девчонка и баба с своей вот этакой ногой... «Вот, говорю, смотрите, господа, лечение навозной жижей и чистой водой». Ну, факт налицо. «Известно, говорят, что вода чистая, что грязь... Дура баба...» Сами же ругают. Баба оправдывается: «Так мы ведь откуда знаем, теперь вот сказал...» Приходит опять на другой день: «Лечи». То-то. Сейчас чик-чик, прорезал, обмыл, чистой тряпочкой перевязал, присыпал слегка йодоформом — через неделю опять человеком стала.

И. Н. еще говорит, но я уснул, как убитый, без слов, движенья.

Я не могу сказать, чтобы не было у меня впечатлений в этот переезд на лошадях от Иркутска до Сретенска, но на перекладных нельзя их записывать.

Теперь сижу и вспоминаю.

Забайкалье резко отличается от всего предыдущего. На вашем горизонте почти везде хребты гор. Высота их колеблется между 50 и 200 саженьями. Вернее, это еще холмы, но уже с острыми, иззубренными иногда вершинами. Они так и застыли, неподвижные,

при закате розово- и фиолето-прозрачные, а всегда темно-синие, далекие, рассказывающие вам сказки из далекого прошлого.

Да, эта необъятная, малонаселенная местность, с плохой почвой, с богатейшим лиственным лесом, пораженным безнадежным червем (все, что видел глаз, на две трети уже посохшие, никуда не годные, дырявые деревья), хранящая в своих землях много минеральных богатств, но пока, с точки зрения культуры вообще и переселенчества в частности, не стоящая, как говорит Тартарен, ослиного уха, — в свое время изрыгнула из недр своих все те орды монголов, которые надолго затормозили жизнь востока Европы.

Здесь река Онон — родина великого Чингиз-хана.

Откуда взялись тогда эти толпы? Все пусто здесь, тихо и дико. Шныряет голодный волк, шатается беглый каторжник, да медведь ворочается в этих лесных тущобах. Все вразброс, в одиночку, каждый сам для себя, каждый враг другому.

Только ближе к тракту жмутся поселки, а там, в глубь... Никто не был там, и никто ничего не знает.

Часть этой полосы занимают бурята — остаток того же монгола из 200-тысячного войска Чингиз-хана. Трудлюбивый, воздержный народ, очень честный. Оставляйте ваши вещи на улице и спите спокойно. Их одежда, их косы, темные лица делают их похожими на китайцев.

В их храмах Будда с тысячью руками и тринадцатью головами. Это значит, что надо было бы, чтоб исполнить все задуманное, чтоб одна голова превратилась в тринадцать, и нужно тысячу рук, чтоб успеть делать то, что думают эти тринадцать голов.

Ламы бурят для отвращения от зла надевают в особые праздники уродливые маски и так появляются перед народом. Помогает и молитва от этого, и бурята не скупятся вертеть каток с написанными молитвами, что равносильно тому, как будто бы они их читали.

Бурят тих, покорен и большой дипломат с администрацией. Но во внутреннюю жизнь никого не пускает и умеет заставить уважать себя.

Когда русские рабочие нагрянули на строящуюся здесь железную дорогу, а с ними и всякий сброд, бурята быстро дисциплинировали их при первом удобном случае. Этот случай представился очень скоро. Рабочие поймали двух бурятских коров и зарезали их. Двое резавшие коров исчезли бесследно и навсегда. Это нагнало такой панический

ужас на рабочих, что воровство прекратилось сразу, а вера во всеведение бурят дошла до суеверного страха.

Источник этого всеведения — сплоченность и хорошая внутренняя организация бурят. Они, как и китайцы, склонны к тайным союзам и разного рода тайным обществам.

Несомненно, бурята — народ способный к культуре. Между ними и теперь не мало людей образованных. Эти люди — общественное мнение страны, и наивно думать, что бурята не поймут смысла и значения разного рода административных мер за и против них. Из числа таких предполагаемых мер больше всего пугает бурят возможность земельных ограничений (они владеют землями по грамоте Екатерины Великой), воинская повинность и отчасти православие. Страх перед последним, впрочем, после успокоительных действий генерал-губернатора, барона Корфа, значительно ослабел.

Чтобы закончить с проеханным краем, надо сказать несколько слов о почтовом тракте.

Откровенно говоря, вся почтовая организация никуда не годится. Несколько станций, например, подряд с количеством лошадей в пятнадцать пар (пара не меньше трех лошадей), и вдруг перерыв, и две-три станции с пятью парами. Если и пятнадцать пар не удовлетворяют, то можно судить, что делается на таких, еще более ограниченных станциях: ожидания по неделям, отчаянные проклятия и брань ожидающих.

Вот одна из обычных картинок. Ночь. В сенях и двух маленьких комнатках так тесно на диванах и на полу от лежащих, что пройти нельзя. Воздух ужасный, — здесь дети, женщины, мужчины, — семьи офицеров переселенцев, едущих по казенной и частной надобности.

Мы приехали и сидим в писарской. Присланный из Читы чиновник (а на другой станции, вместо чиновника, полицеймейстер города Читы) объясняет нам положение дела и свое бессилие:

— Девять суток ни минуты не сплю, перестаю понимать...

Слушаешь и думаешь: зачем прислали сюда этого мученика, когда надо было прислать сюда тех недостающих десять пар, из-за которых и загорелся весь сыр-бор.

А нет этих десяти пар потому, что охотников на назначенную почтовым ведомством цену не нашлось. Ну, не нашлось, заводи

казенных лошадей, не решение же и это вопроса, вместо лошадей чиновников посылать.

В писарскую доносятся ворчанья и жалобы. Один, как потом оказалось, старый священник долго говорит и горько жалуется. Он бедный человек, он не может платить по 15 рублей за каждые 20 верст, он едет с семьей, и, ожидая очереди, они сидят уже седьмой день. Раздраженный и в то же время основательно, справедливо раздраженный голос его резко нарушает тишину ночи.

— Но зачем же, — говорит он, — бросать нас всех на грабеж?

Чиновник шепчет мне:

— Совершенно верно все это...

Голос священника:

— За фунт хлеба двадцать копеек, поросенок семь рублей... Но я нищий поп, откуда я возьму? Я месяц три станции еду... Я с ума, наконец, сойду...

Священник обрывается.

Мертвая тишина. Очевидно, теперь никто больше не спит и с жутким ощущением прислушивается. Чиновник шепчет:

— Верно, все верно... В нервах расстроился... А тут еще сибирская язва, падеж, ямщики возить не хотят, голод, кони истощенные, такие и падают больше от язвы, — запряжет, и пала дорогой. Овес два рубля, как их тут кормить? Ну и выпустили лошадей в поле, — говорят: «Везите на нас, а лошадей морить не дадим...» Вот почта второй день лежит.

После всех таких доводов остается одно: вольные, по какой угодно цене!

Так среди этого сплошного грабежа и воплей отчаяния мы как-нибудь подвигаемся все дальше и дальше.

Что здесь осенью будет во время распутицы?!

Через год, два, конечно, пройдет железная дорога, и весь этот ужас отлетит сразу в область тяжелых, невозвратных преданий, но дорога дойдет только до Сретенска, а там остается еще две с половиной тысячи верст, где дорога не предполагается. Там ли только нет дорог у нас?!

А какие цены! Прислуга 20–30 рублей в месяц, мясо 20–25 копеек, хлеб ржаной 2–3 рубля пуд. И это в маленьком, захолустном,

сибирском городке Чите. Порция цыпленка (половина) — рубль, десяток яиц 60 копеек.

Как же живут здесь мелкие служащие? Все эти несчастные телеграфисты, почтовые чиновники, лесничие, доктора, мелкие железнодорожные служащие? Это мученики.

На железной дороге, да и везде, плата поденному доходит до 2 рублей. Этим еще лучше других было, но и у них уже явился конкурент — китаец.

Появление китайцев здесь, в больших массах, связано с началом постройки Забайкальской железной дороги. Маньчжурская дорога, конечно, усилит движение китайцев к нам.

Уже с Иркутска появляются китайцы; но там их, сравнительно, мало еще, они нарядны. Их национальный голубой халат, длинная, часто фальшивая коса, там и сям мелькает у лавок. Движения их ленивы, женственны, их лица удовлетворенны, уверенны.

Но чем дальше на восток от Иркутска, тем реже видишь эти нарядные фигуры и взамен все больше и больше встречаешь грязных, темных, полунагих обитателей Небесной Империи.

Русский рабочий говорит:

— Вот и тягайся с ним: тут и одетому не знаешь, куда деваться от комара, слепня и паука, а ему и голому нипочем.

И цену китаец берет, что дадут.

Мы смотрим на их бронзовые грязные тела, заплетенные косы, обмотанные вокруг головы. Это здоровое, красивое тело, и, когда оно питается мясом, оно сильно и работает лучше русского.

Китайца здесь гонят все, и в то же время здесь, в Восточной Сибири, китаец неизбежно необходим, и этого не отрицает никто.

Чревато событиями переживаемое здесь мгновение.

Со включением Маньчжурии в круг нашего влияния и занятием Порт-Артура широко растворились ворота, веками, со времен Чингизхана, запертые. В них уже хлынула волна черноколых, смуглолицых, бронзовых китайцев, и с каждым часом, с каждым днем, месяцем и годом волна эта будет расти.

Китаец мало думает о политическом владычестве, но экономическая почва — его, и искуснее его в этом отношении нет в мире нации.

Пока это еще какие-то парии, напоминающие героев «Хижины дяди Тома». Их вид забитый, угнетенный. Завоевание края на экономической почве дается не даром, и они, эти первые фаланги пионеров своего дела, как бы сознавая это, отдаются добровольно в какую угодно кабалу.

Где-то сделанное определение, каким-то бродягой рабочим, стихийного движения китайцев постоянно вспоминается:

— Он ведь лезет, лезет... Он сам себя не помнит: на то самое место, где товарищу его голову отрубили, — лезет, знает, что и ему отрубят, и лезет. Ничего не помнит и лезет. Одного убьешь — десять новых...

Может быть, через десять лет китаец будет так же необходим на Волге, как необходим он здесь, в Восточной Сибири. Это дешевый рабочий, честный, дешевый и толковый приказчик, прекрасный хозяин и приказчик торгового магазина, кредитоспособный купец, образцовый мастеровой, портной, сапожник; самая толковая, самая честная и самая дешевая прислуга.

Нет экономической почвы, на которой можно бороться с китайцем. Сонный казах-абориген тупо воспринимает переживаемое мгновение. К гнусу, морозу, бродягам прибавились и эти желтокожие, оспаривающие его право получать поденщину — 1, 2, 5, 10 рублей — все, что угодно. Зачем стесняться? Там всплывает тело пристреленного китайца, там, изуродованного, его находят в лесу...

В Сретенске в этом году взорвали целый барак, где спали китайцы рабочие. Вчера в Сретенске же нашли под другим бараклом, тоже китайским, пятнадцать фунтов динамиту и уже горевший фитиль.

Но сам казак мрачно, как с похмелья, безнадежно говорит:

— Проклятая сила: одного прикончишь — десять новых вместо него... — и сам же казак пользуется дешевкой китайца и нанимает его на свои работы.

Китаец жизнью не дорожит: он равнодушен к этим покушениям, — если он умрет, ему ничего не надо, но если он жив, то он получит свое.

Недавно, буквально из-за недополученного пятака, толпа китайцев чуть не убила железнодорожного техника и его защитников. Китайцев было пятьдесят человек, у техника — двадцать пять, и часть

из них вооруженная револьверами и ружьями, тогда как у китайцев огнестрельного оружия не было. И тем не менее победителями остались китайцы, хотя раненых у них оказалось больше, и был даже убитый.

Это не говорит во всяком случае о беспредельной трусости китайцев.

— Китаец робок, а озлится — нет его лютее, — определяют здесь китайца.

— Проклятые дьяволы... сатана вас из пекла прислал к нам.

Китайцы, живущие в России, подчиняются какой-то своей внутренней организации, они очень зорко следят друг за другом и с каждым деморализующимся своим сочленом быстро сводят счеты:

— Кантоми...

То есть: рубят голову. Или в лесу повесят. Обыкновенно признаком такой расправы служит то обстоятельство, что китайцы при обнаружении такого трупа не жалуются и молчат.

На одном из приисков здесь произошло на днях загадочное преступление.

На прииске между прочими работали и китайцы (и там они, конечно, заменят всех других). Нашли убитым маленького, лет одиннадцати мальчика. Подозрение пало на двух китайцев. Их пытали, насекая им тело от шеи и до живота.

Китайцы не выдержали и заявили то, что требовали от них их палачи. Тогда их отправили в Сретенск, но, придя туда, они сказали, что неповинны в смерти мальчика и сделали на себя поклеп, только чтоб избавиться от дальнейших пыток.

Много толков вызвало это происшествие. Казаки, да и не одни казаки, уверяют, что китайцы убили мальчика с целью сварить и съесть его.

— Это первое блюдо у них: православных детей есть.

(Замечательно, что китайцы, у, себя, в том же обвиняют иностранцев.)

Нет сомнения, что это ложь, но такая же ложь относительно евреев жила веками и делала свое страшное дело.

Местное население здесь — казаки. Это крупный в большинстве народ, причем подмесь бурятской и других кровей ощутительна; женщины некрасивы.

Казачьи зажиточны; имеют множество немереной земли, на которой и пасутся их табуны лошадей и скота.

Хлебопашество процветает менее. Сеют рожь, пшеницу, овес.

Но главный доход их от скотоводства...

Начиная от Читы, к востоку, эти казачьи поселки тянутся непрерывно. От самого маленького мальчика до самого старого, все жители поселков в шапках с желтым околышем и в штанах с желтыми лампасами. Вместо же мундира большое разнообразие: от рубахи до пиджака. В костюмах значительная щеголеватость: шелковые рубахи, у женщин даже корсеты, ботинки в двенадцать рублей не редкость, шляпы.

Читая здешние газеты, надо прийти к заключению, что нравы, однако, несмотря на эти внешние признаки цивилизации, дики и грубы; пьянство, поединки, кулачные бои. Грамотных мало, и никому грамота не нужна. Казак ленив, суеверен и апатичен.

В свое время казачество здесь сослужило большую службу. Без них, конечно, нельзя было бы России удержать в своих руках весь этот край.

Но наступают другие времена, и, по Гёте, счастье одного поколения — страдание последующих — казаки являют уже в теперешнем виде серьезные тормозы дальнейшей культуре края.

Это и само собой делается. Мы уже видели, как труд их парализован уже китайцами. В этом отношении казацкую силу можно считать уже сломанной.

Но в борьбе с переселенцами казаки пока имеют сильный перевес. Вся хорошая земля оказывается принадлежащей им, и переселенцев пускают только в такие трущобы, откуда нельзя не бежать. Этим обратным переселенцев много встречается.

На одной из станций с нами ночевали двое из них. Это собственно ходоки. Они уроженцы Киевской губернии, поселились на Кавказе, а оттуда товарищи послали их в Сибирь и главным образом на Амур. Теперь они возвращаются назад с отрицательными ответами. Толковые, уверенные.

— Ничего не стоит Амур для нашего хозяйского дела. Первое, казаки оттирают, что получше, поближе к реке и к городам, — в их руках. Второе — земля. Аршина два копнул, и уже мерзлота. В самую уборку — дожди. Да и уборка в сентябре, в мороз.

— Как же молотят?

— Зимой, на льду, когда градусов сорок морозу. В рукавицах жать, какое уж тут хозяйство? Опять овощ всякая: яблоки, груши, арбузы, дыни или что там: ничего нет. Так, что-то вроде тюрьмы. Не годится для нашего брата крестьянина... Девки и парни перемерут с тоски.

— Но селятся же все-таки?

— Мало же. Неприютная сторона, казаки неприютны... Бог с ними, земли не размежеваны — всё захватили.

Жалуются на казаков и города.

В Сретенске, например, несмотря на всю наличность города — село, принадлежащее казакам. Право селиться, строиться — все от казаков. Аренда высока и. — кроме того, гнет неграмотной и алчной администрации несносен.

— Помилуйте, будь Сретенск городом, в три года удесятерился бы, а так, кто порядочный сюда пойдет.

Теперь же это улица вдоль реки Шилки с целым рядом магазинов.

— А теперь для кого же эти магазины?

Вам шепчут на ухо:

— Магазины эти только для виду; главная же торговля здесь тайным золотом.

Это тайное золото, промываемое хищниками. Золото в этом крае везде, а с ним везде и воровство, и грабеж, и убийство, и тайная торговля этим золотом.

Оно сбывается в Китай. Сколько его сбывается — неизвестно, но вот факты, по которым можно кое-что сообразить.

Из Маньчжурии в Китай официально (помимо, следовательно, наворованного китайскими чиновниками и хищнического добывания, — оно существует и там) ежегодно идет до четырехсот пудов золота. ^[2]Частная разработка золота до последних дней не разрешалась в Маньчжурии. На казенных приисках добыча его ничтожна.

Путешественники по Маньчжурии (Стрельбицкий и другие) удостоверяют, что хищническая добыча там ничтожна и едва оправдывает нищенское существование искателей. Откуда же эти четыреста пудов на сумму до восьми миллионов рублей?

Непричастные здесь к делу люди того мнения, что это наше золото. Если к этому прибавить до пяти миллионов официальных, которые составляют излишек в нашей торговле по амурской границе с Китаем, в пользу Китая, то очевидно, что, пока мы заберем еще китайцев в руки, они во всех отношениях хорошо от нас пользуются.

Город Кяхта, половина которого русская, а другая китайская, несмотря на барьеры, бойко и легко торгует этим запрещенным товаром. Как анекдот, рассказывают, что там устроены даже особые кареты китайцами, в которых купцы их возят к себе в гости русских чиновников, и в этих же каретах едет в Китай золото, а из Китая шелк, или переносят ночью, перебегают и днем, рискуя выстрелами даже.

Чтобы кончить с проеханным путем, два слова о Нерчинске. Утром, часов в восемь, мы подъехали к реке Нерче. Все еще было окутано серым, как солдатское сукно, туманом. Едва виднеется тот берег — пустынный, голый, неуютный, такой же, как и вся природа здесь.

Этот же берег крутой, скалистый. Молча, угрюмо, торопливо и озабоченно убегают волны реки мелкими струйками, обгоняя друг друга.

Холодно и неуютно.

Встают фигуры декабристов.

Они тоже переплывали эту реку, сидели, как и мы, на пароме, смотрели в воду и думали свою думу.

Вот и другой берег; пологой степью исчезает в тумане даль...

В этом тумане, там где-то, Нерчинск.

По этой степи шагали они, и в мертвой тишине точно слышишь лязг их цепей.

Может быть, будь здесь жилье, не так вспоминалось бы, но это безмолвие и одиночество сильнее сохраняет память о них.

Самый Нерчинск поражает тем, что среди серых, бедной архитектуры домиков, вдруг вырастает какой-то белый оригинальный дворец в средневековом стиле, с громадным двором, обнесенным красивой решеткой.

Тюрьма? Нет, здания какого-то купца. Здания, которые украсили бы и столицу.

Бедный купец, впрочем, уже разорился, и здания эти приобретает тюремное ведомство.

4 августа

В Сретенске мы просидели дня три.

Можно было бы умереть с тоски, если бы не товарищ мой С. Г. К. Он строитель 12-го участка Забайкальской железной дороги. Его участком и кончается эта Забайкальская железная дорога, и дальше, от Сретенска к Хабаровску и Владивостоку, единственным путем служит река Шилка и Амур: летом на пароходе, зимой на санях. Почтовые лошади содержатся, впрочем, круглый год, и в мелководье эти лошади перевозят почту и пассажиров в лодках. Лодка плывет по реке, а лошади тянут ее вдоль берега. Когда попадаются скалистые берега, а их здесь очень много, принимаются за весла, а лошадей вплавь перегоняют на другой, более пологий берег или гонят их в обход скал.

В период весеннего и осеннего ледоходов ездят сухим путем, так называемой тропой. Эта тропа вьется тут же вдоль реки, там где-то, на обрывах скал, высота которых достигает до 1500 футов. На этой головокружительной высоте тропа суживается иногда до аршина. Привычная верховая или вьючная лошадь осторожно шагает, а непривычный путник, сидя на ней, сбивает ее своими нервными движениями, и иногда летят они оба вниз, на острые камни, разбиваясь, конечно, насмерть.

Лучше уж пешком идти, но и то при условии, если не кружится голова. В противном случае лучше всего сидеть в Сретенске и терпеливо ждать прохода льда: весной, в конце апреля, несколько дней, осенью больше месяца, — от половины октября до конца ноября.

На это время таким образом вся остальная Восточная Сибирь остается отрезанной от своего центра. Положение неудовлетворительное и даже, с точки зрения политической, опасное.

Выбирая между шоссе и разными типами железных дорог, самый дешевый будет, конечно, узкоколейная железная дорога. Если где она уместна, то, конечно, здесь, среди этих неприступных скал, занимая место не более 1 1/2 сажен в ширину, тогда как для ширококолейной нужно 2 1/2, а для шоссе не меньше 3 1/2. А количество земляных работ на этой дороге имеет решающее значение в смысле стоимости ее. Так на Забайкальской железной дороге, близ Сретенска, — на версту, земляных работ приходилось 4 тысячи кубических сажен при

цене 6 рублей за куб. Здесь же место более трудное, и надо считать их не менее 6 тысяч кубических сажен, при цене 8 рублей (больше скалистых работ) — Для узко же колежной железной дороги потребуется 2 тысячи кубических сажен (она уже, и радиус ее, вместо 150, может быть 35 сажен, вследствие этого является возможность обходить многие скалы). И таким образом на один излишек земляных работ (32 тысячи) хватит выстроить рельсы, шпалы, подвижной состав и проч.

Что касается до провозоспособности этой узкоколежной железной дороги, то она не уступит ширококолежной здесь, так как уклоны ее по реке будут незначительны, а при таких условиях и разницы нет в силе тяги.

Благодаря, как я сказал, любезности С. Г., мы не только не скучали, но провели наше время незаметно в Сретенске.

С С. Г. мы старые приятели, лет двенадцать назад работали вместе на постройке одной дороги. Тогда мы оба были еще молодыми строителями. Теперь С. Г. занимает большое, ответственное место самого трудного участка дороги.

Среди гостей С. Г. крупный золотопромышленник, уже глубокий старик, но энергичный, бодрый, сухой, как мумия, с длинной, как у Черномора, седой вьющейся бородой.

Он помнит основание Благовещенска, Владивостока, он знает всю эту Сибирь, как себя, и пользуется большим значением здесь. Его зять из молодых технологов. Он устроил здесь цементный завод, на миллион пудов выделки в год, и в один год пустил его в ход. Что это для Сибири, какая энергия нужна для этого, поймет и оценит только здешний житель.

Завод в пятнадцати верстах от Сретенска, и я, Н. А., доктор и С. Г. ездили на этот завод.

Громадное четырехэтажное здание из дерева, с железной обшивкой, все в удушливой едкой пыли от глины, песка, размолотого камня и угля. В этом аду все работники только китайцы. Грязные, потные, с косой, обмотанной вокруг головы, полунагие они лежат каждый около своей печи, и их поднимает владелец завода резким, коротким: «Хэ!»

И это «хэ», как эхо бича из «Хижины дяди Тома», тяжело режет ухо.

Владелец — экономный, расчетливый человек. Он напоминает тип героя из «Паяцев» Леонковалло в первом действии, когда торжествующий хозяин выезжает на сцену: он бьет в барабан и смотрит, бьет и опять смотрит, словно считает: и эта телега, и этот осел, и этот весь цирк, и жена в тележке — все это его и только его. И все это даст ему денежки: круглые, золотые, и все они будут его и только его.

Дом владельцев со всеми удобствами и даже электричеством, но впечатление опять: все это так, между прочим, как и сама жизнь в доме, а главное там, в этой пыли и вони, где затрачен миллион, и все к нему приспособлено, и самой жизни нет, не чувствуется.

Не хочется ни миллионов этих, ни всей этой прозаичной жизни. Доктор привез было свою гитару, но она так и пролежала на пароходике.

Две женских фигурки — миловидные — мелькали перед глазами. Но это как-то так, как второстепенное.

Тоже «женское», как величал сибирский ямщик своих женщин. У рабочего человека, без капитала, С. Г. куда теплее и веселее.

8 августа

Третий день на маленьком буксирном пароходе. Мы единственные пассажиры.

Ночевали сегодня посреди Шилки. По обыкновению, в три часа ночи спустился туман, и простояли до восьми утра.

Ночь тихая, сырая и гулкая. Это вода Шилки, мутная, озабоченная, обгоняет нас. Скорость воды здесь, по определению капитанов, до ста верст в сутки. Вероятно, это так и есть, так как плесов, то есть тихих мест на реке, где нет струек и водяных вихрей, очень мало.

Часам к десяти утра выяснилось, и холод сразу сменился порядочной жарой, — одна параллель с Харьковом чувствуется.

Все те же гористые, пористые леса, пустынные берега. В них медведи, козы. Ниже верст на шестьсот начнутся тигры. Через двадцать — тридцать верст попадаются одинокие домики — это почтовые станции, их семь, или, как называют их здесь, — семь смертных грехов.

Они тянутся до села Покровского, там, где сливаются Аргунь и Шилка, откуда, как известно, и начинается уже Амур.

Переезд от такой почтовой станции до другой, в лодке, занимает около суток.

Места живописны, иногда горы громоздятся и ближе жмутся к реке, иногда расходятся и, покрытые синей дымкой, далекой декорацией стоят на горизонте.

Но все пустынно: нет людей, и не тянет к себе своей пустыней эта далекая сторона; увидеть и забыть.

Было пять часов вечера, когда мы подошли к устью Аргуни.

Аргунь вышла под острым углом из-за ряда высоких, зеленым лесом покрытых сопок (или салачков, как здесь называют).

На мгновение мелькнула высокими горами сжатая долина Аргуни и даль уже китайских владений.

На острой косе, между Аргунью и Шилкой, расположилось наше небольшое казацкое селение — Усть-Стрелка ^[3]. Отсюда, ниже, весь правый берег уже китайский.

Такой же пустынный, покрытый рублеными лесами, как и наш. На его берегу стога сена — это казаки наши снимают у китайцев их угоды в аренду.

По китайскому берегу в голубой блузе и широких штанах, с косой сзади, пробирается китаец — это нойон, начальник пограничного поста. Вот его избушка. Этому нойону пароходчики дают несколько рублей и рубят китайский лес на дрова, на сплавы, и так же поэтому мало леса у китайцев, как и у нас. Молодняк растет, а от старого только следы, — дорожка, по которой спускали его со стосаженной высоты. Много таких следов. Спущенный к реке лес вяжется в плоты и спускается к Благовещенску.

А еще через полчаса мы пристали и к станции Покровской.

На мгновение улыбнулась была надежда, что стоявший у берега большой пароход повезет нас вниз по реке. Но, увы! большой пароход идет вверх, а вниз, часа четыре тому назад, ушел почтовый, следующий же пойдет не раньше трех дней.

Поистине в нашей злополучной поездке какая-то скачка с непреодолимыми препятствиями: и чем больше напряжения с нашей стороны, тем все хуже выходит.

На наш вопрос: сколько наш пароход взял бы за доставку нас в Благовещенск, ответ: «Пятьсот-шестьсот рублей».

Этого барьера по крайней мере не перескочишь. Сегодня ночуем на пароходе, а завтра перебираемся на берег, если, впрочем, найдем квартиру, так как ни гостиниц, ни постоянных дворов нет. Ни того, ни другого не желают всесильные здесь казаки.

Вечереет. Мы стоим у берега. Зеркальная поверхность воды, прекрасный закат и тишина. Изредка только нарушается она вздохами нашего парохода. Как загнанное животное при последнем издыхании, он вздыхает тяжело-тяжело.

Вот розовой мглой охватило воду, вспыхнула она на мгновение в ответ небу ярким заревом и задымилась вечерним туманом.

Огоньки загораются на берегу нашем и китайском.

Село Покровское на небольшом от берега возвышении — все, как на ладони: две церкви, несколько зажиточных домов, но большинство бедных.

— Вот казаки, прямо сказать, грабят, а нищими живут: все кабак...

Это говорит пришедший к нашему капитану в гости капитан большого парохода, на который мы возлагали было наши надежды. Мелкая фигурка, блондин, лет тридцати пяти. Полный контраст с нашим. Наш капитан старый морской волк, громадный, с кожей темной и блестящей, как у моржа, шестидесяти двух лет, молчаливый и несообщительный. Новый же капитан охотник поговорить, и в полчаса он рассказал много интересного. Он сам казак, но признает, что ленивее казака ничего нет на свете.

С постройки Забайкальской и Уссурийской дорог, когда появились в качестве рабочих китайцы, казаки возненавидели китайцев. В борьбе с ними все меры дозволительны. Их убивают, обкрадывают.

— Вы слышали, вероятно, что вот китайцы детей в котлах варят. Выдумка голая: знает, что врет, и врет, — врет и верит уже сам: сам себя разжигает... Вчера пришел я с пароходом сюда; атаман на пароход: так и так, на каком основании китайцев-пассажиров на пароходе везете, паспорта у них неисправные. — «А я откуда знаю? Я не полиция... Пассажир сел, деньги отдал, больше до меня не касается». А вся штука в том, что эти пассажиры взяли по три копейки с пуда выгружать наш груз. Так вот откажи им, а казакам по

пятаку отдай. А дай по пятаку, по гривеннику запросят, сами себя не помнят. Составил протокол, к мировому тянет меня. Ну, однако, мировой не то, что было: можно сказать, с ними пришел и закон, наконец, старое пора и забыть.

— Хорошее было старое?

— Денной грабеж был. У какого-нибудь полицейского чина в полной власти... Как вот у китайцев, такая же организация...

— А китайцы ваши действительно были без паспортов?

— А без паспортов, шельмецы... Есть у них что-то по-ихнему написанное, а что, такое, кто разберет? Настоящих паспортов ни у одного нет, у всех, кто здесь работает... идут и идут... и нельзя их не брать в работу: кто ж работать будет? Из-за чего же? Мы все из Маньчжурии покупаем: и хлеб, и мясо, и водку, а без них мы досиделись бы до двадцати рублей за пуд говядины, как было во время Желтугинской республики...

На берегу в раздумье, слегка покачиваясь, стоит рабочий в блузе, высоких сапогах и слушает, что говорит капитан.

Лицо его слегка вспухло, он светлый блондин, маленькие умные глаза его впились в говорящего.

На последние слова капитана он раздраженно говорит:

— Не придется...

— Что не придется?

— Не придется, и господин прокурор господ китайцев, прохвостов и жуликов, вон высылит всех до последнего на ту сторону (он показывает на китайскую границу)... чтобы и казаки могли есть хлеб, который им посылается судьбой. И не для того посылается, чтобы его китайским тварям отдавать. Так-с... На копейку бы просил казак всего больше, и того нельзя уважить...

— Вот и слушайте его... А скажите им, что в России за пятачок семьдесят верст везут, да нагрузят и выгрузят...

— Россия нам не указ.

— Не указ? А в Америке копейку за это самое платят.

— И Америка не указ, а что вот господа пароходчики недостаточно гуманны к рабочему русскому человеку и в свое время поплатятся за это, так это тоже верно-с.

— Ты рабочий? Пропойца чиновник...

— Вот...

Пропойца проговорил это с горечью, протянул руку и вскрикнул патетически:

— О незабвенный Некрасов... Помните-с? Кому вольготно, весело живет на Руси? Купчине толстопузому...

С трагическим жестом и энергично покачивая головой, он отошел к небольшой группе казаков.

— Вот и разговаривайте с ними, — с не меньшей горечью сказал мой собеседник, — китаец в день зарабатывает до десяти рублей на выгрузке, русскому мало: дай двадцать, а за тысячу верст провоза мы берем всего двадцать копеек. Из них за нагрузку отдай пятак, да пятачок за выгрузку, что ж останется? И ведь так и будут сидеть, так и сидят, поджавши колени, вот как на... Ну-с, мне пора...

Капитан ушел, а я остался. Темнеет. Синеватый прозрачный туман заволакивает горы, даль, село. Дымится река, все так же тяжело стонет пароход. Какая-то фигура подошла к берегу.

— Господин...

Я подхожу. Пропойца чиновник.

— У вас выгрузки не будет?

— Завтра...

— Вы нам?

— Вам...

— Я интеллигентный человек: копейки денег нет.

Я бросаю монету, он ловко ловит и с ужимками быстро скрывается.

Пока стоял он, слушая разговор наш, прошло больше часа.

В это время шла выгрузка, и он мог бы заработать ровно в десять раз больше, чем то, что получил от меня.

— Истинно образованного человека сейчас видно, — раздается его поощрительный голос из темноты.

Мне стыдно и за себя и за него, и я быстро ухожу в каюту.

9 августа. Село Покровское

Месяц, как выехали мы из Петербурга, а до Владивостока еще дней пятнадцать. Вот и короткий путь. Думали сделать его меньше месяца, но он вышел длиннее всякого другого. А что он стоит, этот путь... При всех лишениях, с отсутствием горячей пищи включительно обойдется до тысячи рублей на человека. Тогда как на

пароходе пятьсот рублей со всеми удобствами культурного пути. Сколько вещей уже разворовано, попорчено, во что превратились наши новенькие чемоданы! Все подмочено, отсырело. А ощущение своего полного бессилия в борьбе со всеми случайностями и непредвиденностями этого пути, где в лице каждого писаря, содержателя почтовой станции, ямщика, парходчика является какой-то неотразимый фатум, с которым нельзя бороться, спорить... Изломанные, измученные, разбитые ужасной дорогой, нелепыми препятствиями, вы, наконец, погружаетесь в какое-то кошмарное состояние с одной надеждой, что кончится же когда-нибудь это.

Проснулся в семь часов. Туман густой, серый, сплошной висит кусками какими-то. Пронизывающая сырость. Все спят еще. Не хочется спать: горечь бессилия грызет, — лучше вставать. Встал, оделся и вышел. Наши вещи уже вынесены на берег. Идет нагрузка муки на пароход. Рабочие всё китайцы. Работают сегодня по четыре копейки с пуда.

— А казаки?

Спят казаки.

Носят крупчатку. Вся крупчатка здесь до Читы из Америки. В Николаевске она 2 рубля 75 копеек (за 55 фунтов), в Сретенске — 4 рубля 50 копеек. Крупчатка соответствует нашему второму сорту.

Пью чай на палубе. Туман расходится. Усть-Стрелка верстах в четырех выплывает уютно на своей косе. Казаки просыпаются. Целый ряд на берегу маленьких лодок-душегубок. На них ездят по реке на ту сторону. Ребятишки гурьбой соберутся и плавают в этой валкой и ненадежной лодочке: вот-вот опрокинется она — звонкий их смех несется по реке.

Душегубка побольше пришла с той стороны: в ней трое. Казак постарше, в шапке с желтым околышком, серой куртке с светлыми, пуговицами, с желтыми нашивками, казак помоложе и третий, какой-то рабочий: у них в лодке таинственный бочонок — водка китайская.

Привезли с той стороны барана нам. Баран худой, и в России красная цена ему 4 рубля, здесь — 9 рублей и шкура хозяину. Пуд мяса выйдет. Сейчас же на берегу зарезали его. Снимают шкуру, вынимают внутренности.

Ноги, голову и часть барана подарили команде, половину передка — капитану, внутренности забрали китайцы. Они бросили работу и,

присев на корточки, моют эти внутренности в реке.

Доктор выплянул. Прошел на берег, осмотрел барана:

— Дорого...

— В покупке участвуете?

Доктор экономен.

— Нет.

— Порциями будем отпускать. Сколько дадите за порцию?

— Тридцать копеек.

Бекир, уже догнавший нас, смеется. Бекир очень рад барану, называет его не иначе, как барашек, и хвалит.

Но кухарка нашего парохода, старенькая, как запеченное яблоко, говорит:

— Дрянь баран: тощий, смотреть не на что. Бекир не унывает:

— Ничего, хорош будет.

Н. Е. проснулся. Ему хочется сегодня поохотничать.

Надо распаковать оружие: кстати, увидим, что с ним сделалось в дороге. Н. Е. и доктор занялись этим на берегу. Остальные пьют чай на палубе.

— Ну, все пропало, — кричит Н. Е., — промокло, заржавело, все рассыпалось.

— Глупости, — кричит доктор, — разве могут патроны промокнуть?

Мы идем все смотреть. Промокнуть не промокло, но вид некрасивый: плесень, ржавчина.

— Надо скорее чистить, — говорит доктор.

Он чистит, разбирает. Кругом казаки. В ружьях они понимают и любят их. Хвалят магазинку с разрывными пулями на медведей и тигров. Хвалят охотничьи ружья, но в восторг приходят от карабинки-револьвера Маузера.

— Эх, и ружья же нынче делать стали.

Прицеливают, рассматривают.

— Не продаете?

— Нет.

— А то продайте: пользу дадим.

Китайская фелюга прошла. Широкая черная лодка, сажени в четыре, с парусиновым навесом посреди... Четыре китайца на веслах,

два на руле, один выплывает из-под навеса. Посреди мачта, и к ней прикреплен римский парус.

— Что они везут?

— Водку свою казакам, а то опиум.

Подальше у берега стоит более нарядная раскрашенная фелюга, тоже китайская. Посреди устроена деревянная будочка, раскрашенная, узорно сделанная.

По берегу гуляет китаец, молодой, одетый более нарядно. В костюме смесь белых и черных цветов. Туфли подбиты толстым войлоком в два ряда. Он ходит, кокетливо поматывая головой, выдвигая манерно ноги.

— Кто это?

— Так, писарь какой-нибудь... — говорит наш капитан. — А называет себя полковником... Казаки спрашивают: «А сабля твоя где?» Мотает головой. Так думает, что если скажет полковник, — важнее будет. На пароход ихнего брата много придет. «Я полковник, мне надо отдельную каюту...» В общую с людьми его, конечно, не посадишь...

— Почему?

Наш старый капитан смотрит некоторое время недоумевающе на меня.

— Так, все-таки же он нечистый... Кому приятно с ним?

— Злые китайцы?

— Когда много их и сила на их стороне, — люты... А так, конечно, ниже травы, тише воды... умеют терпеть, где надо.

В час дня пароходик наш «Бурлак» ушел назад в Сретенск, а мы переселились в слободу.

Наш домик в слободе из хорошего соснового леса, сажен шесть в длину, с балкончиком на улицу. Обширная комната вся в цветах (герань, розмарин), прохладная, вся увешанная лубочными картинками.

После жары улицы здесь свежо и прохладно, но на душе пусто и тоскливо, и с горя мы все ложимся спать. А проснувшись, пьем чай. После чая доктор с Бекиром принялись за разборку своих вещей, а мы, остальные, сидим на балконе и наблюдаем местную жизнь.

Дело к вечеру, на улице скот, телята, собаки, дети, взрослые, едут верхом, едут телеги.

В перспективе улицы, в позолоте догорающего дня, получается яркая бытовая картинка. А на противоположной стороне улицы огороды — в них подсолнухи, разноцветный махровый мак, громадный хмель, напоминающий виноградные лозы.

Проходят казаки, казачки. Народ сильный, крепко сложенный, но оставляющий очень много желать в отношении красоты. Главный недостаток скуластого, продолговатого лица — маленькие, куда-то слишком вверх загнанные глаза., От этого лоб кажется еще меньше, нижняя часть лица непропорционально удлиненной. Это делает лицо жестким, деревянным, невыразительным. Напоминает слепня — что-то равнодушное, апатичное.

— Просто заспанные лица, — язвит Андрей Платонович.

На балконе появляются доктор и Н. Е. Молодое лицо Н. Е. все такое же бледное, слегка опущенное русой бородкой, добродушные большие серые глаза. Сегодня он проходил верст десять на охоте.-

— Надо пристреляться к ружью.

Улица стихла. Вечереет. Потянуло прохладой и ароматом лесов. Бекир готовится все для шашлыка из баранины.

— Ну вот выискалась долинка, вы живете здесь, а там за этими горами что? — спрашиваю я хозяина, старого казака. Я показываю на север, где в полуверсте уже встают горы.

— Там горы да камни.

— И далеко?

— По край света.

— Не сеете там?

— И не сеем и не косим. Медведь там только да коза. Здесь насчет посева...

Казак машет рукой.

— Ну, вот вы говорите, что на каждого рожденного мальчика наделяется сейчас же сорок десятин, — вероятно, уже немного свободной земли?

— Где много. Если б не умирали...

— Давно живете здесь?

— Сорок лет, как основались, здесь.

— У вас старинных женских одежд нет или всегда ходили так?

— Как так?

— Да вот в талию?

— Прежде рубахи да сарафаны больше носили, а нынче вот мещанская мода пошла.

Мода очень некрасивая: громадное четверугольное тело слегка стиснуто уродливо сшитой талийкой, а между юбкой и талией торчит что-то очень подозрительное по чистоте. Нет грации, нет вкуса, что-то очень грубое и аляповатое. Нет и песен. Прекрасный предпраздничный вечер, тепло — где-нибудь в Малороссии воздух звенел бы от песен, но здесь тихо и не слышно ни песни, ни гармонии.

Молчит и китайский берег. Мгла уже закрывает его, потухло небо, и река совсем темнеет, и безмолвно пуста улица — спит все. Иногда разносится лай громадных здешних собак. Пора и нам спать. И спится же здесь: сон без конца. Прозаичный, скучный сон, без грез и сновидений. А зимой-то что здесь делается?..

10 августа

Хотели вчера пораньше лечь спать, но увлеклись приготовлением шашлыка и засиделись долго.

Учителем был Бекир, конечно. Жарили во дворе, у костра. Шашлык вышел на славу. Было ли действительно вкусно, или нравилась своя работа, но он казался и сочным и вкусным, таким, словом, какого мы никогда не ели.

— Заливайте красным вином, обязательно красным, — дирижировал доктор, последним отставший от шашлыка.

Мы уже давно пили в комнате чай, когда со двора раздался его отчаянный вопль:

— Тащите меня от шашлыка, а то лопну.

Он и сегодня с сожалением вспоминает:

— Много хороших кусков пропало: жир все.

— Жир разве полезен для желудка?

— Для моего и гвозди полезны.

Конкурент доктору в еде Н. Е. Мы им обоим предсказываем паралич.

Ночью спалось плохо: много уж спим. Ночь мягкая, теплая, с грозой и дождем. Пахнет укропом и напоминает Малороссию с ее баштанами, свежепросоленными огурцами, арбузами и дынями.

Пробуждение утром неприятное: сразу сознание бесцельного торчанья в каком-то казацком селе.

Но так как ждать придется, может быть, и несколько дней, то решил забрать себя в руки.

Встал, умылся, напился чаю и отправился в соседний дом заниматься: сперва английским языком, затем чтением о Корее и Китае.

Сижу и занимаюсь под аккомпанемент визгливой ругани моих хозяев-казаков.

Как они ругаются! И мужские и женские голоса...

Старухи голос:

— Я тебе не молодуха, и не имеешь надо мной больше закона.

Или:

— Ах ты, пьянчужка, вредный старик, поперечный...

Мужскую ругань, к сожалению, по совершенной нецензурности, привести нельзя: грубая, плоская, с громадной экспрессией.

Ясно мне во всяком случае, куда девают избыток своей энергии казаки и с кем они воюют в мирное время.

А между тем разгар жнитва, и с вечера собирались уехать. Но так как-то не поехалось. Послали молодуху с китайцами жать, а сами вот и отец, и сын, и мать, и сестра здесь не наругаются.

Заглянул и ко мне старый, всклокоченный, нечесанный казак — очевидно, до нового праздника чесаться не будет. Ходит страшилищем. Бекир предложил было ему под машинку остричься у него, но казак только зрачками сверкнул на Бекира.

Отворилась дверь, и вошел Н. А., а за ним тонкий, молодой, потертый походом морской офицер.

— Позвольте познакомить вас, господа: лейтенант Р.

Лейтенант, простой, симпатичный, в белой тужурке, уселся, и мы заговорили сразу обо всем; и о Порт-Артуре, откуда он едет, и о Корее, о японцах и Маньчжурской дороге, о Русско-Китайском банке, о Гинцбурге, неофициальном поставщике флота и армии там, на Востоке.

— Замечательный человек этот Гинцбург, — рассказывает нам моряк, то подбирая со стола крошки, то вертя что-нибудь в руках (признак деятельной натуры), — начал свою карьеру простым разносчиком, в конце шестидесятых годов, бегая с корабля на корабль. Теперь, у него громадный кредит в Китае, Японии, Америке, у англичан. Бывший дезертир наш, — теперь уже его простили, —

Станислава имеет, разрешен въезд в Россию. Весной было как прижали нас с углем! Нет угля — англичане весь скупили: семьдесят шиллингов за тонну. А Гинцбург по тридцати дал, и пароходы оказались зафрахтованными, все вовремя доставил. В убыток себе доставил.

— Что же его побуждает?

— Надеется, вероятно, контракт когда-нибудь на поставки заключить... Англичане давали ему шестьдесят шиллингов, началась американо-испанская война, американцы предложили семьдесят, а он нам — по тридцать.

— Большое количество?

— Тогда мы взяли сто двадцать тысяч пудов.

— Только скажете название корабля — «Александр Иванович командир». И он уже знает, как этого Александра Ивановича уважить, какой провиант он требует, что особенно любит. Без него плохо пришлось бы. Он и Русско-Китайский банк — два всемогущих человека на Востоке.

— Банк силен?

— Все в его руках.

— Как постройка Маньчжурской дороги?

— Не знаю... Кажется, хорошо.

Входит доктор. Рубаха красная, лицо расстроенное, с энергичным движением бросает фуражку.

— Нет, это черт знает что такое! На почтовом пароходе, который завтра придет из Сретенска, ни одного свободного места. Зачем же мы, отказавшись от удобств пассажирского парохода, без еды, прорвались сюда? Чтоб из первых стать последними? Вот где понимаешь русскую поговорку: «Тише едешь, дальше будешь».

Но так нельзя. Держим военный совет, и в результате Н. А., моряк и я идем на почтовый пароход, с которым приехал г. Р. и который ждет пассажиров из Сретенска, чтобы пересадить их к себе и ехать в Благовещенск.

Очень любезный капитан разводит руками и показывает телеграмму агента о точном количестве пассажиров. После энергичных переговоров получаем наконец согласие его на пять мест.

Только что сошли с парохода, подходит капитан другого стоящего здесь буксирного парохода и говорит:

— Получил телеграмму ехать назад, в Благовещенск. Через два часа еду. Если хотите, могу вас взять с собой.

Хотим ли мы?!

Пусть опять буксирный и без буфета, только бы ехать.

Спешим домой. Новая беда: Н. Е. неизвестно куда ушел на охоту.

Беда с молодыми охотниками. В час дня какая охота?

Ищи его теперь. Назначили пять рублей тому, кто его найдет, а сами принялись укладываться и обедать.

Три часа, мы уже на пароходе «Михаил Корсаков» и едем до Благовещенска без Н. Е.

Любезный лейтенант Р. взялся доставить ему записку и устроить его на пассажирском пароходе.

Пароход наш в 400 сил, сидит 3 фута, на ходу 3 1/2 фута, а при полной скорости, когда заливает от хода палубу, опускается до 4 футов. Мы идем со скоростью двадцати семи верст в час, но скоро начнутся перекаты, и тогда пойдём тихо.

Собственно, пароход несравненно больше «Бурлака», но помещение наше хуже. Нам уступили столовую — небольшую каюту. Она внизу, с двумя небольшими круглыми окошками. Бросили жребий, кому где спать. Мне с Н. А. пришлось на скамье, доктору на столе, А. П. под столом. Впрочем, оба они устроились на полу. Кормить нас взялись, чем бог пошлет, и с условием не быть в претензии. После двадцатидневного сухоядения, о каких претензиях может быть речь?

Большая часть команды — китайцы. Нам прислуживает подросток китайчонок Байга. Он юркий, живой, полный жизни и веселости. Говорит, как птица.

У китайцев множество горловых и носовых звуков, чрез разные наши «р» они прыгают, и поэтому в их произношении наш русский язык немногим отличается от их китайского.

Перед самым отходом появился на берегу чиновник рабочий. Сегодня он трезв и задумчив. Лицо интеллигентное и испитое.

Я спросил его:

— Как ваши дела?

— Сегодня была работа.

— Много заработали?

— За полдня три рубля.

— Хороший заработок.

— А много ли его? И пароходы не каждый день приходят, а через два месяца и конец всему, а зимой и копейки негде добыть здесь. Здесь казаки своим хлебом и не живут, да и на Аргуни в этом году хлеба нет.

— На Аргуни большие посевы?

— Аргунь весь Амур кормит.

— А здешние казаки чем кормятся?

— Да вот дрова для пароходов, а зимой извоз — это два главные их промысла.

— Охота?

— Нет, это уж на любителя.

Тон чиновника-работника мягкий, ласковый, смущенный. Мы постояли еще немного и расстались. Не легка здесь жизнь такого.

Мы плывем, и опять зеленые горы по обеим сторонам. Старый лес весь срублен и сплавлен, молодой зеленеет.

Мы, русские, рубим и на своем, и на китайском берегу, но и за свой и за китайский лес наша казна берет ту же таксу: восемьдесят копеек с сажени.

— Так ведь это китайский лес?

— Китайский.

— А китайцы берут что-нибудь за свой лес?

— Ничего не берут.

Оригинально во всяком случае.

Мы уже верст семьдесят отъехали от Покровского, было около шести часов вечера, самое приятное время, — время, когда от гор уже спускается на реку тень, когда прохладно, но солнце еще на небе и золотит еще своими яркими лучами, и небо прозрачное, нежно-голубое, и даль воды, и зелень гор.

Я и доктор сидели на палубе и работали, когда торопливо спустился с своей рубки капитан и слегка взволнованно обратился к нам:

— О Желтуге вы слышали?

— Ну, конечно.

— Вот она.

— Где, где?

Мы жадно поднялись с своих мест, всматриваясь в китайский берег. Между двух гор, в незаметном сразу ущелье показались какие-

то домики, обнесенные забором. Это и есть устье Албазихи, в которую впадала Желтуга. На берегу китайский городок. Верстах в двадцати выше по этой реке и был центр знаменитой Желтугинской республики. Там и добывали хищническим образом китайское золото жители всех стран, но по преимуществу китайцы и русские.

Население республиканской Желтуги достигало до 12 тысяч жителей. Основатель ее — наш интеллигент из судебного мира. Каждые 20 человек имели своего выборного, и этот выборный имел свое ближайшее начальство.

Во главе стоял выбираемый общим собранием старшина. Старшина этот получал 12 тысяч. Жалованья у всех были крупные: было из чего платить — вырабатывали на человека до 20 золотников, то есть до 150 рублей в день.

Наш капитан сам был и работал в Желтуге. За шесть месяцев он вывез чистых 8 тысяч рублей. При этом за фунт сухарей приходилось платить золотник золота: других денег там не было.

— Вы сами работали?

— Но там все сами работали.

Состав был самый разнообразный: беглый каторжник, студент университета, чиновник, он — наш капитан — жили и работали вместе. Нарытое золото оставляли в незапертой лачужке, и не было случая воровства. Порядок был образцовый. Содержалась громадная полиция из конных маньчжур. Законы Линча — короткие и суровые. За смерть — смерть. За воровство — наказание плетьюми и вечное изгнание из республики.

— Вот, вот на этом месте, на льду, и происходили все экзекуции. — Капитан показывает рукой.

Мы вплоть проходим около китайского городка. Он постройками не отличается от наших сел: окон только больше и окна больше, из мелких рам, с массой маленьких стекол. Много решетчатых и резных украшений, но редкий дом открыт. Большинство же с улицы скрыто за забором из частокола. Стоят китайцы: рослые, крупные, уверенные. Ни одной китаянки ни в окне, ни на улице.

Русских не видно, а в наших селах китайцев больше иногда, чем русских.

— Вся Желтуга в золоте, от самого устья. Теперь китайцы там машины поставили. Во главе предприятия Ли-Хун-чан. Сколько таких

приисков, где русские разыщут золото, а китайцы потом работают. Весь китайский берег золотой, а на нашем ничего нет... Вот долинка перешла и на нашу сторону — прямое продолжение, а золота нет.

Я говорю капитану:

— А теперь есть какая-нибудь новая Желтуга?

— Нет, следят. Вот проведем дорогу, будет Маньчжурия наша, бросаю опять капитанство и иду.

— В новую республику?

— Обязательно.

— Понравилось?

— Забыть нельзя.

— Нам дайте телеграмму, — говорит доктор, — тоже приедем.

Капитан, красивый, лет тридцати пяти, среднего роста человек: очевидно, житель Сибири, по-американски готовый всегда взяться за то дело, которое выгоднее или больше по душе.

— А отчего вы ушли оттуда, капитан?

— Начались преследования. Сперва мы дали было отпор китайским войскам, а затем, когда и китайские и русские войска пришли, решено было сдаться. Я-то раньше ушел: кто досидел до конца, тот должен был оставить и имущество и золото китайцам. Уходили только, в чем были. Золото китайцы взяли, а дома сожгли. Русские войска паспортов не требовали и всех отпустили, а китайцы своим порубили головы (до трехсот жертв). Некоторые китайцы, чтобы спастись, отрезали косы себе, но, конечно, это не помогало. Где-то есть фотографии расправы китайских войск со своими подданными: целыми рядами привязывали их к срубленным деревьям и потом рубили головы. По одну сторону дерева головы, по другую — тела. Там насчет этого просто.

— По поверью китайцев, он без косы и в свой рай не попадет, — тащить его не за что будет?

— Хотя косы, собственно, не религиозный знак, а признак подданства последней маньчжурской династии. А это поверие относительно рая у китайских масс действительно существует.

Мы плывем и плывем. Горы всё меньше и меньше. Это уже не горы, а холмы. Все больше и больше низин, поросших мелким лесом. Вероятно, почва годится для культуры, но та же пустыня и у китайцев и у нас.

Настал вечер, и мы остановились у сравнительно высокого и скалистого берега. В нежном просвете последних сумерек, на фоне бледно-зеленоватого неба, видны в окна на выступе берега отдельные деревья, две-три избы, сложенные дрова.

Мы берем дрова, и треск и грохот падающих на железную палубу дров гонит нас из каюты.

На берегу горят костры, освещающие путь носильщикам дров. Русские и китайцы носят. Русские несут много (до полусажени двое), китайцы половину несут. Из мрака вырисовуется вдруг, при свете костра, такое лицо китайца, желто-бледное, с широко раскрытыми от напряжения глазами, и вся фигура его, притиснутая непосильной тяжестью. Но в конце концов китайцы кончили свой урок раньше русских: они быстрее носили...

Доктор, Н. А. и А. П. взобрались на верх утеса, развели там огонь и сидят. Свет костра падает на их лица, и лица эти рельефно и мертвенно вырисовываются во мраке ночи... Встал доктор и запел «Проклятый мир» и «...и будешь ты-царицей мира» эффектно, сильно и красиво, но вряд ли доступно уху аборигенов. Китайцы, впрочем, любят пение, и плазетки нашего Байги каждый раз разгораются, когда доктор берется за свою гитару. Ужинать позвали. С выезда из России первый раз ем порядочно. Было два блюда всего — суп и котлеты, но и то и другое по крайней мере можно было есть: просто и вкусно. Готовила какая-то простая кухарка, средних лет, с красивыми, но уже поблекшими глазами. В этих глазах какая-то скорбь, что-то надорванное и недосказанное. Когда доктор поет, она замирает где-нибудь за углом и вся превращается в слух.

Байга счастлив и носится. Угостил Н. А. вместо воды водкой, и на его обычный отчаянный вопль, точно его режут (вероятно, ребенком он так закатывал на каждый довод своей няни), Байга только корчит ему свои уморительные рожи.

Капитан сообщил неприятную новость: на ближайшем перекате нас пересадят на другой буксирный пароход «Адмирал Козакевич» — родной брат, впрочем, по конструкции с нашим.

Неприятность в том, что придется простоять по этому поводу до утра.

Так и случилось: пришли на перекат, где ждать нам пароход, часов в пять вечера, и бросили посреди реки якорь.

С горя занялись стрельбой в цель: бросали в воду бутылки и стреляли в них. Карабин Маузера оказался вне конкуренции. Получили, как и у казаков, так и здесь, несколько предложений продать его. Оказывается, что во Владивостоке цена ему семьдесят рублей, тогда как я заплатил в Петербурге тридцать шесть рублей. Если и во всем такая же разница, то, несмотря на порто-франко [4], вплоть до Иркутска от Владивостока, расход на перевозку купленного, пожалуй, оправдается.

Странное это порто-франко, на протяжении четырех тысяч верст в глубь страны: тут ли не быть дешевой жизни, а между тем нет в мире более дорогого уголка.

— Дорого, как в игорном доме, в этой Сибири, — отозвался как-то о здешней Забайкальской Сибири один чиновник, — сторублевка — не деньги.

Чей-то товар выгружается, какого-то злополучного, отсутствующего хозяина. Не ждать же его.

— Эй, кто желает за счет хозяина выгружать?

— Давай, — неторопливо встает с бревна казак, представитель артели, дожидавшейся давно настоящего случая.

— Сколько слупите? — завистливо осведомляется у него команда.

— Небось не ошибемся.

— Копеек десять?

— Да, а кто меньше ему сделает?

Прогрессирует ли жизнь при таких условиях?

Выдерживает, конечно, только скупщик и сбытчик краденого или хищнического золота. Да китайцы.

Мы разговариваем с капитаном о перекатах и мелях, препятствующих судоходству по Амуру.

Деятельность в этом отношении министерства путей сообщения только начинается. В прошлом году пришли две землечерпательные машины (что значат эти две машины на тысячи верст?), но все лето простояли где-то на мели. В этом году они готовят себе зимний затон.

Расставили было створы, наметили фарватер, но прошлогоднее, совершенно исключительное наводнение весь фарватер изменило, и теперь никто уж не руководствуется установленными сигналами.

— Теперь все старые лоцмана насмарку, — вся наука теперь яйца выеденного не стоит.

Целый класс людей насмарку! Хорошо, кто вновь успеет пройти эту науку, а для многих это уже отставка, и без пенсии.

В этом году особое мелководье, и парходчики после хороших лет льют теперь горькие слезы.

Мелководье и полноводье чередуются здесь, по наблюдениям местных жителей, пятилетием: пять лет полноводных, за ними пять мелководных.

Если хорошенько во все это вдуматься, то, пожалуй, что во всех отношениях, и политическом, и экономическом, и военном, железная дорога необходима для этого края протяжением две с половиной тысячи верст от Сретенска, с Владивостоком в конце, где теперь сосредоточивается столько интересов наших.

И как бы ни противились сторонники центра, но в интересах того же центра железная дорога в наши дни нужна так же окраинам, как и центру, как нужны солнце, воздух всем...

Вопрос здесь только в том, как на те же деньги выстроить как можно больше дорог. И, более чем когда бы то ни было убежденный, я говорю, что в глубь Сибири надо строить узкоколейную дорогу, — мы ничего не потеряем в провозоспособности и силе тяги, а истратим денег много меньше. И, конечно, все это было бы более чем ясно, если бы у нас существовал общий железнодорожный план, а не сводилось бы всегда дело к какой-то мелочной торговле — к покупке фунта сахара только на сегодня.

Ошибка, простительная людям сороковых годов, когда была принята у нас не более узкая колея, подходящая более к карману, а более широкая, подходящая более к крепостнической ширине тех времен, повторяется к в наши дни, когда, при желании решить правильно вопрос, есть все данные из теории и фактов для рационального его решения...

Довольно.

Синее небо — мягкое и темное — все в звездах, смотрит сверху. Утес, «салик», обрывом надвинулся в реку, ушел вершиной вверх; там вверх, сквозь ветви сосен, еще нежнее, еще мягче синева далекого неба.

Все на палубе прикикло и слушает нашего певца. На этот раз репертуар подошел ближе и захватил слушателей.

Новые и новые песни. Вот тоска ямщика, негде размыкать горе, и несется подавленный, сжатый тоской отчаянья припев: «Эй, вы, ну ли, что заснули? шевелись живей, — воронные, золотые...»

Все слушает больше молодой, сильный народ, со всяким бывало, и песня, как клещами, захватила и прижала их: опустили головы и крепко, крепко слушают.

Доктор кончил, и из мрака вышел какой-то рабочий. Протягивает какие-то ноты и говорит:

— Может быть, пригодится: Шуберта...

— Благодарю вас, — говорит доктор и жмет ему руку.

Ответное пожатие рабочего, и он уж скрылся в толпе.

Кто он? Да, в Сибири внешний вид мало что скажет, и привыкший к русской градации в определении по виду людей сильно ошибется здесь и как раз миллионера золотопромышленника примет за продавца тухлой рыбы, а под скромной личиной чернорабочего пропустит европейски образованного человека.

12 августа

Все боялись, что рано потревожат для пересадки, но проснулись в восемь часов, и все тихо. Напились чаю, вышли на палубу.

— Когда пересадка?

— Да вот...

Занимались, пообедали, кто уснул и выспался, когда наконец предложили переходить на другой пароход. Перешли и в пять часов поехали дальше.

Прежний капитан, прощаясь с нами, говорил:

— Послезавтра к вечеру будете в Благовещенске.

Но человек предполагает, а бог располагает.

Проехали двадцать верст и сели на мель: на полном ходу, с размаху мы врезались в эту мель. По гравелистому дну реки скользнуло железное дно нашего парохода — загрохотало, рывкнуло, и пароход сразу стал.

Плохо, что при этом нас как-то нехорошо — поперек течения — повернуло: оплеухой, как говорится здесь.

Мы перегнулись и печально смотрим в воду. Колесо и часть середины на мели, и дно мели едва покрыто водой. Но под кормой глубоко, как глубоко и с другой стороны, и мы можем изломаться, опрокинуться, котел не выдержит и взорвет...

День к концу, новый месяц в небе, солнце мирно садится и, прощаясь, красными печальными лучами смотрит оно на нас, бедных странников Сибири.

13 августа

Утро. Туман. Мы стоим на мели. Вокруг нас блестящее общество: так же, как мы, сидящий уже на мели пароход «Князь Хилков», ожидающий очереди «Граф Игнатъев», еще какой-то генерал, не забудьте, мы сами «Адмирал Козакевич», ждем наконец «Адмирала Посьета», словом, сухопутных и морских деятелей здешнего края достаточно. Теперь они из своих портретов грустно смотрят на нас.

Капитаны пароходов ездят друг к другу с визитами. К нам не ездят, потому что у нас нет буфета, да и провизии нет. За день до нашего крушения наш пароход уже просидел восемь дней на мели, — там и съели всю провизию, и нас кормят теперь тухлой солониной и прогорклым и испорченным маслом. Мы по-прежнему всё бьемся, — освободим нос, корма увязнет, освободим корму, нос увязнет. Совершенно без всякого толку, как-то поперек реки ползет какой-то новый пароход. Царапается он чуть не посуху: завезет якорь и тянется. Заднее колесо отчаянно вертится, разбрасывая желтую пену и камни.

— И куда он только лезет, дурак махровый? — ругаются наши матросики, — вот попадет на эту струю и снесет на нас: тогда на неделю засядем.

В это время какой-то пароход, не обращая внимания на все здешнее общество, проходил наш пережат у другого берега полным ходом и совершенно благополучно.

Афронт и вместе с тем открытие: фарватер, как оказывается, есть и к тому же согласуется и с теорией всех фарватеров.

После, этого все капитаны снимаются с якорей и собираются разойтись в разные стороны, кому куда лежит путь.

А новый пароход между тем, перековыляв через мель, действительно ввалился в ту струю, о которой говорили матросики, и, прежде чем мы успели оглянуться, его снесло на наш стальной канат,

соединявший наш пароход с берегом и служивший нам подспорьем для снятия самих себя с мели. Для себя навалившийся пароход счастливо отделался, но наши носовые крепи, за которые канат был укреплен, не выдержали, и стальной канат, свободный теперь в носовой части от крепи, стал рвать и ломать наши буксирные арки, перила и, наконец, левую колонну, поддерживающую верхнюю рубку. В этой рубке помещались каюты служащих, кухня.

Все это сопровождалось треском и пальбой, как из пушек, криками метнувшейся в разные стороны команды и диким воплем женской прислуги, и длилось одно и очень короткое мгновение. А затем поверка и осмотр наших разрушений и веселое сознание, что все целы, живы и здоровы.

Все в духе, возбуждены, и то, что новый пароход окончательно и безнадежно втиснул нас в самую сердцевину мели, то, что вокруг, до середины парохода обнажилась сухая отмель гравия — никого больше не тревожит.

Так как это уже авария, то мы и даем теперь отчаянные свистки о помощи. Не успевший уйти «Граф Игнатъев» уныло отвечает и остается нас вытаскивать.

К вечеру навалившийся на нас пароход, наконец, благополучно скрывается на горизонте. Вместо него появляется пассажирский «Адмирал Посъет».

Он осторожно, в версте, бросает якорь и на лодке едет к нам в гости (не к нам, собственно, а к «Графу Игнатъеву»).

Наш капитан, неутомимый работник, пробегает мимо и весело кричит:

— Если канат выдержит, сейчас снимемся.

Роковое если... Канат с пушечным выстрелом рвется, и вся работа дня опять насмарку, потому что нас мгновенно опять относит на прежнее место, а может быть, и на худшее.

— Не везет, — разводит руками капитан.

— Слава богу, что все целы.

Оказывается, впрочем, не совсем все: у двух ноги перебило или помяло, у третьего, китайца, ребра.

Наш доктор возится уже с ними.

Ко всему дождь, как из ведра весь день, и мы все промокли, и сыро так, как будто бы мы уже сидим на дне реки. Вечер и ранний

туман. Где-то далеко выдвинулась из мрака гора, и, освещенная отблеском зари, она кажется где-то в небе, светлое облако на этой горе — источник света.

Мы в каюте. Ленивый разговор о прошедшем дне: поломки больше, чем думали сначала, — не только на корме, но и на носу сорвало все. Цепь на руле лопнула, ослабели блоки рулевые, что-то в машине, и поломаны колеса, дрова на исходе и нет провизии. Ездили за ней на другой пароход, но нигде ничего нам не дали.

— На завтра хлеба больше нет, — говорит кухарка, — завтра — сухари.

— Доктор, — говорит Н. А., — если вы мне не дадите кали бромати, я кончу тем, что двум сразу в морду дам...

— Не советую, — методично отвечает доктор. — И, помолчав, говорит: — Побьют.

Но Н. А. отчаянно машет рукой и говорит:

— Пусть бьют, а все-таки дам.

Разговор обрывается вдруг появлением Н. Е. Б. Общий радостный крик.

Он приехал на пароходе «Посьет».

— Ну, как же вы?

Н. Е. сел, пригнулся, по обыкновению, и смотрит, точно соображает, как же действительно он?

— Да ничего.

— Много дичи настреляла?

— Да я ведь не дичь стрелял, а рыбу ловил. Я ведь двенадцать сомиков поймал. Прихожу: уехали, говорит хозяйка. Я так и сел. Вот тебе и раз, думаю. Дал с горя себе слово никогда не удить рыбу.

— Ну?

— Ну, тут пришел Р.: объяснил. Я с горя и курить начал.

Н. Е. в доказательство смущенно вынул и показал коробку папирос.

— Ну, как же вы доехали?

— Доехал, положим, хорошо. Р. — хороший он человек — сейчас же повел меня на пароход, представил всем.

— Дамы были?

Н. Е. отвечает не сразу, улыбается и нерешительно говорит:

— Были.

— Смотрите, смотрите, — говорит доктор, — он весь сияет.

Совсем юное еще лицо Н. Е. действительно сияло. Голова его слегка ушла в плечи, он сидит и словно боится пошевелиться, чтобы не разогнать приятных воспоминаний. Только глаза, красивые, лучистые, смотрят, не мигая, перед собой.

— Ну, рассказывайте же, молодой тюлень, — кричит доктор.

— Да что рассказывать, — медленно, не торопясь начинает Н. Е., — видите, в чем дело. Ехала на том пароходе одна дама.

— Гм... дама, — басом перебивает доктор и крутит усы.

— Да не дама... дочь у нее, — смущенно дополняет Н. Е.

— Дочь?.. Черт побери.

— Четырнадцать лет.

— Что? Ха-ха-ха. Вот так фунт...

— Такая симпатичная, просто прелесть. Мы с ней рыбу уддили.

— После зарока-то?

Н. Е. совсем смущен. Мы все хохочем.

— Да вот, — разводит он смущенно руками, — так уж вышло... Рыбы много... Только успеваешь закидывать удочки... И так еще: сомок сорвется, а какая-то рыбушка боком на крючке. Три раза так вытаскивали. Я нигде никогда столько рыбы не видал...

— У нас нынче Н. А. из револьвера застрелил рыбу.

— А вот скоро кета пойдет, — здешняя рыба, — с моря; она прямо стеной плывет, одним неводом их до двух тысяч пудов вытаскивают враз.

— В пятнашки с ней играли, — говорит тихо Н. Е.

— С кем? С кетой? Да он совсем влюблен, — орет доктор, — нет, ему песни надо петь.

Доктор снимает гитару и говорит:

— Ну, слушайте.

Он поет, а Н. Е. так и замер.

— Хорошо?

— Хорошо, — чистосердечно признается Н. Е. и улыбается.

Белые зубы его сверкают, глаза видят другой свет.

— Да ну вас к черту, уходите, — смотреть завидно...

— И то: ехать пора.

— Да как же вы поедете?

— Да вот: свезут на берег, а там версты две берегом... трава высокая по пояс, да мокрая...

— А как вы спите без подушки, одеяла?

— Так и сплю, — теперь ящик какой-то под голову.

Как мы его ни удерживали, как ни пугали барсами и тиграми, Н. Е. ушел.

Дождь будет мочить его, будет один он пробираться темной ночью в мокрых камышах. Что ему дождь, камыши, тигры? Весь охваченный пенем и памятью встречи, он будет идти, и кто знает, эта прогулка не будет ли лучшей в его жизни?..

— Экая прелесть, — говорит доктор после ухода, — сколько ему лет?

— Двадцать два.

— Завидно, ей-богу.

— Да вам-то много ли?

— Двадцать пять, — грустно вздыхает доктор.

Опять заглянул Б.:

— А, может быть, хотите на наш пароход ехать?

Я скажу капитану. Только мест нет.

Пока выхода не было, казалось, хоть на лодке, лишь бы ехать дальше. А теперь жаль: жаль сурового здесь житья нашего, жаль в бою побывавшего нашего изломанного парохода, команды, молодого капитана, энергичного, трудолюбивого, на которого шишки невзгод так и валяются отовсюду: в это лето девятый раз сидит на мели.

Но благоразумие берет верх, и мы решаем наутро перебраться к «Посъету». Мест, правда, нет, — будем на полу где-нибудь в столовой спать.

— Так, значит, до скорого свидания?

— Спокойной ночи.

14 августа

Наш молодой капитан неутомим. Всю ночь возился и теперь носится по палубе, своими длинными ногами делая громадные шаги. Совсем было выправил нос «Игнатъев», но опять оборвался канат, и мы, как-то перевернувшись на 180°, врезались опять в ту же мель. Ну и канат...

Плохо, «Посъет» прошел мимо на всех парах... А должен нас взять: во-первых, у нас авария, во-вторых, оба парохода того же общества. Не взял... Что ж? С горя работать. Спустились в каюту и засели кто за что.

И вдруг, когда, казалось, всякая надежда исчезла, что-то произошло, и неожиданно всунулась в каюту нашу голова капитана.

— Снялись...

Это было так хорошо, что вопрос, как снялись, был второстепенным.

Мы бросились наверх. Прекрасный день, светит солнце, покачиваясь уже на глубине, стоит наш пароход, а подальше «Игнатъев».

— Поздравляем вас, капитан.

— Это не меня — это капитана «Игнатъева» надо поздравить: таких товарищей, как он, редко встретишь.

«Игнатъев» скоро ушел. А часа через три, починившись кое-как, пустились и мы в путь.

Правый берег — маньчжурский. Хотя победителями всегда были маньчжуры и всегда китайцев били, но китайцы шли и шли, и теперь культуру маньчжур бесповоротно сменила китайская стойкая, все выносящая культура. Последние вольности маньчжуров отбираются одна за другой, и некогда всемогущая родина последней династии, теперь она только ничтожная провинция в сравнении с остальным громадным Китаем.

Маньчжуры напоминают наших казаков Сечи. Такие же бритые, с длинными усами, мужественные и мрачные. Но их теперь уже так же мало, как и зубров Беловежской пуши. Все проходит...

Кучка матросов разговаривает.

Все это уже знакомые люди: вот стоит кузнец, в светло-голубой грязной куртке, таких же изорванных штанах, жокейской шапочке, громадный, с крупными чертами лица, с умными большими глазами. Другой матрос, тоже громадный, в плисовых штанах, рубашке навыпуск, высоких сапогах, с большой окладистой рыжеватой бородой. На матроса не похож: скорее на русского кучера, когда, отпрягнув лошадей, свободный от занятий, он выходит погуторить на улицу.

Третий, маленький, тоже русский, в пиджаке и высоких сапогах, с лицом, испещренным оспой, и мелкими, как бисер, чертами.

— Это что за горы — гнилье, этот камень никуда не годится, — говорит кузнец, — так и рассыпается... Горы за Байкалом... Идешь по берегу, и нельзя не нагнуться, чтобы поднять камешек, набьешь полные карманы, а впереди еще лучше. Высыпешь эти, новые начнешь набирать...

Это мирное занятие не подходит как-то ко всей колоссальной и мрачной фигуре кузнеца.

Разговор обрывается.

Переселенцев вовсе мало нынче: только и плывут на плотах. То и дело мимо нас плывут такие плоты, большие и маленькие. Стоят на них телеги, живописные группы мужчин, женщин, детей, лошади, коровы. Огонек уютно горит посреди плота.

Наш пароход разводит громадные волны для таких плотов, и их качает, и усиленно гребут на них.

Эти плоты дойдут до Благовещенска, где и продадут их переселенцы, выручая иногда за них двойные деньги.

— Что, второй пароход всего с переселенцами. А назад едущих довольно...

— Земель мало? — спрашиваю я.

— По Зее есть... не устроено... кто попадет на счастье, а кто мимо проедет, никто ничего не знает...

Это бросает, как бьет молотом, кузнец.

— У вас ввели мировых? — спрашиваю я.

— Ввели.

— Довольны?

— Если не испортятся, ничего.

— Как испортятся?

— Как? Взятки станут брать... Русскому человеку, бедному,дохнуть нельзя, а китайцам — житье. Закона нет жить им в Благовещенске, а половина города китайская... Грязь, как в отхожем месте, у них: ничего...

— Нечистоплотны?

— Падаль едят, конину, собак — грязь... тьфу... Водкой своей торгуют.

— Тайком?

— А так... дешевая и вдвое пьянее нашей... Сейчас напейся, — сегодня пьян, а завтра выпей натошак полстакана простой воды, и опять пьян на весь день... ну и тянется народ за ней... Китаец всякому удобен... Положим, не торопи его только — он все дело сделает. А против русского втрое дешевле... Опять русскому должен — надо отдать... Если по шее ему, и он сдачи умеет дать; а китайцу дал по шее да пригрозил полицией, — уйдет без всякого расчета и не заикнется...

Молчание.

— И вот какое дело, — говорит кузнец, — совсем нет китайских баб. Китайцев, ребяташек — все мальчишки, а баб нет; штук десять на весь Благовещенские может же десять их такую уйму народить? И вот я в ихней стороне пробирался и чуть под пулю не попал, — у них это просто, — и в фанзах ихних мало баб...

— Прячут от нас, боятся обиды, — глубокомысленно вставляет с мелкими чертами лица матрос.

— Положим, — говорит кузнец, — нельзя и нашего брата хвалить. Не то, что уж на своей стороне, а на ихней без всякого права заберется к ним, то за косу дернет, то толкнет, то к бабам полезет... А ведь китаец, когда силу свою чуёт, — его тоже не тронь...

Кузнец мотает головой.

— В какую-нибудь ночь да выйдет же от китайцев резня в Благовещенске: все счета свои сведут... И откуда они только берутся: батальон, два в другой раз вышлют на облаву, всех к реке их, прочь на свою сторону, а на другой день еще больше их...

— Ну, так как же? Чем бы полиция кормилась? Для этого и гонят, чтоб потом опять пустить.

Все те же щи из тухлой солонины на обед и та же, жаренная на горьком масле, солонина.

— Яиц нет?

— Нет.

— Молока?

— Ничего, кроме солонины и сухарей.

Вечером пристали к деревушке. Нашли две курицы, пять бутылок молока. Больше во всей деревне ничего.

— Как же вы живете?

— В прошлом году наводнением все смыло, нынче посохло, да вот падеж... Год без падежа редко же пройдет... Где бы и посеяли и увеличили бы пашню, что ж поделаешь без скотины? То и дело наново, дочиста обзаводись...

15 августа

Сегодня пошли с четырех с половиной часов утра; тумана почти не было. Идем хорошо и хотим, кажется, на этот раз без приключений добраться до Благовещенска.

Доктор лежит и философствует.

Я смотрю на него и думаю: тип ли это девяностых годов если не в качественном, то в количественном отношении. Он кончил в прошлом году. Практичен и реален. Ни одной копейки не истратит даром. Ведет свой дневник, педантично записывая действительность. Ест за двоих, спит за троих. Решителен в действиях и суждениях. Знаком с теорией, симпатии его на стороне социал-демократов, но сам мало думает о чем бы то ни было. Вообще все это его мало трогает. То, что называется квинтисст.

— Да-с, господин хороший, — рассуждает он на своей койке, — как у швейцарцев? Восемь часов работы, восемь сна, восемь отдыха... Ну-с, так вот и мы нашу жизнь устроим: семь, ну, черт с ним, девять месяцев работы, а три мои... Пожалуйте, отец диакон, денежки на кон — в Италию... Хорошие места... в Венеции: часовенка на Пиаццете... Этак лежишь, а публика проходит... Пансионерочка какая-нибудь пустит бумажку в тебя и бежит... Из сорока — тридцать красавицы. Песни, воздух: хорошо...

— Ура... Благовещенск! — кричит сверху Н. А.

Мы бросаемся на палубу.

Оба берега Амура плоские, и горы ушли далеко в прозрачную даль.

Благовещенск как на ладони, — ровный, с громадными, широкими улицами, с ароматом какой-то свежей энергии: он весь строится. Впечатление такое, точно город незадолго до этого сгорел. И как строятся! Воздвигаются целые дворцы. Люди, очевидно, верят в будущность своего города.

Положим, в сорок лет город дошел до сорока тысяч населения, являясь центром всей золотой промышленности.

На слиянии Амура и Зеи, против того места Маньчжурии, где наиболее густо население ее.

Пока дела Маньчжурии минуют Благовещенск, но говорят, что с окончанием постройки Маньчжурской дороги вся торговля перейдет в руки русских купцов.

Все во всей Сибири рассчитывают на эту Маньчжурию, от купца до последнего рабочего, и кузнец нашего парохода говорит:

— Вот бог даст... Эх, золотое дно...

21 августа

Мы выехали из Благовещенска 19-го.

Пароход наполнен пассажирами, которых раньше мы всех обогнали на лошадях. Теперь они удовлетворенно посматривают на нас: «Что, дескать, обогнали?»

Мы в роли побежденных покорно сносим и приветливо смотрим на всех и вся.

Впрочем, редко видим их, заняты каждый своим делом.

Редко видим, но знаем друг о друге все уже. Кто об этом говорит нам? Воздух, вероятно, пустота Сибири, где далеко все и всех видно. Это общее свойство здешней Сибири: народу мало, интересов еще меньше, и все всё знают друг о друге.

Как бы то ни было, но я знаю, что рядом, например, со мной в такой же, как и моя, двухместной каюте едут две барышни. Одна в первый раз выехавшая из Благовещенска в Хабаровск. Она робко жметя к своей подруге и краснеет, если даже стул нечаянно заденет. Известно, что при таком условии все стулья всегда оказываются как раз на дороге, и поэтому здоровая краска не сходит с ее щек. Это, впрочем, делает ее еще более симпатичной. Вторая — бестужевка. Она едет из Петербурга в Хабаровск учительницей в гимназию. Большие серые глаза смотрят твердо и уверенно. Стройная, сильная фигура. Спокойствие и уверенность в себе и своей силе. Она одна проехала всю Сибирь: для женщины, а тем более девушки, — это подвиг.

— Где счастье? — спрашивает ее кто-то на палубе.

— Счастье в нас, — отвечает она.

Я слышу ее ответ и смотрю на нее. — Она спокойно встречает мой взгляд и опять смотрит на реку, берег.

Широкая раньше и плоская долина Амура опять суживается. Снова надвигаются зеленые холмы с обеих сторон. Это отроги Хинчана. Здесь уже водятся тигры, и взгляд проникает в таинственную глубь боковых лощин. Но старого леса нет и здесь: не защитили и тигры, и всюду и везде только веселые побеги молодого леса.

Садится солнце и изумительными переливами красит небо и воду. Вот вода совершенно оранжевая, сильный пароход волнует ее, и прозрачные, яркие, оранжевые волны разбегаются к берегам. Еще несколько мгновений, и волшебная перемена: все небо уже в ярком пурпуре, и бегут такие же прозрачные, но уже ярко-красные, блестящие волны реки. А на противоположной стороне неба нежный отблеск и пурпура, и оранжевых красок, и всех цветов радуги. И тихо кругом, неподвижно застыли берега, деревья словно спят в очаровании, в панораме безмятежного заката.

За общим ужином молодой помощник капитана рассказывает досужим слушателям о красоте и величине местных тигров, барсов, медведей.

Медведи здешних мест, очевидно, большие оригиналы: перед носом парохода они переплывают реку; однажды, во время стоянки, один из них забрался даже в колесо парохода.

— И что же? — с ужасом спрашивает одна из дам.

Доктор грустно полуспрашивает, полуотвечает:

— Убили?

Смех, еще несколько слов, и знакомство всех со всеми завязано.

Потерянное время торопятся наверстать. После ужина доктор поет, Н. А. играет, он же по рукам определяет характер и судьбу каждого. Он верит в свою науку и относится к делу серьезно. Одну за другой он держит в своих руках хорошенькие ручки и внимательно рассматривает ладони. Чем сосредоточеннее он, чем больше углубляется в себя, тем сильнее краснеют его уши. Они делаются окончательно багровыми и прозрачными, когда одна из дам, у которой оказался голос и которой он взялся аккомпанировать, совсем наклонилась к нему, чтоб удобнее следить за его аккомпанементом.

После пения он встал, как обваренный, поводит плечами и тихо говорит кому-то:

— Жарко...

Раз уже зашла речь об обществе, долг автора представить его читателю.

Оно состоит из четырех дам, двух господ и нас.

О двух дамах я уже говорил. Прибавить остается, что учительница оказалась тоже сведущей в трудной науке хиромантии и читает по рукам судьбу человека. Но Н. А., очевидно, опытнее ее и с своим обычным деловым видом сообщает барышне разные тонкие детали этой науки. Такой-то значок указывает на то, что человек утонет, а такой-то — удар в голову. Барышня слушает его внимательно, вежливо, с какой-то едва уловимой улыбкой.

Две других — дамы...

Я боюсь погрешить. Из своей каюты я слышал разговор каких-то дам: эти ли, другие — я не знаю.

Речь шла о выкройках, кружевах, вязанье. Долго говорили... энергично, бойко, с завидной энергией жизни... В другой раз я слышал их: лениво одна из них... как бы это выразиться поделикатнее... ну, разбирала, что ли, членов своего общества.

Мелко, все это мелко, как зернышки проса, которые сытая курочка поклевывает. И, опять повторяю, я слышал, но не видел и не знаю, кто были эти дамы. Может быть, заходившие к нам иногда пассажирки второго класса.

Те же две дамы нашего общества, с которыми я познакомился, были несомненно очень милые дамы, именно «нашего общества».

Одна, постарше и посановитее по мужу, уже десять лет проживающая в Сибири, другая, совсем молоденькая, приехавшая прямо с юга — Крыма или Кавказа — попала сюда два-три месяца всего назад, никогда не видала зимы и ждет ее. Ждет так же пассивно, как смотрит на весь божий мир.

Двадцать два года, хорошенькая, но уже расплнела и, вероятно, будет и дальше полнеть.

Обе дамы очень дружны, и их звонкий смех то и дело несется то с палубы, то из столовой... Каждый день эти дамы в новых костюмах, причем от простых искусно переходят к более и более сложным. С костюмами меняются и духи.

Здесь, в Сибири, масштаб большой, и тяжелый запах духов пропитал столовую и гостиную парохода.

Младшей даме кажется, что она еще никогда никого не любила, а между тем по руке выходит, что ей трижды, с большими тревожностями, предстоит познать эту любовь. И лицо ее в это мгновение, когда Н. А. усердно ей гадают, — типичное лицо Кармен, когда по картам той выходит смерть и она мрачно смотрит и повторяет: «Смерть, смерть».

Старшая дама тоже интересуется своей судьбой. Она верит всяким гаданьям. Однажды тетя возила ее к гадалкам. В первый раз они не застали гадалку дома, во второй застали, и она все, все рассказала, и все так верно... У гадалки совсем не страшно: иконы, свеча и никакой, решительно никакой, как говорится, чертовщины.

Она протягивает свою, все еще красивую ручку Н. А.

Н. А. сосредоточивается:

— Ваша жизнь раздвоена...

— То есть как?

— В смысле чувства.

— Что? что? Ха-ха... Вот сообщу мужу...

Дама все-таки, кажется, обиделась и рано ушла спать. Сегодня она, впрочем, уже опять гуляет мимо окон моей каюты, улыбается и возбужденно что-то рассказывает учительнице.

Та вежливо слушает эту даму.

Вчера вечером мы с учительницей немного поговорили, — она верит в жизнь, в свою энергию, верит в возможность производительной работы, будет работать для других, для себя, через три года поедет за границу.

Свободная вакансия оказалась только по немецкому языку, который она и взялась преподавать. Будет преподавать язык, а вместе с тем литературу, историю литературы и новейшую.

Все те же зеленые безжизненные берега. Они то сходятся в складки и отдельными зелеными холмами, как наросты, жмутся к реке, то вдруг раздвинутся и уж где-то далеко, в сизой дали, иззубривают горизонты. Тогда сюда, ближе к реке, подходит плоская равнина, низменная, мокрая, поросшая разной негодной зарослью.

Впала Уссури. Амур стал шире Волги у Самары и грозно плещется.

Китайцев все больше и больше. Здесь они старинные хозяева. Они уже однажды владели этим краем и бросили его. Возвратились

вторично теперь, потому что в нем поселились те, у которых есть деньги. Эти «те» — мы, русские. Откуда наши деньги? Из России: за каждого здешнего жителя центр приплачивает до сорока рублей. Китайцы гребут эти деньги, без семейств приходя сюда и в том же году отнеся эти деньги туда, в Чифу, на свою родину, опять возвращаются в Россию с пустыми уже карманами, но с непреодолимым решением снова набить эти карманы и снова унести деньги домой.

Все идет, как идет.

Вчера за обедом местный интеллигент говорил:

— Китаец, Китай... Это глубина такая же, как и глубина его Тихого океана... Китаец пережил все то, что еще предстоит переживать Европе... Политическая жизнь? Китаец пережил и умер навсегда для этой жизни. Это игрушка для него, и пусть играет ею, кто хочет, — она ниже достоинства тысячелетней кожи археозавра-китайца: его почва — экономическая и личная выгода... С этой стороны нет в мире культуры выше китайской... То, что человечеству предстоит решать еще, — как прожить густому населению, — китаец решил уже, и то, что дает клочок его земли, не дают целые поля в России... Что Россия? Китай — последнее слово сельской культуры, трудолюбия и терпения...

Мы не понимаем друг друга. Мы моемся холодной водой и смеемся над китайцем, который моется горячей. А китаец говорит: «Горячая вода отмывает грязь, — у нас нет сыпи, нет кожных болезней, а холодная вода разводит только грязь по лицу». Платье европейца его жмет, и китаец гордится своим широким покроем. Китаец говорит: «Европеец при встрече протягивает руку и заражает друг друга всякими болезнями, — мы предпочитаем показывать кулаки».

Известно, что китайцы здороваются, прижимая кулаки к своей груди.

Интеллигент продолжал:

— Китаец культурнее и воспитаннее, конечно, всякого европейца, воспитанность которого, вроде англичанина, сводится к тому, что, если вы ему не представлены и если вы тонете, а ему стоит пошевелинуть пальцем, чтоб спасти вас, — он не пошевелинет, потому что он не представлен. И поверьте, у китайца свободы больше, чем где

бы то ни было в другой стране. Несносного администратора вы не имеете средств удалить, а у китайцев, чуть лишнее взял или как-нибудь иначе зарвался, быстро прикончат: выведут за ворота города: «Иди в Пекин...» И назад таких никогда не присылают.

— А что вы скажете насчет рубки голов там? Кажется, довольно свободно проделывается это у них? — спросил я.

— Только кажется: попробуй судья отрубить несправедливо голову...

— Правда, что когда случаются возмущения а европейцы требуют казней, то китайские власти за десять-пятнадцать долларов нанимают охотников пожертвовать своими головами?

— Что ж из этого: китаец не дорожит своею жизнью, — чума, холера, голод и даром съедят...

— Возможен факт, сообщаемый одним туристом, что на вопрос: кого и за что казнят, ему отвечали, что казнят воинов, отбывших свой срок и не желающих возвращаться в свои семейства?

— Вполне возможен: очевидно, мошенник командир не уплатил им жалованья... Все это тем не менее в общем ходе жизни только пустяки...

22 августа

Виден Хабаровск. Где-то далеко-далеко, в зелени, несколько больших розовых зданий — красиво и ново.

— Розовый город, — сказал кто-то.

— Деревня, — поправил другой, — только и есть там, что казенные здания.

Подъезжаем ближе, значительная часть иллюзии отлетает: это действительно большие кирпичные здания — казенные здания, а затем остальной серенький Хабаровск тянется по овражкам рядами деревянных без всякой архитектуры построек.

На пристани множество парных телег, парных крытых дрожек, в пристяжку. Китайцев еще больше: здесь они всюду — на пристани, у своих лавочек, которые двойными рядами, сколоченные из досок, тянутся вверх по крутому подъему. В этих лавочках на прилавках грязно и невкусно лежат: капуста, морковь, арбузы, дыни, груши и яблоки, синие баклажаны и помидоры. Названия те же, что и на

нашем юге, но блеска юга нет, нет и существа его — это отбросы скорее юга, все эти бледные, чахлые, жалкие и невкусные фрукты.

В городе музей, и так как до отхода поезда оставалось несколько часов, то мы успели побывать там. Музей хорош, виден труд составителей, энергия. Прекрасный экземпляр скелета морской коровы. Скелет больше нашей обыкновенной коровы с точно обрубленными ногами и задней частью, переходящей в громадный хвост. Как известно, это добродушное животное теперь уже совершенно исчезло с земного шара. Еще в прошлом веке их здесь, у берегов океана, было много, и они стадами выходили на берег и паслись там. А люди их били. Но коровы не боялись, не убегали, а, напротив, шли к людям и поплатились за свое доверие. Даже и теперь в этом громадном, закругленном, тяжелом скелете чувствуется это добродушие, не приспособленное к обитателям земли.

Чучела тигров, медведей, барсов и рысей, чучела рыб, земноводных, допотопных. Дальше костюмы и чучела всевозможных народностей.

Смотришь на эти фигуры, на эти широкие скулы, втиснутые щелками глаза, дышишь этим тяжелым воздухом, пропитанным нафталином, и переживаешь ощущения, схожие с ощущениями при взгляде на скелет морской коровы: многие из них, собственно, такое же уже достояние только истории. Он и живой с застывшим намеком на мысль в глазах кажется только статуей из музея. Я вспоминаю самоеда Архангельской губернии, когда впервые, в дебрях северной тундры, я увидел его, вышедшего вдруг на опушку своей тундры. Неподвижный, как статуя, в своем белом балахоне, таком же белом, как его лайка, его белый медведь, его белое море и белые ночи, безжизненные, молчаливые, как вечное молчание могилы. Не жизнь и не смерть, не сон и не бодрствование, не конец и не начало — какая-то мертвая полоса и в ней вымирающий самоед. Их тысяча или две, и не родятся больше мальчики...

— Надо, надо мальчиков, — говорит тоскливо самоед.

Но мальчиков нет, а рождающиеся изредка редко выживают: и мальчики и девочки — все умирают от той же черной оспы, и напрасно в опорожненную меховую торбу мать сует новое свое произведение — оно заражается.

Но кто выживает, тот вынослив и водку пьет с годового возраста. Тяжело и уморительно видеть, как, почуяв запах этой водки, маленький уродец высовывает голову из своего мешка. И, если ему вольют поток в рот, он мгновенно исчезает и уже спит.

В передвижениях этот мешок с его обитателем самоед привязывает к своим саням, и прыгает мешок по снегу, догоняя сани.

Я вспоминаю другого вымирающего инородца, остяка, и его Обь, страну за Томском к северу, необъятную и плоскую, глухую страну, обитатель которой свое жалкое право на существование оспаривает у грозной водной стихии, у хозяина глухой тайги — медведя; где-нибудь, за сотни верст от жилья, встречаясь, они решают вопрос, кого из них двух сегодня будут ожидать дома.

— Если медведь встал на дыбы, — говорит остяк, — медведь мой, — и бросается медведю под ноги.

И пока этот медведь начинает своего врага драть с ног, остяк порет ему брюхо и торопится добраться до сердца. Ничего, что ключьями на ногах висит мясо, медведь уже мертвый лежит на земле.

Но пропал остяк, если умный медведь не встает, на дыбы, а бегаёт проворно на всех своих четырех лапах, — он сшибет тогда своего врага и задерет его. Не воротится остяк домой, и напрасно будут ждать его голые с толстыми животами дети, истощенная жена, все голодные, изможденные, все в сифилисе, все развращенные негодной по качеству водкой.

Это люди культуры взамен шкур принесли обитателю свои дары...

Хабаровцы, впрочем, пожалуй, могут и обидеться, что по поводу их города, лежащего на сорок восьмой параллели, я вспомнил вдруг о белых медведях и о всей неприглядной обстановке тех стран.

Что еще сказать о Хабаровске? Он основан всего в 1858 году, а назван городом всего в 1880 году. Жителей пятнадцать тысяч. Но, очевидно, это не предел, и город, как и Благовещенск, продолжает энергично строиться.

Торговое значение Хабаровска передаточное — это пункт, от которого с одной стороны идет водный путь, а с другой — к Владивостоку — железнодорожный. Самостоятельное же значение Хабаровска только как центра торговли пушниной, получаемой от разных инородцев. Самый ценный товар — соболь, лучший в мире.

В смысле жизни, в Хабаровске все так же дорого, как и в остальной Забайкальской Сибири...

Жизнь общественная, насколько удалось почувствовать ее, приурочивается к чиновничьим, военным центрам. Памятник графу Муравьеву стоит на самом командующем месте города, виден отовсюду и останавливает на себе внимание своей сильно и энергично поставленной фигурой. Фигура эта с протянутой рукой всматривается в сизую даль той стороны, где граница Китая. И, несмотря на эту твердую решимость, хорошо переданную художником, чувствуется... чувствуется то, что должно чувствоваться в таких случаях, когда смотришь вперед и хочешь увидеть все до конца: чисто физический предел, дальше которого конструкция глаза не позволяет ничего больше видеть.

Это не намек на что бы то ни было — это ощущение художника. Как ни решительна фигура, но необъятная даль захватывает сильнее, и фигура пасует перед ней.

А если мы начнем говорить о понятной аллегории, оставим физику и перенесемся в мир духовный, мир будущих перспектив и последствий содеянного, то там даль еще необъятнее.

Один дал это, другой то — все вместе снова растворили ржавые ворота Чингиз-хана, и теперь уже нет преграды этому желтому типу. И что несет он с собой? Низшие ли это исполнители высшей воли той культуры, которая недоступна им, выродившимся для нее, желтым, вечным рабам новой цивилизации — исполнители на вящую славу прогресса этой культуры, или и сами они способны воспринять эту культуру, или же, наконец, не способные к ней, но устойчивые в своей, они растворят в себе всех, без остатка, как растворили маньчжуров, монголов, корейцев и других?..

В лице китайца, каковым мы видим его теперь, всеми силами своей души, всеми помыслами обращенного назад, к своему Конфуцию, мы, очевидно, не имеем дела с прогрессистом. Но способен ли китаец отрешиться от старины, повернуться и пойти вперед? Кто ответит на этот вопрос в виду имеющегося в лице Японии факта, доказывающего эту способность? И способность выдающуюся, ошеломляющую, к которой только и можно вводить поправки вроде того, что у них денег не хватит, или что японцы только способные

обезьяны, но без всякого творчества... Поправки, требующие серьезных доказательств во всяком случае.

В вагоне большое общество: военные, разного рода служащие, искатели счастья, изредка, очень изредка какой-нибудь местный негодник; отдельный вагон-буфет, в нем все общество и оживленные разговоры о китайцах и японцах, о судьбе Востока. Горячие споры, и каждый говорит свое совершенно особое мнение, только его и считает верным, с презрением выслушивая всякое другое.

Вывод один: вопрос, очевидно, большой и жгучий, имеющий множество сторон, и каждый, видящий свою, говорит об единой открытой истине. И ясно, что изучение всех сторон и связанный с ними общий вывод еще дело большой работы будущего. И если теперь все это — темная бездна, освещенная сальными огарками, десятком-другим поверхностных исследователей, то во времена тех, кому строят здесь памятники, бездна эта и этих освещений не имела.

Но если нет знаний — много апломба, легкомыслия, цинизма, с одной стороны, полного подобострастия и приниженности — с другой.

— Китаец — труп, который и расклюют, кто поспеет...

— Китаец? Один русский на тысячу китайцев — и Китай наш: вот что ваш китаец...

— Я шесть месяцев прожил в Китае... Китаец? Что ему нужно? Третировать его en canaille... [5] При англичанине китаец не смеет сидеть, не смеет входить в тот вагон, где сидит англичанин, — тогда Китай, действительно, будет наш... А то, помилуйте, безобразие: во Владивостоке извозчик — русский человек — сидит на козлах, а вонючая манза, со своей косой, развалился на его фаэтоне... Позор.

Рядом с такими взглядами говорят:

— Надо проникнуть и понять, что такое китаец... Его коса, халат, бамбуковая трость и другие комичные внешности закрывают пред вами сущность... Китаец — глубокий философ: он смотрит со своей пятитысячелетней точки зрения... И в шестилетнем ребенке вы уже чувствуете эту пятитысячелетнюю мысль... Культурную мысль...

— В чем культура?!

— Как в чем? Решен величайший вопрос прокормления человека на такой пяди земли, на какой у нас собака не прокормится...

— Что такое японец? — несется с другого конца, — японец годен к культуре только в своих условиях, — голый, на берегу моря, где он наловит каждый день на обед себе рыбы, где на шестидесяти квадратных сажен родится сам-шестьсот рис... А русский человек треть своей силы тратит на борьбу только с холодами...

— Вы хотите знать, кто такой японец? Это француз, англичанин и тот выработанный этикетом Востока воспитанный человек, который даже горло вам перережет, улыбаясь, сюсюкая и потирая себе колени...

— Но вашего японца, обезьяну, презирает китаец и основательно говорит, что японец новому миру так же мало дает, как и мало он дал китайской классике... Что японец? Китаец — глубочайший философ, классик... «Пиши от классика»... Наши писаки у них...

И так далее. Всего не передашь.

А в контраст с этим разнообразием мнений нашей интеллигенции здесь простой народ на протяжении от Иркутска до Владивостока точно сговорился в однообразном своем мнении.

— От китайца не стало житья: работает, а что ест? Деньги наши все перетаскает на свою сторону...

Разноречие в отзывах понятно. Простой человек исходит из факта, интеллигент же, как выразился один возвращающийся переселенец по поводу переселенческого дела, — от своего большого ума.

23 августа

Из окна вагона я вижу все ту же долину Уссури, поросшую болотной травой, вижу далекие косогоры, покрытые лесом.

— Хороший лес?

— Лесу здесь нет хорошего и пахоты нет, растительный слой ничтожен, подпочва, видите... да и болотиста...

Резервы, из которых взята земля для железнодорожного полотна, знакомят хорошо с строением почвы — вершка два чернозем, дальше белая глина.

— Год-два — колоссальный урожай девственной почвы, а затем удобрение...

Кругом все так же пустынно и дико, — нет жилья, нет следов хозяйства.

— Да, здесь нет ничего... Верст за триста, не доезжая Владивостока, начнутся поселения, да и там пока плохо...

Относительно сельского хозяйства здесь два диаметрально противоположных мнения. Одни говорят:

— Здесь особенная природа: один год в сажень, полторы вырастет пшеница, и одно зерно в колосе, а на другой год баснословный урожай, весь сгнивший от дождей, или соберут, начнут есть — судороги и все признаки отравления... Так и называются наши пшеницы — пьяные... Вы видите, что здесь природа и сама не выработала еще себе масштаб: о каком серьезном переселении может быть речь... Да надо сперва привезти сюда пятьсот тысяч и все их оставить на этих сельских опытах... Донских казаков, несчастных, переселили... Два года побились: пришли во Владивосток, поселились табором — везите назад... Второй год живут: женщины проституцией занимаются... А там, где как-нибудь устроились, еще хуже: захватили все к речкам, а полугоры и горы, отрезанные от воды, обречены, таким образом, на вечную негодность: участки надо было наделять не вдоль реки, а от реки в горы, — тогда другое и было бы...

— Да там болота...

— Осушите.

— Разве это посильно переселенцу?

— Это работа не переселенца... И без этой работы ни о каком серьезном заселении края речи быть не может...

Рядом с этим:

— Ерунда! Чудные места! Богатейшие места! Свекла, сахарные заводы, винокуренные, пивные заводы, табаководство... Земли сколько угодно...

— На сколько человек?

— По крайней мере на шестьдесят тысяч.

— Что вы? шестьсот тысяч.

— Тысяч сто двадцать, — решает авторитетно третий.

Во всяком случае для прироста стомиллионной России, все эти три цифры, если даже сложить их вместе, не составят особенной находки.

Что касается до того, действительно ли чудные места, лучшие для свеклы, табаку, то, судя по внешнему впечатлению, сопоставляя рядом с этим заявление о невыработанном-де еще и самой природой

масштабе, казалось бы следовало усомниться. Но уверяют здесь так энергично...

Положим, здешние обитатели всегда, что бы ни заявляли, заявляют энергично и категорично... Некоторые злые языки говорят, что обитатель здешний попросту любит приврать. Без всякого дурного умысла.

Один в порыве откровенности так аттестовал себя и других:

— Врем; такого вранья, как здесь, не встретите нигде... Это специальное, особенное вранье: род спорта... Мы охотно отдаем залежавшийся хлам приезжему или вымениваем на интересное для нас... А если так, настоящий разговор, так ведь ничего мы в сущности не знаем, потому что едим, пьем — хорошо и едим и пьем — разговариваем, но ничего, кроме получений в разных видах денег от казны, не делаем. Прежде хоть на маиз (китайцев) охотились, когда они с наших приисков хищнически возвращались к себе на родину: теперь и это запрещено... Теперь оправдываем хунхузов и ждем, когда благодарный китаец сам придет и окажет: «За то, что ты оправдал меня на суде, я покажу тебе уголь...» А другому покажет золото, а третьего надует: деньги выманит и ничего не покажет.

24 августа

Верст за пятнадцать — двадцать перед Владивостоком железная дорога подходит к бухте и все время уже идет ее заливом. Это громадная бухта, одна из лучших в мире, со всех сторон закрытая, с тремя выходами в океан.

Ничего подобного тому, что произошло в Сант-Яго с испанским флотом, здесь немислимо.

Отрицательной стороной Владивостокского порта являются туманы и замерзаемость порта с конца ноября по март.

Для льда существуют ледоколы; туманы то появляются, то исчезают, и во всяком случае и лед и туманы не являются непреодолимым злом.

Все остальное за Владивостокскую бухту, и принц Генрих, который теперь гостит во Владивостоке, отдавая ей должное, сказал, что порт этот оправдает и в будущем свое название и всегда будет владеть Востоком.

Город открывается не сразу и не лучшей своею частью. Но и в грязных предместьях уже чувствуется что-то большое и сильное. Многоэтажные дома, какие-то заводы или фабрики. Крыши почти сплошь покрыты гофрированным цинковым железом, и это резко отличает город от всех сибирских городов, придавая ему вид иностранного города.

Впечатление это усиливается в центральной части города, где очень много и богатых, и изящных, и массивных, и легких построек. Большинство и здесь принадлежит, конечно, казне, но много и частных зданий... Те же, что и в Благовещенске, фирмы: Кунст и Альберс, Чурин, много китайских, японских магазинов. Здесь за исключением вина на все остальное порто-франко.

На улицах масса китайцев, корейцев, военных и матросов. На рейде белые броненосцы, миноносцы и миноноски. В общем, своеобразное и совершенно новое от всего предыдущего впечатление, и житель Владивостока с гордостью говорит:

— Это уже не Сибирь.

И здесь такая же строительная горячка, как и в Благовещенске, Хабаровске, но в большем масштабе.

Со всех сторон лучшей здешней гостиницы «Тихий океан» строятся дома массой китайцев, и от этого стука работы не спасает ни один номер гостиницы. С первым лучом солнца врывается и стук в комнату, и мало спится и в этом звонком шуме и в этом ярком свете августовского солнца. Особый свет — чисто осенний, навевающий покой и мир души. Беззаботными туристами мы ходим по городу, знакомимся, едим и пьем, пробуя местные блюда. Громадные, в кисть руки, устрицы, креветки, кеты, скумбрия, синие баклажаны, помидоры — все то, что любит и к чему привык житель юга. Не совсем юг, но ближе к югу, чем к северу.

А вечером, когда яркая луна, как в волнах, ныряя то в темных, то в светлых облаках, сверкает над бухтой, когда огни города и рейда обманчиво раздвигают панораму гор, все кажется большим и грандиозным, сильным и могущественным, таким, каким будет этот начинающий карьеру порт.

Ходим мы по улицам, ходят матросы наши, русские, немецкие, чистые, выправленные щеголи, гуляют дамы, офицеры, едут извозчики, экипажи-собственники. Это главная улица города —

Светланская; внизу бухта, суда. Садится солнце, и толпы китайцев и корейцев возвращаются с работ.

Китайцы подвижны, в коротких синих кофтах, таких же широких штанах, завязанных у ступни, на ногах туфли, подбитые в два ряда толстым войлоком. Нижний ряд войлока не доходит до носка, и таким образом равновесие получается не совсем устойчивое. Китайская толпа оживлена, несутся гортанные звуки, длинные косы всегда черных, жестких и прямых волос спускаются почти до земли. У кого волос не хватает, тот приплетает ленту.

Корейцы — противоположность китайцу: такой же костюм, но белый. Движения апатичны и спокойны: все это, окружающее, его не касается. Он курит свою маленькую трубку, или, вернее, держит во рту длинный, в аршин, чубучок с коротенькой трубочкой и степенно идет. Шляпы нет — на голове его пышная и затейливая прическа, кончающаяся на макушке, так же, как и модная дамская, пучком закрученных волос, продетых цветной булавкой. Лицо корейца широкое, желтое, скулы большие, выдающиеся; глаза маленькие, нос картофелькой; жидкая, очень жидкая, в несколько волосков, борода, такие же усы, почти полное отсутствие бакенбард. Выше среднего роста, широкоплечи, и в своих белых костюмах, с неспешными движениями и добродушным выражением, они очень напоминают тех типичных хохлов, которые попадают впервые в город: за сановитой важностью и видимым равнодушием прячут они свое смущение, а может быть, и страх.

Много японок, в их халатах-платях в обтяжку, с открытой шеей, широчайшим бантом сзади, без шляпы, в своей прическе, которую делает японка раз на всю неделю, смазывая волосы каким-то твердеющим веществом. Ходят они на неустойчивых деревянных подставках. Упасть с ними легко, чему мы и были свидетелями: японка загляделась, потеряла равновесие и, подгибая колени, полетела на землю. Японки низкорослы, мясисты, с лицом без всякого выражения. Не крупнее и мужское поколение японцев, в своих европейских костюмах, шляпах котелком, из-под которых торчат черные, жесткие, как хвост лошади, волосы.

Китайцы — каменщики, носильщики, прислуга; японцы — мастеровые. Высший класс китайцев и японцев захватил и здесь торговлю. В руках у русских только извозничий промысел.

Среди японцев множество отставных солдат, резервистов, запасных унтер-офицеров и офицеров.

— Эти желтые люди обладают четвертым измерением: они проходят через нас, а мы не можем...

Это говорит местный житель.

Мы в это время подходим к какой-то запрещенной полосе, и нам говорят:

— Нельзя!

— Секрет от нас, своих, — поясняет местный житель, — а эти, с четвертым измерением, там: каменщик, плотник, слуга, нянька, повар, — они проходят везде, без них нельзя. Они знают все, их здесь в несколько раз больше, чем нас, русских, и среди них мы ходим и живем, как в гипнозе.

Всё здесь, действительно, в руках желтых. Пусть попробует, например, думающий строиться домовладелец выжечь кирпич на своем заводе, а не купить его у китайца. Такого собственного кирпича рабочий китаец изведет хозяину почти вдвое против купленного у китайца.

— Плохой кирпич — бьется.

Если хозяин начнет ругаться, китайцы бросят работу и уйдут, и никто к этому хозяину не придет, пока он не войдет в новое соглашение с их представителем.

Представителем этим называют одного китайца, который искусно руководит здесь всем китайским населением, облагая их всякого рода произвольными, но добровольными поборами. Частью этих поборов он кое с кем делится, часть остается в его широких карманах. Но зато все вопросы, касающиеся правильности паспортов, для китайца не страшны, и свободно процветает азартная игра в китайских притонах.

Терпеливый, трудолюбивый китаец оказывается страстным игроком и зачастую в один вечер проигрывает все накопленное им. Проигрывает с сократовским равнодушием и опять идет работать.

В китайских кварталах грязно, скученно, и в доме, где русских жило бы двести, их живет две тысячи. Такое жилье в буквальном смысле клоака и источник всех болезней.

Теперь свирепствует, например, сильнейшая дизентерия.

Китайцам все равно, играют... каждый притон платит кое-кому за это право по сто рублей в день. Таких три притона, итого сто тысяч в

год... Разрешить их официально и улучшить на эти деньги их же часть города: строить гигиеничные дома для них, приучать к чистоте...

Я был в домах, занятых китайцами, задыхался от невыносимой вони, видел непередаваемую грязь, видел игорную комнату и грязную, равнодушную толпу у обтянутого холстом стола. При нашем появлении раздался какой-то короткий лозунг, и толпа лениво отошла, и какой-то пронырливый китаец с мелкими-мелкими чертами лица подошел к нам и заискивающе объяснял:

— Так это, так, на олехи иглали...

Я познакомился с одним очень интересным жителем.

— Все это на моих глазах, — говорил он, — совершилось уже в каких-нибудь пятнадцать лет, что хозяином стал китаец. Откажись он сегодня от работ, уйди из города, — и мы погибли. Задумай Варфоломеевскую ночь, и никто из нас не останется. Вот как, например, они вытеснили наших огородников: стали продавать даром почти, а когда всех русских вытеснили, теперь берут за арбуз рубль, яблоко семь копеек. А вот как они расправляются с вредными для них людьми. Один из служащих стал противодействовать в чем-то главе здешних китайцев. В результате донос этого главы, что такому-то дана взятка, и в доказательство представляется коммерческая книга одного китайца, где в статье его расходов значится, что такому-то дана им взятка... А на следствии, когда следователь заявил, что этого недостаточно еще для обвинения и нужны свидетели, этих свидетелей была представлена дюжина... Китайцу, когда нужно для его дела, ничего не стоит соврать... Вот вам и китаец... А так, что хотите, с ним делайте... Маньчжуры их били, били, а теперь от маньчжур только и осталось, что династия да несколько городовых... Да-с, — мрачно заключает мой знакомый, — мы вот гордимся нашей бескровной победой — взятием Порт-Артура, а не пройдет и полувека, как с такой же бескровной победой поздравит китаец всю Сибирь и дальше...

Поздно уже. Ночь, южная ночь быстро берет остатки дня. Небо на западе в огне, выше дымчатые тучи нависли, а между ними там и сям светятся кусочки безмятежной золотистой лазури.

— Будет ветер.

Ночь настоящая южная: живая, тревожная, темная и теплая.

Множество огней, и сильнее движение по Светланской улице. Едут торопливо экипажи, снуют пешеходы, из окон магазинов свет снопами падает на темную улицу. Темно, пока не взойдет луна. Кажется, провалилось вдруг все в какую-то темную бездну, в которой снизу и сверху мигают огоньки. Там, внизу, море, там, вверху, небо, но где же эти огоньки? Между небом и землей? Да, там: они горят на высоких мачтах белых, не видных теперь броненосцев. Там между ними теперь и германских три судна. Принц Генрих угощает гостей обедом, и лихо пьют, говорят за его столом и хозяева и гости.

Принц, кажется, хочет ехать до Благовещенска.

Одного из адъютантов наших, приставленных к нему, он спросил: — Стоит ли ехать в Благовещенск?

Адъютант замялся: сказать «не стоит» казалось ему неловко как представителю своей страны, с другой стороны, и соврать не хотелось.

— Жители Благовещенска будут счастливы видеть ваше высочество.

— Ну, я не для громких китайских фраз приехал сюда.

Принц любит немецкий язык и настоятельно требует употребления его в разговоре с ним не только от мужчин, но и от дам. Передают, что на благотворительном гулянье здесь, на предложение на французском языке одной красивой продавщицы шампанского, он сказал:

— Сейчас я не буду пить, но вечером у вас в доме выпью, если вы будете говорить со мной по-немецки.

— Но я говорю совсем плохо.

— У вас есть время выучить.

Было четыре часа дня.

Дама покраснела, подумала и тихо ответила:

— Я выучу...

— Но принц шутит, — по-русски резко проговорила одна из более старших дам своей растерявшейся подруге.

— Но и madame шутит, — отвечал принц на этот раз тоже по-русски, — в несколько часов нельзя выучить язык.

Кстати, о благотворительном гулянье. Это благотворительное гулянье устраивается ежегодно и дает до десяти тысяч чистого сбора. Оно продолжается весь день. Публика, по преимуществу, китайцы. Они страшно раскупают билеты аллегри, кричат от удовольствия,

глядя на японский фейерверк, и, когда из лопнувшей в небе ракеты вылетает то бумажный китаец, то бумажный корабль, они как дети бегут к тому месту, куда он должен спуститься. Надутый бумажный пузырь, искусно изображающий нарядного китайца, не спеша спускается, а толпа жадно вытянула руки, весело хохочет, кричит и ждет не дождется, когда опустится фигура настолько, чтоб схватить ее сразу всем.

Еще пример китайской азартности: торги.

На всякие торги китайцы жадно стремятся, набивают цены, и на этот раз даже не помогает во всех остальных отношениях строгая, выдержанная, корпоративная организация.

30 августа

Все эти дни прошли в окончательных приготовлениях: покупаем провизию, разные дорожные вещи.

В свободное же от покупок время знакомимся с местным обществом, и жизнь его, как в панораме, проходит перед нами. Один драматический и опереточный театр действует, лихорадочно достраивается другой — там будут петь малороссы; работает цирк.

Мы были и в театре и в цирке. Что сказать о них? Силы в общем слабые, но есть и таланты. В общем же житье артиста здесь сравнительно с Россией более сносное, и здешняя публика относится к ним хорошо. Хорошо относится и печать.

Первого сентября выходит еще одна, новая, третья Газета здесь. Дело издания в руках бывшего политического ссыльного, с которым я познакомился у бывшего его тюремного начальства на Сахалине.

Это был интересный обед, с разговорами о Кеннане и всем пережитом.

Один горячо настаивал на том, что все дело было сильно раздуто, другие, напротив, доказывали, что раздутого ничего не было. Я лично склонялся к доводам последних, так как у первых было больше азарта в нападении, чем фактов...

Речь заходит о побывавших здесь литераторах: Чехове, Дедлове, Сигме, Дорошевиче.

— Да что литераторы, — говорит хозяин дома, — это в прежнее время было что-то особенное, а теперь? Из всех сидящих здесь кто не литератор? Каждый из нас пишет в газетах — я, он, они, в

столичных... Все умеем и мысли свои высказать, и литературно изложить их, и... приврать.

— Кстати, проверить один факт, — говорю я, — про одну даму на Сахалине, которая будто бы секла заключенных.

— Кто такая?

Я называю фамилию и говорю, что она жаловалась мне на пароходе на то, что на нее так жестоко наклеветал Чехов.

— Сечь она не секла, но по лицам била сапожников, портных...

Со всех сторон следуют энергичные подтверждения. На этот раз кажется все настолько достоверным, что я решаюсь этот факт занести в свой дневник и тем восстановить репутацию своего коллеги.

Может быть, в свое время она так же горько будет жаловаться кому-нибудь и на меня. Но при чем я тут? И если говорят все, что дама эта действительно была нехорошая, злая дама, злоупотреблявшая своим, и даже не своим, а положением своего мужа, то пусть и знает эта дама, что все, конечно, можно сделать: и злоупотребить своим положением и не стесняться своим человеческим долгом, но потом для всякого наступает история, которая и клеймит каждого его клеймом.

Я не называю имени этой дамы потому, что имя это — звук пустой для всего русского общества, а для ее общества достаточно и сказанного, чтобы безошибочно узнать, о ком речь идет.

Вечером я ужинал с несколькими из здешних обитателей, а после ужина один из них позвал меня прокатиться с ним по городу и его окрестностям.

Это была прекрасная прогулка. Мой собеседник, живой и наблюдательный, говорил обо всем, с завидной меткостью определяя современное положение дел края.

— Вот это темное здание — военного ведомства, а напротив, вот это, морское: они враги... Они только и заняты тем, как бы подставить друг другу ножку. Это сознают и моряки и сухопутные... И случись осложнение здесь, мобилизация там, что ли, если не будет какой-нибудь объединяющей власти... А вот ведомство путей сообщения и контроля: опять на ножах. Опять постановка вроде того, что кто зеленый кант носит, тот мошенник, кто синий надел, тот непременно честный: я так, а я так, а в результате, что стоит рубль, обходится в сотни. Терпит казна...

— Это не только в Сибири.

— Знаю... И средство от всего этого и там одно: объединенные министерства с министром — ответственным главой.

— Скажите мне откровенно: что представляет из себя собственно ваш край? Способен он к самостоятельной культуре или вечно так будет, что, сколько Россия приплатит здесь, столько за исключением жалованья остальное унесут китайцы?

— С какой стороны, — раздумчиво начал мой собеседник, — взять вопрос. Во всем этом крае прежде всего что-то роковое и такое же неизбежное, как роды, что ли... Пришло время, и взяли Порт-Артур, хотя отплевываются и отплевывались от него все... Но все-таки край мог бы быть несомненно не той пиявкой, какой он является теперь для остальной России... с нашествием сюда китайцев, то есть рабочих рук, одна сторона таким образом решается, но другая сторона остается открытой: у нас денег нет... Надеялись мы на Русско-Китайский банк, но... банк в коммерческом отношении стоит очень хорошо. Но предприятия, которые могли бы здесь развиваться, не создаются: деньги дают на краткосрочный кредит... на несколько месяцев... на такой кредит предприятия не создашь и с таким кредитом только запутаешься... А дела много, но и денег надо много... Это не Россия: здесь для дела надо весь капитал сполна, и если хоть десятой части его не хватает, то дело будет сорвано: кредита нет... Совершенно нет... А есть и золото, и каменный уголь, и руды: свинцовая, железная, соль каменная есть. Можно и сельскохозяйственную культуру вести: и скот, и сахар, и табак, и пиво пойдет... Да как не пойти? Вы посмотрите, какие цены: бутылка пива рубль, фунт сахару двадцать пять копеек, хлеб, мясо... На все ведь безумные цены... Лес... Но вот лес наш: при разработке в один год с ним не повернешься, а таких здесь, которые могли бы затратить капитал на два года — нет... Возьмите другое громадное дело — рыба... Ведь такого изобилия рыбы нет на остальном побережье земного шара. Три осенних месяца, когда идет кета, чтоб метать свою икру в Амур, ее столько, что руками можно ловить. А ведь это та же лососина... За ней стадами плывут акулы, кашалоты... Два года тому назад убили в бухте кита... В лове пуд рыбы обходится копейка... Но для организации сбыта нужны пароходы-ледники, во всех европейских центрах склады-ледники... Солить рыбу? нужна соль, а.

ее нет: немецкая соль у нас стоит семьдесят копеек, с Сахалина пятьдесят, но и не годится, и оба эти сорта соли не годятся, — они получаются вываркой, а следовательно в них и йод и натр, и все это дает негодный для продажи товар... Нужна комовая соль... Японцы здесь вертятся, но народ безденежный... Все, на что хватает их, — это удобрительными туками увозить эту рыбу к себе... Миллиона два пудов вывозят... Иностранные капиталы сюда бы... Но не идут в такие сложные дела...

— Почему?

— Положение неопределенное — боятся произвола, взяточничества...

1 сентября

Сегодня вышел первый номер новой, здесь третьей газеты — «Восточный вестник». Редакция газеты, очевидно, чистоплотная. Лучшая будущность — пятьсот подписчиков, и следовательно людей собрала к этому делу не его денежная сторона.

Сегодня вечер я провел в их кружке, и вечер этот был один из лучших здесь проведенных вечеров.

Хозяйка дома, госпожа М., она же секретарь редакции, из числа тех беззаветных, которые своей любовью к делу, любовью особенной, как только женщины умеют любить дело, перенося на него всю ласку и нежность женской природы, — греют и светят, вносят уютность, вкус, энергию...

Выхлопотать разрешение, получить вовремя случайно запоздавшую телеграмму и таким образом прибавить интерес номеру, не спать ночь, чтобы номер вышел вовремя, выправлять корректуру и огорчаться от всего сердца, если какая-нибудь буква выскочила-таки вверх ногами, — вот на что проходят незаметно дни, годы, вся жизнь...

2 сентября

Сегодня вечер в морском собрании в честь принца Генриха. Мужской элемент представлен на вечере и в количественном и в качественном отношении эффектно. Большинство военных, всех сортов оружия. Из штатских налицо вся колония немцев. Налицо и весь деловой мир города. Большинство — это люди, своими руками

сделавшие себе свое состояние. Многим из них пришлось начинать снова в жизни, после выслуженной каторги, ссылки. Но здесь, на крайнем Востоке, мало обращают внимания на прошлое, руководствуясь немецкой поговоркой: за то, что было, еврей ничего не даст: важно то, что есть.

Зато дам мало, молодых и того меньше, барышень и совсем наперечет. Костюмов особых не было. Выдавалась одна жившая очень долго в Париже и, очевидно, прекрасно усвоившая все приемы великих франтих Парижа. Костюм ее бледных тонов, с нежно-лиловыми цветами, низенький корсет, лиф, схваченный на оголенных плечах маленькими бархатками, вся фигура изящная и в то же время декадентски небрежная, несколько дорогих камней, небрежно брошенных по костюму, делали ее на мой по крайней мере взгляд и взгляд моих знакомых царицей вечера.

В ее движениях, манерах — свобода парижанки, к которой, очевидно, плохо привыкает местное общество.

На первых порах, говорят, ей особенно трудно пришлось здесь; но затем все вошло в колею. Много помогло то обстоятельство, что виновница толков мало обращала на них внимания и, молодая, изящная, с оригинальной, хотя, может быть, и некрасивой наружностью, окружила себя блестящей молодежью морских офицеров.

Это ее штат, и за ужином симпатичные хозяева вечера в значительном числе откочевали за ней наверх, оставив своих гостей-немцев на попечение своих старших членов да сухопутных представителей наших войск.

Один из немецких гостей сидел и за нашим столом. Он хорошо говорил по-немецки, но ни на каких других языках не говорил, в то время как кругом его русские офицеры бойко перебрасывались на французском, английском и немецком языках. Не удалось немецкого гостя вызвать и на более широкую тему в разговоре: все сводилось к его кораблю, его форме и ближайшим поездкам. Зато уверенность и снисходительность этой боевой единицы были поистине завидны. Очевидно, всех нас он считал чем-то неизмеримо ниже его стоящим. Все это чувствовали и с добродушием русских относились к своему гостю, усердно подливая ему шампанское.

Когда коснулись китайского и японского вопросов, гость-немец категорически заявил, что и тех и других надо так держать. Он при этом показал на свой кулак и наивно улыбнулся. Поддержку он нашел в одном господине, который взялся, очевидно, научно обосновать этот вопрос. Он заговорил о желтой расе, о том, что, как известно, раса эта имеет совершенно отличную от нас культуру, и затем искусно перешел к немецкому, русскому и английскому кулакам, так же необходимым-де желтой расе, как воздух, пища, сон. Немец улыбался, кивал ему головой и постоянно чокался с ним. И так как задача и заключалась в том, чтобы гость-немец пил, то господин и заслужил в конце концов признательность хозяев. Я уехал сейчас после ужина, но до шести часов утра ублажали моряки своих гостей. Многие из хозяев не выдержали этого винного боя, тогда как немцы, выпив невероятное количество вина, все-таки на своих собственных ногах дошли до извозчика.

— О, дьяволы, как здоровы они пить, — говорили на другой день, — нет возможности споить их.

Впрочем, отдавая должное, и между нашими были молодцы в этом отношении.

3 сентября

Возвратился с вечера в час ночи, а в семь часов утра пароход, на котором я уезжал из Владивостока, уже выходил из бухты в открытый океан.

Еду я до бухты Посьета, а оттуда сухим путем в Новокиевск, Красное Село и далее, в Корею.

Утро, солнце лениво поднимается из-за хребтов бухты, еще окутанной молочно-прозрачным туманом.

Маленький пароход наш стоит на рейде, к нему подплывают лодки со всех сторон, с разного рода пассажирами: военные с дамами, японцы, китайцы. Китайцы-лодочники, китайцы-носильщики, китайцы-пассажиры, и звонкий гортанный говор их резко стоит в просыпающемся утре.

Неподвижно и безмолвно вырисовываются грозные, громадные броненосцы, со своими высоко задранными белыми и черными бортами.

Что-то типично южное во всей этой картине — краски юга, утро юга, южное разнообразие наречий, говоров, цветов костюмов. На борте парохода бытовая сценка.

Полицейский осматривает паспорта китайцев: каждый приезжающий и уезжающий китаец должен платить пять рублей русского сбора. Отметка делается на паспорте. Тех китайцев, у которых отметок этих нет, полицейский не пускает на пароход. Крик, шум, вопли. Китайцы, прогнанные с одной стороны, уже взбираются с другого трапа. Очевидное дело, что одному не разорваться. Некоторые уплачивают половину, третью часть, отделяются мелочью.

Полицейский пожимает плечами, жалуется нам на свое безвыходное положение и усердно в то же время прячет деньги в карман. На лицах слушающих и наблюдающих большое сомнение, кому достаются эти деньги, получаемые без всяких расписок и отметок. А денег собирается все-таки не мало с двух-трех сотен китайцев.

Возле меня моряки и военные. Речь о судах, на которых приехали к нам немцы.

— Такая же разнокалиберная дрянь, как и наши, — говорит степенный солидный моряк.

Но вот третий свисток, и заключительная картинка: полицейский спускается с трапа, а по другому стремительно бросаются на пароход массы точно из-под воды появившихся китайцев.

Полицейский уже в лодке, кричит, на минуту из-за борта выплывает к нему капитан и машет рукой: дескать, довольно с тебя — набрал.

Полицейский — человек русский, и вся фигура его говорит, что оно, конечно, что набрал, и все довольно благополучно и благовидно вышло, он машет рукой и, обращаясь к нам, невольно сочувствующим китайцам, говорит снисходительно:

— Что прикажете делать с этим народом? Кто-то сзади убежденно говорит:

— Хороший человек...

А пароход уже идет, лязгает якорная цепь, мы смотрим на город, склоны гор, окружающих бухту. Дальше и дальше горы спят в ясной синеве прозрачного осеннего утра.

— Будет качать?

— Пустяки...

— Ну-с, не говорите — в море мертвая зыбь.

Дамы испуганно смотрят вперед, где за береговыми теснинами еще прячется открытая даль. И долго еще пароход пробирается между этими извилистыми берегами, между островами. Там и сям взрытые кучи земли, скрытые постройки — это все батареи, телеграфные сигналы, укрепления, настолько сильные, что Владивосток считается неприступным со стороны моря.

Вот и остров, на котором два дня охотился принц Генрих. Немцы в восторге от охоты, единственной в своем роде. В моей памяти сохранилась цифра убитых оленей — сорок два.

— Это чисто немецкая манера — бить все и вся до последнего: не поедят...

Говорит офицер с манерами гвардейца, изысканно пренебрежительно бросая слова. Он тихо выпускает:

— Хамовье... Единственный граф, но и тот хуже нашего сапожника. Это ведь традиционная манера Гогенцоллернов — окружать себя исключительно низкопробной публикой... Единственно верный взгляд на китайцев и всю здешнюю сволочь...

Генерального штаба полковник, военный инженер, несколько дам и штабных офицеров замыкаются в свой кружок. Речь о Петербурге, штабе, военных делах, скандалах и скандальчиках. Грузно, по-медвежьи, в стороне сидят несколько армейских офицеров. Костюмы их трепаные, лица потертые, сильно задумчивые. Речь о командировках, прибавочных, о детях, воспитании, корпусах, и это все надо и надо.

— Гам-гам надо... — показывает штаб-офицер на свой рот.

Дамы, тоже задумчивые, прикрывают свои стоптанные ботинки и толкуют о выкройках, шляпках, модистках. Тут же денщики-няньки, носящие детей их на руках, играющие с ними, пока супруга офицера не позовет и не прикажет ему что-нибудь принести.

Звонят к завтраку, — одни идут, другие остаются.

Армейских офицеров и жен их мало за обеденным столом. Ни китайцев, ни японцев за столом тоже нет. Прислуживают проворные «бои» — китайские подростки, в синих коротких кофточках, с длинными косами. Есть поразительно красивые, мало похожие на общий тип китайца, с раздвоенными глазами. Это смуглые красавцы,

напоминающие итальянца, древнего римлянина. Во Владивостоке, как раз против гостиницы «Тихий океан», строится какой-то дом, и масса китайцев работают голые, только слегка прикрывая середину тела. Это здоровые, сильные, темно-бронзовые тела. Каждый из них прекрасный материал для скульптора. Собственно тот тип китайца, к которому привык европейский взгляд — только урод, который и здесь существует, как таковой. Но если взять другой тип китайца, то красотой форм, лица, руки, ноги, изяществом движений и манер, тонкостью всего резца — он, если не превзойдет, то и не уступит самым элегантным представителям Европы.

Кончился завтрак, и волна уже открытого моря весело подхватила пароход и понесла на себе. Другая на смену, — хочет перехватить, не успевает, и пароход неловко падает набок. Летят брызги во все стороны, что-то замирает в груди, пароход уже поднялся и взбирается на новый гребень волны, но, капризная, она уклоняется, и опять тяжело и неуклюже валится пароход в открытую бездну.

Что это? Качка настоящая, большая?

Да, тайфун гулял.

Еще никто никогда не спасся из тех, кто попадает в середину тайфуна. Все искусство при встрече правильно определить его центр и уходить от него... Немцы, неопытные еще мореплаватели в этих морях, чаще других платят дань грозному бичу здешних морей.

Меня не укачивает, но зато аппетит громадный. После завтрака, уже в двенадцать часов я обедал и жадно ел, мало обращая внимания на то, что из каюты несутся неприятные звуки страдающих морской болезнью. Народу мало за столом. Какой-то бедный армейский офицер, на которого качка производила, очевидно, такое же действие, как и на меня, не выдержал и сел за стол. С каким наслаждением ел он, пока жена его мучилась в соседней каюте.

А в два часа мы уже были в бухте Посьета, последней нашей русской бухте, и сразу исчезла и качка и все страхи открытого моря. Тихий залив бухты говорливо, нежно ласкаясь, расступается, сверкает переливами морская вода, и мы быстро подходим к противоположному берегу.

Вот остров — маленький сплошной утес, и миллион пеликанов, робко вытянув свои шеи и уродливые головки, смотрят на нас с

острова, шумно взлетают и опять садятся: близко, и, будь ружье, сколько бы их стало жертвой скучающего охотника.

Вот и берег, ряд казенных кирпичных построек, а на одном из холмов, на черной взрыхленной поверхности, из белых камней выложен громадный двуглавый орел.

Какой-то толстый господин, из тех практиков и бывалых людей, которые везде и всегда чувствуют себя так же свободно, как в своем кабинете, подсаживается ко мне и, пока пароход медленно подвигается и бросает якорь, говорит с деловым пренебрежением:

— Я знаю, куда и зачем вы едете; здесь мы всё знаем... Я ведь знаю и Корею и Китай вот как... В Корее я скупаю скот, в Шанхае у меня несколько домов...

И он сообщает мне массу полезных и практичных сведений о пока совершенно неизвестных мне странах. О проеханных местах он говорит:

— Нет ничего, ничего и не будет здесь: относительно сельского хозяйства, убивает все туман, который здесь от июня до августа. Верст пятьдесят дальше, у китайцев, уже другое дело, там ни туманов, ни морской соли нет.

— Леса вырублены или никогда не росли?

— Были кустарники — мало... Подпочвы совсем нет...

— Скотоводство?

— Чума, сибирская язва... Маньчжур ведь и шкуру с больной скотины снимает, а скотину или съест, или так бросит, так что рассадник всегда готов, оттого и в Сибири и здесь скотоводство — одно разорение...

Пароход остановился.

— Ну, прощайте... Смотрите, никакого оружия не берите, — все это глупости там насчет разбойников, а население обидите... Обращайтесь с ними, как с людьми, не кричите по-солдатски... Охота хорошая: козы есть, тигры, барсы: не дай бог с ними встречаться...

Влево и вправо идут разветвления залива, я еду двенадцать верст на лошадях до Новокиевска, и все тот же залив Посьета. Самые ничтожные работы, сравнительно, могут создать из него одну из лучших и громаднейших бухт в мире.

Все время по пути попадают здесь и там, отдельными городками, солидные кирпичные постройки; это все наши войска —

пехота, артиллерия.

Новокиевск — центр этих войск. На каждом шагу здесь лихорадочная постройка новых и новых зданий. Китайцы, корейцы, японцы — все те же исполнители.

Новокиевск имеет вид настоящего городка: в нем и лавки и магазины, даже отделение Кунста и Альберса. Город военный, весь в низине и разбросался на далекое расстояние. В конце его, на дворе одного окраинного дома, расположился и наш экспедиционный отряд.

Во дворе стоят палатки, а вдоль заборов двора расположены лошади. Лошади маленькие, корейские, то и дело схватываются между собой, а корейцы-конюха то и дело вскрикивают на них, издавая короткие, резкие звуки.

Всю компанию застал я в палисаднике за едой. Стол был устроен из ящиков, поверх которых было настлано по две доски. Еда в походных жестяных тарелочках, чай в таких же чашках.

С моим приездом экспедиция была вся налицо. Когда выступаем — еще неизвестно: паспорта не готовы, нет людей, нет ответа относительно запасных солдат, которыми предполагается пополнить кадр, нет, наконец, еще и полного комплекта лошадей. Хорошо, если выступим пятого.

7 сентября

Прошло пятое, седьмое сегодня — и хорошо-хорошо, если тронемся девятого. Теперь держат проливные дожди, благодаря которым река вышла из берегов, и так как мостов в этой первобытной стране нет, то и сообщений иных, как вброд, нет. Ни о каких же бродах теперь и речи быть не может. Маленькая речушка возле нас, с бродом ниже колена, теперь трех сажен глубины, и вода все еще прибывает.

Во дворе, где наши палатки, невылазная грязь, грязь и в палатках. Грязь и сырость, и все мы рискуем, не выступая еще, нажить себе солидные ревматизмы.

Обедаем уже не в палисаднике, а в доме, где раньше шла упаковка разных вещей. И теперь их здесь навалены груды, и укладчики жалуются, что мы мешаем им. Но деваться некуда, и публика толчется весь день в этой комнате. Хозяин дома в отчаянии и требует новой окраски полов.

Делать нечего, и мы знакомимся и ближе присматриваемся друг к другу.

Здесь прибавилось несколько новых попутчиков.

А. И. З.— молодой представитель экспедиции. Он одет в красивый тирольский костюм, носит белую пробковую шляпу с низким дном и широкими полями. Весь костюм придает ему не русский вид и идет ко всей его стройной, высокой и красивой фигуре. Волосы острижены при голове, черная вьющаяся борода, большие красивые черные глаза. Лицо доброе, открытое, умное, манеры предупредительные и сильное желание стусеваться. Раньше он был моряком, изучал астрономию и теперь в предстоящих работах взял на себя все астрономические наблюдения.

С Н. А. К. я уже познакомил читателя. Он считается помощником З. — энергичен, горяч и забирает себе работы по части описания существующих дорог столько, что и в несколько месяцев, вероятно, не управится.

Затем идут отдельные партии по разным специальностям. У меня их две: одной заведу я сам и со мной Н. Е. Б., а другой заведует А. П. С. и с ним доктор.

По части геологии и исследования почвы — горный инженер С. М. К.

Это человек лет тридцати пяти, высокий, сухой брюнет, уже известный исследователь, по преимуществу в совершенно диких, мало обитаемых местах. Он работал у якутов, на Охотском побережье, в Забайкалье, и где его только не носило. Рассказы его интересны, и мы слушаем его вечером, после ужина, когда две-три свечи плохо освещают наш длинный стол, а на дворе монотонно и однообразно барабанит все тот же унылый осенний дождь.

Дело свое специальное знает он, очевидно, хорошо, но все остальное мало его интересует.

В помощники себе он взял бывалого моряка бродягу, хорошо знающего Корею и все ее труппные места. Похоже на то, что оба они не прочь попытать счастья и хищнически порыть золота. Он сам говорит об этом; вероятно, помощник его обещает ему в этом отношении многое, потому что у обоих лица довольные и таинственные. Вся их партия в цвет и масть: всё здоровые, сильные, рослые молодцы, умеющие и стрелять и копать землю. Так как в

Корее добыча золота запрещена, то дело это и является, таким образом, противозаконным. Им занимаются китайские разбойники (хунхузы) и всякий сброд. Риск, таким образом, двойной: и со стороны этих хунхузов и со стороны корейских властей.

В случае осложнений неприятность и для остальной экспедиции.

Мы иногда без С. П. толкуем об этом, намекаем и ему, но он только посмеивается и загадочно говорит:

— Мое дело, и за нас не бойтесь. Его помощник весело поддерживаете

— Не пропадем.

Помощник С. П. — прекрасный и страстный охотник. Он ручается ему, что к столу будут фазаны и гураны (дикие козлы), ручается и за прекрасные отношения с корейцами.

— Только смазать как следует их губернатора, и делай, что хочешь. А их губернатор такая же неумытая свинья, как и вот наши корейцы. Сидит, ест, и тут же за столом все отправления. Ничем не брезгует: ножичек, карандаш... А уж что приказал губернатор, то свято для корейца. Кореец, как и китаец, власть признает и уважает. Власть все равно, что сам бог: хоть глупость, хоть несправедливость, приказано — закон. Так кореец ничего не даст, никуда не повезет... Раз такой случай был. Договорились с вечера, — утром ни одной подводы. Что, почему? Ничего неизвестно: не хотят, и баста. Нечего делать — к губернатору. Ну, поели, вылил я в него целую бутылку коньяку, объяснил ему, что такое русский царь там, все как следует. Потребовал губернатор к себе всех этих корейцев и ну их пороть. Бил, бил, пока не согласились, наконец, ехать. День, конечно, пропал, а на другой день поехали. Едешь около них — все битые — и жалко и смешно... Или, например, спросите у корейца яиц — «нет». Идете сами, берете из лукошка яйца, отдаете деньги — кланяется и благодарит...

Помощник С. П. даже собственник в Корее: имеет домик там и десятину земли. За дом и эту десятину заплатил четырнадцать рублей на наши деньги, что составляет шесть тысяч пятьсот корейских кеш (около 1/5 коп.)

— Зачем вам этот дом и земля?

— Да ведь человек я холостой: так ухаживать за корейками неудобно, а так выходишь вроде своего.

— Корейские женщины красивы?

— Есть очень красивые: высокие, стройные... Плечи и грудь обнаженные, снизу только что-то вроде корсета... Иная идет с реки, поддерживает на голоде кувшин руками — просто, хоть царапайся, так хороша...

— Они доступны?

— Лет пять тому назад сколько угодно было, а теперь нельзя. То есть можно, если жить. Я попал к ним раз на Новый год, пришелся он с нашим семнадцатым январем. Праздник большой, и три дня все лавки заперты. А мы приехали за провизией. Волей-неволей пришлось просидеть без дела. Губернатор знакомый; пьяница, обжора, и пошли мы с ним. Пригласил он восемь кореек, из таких, которые бывали во Владивостоке и умели немного по-русски. У всех всё такие же костюмы, все здесь открыто... Первым делом каждая из них рюмку ихней водки подносит и яйцо. Необходимо выпить и съесть яйцо. И так восемь раз... Потом чай, игры... хлопают в ладоши, бьют по коленам, потом по твоим ладошам. Ну, ошибешься, попадешь ей в грудь — ничего. А у них, как семь часов, ворота городские запираются. А мой стан за городом. Повели меня провожать губернатор, корейки, их мужья: все под ворота пролезли — забрались ко мне — опять кутеж. Потом ко всем корейкам по очереди... И везде рюмка водки, яйцо, да так все три дня и три ночи. В день яиц тридцать пять да тридцать пять рюмок — так ошалеешь, что отца с матерью забудешь... А приглашения все новые и новые, а если без приглашения, так и еще лучше: это уж такой почет, если иностранец в праздник попадет без зова...

Чем дальше в лес, тем больше дров: чем больше спутник С. П. обнажается, тем унылее становится с ним, С. П. говорит:

— Бывалый, а до остального мне дела нет.

Партия лесника состоит из четырех рабочих, во главе которых и стоит В. А. Т. Это лет за пятьдесят человек, тихий, наблюдательный, очень сведущий и очень неглупый. Он хохол, любит хохлацкие песни и до сих пор сохранил свой голос.

7 сентября

Сегодня приглашение всем от местного русского комиссара на обед. Комиссар очень обязательный человек, и мы все охотно идем к

нему, хотя дождь льет как из ведра.

У комиссара прекрасный в два этажа, казенный дом.

Кроме нас, пристав и мировой судья, он же следователь.

Оба настолько интересны, что надо на них остановиться.

Мировой судья, лет тридцати пяти человек с крупным лицом, мелкими чертами, в очках.

Нам пришлось сидеть с ним за обедом рядом, и я не жалел. Он первый здесь судья, с июня прошлого года. За год многое уже сделано. Главные преступления: убийства и грабежи. В первой очереди преступников стоят китайские хунхузы, а за ними идут наши русские солдатики. В этом только году двадцать из них сосланы в каторжные работы.

— В чем же преступления этих солдат?

— Грабят русских корейцев.

Очень еще недавно охота на белых лебедей, — так называют корейцев, в их белых костюмах и черных волосяных, узких и смешных шляпах, — была обычным явлением. Четыре года назад один солдат из такой партии лебедей, шедших гуськом по скалистой тропинке, перестрелял четырех: «А что их не стрелять? Души у них нет — пар только».

Обычная форма грабежа: солдат подходит к корейцу и спрашивает спичек и в это же время лезет к нему за грудь и отрывает подвешенный там кисет с деньгами.

С введением здесь следователя, после ссылки в каторгу двадцати человек, преступления эти прекратились, но сделанное зло не исправится и десятками лет. Робкий кореец боится и ненавидит солдата: для солдата нет продажной курицы, яйца, чумизы, пред солдатом кореец запрет свою фанзу и совсем уйдет в горы, но не пустит добровольно солдата.

Следователь прямо в восторге от корейцев. И он у них желанный гость. В нем они только и видят защитника, и каждый его приезд к ним сопровождается целыми овациями.

— Скажите, правда, что с корейцем нужна твердая, авторитетная манера?

— О боже сохрани! Не слушайте вы всех этих негодяев, шовинистов. Ведь это они же и подрывают везде и всегда русское имя: за них краснеем.

После обеда З. шепнул мне:

— Проверьте впечатление нашего разговора со следователем и поговорите с приставом.

Пристав, молодой человек, рыжий, с тонкими чертами лица. Я подсел к нему.

Речь скоро зашла о корейцах.

— Способный это народ?

— Очень способный; так вообще в жизни он ленив, апатичен, но от книги не оторвешь. Я уже устроил здесь четыре школы. Двое из моих теперь в Казани, двое в Благовещенске, двое в Хабаровске.

— Симпатичный это народ?

— Чистый и симпатичный, душой дети. И преступления у них детские: стащит у вас какую-нибудь безделушку.

— Храбры?

— Очень робки; ленивый их не грабит, — грабят, или, вернее, грабили до его, — пристав показал на следователя, — приезда солдаты, грабят хунхузы... Так, в своей жизни, очень самолюбивы. На всякого, кто с оружием, смотрят, как на хунхуза, боятся и не доверяют.

Следователь подсел:

— Будете путешествовать, спрячьте все ваши ружья: простой лаской сделаете с ними все.

Было уже темно. Мы поблагодарили гостеприимного хозяина и отправились домой. Засиделись, против обыкновения, до двенадцати часов ночи.

Вдруг вбегает С. П.

— Господа, в соседнем дворе пожар.

Рядом пожар, а у нас лошади. В страхе они могут сорваться и истопчут и палатки, и все сложенное в них, и нас самих. Мы бросились во двор. Ночь темная, без звезд, дождь, а через забор только еще разгорается пожар в соседнем доме.

Первый бросился туда Н. А., за ним я. Остальные бросились к лошадям, отвязывать их и выводить на улицу.

К счастью, Н. А. удалось скоро разбудить спавших хозяев, и раньше еще того он начал заливать пламя стоявшей тут же водой. Но когда огонь потух и стало темно, мы почувствовали себя жутко. Н. А. шепчет:

— Теперь удираем, пока не пришли желтокожие.

Он исчез, я пустился за ним. Назад труднее было бежать: мешали какие-то деревья, ограды, ямы. А сзади, казалось, кто-то бежит и вот-вот поймают. Но никто за нами не гнался, а на другой день нам принесли в подарок бутылок двадцать вина от благодарных погорельцев.

10 сентября

Сегодня, наконец, в половине пятого вечера выступаем мы из Новокиевска на границу Кореи (Красное Село). Дорога все время кружит по берегу залива Посьета, и на нашем горизонте постоянно то иззубренные, хотя и невысокие, голые, безлесные горы, то синее море.

На горизонт с запада выдвинулись тучи и замерли. Они, как вторая линия гор, рельефно вырисовываются в небе в самых причудливых формах. Вот стада каких-то невиданных зверей, вытянув шеи, тянутся к открывшемуся океану.

Солнце последними лучами играет в этой гряде облаков. Там же, на востоке, все мрачно, и вдоль горизонта моря стоит какая-то синегорно. — дымчатая стена с башнями там, наверху. Точно иной берег там, и кажется, что, прижавшись к нему, стоят те плывущие корабли у той стены.

Гаснет солнце, синееет стена, мрачная и грозная, и уже вспыхивают по ней зарницы, как сторожевые огни сказочной крепости. Холодом ночи веет оттуда. А ближе к солнцу покой и тишина. Там обласканные солнцем облака словно тают в его лучах, золотистым, бирюзовым следом протянувшись в небе. Легкий, светло-прозрачный туман нежно окутывает горы, — туман забрался в их впадины, и кажутся эти горы приподнятыми в воздухе, и такая масса там этого нежно-молочно-прозрачного воздуха. Лучи солнца еще пересекают его, но уже теряются фиолетовым отблеском в безбрежных низинах этих гор.

Наша кавалькада красиво растянулась и змеей вьется по прихотливой береговой полосе, — всадники с ружьями, ножами, английскими шляпами, как на рисунках журналов, вроде «Земля и люди».

Уже попадают корейские фанзы с их плоскими камышовыми крышами, покрытыми веревочной сеткой, с их отдельно спящими, высокими деревянными трубами, с их бумажными окнами и дверями.

Но все это там, внутри двора, а снаружи только глухая стена, и спрятал кореец за ней и себя, и семью, и свои обычаи. Все это пока еще тайна для нас и очень интересная.

Около каждой фанзы громадная, в рост всадника, конопля, гоалин. Гоалин — род крупного проса, на вид очень похожий на наш камыш. Темнеет. Молодой месяц бледно-прозрачный всплыл в небе. Скорпион, его спутник здесь, нежно обвил его яркими, как бриллианты, звездочками.

Все темнее, и все растут бастионы востока.

Дорога идет через залив по воде, и растянувшаяся линия всадников один за другим исчезает в мраке воды и темных синих стен.

Подбирается вода все выше и выше, подмочила уже выюки, лошади всплыли, солдат Бибик с головой провалился в воду и ругает, отряхиваясь, соленую воду. Но опять берег и горы, и мы едем рысью.

Китайская деревня Хан-си, — незаконный выход маньчжуров к морю. Она растет с каждым годом — это уже порт Маньчжурии, из которого и идет вся ее торговля.

Ночь, и спит деревня. Мы едем в стороне от нее.

Вот и наш привал — Заречье и фанза Николая. Нас гостеприимно принимают, и я, уехавший вперед, уже сижу в маленькой, в квадратную сажень, чистенькой комнатке. Оклеены обоями стены, потолок. Двери в другие комнаты, и каждая комната имеет такой же отдельный выход на двор. Выход на высоте аршина — это и дверь и окно. Можно ее затворить глухой дверью или бумажной. Снаружи, когда закрыта такой бумагой, она просвечивает свет комнаты, и тогда, на фоне темной ночи, вырисовывается какой-нибудь фантастичный узор.

Хозяева фанзы — русские, крещеные корейцы.

Николай — старшина; он богач.

Приехали остальные, и нас поят чаем, кормят ужином, подают корейский салат, рисовую кашу.

— Есть клопы?

— Мало.

Хуже клопов донимают комары, которых набилось видимо-невидимо. Но мы устали и уже спим.

11 сентября

Прекрасное раннее утро. Я сижу во дворе и записываю впечатления.

Пред моими глазами фанза.

Целый ряд окон-дверей с узорчатым мелким переплетом, заклеенным бумагой. Все эти окна-двери выходят на узкий, шириной всего с аршин, балкончик. С этого балкончика до земли тоже аршин. Вся фанза выбелена. Крыша ее плоская, из мелкого камыша, сверху покрытая веревочной сеткой.

Отдельно, сбоку от фанзы, на расстоянии сажени, из земли выведена высокая, выше крыши, узкая деревянная, из четырех досок, труба. В эту трубу проходит дым из печей дома.

Печи устроены очень своеобразно: все дымовые ходы расположены под полом. Пол поэтому всегда теплый, а в комнатах не видно печей. При легкости всей постройки, при толщине стен в два вершка я не думаю, чтобы в этих фанзах было тепло зимой. Впрочем, вот доживем до холода и тогда убедимся.

Двор собственно разделен на две части; в передней сосредоточено все, относящееся к рабочим и скоту. Там грязно.

Во втором дворе, где мы, чисто, а с левой стороны устроен даже небольшой цветник. Красные и белые цветы в изобилии ласкают взгляд.

Вдоль стен висят грозди красного перцу, желтой кукурузы, белого чесноку, а из-за забора выплывает здешняя ветла с острыми длинными серебряными листьями, с ярко-красными наростами на листьях.

Во дворе корейцы: русские — стриженные, подданные же Кореи — в своих прическах, с завитушкой на середине головы.

Добрые детские лица их широки, кожа темна, глаза прямые, но узкие, веки опущенные, как у тех, у кого они находятся в параличном состоянии.

— Теперь это самая пустая операция, — говорит доктор, — делается разрез на лбу: раз, два...

Но в это время раздается отчаянный крик, — это Н. А. летит с балкончика, не заметив уступа. Он постоянно падает.

Он спокойно встает и идет к нам.

— То есть черт знает, как я падаю, — говорит он. — Мое единственное спасение, что я падаю, как мешок с овсом, не

сопротивляюсь и потому никогда не зашибаюсь.

— Вы также никогда не оглядываетесь на то место, где упали? — спрашивает доктор.

— Боже сохрани оглядываться, — говорит серьезно Н. А.

Наш лесник, спокойный, уравновешенный и веселый хохол, мягкий и деликатный В. А. Т., методично говорит:

— Утро ли, полдень ли, вечер: доктор ругается, а Н. А. падает.

— Совершенно верно, — говорит Н. А., — я за всех отдуваюсь.

— И я, — говорит доктор. — Еще бы не ругаться: мне пятьдесят, а мне двести, сто, триста порошков, а я один.

Один за другим уходят обозы, уходит и мой. Доктор и С. уходят совсем, отправляясь прямо на Кегенху.

Но жаль мне расстаться с чудным утром, уютным уголком, расположением к работе. Я еще останусь.

Я принимаюсь за английский язык; мне предлагают сварить кукурузу, и незаметно я провожу здесь время до часу.

Пора ехать: лошади давно оседланы, и громадный Бибик ждет не дождется, когда я тронусь наконец.

Мы едем от Заречья к Красному Селу долиной реки Пончианги.

Кругом поля корейцев: всевозможные сорта чумизы, овес, кукуруза, одни бобы, другие, третьи, из которых готовится соя.

В этом году, после трех лет неурожая, урожай громадный.

Яркое солнце, синее осеннее небо, по обеим сторонам красиво иззубренные, хотя и невысокие горы. В общем очень напоминает долину Крыма, когда едешь из Севастополя в Ялту.

Но здесь красивее, потому что все время на горизонте темно-синей лентой море. Только краешек его и виден, но это еще сильнее дразнит и тянет к нему, прочь от этих мест, к далекой милой родине. Когда-то это будет? Гонишь и мысль и то смотришь на барометр и записываешь, то слушаешь переводчика П. Н. Кима, который рассказывает мне то про тигров, ютящихся в этих горах, то про друидические постройки на вершинах гор, то про житье-бытье здешних корейцев.

Край этот заселен всего пятнадцать лет назад.

Первым корейцам пришлось особенно трудно. Голод, неустройство довели их до полной нищеты, и жены их и дочери добывали себе пропитание позорным ремеслом.

Теперь все изменилось, и корейские женщины славятся целомудренностью.

— Вот в Корее много балованных женщин.

— Но ведь и там пять лет назад вышел новый закон.

— Что закон? Закон ничего не может переменить. Хуже стало: нельзя прямо, потихоньку делают... болезни...

У здешних корейцев наделы и такие же общинные порядки, как и в остальной России. Жалуются они очень на дорожную повинность. На волость в 1500 дворов приходится таких дорог с лишком 200 верст. Прежде они вносили на их ремонт деньгами — 6000 рублей в год, но с этого года введена натуральная повинность, которая, очевидно, очень не по вкусу им.

Зато введение с прошлого же года мирового судьи удовлетворяет корейцев выше головы. Они не могут нахвалиться как и самим мировым, так и вообще идеей мирового суда. Хвалят они и своего пристава, открывшего им несколько школ.

Иногда мы останавливаемся и разговариваем с корейцами: их много в поле — они молотят овес. В своих белых костюмах они действительно напоминают белых лебедей.

Следующий рассказ выслушан мною от нескольких корейцев и подтвержден старшиной, старостой и переводчиком П. Н. Ким.

В 1896 году, в конце весны, корейский подданный, кореец Хен, был найден замерзшим на берегу озера Сенденыпи, близ Красного Села и его выселка Сегарти.

Дальние родственники Хена дали знать жене и сыну умершего. Шестнадцатилетний сын с двумя другими корейцами пришли к труп. В то время, как сын наклонился над трупом отца, раздался выстрел из группы нескольких солдат, стоявших в версте, и мальчик с пробитым лбом упал мертвый на труп своего отца.

Два других корейца убежали.

Следствие выяснило, что солдаты по близорукости приняли корейцев за лебедей, и было поэтому прекращено.

Корейцы просили меня записать, что они сами показали, что солдаты приняли их за лебедей, и ничего не имеют против оправдания подсудимых. Не имеет и вдова, живущая теперь в Красном Селе, но только она боится с тех пор русских и, когда увидит, бежит от них, как сумасшедшая.

13 сентября

Все эти дни мы с Н. Е. простояли лагерем у Красносельской переправы на берегу величественной и красивой реки Туменьула или Тумангана по-корейски. Это пограничная на всем своем протяжении река между Кореей и Маньчжурией.

Возле нас, в нескольких саженях, каменный пограничный знак Г. — точка, где сходятся границы Китая, наша и Кореи.

Эти дни мы занимались поверкой барометров, кипячением воды, астрономическими наблюдениями, исследованием реки и нивелировкой окружающей местности, в предположении дать реке более благоприятный выход в море, так как при теперешнем, благодаря как встречному морскому течению, так и ветрам, устье реки настолько засоряется песком, что вход и выход из нее обставлен непреодолимыми препятствиями. Весьма вероятно, что река эта прежде текла в бухту Посьета. И теперь в высокую воду один из рукавов ее, как раз в этом месте, переливается и течет по старому руслу. Работы по отводу не представляли бы серьезных препятствий. Длина такого канала по совершенно ровной местности в мягком грунте составила бы четыре с половиной версты.

Что касается астрономических работ, то ими занимается А. И. З., а В. А. Т. помогает ему. Мы же остальные получаем, что нужно каждому из нас в готовом уже виде.

Сегодня снимаются З., Т. и К., и мы с Н. Е. остаемся одни. Завтра и мы снимаемся.

Вокруг нас все время корейцы, ласковые, гостеприимные, хотя и готовые получить за все немного дороже. Где, в какой стране это не практикуется с такими туристами, как мы?

Я был в школе деревни Подгорской. И учитель и ученики — корейцы. Положение учителя очень плохое. Получает он пятнадцать рублей в месяц и при здешней дороговизне живет хуже крестьянина-корейца.

— Чай пьете?

Он только рассмеялся и махнул рукой.

Дети усердны и все поразительные каллиграфы. И к остальным наукам, впрочем, корейцы очень способны.

Здание школы просторное и светлое. Школа устроена в этом году.

По вечерам, когда я возвращаюсь с работ, около меня толпится много корейцев. Один из них, человек лет тридцати пяти, маленький, с черными глазками, маленькими руками и ногами, прислан ко мне учителем, как человек, Знающий много рассказов из корейской жизни. Он сидит на корточках и со всем жаром художника, весь увлеченный, рассказывает. По временам переводчик П. Н. останавливает его, не надеясь на свою память, передает мне, а я записываю. Все остальные корейцы сидят на корточках и серьезно, внимательно слушают. Если рассказчик сбивается, они поправляют его, и иногда поднимается горячий спор.

Так я записал уже до десяти сказок и рассказов.

Этот кореец-художник принял мое предложение и отправляется со мной по Корее: он будет помогать мне собирать те рассказы, которые удастся собрать.

Из рассказов, между прочим, выясняется несомненный факт, что русским корейцам живется гораздо лучше, чем их братьям в Корее. Они говорят, что, если б не запрещались переселения, вся Северная Корея перешла бы в Россию, особенно с тех пор, когда приехал мировой, когда нельзя больше безнаказанно ни убивать, ни бить их. Но переход из Кореи строго запрещен, и всех таких переходящих, и корейцев и китайцев, препровождают обратно. При этом корейское начальство ограничивается выговором и тут же отпускает их, а китайское тут же или сечет, или рубит головы. Поэтому китайцы такому обратному их водворению противятся всеми средствами, и нередко дело кончается кровопролитием, причем китайцы дерутся ожесточенно и даже умирающие стараются ранить или подстрелить преследующих их.

Обыкновенно облавы на таких тайных переселенцев делаются в тех случаях, когда произойдет какое-нибудь убийство или грабеж и виновных не хотят выдать. Но одна угроза, что будет обыск, уже делает то, что преступников сейчас же приводят.

Так, на днях были убиты двое русских с целью ограбления, и убийцу — китайца привели сами китайцы. Чтоб он не убежал, русские власти обрезали ему косу: этого довольно; в Китае уже за одно то, что он без косы, его ждет смерть, тогда как в России самое большое за убийство — бессрочная каторга.

На самом берегу Тумангана, у пограничного знака, стоит фанза, в которой живет наш офицер и несколько солдат.

Ничего печальнее такого одиночного существования представить нельзя себе. Офицер, молодой и симпатичный, коротает свое время собиранием гербарiums, охотой. Охота здесь прекрасная, к тому же осень и перелет.

Вечером, когда потухнут огни неба, — когда вся река, в перспективе наморщенных, как шкуры собирающихся броситься тигров, гор, окрашенных непередаваемым отливом заката, с водой нежно-фиолетового цвета, с спящими на ней там и сям лодочками рыбаков-корейцев, — в бледном небе раздаются то нежный гортанный крик журавлей, то резкое кряканье уток, то далекий крик гусей. А в воде миллион всевозможных рыб, и из них первая, красная кета — та же лососина.

Последний вечер на русском берегу. Я слушаю рассказы о тиграх и барсах.

Тигр благороднее барса. Перед нападением он всегда показывает себя и нередко играет с врагом, как кошка с мышью. Он то прыгает, то ложится, машет хвостом и смотрит. На окрик он бросается.

Кореец пользуется этим и, приготовив себя и свое копьё, бросает тигру такой вызов:

— Принимай мое копьё!

Искусство так поставить копьё, чтоб тигр схватил его зубами, а затем, — и для этого нужна немалая сила, — надо это копьё, протиснув сквозь сжатые зубы тигра, всадить ему в горло.

Барс же всегда нападает из засады: с дерева, со скалы.

Раненый, он притворяется мертвым, а когда к нему подходит доверчивый охотник, он бросается на него.

И тот и другой боятся огня и шума, и поэтому на ночь корейцы, в походах, разводят костры, а при появлении тигра, если не желают с ним сразиться, поднимают шум: кричат, стучат в литавры.

14 сентября

Шесть часов утра. День просыпается лениво. На западе синие тучи, и тонут в сизом тумане горы и даль реки. Но восток уже ясен; безмятежно искрится там река, светлая, прозрачная. Спят дальние горы в лучах, плывут плоты и корейцы на них.

Мы собираемся: складываются палатки, затюковываются вещи. С места я разбиваю мой отряд на три части: один идет прямо на г. Херион, другой идет по направлению Кегенху, а я отправляюсь сперва в бухту Гашкевича, к устью Тумангана.

К вечеру я догоню тех, что пошли на Кегенху, а через три дня мы все соединимся в Херионе.

Мы уже переезжаем реку.

Поднялся ветер, и тучи закрыли небо. Чувствуется уже осень, — холодно.

Паром, длиной до 4 1/2 сажен, может поднять до 300 пудов или 17 лошадей. Спереди он узок, но расширяется и доходит до ширины 1 1/2 сажен.

Работают два корейца, двумя веслами сзади кормы, выделявая веслом восьмерки. При полном грузе работают восемь весел.

На другой стороне реки большая песчаная отмель, ясно показывающая горизонт высоких вод (до 3 1/2 сажен, как оказалось по измерению).

Паром до берега не дошел, и мы вброд, ниже колен, прошли на берег. Корейцы предлагали перенести нас на своих плечах, но мы решительно отказались.

На берегу уже ждут две арбы, запряженные быком и коровой. Запряжка с двумя оглоблями; на шее род английской шоры из веревок, в ноздре же животного кольцо, от которого веревки проходят между рогами: этими веревками и управляют. В такую двухколесную арбу — колеса сплошные — накладывают до 15 пудов и берут по копейке с пуда и версты. Это ровно в десять раз дороже обычной нормы других стран.

У подъезжавших к нам корейцев мы меняем деньги. За наш рубль, или японский доллар, нам дали пятьсот кеш.

Кеша — медная монета, величиной между двумя и тремя копейками, с дырочкой посредине, чрез которую и нанизываются эти деньги на веревочку. Мы разменяли только шесть рублей и не знаем, куда деваться с этим грузом.

Наш проводник к бухте Гашкевича русский корейский старшина.

Просто, не соблюдая никаких формальностей, переехали мы границу Кореи, — формальностей, из-за которых нам столько

пришлось возиться. Говорят, что так и дальше проедем мы всю Корею и не спросят у нас наших паспортов.

Мы едем мимо дома какого-то пограничного чиновника, и, по совету переводчика, я послал ему свою карточку, напечатанную по-корейски: «путешественник такой-то»...

Все время у подножия травой поросших гор множество живописно разбросанных, уже без заборов, фанз.

Вот и перевал к бухте Гашкевича, и с перевала уже видны и бухта и громадное озеро.

Двадцать девять лет тому назад у этой бухты погиб пароход Кунста и Альберса. Пассажиры тогда спаслись на лодке во Владивосток, а севший на мель пароход оставили на произвол судьбы.

Но когда затем возвратились за грузом, ни груза, ни парохода не оказалось: прибрежные корейцы все разграбили. Разграбили, как дети: товары, оказавшиеся вне их понимания, — они выбросили назад в море. Только водку выпили да русскими бумажными деньгами расклеили у себя окна.

Хозяева парохода жаловались тогда корейскому правительству, и в результате камни (исправник) Кегенху и мелкий пограничный чиновник поплатились своими головами за этот грабеж.

В деревушке Косани, где только четыре года назад упразднена пограничная стража, и были они казнены.

Мы въезжаем в эту деревушку; теперь это маленькая, в десять фанз, деревня, в ущелье между двумя высокими холмами.

Желтой глиной вымазанные фанзы, чистенькие, выглядят уютно. Мы остановились возле одной из самых бедных и попросили гостеприимства.

Нас сейчас же пригласили. Мы оставили здесь Бибика, готовить нам завтрак, а сами, Н. Е., Ким и я, поехали осматривать бухту.

Прелестное живописное место, совершенно пустынное: вода, а с запада толпа отдельных, иззубренных зеленых гор.

Тихо, неподвижно. Мы стоим на одной из командующих высот, Янди, служивших еще недавно для сигнальных огней. Такими огнями Сеул извещался о грозящей опасности.

Янди — значит последняя станция.

В гряде камней, на которых разводился сигнальный огонь, множество змей. Мы убили две разновидности этих змей.

Местные жители одну из них, в три четверти аршина длиной, черную, с немного коричневыми шашками, назвали корейской змеей, а другую такой же длины, серую — китайской. Обе они ядовиты и смертельны. Но корейская кусается редко.

Невдалеке навалена еще одна гряда мелких камней. Это молельня. Как заболит ребенок, мать с шаманом идут, сюда с рисом, заколотой свиньей и молятся небу.

На обратном пути я узнал разные выражения вежливости по-корейски.

Проезжая мимо фанзы, вежливость требует слезть с лошади или по крайней мере выпустить стремя.

При встрече с женщиной соблюдается такая же вежливость. При встрече двух равных по положению, надо слезть с лошадей обоим и распротереться на земле.

Возвращаясь в деревню, мы выпустили стремя. У нашей фанзы ждет нас гостеприимный хозяин; мы входим в две чистенькие маленькие комнатки, вымазанные глиной, устланные циновкой. Квадратная сажень в ширину, меньше сажени в высоту, без окон, с одной выходной дверью, она же и окно.

При входе надо снимать обувь, но нас извиняют.

Мы пьем чай, угощаем хозяина. Затем я сажусь записывать. Немного погодя П. Н., наш переводчик, кричит откуда-то меня. Я иду к нему. Он стоит у оригинального памятника с оригинальной китайской крышей из черепицы.

Памятник со всех сторон огорожен, и можно пролезть к нему только ползком. Может быть, этот способ каждого заставит поклониться, то есть герою.

Там, внутри, на гранитном основании, стоит темная мраморная доска, высотой в рост человека, шириной в аршин и в полтора аршина толщиной. Китайскими буквами описаны все события, послужившие поводом к постройке этого памятника.

Написано громадными буквами: Син-ген-те, что значит: одолел на этом месте.

Памятник этот поставлен богатырю Ким-кор.

Начальник заставы был тогда Ди-сун-син. Происходило это четыреста лет тому назад. Род Ким-кора и теперь еще существует в Сеуле и занимает высокие должности.

Сам Ким-кор, уроженец этой деревни, был богатырь и перебил несметное количество хунхузов на этом самом месте, когда они напали на заставу.

Рассказывавшие старались фигуре своей придать соответствующий воинственный вид, но они оставались такими добродушными, что я едва сдерживал улыбку при желании представить себе, как они стали бы драться.

Памятник содержится в большом порядке, и деревня не жалеет для того денег.

По возвращении, когда мы уселись во дворе фанзы, вошел высокий, лет пятидесяти пяти кореец с приятным и открытым лицом. За плечами его был крупный прекрасный винчестер, на двенадцать зарядов. Он весело поздоровался и спокойно, смело пошел к углу двора, где сложил свое ружье и сумки.

Это знаменитый охотник здешних мест Шин-пуги. Его знают и на русской стороне и зовут его Самсоном.

Собственно, он житель Красного Села, но охотится в Корее, так как в России охота на изюбров запрещена.

Он убил на своем веку: девять тигров, двадцать одного медведя, семь изюбров и без счета барсов и козуль.

К сожалению, охотник не разговорчив и, на все расспросы об охоте, отвечал так лаконично, что не передал ничего такого, где бы почувствовался тигр и барс.

Впрочем, на один из вопросов он удовлетворил нас. Вопрос: был ли он в лапах тигра или медведя?

Он молча показал на свое разорванное ухо и синий шрам через весь лоб.

— Ну и что же?

— Все-таки убил. Затем он встал и ушел.

В октябре, когда выпадает снег, он пойдет за тиграми в город Тангон. Вокруг этого города много тигров. Он будет их выслеживать и убивать. Там еще не знают таких, как у него, ружей. Там охотятся или с копьём, или с ружьем, которое зажигается фитилем.

Во дворе, где мы завтракали, множество детей. Их лица широки, смуглы, в щелках едва видны глаза. Иные совсем голые. Большинство личиков грустные, задумчивые. Я роздал им бывший со мной сахар, печенья: взяли и едят.

Я насчитал их пятнадцать. Это дети двух семейств.

— Все корейцы так плодородны?

— Бывает и десять и пятнадцать, — много детей.

В воротах стоит человек с ужасным лицом — это прокаженный. Он живет в деревне. Таких двое в этой деревне.

Я спрашиваю: много ли в Корее таких? Отвечают — много. Иногда они соединяются в целые общества.

У больного какой-то особый вид, схожий со львом.

Болезнь неизлечимая; живут с ней 3, 5, 10, 20 лет.

Другая больная — девушка тринадцати лет. Такие больные никогда не переводятся — одни умирают, заболевают другие. Болезнь, по мнению рассказчиков, не заразительна...

Закончив свои работы в бухте, в пять часов мы тронулись в обратный путь: назад, до Красносельской переправы, и далее вперед по направлению к Кеген-ху, с ночевкой в деревне Коуба.

На озере такая масса дичи — уток, нырков, гусей, куликов, — какой я никогда не видал, — озеро буквально усыпано ими.

Это один из тех уголков мира, где никто эту птицу не тревожит.

Одна-две маленьких деревушки, и все остальное необъятное пространство голо и пусто, и привольно здесь и птице и зверю.

Там, по горам, обильным травой, пасутся стадами дикие бараны, олени, изюбры, а вслед за ними ходят и спутники их — тигры, барсы, волки и медведи.

С нами едут местные корейцы, и мы говорим обо всем.

Корейцы недовольны своей династией. Они упрекают ее за эгоизм, за готовность пожертвовать всем, родиной, лишь бы им было хорошо... Наследник совершенно выродившийся человек, которому даже и жена его не нужна.

Большие надежды возлагаются на незаконного сына корейского короля, который воспитывается в Японии. Ему теперь двадцать два года. Корейцы надеются, что японский микадо отдаст за него свою дочь, и это будет первый случай, что из корейской династии женится не на своей же родственнице. Это очень умный и образованный

человек. Он «знает и все иностранные грамоты, знает и нашу, и мужскую и женскую».

Мужская — китайские письма, женская — корейские, упрощенные для простого народа.

Женскую грамоту знает половина корейцев, остальные неграмотны.

Мы говорим о земельных отношениях. Земля здесь свободна. Ее занимает тот, кто купит ее. Продается только удобная земля. Мерою земли служит кари — 800 квадратных сажень. Наша десятина стоит здесь до 250 лан. Лана — 20 копеек, следовательно на наши деньги десятина стоит 50 рублей.

Это цена в здешней провинции Хай-гион-нук-до; в южных цена значительно выше. Валовой доход с десятины 100 лан — 20 рублей. Сеют ячмень, овес, чумизу, бобы, буду, яр-буду, гречиху, коноплю. Поле почти никогда не отдыхает; вместо отдыха сеют бобы как растение, восстанавливающее плодородие почвы.

Культура однорядная с глубокими, вершка в два, ровиками. Это требуется для защиты от выпадающей здесь влаги.

Сеют в половине апреля, а теперь, в половине сентября, разгар уборки.

Крупных владельцев нет — две-три десятины. Случаи продажи участков очень редки. Разве разорится или проиграется в бобы: азартная-игра.

Четыре боба с отверстиями — выброшенные так, что все четыре отверстия падают вверх — полный выигрыш.

Дорога тянется болотистой долиной Тумангана. Иногда дорога взбирается на утес в несколько десятков сажень — отвратительная, узкая, где двум верховым лошадям трудно разойтись, и такая крутая в подъемах, что трудно сидеть на седле.

Отъехав верст десять, мы прощаемся с гостеприимными корейцами, уезжает старшина, и мы остаемся одни.

Темнеет, кругом горы, а выше их тучи нависли, и розовым светом освещает их снизу солнце, уже севшее за горы.

В просвете сумерек видны корейцы, усердно работающие на своих полях.

Надо ехать скорее, чтобы не захватила в незнакомой дороге ночь.
— Едем, господа!

И я пускаю своего иноходца — тип вятской буланой лошади, довольно крупный для здешних мест.

Я слышу за собой топот, и поэтому, не оглядываясь, еду верст десять. Но, оглянувшись наконец, я вижу только переводчика П. Н. Что до Н. Е. и Бибика, то их и не видно и не слышно.

Покричали, посвистали и поехали назад к ним. Проехали верст пять — раздорожье. Не уехали ли влево, взяв в горы? Спросить некого. Поехали влево. Ехали-ехали — новое раздорожье. Куда они повернули здесь? Сворачиваем вправо. Еще раздорожье, еще и еще.

Совсем стемнело, и тучи закрывают луну. Округа разошлась и в обманчивом сумраке представляется какой-то беспредельной бездной. В эту бездну провалились наши два спутника без какого бы то ни было знания языка, не зная ни одного названия, не зная даже, куда едут они и где назначена ночевка, два беспечных русских человека, которые, покачиваясь в своих седлах, едут себе теперь где-нибудь, ни о чем не думая.

Мы скачем дальше и дальше в эту неведомую таинственную пучь неведомой нам страны, стреляем, свистим, кричим.

Не знаю, сколько времени так прошло, но, когда мы уже потеряли было всякую надежду, вдруг откуда-то из мрака долетает до нас едва слышный свист условного свистка.

Мы облегченно вздохнули и начали еще отчаяннее свистать: я в свою сирену, П. Н. в обыкновенный полицейский свисток.

То мы слышали их, то опять теряли из виду. Свист раздавался то справа, то слева, то прямо перед нами и там где-то в горах, которые впотьмах кажутся небесами.

Мы наткнулись наконец на какую-то деревню и решили не двигаться дальше и свистеть.

Корейцы в деревне проснулись, выскочили, и между ними и П. Н. завязался энергичный разговор. Слышен смех, выражение удовольствия.

Наконец подъехали наши беспечные путники.

— Мы думали, что едем правильно.

— Прекрасно, продолжайте так и вперед: мы кончим тем, что и не сыщем друг друга.

Как из этих трупоб попасть на ночлег в Коубе? Один из корейцев предлагает проводить. Во всей деревне ни одной лошади нет. Он

садится верхом на быка, едет впереди, мы за ним. Здесь много тигров, барсов — надо разговаривать, кричать, свистать.

Мы, русские, окончательно отказываемся, потому что по русскому легкомыслию плохо верим в этих тигров и барсов. Но кореец и П. Н. верят и потому всю дорогу громко, до крика разговаривают, и П. Н. то и дело свистит. Иногда П. Н. переводит мне, что говорит ему кореец. Их деревня называется Сорбой, что значит сосна. Прежде был здесь прекрасный сосновый лес. Таким образом оголение гор, может быть, не есть естественное явление. По крайней мере, судя по отдельным экземплярам деревьев, мощных и больших, получается впечатление, что лес здесь мог бы произрастать.

Мы приехали в Коубе под проливным дождем. Коубе — старый город. Прежняя его роль была та, которую теперь исполняет Кегенху. Потом он был заставой, а теперь просто деревня, в которой сто фанз.

Фанза, в которой мы, отличается тем, что вся она видима из одной комнаты, потому что вместо перегородок всё двери.

Я вижу, как, окруженная детьми, полуобнаженная корейка чешется, а дальше выплывает красивая голова степенного быка.

Я спрашиваю, как пасут здесь скот? Каждый отдельно, на привязи. В деревне около ста голов рогатого скота, лошадей пятьдесят, свиней до двухсот.

Иван Афанасьевич, наш передовой отряд, уже снялся и ушел. Я кончаю свою запись и тоже снимаюсь.

Детям раздаю сахар, с хозяевами расплачиваюсь: за дрова 15 копеек, за сено для 13 лошадей 20 копеек, за курицу 20 копеек. За ночлег 13 лошадей и нас, десяти человек, я даю японский доллар.

Хозяин очень доволен. Он возвращает мне связкой кеш половину. Я прошу взять остальное для его детей. Он обращается к остальным сородичам; они совещаются и изъявляют согласие. Хозяйка из другой комнаты довольно улыбается.

Кстати о деньгах. Пока берут и русские и японские серебряные доллары: за них, как и за наш рубль, дают 500 кеш, хотя курс русского 480, а японского 475 кеш, Мексиканских долларов, которых мы набрали кучу и о которых нам говорили, как о ходячей монете, пока совсем не берут.

15 сентября

От Коубе до города Кегенху (это по-китайски, а по-корейски Когн или Хын-ып) тридцать ли, что должно соответствовать нашим пятнадцати верстам. Но и шагомером и по часам мы определили только десять верст.

Дорога в высшей степени живописна. Все время она идет открытой долиной Тумангана. Усеянная песчаными отмелями, сверкает широкая, к судоходству негодная, до двухсот сажень, река. Справа и слева ее горы то надвигаются, то далеко расходятся. Левый, китайский, берег в горах, амфитеатром расположенных. Последние ряды гор там вверху, в самом небе, сливаются уже с облаками. Безмятежный мир и покой в них. Осень наложила на них свою печать. Они забурели и отливают желтым, бурым, темно-красным цветами. Так переливают на солнце дорогие персидские ковры. Яркое солнце играет в коврах гор, в реке.

На спокойной глади реки рыболовы то в лодках, маленьких, вырубленных из одного дерева, то в креслах, Этих кресел — род плетеного сиденья — множество. Они устраиваются один от другого саженьях в двадцати. На каждом из них сидит по корейцу, и в известные моменты, когда рыба попадает в сеть, корейцы особыми приспособлениями подвинчивают сеть кверху и таким образом заграждают рыбе выход.

Рыбы, говорят, много, и преобладающая все та же кета. Промысел должен быть выгодный, но рыбаки живут бедно, перебиваясь изо дня в день. Может быть, причиной тому корейская водка тходжю или сцури (русские выговаривают суля), может быть, причина тому дуччи — игра в бобы, но факт несомненный, что прибыльный промысел дает работнику мало выгоды.

Встретили опять прокаженного. Проводник говорит, что их здесь много, и живут они на свободе, каждый в своей семье.

Проехали деревни: Тяншхай — четыре фанзы, Ка-мичи — двадцать фанз, два раза поднялись на прибрежные утесы и, обогнув последнюю гору, увидели, наконец, город Когн (Кегенху).

Зажатый в углу долины, слегка на косогоре, окруженный каменной стеной, высотой сажени в полторы и в аршин шириною, город Когн состоит из ста сорока фанз, и все они вымазаны желтой глиной, все крыты мелким камышом и веревочной сеткой, у каждой фанзы своя отдельная труба торчит. И только в середине города

выделяется длинное, род казармы, строение начальника округа и пограничного комиссара — камни. В городских стенах четверо ворот, как во всех городах Кореи: на север, юг, восток и запад.

Камни — главное административное лицо округа, с большими правами. Он утверждает старост в деревне (пху-зни) и представителя дворян, живущего в городе — цвашу. И та и другая должности считаются очень почетными. Владельцам их принадлежат на пиру самые почетные части свиньи — копыта и ребра. За эти места богатый кореец много платит утверждающему его камни.

Мы остановились в ближайшей фанзе, где уже стоит высланный нами вперед транспорт. Оказывается, что мы совсем налегке. Все наши консервы — супы, щи, мясо в разных видах — все это ушло в Херион, а капуста, хлеб, картофель, молоко и взятые с собой консервы и масло уже вышли. И так как ничего этого в Корее нет, то мы сразу очутились на три дня, до Хериона, в отношении питания в условиях страны.

К нашим услугам: просяная каша, кукуруза, курица и яйца. И, собственно говоря, этого вполне достаточно, если к этому есть чай и сахар. Все остальное — излишняя и крайне дорогая роскошь, осложняющая, замедляющая и удорожающая экспедицию.

Так, мой отряд состоит из меня и восьми человек; но, сверх восьми лошадей, идет еще пять своих вьючных, две вьючных наемных, три арбы с быками — все это багаж и провиант. Сверх этого отправлены для всех партий провианты еще в два пункта Кореи.

Откровенно говоря, все это лишнее. Если путешествовать, то надо и вполне можно доверяться средствам страны и способу ее питания. Кому не нравятся щенята, пусть не ест, но можно есть кур, свиней, можно, наконец, охотиться и иметь к столу и дичь и рыбу. Одни эти ужасные сборы с багажом, благодаря которым раньше восьми часов никогда не выедешь и не сделаешь в день больше тридцати верст.

Если бы не вершина Ченьбошана — Пектусан, — на двести верст совершенно необитаемая, исследовать которую мне надо, я бы уже бросил все. Но как только покончу с Ченьбошаном и его таинственным Драконовым озером, я распускаю весь обоз и не беру больше никаких припасов.

Только что мы расположились на отдых, явился полицейский от камни с просьбой показать наши паспорта. При этом полицейский, одетый как и все остальные корейцы, настаивал, чтобы я сам шел к камни. Идти к камни — значит нести ему подарки. Я от всяких подарков решительно отказался, не взял ни одного из экспедиционных и только на свой счет купил несколько безделушек, чтобы дарить тем, кто лично мне окажет услугу. Начальства я решил не унижать и подарков им никаких не делать.

Кончили тем, что идет Н. Е. и переводчик, а я сажусь работать. Я посылаю свои карточки по-корейски и китайски, извиняясь, что обоз увез мое визитное платье.

Через полчаса Н. Е. возвратился.

Камни, маленького роста человек, принял его в фанзе, такой же, как и наша, посадил на стул, сожалел, что мы не остаемся ночевать, извинялся за помещение, сказал, что он был в Лондоне, и прислал мне свою карточку: «Когнский камни Пак-ы-пен».

Это знаменитый род, который пятьсот лет тому назад боролся с родом Ли за престол. Оба эти рода из Когнского округа. Ли из деревни Сорбой, Пак из деревни Намбой. Эти деревни друг от друга в трех верстах и в семнадцати верстах на запад от Когна. В каждой из них памятники богатырям Ли и Паку, такие же, какой описан мной в деревне Косани, в бухте Гашкевича.

Вот легенда об этой борьбе двух родов из-за престола.

Пятьсот лет тому назад в провинции Ханюндю, округа Когн, жили двое, Ли и Пак. Ли в деревне Сорбой, а Пак в Намбой. И Ли и Пак были богатыри.

Богатырями называются рожденные от женщины и луча священной горы (мён-сан-сёрг). Богатырь рождается ровно через двенадцать месяцев, совершенно бесследно, и тотчас же улетает с помощью двух имеющихся у него крыльев на священную гору. Там и живет он у покровителя горы, белого как серебро лицом и волосами старика, упражняясь под его покровительством в военном искусстве. В дни младенчества он кормится грудью матери, летая для этого к ней с священной горы, но он невидим, и сама мать не знает, когда он выпивает ее молоко.

Вообще родители видят своих богатырей-детей только в самых редких случаях: в минуты, например, исключительной, грозящей им

опасности, от которой и освобождают их дети, их богатыри. Но и то при условии соблюдения строжайшей тайны со стороны родителей о том, что у них есть сын-богатырь. Проболтавшимся об этом родителям сын-богатырь никогда больше не явится.

Бывают времена, впрочем, когда и для всех делаются видимыми богатыри. Это времена войн, государственных смут, избрания на престол новой династии.

Одна глупая мать из города Тан-чен, зная уже, что у нее родится богатырь, решила удержать его возле себя и в самый момент его рождения, — единственный, когда его видит мать, — обрезала у сына крылья. Сын действительно остался при матери, вырос, был такой силы, что поднимал быка с ношей, но и глуп был, как бык. Он и сейчас живет в городе Тан-чен, и, когда его быки заболевают, сам носит из лесу деревья, и глупая мать с ним живет, давая ему долю быка, тогда как небо готовило ему светлую долю богатыря, за которым в старости спустится дракон и живым унесет его на небо к великому хозяину небесного сада Оконшанте, у которого и живут вечно все богатыри.

Вот такими богатырями и были Ли и Пак, когда корейский народ выбирал себе, пятьсот лет назад, новую, ныне царствующую династию. И вот как Ли был избран.

Когда он спал, явился к нему во сне его покойный отец и сказал:

— Завтра ночью не спи. Завтра ночью на озере Цок-чи-нуп будут драться два дракона: синий и желтый, желтый — я, синий — отец Пака. И когда синий станет побеждать меня, ты пусти в него свою стрелу.

Так и сделал богатырь Ли.

Тогда раненый синий дракон поднялся на воздух и полетел было, но сил не было в нем больше, и он упал в реку Туманган, а желтый бросился за ним по земле и такой след оставил, что с тех пор озеро Цок-чи-нуп соединилось с Туманган, и называется та речка Цок-чи.

А на другую ночь к Паку явился отец его и сказал:

— Сын Ли не убил меня, отец его не догнал меня, и через пятьсот лет твой род сменит на престоле род Ли. Но берегись Ли и потомство свое спрячь от него.

Чтоб обмануть Ли, Пак с своими воинами пошел в монахи (бонзы). Они поселились между Когном и Херионом, в непроходимых

горах и, боясь преследования и выслеживаний, обращались крайне грубо с приходившими к ним богомольцами.

Вступив на престол, Ли, боясь Пака, послал узнать, как он живет. Но когда Ли узнал, как Пак обходится со своими прихожанами, он рассмеялся и сказал:

— Ну, когда так, он не страшен мне, а чтоб не был страшен и вперед, я выдам его монастырю привилегию — вечное право ругать и бить всех и крестьян и дворян. Тогда у него много будет друзей.

Монастырь и до сих пор существует, продолжая пользоваться своим правом и соответственной репутацией, а весь прямой род Пака, — после того как родоначальник его был унесен драконом в небо, — исчез. — Это тем более интересует теперь корейцев, что с того времени прошло уже пятьсот четыре года, и, следовательно, Пак с минуты на минуту должен появиться.

Правда, ходят темные слухи, что теперь Пак, по прямой линии, живет на одном из островов Японского моря. Но пока он еще не видим. С моря слышны иногда с того острова песни, топот, шум. Но что там, — никто наверно не знает, потому что никто еще из пристававших к тому острову назад не возвращался. Предполагают, что именно из них и комплектует себе Пак то войско, которое понадобится ему, когда он явится законным претендентом на корейский престол.

Род нашего переводчика П. Н. тоже из Когнского округа. И он рассказал нам историю своего рода. Собственно, род его из старого города Коубе, где мы сегодня ночевали. Дед его был очень богатый человек. Но однажды дед его по торговым делам переплыл Туманган, то есть перешел границу. Об этом узнали, и он был приговорен к смертной казни. Тогда он бежал. Сына его высекли и потребовали, чтобы он разыскал отца, угрожая и ему в противном случае смертной казнью. Тогда и сын с семьей однажды ночью вплавь и вброд, все голые, перешли границу. Имущество их конфисковали. В их доме жил камни, но с упразднением его развалился и дом.

Остальной род П. Н. Кима продолжает жить в Корее, главным образом в Когнском округе, и так как родовые связи очень сильны в Корее, то и встречают его здесь как близкого родственника.

Родовые отношения и родовая месть (еман-аман) во всей силе в Корее. Корейская пословица говорит, что жизнь одного корейца стоит

иногда тысячи человек. Эта месть идет из рода в род.

П. Н., возвратившись от камня, сообщил, между прочим, следующее: он, П. Н., попросил у камня толкового проводника, который умел бы все рассказать. Камни обещал и назначил такого, который хорошо понимает по-русски. Затем проводнику строжайше запрещено было говорить что-нибудь действительное; он должен был все нам врать; не сообщать ничего из прошлого, не передавать легенд и проч.

Придумал наконец камень такую вещь. Когда спросят проводника, что нового, он должен сказать:

— Ничего нового нет, только в одной деревне собака родила кошку.

Но хуже всего было то, что проводнику были даны инструкции и дальнейшее наше путешествие обставить такими же проводниками. Родные П. Н. и сообщили ему обо всем этом.

П. Н. сердится.

— Ну, я ему и отомщу же! — говорит он.

Мы хотели осмотреть тюрьму, побывать у шамана, но все это под вежливыми предложениями было отклонено находившимся здесь полицейским. Покормив еще два часа лошадей, мы отправились дальше, по направлению к Хериону. Новый проводник наш одет по-европейски: в клетчатом желтом пиджаке, металлические пуговицы, шляпа котелком, но ноги обуты по-корейски, то есть в белые, мягкие на легкой вате чулки и туфли, которые кореец снимает при входе в комнату. Это высокий худой субъект, который весело щурится на нас и о чем-то болтает с товарищем.

— Вы говорите по-русски? — спросил я его.

Он отрицательно замотал головой.

Сели на лошадей и поехали какой-то невозможной грязной тропой в гору, на юг от города, вдоль городской стены. В глубоком овраге бежит ключ. Слабой силой его корейцы пользуются очень остроумно, устраивая толчею для обдирки проса. По лотку бежит вода в деревянную в три четверти аршина ложку. Когда ложка наполняется водой, она, перевешивая свой длинный конец, опускается и выливает воду. Затем ложка опять поднимается, а другой ее конец опускается. К нему приделан идущий к земле стержень. Когда стержень опускается, он ударяет сосуд, наполненный просом. От каждого удара часть

шелухи отделяется и уносится в сторону. Таких толчеи на небольшом протяжении до десяти. Они работают механически — никого возле них нет, и хотя незначительна сила ручья, но она таким образом вся использована. Чтобы дождь не мочил зерно, над толчеей устроен навесик.

У восточных ворот устроена часовня, где два раза в год камни производит официальное богослужение. Он молится небу, перед ним ставятся три чашки рису, а вместо ладану служит ароматное дерево.

Сведения эти нам сообщает сам переводчик, что до проводника, он молчит.

Проехали верст пять, и П. Н. приводит в исполнение свою месть.

— Что у вас нового? — спрашивает он у проводника.

— Нового у нас только и есть, что собака родила кошку.

— А по-русски вы не умеете говорить?

— Не умею.

Н. Е. смеется и говорит: — Я же слышал, как вы говорили. Проводник смущен и молчит.

— Ну, — говорит П. Н., — поезжайте назад и передайте камни, что у нас в России еще больше чудо есть: там блоха тигра родила. Вот вам сто кеш (20 копеек) — мы одни дальше поедem.

Проводник совершенно растерялся, он поехал было назад, но потом опять поехал за нами. Мы остановились и предложили ему уезжать.

— Я боюсь ехать один назад.

Так как вблизи была деревня Даури, то мы ему и предложили ехать туда и там ночевать, дав ему еще сто кеш. Он так и сделал, а мы поехали дальше.

Дорога поднимается на утес, и мы в последний раз любуемся долиной Тумангана, затем дорога сворачивает в долину речки Камуры, приток Тумангана, и на два дня с Туманганом мы расстаемся, обходя прямой дорогой луку, которую он здесь делает.

Мы присели на утесе и смотрим на панораму гор. Солнце близко к горизонту, ярче даль дорогих, золотой пылью заката осыпанных ковров, и точно замер в воздухе последний вздох ясного безмятежного дня. Тихо крутом, природа, закат и даль гор, как нежная музыка, навевают покой души. Как будто уже был когда-то в этих горных

теснинах, видел эту даль и краски ее и снова переживаешь прелесть былых ощущений.

Подсели к нам корейцы из деревни Дауры. Мы их расспрашиваем. Они говорят нам, что там вон, к югу, виден уже Херионский округ; вон, вон за той горкой, А вон за той и озеро Хан-шон-дзе-дути, где жил родоначальник маньчжурской династии в Китае.

— Но ведь гробницы китайских императоров в Мукдене.

— Гробницы там, а род отсюда, и китайцы живут за счет корейского счастья. Вот как было дело.

И пожилой кореец, в белой кофточке и черной волосяной, с большими полями и узким донышком шляпе, сидя на корточках и раскуривая свою маленькую на длинном чубуке трубочку, рассказывает нам новую легенду.

Несколько корейцев, также присев, внимательно слушают. Иногда поправляют, иногда сам рассказчик советуется с ними. Прост рассказ, трогательно наивна вера в него.

Так же верят, что это было, как то, что сидим мы теперь на высоком утесе, что у ног наших как расплавленный в огнях заката Туманган, а кругом горы, беспредельная даль их, и там дальше, куда идти нам, они все выше и выше, пока молочными очертаниями не сливаются с небом. А на горах ковры с фиолетово-золотым отливом, а там внизу в долинах уже тень, и прячутся в ней уютные фанзы мирных корейцев. И все тихо, неподвижно, и только изредка в засыпающем воздухе раздастся вдруг мычанье громадного корейского быка.

И кажется минутами наше пребывание здесь каким-то сном, очарованием, в котором мы все вдруг перенеслись в неведомую глубь промчавшихся тысячелетий.

Или вдруг вошли под какие-то своды и увидели иные горизонты, иную жизнь, память о которой даже исчезла. Взрослые, как дети, весь досуг свой отдают сказкам, верят в них, возбуждая зависть к этой своей непоколебимой вере, верят в богатырей, в покойников, возможность найти счастливую могилу, всю жизнь ищут ее. Тигр, барс, тысяченожка последняя — все это те же превращенные люди. Фетишизм на сцене: луч горы, луч Большой Медведицы, оплодотворяющий женщин. Самый вид корейца — темно-пепельный, похожий на мумию, иконописный, говорит о промчавшихся над ним

тысячелетиях. Кажется, коснется к этим ископаемым свежий воздух — и рассыплются они в прах.

А пока не рассыпались еще они или пока всеокрушающая культура не переработала еще их, я, пионер этой культуры, жадно слушаю и спешу записать все, чем так доверчиво делятся со мной эти большие дети.

Догорели огни заката, и в неясном просвете надвигающегося вечера исчезают волшебные очертания этого замка природы — из гор, неба-, дали, дорогих ковров осени.

Сладко зевают рассказчики, предвкушая близкий безмятежный сон.

— Корейцы любят деньги? — спрашиваю я.

— Жили три брата на свете и захотели они нарыть жень-шеню, чтобы стать богатыми. Счастье улыбнулось им, и вырыли они корень ценою в сто тысяч кеш. Тогда два брата сказали: «Убьем нашего третьего брата и возьмем его долю». Так и сделали они. А потом каждый из них, оставшихся в живых, стал думать, как бы ему убить своего другого брата. Вот подошли они к селу. «Пойди, — сказал один брат другому, — купи сули (водки) в селе, а я подожду тебя». А когда брат пошел в село, купил сули и шел с ней к ожидавшему его брату, тот сказал: «Если я теперь убью своего брата, мне останется и вся суля и весь корень». Он так и сделал: брата застрелил, а сулю выпил. Но суля была отравлена, потому что ею хотел убитый отравить брата. И все трое они умерли, а дорогой корень женьшень сгнил. С тех пор корейцы не ищут больше ни корня, ни денег, а ищут побольше братьев.

[6]

16 сентября

Накрапывает дождь, обозы ушли, я работаю у двери или окна фанзы. Прямо от нее идет кукурузное поле. Немного дальше выглядывает темно-красная, камышеобразная яр-буда (просо, из которого корейцы пекут свой хлеб), еще дальше такой же камышеобразный высокий гоалин. А подъезжая, мы попали в болотистое рисовое поле, хотя здесь для рису, собственно, слишком еще холодно и урожаи его бывают очень плохи.

Я сижу, и ветер сырой, пропитанный запахом травы, гладит мне лицо. Перед фанзой наши лошади мирно жуют кукурузу. Немного в

стороне Бибик, высокий хохол, солдат, для нас варит эту кукурузу и в золе жарит дикого гуся. Прямо перед дверью навесик, и под ним сидит привязанный за ногу коршун.

Хозяин фанзы с этим коршуном ходил на фазанов. Но теперь коршун меняет перья и для охоты не годится. Время его охоты с октября по апрель. В помощь ему берется собака лайка, она делает стойку, отыскивает потом коршуна с его добычей, которую он, не теряя времени, клюет.

Хозяин нашей фанзы — староста здешней деревни. Это очень почтенный старик, мягкий, с пробивающейся сединой в редкой бороде. Он сам будет провожать нас, но извиняется, что не может раньше часу, так как у него суд.

Суд над беглой женой. Муж бил ее, и она убежала. Ее поймали где-то далеко и привели назад. Теперь ее будут судить.

Нельзя ли посмотреть? Нет, нельзя. После долгих переговоров, мы улаживаемся так. Староста уйдет судить, а немного погодя я с П. Н. подойдем к той фанзе, где он судит, и скажем ему, что у нас к нему есть дело. Он извинится, что занят, и попросит нас подождать здесь же, в фанзе.

Так мы и сделали. Сперва отправились гулять. Улиц никаких, кривые тропинки из фанзы в фанзу, и каждая из них род дачи.

Подошли к строящейся фанзе.

Поставлен только деревянный корпус из рам полторавершкового леса. Затем эти рамы заплетут тонким ивняком и смажут глиной с соломой. На крышу кладут плетни из конопли. С внутренней стороны крышу, служащую потолком, смазывают глиной. С наружной же стороны поверх плетня кладут овсяную солому. Ее опять смазывают глиной, а сверху кладут мелкий камыш, который и покрывают веревочной сеткой.

Посреди фанзы, ниже пола, устраиваются печные борова; они идут под всей фанзой, а затем выходят наружу, в высокую деревянную трубу, отстоящую от строения аршина на два.

Осмотрев постройку, мы пошли к фанзе, где происходил суд. Но мы пришли слишком рано. Привели только женщину, муж же ее еще не пришел.

Нас пригласили внутрь фанзы. Там уже сидели восемь судей и девятый староста — все старики деревни. В другой комнате сидела

обвиняемая, на вид уже старуха, маленькая, уродливая, с выражением лица, напоминающим заклеванную птицу.

Мы вошли, извинились, что не можем снять сапоги, и сели у стены, как и другие, на корточки.

Один из корейцев предложил мне мешок для сиденья. Я снял было шляпу, но П. Н. объяснил мне, что надо надеть ее.

Лица корейцев, смуглые, широкие, с редкими бородками, выглядят ласково и добродушно. Есть и некрасивые, но есть и очень правильные, напоминающие итальянские лица. Они стройны, высоки. Я назвал бы их даже изящными.

Мы посидели немного, встали, поблагодарили и ушли.

Хозяин расскажет нам в дороге о самом суде.

В нашей фанзе мы застали старого китайца, разносчика-торговца. У него два ящика, желтых полированных. В этих ящиках товары. Открыл один, и мы увидели тесьмы, бусы, деревянные гребешки, мундштуки, японские спички. В другом — бумажные материи, наши русские — кумач, коленкор, корейская бязь, очень недурное пике, из которого шьют себе зажиточные люди платье.

— Все? — спрашиваю я у китайца, осмотрев весь его несложный товар, вплоть до яиц, на которые корейцы выменивают у него товары.

— Самого главного он вам не показал, — сказал П. Н., — китайскую водку — ханшина, как называют ее русские, или ходжо, как говорят китайцы, или тану-сцур по-корейски. Этой водкой он больше всего торгует. В Корее продажа водки разрешена беспрепятственно и не обложена акцизом.

Я попробовал этой водки — очень сильный сивушный запах, горьковатый вкус.

— Она очень крепкая, — говорит П. Н., — если зажечь спичкой, будет гореть.

Я зажигаю, но спичка тухнет, и водка не хочет гореть.

— Воды много налил.

Китаец улыбается.

— Это дешевая водка, — говорит он.

Возвратился староста с суда. Мы застали его сидящим, по обыкновению, на корточках с своей трубкой, задумчивого и грустного.

Суд кончился. Та старуха, которую мы приняли за обвиняемую, была просто из любопытных. Обвиняемая же была женщина

шестнадцати лет. Ее поймали в этой деревне и дали знать мужу. Когда муж приехал, устроили суд.

Мужу двадцать лет.

Его приговорили к десяти ударам розог, которые он тут же и получил. Одни держали за ноги, другие за голову, а помощник старосты отсчитывал удары. С десяти ударов они сняли ему несколько полос кожи.

Староста, когда били, спрашивал;

— А что, больно?

И тот благим матом кричал:

— Больно!

— Ну, в другой раз не теряй жену и не беспокой соседей твоими делами.

Староста очень жалел, что мы не досидели до конца и не были свидетелями наказания, так как чем больше свидетелей, тем это назидательнее выходит.

— А жене ничего?

— Это дело ее мужа.

— И она присутствовала при наказании?

— Да. Затем они уехали оба к себе домой. Он не мог сидеть и лежал в арбе, а она правила.

— Но если она убежит?

— Тогда еще больше накажем: не убежит!

— Но он из чужой деревни?

— Это только честь ему. Если б начальник чужого города наказал его, это переходило бы, как заслуга, из рода в род.

«Вот оно откуда идет, — подумал я, — эта проповедь некоторых из наших культуртрегеров об отсутствии позорного в телесном наказании».

Дождь опять. Мы едем узкой долиной, тучи легли на горы и все ниже и ниже опускаются прямо на нас.

Это уж и не дождь, а что-то мокрое, и вода бежит с наших дождевых плащей. Плащи корейцев из концов конопли, искусно связанных концами вниз. Они похожи в них на колючих дикобразов.

Все выше и выше долина, все уже, уже, все каменистее почва. Груды камней лежат в кучах — это камень с полей, но и на полях его еще больше, и все наши плуги изломались бы здесь.

А вот и перевал Капхарлен, на высоте семидесяти сажен. Дорога почти отвесно лезет в гору, вечереет, совсем темнеет, и проводник наш наконец заявляет, что дальше не пойдет, так как его лошадь чует «его».

— Кого «его»?

— Не к ночи сказать — тигра. Здесь никто никогда не ездит ночью, и днем ездят только партиями.

Мы почти силой увлекаем проводника.

— В таком случае дайте мне хоть помолиться.

С каким усердием он молился перед кумирней. Он совсем влез в нее и кланяется, кланяется.

Мы едем дальше и после двухчасовой переправы спускаемся благополучно в глубокую долину.

17 сентября

Я сижу в фанзе Ким-хи-бой деревни Баргаири. У самой фанзы несется теперь разлившаяся в большую река Пансани-ханури.

Мы у подножья перевала Капхарлен., Мелкий дождь и туман закрывают ущелье, Ущелье, которому позавидует и любое кавказское. Вода гулко шумит, и под ее гул я слушаю прекрасные рассказы здешних горцев. Доверчиво, как дети, они сидят на корточках — человек десять — и внимательно, серьезно объясняют моему переводчику.

Очень сложный вопрос мы обсуждаем. Вопрос их религии.

Будда, Конфуций, шаман, обожание гор — все это смешалось и составило религию простого человека в Корее.

Миллион вопросов с моей стороны — прямых, перекрестных, и полдня ушло, пока получилось нечто связное, передаваемое бумаге.

Здесь же проводник из Ауди, почтенный старик Ким-ти-буан. Здесь и житель Южной Кореи, Ан-кугуни из провинции Пиандо. И когда все они кивают головами, осторожный и пунктуальный П. Н. Ким переводит мне. Многое он и сам знает, но не доверяет себе и, по моей усиленной просьбе, по несколько раз переспрашивает.

Вот сущность и результат всех вопросов.

У человека три души. Одна после смерти идет на небо (ханыр); ее несут три ангела (бывшие души праведных) в прекрасный сад (син-тён). Начальник сада, Оконшанте, спрашивает ее, как жила она на земле, и в зависимости от греховности или чистоты этой жизни,

чистосердечности передачи всех грехов определяет: или возвратиться ей обратно на землю в оставленное тело, или оставаться в прекрасном саду, или переселиться в тигра, собаку, лошадь, осла, свинью, змею.

Есть души, обреченные на вечное переселение: это убийцы и разрушители династий.

Вторая душа остается при теле и идет с ним в землю (ее несут тоже три ангела), в ад, к начальнику ада, Тибуану.

Третья душа остается в воздухе, близ своего жилья— ее несет один ангел.

О первой душе забота живущих заключается в том, чтобы дожидаться распоряжения начальника сада, на случай, если он возвратит душу назад в тело.

Это может случиться через три дня, пять, семь — всегда в нечетные дни.

Шаман, или вещун, или предсказатель — тонн, или просто составитель календаря счастливых дней и празднеств саат-гуан в точности называют этот день похорон. У богатых не хоронят иногда до трех месяцев. Тело тогда кладут в парадную комнату фанзы, кладут туда же и пищу и замуровывают эту комнату. Вообще торопиться с похоронами не следует — это неприлично, это неуважение к памяти усопшего.

Заботы о второй душе — душе тела — заключаются в том, чтоб выбрать телу счастливую гору. Корейские горы представляют из себя множество отдельных вершин, холмов. Все эти холмы и вершины утилизируются для кладбищ. Найти счастливое место — большой труд. По несколько раз приходится вырывать тело и переносить его на новое место.

Вчера в дождь и в непогодь мы встретили по дороге таких мучеников, несших уже сгнившее тело. На двух жердях они несли тело, обернутое в корейскую, маслом пропитанную бумагу. От трупа невыносимо разило.

— Почему вы несете его на новое место?

— В нашем доме заболел ребенок, и шаман приказал перенести тело его деда, умершего шесть месяцев назад, на другое более счастливое место. А сегодня именно тот счастливый день, когда назначен перенос.

Счастливая гора, выбранная для покойника, дает все — счастье, удачу, служебную карьеру. Он богат, потому что выбрал удачную гору отцу, он министр по той же причине.

Есть святые горы. Кто умеет найти их для своих предков, в роду того когда-нибудь будет богатырь.

Забота о третьей душе [7]никогда не прекращается: то ее надо покормить, и шаман назначает зарезать свинью, сварить рису и нести на гору, где стоят молельни — кучи камня под навесом, то тот или другой предок обиделся, и опять надо его умилоствлять той же свиньей (чушкой) и вареным рисом. Вообще эти души воздуха — беспокойный народ, и возни корейцу с ними выше головы. Блудливые в жизни, они остаются такими же и после смерти, являясь таким образом точным снимком с того, кто жил когда-то.

Над жизнью и смертью распоряжается идол ада, Тибуан. По своим спискам он вызывает с земли чрез свою администрацию очередных. Но оказывается, что и там возможны подтасовки. Так, однажды умер некто Пак из Менгена. Внук этого Пака, умерший значительно раньше и успевший попасть в администрацию Тибуана, сейчас же узнал деда, но, не показав я вида, сказал Тибуану:

— Вот произошла ошибка: мы требовали Пака из Тангена, а пришел из Менгена.

— Исправить ошибку, — сказал Тибуан.

Таким образом Пак из Менгена возвратился в свое тело и потом рассказывал, при каких обстоятельствах увиделся он со своим внуком.

Дождь все идет, вся фанза протекает. Платье, промокшее вчера в дороге, промокло за ночь еще сильнее, спички отсырели.

— Давно в этой фанзе был покойник?

— Два года назад. Только что сняли траур.

— Будут его еще переносить?

— Будут.

— Сколько времени его держали в фанзе?

— Семнадцать дней.

— В какой комнате?

Показывают, где стоит моя кровать.

— От какой болезни умер?

— От оспы.

— Может быть, от черной?

Долгие переговоры.

— Они не знают, — говорит П. Н.

— А что он спросил вдруг о наших покойниках? — встревожились робкие корейцы. — Может быть, они ему снились? А если снились, то что говорили?

Но я поспешил успокоить их и объяснить, что заговорил о покойниках только потому, что вообще зашел разговор о загробной жизни.

Затем, так как все было готово к отъезду, мы простились с ними, поблагодарили и уехали.

Река бушует и рвется. Коротенькие волны с белыми гребешками с стремительной быстротой мчатся, догоняя друг друга.

Туман и тучи рассеялись, видно голубое небо, собирается солнце выбраться из последних туч. А кругом теснятся горы, здесь уже поросшие мелким лесом.

Говорят, прежде здесь рос когда-то большой, высокий лес. Историю его исчезновения можно наблюдать и сейчас. По скату гор там и сям уже идет распашка.

В других местах к ней готовят только поля, выжигая кустарник. Такие распашки замечал я здесь на склонах очень крутых, не более двойного откоса. Выше этих распашек места только для коз да их спутников — барсов и тигров.

Проехав версты две, мы начали переправляться на другой берег. Бытовая картинка. Завтра у корейцев годовая праздник в честь урожая. Сегодня они поминают родных и готовят мясо для завтрашнего дня.

Большие группы, человек в тридцать корейцев, на этой и на той стороне. Многие из них до пояса голые, и их бронзовые тела сильны и мускулисты. Они все вокруг разрезанных кусков свежего мяса.

Эти тела, длинные волосы, завитушки на голове напоминают одну из картин Эмара или Купера с краснокожими.

Началась очень неудачная переправа: у Н. Е. лошадь вдруг легла или споткнулась посреди реки. Вследствие этого они оба на мгновение скрылись с глаз. Затем сейчас же опять показались и оба возвратились назад. Н. Е. ни на мгновение не потерял своего философского спокойствия и сейчас же принялся просушивать записные книжки, паспорта, револьвер, ружье, барометр, шагомер.

Одного из наших корейцев свалило водой хуже, на более глубоком месте. Лошадь скоро оправилась, но корейца понесло вниз. Кое-как выплыл и он к берегу и, ухватившись за ветви, взобрался на другую сторону.

Все-таки перебрались, но подмочили весь обоз. Поэтому, разбив палатки, принялись сушиться. Корейцы окружили нас, и вот мы теперь в их обществе. Они деликатны, вежливы, принесли (за деньги, конечно) снопы кукурузы, чумизы, ячменя.

Узнав, что на горах у них растет дикий виноград, я попросил принести его, и теперь возле меня большая корзина черного, сладкого, но мелкого винограда.

Н. Е. ушел на охоту за козами. На всякий случай он взял и дробовик и винчестер. С ним пошел один из наших корейцев, а другой, здешний, показывает места.

П. Н. долго вызывал охотников.

— Не идут, — объясняет он нам, — боятся Н. Е.

— Скажите им, что это нам надо их бояться, — нас, русских, пять, а их сколько.

Наконец согласились, когда я предложил и нашего корейца.

На берегу реки, повалив лошадь, два корейца подковывают ее. В другом месте группа корейцев сидит на корточках и курят свои трубки. Через реку голые корейцы переносят наши вещи. Все это картинки, и надо идти за аппаратом. Я снимаю все группы, а П. Н. объясняет им, что я делаю. Они смеются и все хотят попасть на изображение.

После съемки я раздаю детям сахар.

Маленький мальчик, грустный и милостивый, уже с закрученным наверху хохолком — признак женатого человека: он уже женат.

Так уютно разбился наш лагерь под группой деревьев, так живописна река и округа. Вот подходит кореец в волосяной шапке, вроде нашей камилавки, с широким раструбом кверху—это дворянин. Вот идет другой, в белой шапке, вроде тех, которые когда-то надевали в школах — ослиные уши: это шапка неглубокого траура. При глубоком же — весь костюм от шапки до башмаков должен быть белого цвета. Вообще белый цвет национальный и любимейший у корейцев.

Сегодня вечером у меня опять собрание корейцев из соседней деревни. Во главе их дворянин. Он, оказывается, и староста у них. По требованию П. Н., я оказываю ему особый почет: жму, как и он, двумя руками его руку, посадил его на походный стул, подарил ему какую-то безделушку, а главное, угостил всю компанию коньяком. Немного, но достаточно для того, чтобы развязать им языки. Дворянин недоволен современным положением дел.

— Прежде в Сеуле за знание давали должности, потом эти должности покупали, а теперь их никак не получишь: пришли другие люди и все взяли. Наша страна бедная, только и были, что должности — должности отняли: что остается корейцу?

Он спросил:

— Отчего другие народы богаты, а корейцы бедны?

Я отвечал, что и у корейцев много естественных богатств, но нет технических знаний. Без таких же знаний в наше время нельзя быть богатым. Эту мысль я развил ему примерами вроде моего путешествия со скоростью двадцати верст в сутки, в сравнении с железной дорогой, с тысячеверстной скоростью в то же время.

— Да мы уж строим такую дорогу, но без знаний не мы будем и пользоваться.

Я ответил, что корейцы народ способный, и раз начнут заниматься, то так же скоро, как и японцы, догонят европейцев.

— Северная Корея от России примет науку.

— Если Корея этого захочет, Россия считает корейцев братьями.

— Мы хотим, а как другие — мы не знаем.

После коньяку речь зашла об обычаях, преданьях, религии. Произошла таким образом проверка и прошлого, услышали мы и три новых рассказа.

В этих рассказах характеристика бонз (монахов) как распутных людей и пьяниц.

Вечер закончился генеральным осмотром наших вещей.

Между прочим выяснилось, что дворянин знает только китайскую письменность, а корейской женской не знает, что делает его, живущего среди простого населения, неграмотным человеком. Но уж так принято, что дворянину неприлично знать женскую грамоту простого народа.

К дворянину остальные относятся с большим уважением: подают ему двумя руками, спрашивают каждый раз разрешение принять от меня угощение. Сыну своему, женатому, лет двадцати, он не разрешает ни вина, ни коньяку.

Выкурив свою трубку, он опять набивает ее, и сын идет к костру, принимая каждый раз и подавая отцу трубку двумя руками.

Почему-то все эти отношения, и эта длинная трубка, и даже аромат табаку напомнили мне самое раннее мое детство в доме деда моего, типичного дворянина и помещика Малороссии.

На прощанье дворянин взял мою левую руку, перевернул ладонью вверх и стал рассказывать мне мою судьбу. Я буду жить до девяноста лет — об этом говорит линия, уходящая к кисти руки. Это же говорит на основании хиромантии Н. А. Линия к третьему, безымянному пальцу говорит о способностях, чем она больше, чем больше разветвлений, тем больше и способностей.

И это сходится с тем, что говорит Н. А.

— Вот придем в Херион, — говорит П. Н., — там настоящие предсказатели: они вам все расскажут...

18 сентября

Половина пятого. Темно еще. За палаткой у костра два сторожевые корейца разговаривают. Они говорят по обычаю громко, быстро, с экспрессией, но голоса мирно налаженные. Однообразный, мирный шум воды.

В половине шестого первые лучи сверкнули по горам. Здесь, в долине, еще глубокая тень. Уютная, красивая картинка. Горы, долинка, река, мирно приютившиеся здесь и там фанзы. Ясное утро, и все спит в этом торжественном тихом уголке.

Вчера, прощаясь, корейцы говорили:

— Надо идти приготовляться к празднику.

И в голосе их слышалась и торжественность и радость праздника.

Годовой праздник. Праздник везде праздник, и ощущение этого праздника с детских лет остается в душе, и мне понятны их ощущения.

Сегодня праздник, и он в природе, солнце, на этих горах.

Из-за этого праздника приехал в свое имение пусай г. Он-тон. Он приехал вчера. Его имение на противоположной стороне, в

живописном ущелье. В контраст с мелким кустарником его береженный лес широкой полосой уходит в горы.

Два палача этого пусая приходили в наш лагерь. Оказывается, что он и в чужом для него месте может творить суд и расправу: высечь дерзкого, наказать пьяного.

Часам к шести пришли дети деревни. Они сегодня чистенькие, нарядные, в белых, голубых, розовых и зеленых куртках.

Немного погодя один из взрослых пришел, и за ним несли два закрытых корейской мягкой бумагой столика. На этих столиках ряд маленьких чашечек, в которых: 1) корейский хлеб из яр-буды (род проса) — желтый, липкий; с ним в одной миске мука из жареных бобов, с сухой приправой сои (что-то вроде нашего зеленого сыра, мелко растертого, но не такой острый вкус); 2) синие помидоры, 3) вареный чеснок, 4) жареная говядина и соленые огурцы, 5) соленая редька, 6) соус из желудка, 7) рыба вареная, 8) соус из щенков, 9) теплая водка — сули и 10) квас сладкий с некоторой остротой вроде нашего медового кваса.

Все это я пробую и благодарю. Мне отдельный столик, Н. Е. — отдельный. Н. Е. категорически заявил, что он нездоров и есть ничего не будет. Я уговариваю его, и он соглашается поесть редьки.

На горизонте показывается дворянин тоже со столиком. Пока он подходит, крестьяне рассказывают, что собственно дворянство указом императора упразднено еще в 1895 году. Но в таких глухих местах, как это, еще держится старый обычай, и население добровольно отдает дворянам былую честь. В больших же городах, а особенно в Сеуле, о дворянах давно забыли думать, и там они ничем не отличаются от остальных.

Существовало четыре разряда дворян: сельский дворянин, городской дворянин, дворянин провинций и дворянин империи. Из дворян империи выбирались на высшие должности в империи; из дворян провинции — на высшие должности в провинции. Из городских дворян — военные и, наконец, совершенно бесправные сельские дворяне.

Мы уложились, снялись и поехали. В живописном уголке стоит старая, поросшая мохом, черепицей крытая, уютная фанза. Форма крыши — подражание китайским. Фанза огорожена забором, погнем

свесились тыквы, висит желтая кукуруза, зеленый еще табак, красный стручковый перец. Яркое впечатление юга.

— Вот, — говорит хозяин, — яблоня, вот вишня.

Вся долина усеяна камнем, и на ней растет тощий хлеб. Но тут же дикая вишня перерастает четыре сажени, тут же виноград, и в диком своем виде сладкий и вкусный.

— Придет время, — говорю я хозяину, — и ваши долины будут зеленеть в садах, виноградниках, и труд человека оправдается в десять раз больше теперешнего. Тогда будет Корея богатая. Но для этого надо ехать не в Китай, учиться его бесплодным наукам, а туда, где умеют разводить эти сады, умеют доставать из гор их богатства, которые лежат в них. Тогда Корея будет богатая, а до тех пор в Корее будут только добрые хорошие люди, занятые выше головы своими покойниками, добрые люди, которых все всегда обидят.

Дворянин, увязавшийся провожать нас, снисходительно кивает головой.

Он с своей долиной поразительно напоминает родину его прототипа, Дон-Кихота Ламанчского. И он такой же худой, высокий, окруженный насмешливой вежливостью своих односельчан. При расставании я оказал ему всю вежливость: слез с лошади, двумя руками пожал его руку.

— Я хотел бы еще раз увидеть вас, — сказал он мне растроганно.

— Если я не приеду, то привалю своего сына, — ответил я ему, и мы расстались.

Мы едем долиной, у которой столько названий, сколько и селений: Па-и-сан-хансури, Маргаер-хансури и т. д. Долина шириной версты в две с каменистой, старательно возделанной почвой. Так же возделаны здесь и там косогоры. По долине протекает в плоских берегах река, и орошение здесь не представило бы никаких затруднений. Но им пользуются только для риса. Но для риса здесь сравнительно холодно, и он дает сравнительно плохой урожай.

Чем дальше, тем больше селений и дороже цена на землю. Здесь она уже достигает двухсот рублей за десятину.

По случаю праздника все нарядно: девушки качаются на качелях, молодые парни разводят у реки костры и что-то варят себе. Взрослые на могилах предков. Группы в белых одеяниях на всех окрестных пригорках— все это кладбища, все это счастливые горы. И нередко,

если нашедший счастливое место для предков попадает в знать или богатство, тайно на это же кладбище уже несет кто-нибудь и своего какого-нибудь предка. Но если владелец кладбища узнает, то дело нередко кончается и смертью виновного.

Поминки заключаются в том, что приносят на могилу еду и водку. Три рюмки выливают на могилу, а остальную водку и гуцу съедают в память усопшего.

Из одной фанзы выскочил белый кореец и, протягивая руку, кричал по-русски:

— Здравствуй, здравствуй, иди на моя фанза!

Это пришедший с заработка из России кореец.

Я угостил его папиросой, пожал его руку, и мы расстались, так как весь запас его знаний ограничился вышеприведенной фразой.

Решили сегодня добраться до Хериона.

Едет громадный Бибик и что-то улыбается. Он уроженец Харьковской губернии, переселился с родными в Томскую; выговор у него совершенно хохлацкий.

— Хорошая сторона Харьковская губерния, — говорю я.

— Да вона хороша, та земли нет.

— Ну, а Корея вам нравится?

Бибик усмехается:

— А чего тут хорошего: горы да буераки; у нас в Томской губернии, по крайней мере, конца поля не видно.

— Их домики, — говорю я, — красивые.

— А что в них красивого, — сомневается Бибик.

— Вот, отдельно стоят, кругом зелень, чисто...

— Ас чего у них и грязно будет, когда овцы нет, скотина — один бык.

— Много комнат, — говорю я, — в русской избе в одной комнате набьется народ, тут и телята.

Бибик не может удержаться от улыбки.

— А что то и за комнаты их: и вся комната неначе курятник у нас.

Надо видеть фигуру Бирика, чуть не в сажень, в американской высокой шляпе; он сидит на микроскопичной, чуточку больше осла корейской лошадке. Рот его расширяется до ушей, и он говорит:

— Просто дурная сторона, та и годи. От так же и в Китаю.

— Вы были там?

— А був, и тут я був.

Бибик большой любитель впечатлений. Он не пропускает ни одной экспедиции и всегда бросает какое бы то ни было выгодное место. Едет и усмехается.

Сегодня мы пробыли на лошадях двенадцать часов и сделали сто ли. С последнего перевала при сером угасающем дне открылась дивная панорама. Все, что мог охватить глаз, были долины, окруженные причудливыми, наморщенными горами и пригорками. И долины и горы покрыты все теми же чудными бархатными коврами.

Ночь спустилась сперва вся в тучах, темная, а затем подул северный ветер, стало холодно, тучи ушли, и яркая луна заиграла в обманчивой теперь и трудно уловимой округе.

— Вот, вот белое — это ворота Хериона.

Но все белое, вся даль, везде ворота Хериона, устали все, и всем хочется спать.

Лошади, не евшие целый день, жадно хватают и плотают все — траву, листья, ветви.

Удивительные желудки здешних лошадей: они едят стебли кукурузы, как наши лошади сено, и большая любезность, если им эти стебли порубят. Говорят, корейские лошадки злы и корейцы грубо обращаются с ними. Они, правда, резко кричат на них: «Ги!» Но так же заботливо, как и наши крестьяне, обращаются со своими лошадьми.

— Вот в этих горах водятся удавы, — говорит наш проводник.

Он показывает руками размер удава: диаметр — пол-аршина, длина — сажень и больше.

— Он сам видел? — спрашиваю я переводчика.

— Он видел, но не таких больших, — и он показывает кулак и длину аршина в полтора. Но и он, и все окружавшие, и везде в других местах корейцы твердо стоят на том, что у них есть и удавы, и какой-то род крокодилов: коротких, толстых, на четырех лапах.

Много легенд ходит об этих крокодилах. Голова их похожа на человеческую; они большие любители красивых девушек. Подобные рассказы упорно повторяются в каждой деревне. Зимой они пропадают, а летом плотают мышей, лягушек; ядовиты.

Самая же ядовитая змея — куль-пэми (живущая в норах). Живут группами; если тронут одну, то все бросаются на врага. Эта

маленькая, не больше аршина, темная, как земля.

Так, разговаривая обо всем, мы наконец подъезжаем к воротам Хериона.

Это белой известкой выбеленные каменные арки, сажени в две толщиной. От них идет стена, сложенная насухо, высотой в две сажени. Такая стена вокруг всего города четырехугольником, и в ней четверо ворот: северные, южные, восточные и западные. Через ворота, которые словно валятся куда-то в бездну, виднеется что-то неясное: какая-то серебряная бездна — не то небо, не то река прозрачная. Фантазия уже рисует причудливой архитектуры восточный город, но вот темные ворота назад, и мы в городе. Серебряная мгла рассеивается, и мы видим... пашню, поля. Саженьях в стах виднеется что-то серое, но и это не город еще, это памятник бывшим начальникам города.

Наконец и город, то есть ряд все тех же фанз — серых, крытых соломой. Но здесь, сбитые в кучу, они уродливы и грязны.

Лошадь, ставшая поперек, загораживает всю улицу. Я сижу верхом, и моя голова почти в уровень с коньком крыш. Вонь и грязь на улицах. Вот торговые ряды, такие же ряды с клетушками. Восемь часов, но уже весь город спит.

Куда же ехать? Мы стучимся в какую-то фанзу.

— Вам отведена городская квартира, — справьтесь у начальника.

Наш путеводитель-староста, все время заботившийся о чистоте своих ног, отправляется к начальнику и шлепает теперь по грязи, мало думая о своих ногах. Вся фигура его покорно сторбилась, и, очевидно, он только о том и думает, как бы в чем не проштрафиться.

Первое, запрещается въезжать в город верхом, но он идет пешком. Второе, при встрече с начальством надо низко пригнуться и идти, не смея смотреть на него — он так и идет.

И все-таки беспокойно робкое сердце, потому что третье, самое главное, угадать, что желает в данный момент начальство — не дано ни корейскому, ни иному смертному.

— Очень просто, — говорит П. Н., — велит вздуть бамбуками, и вздуют.

— Ну и город, — отплеивается Бибики от окружающей вони.

Немного погодя, уже веселый, шагает проводник назад. Он опять вспомнил о своих ногах и теперь заботливо выбирает место посуше.

За ним полицейский в зеленом шарфе.

— Ге, ге! — говорит он и бежит вперед.

Мы едем за ним, кружим по всему городу и наконец приезжаем. Большая фанза, три чистых комнаты — уютно и тепло от теплого пола. С десятков полицейских, откуда-то взявшихся, ссаживают нас, ведут в комнаты.

После устали хорошо и поесть, хорошо и заснуть. Но надо записать барометр, термометр, все полученные расстояния, нанести реки, села, высоты. А затем дневник, легенды.

Стих шум от раскладки, варится ужин, где-то за спиной какой-то приятный тенор выводит какую-то восточную песню.

Она, как узор цветов их гор и долин, подходит к ним, подходит к чуткой, но притиснутой, робкой душе корейца.

Что-то нежное, тоскливое, хватающее за душу в этой однообразной мелодии. Отдельные рулады, ноты понятны и сильно действуют, но все вместе требует перевода на наше ухо — это только материал для того композитора, который захотел бы заняться музыкой Востока. Пришел П. Н. и объяснил, что это не пение, а чтение, что здесь, читая, поют и что тот, кто читает, один из лучших чтецов города.

19 сентября

Сегодня назначена в Херионе дневка, и потому мы с Н. Е. надеялись поспать лишнего, но не пришлось.

В шесть часов раздались где-то близко какие-то мелодичные завывания, ближе, ближе, и наши двор, комната наполнились вдруг этим странным восточным пением, завыванием.

Неумытый П. Н. просунул взволнованное лицо и шепнул:

— Начальник города.

— Скажите, что мы очень извиняемся, что мы еще в постели, что не пришел обоз, где наши вещи. Когда придет, мы сами будем у него.

Опять заглядывает П. Н.

— Начальник счел своим долгом, ввиду того что такие знатные иностранцы посетили его город, осведомиться об их здоровье и спросить, довольны ли помещением.

— Мы очень довольны и от всей души благодарим.

Некоторая пауза, и затем крик десяти голосов, что-то вроде нашего «ура», и затем опять мелодичное завывание.

Мы высунули голову и смотрим вслед. На носилках сидит высокий, старый уже человек. Он в белом костюме, черной волосяной шляпе, а поверх белого костюма фиолетовая туника. Носилки устроены с возвышением, покрытым барсовой шкурой, на которой и сидит начальник (кунжу). С двух сторон его идут двое с алебардами, впереди разноцветный фонарь, около него молодой мальчик, его адъютант, передает распоряжения старшему палачу, этот же в свою очередь громко выкрикивает то же своим исполнителям — младшим палачам... Вся свита кунжу — человек десять, которые и идут гуськом за ним.

Завывания уже далеко, но сон пропал.

— Что они кричат?

— Кричат, чтоб все давали дорогу. Когда идет начальник, надо уходить или, пригнувшись, давать дорогу, проходить не смотря.

Начальник едет в громадных китайских очках. При встрече с ним все остальные должны снимать свои очки. При встрече и поклонах друг с другом они тоже обязательно снимаются.

Напились чаю, я сел за работу, все наши отправляются посмотреть город, кроме Бибика.

— Что там еще смотреть? У нас в Томской губернии...

Он не договаривает, что у них там, в Томской губернии. Да что и договаривать, когда всё и без того ясно: Бибик ложится спать поэтому и спит весь день.

К двум часам приходит обоз, мы одеваемся и идем к кунжу. Его чиновник ждал нас и теперь ведет к своему шефу. За нами идут дети, корейцы, выглядят корейки. Одни стыдливо, другие уверенно. Одна стоит с большими глазами, с совершенно белым, здоровым лицом, красивая даже с нашей точки зрения. У нее в глазах уверенность и некоторое даже презрение, пренебрежение.

— Веселая вдова, — говорю я П. Н.

П. Н. осведомляется, и оказывается, что веселая вдова попросту проститутка.

— Как вы догадались? Она была у прежнего кунжу фавориткой, а этот новых набрал, эта недовольна.

— Откуда набираются проститутки?

С тем же вопросом П. Н. обращается к толпе корейцев, долгий разговор, поправки и затем перевод П. Н.

— Проститутки набираются со всех сословий...

— Я читал, что собственно танцовщицы поставляются исключительно сословием городским — среднее нечто между крестьянами и дворянами.

П. Н. перебрасывает вопрос в толпу, и энергичный крик в ответ:

— Это неверно. Вот как это бывает в каждой семье. В три года предсказатель, по-вашему шаман, по-корейски тонн, определяет будущность девушек. Бывает так, что девушке назначено умереть, а проституткой она остается живой, такую и назначают... Только это последнее дело...

П. Н. делает соответствующую гримасу. Он переводит свою мысль толпе, толпа делает такие же гримасы, сочувственно кричит и отплеивается.

— Вот еще проститутка.

Тоже белолицая женщина, рыхлая, с неприятным лицом, стоит и мирно разговаривает с толпой.

Но с ней разговаривают, и пренебрежения к ней не видно.

Я сообщаю это П. Н.

— Ну, конечно, — говорит он, — тоже человек, чем она виновата.

Мы проходим через целый ряд памятников кунжу, прежних пусаев, и подходим к дому с затейливыми, на китайский образец, черепичными крышами. Деревянная арка, на ней громадный барабан, в который бьют вечернюю зорю.

Там, на этой арке, сам кунжу со свитой... Увидев нас, он поспешно идет во двор.

Перед нами отворяют средние ворота, в которые входит только кунжу.

Мы входим во двор и поднимаемся по ступенькам под большой навес. В стороне лежат, корейские розги: длинные, гибкие линейки, аршина в два, с ручками. Здесь происходят судбища.

К нам идет навстречу начальник, мы жмем друг другу руки, он показывает на дверь. Мы входим в комнату сажени полторы в квадрате. Посреди ее накрытый белой скатертью стол, по бокам четыре табурета: два из них покрыты барсовыми шкурами. На них садят меня и Н. Е. На два других садятся кунжу и П. Н.

Начинается разговор, как высокие гости доехали? Как нравится им страна и люди?

Мы хвалим и страну и людей, благодарим за гостеприимство. С введением технического образования предсказываем спокойную и безбедную будущность народу корейскому.

— Образование необходимо, — говорит старик, — мой сын третий год уже в Петербурге. Корея может жить, если, другие великие народы не уворуют их страну. Кореец не может сопротивляться, но это будет большой грех. Слава богу, избавились от китайцев, но теперь японцы захватывают: они жадны, корыстолюбивы, двуличны. Мы за их доллар даем пятьсот кеш, а между тем это уже вышедшая из употребления монета, и во всем остальном мире стоимость ее то серебро, которое в ней. На сто кеш не будет. Три миллиона нищий корейский народ бросает так японцам.

Он не любит японцев. Его, вероятно, за это прогонят скоро, но он говорит то, что думает.

Предполагать двуличие нельзя было, хотя бы потому, что в дверях и окнах стояло множество народу, который внимательно слушал. Удивительно в этом отношении жизнь на людях здесь проходит. К этому приспособлено все вплоть до этих домов, где в одном конце слышен шепот с другого, эти бумажные двери. Затворите их, проделают дырки пальцами, и десятки глаз опять наблюдают каждый ваш шаг.

— Вот это мой второй сын, это третий, от наложницы, — говорит начальник города.

— Прежде и в Корее были законные и незаконные дети, но вот, — это уже было давно, — с каких пор все изменилось. У одного министра не было законного сына, и согласно обычаю он должен был усыновить кого-нибудь из своего законного рода, чтоб передать ему свои права и имущество. Выбор его пал на племянника. В назначенный для церемонии день, когда собрались для этого в дом министра все знаменитые люди и прибыл сам император, вышел к гостям незаконный десятилетний сын хозяина, держа в руках много заостренных палочек. Каждому из гостей он дал по такой палочке и сказал: «Выколите мне глаза, если я не сын моего отца». — «Ты сын». — «Тогда выколите мне глаза, если мой двоюродный брат сын моего отца». — «Но он не сын». — «Тогда за что же вы лишаете меня,

сына, моих прав?» — «Таков закон», — ответили ему. «Кто пишет законы?» — спросил мальчик — «Люди», — ответили ему. «Вы люди?» — спросил мальчик. «Мы?» Гости посоветовались между собой и ответили: «Люди». — «От вас, значит, — сказал мальчик, — и зависит переменить несправедливый закон». Тогда император сказал: «А ведь мальчик не так глуп, как кажется, и почему бы действительно нам и не переменить несправедливого закона?»

И закон переменяли, и с тех пор в Корее нет больше незаконных детей.

— Это так, — кивают в окнах и дверях серьезные корейцы, и беседа наша продолжается дальше.

— Правда ли, что дворянство уничтожено в Корее? — проверяю я сообщенные мне сведения.

— Дворянство осталось, но в правах службы все сословия сравнены в тысяча восемьсот девяносто пятом году.

— А рабство?

— Собираемся и его уничтожить.

На стол поставили, справившись о том, что мы уже обедали, корейские лакомства: белые и красные круглые конфетки (мука с сахаром), род фиников, китайские пряники темного цвета, сладкие, из рассыпчатого теста. Подали чай и коньяк. Этот коньяк я узнал по бутылке — это дар наших, уже побывавших здесь.

— Это мне подарок.

Тогда и мы поднесли ему свои подарки: полсотни сигар, сотню папирос, подносик с приспособлениями для сигар.

— Очень, очень благодарен.

— Не хочет ли начальник сняться?

— О да, очень хочет. Можно со всеми наложницами, проститутками и служащими?

— Можно, можно.

Н. Е. берется за это дело, а я ухожу.

Н. Е. по возвращении передает впечатления. Кунжу снимался один и со всеми вместе, но двух жен не показал: старшая жена в имении, а другая не совсем здорова. Вечером он еще раз придет к нам.

П. Н. нашел нового проводника — он знает много рассказов, хорошо читает. Мы купили большую, в семи частях, корейскую повесть. Будем читать ее в дороге.

Новый проводник и толпа корейцев сидят в моей комнате, и я задаю разного рода вопросы.

Больше всего идет проверка прежних сведений.

Наш китайский переводчик, Василий Васильевич, ходил к своим.

— Хорошие люди?

— Все хунхузы (разбойники), — уныло сообщает В. В.

Он больше всех боится этих хунхузов и трепещет при мысли, что мы идем в самое их логовище — Пек-тусан.

Смерклось, и скоро раздались заунывные звуки — начальник идет. Когда пение неслось уже со двора, я вышел, мы пожали друг другу руки, и он пошел в комнату.

Мы усадили его на походном стуле и стали угощать икрой, ветчиной, сардинками, а главное — коньяком.

— Это наш предводитель дворянства, — указал кунжу на одного из стоявших.

Это с полным лицом средних лет человек, в своем длинном костюме похожий на доминиканского монаха. Лицо его льстивое и подобострастное.

Я попросил его присесть. Но он так и не сел.

Каждый раз, подавая ему коньяк, П. Н. спрашивал разрешения у начальника.

Предводитель дворянства кланялся, брал рюмку, как-то уморительно выворачивал в сторону шею и лицо и выпивал все, что ему давали. Принимал двумя руками закуску и, отворачиваясь, ел. Остальным начальник запретил пить.

В конце концов начальник заговорил по-русски.

Рассказал, как бывал он во Владивостоке, как ездил по железной дороге.

— Мне везло в жизни, — говорил он своему предводителю, — я обедал со всеми знатными людьми: во Владивостоке — с губернатором, в Хабаровске — с генерал-губернатором, на Камне-Рыболове — со становым.

Просил нас очень скорее строить железную дорогу, показал образцы каменного угля в двух верстах от Хериона в горе Саа-гори.

Я предложил ему попробовать вермуту, а он добродушно сказал:

— На сегодня довольно, а лучше оставьте мне эту бутылку, завтра, скучая и вспоминая о любезных гостях, я выпью ее. Это мой

адъютант, — показал он на юношу, — и я его очень люблю, и он всегда спит со мной.

Принесли сладкое: халву, карамели.

— Нет, я не ем сладкого, лучше выпьем на прощание.

Он заставил выпить меня, и я сказал:

— Я пью за гостеприимный, ласковый народ корейский, я желаю ему блестящей будущности и желаю, чтоб никто не мешал ему развиваться.

Все корейцы приветливо закивали головами, а начальник сказал:

— Мы хотим русских, — у русских денег много, а японцы еще беднее нас.

— Возьмите вашим детям, — дал я на дорогу начальнику конфет.

— Вот мои дети, — показал он на толпу, стоящую у двери.

И он отдал им все конфеты.

— Сладкое я им позволяю: не позволяю вино и курить при себе. Только предводителю позволяю вино, но курить и сидеть нельзя при мне.

Затем мы простились.

Ночью еще эффектнее эти завывания, разноцветный громадный фонарь и белая гуськом стража.

После их ухода мы стали есть приготовленный нам корейский обед, состоящий из семи закусок (на юге девять), — чиртеби, курица вареная с бульоном, жареное в чесноке мясо, нечто вроде бефстроганов, и чашка рису вместо хлеба. Все съедобно и вкусно.

20 сентября

Шесть часов, но уже заглядывает в дырочки десяток детских глаз. К сожалению, дети грязны и запах от них тяжелый, иногда прямо нестерпимый. Воздух комнаты отравлен этим запахом. Лучше скорее встать да отворить бумажную дверь — по крайней мере проникнет и свежий воздух.

После вчерашнего пиршества много. покраж: пропали чайные ложечки, много консервов и разных мелких вещей. Хуже всего, что исчезла часть патронов, — могут наделать себе массу зла.

Нигде до сих пор ничто не пропадало у нас. Правда, случаи мелкого воровства в Корее подтверждаются и другими

путешественниками, но где их не бывает? И в уличной толпе Лондона разве их меньше?

Пока укладываются, сходил в город и снял несколько видов: лавок, улиц, харчевен с их лапшой, женщин, носящих сзади на спине своих детей. И девочка лет десяти тащит такой непосильный груз, обмотанный тряпкой. В открытые двери фанзы видны работающие, наполовину голые женщины.

Вот у лавочки стоит миловидная женщина в своем костюме — белая юбка, кончающаяся белым поясом, на плечах баска, а расстояние между баской и поясом открывает голую спину, бока, грудь. Она покупает вату, и пока ей отвешивают, она стоит со связками кеш в руках.

Вот во дворе раскинута палатка. Это годовщина смерти, и все знакомые идут к ним с визитом в этот день.

Едят, пьют и поминают.

У лавок сидят, поджавши по-турецки ноги или на корточках.

У здешних такой же, как и у наших купцов, уверенный вид и презрение ко всему, кроме денег.

Перед нами южные ворота, и через них то и дело проходят женщины, неся на головах высокие кувшины с водой.

За нами толпа ребятишек и всякого народа. Все приветливы, вежливы и расположены.

Слышится ласковое «араса» (русский).

Подходит старик и горячо говорит что-то П. Н., тот смеется.

— Что он говорит?

— Говорит, что араса хорош, только солдат араса нехорош.

Старик с сожалением кивает мне головой. Чтоб кончить о Херионе, следует сказать, что в нем 1000 фанз, 6300 жителей, 100 быков, 50 коров, 30 лошадей и 1000 свиней. С трудом достали семь пудов продажного ячменя, нашли только пять продажных яиц.

Сборы кончены. Один из наших рабочих, кореец Сапаги, длинноногий, худой, в пиджаке и котелке, под которым корейская прическа, уже сидит на лошади и что-то горячо кричит.

П. Н. переводит. Он заступается за корейцев по поводу мелких пропаж. Их просто привлекает блеск и цвет.

— Это нет карапчи, — весело кричит он мне.

Словом «карапчи» он определяет воровство.

— Ну, с богом.

Бибик не готов. У него стащили оброть и нечем увязать выюки.

— Як начну сшивать вас... — ворчит он.

— Что значит сшивать? — спрашиваю я.

— По шее бить, — нехотя отвечает он.

— Нет уж, пожалуйста, если не хотите лубенцовской истории, которую знает всякий кореец, — говорит П. Н.

— Да вы что обижаетесь, — говорю я Бибику, — у нас в России больше крадут.

— Так в России хозяин отвечает, а тут напустят всякого сброду...

Мы тронулись наконец и, извиваясь в узких улицах города, идем к южным воротам.

Идет красивая бледнолицая корейка. Она несет на голове кувшин, и походка ее какая-то особая, сохраняющая равновесие.

Лицо Бибика расплывается в самую блаженную улыбку. Весь гнев сразу пропал. — «Красива, проклятая...»

А через несколько верст я спрашиваю его, как обошелся он без недоуздка.

— А украв ихний. А що ж вони будут таскать, а мы... и мы будем.

И он въезжает в самую середину их посевов, чтобы лошади поели чумизы.

— Бибик, а в России хозяин за такую потраву что сделал бы?

— А хйба ж мы в России? — успокаивается Бибик.

Верстах в двух от Хериона, стоят два высоких деревянных столба с перекладинами. На них герб города Хериона — два диких гуся и между ними вилы, вернее, трезубое копьё.

Эти ворота поставлены от лучей злой горы. Это копьё пронизет этот луч. Гуси же — эмблемы весны и тепла.

Часто на воротах фанзы есть такие надписи: «Пусть в эти ворота скорее войдут весна и лето, несущие с собой все радости».

Недалеко от дороги памятники какого-то родового кладбища: мраморные доски в три четверти аршина длиной, пол-аршина шириной. По обеим сторонам две плиты с выпуклыми изображениями человеческих фигур — это рабы по двум сторонам, — они были у покойного при жизни, будут и после смерти.

Иногда на таких кладбищах стоит высокая балка с райской птицей на ней. Птица вроде цапли, на длинных ногах. Это те, которые

при жизни получили от императора похвальный отзыв на красной бумаге.

Вот деревня в пятнадцати ли от Хериона — Пико-ри, что значит деревня памятников.

Здесь, при сменах, старый начальник города встречает нового и вручает ему государственную печать.

Здесь же множество памятников бывшим начальникам, и дальше по дороге все такие же памятники. На одном из них что-то написано.

— Что это?

— Здесь написано, какое счастье отдохнуть здесь и полюбоваться видом этой долины. Это не относится к памятнику, это так написал какой-нибудь отдыхающий кореец, — объясняет П. Н., — устал, вот и понравилось ему.

— А то, что за памятник на горе?

— Это памятник добродетельной женщине. Это очень почтенный памятник, — об нем у императора просят все жители округа.

— Чем она знаменита, эта женщина?

— Она была добродетельная жена.

— Это первый памятник, который мы встретили; разве только одна и была до сих пор добродетельная жена, и кто удостоверял ее добродетель? — недоверчиво спрашиваю, я.

И мне рассказывают прекрасную, глубоко альтруистическую сказку о добродетельной жене.

На двадцать третьей версте бывшая застава — Ка-пунсам.

Она обнесена серой каменной стеной. Время наложило на нее свою печать, — она развалилась, от прежнего города осталось всего тридцать фанз, зелень пробралась в стену, в черепицу, и это соединение зелени и серого камня при солнечном блеске ясного осеннего дня, при остальных, общих красно-желтых, золотистых тонах, составляет ласкающий и манящий глаз контраст.

Но боже сохрани взобраться на такую стену и доверчиво лечь в ее зелени.

Множество ядовитых змей ужалят, и через несколько минут наступит смерть.

Так умерла здесь красавица девушка, когда родители насильно заставили ее выйти замуж за нелюбимого.

Она надела свое свадебное платье и в нем ушла. Никто не смел за ней следовать, а она шла по стене, пока не дошла до густой ее зелени, и легла там.

Все время дорога идет живописной долиной речки Чон-кан-мун. Те же горы, та же кукуруза, чумиза, но больше лесу, и широкие ветлы низко склонили свои ветви к волнам быстрой прозрачной, как хрусталь, холодной реки.

Под этими ветлами там и сям поэтичные фанзы. Юноши-корейцы в косах, в женских костюмах, мечтательные и задумчивые, как девушки.

Мы ночуем в восьмидесяти ли от Хериона, в деревне Чон-гор, в том ущелье долины, где, кажется, горы совсем преградили ей путь.

Весело вьется синий дымок костра в синее небо, колеблется его пламя и неровно освещает группы сидящих кругом нас корейцев.

— Пришел рассказчик, — пронеслось по деревне, и все собрались и слушают молодого двадцатилетнего, только что женатого юношу.

Он в своем беленьком дамском костюме и шляпе, как институтка, застенчивый, говорит свои сказки. Иногда они поют их.

Времена еще Гомера у корейского народа, и надо видеть, как любовно и серьезно они слушают. Лучшие рассказчики на устах у всех, и П. Н. безошибочно делает свой выбор.

Сказки о предках, о счастье.

Для счастья кореец носит своих покойников с места на место, меняет чуть не каждый год название своей деревни, ищет счастливый день в календаре, у предсказателей.

На склонах гор его растет дикий виноград, в долинах дикие яблони, вишни и сливы, в горах золото, железо, серебро, свинец и каменный уголь. Но ничего этого не надо корейцу: ему нужны сказки о счастье. И сказки о счастье дороже ему тяжелых денег, тощей пашни.

21 сентября

Лагерь уже выступил, и во дворе фанзы идет энергичная уборка хозяевами.

Опять все ясно и уютно. Масса детей. Опять несчастный прокаженный. На мой вопрос: много ли их?

— О, много, очень много.

Он живет в своей семье. Им никто не брезгует.

— Надо жалеть несчастного, — ему уж недолго жить.

Семь часов утра, обед наш готов, надо приучаться есть с утра и на весь день, так как на лошади придется пробыть не меньше двенадцати часов, и это самый выгодный способ передвижения — весь день ехать, все ночи спать.

Чудное утро, ласковое солнце, долины и горы все так же прекрасны, прозрачная вода все так же нежно журчит в широкой горной реке. А вверху нежно-голубое небо, и не знаю, в небе или на горе тает белое, все прозрачное облачко.

Кладбище на склоне, и уже возится трудолюбивый кореец у могилы своих предков.

Дорога все выше и выше. Изредка попадаются по две, по три двухколесных арбы на быках, мы иногда их обгоняем, — это везут товар из России — бязь, ситец, кумач. Обратные везут китайскую водку.

На вершине перевала (3 версты от стоянки) Му-санлен устроена молельня: у дерева, сажень в квадрате, под черепичной крышей надпись: цон-нон-тан (святой дом начальника гор). Внутри на стене, перед входом, на коричневой бумаге изображение старика с белыми бровями, белой бородой, с желто-белым лицом. На нем зеленая одежда, желтые рукава (род ряски), красная подкладка, синяя оторочка воротника и рукавов. Под зеленой одеждой белый или даже палевый подрясник, ноги в китайских туфлях. Одной рукой он обнимает тигра, который изогнулся и смотрит старику в глаза.

Это его лошадь, на которой он объезжает свою гору. На голове старика маленькая желтая корона из цветов.

Старик сидит в задумчивой позе на скамье с перилами и смотрит тигру в глаза.

Картину рисовал художник округа Херион, местности Тха-кор, Охан-муги в 1898 году, третьей луны.

Внизу надпись: святой начальник гор — Цхон-нион-та-тхон-уан-шив-у. Картина за двумя красными кумачовыми занавесками. По двум другим сторонам множество лошадиных волос. Всякий проезжающий вырывает у своей лошади волосы из гривы и хвоста и вешает их, прося о благополучии от тигров.

Перед изображением, среди молельни два-три камня, на которых сжигается душистое дерево в честь начальника гор.

На наружной стороне беседки надписи по-русски: 8 мая 1889 г. Ветергоф, 25 мая 1890 г. Ветергоф, Неовиус и Хрущов. 26 февраля 1886 года Десано (неразборчиво).

И я написал: 21 сентября 1898 г. и свою фамилию.

Проехали одиннадцать верст от ночевки, и начались дикие, почти необитаемые, места, с узкой долиной и высокой горой.

На двадцатой версте развалины старого Мусана. Сохранилась только стена да несколько фанз.

Невдалеке китайцы, они же и хунхузы (разбойники), жгут уголь. Несколько таких хунхузов держат всю округу в панике. Корейцы робки, как дети. Будь хоть сотня их, возвращающихся с заработков из России, но один выстрел и предложение всем сложить свои вещи и деньги делают то, что эта сотня корейцев — белых лебедей, которые, как лебеди, с первыми весенними лучами появляются в пределах России, а осенью с лебедями исчезают в своей стране, — складывает в кучу все вещи, весь товар, купленный в России, все деньги, бросает лошадей и скот, спасая только свою жизнь.

Китаец трусливее всех других, кроме корейцев, народов, на войне умеющий так великолепно бегать, здесь, перед более робкими, является героем.

Конвой из пяти человек наших солдат провожает партию корейцев в сто человек до корейской границы — этого достаточно, чтоб и китайцы не нападали, и сотня корейцев были спокойны.

Эти факты ясно характеризуют, какой материал представляет в военном отношении детский корейский народ. В их легендах, правда, сохранились представления о богатырях и их подвигах, но в добродетели современного корейца военные доблести не входят. И, конечно, больше всего за это наш Бибик презирает их от всего своего сердца. Наверно, презирает и меня в душе за то, что я не пользуюсь их робостью: не посылаю его на фуражировку, не позволяю ухаживать за корейками и дразнить корейцев.

Все выше и выше подъем, и только лес кругом, да верхушки далеких гор просвечивают.

Но лес плохой: или погорелый, или сгнивший. Порода— осина и лиственница. Изредка попадает сосновое дерево, но так их мало,

этих деревьев, что и говорить о них не стоит. Остальное — хлам, не годный даже на порядочные дрова.

Поздно, почти в темноте, мы достигаем перевала, последнего перед Мусаном — перевала Чаплен и, спустившись, ночуем в деревне Шекшарикор.

Бедная фанза, — постоянный двор, — ветер уныло завывает в лесу, и от шума леса кажется, что на дворе разыгрывается страшная непогода.

Слушая такой вой ветра, один путешественник кореец из мест, где нет леса, просидел четыре дня, все выжидая, когда лес перестанет шуметь. Но он шумит всегда.

Бедная наша фанза имеет характер кавказской сакли. Холодно. Термометр упал до четырех градусов.

Сена нет, соломы нет, овса нет, ячменя нет. Послали за пять верст и кое-как собрали два пуда ячменя и двадцать пять снопов соломы бузы.

Но зато приятный сюрприз: оказался картофель. Уже десятый день мы без хлеба и картофеля.

Я не думал, что за такое короткое время можно так соскучиться за такой новостью, как картофель. Обыкновенно я его почти не ем, но сегодня ел, как самое гастрономическое блюдо.

Клопов в фанзе множество. Мы в почетной комнате, где кореец держит своих покойников. Дверь на грязную половину открыта, и видна вся тамошняя публика: Би-бик, Беседин, Хопов — все отставные солдаты, два наших корейца: высокий Сапаги кмаленький урод Таа-ни — веселый комик, ни слова не говорящий по-русски и тем не менее заставляющий наших солдат то и дело хохотать.

Он упросил Беседина уступить ему винчестер.

— На что тебе? Он крутит усы:

— Капитан...

Это значит, что он будет иметь вид капитана и пленит тогда сердце какой-нибудь корейки. Корейка примет его за «араса» (русского).

— Значит корейки любят «араса»? — спрашивает благообразный, исполнительный, бывший ротный фельдфебель Беседин.

— Ну, так неужели любить таких уродов, — гудит Бибик, показывая на Таани, и уже умирает от смеха.

В нашей фанзе, в женском отделении, путешественница дворянка. Она путешествует со своим рабом. Рабу лет пятнадцать. Его продали родители из Южной Кореи во время свирепствовавшего там голода.

Я утром видел эту путешествующую дворянку. Высокий пояс, баска, юбка-колокол — все безукоризненно белое, — дама, как дама, если б не торчащие из-под юбки в корейской обуви ноги. Да походка с выворачиванием пяток, точно она все время несет на голове громадный кувшин с водой.

Раб ведет в поводу хорошенькую сытую лошадку. На спине лошади красиво упакован тюк, торчит европейский зонтик.

Другой путешественник, молодой человек, тоже очень опрятно одетый.

— Какая его может быть специальность? — спрашиваю я у П. Н.

П. Н. отправляется с ним разговаривать и после долгой беседы с пренебрежительной гримасой подсаживается поближе ко мне.

— Он сам живет постоянно в Херионе. Все их имущество — две корейских десятины, которые обрабатывает его младший брат, а он живет на этот доход.

— Какие же доходы?

— А много ему надо? Хватит чумизы и довольно.

— Но такой костюм?

— Ну два рубля пятьдесят копеек. Шляпа на всю жизнь. Ну, немного посводничает... Приедет, например, из глухой деревни крестьянин богатый или дворянин — ничего не знает в городе. Ну и поведет по всем веселым местам, где поют, танцуют.

— Это ведь запрещено теперь?

— На бумаге запрещено — бумага все терпит... Только таким, как этот, заработок: покажет где или познакомит с вдовой, а она просто проститутка, ну и морочит с ним вместе деревенского медведя. А он, медведь, совсем, может, и города никогда не видал. А как услышит музыку, пение, увидит ее танцы, да еще сама она нальет ему сули, ну и бери, как хунхуз, все деньги. Отдаст и уедет в деревню, другой на его место.

— Это он сам вам рассказывал?

— Кто это будет рассказывать про себя, — хозяин рассказывал, да и так видно. Если человек честно зарабатывает себе хлеб — он так и скажет, а кто молчит, ну, значит, каким-нибудь ремеслом нехорошим да занимается. В корейских городах таких половина города: так и живут на счет деревенских дураков. Вот теперь, наверно, ездил к какому-нибудь деревенскому дружку, с которым пировал, ну, может, поклон от вдовы привез, — дожидается, дескать, его в город. Ну, уши и развесит дурак, да и жена тут, — как бы не проговорился: даст ему сколько надо, — только уходи, пожалуйста. С одного, другого соберет, ну ему пока и довольно. Теперь вот дворянку эту выслеживает, может, и тут что-нибудь перепадет... Вот если дать ему рюмки три спирта, он развернет язык.

— Бог с ним. Рюмку дайте, потому что ему, кажется, до сих пор холодно.

Ему дали рюмку спирту, и он расцвел, он подошел к моей двери и, сделав что-то вроде дамского реверанса, что-то сказал.

Я понял «азенчен» — благодарю. П. Н. перевел остальное:

— Он говорит, что ему лестно от таких знатных гостей получить угощение. Теперь будет врать своим, как мы его принимали. Столько наврет, что и в три года не разберешь.

П. Н. заговорил о чем-то с ним, и лицо молодого франта просияло.

— Я говорю ему, что мы воротимся еще в Херион и что нельзя ли будет познакомиться с какой-нибудь веселой вдовой через него? Говорит — сколько угодно.

П. Н. презрительно сплевывает и заканчивает:

— Дрянчушка человек...

22 сентября

Опять мы движемся.

Спустились с гор. Опять долины шире, но горы выше, уютные фанзы в долинах, и на неприступных скатах гор — пашня.

— Но как они снопы оттуда спускают?

— На волокушках.

На привале мы осматриваем корейскую соху. Род нашей сохи, и пара быков в запряжке. Прежде земледельческие инструменты

корейцы сами делали, теперь все больше и больше привозят их из Японии, где работают их лучше.

Едем дальше... Попадаются опять редкие арбы парами в ту и другую сторону. Из Мусана везут березовую кору, в которую обертывают переносимого из одной могилы в другую покойника. При любви корейцев возиться со своими покойниками это видная отрасль торговли — в березовой коре не гниют кости.

Спрашиваю я проводника корейца:

— Кто сотворил небо, землю?

— Землю создал человек, а небо Оконшанте.

— А Оконшанте кто создал?

Выходит так, что тоже человек. Что-то не так.

Мы останавливаемся в деревне, собираются корейцы и горячо спорят. Понемногу побеждает один почтенный кореец.

— Земля сама создалась, а небо создал Оконшанте, да и человека тоже Оконшанте.

Невдалеке монастырь женатых бонз. Они сеют хлеб и живут сообща.

К закату показался Мусан, весь окруженный безлесными, фиолетовыми от заката горами.

Лес кончился, как только спустились с последнего перевала.

Мусан — значит запутанный в горах. Гор действительно множество самых разнообразных и причудливых форм: вот громадный крокодил плочает какого-то зверя поменьше. Вот тигр изогнулся и присел, чтобы прыгнуть... А в розовом пожаре облака дорисовывают фантазию гор, и не разберешь, где сливаются горы земли с горами неба.

Сумерки быстро надвигаются, и скоро ничего не будет видно.

Но город уж близко. Он уютно расположился на скате долинки, окруженный стеной, с четырьмя китайскими воротами, с деревянными столбами для отвода лучей злой горы.

— Отчего в корейских городах нет монастырей, храмов?

Проводник устал и отвечает: «Нет и нет».

Вот и Мусан.

Какую чудную фанзу нам отвели. Под черепичной крышей четыре чистых комнатки, все оклеенные корейской серо-шелковистой бумагой.

Шум, крик, восторг толпы и ребят.

Скорее есть и спать. О, как приятно лечь и вытянуться. Но много еще работы, пока заснешь: технический журнал, дневник, рассказы, астрономические наблюдения, английский язык, и надо еще послушать после ужина собравшихся корейцев: расскажут, может быть, что-нибудь, дадут сведения о таинственном Пектусане, об ожидающих нас там хунхузах, о тиграх и барсах.

Ив. Аф. докладывает:

— Пять лошадей расковались, две лошади спины набили, вышел ячмень, нет крупы и мяса... устали лошади, к тому же время надо, чтобы новые подводы найти, люди хотели бы белье помыть, да и самим обмыться, пока еще можно терпеть воду...

— В воде девять — десять градусов.

— Стерпят.

Все, словом, сводится к дневке.

— Хорошо...

— Дневка?

По голосу И. А. слышу, что это за удовольствие. Положим, и у меня накопилось письменной работы.

Ну, дневка, так спать, — завтра и наемся, и напишусь вволю. Кстати с начальником округа повидаюсь и запасусь его распоряжением для свободного прохода и содействия местных властей до самого Пектусана.

Да и Пектусан, как будто ближе, чем предполагали: вместо 500 ли — 300. Впрочем, никто ничего точно не знает. Да и ли до сих пор не выясненная величина... По нашему определению ли — это треть версты, а не половина.

Никто: ни торговый человек, ни администратор, ни простой смертный не могут определить, что такое ли.

23 сентября

Сегодня дневка в Мусане.

Я уже послал свои визитные карточки к начальнику города и получил такие же от него. Он ждет нас к себе в гости.

Об этом начальнике отзываются с большим уважением. Прежде всего, говорят, он не берет взяток, затем беспристрастно судит и человек с тактом.

Личное мое знакомство с ним только подтвердило это впечатление. Это тридцативосьмилетний, очень сохранившийся, сильный и высокий человек.

Сила его скрадывается пропорциональностью и стройностью. Довольно густая черная бородка, красивые большие глаза: в них какая-то ласка, задумчивость, скромность.

Обстановка его фанзы скромная. Нет стульев, и мы сидим на очень простеньком ковре.

Нам подали вареную курицу, корейскую лапшу и корейские пикули. Все это, очевидно, не каждодневная пища. Чаю и сладкого нам не предлагали.

Он очень смущен нашими мелкими подарками и просил передать, что будет, смотря на них, вспоминать о нас. Он уже распорядился о дальнейшем нашем путешествии, послал предписания и нас снабжает ими.

Кстати сказать, дороги его округа являются идеалом в сравнении с остальными дорогами Кореи. Даже мосты почти везде имеются.

Мы говорим с ним о политике.

Корейцы совершенно не годятся к войне, по его мнению. Это кроткий, тихий народ и теперь по-своему очень счастливый, потому что умеет довольствоваться малым.

— Деньги не всегда дают счастье.

Он смеется, его белые зубы сверкают, глаза ласково смотрят. Японцы одно с ними племя, но они испортились, стали двуличны и жадны. Но денег нет и у них. «Араса» — это сильный, могущественный народ. «Араса» храбр, и ему здесь никто не страшен. «Араса» богат, и вся Северная Корея живет заработками в России. Для Кореи не надо солдата, нужна ласка. Для хунхузов нужно солдат.

У них в городе 400 фанз и 1500 жителей, 200 быков, 100 коров, 100 лошадей. Население города наполовину занимается земледелием. Часть служит, часть торгует, остальные бездельничают. В нашем путешествии к верховьям Тумангана и Ялу предстоит много затруднений: нет жилья, становится холодно, бродяги, хунхузы, тигры, барсы. Небо сохранит нас...

Мы встали и откланялись.

24 сентября

Весь день вчера прошел в работе — писал, осматривал город. Такие же грязные улицы, грязные маленькие фанзы, маленькие лавочки с дешевыми материями и необходимыми принадлежностями несложного корейского хозяйства.

Часов в семь пришел с визитом начальник города. Его не несли на носилках и не кричали при его проходе. Он шел уже по новому закону. Такой же скромный, тихий, обстоятельный.

Вследствие вчерашней моей просьбы принес подлинную меру пути. Я наконец добился, что такое ли. В ли 360 тигачи. Тигачи составляет 0,445 сажени. Следовательно ли равняется 162 сажени и составляет треть версты. Мы торжествуем таким образом точность нашего измерения.

Начальник города принес подарки: на корейской бумаге китайские надписи: «Начинающийся свет», «Красная каменная гора».

— Это приносит счастье.

Начальник выпил рюмку коньяку и больше пить отказался.

Мы сняли с него фотографию и, пожелав друг другу всего лучшего, расстались.

Он ушел скромно, с опущенной головой, точно в раздумье о чем-то.

— Корейский народ, может быть, будет богат и образован, но таким счастливым он уже никогда не будет, — вздохнул он, прощаясь.

Это не протест: корейцы не способны ни к какому протесту — это... вздох о проносящемся детстве. Все готово.

С сегодняшнего дня весь транспорт идет уже не разделяясь. Причина — китайская граница и хунхузы.

Пора ехать: запах от набившейся толпы ребятишек несносен. Перед самой дверью ужасное лицо прокаженного. Сколько безнадежной скорби в его глазах. Я даю ему деньги — что ему деньги?

Опять Туманган перед нами, но это уже речка не более двадцати пяти сажени. Крутые берега его иногда не пускают нас, и тогда мы взбираемся на боковые перевалы. По обеим сторонам мелкий лесок, цветы осени. Чудная погода, шумит Туманган, и несется шум в синее чистое небо, где спят горы, спят и точно дышат в своих бархатных коричневых коврах.

На той стороне китайский берег, обработанные поля. Это работа корейцев, а поля китайцев, и берут с них китайцы из 10 снопов в свою

пользу б. Это указывает на громадную нужду в земле. Надо вспомнить при этом, что такой работающий на китайской стороне кореец постоянно рискует попасть в руки хунхузов, которые или убьют его, или возьмут выкуп. И при корейской робости нужда все-таки гонит их на китайский берег.

— А если б пришел «араса», — он храбрый и прогнал бы хунхузов.

— Мы так хотим «араса»...

Так страстно говорит каждый поселянин этих мест.

Нам предложили сразу, как вышли из Мусана, переправиться на китайский берег, как более пологий, но мы решили идти корейским. Однако после двух головокружительных перевалов в конце концов предпочли иметь дело с хунхузами, чем рисковать лошадьми. Тропа, по которой двигались мы на высоте 50–60 сажен над Туманганом, буквально вьется по карнизу, наибольшая ширина которого два аршина, наименьшая же просто промытая пропасть, через которую и проходят по выступающим камням.

Нога пешехода скользит, но положение вьючной лошади с шестью пудами колеблющегося на ее спине груза невыносимое.

Одна из лошадей потеряла равновесие и уже съехала было задними ногами в пропасть, и мы часа два провозились, пока спасли ее.

Хуже всего на поворотах, которых корейцы совсем не умеют устраивать: или приткнут друг к другу под острым углом с почти отвесными скалами, или совсем не соединят, предоставляя лошадям и пешим прямо прыгать.

Зато виды непередаваемо хороши. Тем не менее пришлось отказаться и от видов. И, хотя наступает вечер, мы все-таки перешли ночевать на китайский берег, где и устроились в какой-то брошенной китайской фанзе.

Проводник очень усердно уговаривал нас хоть переночевать для безопасности на корейском берегу. Он и корейцы там и ночевали. Кончив свои работы на реке, я первый, перебрался на другой берег и, пока возились с перевозкой вещей, присел там, наблюдая группу из корейских женщин, которые в ожидании парома — длинной и узкой лодки с бревнами по бокам — сидят на берегу. Подходят новые: одна с мешком, другая с корзинкой на голове, почти каждая с ребенком на

спине. Сидящие предупредительно помогают пришедшей снять мешок. Все они стройны, в них много грации, но лица некрасивы. Костюм похож на наш дамский — баска, широкий пояс, юбка-колокол. Изящные манеры, прическа — это группа наших дам. Они так и сидят, в противоположность своим мужчинам не обращая на нас никакого внимания.

Уехали корейки, и я иду к одинокой фанзе, месту нашего ночлега. Все это время приходилось проводить в шумном обществе корейцев, от любопытства которых нет спасенья, приходилось и есть, и спать, и работать на глазах толпы. Так они и все живут, и в чужой монастырь не пойдешь со своим уставом: приходилось поневоле покоряться. В первый раз здесь я был один лицом к лицу с здешней природой. Точно первое свидание, с риском дорого поплатиться за него. Я замечтался и сижу. Сама осень, ясная, светлая, навевает особый покой и какую-то грусть. Точно задумались все эти горы и даль в своем праздничном наряде и грустят о промчавшихся лучших днях.

Так уютен уголок, где эта хижина...

Целый лабиринт отдельных гор странно закружился, и потерялась в них эта долинка с хижинкой и сверкающей речкой.

Шум реки словно, стихает под влиянием вечера, а косые лучи солнца, уже не попадая в долину, скользят там выше и теряются в синеющей мгле.

Окраска гор — волшебная панорама всех цветов. В одном повороте бархатная даль отликает ярким пурпуром, там великолепный фиолетовый налет, а на западе, в бледной позолоте неба, как воздушные, стоят иззубренные группы гор.

И река полосами отражает эти тона, и все кругом замерло, неподвижно, все охваченное очарованием свежести и красоты.

А потом почти сразу наступила ночь, потухли горы, тьма легла и охватила мягкое, бархатное, синее небо.

Холодно. 3° всего. Принесли корм лошадям.

Десяток-другой корейцев, ободренные нашим присутствием, не спешат на свой берег.

— Оставайтесь всегда здесь, — наивно предлагают они нам.

— Но ведь это не ваш берег.

— Нет, наш, — еще на сто пятьдесят ли наш, но мы не успели сделать пограничных знаков, и хунхузы захватили нашу лучшую пашню себе.

Они говорят, вероятно, о нейтральной 50-верстной полосе, которую бесцеремонно захватили себе китайцы.

Эти корейцы сообщают первые сведения о Пектусане, высочайшей здесь вершине — цели нашей поездки, с таинственным озером на ней, питающим будто бы три громадные реки: Туманган, Ялу и Суигари.

Несомненно, это бывший вулкан.

Одан из очевидцев этой горы (белая гора — Пек-ту-сан), проезжавший около нее в десяти верстах, слышал шум, похожий на гром, исходивший из недр земли.

— Это волны озера так шумят, — объясняет он по-своему, — озеро там глубоко и видеть его можно, поднявшись на самую вершину, но подняться туда нельзя, потому что сейчас же поднимается страшный ветер, хотя кругом и тихо, и мелкая пемзовая пыль выедаёт глаза.

— Почему же ветер поднимается?

— Дракон, который живет в этом озере, не хочет, чтобы смотрели на его жилище.

Хорошо, что дракон запасся такой пылью, а иначе набились бы и к нему любопытные корейцы, как набивались к нам, когда мы ночевали у них.

— А Туманган из этого озера действительно вытекает?

— Говорят.

Что значит Туманган? Туман — неизвестно куда скрывшийся, ган — река.

— Зачем ходят на Пектусан?

— Ходят собирать в его окрестностях жень-шень, цена которого дороже золота.

— Корейцы ходят?

— Не корейцы.

25 сентября

Холодно: два градуса мороза.

— Ив. Аф., будите людей.

Ив. Аф. дежурный. Дежурство без различия чинов и званий, по очереди. В третью ночь моя с П. Н. очередь.

Как ни торопишься, а вот уже семь часов, а вокруг все еще крик и шум корейцев, и вьюки еще не готовы.

Уже приехали корейцы с той стороны, взрослые, дети опять кричат, обступают толпой.

Только женщин никогда нет.

Сегодня какая-то мгла на горизонте, и небо покрыто свинцовым налетом.

Но уже переходит оно в чистый, прозрачно-синий, свойственный осени свой цвет.

С утра и горы поблекли, — желтизна их тускло сверкает, — краски осени, как годы утомленной после блестящего праздника красавицы, уже чувствуются и выступают ярче, говоря о ее будущей еще, но уже скорой непривлекательности.

Но выше поднимется солнце и скрадет все эти печальные намеки, и мы успеем еще спуститься к югу, не испортив впечатления последней и лучшей красоты.

Окружили корейцы и, раскрыв рты, смотрят.

— П. Н., скажите им, что вот мужчины-корейцы глаз с нас не сводят, а женщины их и смотреть на нас не хотят. Нам приятнее было бы, если б было наоборот.

Вот дружный хохот раздался, и долго они хохотали.

Наконец тронулись.

Мы едем китайской землей. На другой стороне вся в горах Корея, а здесь хлебородная, версты в две-три долина. Урожай в этом году и здесь превосходный: высокий красный гоалин, могучая кукуруза, чумиза, буда, яр-буда, бобы сои: я собрал до тридцати сортов всех этих семян.

Через десять верст опять переправа на корейский берег в том месте, где в Туманган впала многоводная и быстрая Тагаион.

Между двух рек высокая скала, и дальше, по берегу Тумангана, ряд скал.

Пока идет переправа, подходит высокий кореец с шкурой барса: он убил его в четырнадцатый день восьмой луны, то есть неделю тому назад.

Длина туловища без хвоста два аршина.

Вот при каких условиях он убил этого барса: женщина из соседней деревни сидела на берегу реки и мыла салат (салат корейцы солят на зиму и посыпают перцем). Это было часа в два дня, ходил народ, и тем не менее барс с наглостью, присущей только ему, подкрался и бросился на нее, по обыкновению, сзади и, по обыкновению, схватив ее за шею. Затем с этой двадцатипятилетней женщиной он бросился в воду, но тут закричал народ, и барс, выпустив свою жертву, один уже переправился на другую сторону. Но там, несмотря на крики, он остановился и следил за своей жертвой, которую несло водой и которую никто не решался, ввиду его присутствия, спасти.

Этот стоящий теперь передо мной охотник успел сбегать домой, зарядить свое фитильное ружье, возвратиться и, выстрелив, положить на месте хищника.

Корейка, хотя и спасена, но в безнадежном состоянии.

Теперь по закону он везет эту шкуру в Мусан к начальнику города, который и определит цену за нее, взяв известный процент в пользу государства.

Отвратительный закон, отбивающий у населения охоту убивать тигров и барсов, так как представления этих шкур, пошлины и все неправильности произвола, уничтожая все выгоды добычи, оставляют корейцу только риск быть разорванным зверем.

П. Н. написал начальнику города, что я-очень прошу продать мне эту шкуру и прислать в деревню Тяпнэ, последний населенный пункт.

День жаркий, на солнце 30°, совершенно летний, летняя мгла покрыла горы, небо. Перед нами узкая тропа, теряющаяся на трехсотфудовой высоте: по этому подъему мы сейчас пойдём.

Эпизод с Бибилом.

Не хотят лошади сходить в узенькую лодочку, где и человеку трудно сохранить равновесие. Уже с час тянут их за узду и кричат корейцы, но лошади уперлись передними ногами у самой лодки и ни взад ни вперед.

Подъехал Билик, посмотрел, слез с своей лошади, подошел к упирившейся лошади, и взяв ее за передние ноги, поднял и опустил их уже в лодку.

После этого лошадь спокойно втащила и свои задние ноги, — так поступили и с другими лошадьми.

Когда корейцы стали выражать ему свое удовольствие и даже восторг, Бибик отвернулся, чтоб скрыть улыбку, и проговорил;

— Вот як стану вас сшивать здесь...

Мы опять на корейской стороне, много гор, но совсем нет пахотных мест. На перевалах кой-какой лесок, но плохонький. Порядочные сосны попадаются иногда только на могилах предков. Добрая часть Кореи в этих могилах.

Проехали еще обильный водой приток Тумангана, и Туманган уже превратился в десятисаженную, с множеством перекатов, горную речонку.

Четыре раза поднимались и спускались с перевалов. Спуски круче полукруглого откоса. Как мы не побии наших вьючных лошадей — не знаю.

Сделали двадцать четыре версты, и уже вечер, и люди и лошади так выбились из сил, как ни разу еще не выбивались.

До Тяпнэ не добрались и заночевали на одном из перевалов, с которого спуск очень затруднителен.

Из трех фанз одна сколько-нибудь сносная, но из нее только недавно унесли покойника, и чувствуется еще явственный запах трупа.

Разбили поэтому палатки, хотя и очень холодно. Холодно сразу, как только садится солнце.

Солнце теперь как раз садится, и опять перед нами панорама гор. Но сегодня закат какой-то тяжелый, сумрачный. Только на мгновение сверкнули огнями горы, а затем последний блеск пурпура, последний печальный отсвет фиолетовой воды, и быстро гасятся огни неба и земли.

Холодная тьма заволакивает округу, и хочется тепла, уютного покоя. Нескоро еще все это.

Выпили по стакану чая и стали приводить в порядок работу дня. Еда без хлеба, да и еда невозможная, работа тяжелая, целый день на лошади, — сегодня мой пояс стянут на пять дырок меньше.

Смотря на других, видишь, как каждый сдает: лица вытягиваются, фигуры тоньше.

Переносная кузница работает у фанзы.

Как тяжелую мельницу нашу кореец заменил легкой толчеей, так и тяжелый горн наш заменен игрушечным ящичком, в котором движется поршень. Ящик трубкой соединен с обыкновенным горшком, наполненным горящим углем. Кореец двигает игрушечный поршень, и пламя ярче горит, а в угле подкова или расплавляемый чугун.

— Можно посмотреть ящик внутри?

— Теперь, когда плавится чугун, нельзя показать, если б даже дед встал из могилы.

А чугун плавится — много-много копеек на пять.

— А снять фотографию можно?

Можно. И я снимаю кузницу, фанзы, долину реки с ее гористою далью.

Через речку перекинут мостик. Он буквально из щепок, а вместо помоста — плетень, засыпанный сверху песком.

Ширина моста — аршин. Ехать верхом нельзя — провалишься, в поводу надо вести лошадь.

Идешь, и все качается, а внизу с бешеным шумом скачет по порогам река, шириной саженой в десять.

Это поразительная черта корейца — доводить до минимума всякую потребность. Все есть, но все в самой минимальной дозе.

Достаточно посмотреть на их обеденный, в пол-аршина высотой и такой же в диаметре, столик, со всем их обедом и семью закусками.

В таких маленьких чашечках дети у нас угощают своих кукол.

Такие же маленькие у них и лошадки. Скот более крупный, но я думаю, что большим он кажется по сравнению с мелкорослой лошадкой, на самом же деле это средний скот, пудов на 17 мяса, симментальского типа. Уступает и нашему малороссийскому, и венгерскому, и итальянскому.

Надо принять во внимание, что кореец не пьет молока, не ест масла, и все молоко коров идет на прокорм теленка.

Под вечер выбрались на плоскогорье, и в первый раз в Корею открылось пространство, которое можно назвать полем: тысяч десять десятин годной к пашне земли, и все, как на ладони.

Урожай, впрочем, здесь значительно хуже, чем на китайской стороне — китаец отнял счастье корейца.

Оригинальный маленький скромный народ, ни на что не претендующий, безобидно утешающийся тем, что счастье его отнято

китайцами и всеми другими.

26 сентября

Ночью в окрестностях где-то мяукал тигр.

На рассвете я видел волка, который не спеша переходил ближайшее поле. Пока я доставал ружье, волк исчез. Мелкий, величиной с среднюю собаку, беловатый, худой.

Вчера Беседин долго рассказывал про известного из Владивостока охотника В. П. Хлебникова.

Зимой он отправляется один с своей собачонкой по следам тигра. Иногда неделю он так ходит, выбирая для ночлега всегда сажень на двести открытые места. Там спит он, разгребши снег, в меховом мешке. На нем спит его собачонка.

— Один брат только и есть у меня, а в такие ночи собака и брата дороже. Чуть что без лаю начинает лапами трогать меня, пока не проснусь. Раз так, пока тигр подкрадывался, я успел вылезть, приложиться и уложить его в тот момент, когда он прыгнул, — я всегда тогда только стреляю и отскакиваю в сторону: всего сажени на две. Если даже промахнусь или и попаду, да не убью, — тигр не бросится, а опять обежит сажень двести круг, опять, не доходя сажень десять, нацелится, сделает прыжок, опять отскочи и бей.

Ему приходилось таким образом всаживать до семи пуль, пока убивал тигра.

Из двадцати семи случаев только два раза удалось ему убить тигра наповал, попав в сердце.

И он всегда стреляет разрывными пулями.

Одному тигру он разорвал все внутренности, и тот еще два дня после этого жил. Этот тигр был убит жителями одной деревни, когда, обезумев от боли, он ворвался в эту деревню, успев на улице разорвать трех быков, пока его убили. Есть он уже не мог, только рвал.

На медведей Хлебников охотится двояко, — овсянику, который встает при встрече на дыбы, бросает железный шар с заершенными иглами. Медведь обеими лапами со всей своей силой схватывает такой шар, но лапы его благодаря заершенным иглам пришиваются таким образом к шару. И тогда такого медведя можно вести куда угодно: будет реветь, но пойдет.

Муравейник-медведь на дыбы не встает, а старается врага сбить с ног: он очень опасен, и надо, не зевая, стрелять.

Дикий кабан в одиночку — пустяк, но в стаде кабаны стоят друг за друга, тогда скорее на дерево, выбирай потолще, иначе перегрызут ствол клыками.

Сегодня и поднялись рано и уложились рано — обычный двухчасовой урок английского языка по самоучителю я успел все-таки сделать.

Впереди горы словно меньше, но зато вся местность поднимается и становится на горизонте в уровень с пройденными горами. Но там опять, хотя и редкие, вырастают новые горы.

Мы спускаемся, поднимаемся, опять и опять все у той же реки Туманган. Здесь она уже саженой шесть ширины.

Верст тридцать вверх от Мусана она течет в каменистом ложе. Громадные камни торчат, и между ними бело-зелено-синяя бурно рвется река.

Камни разнообразных причудливых форм. Вот громадное кресло, вот высунулась громадная уродливая каменная голова и круглыми черными глазами смотрит сфинксом из воды на синеющую даль гор.

Местность сразу обрывается. Исчезает открытое поле, пашня, жильё. В узкой теснине бешено рвется Туманган. Крутые откосы его уходят в небо, покрытые мелкой желтой, как золото, лиственницей. Вверху нежно-голубое небо, белое облако. Это сочетание цветов — реки бело-сине-желтой, гор нежно-золотистых, голубого неба, контраст этого дикого порыва реки и безмятежного покоя — ласкает глаз, чарует душу.

Следующая маленькая деревня как раз та, где барс (по-корейски тхоупи, а тигр — хораи или поми) схватил женщину. Вот та фанза, где жила эта женщина, вот место, где она сидела.

Вся деревня собралась и рассказывает.

Упустив добычу, барс, оказывается, возвратился назад на этот берег, не обращая внимания на кричавший народ. Охотник стрелял почти в упор в барса. Рассказали это нам, обступив по-корейски, и замолчали. И все мы под впечатлением рассказа. Какой-то кореец лениво бросил слово. Другой что-то сказал. Переспросил равнодушно П. Н., и неохотно вмешался третий. Еще один какое-то слово бросил, и

вдруг оживился П. Н., глаза загорелись, и все сразу закричали, заговорили, и удивляешься только, как можно при таком гвалте что-нибудь понять. Кажется, что ссорятся все они насмерть, если бы не спокойное добродушие их лиц, когда, кончив, они затягиваются из своих длинных трубок.

— Да, так вот в чем дело, — радостно переводит П. Н., — тут целая история выходит. Семь лет тому назад за нее сватался один человек. Он был бедный, и отец не хотел отдать ее. Тогда он сказал: «Буду же я богатый» — и пошел рыть жень-шень. Они поклялись друг другу, что будут мужем и женой. Уходя, он сказал: «Жди меня». Хунхузы убили его. Прошло три года, и девушку выдали за другого. В день свадьбы он явился к ней во сне и сказал: «Помнишь клятву, — жди меня». А теперь он пришел за ней, — не он, душа его, вошедшая в барса. Оттого барс и не думал о себе и не видел охотника. А обыкновенный барс так разве делал бы? Убежал бы и конец.

— Ну, что ж теперь?

— Теперь неизвестно. Если женщина выздоровеет, позовут тоина или шамана. Через сорок дней Окон-шанте скажет душе барса свою волю, — может, сделает его опять барсом, или тигром, или медведем, или кабаном, или змеей — словом, таким зверем, который опять придет к ней или скажет: «Довольно», — и возьмет его душу к себе на небо, или в червяка превратит, и она его раздавит на дороге. Может, женщина, если жива будет, успеет упросить Оконшанте. Шаман поведет ее на гору, где устроена «кукша», и будет там молиться с ней.

П. Н. закончил так:

— Ну, словом, корейцы уже успели запутать все дело так, как их самих запутали их горы.

Так на наших глазах создалась новая легенда. Этот народ или не вышел еще, или в вечном периоде творчества сказок, легенд.

Мое ощущение человека своей культуры перед этой первобытной такое, точно я увидел вдруг в ясной дали времен безмятежную колыбель народов, этот младенческий народ, и слышу первый их лепет.

А может быть, это уже детский возраст пережившего себя старика? Но русские корейцы не свидетельствуют этого, как не свидетельствуют того же братья корейца по происхождению — японцы.

Еще одна деревня Тяпнэ, и затем конец всякому жилью.

Но и здесь уже пахнет глухой дичью.

Нависли утесы, шумит река, мелкая поросль с обеих сторон. Откуда-нибудь с утеса того и гляди прыгнет барс. Или просто треснет ветка, испугается лошадь, метнется, и полетишь с ней на острые камни Туман-гана.

Мы вытянулись в линию по одному.

Хунхузы стреляют в первого, тигр бросается на последнего, барс на кого попало, — все места таким образом равны.

Эти три сильных мира сего оспаривают здесь власть и свое право.

Право сильного: наши винтовки за плечами заряжены и штыки при них. Веселое возбуждение у всех. Хватило бы только его, пока мы в диких и действительно опасных местах. Как бы не осилила русская беспечность.

Бибик уже говорит:

— Яки таки хунхузы: сколько ходыв, так и не видав. Да и что они могут?

В. В., наш китайский переводчик, сообщает, что сорок хунхузов ушло к Пектусану: это говорили ему и в Мусане и встречный китаец.

Все смолкают на мгновение — известие действует неприятно.

Бибик говорит:

— Хоть и сорок, як зачем их сшивать...

Его громадная фигура качается в это время на маленькой лошадке.

— А что ж, — продолжает он, — если на пули пойдет дело, сколько их уложишь? А в штыки?

Бибик смеется.

— Он от штыка, як черт от ладана...

Слова В. В. прошли без всякого впечатления.

Я ловлю момент и прошу его на будущее время все подобные слухи сообщать только мне.

На глухом повороте стоит западня для тигров.

Западня длиною две сажени, шириною аршин. Четыре стены из бревен, вырубленных в лесу. Высота всего здания шесть четвертей. Вместо потолка громадные камни.

Входная дверца западни приподнята, с противоположной стороны такая же дверца, за которой приманка: собака, свинья.

Тигр лезет внутрь, дверь за ним опускается, и стоит он там, не будучи в состоянии ни уйти, ни съесть приманки.

Все более и более наглядные признаки глухой стороны.

Последний перевал перед Тяпнэ.

С него открывается уже новый вид: перед глазами на запад равнина с небольшими бугорками, покрытая лесом.

Здесь лес все еще никуда не годный, частью вырублен и обращен под пашню, частью растет, — все большое и хорошее гниет на земле, мелкая же чаща только глушит друг друга, и нет впечатления роста ее.

Изредка только попадаются отдельные прекрасные экземпляры лиственницы.

Лиственница, осина, липа, дуб.

Один день всего, один переход, но какая перемена: ни одного зеленого листа. Все они желтые — от дуба с темно-коричневой листвой до березы и лиственницы, нежно-золотистых.

Все листья еще на деревьях, — первая буря оборвет их.

Я с тревогой думаю, как будем мы кормить наших лошадей, но мой конь, как бы отвечая на мой вопрос, с величайшим наслаждением ест эти листья, грызет ветви, жует сухой бурьян.

Да, только на таких лошадях, если нет верблюдов, здесь и можно ездить.

На вершине перевала два молитвенных дома: кукши.

Одна в честь Оконшанте (начальника неба), другая, на противоположном скате — государственная (Вон-нан), где два раза в год молятся за императора. Первая пользуется большой популярностью во всей Корее.

Из рисунков обращает на себя внимание райская птица — аист, белый с черными крыльями и хвостом, красными лапами и клювом. Аист нарисован очень хорошо. Затем уродливая голова — Натхо — род наших дельфинов, как их рисуют в наших сказках. История этого Натхо уже известна.

Я снял фотографию и с рисунков и с самой кукши; я воспользовался моментом, когда проводник еще раз молился по моей просьбе о благополучном путешествии.

Я спохватился потом уже, что сделал неловкость, и извинялся за свою неловкость.

Он ответил:

— Я молился перед небом по просьбе и за русских.

Признаюсь, я был смущен и деликатностью его, и вежливостью, и его искусством дипломата как в отношении неба, так и меня.

Сегодня утром замерзла вода; не особенно приятно, потому что народ в партии налегке. Три солдата при легких шинелях, а маленький кореец, кроме пиджака, ничего не имеет.

Так как теплое здесь можно достать только корейское, то в костюмах наших корейцев выйдет порядочное разнообразие: башлыки корейские, у одного пиджак европейский, у другого брюки.

— Ничего, — утешает Бибик маленького корейца, — дадим тебе ружье, все-таки за капитана бабы примут.

Что до солдат, то они с гордостью отказываются от теплого корейского платья. — Холодно будет. Бибик презрительно бросает:

— Привыкать, что ли, к цыганскому поту?

Какой-то кореец пристал к П. Н. Тот нетерпеливо несколько раз что-то ему повторяет, а кореец методично все задает тот же вопрос.

— Ах, и любопытный же народ, как дети!

Вдруг лицо П. Н. оживает, и он начинает с очень довольным видом что-то рассказывать корейцу. Так тот и отстал.

Догоняет П. Н., и на лице его полное торжество.

— Пристал: скажи ему, зачем мы идем на Пектусан? Говорю: так, путешествуем. Нет, — зачем мы идем? Ну, я ему хорошую штуку выдумал. Говорю ему, что нашему начальнику снился сон. Прилетел к нему дракон с Пектусановского озера и сказал, что в последний день восьмой луны он поднимется на небо, и так как место освободится, то вот не хочет ли начальник положить туда в озеро кости своего деда, и тогда из рода его выйдут французские императоры. А у корейцев место после дракона считается самым счастливым, императорским. Вот, дескать, начальник и везет теперь кости своего деда; Вот теперь, говорит, понял. Очень довольный ушел.

— Зачем же вы так сделали?

— Да это еще лучше. Сам все равно выдумал бы такое, что хуже бы еще было. Я ведь осторожно, — не сказал корейский или китайский император, а чужой, французский. Ищи там. Он спрашивает: «А начальник разве нашей веры?» А я ему говорю: «Чудак, чай каждому охота быть императором, а ведь не все же императоры нашей веры». — «Верно», — говорит.

Разговор происходил с жителем последней деревни Тяпнэ, куда мы теперь и спускаемся.

За несколько часов, что мы не видели Туманган, он успел еще похудеть. Правда, стремительный поток, но сажень пять всего, и глубины — пол-аршина.

Этим, в сущности, все надежды на Пектусанское озеро, как и на то скалистый, то песчаный Туманган в смысле судоходства разбиваются. Надежды вот какие: из озера берут начало три реки — следовательно, при соответственных работах, можно всегда располагать запасом воды трех рек. Но если такие речки, то, и соединив три в одну, ничего не получим.

Остается интерес туриста, отчасти и географический, — озеро не измерено, не промерена его глубина, не исследованы его выходы, следовательно не проверены и истоки этих трех рек.

Затем вопрос дорог. Двести лет тому назад один англичанин попал на Пектусан с восточной стороны. Наш русский путешественник, полковник генерального штаба Стрельбицкий, бывший на Пектусане в 1894 году, прошел от Тяпнэ и возвратился той же дорогой назад. Хорошо бы было найти другой выход и пройти дорогой, которой не ходили еще европейцы.

По теории такая дорога должна быть, если есть выход на Туманган, то тем более должен быть выход на гораздо большую реку — Ялу.

П. Н., пользуясь рекомендательным письмом пусая, сейчас же, как приедем, сделает совет из жителей Тяпнэ.

— И без рекомендации все прибегут.

Действительно, не успели и с лошадой слезть, как все уже налицо. Бросили полевые работы.

И было же дела нашему проводнику: сперва поздоровался он со старостой, причем оба присели на корточки и положили руки на землю. В таком положении они говорили долго и затем оба встали. Затем староста знакомил его со своими односельчанами, и наш чистенький старичок то и дело и очень проворно припадал к земле, бросал несколько фраз и озабоченно вставал, чтобы опять припасть. В моменты припадания лицо его ласково и заискивающе, а когда он на ногах, на лице его сдержанное достоинство. И какой миллион оттенков в этих припаданиях!

Если перед ним человек с камилавкой — дворянин, он первый валится. Валятся, кажется, оба, а смотришь, каждый раз коснется земли как раз тот, кому надо по чину.

Кто в трауре, того вторично опрашивает, и опять оба припадают: молятся за упокой души усопшего.

Нам отвели очень хорошую фанзу, и все набились туда.

Расспросы, разговоры, миллион разговоров, и наконец заговорил высокий, представительный старик.

Да, он знает дорогу на Пектусан и прямо на Ялу оттуда. Он ходил там.

— Не желает ли он быть проводником?

Он пойдет с товарищем, — один боится. Товарищ в поле и придет вечером.

Вечером опять полная фанза народу. Но перед этим я, или, вернее, П. Н., сделали очень важное открытие: Цой-сапаги, наш высокий кореец из провинции Хуан-ха, города Хиджю, знает множество сказок. За любовь к сказкам и чтению он был избран местными корейцами во Владивостоке даже председателем любителей чтения. Сейчас же мы устроили ему экзамен.

И вот он, высокий, с длинными тонкими ногами, в узком пиджаке, корейской прическе, с котелком на голове сидит перед нами и уже рассказывает прекрасную сказку о Симчони. Она уже записана у меня, но он передает много новых подробностей, существенно изменяющих смысл сказки.

Жители Тяпнэ все здесь и во дворе слушают с открытыми ртами и, когда Сапаги кончает, задают ему ряд вопросов: знает ли он такую-то и такую-то сказку и еще такую-то, и после долгих переспросов объявляют, что такого начитанного и знающего редко встретишь.

Сапаги не слышит их отзывов. Он, кончив, возится уже с лошадьми. Весь день он бегал, разыскивая овес, солому, провизию, теперь повел поить лошадей.

Неделю тому назад он пришел просить расчет за то, что я что-то резко сказал ему. Ни одного слова брани не было мною произнесено при этом.

Я извинился и просил его остаться.

Получив удовлетворение, высокий Сапаги еще энергичнее поднимает свои длинные ноги, прыгая между тюками, делая все дела,

которые только ему поручали-

— Если вы его не облегчите, — сказал вчера П. Н., — то он прямо не выдержит и заболит.

Но отныне судьба его изменяется: Сапаги переходит на мой личный счет, а вместо него нанимается новый кореец.

Дело его отныне — закупка припасов и рассказы.

— Ну-с, теперь сказки надо оставить, — объявляет мне П. Н., — собрались старики.

Я покорно оставляю сказки, и мы переходим к обсуждению предстоящего похода.

Старик проводник совсем не явился, вместо него его товарищ — лет сорока пяти, большой, энергичный и уверенный в себе кореец.

— Так вы желаете идти на Пектусан?

— Да. Со Стрельбицким я ходил.

— Я не только хочу идти на Пектусан, но оттуда пройти на Ялу.

— Нет туда дороги.

— Но старик говорит, что есть.

— Старик ничего не знает, — там теперь снег по колени, там хунхузы, там четыреста верст надо идти до Ялу.

— Но вся Ялу четыреста Берет, — как же до верховьев выйдет четыреста?

— Много изворотов.

— Скажите ему, — говорю я, — что изворотов много в его словах.

— Он говорит, что в крайнем случае он проводит нас до первой корейской деревни по этой дороге, — двести ли от Пектусана.

— Значит, есть дорога?

— Опасных людей много.

— А спросите его, много он встретил со Стрельбицким?

— Двух.

— Вот в том-то и дело, потому что зимой опасным людям делать там нечего, — они ходят туда за жень-шенем, за рогами изюбра, за золотом, — ничего этого зимой не достанешь, а теперь уж зима. Скажите ему, что книга Стрельбицкого передо мной.

Я показал ему книгу.

— Сколько он хочет, чтобы проводить нас?

— Он хочет сорок долларов.

— За пятнадцать дней работы?

— Стрельбицкий дал ему двадцать долларов и ходил с ним только до Пектусана.

— Но Стрельбицкий шел с тяжелым обозом, гнал баранов, он шел шесть дней до Пектусана, а мы пойдем два.

— Опасно, он меньше не желает, и никто не пойдет, кроме него. — П. Н. понижает голос и говорит: — У них стачка.

— Тогда я пойду без проводника или возьму хунхуза.

— Хунхузов теперь нет.

— А какая же опасность тогда?

— Ничего не можем на это сказать. Меньше сорока долларов не желаем.

— Ну и довольно, — я не беру проводника. Теперь выючные: есть охотники? Сколько хотят?

— Десять долларов за лошадь, и только до Пектусана.

— Сколько пудов на лошадь?

— Четыре.

— Я дам четыре доллара.

— Не хотят.

— Мы навьючим своих лошадей и все пойдем пешком. Скажите старикам, что я благодарю стариков и не утруждаю их больше.

Наш проводник очень взволнован, что-то горячо говорит, все уходят.

— Проводник упрекает их в негостеприимстве, — переводит П. Н., — в желании схватить за горло, говорит, что для Кореи выгодно, когда приезжают знатные иностранцы, и не надо отбивать у них охоты ездить к нам, потому что они привозят много денег.

С горя я сажусь за английский язык.

Н. Е. еще засветло ушел на китайскую сторону охотиться за кабанам и с Бесединым и Хаповым просидел там до двенадцати часов ночи. Хрюканье слышали, но темно, и ни одного кабана не видели.

27 сентября

Проснулся с неприятным чувством: итак, ничего еще не устроено для дальнейшего путешествия.

— Ну что ж, П. Н., как мы будем?

— Подождите: уже приходил прежний старик. «Я, говорит, дал слово и пойду и без товарища». Проводник из Мусана вчера с ним всю ночь провозился. Старик идет, не торгуясь. Вьючные согласны по пяти долларов за четыре пуда до Пектусана. Я рад, что вчерашний проводник не идет: с ним кончили бы тем, что вернулись бы с Пектусана назад, в Тяпнэ. Скажет: дороги нет, как его проверишь?

Таким образом все сразу устроилось.

— А почему старик не пройдет с нами на Амно-ка-ган (Ялу)?

— Лошади у него нет.

— Я дам ему лошадь.

Пришел старик.

— Он согласен.

Весь день прошел в переборке и переукладке вещей. Все, что можно, уничтожаем: ящики, оказавшиеся малопригодными вещи.

Так, например, десять фунтов песку сахарного — везли нетронутыми: раздать людям.

Патроны разобрали по рукам. Всего пуда три выбросили. Остальное до Пектусана.

Сегодня отдых, и мысли убегают далеко-далеко отсюда.

Тихо и медленно делается всякое дело. Потом оглянешься, и будет много, а пока в работе, лучше не думать о конце.

Я люблюсь и не могу налюбоваться корейцами: они толпятся во дворе, разбирают вьюки.

Сколько в них вежливости и воспитанности! Как обходительны они и между собою и с чужими, как деликатны! Ребятишки их полны любопытства и трогательной предупредительности. Я вынул папиросу, и один из них стремительно летит куда-то. Прибегает с головешкой — закурить.

Я снимал их сегодня и, снимая, сделал движение, которое они приняли за предложение разойтись, что мгновенно и сделали. Когда даешь им конфету, сахар, принимают всегда двумя руками: знак, уважения.

Какое разнообразие лиц и выражений!

Вот римлянин, вот египтянин, вот один, вот другой — мой сын, а вот совершенный калмык.

Лица добрые, по природе своей добрые.

Я вспоминаю слова одного русского туриста, что кореец любит палку и с ним надо держать себя с большим достоинством, надо бить по временам.

Стыдно за таких русских туристов. Каким животным надо быть самому, чтобы среди этих детей додуматься-таки до кулака!

Ходил осматривать деревню Тяпнэ. Собственно, две деревни в версте друг от друга. Всего тридцать две фанзы.

Перед въездом отвод из бревен против лучей злой горы.

Вся местность здесь плоская — с версту пашен. Маленький Туманган звонко шумит по камням.

Глубокая осень, нет и следа зелени, все желто и посохло, редкий лесок исчезает на горизонте.

Едва только выплывают горы с востока и запада, на севере же, куда лежит наш путь, гор нет уже, но вся местность точно вздулась и поднялась в уровень гор.

Тяпнэ — пионер цивилизации в борьбе с лесной тайгой. Двести сорок лет тому назад основалось здесь это селение. Тогда же и проделана была довольно трудная дорога из Мусана сюда.

Мусан назывался тогда Сам-сан (три горы). Тогда здесь не было совсем пашни. Теперь лес верст на двадцать уже переведен, и есть десятин семьдесят пашни.

По этому расчету лет через тысячу или две дело дойдет и до Пектусана.

Столько и прежде было фанз, народу немного прибавлялось, немного убавлялось, но в общем все то же. Может быть, их удерживает необходимость перехода к незнакомой им культуре ржи, овса, картофеля, так как здесь и рис и кукуруза идут уже плохо.

И город Мусан не меняется. Что до округа, то прежде было 5700 фанз, а теперь 3300 осталось.

— Что ж, вымирает, значит, корейский народ?

— Да, прироста нет. Много ушло в Китай, в Россию-

— Что замечательного произошло здесь за эти двести сорок лет?

— Ничего замечательного, кроме хунхузов.

В прошлом году пришло их несколько сотен, и вся деревня бежала от них в горы.

Прежде тигров и барсов было много, теперь меньше стало.

Двенадцать лет тому назад приезжала китайская комиссия для определения границ. Были заготовлены и столбы (я их видел, 35 каменных плит), но не поставили, и с тех пор не приезжали.

Между прочим, на Пектусане китайцы высекли тогда брата нашего проводника из Мусана.

— За что?

— Брат настаивал, что Пектусан принадлежит Корее, они рассердились и высекли его.

Вечереет, шум реки, вечерний шум села: бляянье телят, рев быков и коров.

Корейцы сидят во дворе, окружив меня, все разговоры кончены.

— Да, — вздыхает какой-то старик, — пока русские не придут, не будет нам житься от хунхузов.

— Русские не придут, — говорю я.

— Придут, — уверенно кивает головой старик. — Маньчжурия и теперь уж русская провинция.

Едут мимо сани. Колес уж здесь совсем нет: лето и зиму работа происходит на волокушах.

С завтрашнего дня начинается самый серьезный период нашей экспедиции. В лучшем случае предстоит нам сделать двести верст в стране, принадлежащей диким зверям и хунхузам. Если снег выпадет, как-то будем мы, как обойдутся кормом наши лошади?

Все приготовлено с вечера с тем, чтобы в четыре часа утра, уже выступить.

Я все не теряю надежды довести скорость передвижения до сорока версту пока удавалось самое высшее— тридцать четыре версты, с захватом, однако, ночи. Здесь же ночью ехать нечего и думать, а дни все короче и короче.

Смотрел только что карту, — сделана пока только пятая часть пути — триста верст.

28 сентября

Три часа утра.

Ночь звездная, ясная, морозная.

В последней четверти месяц забрался на небо далеко-далеко и маленький, печальный светит оттуда: захватит его еще высоко в небе солнце.

На этот раз петухов разбудили мы, и теперь они смущенно, усиленными кукареку стараются наверстать потерянное время.

Костер наш тускло горит, летят от него искры, и белый дым теряется в темноте ночи.

Раньше половины шестого выступить все-таки не удалось.

Провожать нас вышло все мужское население.

— Мы желаем русским большого счастья. Русские счастливы: когда они приезжают, стихает ветер и светит солнце. Пусть ездят к нам почаще русские, мы будем сыты, и одеты, и в безопасности от хунхузов.

Кстати о хунхузах: брат одного из идущих с вьюками вчера возвратился и говорит, что хунхузов много, — собирают целебный корень хуанзо-пури.

В это время, когда вся трава посохла, а он один зеленеет, его легко находить.

Такие собиратели рискуют нередко жизнью, так как пора ненадежная, и первый выпавший снег заносит быстро едва заметные тропы.

Местность поднимается, лесу больше, китайская сторона Тумангана, по которой мы идем, представляет из себя долину саженей в триста, редко поросшую лиственницей, покрытую высокой сухой травой, которую лошади по пути с удовольствием хватают.

Дороги нет — тропа, но и делать дороги не надо, везде можно пока проехать. Через ручьи даже мостики — это следы китайской комиссии, работавшей здесь двенадцать лет назад, — они шли от Пектусана вниз по течению Тумангана.

На четвертой версте последнее поселение Пургун-пау.

На двенадцатой версте гора Цын-сани, считаемая корейцами святою. Она имеет оригинальную форму верхней части человеческого туловища, с отсеченной головой и руками.

Высота горы футов семьсот над нами.

На вершине ровная плоскость саженей в тридцать. На ней, говорят корейцы, есть громадная каменная плита, на которой гигантская шахматная доска. Это богатыри в часы отдыха играют в шашки.

С Пектусана видна ^[8]эта гора и следующая за ней к востоку Пук-поктоуй, имеющая вид гигантского лица, лежащего вверх к небу.

Через эту гору дорога и перевал в Консан и Тяпнэ.

Наша дорога все время идет долиной Тумангана, который здесь — только звонкий прозрачный ручей.

Местность поросла почти исключительно лиственницей. Золотистые густые иголки ее уходят вверх и оттеняют чистую, нежно-яркую лазурь осеннего неба.

На двадцатой версте, на перевале, в первый раз мы увидели и Пектусан и Собексан (Малый Пектусан).

Затем его видно часто, а с места, где я пишу, тридцать восьмая верста от Тяпнэ, Пектусан как на ладони.

Редкий, везде горелый лес не мешает смотреть на него.

Только сейчас я разобрался в этой горе. Она кругла, но сбоку виден только диаметр ее, — остальное должно дорисовывать воображение. Диаметр громадный (корейцы определяют верхнюю окружность в 170 ли, а окружность озера в 80 ли). Тогда, конечно, это что-то грандиозное.

Два вида Пектусана были очень эффектны.

Вчера, при закате, он был прозрачно-бело-зеленовато-молочный.

Сегодня, до восхода солнца, в тумане утра, он обрисовался на горизонте громадной, цвета серого жемчуга, поднятой к небу круглой горой.

Теперь вид его не так эффектен.

В оврагах он покрыт снегом, и это и делает его белым. Летом же он черный, и только кайма в самом верху, там, где пемза, как будто светлее.

Ночевали в глухом месте, у подножья какой-то красной горы, по-корейски — Хансоу-сани — красная земля, вероятно, киноварь в ней. Масса нор в ней.

Тут же шумит Туманган, через который даже мост устроен для двенадцать лет тому назад бывшей здесь китайской комиссии. Есть сухая переправа для лошадей и масса сухого леса.

Мы развели пять костров, спасаясь от владык этих мест, — тигров, барсов и хунхузов.

Кстати о них: сегодня проехали шалаш из веток со свежими следами людей, — костер был еще теплый. В шалаше нашли две вязанки целебного корня хуанзо, который продается по 25 зон фунт.

Товару рублей на тридцать. Очевидно, эти несчастные хунхузы — два человека — при нашем приближении убежали в лес.

Также убежал и барс, которого видел Н. Е.

Попалось несколько косуль, стреляли, но пока неудачно.

Вечер. По очереди караулить эту ночь должен был я.

В девять часов для вящего страха несколько раз выстрелили.

Я поставил свой столик у костра и решил, чтоб скоротать время, заниматься английским языком.

Правду сказать, спать безбожно хотелось.

Выручили корейцы при выюках: — Ложитесь все спать, потому что мы все равно спать не можем. У нас нет теплого платья, да и за лошадьми все равно смотреть надо.

Я не заставил себя дважды просить: и сам лег и своих людей снял с караула.

29 сентября

В три часа корейцы разбудили нас. Итак, в царстве хунхузов, тигров и барсов все благополучно.

— А що им тут делать? — отзывается презрительно Бибик, — так никого до самого конца и не встретим.

— А пишут, а говорят.

— Хоть и пишут, хоть и говорят.

Сегодня штыки отвинчены, ружья в чехлах, и только Н. Е. не теряет надежды на охоту, едет впереди и держит ружье наготове.

Я было поехал за ним, но увлекся фотографией, затем сел писать и теперь один в мертвой тишине осеннего, да еще выгорелого леса, под чудным ясным сводом голубого, как бирюза, неба. Что-то проскочило в мелкой чаще, коричневое — прыжками: косуля или барс? Не все ли равно — грозный облик этих мест уже разрушен, беспечность русская вошла уже в свои права. Россия, Европа, Азия, Пектусан — земля везде кругла.

Вчера Бибик, отстав, выстрелил в ворону, а П. Н. свалился с лошади.

— Я думал, — говорит он, вставая, — что это меня убили хунхузы.

Бибик куда-то в пространство бросает:

— Двоих сразу убив.

Лес и лес, и все лиственница, изредка в ней березка, раньше на вершинах увалов попадался дубок.

То, что я видел, в общем малопригодный лес: попадаются отдельные экземпляры прямо великолепного мачтового леса, высокоценного при этом, как лиственничного. Но такого леса ничтожное количество, и он говорит только о том, что природные условия для роста такого леса — благоприятны и что, при соответственной постановке вопроса, через сто лет здесь может быть образцовый лес. Но теперь, в общем, это хлам времен, почти весь пригоревший, подгоревший, посохший. Целые сажени, куда глаз кинешь, тянется молодая, густая поросль, глушащая друг друга, местами посохшая. Целые версты дальше тянется молодяжник постарше, или посохший, или уничтоженный пожаром. Унылый, жалкий вид поломанных вершин, торчащих кольев.

— Давно сгорел?

— Давно.

Лес умер, здесь и будет поляна.

Проехали двадцать верст еще, и Туманган исчез. Уже и на ночевке это был ручей в полсажени.

Исчез он по направлению к Пектусану, около озера Понга, длиной около ста сажен, шириной еще меньше, — исчез в маленьком овраге.

Отсюда и название: Туман — скрывающаяся, ган — река.

Это озеро и вся болотистая местность и являются истоками Тумангана, а не озеро дракона на вершине Пектусана.

Пока я догонял своих, Н. Е. успел встретить медведя, стрелял в него, но до медведя было далеко.

Медведь черный, не крупный, ел в это время голубицу, которая здесь в изобилии.

Видел он, кроме того, двух козуль и стадо гуранов (козули-самцы).

Всякого зверья здесь, и притом непуганого, непочатый угол.

Вот где места для охоты: Н. Е. молил подарить ему денек для этого. Туземцы обещают выгнать ему и тигров, и барсов, и медведей, и козуль.

— Если с одного конца по ветру зажечь, а с другого на заранее выжженном месте стать, то сами все прибегут к вашей цепи.

Наши: польские магнаты ездят на Охоту в Индию, в Африку, — сюда бы приехали, где первобытное богатство зверья, где люди просты, доверчивы, как дети.

Я приглашаю сюда и художников посмотреть на первобытную природу.

Вот, например, поворот, и пред глазами здешняя глухая, пощаженная пожарами тайга. Высокие гиганты ушли вверх, и сквозь их желто-золотистую листву просвечивает нежно-голубое небо. Другие же такие же гиганты, изжив свои века, мирно покоятся внизу. Их, как ковром, густым, изумрудно-зеленым, покрывает вечная зелень, посыпанная сверху мелким желтым цветом лиственницы.

Здесь вековая тишина, и печальная туя там и сям так уместна здесь, в этой тишине кладбища.

Что-то шепчут встревоженно вершины.

Мы уходим от них, и уже далеко слышится последний окрик наших нанятых для вьюков корейцев. Это покрикивают на своих микроскопичных лошадок они — люди Востока, в восточных костюмах, в каких-то дамских, по случаю холода, капюшонах, добродушные, простые, робко косящиеся на всякий куст, на всякий шорох.

А вот и родная тайга: уголок вековых елей, — неряшливый, грязный, как халат старого скряги, и длинные зелено-прозрачные ключья висят на старых, дряхлых, седых елях. Пахнет сыростью и погребом: ступает осторожно лошадь и проваливается в гнилой пень.

Вот овраг, заросль желто-коричнево-черная, и свесились над ним высокие желтые красавицы лиственницы.

— Любимые места господина, — говорят корейцы, никогда не называя в таких местах тигра, и спешат пройти мимо.

Чувствуется, что это действительно место господина здешних мест, — вот-вот выскочит он, такой же цветом, как и даль эта, и, улегшись, облизываясь, как кошка, начнет весело отбивать на обе стороны такт хвостом.

А вот обгорелые, засохшие деревья одиноко торчат в какой-то серовато-белой, выжженной солнцем пустыне. Не растет даже трава, и обнажился мельчайший, искристый пемзовый песок.

На нем явственные следы всякого зверья: вот копытца барана, а вот и лапа хищного спутника его. Множество следов, частью уже

посыпанных желтым цветом лиственницы.

Мы подходим к кульминационному пункту и в то же время главной цели нашего путешествия — к Пектусану, самой высокой вершине (8000 футов над уровнем моря) Ченьбошанского хребта, — громадный хребет, разрезающий всю Маньчжурию с запада на восток.

До нас на Пектусане, как я уже упоминал, побывало двое: в XVII столетии один миссионер и в 1894 году наш полковник Стрельбицкий. Миссионер подошел к хребту с запада, по тому притоку Амнокаган (она же Ялу), в устье которого расположилась и ныне существующая китайская деревня Мауерлшань.

Той же дорогой миссионер возвратился и обратно.

Полковник Стрельбицкий подошел к Пектусану с востока, дорогой, по которой и мы теперь идем. Он был на вершине Пектусана и даже спускался в его озеро, помещенное на глубине 1300 футов в жерле бывшего кратера.

Можно с полной уверенностью сказать, что полковник Стрельбицкий первый из людей, нога которого ступила на берег этого священного озера. Это очевидно из того, что бывший здесь миссионер не спускался, а что до местных жителей, то и китайцы и корейцы проникнуты таким страхом к священному озеру, в котором живет дракон, что не только не помышляют о спуске в озеро, но и к вершине Пектусана близко не подходят. Непрерывные, периодичные явления, происходящие на вершине Пектусана, — вихри, вылетающие из потухшего кратера пары, а иногда и пемзовая пыль; раздающийся по временам подземный гул — все эти явления принимаются местными жителями за доказательство живущего там дракона, и поэтому и китаец и кореец — случайные охотники здешних мест — спешат уйти подальше от таинственного, дикий ужас наводящего дракона.

Полковник Стрельбицкий, предполагавший было из Пектусана пройти на Амнокаган, не прошел туда и возвратился той же дорогой назад, на Тяпнэ, так как проводники категорически заявили ему, что ни дороги, ни жилья на запад от Пектусана нет.

Мой проводник сперва проговорился было о дороге, но потом и мне тоже заявил, что дороги нет.

Я не теряю надежды: попаду ли я на дорогу миссионера XVII столетия, пройду ли новой, но я решил во что бы то ни стало не

возвращаться назад, а идти вперед, в крайнем случае даже по компасу.

Это свое решение я, однако, держу пока в тайне от проводника, чтоб не напугать его.

Кроме этой для всех заманчивой мечты побывать в таких местах, где еще нога белого не бывала, цель экспедиции, как я уже упоминал, заключалась в исследовании истоков трех громадных рек этого уголка мира: Тумангана, текущего на восток, в Японское море, Амнокагана — на северо-запад, в Желтое море, и Сунгари, впадающей в Амур и текущей на север. По легенде, истоки всех этих трех рек выходят из таинственного Пектусанского озера, причем истоки одного из притоков Сунгари непосредственно через расщелину кратера сообщаются с его озером, падая каскадом в долину на высоте нескольких тысяч футов, а Туманган и Амнока набираются из ключей, просачивающихся из озера.

Полковник Стрельбицкий сделал предположение, которое нашими исследованиями и подтвердилось, что река Туманган берет начало не на Пектусане, а южнее, в лесах и болотах, окружающих его. А именно верстах в двадцати от Пектусана, близ озера Понга, диаметром около ста саженьей.

Относительно двух других рек скоро узнаем, в чем дело.

Сегодня наша ночевка будет уже у подножья Пектусана...

Дорога все та же, среди оврагов и леса, едва заметная тропка.

Нередко мы теряем, обходя буреломы, эту тропу и долго ищем ее, узенькую, в пол-аршина, глубоко ушедшую в землю, так глубоко, что лошадь может идти только шагом.

Это все еще первый след первого человека.

Странное ощущение мое, человека нашего столетия: с одной стороны, невероятный прогресс, с другой — все то же первобытное состояние только что изгнанных из рая голых людей.

Дорога расходится, и проводник просит подождать отставший обоз.

Мы стоим у какого-то шалаша из ветвей.

Это жилище хунхузов.

Хунхузы, хунхузы — но где же наконец эти хунхузы?!

И вдруг из глубокого оврага выходят... два оборванных китайца...

— Хунхузы... — испуганно шепчут мне.

Но я рад: я наконец-то вижу их, а то ведь приеду — спросят: «Хунхузов видели?» — нет.

Теперь они передо мной. Ничего, что они оборванные, с желтыми лицами, жалкие. У старика испитое, бледное от опиума лицо...

У них китайские широкие штаны; китайские короткие кофты; косы, за плечами котомки, как и у наших сибирских бродяг.

— Давайте скорей фотографический аппарат: вот здесь, здесь, около этого балагана ставьте их... вот вам печенья, папиросы, только стойте ради бога, и не шевелитесь. Нож торчит из сумки? Нож, нож ради всего святого, так, чтоб он был виден.

— Вас. Вас! Да где же он отстал? Наконец! Спросите их — куда они идут?

— Домой, — отвечает переводчик.

— Как домой? Какой же дом у хунхузов?

— Они охотники, и их фанза здесь, в лесу, в нескольких ли.

— На кого они охотятся и чем?

— Они охотятся на всех зверей западнями и ловушками.

— Есть у них ружья?

— У них ружей нет, но есть стрелы, — стрелами они бьют пантов (изюбры).

— Но ножом, ножом этим что делают они?

— Этим ножом они роют корни.

— Откуда они идут?

— Они идут с Амнокагана, где были у родных.

— Как? значит есть дорога на Амнокаган? В. В. спрашивает и переводит мне:

— Вот эта самая, вот поворот.

— Кто же ходит по этой дороге?

— Они говорят, что ходят китайцы, корейцы. Корейцы к своим родственникам в Тяпнэ, китайцы, занимаясь торговлей, ходят на Амнокаган, ходят в Гирин через Пектусан.

— Что же это? мы, значит, идем чуть не по большой дороге?

А люди, бывавшие здесь, вот что пишут: «Итак, мы забрались в такие места (Тяпнэ), откуда, казалось, не было другого выхода, как назад».

Казалось?

— Почему же вы не показали этой дороги на

Ялу? — спрашиваю я у проводника.

Молчит. А где хунхузы? Отвечают: хунхузов нет. Решено: с Пектусана весь излишний груз я отправляю обратно, назад и на Амнокаган иду налегке. А с Амнокагана отпускаю всю свою свиту. Корейцы опять затягивают свою песню:

— Но Амнокаган опаснее всего — там прямо стреляют с китайского берега... А в Маньчжурии столько хунхузов...

— Ну, довольно — сказки меня интересуют, но не такие.

С двумя «хунхузами» я распростился очень дружелюбно и на вопрос их: куда мы дальше пойдём после Пектусана? — ответил:

— Возвратимся к этому балагану и пойдём по этой указанной вами дорожке на Амноку.

— Когда?

— Через два, три или четыре дня.

Ещё было светло, когда, мы подошли к привалу. Местность, где мы остановились на ночлег, называется Буртопой, что значит «тупой конец».

Большой охотничий балаган, совершенно такой же, каких много в Уфимской губернии на отдаленных сенокосах или в лесах, в котором все мы и поместились.

Вокруг меня спят корейцы, наши три солдата, Н. Е., П. Н., И. А.

Корейцы сморились за прошлую ночь, и сегодня мы сменили их.

Моя очередь, и я то выхожу, то сижу и пишу дневник.

Посреди балагана маленький костер, и острый дым, прежде чем уйти в верхнее отверстие, стелется синим облаком по балагану и ест глаза.

Не спит только Беседин и рассказывает мне странную историю из своей жизни. На него, что называется, нашла линия, и он хочет выложить душу.

— Места вот какие, — как бы без покаяния не остаться...

В одиннадцать часов я разбудил И. А. и лег спать.

В половине третьего проснулся, окликнул И. А. и распорядился будить народ.

Развели костер побольше, поставили чайник и сидят все вокруг костра, пожимаясь от свежих струек проникающего наружного воздуха.

Корейцы привыкли к нам и говорят, не стесняясь, обо всем.

Говорят о прежних экспедициях, немного жалуются на бесцеремонные действия экспедиционных команд.

30 сентября

На Пектусан!

Выступили в шесть часов, как раз в тот момент, когда солнце собиралось всходить. Мы остановили лошадей на пригорке и видели всю волшебную панораму этого восхода.

К востоку, на необъятном пространстве, громоздятся горы. Все эти горы подернуты синей прозрачной занавеской. Сквозь нее уже виден розовый отблеск поднимающегося солнца.

Все еще в полусвете, но Пектусан уже в лучах и, весь прозрачный, горит пурпуром. Здесь можно определить относительную высоту каждой горы по очереди их освещения восходящим солнцем.

Вот осветились еще две и обе кроваво-фиолетовые. У каждой горы свое одеяние, и только царь гор — Пектусан — в пурпурной мантии. Но парад чжоро кончается — убраны нарядные костюмы первых лучей, и освещенный полным солнцем Пектусан уже выпядит опять неказисто: серо-грязный, с полосами в оврагах белого снега. Та же мягкость форм, что и в остальных корейских горах, и нет нависших грозных скал Кавказа. С виду так же мирно и спокойно, как и все предыдущее.

Напротив, гораздо красивее Пектусана хотя бы эта длинная гора, вершина которой представляет из себя профиль покойника-богатыря. Вот лоб, немного широкий нос, острый рот, грудь в латах, ноги. С боку шлем. Или вот священная гора — туловище без головы — луч Пектусана.

Даже Малый Пектусан интереснее, потому что его коническая фигура видна сразу, тогда как здесь, у подножья, Пектусан долго производит впечатление чего-то широкого и расплзшегося.

Таким образом, первое короткое, но очень сильное, совершенно своеобразное впечатление быстро сменяется прозой чего-то обыкновенного и даже мизерного.

Равнодушные, мы, поднимаемся выше.

Лес редет. Исчезла и изумрудно-зеленая жесткая травка, одна в желтой осени не побитая еще морозом. Вот пошли мхи, ковры из

мхов, по которым беззвучно ступают ноги лошадей, оставляя вечный след. От колес прежней, 1894 года, экспедиции след совершенно свежий и теперь.

Как красивы эти ковры мхов: изумрудно-серые, тем-но-красные, нежно-лиловые, затканые серым и белым жемчугом. Перо не опишет их красоты, не передаст фотография; нужна кисть, и я вспоминаю К. А. Коровина, его прекрасную картину архангельской тундры с иными, чем эти, мхами.

Все выше и выше. Нет деревьев, нет мхов: мелкий пемзовый серый песок, да изредка там и сям мелкорослая березка.

Иногда поднимается ветер, подхватывает этот мелкий песок и бросает его в лицо. Лицу, рукам больно.

Больно и глазам, так как песок этот ест глаза и вызывает воспаление век.

С лошади — впечатление морского песка, но при более близком рассмотрении это что-то совершенно особенное: там, на берегу моря, и видно, что работало море, здесь же работал огонь. Здесь характер песка легкий, перегорелый, между тем как море, не изменяя естества, только шлифует песок. Здесь химическая, там, у моря, только механическая переработка. Преобладающий цвет здешнего песку грязно-серый.

Этим пемзовым песком засыпано все. Ветер и вода свободно переносят его с места на место, и поэтому вся поверхность изрыта буграми и оврагами.

В одном из таких оврагов, где не было воды, но был снег, перемешанный с пемзой, мы остановились и стали готовиться к предстоящему подъему на вершину.

Развязываются: лодка, геодезические, астрономические инструменты, веревки, лот для промерки глубины озера. На привезенных с собой дровах кипятится чай, разогреваются консервы гороховой похлебки. Сторожей в лагере остается довольно много, так как корейцы, привезшие груз, ждут обратного, который освободится после подъема. Обратно я отправляю все палатки, часть инструментов, часть вещей.

Напились чаю и тронулись на вершину.

Посреди перевала оглядываюсь — идут за нами и все девять наших корейцев, оставленных сторожить лагерь.

Оказывается, они, увидев дымок на месте нашего последнего ночлега, решили, что это хунхузы, и пошли, бросив наших и своих лошадей.

Они подошли и горько сетуют на меня, зачем я тогда тех двух хунхузов не убил или не арестовал.

— Да ведь они не хунхузы.

— Они хунхузы. Если бы они были местные жители, они знали бы по-корейски название Шадарен (селение у верховьев притока Ялу, куда мы пойдём), а они знали только китайское «Маньон». А между тем сорок хунхузов теперь есть в лесах, — они пойдут и скажут им, уже сказали, что горит то костер хунхузов, и мы все заперты теперь на Пектусане, как мыши в ловушке.

— Что могут делать сорок человек в это время года в лесу? что они есть будут: зима подходит, дожди, снег, где спать будут?

— Мы всю правду вам расскажем, и вы узнаете, что им делать. Весной шайка в двадцать три хунхуза поймала двух корейцев и отвела в одну, здесь недалеко, китайскую фанзу. Там их пытали, и они сознались, что у них дома деньги есть. Одного хотели задержать, а другого отпустить, но оба были из разных деревень. Тогда хозяин фанзы поручился, что корейцы заплатят по пятьсот лан каждый. Их отпустили. Поймали их в четвертую луну, а долг обещали отдать в седьмую, теперь восьмая кончается, а те долг все не отдают. Вот хунхузы и не уходят, все дожидаются и хотят мстить всем корейцам. В этом году уже было нападение на Тяпнэ, и все на месяц убежали. А теперь мы пойдём домой, и хунхузы нас схватят.

— Откуда же хунхузы знают, что вы пойдёте домой, а не с нами?

— Они все знают: они, наверно, и теперь видят и слышат, что говорим мы. И хунхузы нас убьют, а потом дадут знать в Шадарен, там хунхузов ещё больше, и те вас убьют.

— Так что лучше всего назад с вами, на Тяпнэ?

— Э-ге, э-ге, — радостно закивали корейцы.

Смотрю на них, и невыразимо жаль их за те страдания, которые причиняет им их мучительный, унижительный страх.

Надо заметить, что и за нами идти не радость им. Ведь там, на этой святой горе, в спрятанном от всех озере, живет суровый дракон, суровый и страшный: то он гремит, то облаком взлетает, то посылает такой ветер, что стоять нельзя. Стоит только рассердить его, так и не

то сделает. А такого дикого, своевольного и сам не знаешь, как рассердишь. Наши корейцы стоят совершенно растерянные.

Кончили тем, что В. В. (китайский переводчик) и маленький кореец идут с ними обратно. Маленький кореец в европейском платье, а издали это все равно, что русский, а В. В. свой человек для хунхузов, Успокоились корейцы и пошли назад.

В зависимости от ограниченности наших припасов — и необходимость, следовательно, все закончить в день-два; работа разделена между Н. Е. и мною. Он с И. А., Бибином, Бесединым, Хаповым и Сапаги спускаются к озеру. Я, поднявшись на вершину, обхожу ее до места предполагаемого истока Ялу (Амнокаган) и Сунгари, а к вечеру мы все собираемся в лагере.

Мы разлучаемся: Н. Е. со своей партией и двумя вьючными лошадьми идет налево, я, П. Н. и проводник — направо, Н. Е. таким образом пошел к западу, я — к востоку.

Почти до самой вершины Пектусана я ехал на лошади.

Затруднения были только в овражках, где лежал плотный примерзший снег. По этому снегу скользит нога и лошади и человека и легко упасть.

В одном месте, у самой вершины, я неосторожно заехал с лошадью на такой ледяной откос. Осматриваясь, куда дальше ехать, я оглянулся назад, и кровь застыла в жилах. Поднимаясь, я не замечал высоты, но теперь, глядя вниз, я решительно не понимал, как держалась лошадь, да еще со мной над всеми этими обрывами, которые мы, поднимаясь, обходили и которые теперь зияющими безднами стерегут мою лошадь и меня там, внизу.

Прежде всего я соскочил с лошади, но тут же поскользнулся и поехал было вниз, — если бы не повод, за который я держался, то далеко бы уехал я и хорошо если б отделался только ушибами и даже поломами костей.

Попробовал было я поворотить назад лошадь — скользит. Попробовал было я снять сапоги и босиком пройти — тоже нельзя. Тогда прибегли к последнему средству: проводник и П. Н. с той стороны оврага, я — с этой принялись рыть траншею, потратив на эту работу около часа.

Но вот, наконец, и верх, и весь грозный Пектусан с иззубренным жерлом своего кратера сразу открылся.

Картина, развернувшаяся пред нами, была поразительная, захватывающая, ошеломляющая. Там, внизу, на отвесной глубине полуторы тысячи футов сверкало зеленое версты на две озеро. Как самый лучший изумруд сверкало это зеленое, прозрачное, чудное озеро, все окруженное черными иззубренными замками или развалинами этих замков. Темные, закоптелые стены снизу поднимались отвесно вверх и причудливыми громадными иззубринами окружали кратер.

Какая-то чарующая там на озере безмятежная тишина. Какая-то иная совсем жизнь там.

Очень сильное впечатление именно жизни.

Кажется, вот-вот выйдут все эти живущие там, внизу, из своих замков, в каких-то нарядных костюмах, раздастся музыка, поплывут нарядные лодки, и начнется какая-то забытая, как сказка, как сон, иная жизнь.

И в то же время сознание, что этот уголок земли — смерть, полная смерть, где на берегу того озера Стрельбицкий нашел из органического мира только кость, вероятно занесенную мимо летевшей птицей.

Смерть! Сам вулкан умер здесь, и это прозрачное озеро — только его чудная могила, эти черные отвесные, копотью, как трауром, покрытые бастионы — стены этой могилы.

И стоят они грозные, охраняя тайну могилы. Я устал смотреть туда, вниз, и люблюсь причудливыми выступами скал, окружающих кратер.

Вот гигант-медведь опустил свою большую голову и притих. Вот башня с остроконечным шпиком. А вот на скале чудное и нежное, как мечта, изваяние женщины. Одной рукой она оперлась о край и заглядывает туда, вниз, где озеро. В этой фигуре и покой веков и свежесть мгновенья. Словно задумалась она, охваченная сожалением, сомнением, колебанием, и так и осталась в этом таинственном уголке не вполне еще сотворенного мира.

Что-то словно дымится там, внизу, как будто заметалось вдруг озеро, вздрогнуло и зарябило, и с каким-то страшным ревом уже приближается сюда это что-то.

— К земле, к земле лицом, — кричит проводник.

Я пригибаюсь, но все-таки смотрю, пока можно: прямо со дна озера летит вверх облако, в котором все; и мелкие камни, и пыль, и пары, которые там, на озере, как в закипевшем вдруг котле пробежали по его поверхности. Нас обдало этим страшным паром-песком. А через мгновение еще и нежное, белое облако уже высоко над потухшим кратером поднялось в небо в причудливой форме фантастического змея. Старик проводник поднял было глаза к облаку и сейчас же, опустив голову, сложив руки, начал качаться.

— Что такое?

Проводник вскользь, угрюмо бросил несколько слов.

— Молится, — перевел мне П. Н., — говорит, дракон это, не надо смотреть и лучше уйти. Рассердится — худо будет.

— Скажите ему, что я очень извиняюсь перед драконом, но мне необходимо снять фотографию с его дворца.

Старик кончил молиться, успокоился, покорно развел руками и сказал:

— Дракон милостив к русским, — у них счастье, а нас, корейцев, он убил бы за это. Но и русские приносили жертвы, — тот, который был с баранами, зарезал здесь одного барана.

— Скажите ему, что у нас не приносят жертв.

— Здесь дракона законы.

И опять все тихо кругом. Сверкает озеро в глубине, а кругом необъятная, сколько глаз хватит, золотистая даль лиственничных лесов, а еще выше — и над этой желтой далью, и над белым Пектусаном — безоблачная лазурь неба, голубого, как бирюза, сверкающего и еще более голубого от позолоты желтой дали лесов.

И опять смотришь вниз, туда, где сверкает это волшебное зеленое озеро. И опять очарование, ощущение заколдованной жизни. И новый страшный вихрь.

Сделав нужные работы, определив положение кажущейся вдали расщелины, откуда вытекает, по словам туземцев, приток Сунгари, я занялся выяснением истоков двух других рек: Тумангана и Амнокагана.

С этой высоты видно все, как на ладони. Здесь водораздел всех этих трех рек: к западу Амнока, к востоку Туманган, к северу и северо-востоку Сунгари. Мне видны все овраги Амноки. Я уже видел их снизу, и все они сухие.

Такие же овраги идут по направлению и к Тумангану — тоже сухие.

Таким образом вне сомнения, что истоки Тумангана и Амноки не имеют никакого непосредственного сношения с озером.

Остается дело за истоками Сунгари.

Мы отправляемся к той части Пектусана, на северо-восток, где видна эта как будто расщелина.

Уже час дня.

И зачем идем, когда я говорю вам, что там щель, — ворчит проводник.

— Он сам видел ее? — спрашиваю я П. Н.

Он сам не видел, но товарищи охотники были в том китайском лесу и видели, как сверху падает вода из глубокой и высокой щели.

— Надо идти, — говорю я.

Мы идем. Новые, периодичные, минут через пять, вихри все более и более сильные, от которых вздрагивает земля.

Иногда, когда мы идем, под нами слышится гул пустоты.

Мы идем до щели три часа, все время любуясь озером и видами, снимая фотографии и делая засечки на новые открывшиеся места.

Вот последний подъем, и там должна открыться щель: сердце бьется от усиленного подъема, от напряженного ожидания, лошадь давно оставлена с проводником, который, спустившись вниз, ведет ее и едва виден.

Щели нет..?

Такой же грозный и неприступный бастион и здесь; в углублении, как и везде. Отсюда виден весь Пектусан, и везде все шире обнаженная и неприступная стена. Я смотрю в бинокль и вижу внизу под нами, где идет наш проводник с лошадью, воду. Щели нет, но вода есть. Где, на какой высоте ее источник? Чтоб узнать, надо спуститься. Нам предстоит очень тяжелый спуск вниз по карнизу одного из крыльев этого гигантского бастиона, чтоб найти начало источника. Лучше не смотреть ни вверх, ни вниз, лучше бы и совсем не спускаться.

Но вечер приближается; морозит; страшные вихри все сильнее; темные тучи ползут из кратера, и уж не видно озера.

Прощай, прекрасное! Всегда останешься ты в моей душе, как чудная мечта, как сон, который трудно отличить от действительности.

Несмотря на короткие мгновения, проведенные здесь, я уже сжился с тобой: мне близки и безмятежная тишина твоя и твои дикие вспышки; кажется, что привык я к тебе, что уже давно-давно знаю тебя.

Я не люблю круч.

С мужеством труса, с мужеством отчаяния, стиснув зубы и умертвив все в себе, я зверем, дорожащим только своей жизнью, цепляясь руками и ногами, проворно, как по лестнице, спускаюсь по уступам камней. Камни надежные, твердые, на шаг расстояния друг от друга, но как тяжело делать этот шаг! Ноги, как сросшиеся, не хотят ступать! Ступай, ступай, несчастный!

Вот где опасность! Что перед ней хунхузы, барсы, тигры? Вот настоящие владыки этих мест — эти утесы, эти вихри, которые вот-вот сорвут и бросят туда вниз; эта надвигающаяся ночь, которая закроет скоро все эти бездны, и не будешь знать, куда ступить, а морозный холод ночи пронизет насквозь легкое пальто. Что-то с Н. Е. и его спутниками? Скорей, скорей же!

А когда остается сажен тридцать до пологого откоса, я уже беспечно и весело, как самый отважный ходок, шагаю и даже прыгаю с камня на камень.

Гоп! Последний прыжок, и опять я на ногах, на твердой земле — хочу стою, хочу иду; опять живой и здоровый.

О боже, неужели мы с П. Н. были там? Здесь, снизу, вся обнаженная вершина Пектусана еще более напоминает гигантские грозные бастионы, круглые башни, обстреливающие все выступы.

Но некогда: скорей, пока светло, закончить осмотр оврагов.

Что это шумит?

А! вот откуда пробирается вода!

Барометр! Разница высоты — 1630 футов. Ниже, следовательно, поверхности озера на 330 футов. Это и возможная глубина озера. Подземный ход из озера сюда. Вода красивым узким ручейком стремительно падает вниз, и чем ниже, тем круче.

От этого оврага дальше, среди желтого леса, тянется темная полоса и уходит на северо-запад. Сколько видит. глаз кругом — везде беспредельная равнина.

С правой стороны, стоя лицом к Сунгари, вьется еще одна темная полоска среди желтого леса и соединяется с тем оврагом, у которого стоим мы.

Так как направо и дорога наша, то мы и спешим осмотреть уже пройденный другой овраг.

В трех верстах от спуска, по обратному направлению, пришли мы и к этому второму истоку. Он значительно больше первого — если там силы три, то здесь их около пятнадцати. Я определяю силы на глаз, руководствуясь опытом предыдущих лет.

Солнца уже нет, ночная мгла на всем, и только две-три вершины во всем округе видят еще опустившееся солнце.

Последний подход к оврагу был очень неудачный: мы взбирались полчаса на какую-то вершину для того, чтобы спуститься назад по той же дороге. Совсем стемнело.

— Проводник говорит, что он здешних мест не знает.

— Плохо. Ну, не знает, так ночевать надо здесь: благо вода и корм для лошадей есть, а вот и несколько деревьев, следовательно и дрова есть.

Я повел свою лошадь к ручью. Странная вещь, вот уже третий день лошадь моя стала спотыкаться на каждом шагу, точно слепая.

— Да она и есть слепая, — говорит П. Н.

Осматриваем и убеждаемся, что несчастная лошадь действительно слепая.

Тянем ее к деревьям, где корм, и там в овраге устраиваемся.

Все устройство заключается, впрочем, в том, что мы рубим ножами ветви, ломаем их руками, собираем сухостой и разводим костер. Лошадь выпускаем на поляну, она жадно ест сухую траву. П. Н. пригнулся и ищет голубицу. Уже почти сухая, сморщенная голубица все-таки пища и лучше, чем ничего. Несколько ягод съел и я, но я не любил их никогда и теперь не люблю.

Да и не хочется есть — ни есть, ни пить. Я очень устал. Вот разгорелся костер, тепло, сидишь и хорошо.: Я так устал, что даже рад наступившей темноте: на законном основании можно сесть и не идти дальше. По горам трудно ходить: воздух разреженный, и тут еще эти леденящие вихри. Как-то Н. Е.?

Шесть часов, но уже совершенно темно.

Там из вулкана все еще клубятся темные тучи: курятся. Ветер рвет и мечет, и нет от него спасенья. Огонь, и искры, и дым бьют то в лицо, то летят в противоположную сторону и опять бешено возвращаются к нам.

Все темнее, и дрожь пробегает по телу.

— П. Н., лошадь бы привязать.

— Пусть поест, — куда она уйдет, несчастная, слепая.

И П. Н. ложится, ложится и старик, я принимаю на себя караул.

Пошел к лошади, — жадно ест. Пусть поест, часа через два привяжу.

Хуже всего, что папиросы вышли.

Долго ждать до света. Смотрю на часы: половина седьмого. Полчаса всего прошло с тех пор, как эти заснули.

Что-то делает Н. Е.? Может быть, где-нибудь, как и я, сидит теперь. Но там нет ни воды, ни дров. Воды им и не нужно, так как согласно уговору лошадей Сапаги должен был отвести в лагерь. А без дров трудно им будет, если опоздают. Плохо я рассчитал время — в этих горах изменил глазомер.

Что-то мокрое?! Дождь? Это нехорошо, надо будить.

Проснулись, пошли, сломали две молодые лиственницы и устроили род шалаша. Легли и опять заснули оба.

Дождь свободно проходит сквозь шатер и мочит нас. Вода понемногу пропитывает окружающую вечнозеленую траву, протекает мелкими струйками под намокшие пальто, сапоги, шапки — уже мокры. шея и руки, а резкий ветер сильнееет, и не перестает дрожь, несмотря на костер.

Нет, надо идти хоть сучья ломать. Надо, но нет охоты шевельнуть пальцем: словно нет меня, я отделен от себя, и теперь я другой, уже непосильный для себя груз. Этот груз с невероятным усилием, а все-таки подвигаю кое-как ближе к огню. Лицу жарко и ногам жарко, кажется, сожгу себе сапоги. Но спине все-таки холодно. Лошадь надо бы привязать. Ах, это П. Н., он идет за лошадью, ну спасибо, а то я устал.

Все это уже сон — я, согнувшись перед костром, сплю.

Просыпаюсь от нестерпимого холода. Дождь как из ведра, костер почти потух, смотрю на часы; десять часов.

— П. Н., П., вставайте же, пропадаем все.

— Голова болит.

— Будите проводника, идем в лес и за лошадью. Встаем, идем, но лошади не видно.

— Легла, — говорит П. Н., — не найти теперь.

Наломали сучьев, кое-как развели опять костер. Перестал было дождь, и вдруг пошел снег. Кто-то воет. Это проводник?!

П. Н. смущенно слушает.

— Что он говорит? — спрашиваю я.

— Говорит, что дракон очень сердится, и он боится, что мы пропадем, потому что пошел снег. А снег пошел, он не остановится — это зима — и завтра будет столько снега, что если мы и вытерпим, то все равно пропадем без дорог.

— Скажите ему, что во сне приходил ко мне дракон и сказал, что если я отдам ему лошадь свою, то он перестанет сердиться.

Проводник быстро, оживленно спрашивает: что я ответил?

— Я сказал, что я согласен.

Старик удовлетворенно кивал головой. Через несколько минут снег перестал, и над нами совершенно чистое небо.

Старик радостно говорит:

— Дракон перестал сердиться.

Костер ярко горит. Но опять туча и дождь. Старик убежденно говорит, что теперь скоро все пройдет, потому дракон умиловивлен.

Оба, П. Н. и проводник, лежа чуть не в луже, засыпают.

Туча проходит, небо звездное, но дождь идет. Ветер еще, кажется, злее и ножами режет тело и руки, и дым летит в лицо. Часть земли из-под костра освобождается; я ногами отгребаю пепел и ложусь: сухо и тепло. Разбудив П. Н. на дежурство, я моментально засыпаю.

Я открываю глаза. Час ночи. Костер ярко горит. П. Н. и проводник не спят. Вызвездило и ясно, хотя темно. Небо усыпано звездами. Большая Медведица так близка к горизонту, что кажется рукой достанешь.

Еще пять часов до дня. Начинает просыхать понемногу.

Старик совсем повеселел.

— Дракон спит.

Но ветер надоедливый нагло рвет и мечет по-прежнему.

Покурить хорошо бы, но есть и пить не хочется.

А все-таки истоки всех трех рек исследованы.

Но само озеро только красивая игрушка и ничему в деле улучшения судоходства помочь не может... Теперь это ясно, как день.

Я вспоминаю Тартарена, когда он в отчаянии кричал:

— Алла, алла, а Магомет старый плут, и весь Восток и все девы Востока не стоят ослиного уха!

Я прибавляю:

— И леса его, и золото его, которых у нас в Сибири во сто раз больше, и все богатства, которых у нас на Алтае во сто раз больше, ничего не стоят в Корее. Остается одна чистая наука: да здравствует она!

Пойти посмотреть лошадь. Нигде не видно ее. Где-то возле леса резкое кошачье мяуканье. Наконец и я если не вижу, то слышу господина. А может быть, где-нибудь в этих кустах уже крадется барс.

Нет, лучше идти к костру. Вот хорошее дерево, начну ножом рубить его, часа на два работы — согреюсь, и время пройдет.

— Кто идет?

— Вы что тут делаете? — спрашивает П. Н.

— Да вот дерево рублю.

— Давайте нож, идите спать, я больше не буду спать...

— Да у вас голова болит?

— Прошла.

— А у меня горло прошло, — говорю я, — ну, спасибо, рубите...

«Хорошо бы дома в теплой кровати теперь», — думаю я и с отвращением сажусь, как приговоренный, в свою тюрьму: с одной стороны, пламя в лицо, с другой — ветер с ножами, мокрая земля, мокрое платье — насквозь мокрое.

Все это пустяки, одна ночь, и перед нансеновскими испытаниями стыдно и говорить об этом.

Измучен, устал, сколько впереди еще... И ни заслуг, ни славы... Нет, что-то есть... есть... есть... что же? А, Сунгари и выясненный вопрос истоков... По новой дороге пойдём, где не была еще нога европейца, да и здесь, в этих дебрях, не была, у этих мнимых щелей впервые тоже стоит человек.

Пусть сердится дракон, тайна вырвана у него.

Рассвет. Я просыпаюсь.

П. Н. уныло говорит:

— Пропала лошадь...

— Господи, как холодно. Ну, пропала, что же тут сделаешь?

— Я все-таки еще пойду искать ее.

— Где проводник?

— Ушел дорогу искать.

П. Н. ушел, я остаюсь один.

Жуткое чувство одиночества в этой мокроте. Все промокло — седло, попоны, сам. Брр... какая гадость! Поднялся на ноги: не хотят стоять ноги, тело тяжелое. Но костер тухнет, и надо идти за сучьями. Иду, ломаю, смотрю — нигде не видно лошади... Вспоминаю ее: какая несчастная она была, слепая, покорная... Если тигр ее схватил, проиграла ли она что-нибудь? Все-таки жалко ее.

П. Н. пришел и, сказав угрюмо: «Нет лошади» — повалился и уже спит.

Солнце взошло. Где же проводник? Сел дневник писать, но руки окоченели, окоченели и слова: тяжело, неуклюже, и одна фраза отвратительнее другой.

Странно, отчего есть не хочется? Восемь часов, и ровно двадцать четыре часа, как я не ел уже.

Выше поднялось солнце, такой же ветер, но солнце и костер сушат и греют.

Все спит. Как-то голо и уныло смотрит с своей вершины Пектусан и вся неприступная твердыня его, все так же вылетают облака оттуда, и, сидя здесь, я чувствую пронизывающий холод его вершины.

Все та же желтая скатерть лесов перед глазами и синяя даль гор. Все подернуто какой-то мглой, точно не выспалось, как и я, и не ело больше суток.

Чей-то голос! С горы спускаются пять лошадей, и впереди Н. Е.

— Все благополучно? — кричу я.

— Какое благополучно: трех солдат нет.

— Как нет?! — вскакиваю я.

— Пока вылезали с озера навверх, нас сразу захватила ночь, ну и сбились, куда ни пойдём, везде кончается кручей. Спускались, поднимались, опять спускались, дождь пошел, намокли. Главное лошади — без лошадей все-таки как-нибудь бы справились.

— Какие лошади?

— Две вьючные, которые были с нами...

— Но почему же этих людей не отправили в лагерь, как ведь и было предположение?

— Ну, вот, Сапаги... Не понял или побоялся идти.

Вылезает наверх, а он тут и с лошадьми... Лошади и зарезали... Я просто выбился из всех сил... Полушубок намок, тяжесть, словно сто пудов на плечах, идти вверх прямо не могу, не передвигаются ноги, могу только вниз двигаться. Подошли опять к какому-то спуску — нельзя спускаться, надо опять идти вверх, назад. Главное, вижу, что я их задерживаю, пройду два шага и упаду, лежу, не могу встать. Ну, думаю себе, я пропал, за что же другие пропадать будут, говорю им: «Подождите здесь, я попробую спуститься и крикну вам снизу, есть ли выход. Если со мной, не дай бог, что случится, старшим назначаю Беседина. Если устанете, имеете право бросить лошадей». Ну и полез вниз... лез... лез... Я уже не знаю, как только и не убился... Сегодня посмотрел, откуда спустился...

— Какие распоряжения вы оставили относительно розыска людей?

— Послал Ив. Аф. и сам вот ездил. Ив. Аф. послал на прежнюю стоянку. Там был пожар, и светилось, когда мы были наверху... Если они пропустили лагерь, то, наверно, попадут на Буртопой.

— Дайте папиросу и едем...

— Ах, Ник. Георг., ну где там еще мне было думать о папиросах: вот взял красного вина, несколько сухарей.

— Да вы сами курите же?

— Да теперь не курил, не ел и не спал.

— Что вы делали?

— Всю ночь звонил в колокол, стрелял, жгли костер, пока были дрова, потом на шест поставил фонарь, так как глухой он, — одна только светлая сторона, — ну и вертели его, как маяк... Я только и попал на фонарь... Буря — выстрелов в нескольких шагах не слышно... Корейцы разбежались. Корму лошадям нет, воды нет, дров нет.

— Здесь и вода, и дрова, и корм, — показал я на свою ночевку, которая теперь была уже далеко под нашими ногами, — надо сейчас же перевести лагерь сюда, потому что не уйдем же, пока людей не разыщем.

— Я думаю, они уже погибли.

Н. Е. оборвался и замолчал.

Только теперь я заметил, как изменился он за ночь. Осунулся, складки на лице, напряженный взгляд, и вся фигура и лицо

отжившего, высохшего старика.

— Полно вам. Три солдата, чтоб погибли.

— Замерзнут...

— Да ведь мороз всего градус, два.

— Ну и обледенит — все ведь мокрое, спички размокли, выбьются из сил...

— Ну, выбьются, остановятся, качнут драться, наконец, чтобы согреться. Я ведь мокрый, и П. Н., и проводник: сели, просохли, силы появятся, опять за дровами...

— Да ведь у вас они есть...

— Да не такой же холод... Ну, они, вместо дров, пойдут... Не беспокойтесь, человек такое живучее животное... Как же вы попали в лагерь?

— Я и не знаю. Слез я в овраг, осмотрел, крикнул им: «Обходите вправо». Ответили: «Идем», и все смолкло. Я лег и думаю, ну хоть не задержу их. Спать хочется, знаю, что засну — пропал, а сам уже засыпаю... Слышу, что-то камни около меня шевелятся: упало на меня... «Кто?» Сапаги. «Ты как попал?» — «Моя капитан пошла? Айда, ходи». — «Не могу». — «Надо ходи, лежать нет надо». Пошли мы... Идем, идем и ляжем. «Надо ходи». Вдруг свет фонаря... Оказывается, я лежал в последний раз в десяти саженях от лагеря... Прихожу, спрашиваю: «Солдаты пришли?» — «Нет», — говорит. Повернулся к палатке, кричу: «Н. Г., солдат нет!» — «Да и Н. Г. нет», — говорит И. А. Ну, тут я совсем... Я ведь думал, что и вы задропли...

— Все трое?

— Да ведь ночь же какая... Чем еще кончится? Не можем мы не простудиться.

— Ну, у меня вчера, когда выступали, горло так болело, что плотнеть не мог, теперь все прошло... Ну, едем скорей.

Вот и лагерь. Полное разрушение: кроме В. В. все разбежались, палатки сломаны, вещи разбросаны.

Ив. Аф. уже приезжал с Буртопоя — солдаты там! Ура! послал им спирту и пищу И. А., а сам уехал в горы разыскивать лошадей, которых солдаты упустили.

— Как упустили?

В. В. не мог объяснить.

— Ну, в таком случае сниматься и отступить на Буртопой... Папирос дайте.

— Моя чай варила... — говорит В. В.

В. В. в маленькой китайской шапочке с красной шишкой и обмотанной вокруг головы косой.

— Ну, давайте ваш чай...

— Моя щи варила...

— Давайте щи.

— Я вчера, — говорит Н. Е., — три раза пробовал есть, три раза вырвало.

Совсем другой человек опять стал Н. Е.: повеселел.

— Верно, значит, я рассудил, что на Буртопой послал, — говорит он.

Н. Е. говорит и уплетает щи.

Я съел три ложки — тошнит.

— Давайте чаю.

Чай с каким-то салом. Заставил себя выпить, и сейчас же все назад.

Китаец, Сапаги и маленький урод Таани укладывают тюки.

— Лошадей поили?

— Воды нет.

— Снег кипятите, Сапаги, бросьте укладку, берите снег и варите...

Напоили кое-как лошадей, И. А. подъехал.

— Нет... Главное, с тюками ведь. Так все-таки им легко бы было, а с тюками пропадут... Главное, Серый слепой ведь.

— Другая какая лошадь?

— Маленькая белая, самая умная, положим, и колокольчик на шее, слепому-то и слышно...

— Ну, укладывайтесь, едем.

Все тот же ветер и холод, и во всей своей неприступности перед нами великолепный Пектусан, сегодня весь покрытый снегом.

— Скажите старику, — говорю я, — дракон молодец, задал нам трепку.

— Он говорит, что это за то, что лодку спустили.

— Ну, рассказывайте, Н. Е.: что же вы делали вчера?

И Н. Е. рассказывает, пока мы укладываемся.

— Рассказывайте все с самого начала.

— Ну вот, пришли мы...

— Хороший спуск?

— По камням. На глаз — почти отвесно, а дальше россыпь...

Ведь мы потеряли лот... Ну, ищу я глазами камень... Смотрю, внизу на берегу озера лежит камень, ну так, с три кулака... Ну, думаю, камень, значит, есть, и полез вниз. За мной остальные, лодку разобрали, я надел на плечи пробки.

— Голова не кружилась?

— У меня не кружится...

— У людей?

— Ни у кого... И. А. как кошка лазит... У Хапова камень оборвался, слышу: «Берегись, берегись». Смотрю, прямо на меня летит. Я стою — одна нога на одном камне, другая на другом: куда беречься? Только вправо или влево туловище наклонить. Ну, я, положим, так и приготовился... все равно, как из ружья целит: нацелился прямо на меня, я влево, да спину повернул и схватился за камень... Как хватит по пробкам на спине... Ну и цел и удержался... Так и спустились. Стали лодку собирать. Камень мой, в три кулака, оказался скалой саженой в пять. Снизу вверх смотреть, так просто не веришь себе, как спуститься тут можно. Когда мы спустились, озеро слегка волновалось, вода прозрачная, такая, что не видишь ее. Ключ падает с горы. Пока падает, едва заметно, а где-нибудь в лоцинке воды не видно... Пока собирали лодку, готовили лот, поднялась такая буря, что стоять нельзя. Снизу рвет, камни поднимает вверх... Спустили лодку, поехал сперва И. А. — не может выгresti... прибило назад. Потом И. А. полез вверх, назад в лагерь, а я с Бесединым сели в лодку, гребем, на шаг не подвигаемся... Тут как-то стихло было, мы двинулись сажень на двадцать, и сразу такой порыв, что полную лодку налило: маленькое озеро, а волны полтора аршина. Положим, лодка хоть и полная воды, но держится...

— Сколько градусов?

— Семь.

— А в воздухе?

— Три... Промокли... ноги не терпят и грести нельзя? тут и парохомом не выгребешь, прямо так и выбросило на берег, Бились-бились, все по очереди пробовали, то же самое... Зальет лодку и

выбросит... Глубина страшная, это прямо видно: от берега мелко, а там сразу обрывается и уходит в глубину обратным откосом, почти везде так... Контур снял.

— Инструменты благополучно спустили?

— Благополучно... Ну, пока работали, смотрим, солнца уж мало видно. Промокли, продрогли, да и делать больше нечего... Вытащили лодку, опрокинули ее, веревки для лота положили под нее, весла и полезли назад.

— Лодку не унесет в озеро? Вода в озере, не заметили, опускается, поднимается?

— На полсажени высоты заметно как будто понижение. Может быть, это волны, может быть, усыхает. Ключи есть — бьют из скал.

— Трещина есть в озере?

— Когда я выехал на лодке, видно было, что на северо-востоке нет, а на западе какая-то бухта. Я не рассмотрел...

— Я стоял перед этой бухтой на восточной стороне, как раз напротив, такие же стены отвесные, как и везде.

— Ну, значит, нет выхода. Впечатление, собственно, от озера — игрушка... И опасная игрушка... В смысле же питания рек...

— Об этом и говорить нечего — горсть воды.

Все уложено, и мы покидаем негостеприимную гору. От нее веет холодом и неуживчивостью. Какой-то взбалмошный, больной дракон. Дурит, как только может. Вот уже опять летят облака из него, и даже здесь качает ветром нас.

— Нет, подыматься было трудно, — говорит тихо весь поглощенный рассказом Н. Е. и, по обыкновению, улыбается, — назначили скалу, половину дороги, а доползли — оказывается и пятой части не прошли еще. Вдруг туча подошла к краю, и вдруг всю ее втянуло в озеро, и сразу темнота. Как только закрыло тучей, озеро буквально черное стало, а потом все исчезло. Я уж думал ночевать где-нибудь на полдороге, да негде было. Уж и не знаю, как долезли, через каждые три-четыре сажени — отдых... Я последним полз...

Камни летят из-под ног тех верхних: один по колену так хватил, что, думал, свалюсь... Вышли. навверх, просто как выкачали все из меня: ноги дрожат, дышишь уж не легкими, легкие как — будто лопнули, а так как-то, всем телом... Тошнит, голова кружится, упал бы, кажется, и заснул, умереть согласен, что хотите, только дальше не

идти. А тут дождь как из ведра, сразу намочил, промокли и хоть что хочешь... Сто лет проживешь, а не забудешь этой ночи... Тьма, дождь, рев такой, что голосов не слышно: господи, что уж это такое. Я уж так и думал: ну, конец.

Между тем, пока мы ехали и Н. Е. рассказывал свои впечатления, наступил вечер, и опять сразу тьма, мы сбиваемся с дороги, благодаря проводнику, который хотел пройти покороче, попадаем в овраг истоков Тумангана, валимся, падаем, теряем вьюки, разыскиваем их и уже собираемся с лошадьми, вконец изморенными, вторично ночевать в какой-то трущобе, когда на два сигнальных выстрела услышали наконец где-то далеко-далеко ответные выстрелы. Заметили звезды и пошли напрямик. Выстрелы ближе, ближе, затем свистки, огонь костра, и мы над оврагом Буртопя. Где-то там, в бесконечной глубине.

Спустились. Тепло у костра — солдаты, корейцы, рассказы и суд над всеми.

Корейцы на каком основании бросили лагерь? — Не было дров, не было корму и воды.

Виновник проводник. Он сам не знал, что есть вода на Пектусане. Никто не виноват.

Очередь за солдатами.

— Вы поступили правильно, что бросили лошадей, но зачем вы, во-первых, не развьючили их: жаль несчастных животных, а во-вторых, почему вы не привязали лошадей?

Выступает Беседин.

— Позвольте, объяснить... Когда Н. Е. крикнул нам: направо — мы так и пошли. Шли-шли — приходим, такой же овраг. Что делать? Назад пошли, поднялись на самый верх, опять на то место, откуда начали спускаться, опять запутались, опять назад...

Стали выбиваться на вашу дорогу — Павел днем ходил за вами, — ну, так и пошли, дошли до того места, где проводник вас через овраг проводил, стали делать ступеньки, сошли сами и лошадей, господь помог, спустили. Тут обессилели, попали в какой-то овраг — трава. Надо покормить лошадей, а самим отдохнуть. Пустили лошадей, сами сидим. Мокрые, давай греться: стали бороться друг друга, возиться, вроде как будто тащим в плен друг дружку. Сколько времени прошло, так и не знаем. Спихнулись — и нет лошадей.

Туда, сюда — нет лошадей. А темно, ревет, как в трубе, и не видно и не слышно. И вещи, которые сняли с себя, не найдем. Ну что ж? — поискали-поискали, а уже все мокрые, коченеет, сами пошли... Куда идти? Огонь в лесу горит: знаем, что это Буртопой, наше же пожарище. Компас у меня. Я хоть и не умею читать, а стрелку, как стоит, заметил и звезды заметил. Спустились в овраг и пошли по стрелке. Шли-шли, тут светать стало, видим, и Буртопой под нами. Спустились, от горящего пня огонь достали, наломали сучьев, огонь развели. Отогрелись, тут корейцы приехали, погода и И. А.

— Ну, молодцы, значит. Не простудились никто?

— Господь миловал...

— Ну, спать.

— Ужинать будете? — спрашивает И. А.

— Мне только чаю и спать.

Хорошо в балагане. Горел и он, но не сгорел весь, — одна стена прогорела. Да, вот расследовать, кто не залил огонь...

Расследование ни к чему не приводит, — последние ушли, оказывается, корейцы. Все собрались в балагане и сидят вокруг костра. Рассказы о проведенных двух днях.

Корейцы все время дрожали от страха и холода. Они очень извиняются, что, убедившись, что здесь на Буртопое нет хунхузов, ушли сюда. Я говорю им, что я не в претензии, — другое дело, если бы мы остановились там, где есть вода, корм лошадям, дрова.

— Конечно, конечно, — соглашаются корейцы.

Старик кореец, наш проводник, с детским добрым лицом, незлобивый и кроткий, мужественный охотник на тигров, первый стрелок из лука, за что в свое время и получил от императора похвальный отзыв, и на его могиле поставят, когда он умрет, высокую палку, а на ней райскую птицу или дракона, а при жизни его все называют его полным именем Дишандари (стрелок, получивший похвальный лист).

Я спешу оправдать выносливого старика и говорю:

— Я сказал Дишандари, что мы в тот же день снимемся с лагеря — он поэтому и заботился выбрать стоянку, наиболее попутную для наших будущих целей. А если б он знал, что будет, то и выбрал бы ту, где мы ночевали.

Дишандари очень смущен, тронут моими словами, а корейцы радостно кричат со всех сторон:

— Так, так...

Я смотрю в его прекрасное лицо, ласковые, не уверенные в себе глаза и говорю П. Н.:

— Скажите ему, что у него ноги заячьи, глаза волчьи, сердце тигра, а душа женщины. И он не даром Дишандари.

П. Н. передает — среди корейцев восторг. Дишандари на мгновение становится героем на пьедестале своих подвигов. О них теперь энергично говорят. П. Н. слушает их говор и весело смеется.

— Они говорят, что каждое ваше слово как золото падает, что вы все понимаете, каждого человека знаете, что он думает. Что если б их начальники так все понимали, то Корея не хуже бы других была, а их начальники такие же глупые, как и они, и только бьют и грабят их не хуже хунхузов.

Разговор переходит к результатам наших исследований.

Они очень разочарованы в том, что из озера нет выхода. Никто из них этого выхода не видал и там не был, но так уж говорят у них из рода в род.

Относительно Ялу (Амнокви), откуда она вытекает, покажет завтрашний и послезавтрашний день, которые мы посвятим исследованию южной и западной стороны Пектусана.

Я говорю им, что Пектусан был прежде кратер, показываю лаву, объясняю все лежащие перед нами инструменты. Несмотря на поздний час, интерес у корейцев и наших не ослабевает.

Речь опять заходит о таинственном озере — есть ли там жизнь?

Н. Е. и его спутники говорят, что голубицы там множество, видели одну птичку.

Я спрашиваю Дишандари, что это за тропки внутри вулкана, по отсыпям, — вероятно, потоки воды?

— Нет, это изюбры ходят туда в шестую и седьмую луну, когда много оводов, а в озере нет их. Он и другие охотники тогда стерегут их у выхода, и он, Дишандари, таким образом убил на своем веку пять пантов, продал рога каждого от 200–300 рублей, по оценке начальства, которое другую половину таким образом украло у него.

— А если б вниз озера спуститься и там их подстеречь?

— Там, конечно, совсем другое бы дело. Пока они лезут на откос, их всех перестреляешь, а они ходят табуном, Толов в тридцать — пятьдесят.

— Ох ты, боже мой, — говорит Беседин, — нас бы вот так, русских, которые не боятся в озеро лазить — враз это сколько же денег? По пятьсот рублей — полторы, нет, пятнадцать тысяч.

— А теперь там и лодка есть, — говорю я. — Вот, действительно, вам, русским людям, составить артель, человек в десять, и в мае приходите сюда: жень-шень, изюбры, тигры, барсы — богатыми людьми все сделаетесь. Человека три спустились бы в озеро, а семь проходы стерегли бы. А то, если все спуститесь, вас будут стеречь, как изюбров.

И Беседин, и Бибик, и молчаливый Хапов оживленно начинают обсуждать возможность такой артельной организации.

Я с своей стороны увлекаюсь и назначаю, если такая экспедиция состоится, дать им двести рублей на обзаведение с тем, чтоб они сделали промер озера.

Вот компас, вот его употребление — все новые дорожки, все входы и выходы в этой трущобе, все поселения — кто их знает? А узнав, они могут сообщить о них и получить хорошие деньги. Быть в случае надобности проводниками. Вот образец простейшего журнала, простейшей съемки, — они люди грамотные.

Но, конечно, — прежде всего надо научиться уважать хозяев здешних мест. У каждого своя религия, и нельзя смеяться над ней. О женщинах тоже надо забыть. Надо уметь и с хунхузами дружить, — они научат и корень искать, и звериные места покажут, и золото.

Два часа ночи, однако. Вот что я предлагаю корейцам: не хотят ли они поискать наших лошадей — за каждую лошадь я заплачу по пятнадцати рублей.

Корейцы согласны и сейчас же идут. Солдаты тоже решили идти искать растерянные вещи: предложили сами, — вчера они выспались и тоже сейчас идут.

3 октября

Семь часов, яркое солнце, тепло, ветру нет.

Сегодня я умываюсь. Все руки исцарапаны, в нескольких местах содрана кожа, — это результаты прошлой ночи, когда ломал ветви для

костра.

И. А. возится с перекладкой вещей — отсюда мы идем уже налегке: лодку оставили на озере, палатки отправляются с корейцами обратно — изломало их, да и громоздки и мало пригодны.

По лесу несутся радостно отчаянные вопли возвращающихся корейцев:

— Гей! Ги! Ги, ги!

Гонят наших двух лошадей: слепую и белую. Вот они уж на опушке, а за ними радостные белые корейцы. Впереди, с колокольчиком на шее, умненькая белая лошадка, сзади нее, как слепой кобзарь за своим поводырем, плетется серая слепая лошадь.

Трогательная картинка.

На их спинах вьюки, их нашли в укрытой долинке, где была трава и снег.

Белая, вероятно, водила своего слепого товарища на водопой к снегу, а затем они возвращались опять в долинку.

Когда подошли к ним корейцы, белый тихо, приветливо храпнул, а серый остался таким же равнодушным, поникшим, каким был всегда.

Чтоб выбраться в эту долинку, им пришлось спускаться с очень больших круч, и как слепого учил белый ставить куда надо ногу — осталось их тайной. Но результат этой тайны — трогательная дружба между ними: они не расстаются. Белый пошел пить, и серый за ним — пили, пили. Затем белый смело подошел к мешку с овсом и рванул его зубами, серый подошел и то же самое проделал. Насыпали им овса, стали есть они, и все корейские лошади стараются присоседиться к ним. Серый с покорностью слепого равнодушен, но белый прижимает уши и ляскает зубами на все стороны, как только приближаются чужие лошади.

Моей лошади не нашли, а может быть, и не искали.

— Дракон себе взял одну, а этих сам снес в долину — лошади не сошли бы своей силой. Этих лошадей посылает дракон, посылает с ними и счастье начальнику экспедиции, ждет его большое счастье.

С какой глубокой верой и даже завистью говорится это.

Мы поели с Н. Е. и отправляемся на исследования истоков реки Амноки.

Возвращаемся мы в Буртопой засветло, выяснив, что все овраги по направлению к Амноке сухие.

— Амнока вон где берет начало, — показывает проводник на Малый Пектусан.

Это верст пять к югу от Большого.

Остаток дня мы проводим в приятном ничегонеделании.

Возвратились солдаты, принесли кой-какие потерянные вещи, видели медведя, — черного, небольшого, — стреляли, но не попали.

Корейцы собираются в дорогу, мы тоже завтра на рассвете выступаем: поесть и спать пораньше.

Сапаги предлагает рассказать сказку, имеющую отношение к здешнему месту. И, пока пища варится в котлах, мы все усаживаемся и после пережитых треволнений благодушно слушаем высокого длинноногого Сапаги в его полуевропейском костюме, с дамской прической на голове.

Кончил Сапаги свою сказку, я закрыл глаза, и опять в фантастически иззубренных, почти отвесных стенах кратера, там, в глубине, сверкает предо мной озеро ярко-изумрудное, представляя из себя со всей окружающей на сотни верст местностью и самим Пектусаном что-то до того ошеломляющее, что не можешь забыть и, как очарованный, точно видишь это все опять наяву. Кажется, опять стоишь и смотришь на близкое голубое небо — беспредельно нежно-желтую, как золото, даль лиственных первобытных лесов! Смотришь на эту белую гору, на иззубренные, как башни, как старинные замки, вершины кратера. Смотришь туда, в глубь его, где этот безмятежный изумруд озера, где так тихо, так уютно, где все эти повороты в черных стенах, точно улицы заколдованного города с его дворцами и башнями. Первые впечатления сменяются другими, потрясут, может быть, до основания вашу душу все эти явления не успокоившегося еще вулкана, этого не вышедшего еще из периода сотворения мира клочка земли. А какая охота! Здесь изюбры, здесь тигр и более кровожадный, чем он, барс; здесь не торопится бросать свое лакомство — голубицу при виде человека черный медведь; стада серн, антилоп и горных козлов. Здесь первобытно все: трава в рост всадника и первобытный лес. Здесь фазаны, лебеди, гуси, утки, речная и болотная дичь. Здесь произрастает лучший и драгоценный жень-шень, целебный корень, продающийся на вес золота.

Эти девственные места ждут еще своих охотников, своих Эмаров и Куперов! Охотники, мы должны прибавить, забегая вперед, должны быть в обществе не меньшем, чем двадцать человек, потому что разбойники хунхузы, как оказалось, — такая же реальная величина здесь, какую некогда были индейцы в свое время в Америке. Ждут эти места и художников! Сколько найдут они своеобразного очарования во всей этой дикой, чисто фантастической азиатской красоте! Одна Сунгари чего стоит! Сунгари со своими берегами, какими только может представить фантазия, — блестящая, коварная, изменчивая, но всегда поразительно прекрасная. Это отсюда кристально прозрачным каскадом падает она туда, вниз, в это беспредельное море желтого, золотого леса, в голубом небе.

Корейцы уложились и уезжают. Мы прощаемся.

Я даю им обещанную премию, плачу за простой, и корейцы быстро собираются в обратный путь.

— Итак, — говорю я на прощанье, — мы с драконом теперь друзья?

— О, да, да, — радостно кивают головами корейцы, — вон какая погода.

Тихо, и в безоблачной синеве угрюмо, неподвижно нахохлился спокойный теперь Пектусан. С невольным уважением я смотрю на него: страшного врага уважаешь.

— Он, верно, — говорю я, — покатался сам сегодня на лодке, и ему понравилось...

Корейцы смеются.

— А вы сами на нас никакой претензии не имеете? Может быть, вас в деревне кто-нибудь обидел?

— Никто не обидел.

— Спросить: довольны ли переводчиком? — спрашивает П. Н.

— Спросите.

— Довольны, всем очень довольны.

— Спросите: может, я с них взятку взял?

— Не брал, не брал.

Каждый кореец подходит ко мне, складывает обе руки и посылает ими приветствие мне. Я говорю:

— Азунчано! благодарю!

Они делают последнюю попытку уговорить меня ехать назад. Я смеюсь, машу рукой и говорю:

— Пусть только едут, не останавливаясь, — груза нет, лошади вытерпят; на рысях к утру, пока проснутся хунхузы, они уже будут дома.

— Е, е, — кивают корейцы в знак согласия.

Один за другим на своих маленьких лошадках они скрываются в лесу. Последние лучи — и опять горит Пектусан.

Где-то там теперь моя бедная лошадь?

Впрочем, я не очень жалею о ней: слепая, она свалила бы меня где-нибудь с кручи.

4 октября

Вчера мы выступили по дороге, по которой не проходил, кажется, еще никто из европейцев, к истокам Ялу, на запад, к деревне Шадарен, что значит — западная деревня, которая отстоит от Пектусана на сто восемьдесят ли, или шестьдесят верст.

Прошли мы вчера мало — сорок ли, и ночевали в китайском охотничьем балагане, в котором печь и борова занимали половину пола; это же были и нары.

В балагане следы охотников: истоптанные китайские башмаки, клинок ножа. Это жильё хунхузов, и теперь мы в коренной их стороне.

Сегодня утром видно, с какой кручи мы спустились в эту яму. В два часа ночи я уже окликнул часового и велел будить, а в четыре, еще в полной темноте, мы уже поднимались на утомительный, высокий и крутой перевал Тандынвоно. Зато с него весь запад и часть северной стороны Пектусана, как на ладони.

Самый кратер Пектусана закрыт гигантским острым осколком скалы. Он угрюмо выделяется в небе. На одной иззубрине фигура женщины. Она сидит, слегка наклонившись, и смотрит в озеро. Сафо или Лорелея. В ее позе, в ней красота, страданье, нежность и полный контраст с угрюмыми скалами; она вечно здесь, в своем одиночестве, она смотрит в страшное, зеленое, как глаза Лорелеи, озеро, она вечно одна в этом безоблачном голубом просторе неба, на золотом фоне лиственничного леса. И, прежде чем отдаться делу, я стою и смотрю и, кажется мне, простоял бы так вечно, охваченный тем же чувством,

каким охвачена та, склонившаяся. Каким чувством? Что так смотрит она, что видит? Какую-то тайну, разгадка которой так и приковала ее навеки к этому месту. Может быть, это наказание за эту подсмотренную тайну... Пройдут века, и кто-нибудь снимет проклятье, и, встав, она принесет миру эту великую тайну...

Ни одно извятие не захватывало меня так, не будило всего лучшего, что только есть во мне, всех лучших грез, всех сил моей ушедшей молодости.

Я опять был молод, я стоял с бесконечной жаждой лучшей жизни, с тоской в груди о ней, с живой болью сознания, что придет время, и жизнь людей иная будет, такая же чудная, безоблачная, как и это ароматное утро ясной осени.

И потом, занимаясь своей технической работой, каждый раз, как взгляд мой падал в эту даль, где темная глыба скал, а на ней этот образ красоты и загадки, я забывал свое дело и, охваченный новым порывом, смотрел туда, точно увидел вдруг в изображении искусного резца все, что только чувствовала лучшего моя душа в жизни...

Это мощное, как природа, олицетворение возрожденной веры во все лучшее человеческой души.

О, как жалею я, что не имею дара скульптора, художника кисти. Какое богатство здесь видов, тонов, типов, жизни. Все так ново, ни на что не похоже, и здесь, в этом первобытном месте человечества, так сильно чувствуется вся бездна, вся глубина, вся даль пройденного человечеством и вместе с тем все та же связь естества этого самого первобытного с самым усовершенствованным наших дней.

Но к делу. Воображаю, с каким раздражением и нетерпением какой-нибудь терпеливый географ будет читать мой дневник, в массе хлама выуживая нужные для него новые сведения.

Извиняюсь заранее перед ним и спешу сделать следующий доклад относительно истоков притока реки Сунгари. Ориби-мори называется этот уголок, что значит— пять истоков. Пять истоков, осмотренных нами, и составляют приток реки Сунгари. Из них два вытекают из Пектусана двумя большими, чистыми, как слеза, быстрыми и неумолкаемыми каскадами.

Два других текут из подножья маленькими ключиками, увеличиваясь незаметно по дороге, без всяких видимых притоков, сходясь здесь на одиннадцатой версте все пять вместе в один уже

порядочный, очень быстрый горный поток, шириной и глубиной до сажени. Пятый исток берет начало уже из Ченьбошана.

Интересующихся более точным положением этих истоков отсылаю к специально составленной карте всех пройденных мною мест...

Что-то совершенно особенное представляет вся эта местность притоков Сунгари. С перевала Тандынвано мы спускаемся по северному склону Ченьбошана в Маньчжурию. Лиственница и высокие могучие ели, опушенные зеленовато-желтыми прядями, тянутся перед нами.

Высота деревьев 20–25 саженей, толщина в несколько обхватов. Множество прекрасного, совершенно сохранившегося от пожаров леса. Попадаются поляны, покрытые первобытной, в рост человека, травой... Иногда ели раздвинутся, и увидишь вокруг сказочный уютный уголок. Вот там, между тесно надвинувшихся друг на друга гор — мирная полянка. Темные ели с серебряными стволами чередуются там с полянами теперь желтой травы.

Вот посередине целая клумба этих елей, собравшихся в тесный кружок, а там, на поляне, они в одиночку и опять собрались в уютном уголке, у звонкого ручья.

Это целебный ключ горячей воды, и корейцы прежде ездили туда купаться, лечась от ревматизма, но теперь хунхузы стали так несносны, что никто больше не ездит туда. На выступе скалы показалась вдруг красивая козуля.

В том балагане, где мы ночевали, я нашел рога такой козули, и, чтоб не быть хунхузом, я оставил за них мексиканский доллар.

За одним из поворотов, где лес расходится и открываются первобытные прерии трав, мы увидели вдруг, у подножия горы, приютившуюся китайскую фанзу. У ворот фанзы стояло несколько китайцев.

Хунхузы?!

Так как тропка наша ведет прямо к ним, то через четверть часа мы к ним и подъезжаем.

Нас четверо: Н. Е., П. Н., старик-проводник и я. С Н. Е. охотничье ружье; все остальное в обозе, который ушел вперед.

Всматриваемся, это наш переводчик В. В. с тремя китайцами. Он отстал от обоза, чтоб купить у них картофель, который они здесь сеют.

Но каково было мое изумление, когда в трех китайцах я узнал тех двух, с которых несколько дней тому назад я снимал фотографию и подарил им несколько штук печений.

— Вы же хотели назад в Тяпнэ идти? — приветствовали нас китайцы.

— Раздумали, — ответил я.

Оказалось, что и фанза, где мы ночевали, их. Я сказал им, что взял рога и что оставил за них мексиканский доллар.

Старик рассмеялся и весело замахал руками.

— Они ничего не стоят.

Он вынес мне еще рога, а сын его, радостный и довольный, принес мне пару рябчиков.

Я хотел чем-нибудь отблагодарить его, но деньги были в обозе. Думал, думал, и отдал ему последнее смертоносное оружие, которое носил при себе — кинжал с поясом. Прекрасный кинжал из английской стали.

Восторгу молодого предела не было. Он смеялся, прижимал кинжал к сердцу, к лицу и, сжимая в руках, тряс его в воздухе.

— Очень, очень благодарен, — переводил В. В., — это для него, как для охотника, самый дорогой подарок.

— Вот что. Скажите им, что у нас пропала хорошая лошадь на Пектусане, пусть найдут и возьмут ее себе.

В. В. еще остался, а мы уехали, и долго-долго еще вдогонку нам смотрели хозяева фанзы. Когда В. В. с купленной картошкой догнал нас, он сообщил, что до 40 хунхузов выслеживают нас с того времени, как мы выступили из Мусана. Теперь они уехали по направлению к Тяпнэ, думая, что мы возвратимся туда.

Все это сообщил старый китаец в последний момент разлуки с В. В. Сообщил нехотя, против воли, как будто, может быть, подкупленный нашей лаской. Я совершенно не верю всем этим запугиваньям, но во всяком случае тем лучше, если хунхузы, сбившись с нашего следа, ушли в другую сторону.

Так как сегодня мы выступили очень рано, то около двенадцати часов остановились покормить лошадей кстати и самим поесть. Мы остановились в долинке, покрытой сплошь травой в человеческий рост. Трава сухая, и, разводя костер, чуть было не наделали пожара.

Загорелась трава, вспыхнула, как порох, и едва дружными усилиями потушили ее.

К концу завтрака подошли двое из тех китайцев, с которыми мы только что разговаривали: молодой и новый, тоже старик, но не отец.

Подошли и сели. Молодой смотрит радостно, воодушевленно.

Бибик ворчит:

— Усех тех бродяг стрелять надо, як собак. Чего вони шляются за нами?

— В. В., зачем они пришли?

— Его идет Шанданьон ^[9], чумиза купить.

Значит, с нами; что-то странно.

— Его говорит, что там теперь хунхуз нет, хунхуз позади. Его говорит, дорогу знает больно хорошо.

Так как старик наш Дишандари иногда сбивается, то я и не протестовал против их сообщества. Да к тому же и чисто детская привязанность и радость дикаря, его взгляд на меня, полный радости и удовольствия, слишком ясно говорили о чистоте его намерений. Позавтракав, мы тронулись дальше, не выходя из леса: лиственница, ель, кедр. Все тот же прекрасный, изумительный, строевой лес, какого я никогда не видал, хотя видел много первобытных лесов: на Урале, в Сибири, на севере России и на Кавказе. Никогда не думал, чтоб первобытный лес мог быть таким великолепным.

Однажды мы было сбились, и, если б не сопровождавшие нас китайцы, вместо Шадарена, или Шанданьона, не знаю куда и попали бы.

Когда опять мы подошли к раздорожью, не доходя верст тридцати до Шанданьона, китайцы стали энергично настаивать на том, чтоб идти дорогой направо. И дорога лучше, и попадаются китайские фанзы...

Дишандари отвечал на это, что той дороги он не знает, а всегда и он и все корейцы ходят левой дорогой.

В конце концов китайцы так усердно расхваливали свой путь и ругали корейский, что я решил идти по их дороге.

Тем более что Дишандари и сам признавал, что его дорога для проезда на лошадях очень плоха.

— Ну, в таком случае едем...

И мы повернули на дорогу вправо. В четверти версты от поворота и наткнулись на китайскую фанзу.

— Здесь через каждые пять верст такая фанза, — сообщил молодой китаец.

Из фанзы выпянул владелец ее, такой урод, какого редко приходится встречать. Типичный орангутанг.

Что-то было и отвратительное и комичное в его старом бабьем, голом от растительности лице, в его изжитом, циничном, насмешливом взгляде, редких зубах, во всей его грязной донельзя фигуре. Что-то донельзя отталкивающее. Но я всегда боюсь за свои первые впечатления, не в пользу человека. Откровенно признаться, я всегда плушу их в себе. И на этот раз я поступил так же.

«Бедный охотник несомненно художник, иначе что заставило бы его всю жизнь жить в этой глухой трущобе. Трущоба для меня, но для него что-то такое родное, без чего он, очевидно, и жить не может: ночью эта тайга шумит, как море, утром тихо и торжественно. Алмазное утро осени. Треснет ветка где-нибудь, и эхо отдается в лесу. Дятел стучит, рябчик шумно пронесется, хлопнет западня с попавшейся белкой, а то заревет злобно и дико и сам господин здешних мест, попавшийся в капкан тигр...» — так думал я и в конце концов уговорил себя и в этой фигурке уroda видел уже только просто физически обиженного богом человека, желающего на лоне природы забыть и свое уродство и людей — все, кроме природы. Забыть и не видеть никогда.

— Он женат?

— Нет. Вот он тоже говорит, что здесь лучшая дорога.

Я посмотрел на урода, и тот пренебрежительно кивнул мне головой. Потом он что-то сказал, махнул рукой и улыбнулся отвратительной улыбкой.

Мы поехали дальше, и в моей голове все сидел этот оригинальный старик урод.

— В. В., как вы думаете: хороший это человек и все эти, что идут с нами?

— Моя не знает, моя думает, что хорошо. Фанза есть, картошка сеет, редьку сеет. Хунхуза нет, сказал, у него тоже хунхуз была три дня назад и все забирал.

Дишандари идет мрачнее ночи.

— Он говорит, что нам устраивают западню, — шепчет П. Н., — надо было идти левой дорогой.

Не верю я этой западне — фантазия робкого корейца она, но, с другой стороны, как ответственный за безопасность всех находящихся со мной я предложил для предосторожности ружья взять в руки.

И солдаты неохотно взяли ружья, а Н. Е., все время не расстававшийся до сих пор со своим винчестером, сегодня как нарочно, передал его В. В.

В. В; в чехле везет его за плечами.

— Ну, надо будет — возьму, — говорит Н. Е.

— Но в тот момент, когда вы определите ваше «надо», — будет уже поздно. Представьте себе, раздастся залп, В. В. со страху бросается в лес...

— Да ведь ничего же этого не будет.

Н. Е. говорит ленивым тоном человека, которому за меня неловко.

— Наконец, я, право же, не могу: и ружье вези, и отмечай направление, и ситуацию местности...

Я обижен и молчу.

— Я возьму ружье, но тогда освободите меня от работы.

— Освобождаю: давайте компас, шагомер...

Н. Е. молча передает мне шагомер, компас, берет у В. В. свое ружье и, обиженный, отъезжает. Я тоже обижен.

«Ну что ж, — думаю я, — к барометрической нивелировке и астрономическим работам пусть и эта прибавится...»

И вот я еду вперед и веду карту. Меня смущает, что вместо запада, мы все идем на север.

Пройдя около двух верст, я, наконец, говорю, что эта дорога куда угодно, но не в Шадарен.

— Дишандари, покажите рукой, где Шадарен?

Дишандари показывает теперь на юго-запад.

— Опросите китайцев: так?

— Так.

— Почему же они ведут нас так?

— А потому, что все вони, разбойники, чего-нибудь уделывать зачнут с нами, — отвечает Бибик.

— Дишандари говорит, что он за эту дорогу не ручается, — шепчет П. Н.

Сумерки быстро надвигаются, начинается дождь как из ведра, палаток у нас нет.

— Поворачивай назад, в фанзу.

У корейца лицо радостное, а китайцы в отчаянии протестуют.

— Через пять ли впереди большая хорошая фанза.

Я почему-то не говорю о принятом решении завтра идти по корейской дороге.

— Завтра и пойдем в ту фанзу, а сегодня назад.

Китайцы еще говорят, но я уже не слушаю.

Старик китаец что-то говорит и уходит от нас, а молодой возвращается с нами.

Уже темно, когда мы снова подходим к фанзе отшельника уroda.

Молодой китаец уходит спрашивать разрешения и затем снова возвращается, говорит «можно» и отворяет ворота.

— Заезжай.

Первый заезжает Бибик и сворачивает воротный столб.

— Вишь, черти, чего понастроили, — ворчит он, — тоже ворота называются.

Внутреннее устройство фанзы соответствует своему хозяину своим подозрительным и таинственным видом. Низкая, не выше аршина печь, занимая половину помещения, уходит вглубь; ив ней горит огонь, неровно освещая темные стены. Над огнем вмазан громадный котел, наполненный водой. Из воды идет пар. Перед печью, не обращая на нас внимания, сидит на корточках хозяин, — Огонь как-то странно играет на его лице, ив плохо освещенной остальной фанзе движутся тени огня.

Фанза задымленная, черная, на полках и на крючьях лежат и висят беличьи кожи, ножи, род пистолета, китайские стоптанные башмаки, всякий никуда не годный хлам, кости. Один нож весь в запекшейся крови, и его ярко освещает пламя.

— Вот самый разбойничий притон, какой только бывает в сказках, — говорит Беседин.

Лицо хозяина, ярко освещенное огнем, заслуживает хорошей кисти. Точно выступают из него какие-то скрытые, неведомые нам мысли, он смотрит в огонь, и презрительная, злорадная гримаса губ делает его похожим на дьявола.

П. Н., со слов Дишандари, рассказывает историю этого хозяина.

Он — бывший капитан хунхузов. Все эти фанзы не что иное, как притоны хунхузские: все хозяева их жалуются, что хунхузы их обижают, но продолжают жить, и на всякий случай человек на двадцать варить в случае неожиданных гостей чумизу, суп из белок, лапшу. Хозяин скупает у хунхузов добычу — награбленное, кожи убитых зверей, жень-шень и потом перепродает их: Не смотрите, что он нищий: у него есть и золото и серебро, но он скуп, как кашей. У него есть земля, которую обрабатывают ему исполу корейцы. Корейцы эти, как огня, боятся его; он владыка их жизни; его встречают с раболепными поклонами, он берет все, что ему понравится, не исключая и женщин. Это зародыш тех вассалов-баронов, имена которых так прославлены теперь их предками. Этот предком не будет, и ход событий, как осенний мороз побивает несвоевременные цветы, уничтожит и в этом уголке эти запоздавшие, уже отцветшие на общечеловеческой ниве цветы.

Как бы то ни было, но почтенный барон со всей своей сказочно-разбойничьей обстановкой навел на нас некоторый благодетельный страх.

Даже Н. Е. заявил, что здесь не следует спать, хотя, сказав это, лег и моментально заснул.

Но остальные не легли, и я с нашими солдатами отправился осматривать фанзу и ее двор.

Как и следует феодальному барону, логовище его представляло крепость, вполне защищенную от пуль хунхузов. Маленький двор и само здание были обнесены высоким вершка в три частоколом, вершина которого саженьях на двух была заострена.

Вся крепость имела вид круга и помещалась на расчищенной от леса полянке, саженьей пятьдесят в окружности. Таким образом обезопасенные и от ружейной стрельбы, мы, при надлежащем карауле, могли быть наготове, если бы хунхузы решились брать нас приступом.

Четыре часовых гарантировали безопасность: три солдата и кореец. Остальные все — я, Н. Е., И. А., два переводчика (китайский и корейский) и работник кореец Сапаги, он же и рассказчик, сидели в фанзе. Вернее — то спали, то просыпались.

Что до китайцев — хозяина и молодого — эти ни на мгновение не уснули и все время были настороже.

Я дежурил до двенадцати часов, затем разбудил И. А. и заснул.

Проснувшись как-то, я увидел сидящего возле себя молодого китайца. Он смотрел на моего Маузера (карабин), и глаза его загадочно горели. Я подумал, что в случае опасности он скорее бы его схватил, чем я... Я ближе придвинул к себе карабин и опять уснул.

Я опять проснулся, хозяин урод протянул руку к единственной лампочке, висевшей на стене, и, сняв ее, стал подливать в нее масла.

Я залюбовался этой и адской и вместе с тем первобытной физиономией человека-зверя-дерева, который не утратил еще наслаждения от такого изобретения, как лампа, и сознания, что эта лампа у него в руках. Но вместе с тем у меня мелькнула мысль, что радость его происходит от сознания, что, случись нападение и потуши они эту лампу, мы останемся впотьмах. Поэтому, как ни берегли мы свечи, я зажег одну и поставил ее сзади дежурного.

Н. Е. проснулся и сонно бросил:

— Да никакого нападения не будет.

— Не будет, — согласился я.

— А не будет, так зачем же мы мучим себя? — обиженно бросил Н. Е.

— Если б мы с вами были одни, то и спали бы... Можно одну ночь и не поспать, завтра будем в деревне, в безопасности — отоспимся...

В пять часов начало как будто светать. Так как у лошадей не было овса, а всю ночь мы держали их в крепости, то теперь, под караулом четырех человек, стоявших внутри крепости, выпустили их на поляну пощипать мерзлой и чахлой травы.

В семь часов мы выступили, поев чумизы и двух рябчиков. И китайцы ели: они сварили себе суп из белок и чумизы.

Десять таких, как я, не съели бы и половины того, что съел каждый из них.

Солдаты мастера есть. Н. Е. молодец, но и тот заметил:

— Как они не лопнут? И ведь худые, как обглоданная кость.

— Они наедаются на три дня и потом могут сделать переход в триста ли, — объяснил нам Дишандари, — это нехорошо, что они так едят.

Когда наступил момент расчета, то, позвав В. В., мы спросили хозяина, что он хочет с нас за чумизу и ночлег.

— Что дадут.

Мы дали за чумизу и за ночлег два доллара.

Для корейца это очень высокая цена, и корейцы очень долго отказываются от нее, но барон, взяв два доллара, перебросив их с руки на руку с выражением такого презрения, которому позавидовал бы сам Мефистофель, сказал:

— Это только? За бессонную ночь и свороченный столб?

— Сколько он хочет?

Но он отвернулся и презрительно молчал.

— Еще доллар довольно?

— Это будет больше, чем прежде.

Мы дали ему еще доллар.

На этот раз он не мог отказать себе в удовольствии полюбоваться деньгами и послушать их звон, пока мы собирались.

Он сидел на корточках. Скупой рыцарь во всем своем отвратительном великолепии. Но он в то же время был так типичен, что я не мог не любоваться им и, поборя отвращение, предложил снять с него фотографию.

— Пусть снимает, — презрительно бросил он.

Я поставил его перед его фанзой и снял его. Он стоял с трубкой и равнодушно, с скрытым злорадством следил за мной. Он как бы говорил:

«Снимайте, выдумывайте все ваши инструменты, но я тоже что-то такое знаю, от чего все ваши выдумки и знания исчезнут, как дым... Да, да... выдумывайте, пока есть время».

И если б он был один, он, вероятно, хохотал бы так, что проходивший где-нибудь бедный кореец, дрожа, убежал бы далеко в лес. С каким выражением смотрел он на меня, когда я осматривал его пистонный пистолет с громадным дулом!

Молодой китаец завел меня в сарай и показал на что-то громадное. Это была ручная пушка: ружье очень длинное с дулом в кулак, Пять человек несут и стреляют из нее.

— Для кого же это?

— Для незваных гостей...

— А если эти гости возьмут с собой приготовленный для них подарок?

Лицо старика стало серьезно, тревожно, и с подобострастной улыбкой он ответил, что говорит о тиграх.

Я бы еще несколько часов наблюдал этот, давно ушедший в историю тип, но надо было ехать.

Мы едем по корейской дороге, налево.

Поражение обоих китайцев — хозяина и молодого — было нескрываемое.

— Скажите китайцу, чтоб шел с нами.

Он что-то сказал хозяину фанзы и после попыток удержать нас покорно пошел за нами.

— Что он сказал хозяину?

— Сказал, чтоб передал его товарищу, что он идет этой дорогой.

— Почему товарищ его не остался с нами?

— Он ушел узнать, нет ли худых людей на дороге, и если бы были, он пришел бы.

Это и вчера говорили нам китайцы, но я, с одной стороны, и верил ему, потому что он смотрел на меня глазами преданной собаки, гладил меня рукой, и в то же время не верил.

— Не поверил мне начальник, — грустно, укоризненно сказал он, когда мы пошли.

— Поверил, но эта дорога ближе к реке, а мне надо ее осматривать.

Дорога действительно была отвратительна: валежник, бурелом, болото. Все хорошее было теперь назад — Пектусан с скрытым волшебным озером, пейзажи гор и уютных уголков, нарядные леса, сказочная красота притоков Сунгари. То течет она среди громадных скал и звонким водопадом шумно летит вниз, то спрячется в высокой траве, оставляя щель не более двух аршин. Но заглянешь в эту щель, и волосы дыбом встанут: под этой щелью страшное из черной скалы с голубоватым просветом подземелье, глубиною до ста футов, такой же ширины. Свет едва проникает и тускло освещает и темные своды и пенящуюся там, где-то внизу, грохочущую воду. В одном месте река уходит под темный, точно руками человеческими сделанный свод. Здесь в диких первобытных местах я смотрел на эти спрятанные красоты, поражавшие тем сильнее своей девственной первобытностью, и чувствовал себя снова в обстановке детства, сказок Эмара, которым верила когда-то фантазия. Вероятно, тогда, слушая

сказки, так и рисовалось все это в фантазии, потому что было что-то как будто очень знакомое, почти родное, и в то же время обаятельно новое, невиданное и неподозреваемое.

И все это было уже назади.

— Повернитесь и в последний раз попрощайтесь с Пектусаном.

Дишандари говорит это, и П. Н. переводит.

Я и все мы повернулись и замерли.

Белый, уже весь в снегу вырос перед нами еще раз, и в последний, громадный, величественный, весь на виду Пектусан.

Засыпаны были белоснежным покровом все выступы скал и над озером каменный медведь и прекрасное склоненное изваяние.

Все торжественно и тихо, все сверкает алмазами снега. И так торжественно звучит голос Дишандари:

— Сегодня мы уже не прошли бы ни на Пектусан, ни сюда — все проходы, перевалы занесены снегом, и дороги нет ни вперед, ни назад... Вот чего и боялся я, но у начальника большое счастье. Это вчерашний дождь там снегом упал.

Да... счастье и большое: угадать так из Петербурга день в день...

Мы спускаемся ближе и ближе к реке. Родное чернолесье. Запах осины, сырость, запах гниющего уже листа и шелест его. Ясная, но уже глубокая осень, щемящая грусть и пустота этого леса. Нет жизни, нет зверя и птицы, все умирает или засыпает долгим сном зимы.

Дорога все хуже и хуже, и В. В. страстно, горячо, но непонятно переводит слова китайца о том, как хороша была та дорога, по которой он повел бы.

Еще ближе к реке, и опять прекрасный лес лучше: много ясеня, в обхват до двух сажень, прекрасная пихта, редкая, но прекрасная лиственница. Иногда гривами лиственница одна, прекрасная, стройная. А какой кедр!

Здесь уже можно сплавать по реке этот лес громадной стоимости. В сумерки мы подошли к цели нашего путешествия — деревне Шанданьон, населенной почти исключительно корейцами.

С каким чувством удовлетворения увидели мы опять мирные картины вечера в деревне, ометы хлеба, кукурузы, жилые, услышали рев скота.

Жители никогда не видали здесь европейца.

С каким радушием и гостеприимством нас приняли: вот лучшая фанза; есть курица, картофель, чумиза, редька.

Вся деревня, фанз тридцать, разбросана версты на две в узкой долине. Пять-шесть китайских фанз — хозяева той земли, на которой живут корейцы. Корейцы платят им половинный урожай.

— Хунхузы есть?

— Хунхузы ушли на Пектусан, нет хунхузов.

— Обижают хунхузы?

— О!

Это безнадежный, покорный вопль. Хунхузы — хозяева, приходят и требуют всего: птицу, чумизу, теленка, быка, женщин, и всё дают, чтобы сохранить презренную жизнь.

Какое наслаждение быть опять в тепле, раздеться, вытянуться в кровати, переменить белье!

— Так что безопасно от хунхузов?

— Теперь вполне.

— Ну, так сегодня караул корейский: Таани и Сапаги, все остальные ешьте и спать.

И мы уснули, как, кажется, никогда еще не спали.

5 октября

Страшный грохот и треск заставил меня открыть глаза. Ночь темная, что-то сыплется сверху: глиняная штукатурка. Залпы выстрелов?! частые, громкие, новый и новый треск, какой-то злобный, жужжащий, ищущий в кого впиться свист. И опять залпы: то трескучие, то плухие — бум... бум...

Хунхузы?! Где ружье?! Где хунхузы?! В фанзе уже, перерезали всех, и только я почему-то еще жив? Стреляют в бумажные двери, стоя перед нами? Ночь, хоть глаз выколи. Зажечь свечку? Откроешь им все... Откроют и так... Так вот как это все кончается... Что ж, как-нибудь да должно же когда-нибудь кончиться... Поздно, поздно... Теперь одно мужество смерти...

Тихий голос Н. Е.:

— Вы живы?

— Я ищу свое ружье, нашел... Не зажигайте свечку... Ружье, кинжал с вами?

— Со мной.

Какой-то шорох.

— Кто это?

— Я, П. Н.

— Где солдаты?

— Здесь.

— Все?

— Беседина нет.

Н. Е. поймал кого-то за длинные волосы.

— Кто?

Молчание.

— Молчит и только гладит меня по колену, — говорит Н. Е. —

Что-то говорит.

Это Дишандари, оказывается; он говорит, что хозяин фанзы уже убит.

— Где корейцы?

— Убежали в лес.

— Подползайте к двери и сядьте по стенам, — говорю я.

Я сажусь с левой стороны двери, с правой Н. Е.

Прорвали дырку в бумаге и смотрим.

Залпы не прекращаются, но, очевидно, стреляют сзади, и мы защищены от выстрелов капитальной стеной. Только там, вверху, в соломенной крыше без потолка, по временам какой-то блеск, и точно сыплется что-то оттуда.

— Сколько ж их стреляет?

— Ох, много, — говорит удрученно П. Н., — человек двести.

— Сорок, — поправляет Дишандари, — это та партия, которая уходила к Тяпнэ: у них две пушки, — вот это светлое там в крыше мелькает, — это ядра.

— Который час?

На мгновение я зажег спичку: половина пятого.

— Скоро рассвет. Только бы дня дожждаться, чтоб увидеть что-нибудь. Стреляют все сзади. Что с лошадьми?

Заглядываю на мгновение в дверь: при свете костра видны лошади, — они стоят совершенно равнодушные ко всей этой трескотне. Начиненные бомбы из ружья-пушки иногда разрываются и огненными искрами тухнут во мраке.

— Сперва с этой стороны стреляли, а потом перешли назад...

— Отсюда не стреляли; это бомбы перелетали и разрывались, и казалось, что отсюда стреляют. Они в лесу засели и оттуда палят.

Ночь, не видно ничего, а с вечера на все окружающее здесь не обратили внимания. Но не далек и рассвет. Ах, дожждаться бы свету. Плохо, если зайдут с этой стороны и начнут стрелять в бумажные двери. Они, очевидно, ошибочно предположили, что мы заняли ту сторону фанзы, иначе кто им мешал зайти с этой стороны — лес там и здесь.

Мне холодно, я замечаю, что я не одет. Кто-то подает мне меховую рубаху.

Шорох в соседней комнате.

— Кто там?

— Беседин.

— Откуда вы?

— Сапаги взял мое ружье, бегал искать его: пропало... думал, это вы уже там в лесу завязали перестрелку...

— Тише... голоса...

Близко против нас разговор: несколько голосов.

— Что они говорят?

— Говорят, что тихо; убиты все или убежали.

— Без команды, пока не увидите людей, не стрелять.

Голоса уже перед нами.

— Что еще говорят они?

— Та, — это значит: стреляй, говорят.

Я быстро растворяю дверь: залп!

— Пробежал, пробежал! другой на четвереньках... вот, вот...

Н. Е. выбегает и заглядывает за угол — никого.

— Ну, теперь знают, что мы живы, и сюда не полезут, а выстрелов их, очевидно, не хватает, чтобы прострелить заднюю стену и ранить нас.

— Почему так светло?

— Кажется, фанза горит.

Н. Е. опять выскакивает и возвращается.

— Горит фанза сзади, но ветер в противную сторону, — все-таки горит хорошо... Хотят при свете горящей фанзы, сидя в лесу, как крупаток, нас расстрелять, когда мы выскочим.

И залпы прекратились, — ждут нашего появления. Негодяи ничем не хотят рисковать, Но хоть бы увидеть их и дороже продать свою жизнь. Какая-то злоба закипает, и картины прошлого ярко встают в голове. Ах, скорее бы свет.

Светает! Перед нами овражек; ясно, что надо перебежать туда и залечь.

— Готовы все?

— Готовы.

— Дайте папиросы, часы, портсигар.

Я надеваю сапоги, засунул в них часы, портсигар, спички и три пачки патронов.

Я вперед, и все за мной, пригнувшись, быстро перебегаем в овраг. Залп, но мы все целы... Мы сейчас же отвечаем залпом: теперь видно, куда стрелять, — фитильные огоньки, огоньки их выстрелов обнаруживают цель.

Очень скоро, впрочем, после наших залпов выстрелы из лесу прекратились. Было уже настолько светло, что можно было разглядеть местность.

Вскоре пришли В. В., китаец и Таани. Они все сидели в какой-то яме. Под моим и Н. Е. прикрытием стали переводить лошадей в овраг.

— Две лошади убиты наповал, две ранены...

Беленькая лошадка, проводник слепого, убита пулей в лоб. Слепой жив, идет и, по обыкновению, тяжело стонет.

Когда лошади были переведены, принялись спасать вещи. Время было, — пламя уже охватило крышу.

И вещи перенесены. Светло. Фанза догорает. Хозяин ранен двумя пулями: одна в ногу, другая в пах.

У В. В. прострелена шуба. В. В. совершенный молодец: спокоен, как будто все делается так, как и должно— все предопределено за много миллионов лет.

— Моя думал, больше домой не будет.

Он и китаец проводник водят лошадей, носят вещи.

— Ружье нашел, — кричит радостно Беседин.

Немного дальше от ружья полушубок Сапаги и тут же китайская материя. Сапаги следовательно бежал от них, они догнали его и увели. Почему он бежал не к нам в фанзу, а мимо? Было приказано раньше всем собраться ко мне. Почему не стрелял? Почему не кричал?

Очевидно, тогда еще не стреляли? Стрелять начали, когда схватили Сапаги.

Думали, что от залпов мы выскочим, и тогда, при свете костра и горящей фанзы, они перестреляют нас.

Бедный хозяин поплатился за гостеприимство.

— Скажите ему, что он получит за все убытки.

— Он говорит, что исполнил свой долг гостеприимства, денег не надо, лишь бы жить: он просит полечить его.

Полечить? У нас была маленькая аптечка — хина, иноземцевы капли, несколько мудреных названий, карболка, бинты.

— Пули надо вынуть...

— Мы не доктора...

Солдаты качают головами.

— Умрет: попало в пах...

Животный эгоизм: я думаю, какое счастье, что из наших никто не ранен, какое счастье, что еще восемь лошадей есть.

Прибежали корейцы из леса.

— Большое, большое счастье, всем нациям счастье, только корейское счастье пропало, нет у корейцев счастья.

Дишандари говорит:

— Вчера у меня была лошадь, сегодня она уже мертвая лежит. Вчера наш хозяин был живой, здоровый и самый богатый человек в деревне; сегодня он умирает, все добро его сгорело, и семья его самая нищая из всех.

Сколько естественного благородства, простоты в этом умирающем. Строгое, черной бородой окаймленное честное лицо, большие глаза. Умирающий вдруг тихо заплакал. О чем он плакал?

О прожитой жизни, о потерянном богатстве, о тщете всего земного?

Никто не знает, тихо и торжественно было кругом.

Жена прильнула к его ногам и тоже плакала слезами истинного горя без криков и воплей.

Молодой сын двенадцати лет, принявший нас вчера в отсутствие отца, посчитавший сперва нас за хунхузов, стоял теперь такой же бледный и трепещущий, как и вчера стоял перед нами.

— Позовите его.

Он подошел ко мне и напряженно вслушивался.

— Пусть скажет фамилию отца и свое имя. Мы сообщим обо всем китайским властям, сюда придут войска. Ему с матерью пришлем триста долларов. Пусть уйдут назад, в Корею. Там вырастет он, найдет хорошую жену и будет счастлив.

— Он тонн? ^[10]— быстро показал мальчик на меня, — отец будет жить?

— Оконшанте не сказал еще свою волю. Пусть спрячет эти деньги — это золото; оно пригодится ему с его матерью, пока другие придут.

— Говорит, не надо деньги. Хунхузы узнают, опять придут.

— Никто не видит, пусть он спрячет.

Громкие крики несутся по деревне. Это более храбрые, возвратившись, вызывают из леса своих робких родственников.

Иногда громко, настойчиво кто-нибудь кричит одно и то же имя. И вдруг где-нибудь близко, в кустах, раздается ответ. Очевидно, спрятавшийся все время слышал. И теперь отвечает, но не идет. Начинаются целые переговоры, пока, наконец, покажется еще один белый лебедь из лесу.

Постепенно около нас собирается толпа. Они опять спокойны, удовлетворены, ласковы. Они узнали, что хунхузы опять уйдут за нами и оставят их в покое.

Хунхузы идут на соединение с другой партией, которая действует на Ялу, чтоб совместно уничтожить нас. Они определяют эту партию в 40 человек, но им помогают временные, все эти бароны, которым корейцы отдают половину своих доходов, своих женщин. Пушки у них от баронов.

Я уже убедился горьким опытом, что кореец никогда не лжет и, сообщая нам, не гнет никакой линии.

Не страшны в открытом бою и сто китайцев, — это гнусные и в то же время робкие гиены, — но страшны они ночью, когда кругом глухой лес, страшны в засаде в этих лесах.

Оказывается, что с того времени, как мы вышли из Тяпнэ, они ловят нас, но все время так выходило, что они получали неверные сведения. Единственный раз, когда им удалось догнать и перегнать нас, это когда мы ночевали у скупого рыцаря. Там они не решились напасть и предпочли устроить засаду, в полной уверенности, что мы пойдем по их дороге... Сведения о том, что мы свернули на

корейскую дорогу, пришли к ним настолько поздно, что они только к трем часам утра успели подойти к деревне и таким образом почти потеряли ночь. Тем не менее, потеряв терпение и надежду еще раз захватить нас врасплох, они решили воспользоваться оставшейся ночью и произвели нападение.

Огонь нашего костра, лошади и сообщники китайцы из местных баронов указали им безошибочно нашу фанзу.

К счастью нашему, дорога их идет по тому косоугору, — иначе, приди они по нашей дороге, пальба была бы в наши двери.

Вероятно, скупой рыцарь объяснил им, что по ночам мы не спим, и тем объясняется то, что они не смели сделать нападение прямо на фанзу и перерезать и перестрелять нас, пока мы еще спали.

Все это только показывает, как трусливы эти хунхузы и какая разница между ними и такими же хунхузами на Кавказе, где во время постройки Батумской железной дороги, когда я только что кончил курс, пятерых служивших на моей дистанции десятников перестреляли и перерезали местные турки. Они тоже дали несколько залпов, но затем ворвались в балаган, где были десятники, и дорезали, кто еще был жив.

Точно так же могли бы и должны были распорядиться и эти хунхузы, но очевидно, что и китайская храбрость недалеко ушла от корейской. Они хунхузы, но они ничем не хотят рисковать и добычу свою — тигров, барсов, медведей, нас, корейцев, богатых китайцев отслеживают и бьют из засады, устраивают западни...

Во всяком случае характер врага нам ясен теперь...

Опасны засады и ночи. Выгода наша в том, что теперь мы впереди: нам подниматься на ближайший косоугор, им же обходить верст десять. Мы эту ночь все-таки спали, они нет. У нас лошади и попеременно то верхом, то пешком, мы безостановочно можем двигаться по «крайней мере вдвое дальше, чем они. Не теряя времени, наскоро поев консервов, мы стали собираться в поход. Четырьмя вьюками убавилось у нас, да кроме того и все остальные лошади должны быть так облегчены, чтоб все могли сесть верхом, а Дишандари и Таани двое на одной лошади...

Пробовали было мы нанять вьючных быков, но корейцы объявили, что только силой их можем заставить.

К силе я, конечно, и не думал прибегать.

Оставалось одно: облегчить себя до последней степени.

Там, в Шанданьоне, таким образом оставили мы все наши консервы, запасы, великолепные постели, сумки, брезенты, оставили наши чемоданы, вещи. Я, как старший, показывал пример, и летели прочь полушубки, сапоги, теплые куртки, кожи, все белье, лишнее платье.

Кое-что все-таки сгорело. Из инструментов уцелели: барометр, шагомер, компас.

Что делать со всем оставляемым?

Пусть возьмут и сохранят корейцы.

— Но как мы сохраним? Придут хунхузы и отнимут.

— Тогда отдайте им.

— А в огонь, щоб проклятым не досталось? — говорит Бирик.

Я не мог решиться на это. Жечь прекрасные вещи? Нет, и вещи требуют уважения.

Это одна сторона, а вот другая.

Эти вещи задержат здесь хищников, а мы в это время далеко уйдем.

В восемь часов мы выступили, все верхом с пятью ружьями, которое каждый, сидя верхом, держал на правом колене.

Так как приходилось несколько сот сажен пройти под правым косогором, где засели хунхузы, то для безопасности я приказал дать два залпа, чтобы обстрелять и обезопасить предстоящий проход... Н. Е., к которому возвратилась вновь вся беспечность русского человека, смущенно говорил:

— К чему же? Ясно, что днем они не нападают.

Но я настоял, и мы дали сперва один залп вдоль леса, а погода второй. А затем, перейдя брод, скрылись в лесах левого берега реки. Все это открытое пространство мы прошли на рысях, — чтоб показать возможную быстроту нашего движения, — в расстоянии друг от друга на десять сажен.

Прием, практиковавшийся у нас при постройке Батумской дороги, припомнившийся мне теперь. Благодаря такой растянутой линии труднее засада, труднее перебить всех.

Но когда мы вошли в лес, то пришлось опять идти шагом — перед нами извивалась узкая тропинка, вся заваленная лесным хламом

веков. К тому же перед нами было несколько тропинок, они шли частью в близлежащие китайские фанзы, частью в корейские.

Теперь эти фанзы брошены, вокруг зданий растет высокий бурьян, а некогда разделанные поля уже зарастают лесом, и дикий зверь, дикий человек могут любоваться делом своих рук.

Дишандари запутался в этих дорожках, и если б не три корейца, встретившихся нам, из которых двое за двадцать долларов согласились вывести нас на Ялу, то хоть назад возвращайся.

При этом они обязались не отставать от лошадей.

Они шли даже быстрее, так как иначе, как шагом, ни лошади, ни люди идти не могли.

До сколько-нибудь безопасных мест нам надо было идти с лишком сто верст, имея сзади шайку атаковавших нас хунхузов и спереди такую же, идущую на соединение с первой.

В час дня мы пришли в маленькую корейскую деревушку, уже по ту сторону Ченьбошана.

Эти тоже впервые видели людей другой расы и сперва испугались, но потом очень радушно приняли нас.

Мы сварили себе пять куриц с картофелем и капустой, чумизы, лошадям дали столько овса, сколько они могли съесть, и в три часа выступили дальше.

Здесь корейцы сообщили нам, что вчера хунхузы Ялу были в сорока верстах от них, и потому сегодня на ночь они уходят в горы, так как ждут их прохода.

Перед нами были две дороги: корейская, глухая, без всякого жилья, и китайская, с баронскими фанзами по ней.

Для военного человека здесь, очевидно, и был решающий момент кампании: выступить по корейской дороге, пройти несколько верст по ней и затем, по компасу, перейти лесом на китайскую дорогу.

Таким образом жители деревни невольно обманули бы преследовавших нас, которые по китайской дороге спешили бы обогнать нас. Нам же засесть в засаду и перестрелять как идущих с Ялу, так и пектусанских.

Но так как лавры воина не мои лавры, и вся забота моя, выполнив научные задачи, — а они уже были выполнены, — сбереечь доверившихся мне людей, то я, поделившись своими мыслями, несмотря на усиленные просьбы Н. Е. и солдат, настоял на том, чтоб

безостановочно идти дальше. Но наступили сумерки, и чуть заметную тропинку проводники очень скоро потеряли.

— У меня есть огарок, — пискнул из темноты И. А.

Зажгли огарок и дорогу нашли.

С огарком в руках мы шли, пока он не догорел. Тогда корейцы зажгли березовую кору»

И вот, при прекрасных факелах, мы идем, как днем. Своими спинами корейцы закрывают свет, и сзади нашим преследователям его не видно.

Да и где теперь эти преследователи? Полил дождь как из ведра, и уверенные, что темной ночью, да еще в дождь не пройти нам там, где и днем с огнем еще никто не ходил, они спят теперь в замке какого-нибудь своего барона.

В три часа ночи мы спустились в корейско-китайскую деревню Таснухан на реке Сагибудон-Мурри, притоке Ялу, сделав девятнадцатичасовой переход, пройдя пятьдесят верст.

И лошади и люди шатались от усталости. Н. Е. как ребенок упрашивал несколько раз остановиться и ночевать.

— Ну, я упаду с седла, — капризно говорил он.

— Мы вас привяжем.

Что до меня, я не чувствовал никакой усталости, но понимал в то же время, что без отдыха нельзя.

— Ну, господа воины, какая фанза в лучшей позиции в военном отношении?

Я бы пригласил на этот военный совет компетентных людей полюбоваться, как толково обсуждали три отставных солдата этот вопрос.

Наконец была выбрана стоявшая посреди открытого поля одинокая фанза. Мы тихо пошли к ней, тихо разбудили хозяина, успокоили его, дали лошадям овса, не разводя костра, а в фанзе занавесили их сквозные двери так, чтоб свет не проникал наружу. Затем попросили двух корейцев в помощь караулу и предупредили, чтоб никто не выходил из фанзы.

Беседин, Хапов, два корейца засели в прикрытых местах. Бибик варил суп, Н. Е. спал, я писал дневник, остальные возились с лошадьми, кроме И. А., который готовил чай с последним сахаром, так как весь сахар при последнем переходе растаял.

Таким образом мы переходили совершенно на корейскую пищу.

И опять повторяю: с этого и надо было начать, а кто хочет сохранить здесь свои привычки и вкусы, пусть лучше не ездит сюда. Истратит много денег и все-таки не сохранит.

6 октября

В шесть часов утра мы уже выступили вперед.

Хунхузы Ялу прошли по китайской дороге. Могут теперь на здоровье встречаться и соблюдать там друг перед другом все китайские церемонии.

Проехали до вечера, и волшебная перемена. Мы едем долиной Сагибудон-Мурри. Ширина долины — сажен триста всего, но, куда ни посмотришь, все это уже заселенные и засеянные места. Все время отсюда, вплоть до Амнокки, на каждой четверти версты фанзы, хозяйство, прекрасный урожай.

Первобытный лес исчез, горы Кореи, отдельные, высокие, покрытые высохшим бархатом осени, теснятся около реки...

Голубое безмятежное небо, орел парит, виноградные лозы с малиново-прозрачными листьями там, на отвесных скалах.

Корейцы и китайцы работают в поле, громадные сытые быки лениво перевозят в легких санках богатый урожай с поля в амбар. Кучи золотистой кукурузы, вороха громадного гоалина, в крестах сложенная чумиза, овес, буда, яр-буда, всевозможные бобы, красная и белая редька, колорябия, громадные тыквы желтые, красные, красный перец, на канатах десятками рядов подвешенный табак, лук, чеснок, картофель, капуста.

Особенное изобилие всего этого у богатых китайских фанз.

Перед фанзой маленькая кумирня из камня, нарисованные на бумаге фигуры, стопа молитв, особых на каждый месяц.

Перед кумирней два столбика, выкрашенных в красный цвет...

Такие же красные столбы перед воротами. В эти ворота видны двор, внутренняя фанза с широкими, клетчатой бумагой заклеенными окнами, с красными разводами и письменами.

Крыша с высоким скатом, окна особо, двери особо, комнаты большие. Во дворе и на высокой завалинке у дома и вдоль стен грозди красного перца, табак — всех цветов, кукуруза, редька, тыквы, колорябия... Лица удовлетворенные, спокойные, благородные.

В. В. нашего окликают китайцы, и он радостно кричит:

— Эта вся хорошая человеки — хунхузов нет.

Корейцы приседают с Дишаидари, и слышится ласковое:

— Е... е... е.

Что значит: да, да, да.

Два молоденьких корейца, наши проводники, весело мелькают впереди. Мы движемся все дальше и дальше...

Отдыхает душа, от ужасов жизни первобытных лесов, где во мраке времен свирепствуют еще разбойничьи цари, бароны над жизнью и имуществом своего раба корейца.

Корейцы честные, благородные, умные, культурные, — ни один китаец не умеет так ухаживать за землей, как кореец (китайцы корейцев нанимают пахать им землю), а дикий башибузук делает с ним что хочет и свирепо, как собрат его, тигр, уничтожает ненавистную ему культуру.

Следы этого уничтожения на каждом шагу — брошенные корейские фанзы, целые деревни.

Шайки в двадцать — тридцать человек, для которых — для всех этих шаек — роты стрелков довольно, а без этой роты на сотни верст терроризирован край, остановлена всякая культура.

Несчастный кореец — раб китайского земельного собственника, раб хунхуза, выбивается, как вол его, из сил, таща общечеловеческую культуру сюда. За это его обижают, бьют, пытаются, вешают, а он отвечает врагам детскою незлобивостью, беспредельным терпением, непонятной среди таких условий человечностью, гуманностью, тонкой предупредительностью. Точно не здесь они выросли, а воспитала их в самой гуманной школе, запечатлев навеки законы высшей гуманности.

Хочется плакать за них, а они жизнерадостны и утром, после нападения, они прибежали из леса и уже такие же ясные, как то утро было. Все около умирающего, собирают разбросанное добро.

А эту ночь, когда мы подъехали к корейской фанзе, хозяин начал было отговариваться теснотой фанзы, но когда мы ему объяснили, что нам нельзя делать шума своим приездом, так как за нами гонятся хунхузы, хозяин ответил:

— Я думал об удобстве высоких гостей, но при таких условиях моя фанза принадлежит им, а я их сторож.

И надо было видеть, сколько непоказного, врожденного благородства было в его словах.

Не было случая в моем путешествии, чтоб кореец не сдержал своего слова.

Не устаешь, перечисляя достоинства кротких людей этой нации... И всякий, кто пробудет с ними, не сомневаюсь, полюбит их так же, — как полюбили мы.

Даже Бирик, все собиравшийся «сшивать» всех живущих здесь, говорит любовно:

— Як телята, тихие.

Мирная картина окружающей долинки, радость жизни ее, золотистый тихий закат, высокие горы с виноградниками, их малиновым, прозрачным отливом, все словно вводит вас в какой-то храм жизни, где слышите вы безмятежный, ласкающий, знакомый напев, зовущий вас опять радоваться, опять наслаждаться жизнью, отдыхать.

Душа отходит от пережитых ужасов и возвращается к новым ощущениям.

Чувствую усталость, можно еще ехать, но хочется покоя, стакана чаю, хочется хоть на несколько часов почувствовать себя не в обязательных условиях трудного похода.

Как раз в этом месте точно запирается долина со всех сторон бархатными, красно-коричневыми горами, образуя правильной формы эллипс...

Вечерние тени уже легли на долину, уже горит фиолетовым огнем река и вглубь уходит туда, где между бархатом осенней листвы почти отвесно висит громадный белый щит, — то пашня трудолюбивого корейца почти на отвесном косогоре.

Нарядный китаец, в своем костюме излюбленного синего цвета, едет верхом и держит на седле маленькую дочку.

Бубенцы его лошадки звенят в воздухе, китаец любовно обнял дочь и что-то говорит ей. Он молод, худ, тонкие черты лица его интеллигентны, во всей фигуре чувствуется мягкая изнеженность. Мы выстрелили, и он озабоченно, ласково что-то говорит дочери, спеша успокоить ее...

В. В. все время говорит с ним и сообщает нам:

— Больно хорошая человек, богатый.

У него все хорошие люди.

— Вот его дом.

Дом нарядный, красивый, с красными письменами, столбами и узорами.

Проехали еще с полверсты и останавливаемся на ночлег в деревне, наполовину китайской, наполовину корейской.

Деревни здесь на каждом шагу, вся долина до устья — сплошное жилье. Дишандари тянет остановиться у его брата в шестом колене.

Брат такой же симпатичный, как и Дишандари, но фанза его плоха, мала, пропиталась вся чумизой и дымом, который и сейчас пробирается сквозь щели боровов и следовательно и пола фанзы.

Все это мы уже видели, это, конечно, лучше, чем ночь под открытым небом, но В. В. уверяет, что у китайцев будет нам еще лучше.

Да и не видали еще как следует китайского житья-бытья.

— Так точно, — говорит Бибик, — у китайцев лучше: у них все есть: и лошадям покой и корм, и хванзы лучше, и еда: капуста есть, картошка, лук, чеснок — все есть. И сами и стерегут: им, значит, конфузно, если у них что пропадет.

Собственно говоря, отвратительное впечатление, которое произвели на меня первые китайцы — хунхузы и бароны, — уже сгладилось трудолюбивым видом сегодняшней долины, трудом, накладывающим особенную печать на лица.

— Это другой китаец, — говорит Бибик, — с бабой. Баба — гарантия культуры.

Я видел наконец первую китаянку, с трубочкой, зачесанную, как их рисуют, с уродливо маленькой ногой. Она уверенно стоит у ворот своей фанзы, окруженная несколькими мужчинами, и видно, что здесь она — капитан своего корабля.

Но как много китайцев: из каждой фанзы выходит семь-восемь взрослых мужчин.

— Это работники — тут хунхузы — меньше нельзя, — объясняет В. В.

Уступая настояниям В. В., мы ночуем у китайцев. После маленьких клеточек корейцев большая, поместительная комната обширного китайского дома, где мы ночуем, производит очень сильное впечатление.

Дом состоит, собственно, из двух: наружного, с воротами посреди, затем обширный двор и другой такой же, сажень на восьми, дом. Мне и Н. Е. отвели большую угловую комнату в фасадном доме. Печи такие же, как и у корейцев, но не во весь пол и с подъемом от полу втрое большим. На этом возвышении стояли два столика, высотой в пол-аршина, с книгами на них. По полкам стен — книги, у стены устроено что-то вроде конторки. На одной из полок стоят китайские лампы, красные китайские толстые свечи. А все в общем напоминало в этой высокой, в темный цвет отделанной комнате кабинет старого Фауста.

Нас встретил учитель, молодой, с тонкими чертами лица, кланяющийся и прижимающий к груди руки.

Он сообщил, что хозяин их уехал далеко, по делам, а жена его, ей только двадцать лет, немного испугалась и ушла ночевать к родным. Но высоким гостям будет доставлено все, чем они богаты.

Потом оказалось, что нас приняли за кого-то вроде хунхузов, и хозяин с хозяйкой предпочли свалить на учителя весь труд приема таких гостей...

Все было прекрасно, и мы радовались, словно никогда ничего лучшего не видали, словно все это принадлежит нам.

— Посмотрите, какие ясли у них для скота. Из лучших они выводят свой скот и ставят наших лошадей.

— Сами рубят солому, и, говорят, сами и на водопой поведут.

— Посмотрите, какая у них кухня, столы какие.

— Сколько у них работников?

— Шестьдесят. Хозяин наш лесом занимается и винокуренный завод имеет.

— Где завод?

Нам показывают на один из одноэтажных флигелей. Мы идем туда. В чистом помещении стоит несколько котлов, сквозь щели пола видно подвальное помещение, видны огни — все чисто, опрятно, поместительно.

— Куда хозяин деваает выкуриваемую сулю?

— Меняет жителям на бобы, чумизу — не у всякого охота самому варить водку...

На ужин нам готовится китайская лапша из гречневой муки, а Беседин из нее же варит гречневые галушки на сале, которые мы

будем есть, ловя их заостренной палочкой, запивая мучнистой пахнувшей салом и луком водой, в которой варились эти галушки.

Словом, сегодня мы едим то, что всякий добрый хохол ест часто и с удовольствием.

А затем сон, все вместе в отведенной нам комнате, с одним караульным в этой же комнате.

7 октября

Сегодня опять вперёд. Все та же долина — корейцы и китайцы. Корейцы бедны, китайцы богаты. Земля китайская, и корейцы оттеснены к горам; там вершок за вершком отвоевывают они себе пашню у скал, у леса, кустарника. Из десяти снопов — четыре отдают китайцам, пашут им пашню.

К шести часам вечера, в десяти верстах от Мауерлшаня. спустились мы наконец на Амноку.

Как и говорил Дишандари, мы увидели здесь китайские шаланды, привезшие сюда соль с устья Амноки. Соль темная, вываренная из морской воды, куплена нами по восемьдесят копеек за пуд.

Местное же население соль не покупает, а выменивает на бобы.

Лодки приплывают сюда по высокой воде и уплывают весной с грузом хлеба, каменного угля, а также и тайно намытого золота.

Каменный уголь в десяти верстах, там же и железная руда; золото по всем оврагам, но с не особенно большим процентом содержимости. Уголь черный, рассыпчатый, по виду кокс.

Лучшего качества уголь вниз по Амноке, в тридцати верстах отсюда и тридцати от берега, там же и железная руда.

Медные рудники прежде разрабатывались китайским правительством, теперь брошены. Железные рудники разрабатывают желающие, производство мелкое — чугунно-плавильное.

Золото добывают хищники, по преимуществу хунхузы, которых поэтому по всей Амноке много. На горах у них всегда стоит часовой, который, завидев какую-нибудь интересную добычу, вызывает выстрелом товарищей.

Тогда они бросают работу, берут ружья и идут на охоту, будь то зверь, человек — что судьба пошлет.

— Не возьмутся ли китайцы отвезти нас к устью Амноки?

— Нет, они приехали сюда, чтоб всю зиму торговать.

— Не продадут ли они свои суденышки?

— Один согласен — пятьсот долларов.

— У нас нет таких денег.

— У них есть лавка, есть пшеничная мука, китайский сахар, свечи, капуста, картошка, лапша вязиговая, пряники.

Мы покупаем все, конечно.

Мука 4 рубля за пуд, сахар — желтый песок — за фунт 50 копеек, свечи сальные 50 копеек за фунт, маленький пряник, никуда не годный — 26 копеек, каменный уголь — 50 копеек за пуд.

Цены, как видите, Кюба, но качество ниже всего, что только можно себе представить. Не удивительно поэтому, что при грузке в 500 пудов туда и 500 обратно они зарабатывают на лодку до тысячи рублей.

— Спросу нет — привозим мало и дорого берем.

Приходилось, очевидно, отказаться от мысли ехать на лодке. Нечего делать!

— Переправляйте в таком случае на корейскую сторону.

Переехали, и было уже совсем темно.

Китаец проводил нас в ближайшую деревню Ходянби.

Услыхав шум, быстроногие корейцы успели уже с семьями и скотом убраться в лес.

Вызывали, вызывали их, клялись и уверяли, что мы мирные люди.

Сперва молчали, потом показался один, поговорил, что-то вскрикнул, и десятки белых корейцев окружили нас и радостно закивали головами.

— Это их пудни (староста) над пятьюстами фанзами.

В дамской беленькой кофточке, дамской шляпе, приседает молодой пудни и предлагает целых пять фанз к нашим услугам.

Мы берем одну, спрашиваем, есть ли овес, куры, яйца, солома, чумиза.

Все есть, и даже рис. Но капусты, картофеля, луку — нет.

Суп из курицы и рисовая каша с неприятно душистым китайским сахарным песком.

— Корейцы любят араса.

— Араса любят корейцев.

— Если бы уведомили старосту, вся деревня встретила бы высоких гостей.

Высокие гости, грязные, как угольщики, благодарят, просят не беспокоиться и ложатся спать.

Опасность давно миновала, но солдаты при каждом ночлеге выбирают фанзу с удобной позицией.

Даже равнодушный ко всему Хапов, проезжая сегодня днем мимо одной фанзы, сказал с удовольствием:

— Вот хорошая позиция, — место открытое.

8 октября

Сегодня дневка и переговоры с китайцами относительно дальнейшей поездки на лодке.

Вся корейская деревня на этот день переселилась к нашей фанзе и, рассевшись, мирно смотрят на нас; некоторые занимаются своим делом. Один старик подтачивает ножичком приспособление для пряжи, другой кореец, молодой, с греческим лицом, с соколом в руках, шел на охоту, да так и простоял около нас почти весь день.

Староста тут же производил обычный суд и расправу.

Я сначала не знал, в чем дело, но когда привели одного интересного преступника, П. Н. вызвал меня во двор.

Староста сидел на корточках; так же сидел и обвиняемый перед ним.

Обвиняемый — чистенький, нарядный кореец, в безукоризненно белом, в дамской шляпке, из-под которой сквозит волосяная повязка — знак отличия, который надевает каждый, кто имеет достаточно денег, чтоб купить такую повязку.

Кстати сказать, здесь, в Корее, с отличиями не церемонятся, — похвальные листы «Дишандари», «заслуженный стрелок», так подделывать стали, что в Новокиевске открылась целая фабрика их.

Теперь и Дишандари и почетная повязка больше не даются, но и поддельные листы покупаются, и повязки носят все.

Молодой преступник обвиняется в том, что, выкопав на китайской земле жень-шень, лучший продал, а худший только представил корейскому правительству.

Этот худший экземпляр в той земле, где он рос, во мху, был завернут в лубок и лежал перед старостой.

Говорят, жень-шень очень похож на ребенка. Тот, который я видел, имел действительно цвет кожи, но никакого сходства дальнейшего с

человеческим обликом не было: скорее узловатое тело уродливого белого паука, величиной с ладонь.

Надо заметить, что кореец обвиняемый — постоянный житель Китайской империи.

Староста кричал пискливым голосом, ругал его рожденным от девушки, обвинял его в государственном преступлении и строжайшим образом, грозя передать его губернатору на казнь, требовал признания.

После долгих настаиваний, ввиду запирательства обвиняемого, ему связали сзади руки выше локтей и подвесили к верхней перекладине. Тело несчастного уродливо перегнулось, локти поднялись, лицо побагровело.

Предполагалось, вероятно, и дальнейшее, но я, боясь, не в нашу ли честь усердствует власть, просил при мне не трогать преступника.

Его сейчас же и отвели в тюрьму. Он ушел с той же странной улыбкой, с какой выслушивал все крики старосты и переносил начало пытки.

— Спросите старосту, разве китайская земля принадлежит корейскому императору?

— Но он кореец.

— Но китайский подданный.

— У него здесь брат.

— А если и китайский император требует доставлять жень-шень в казну, то как же быть китайскому корейцу?

Староста смеется:

— Не надо искать жень-шень.

— Какое наказание за утайку жень-шеня?

— Смертная казнь, но он, староста, надеется, что пыткой и розгами добьется от него признания, тогда возвратит корень и ничего не будет.

— Но если он действительно больше не нашел?

— Все говорят, что — нашел.

— Но почему же тогда он продал другим?

— Больше денег дали.

— Зачем же корейское правительство дает меньше, чем стоит вещь?

— Правительство требует от нас известное количество женьшеня, — откуда же нам взять? Мы давно его стерегли с той стороны.

Какой-то возмутительный произвол, недомыслие, ограниченность во всем этом законе, на котором зиждется между тем одна из крупных статей государственного дохода.

В. В. и П. Н. целый день хлопотали насчет лодки и в конце концов в трех верстах выше нашли старое гнилое суденышко, пять сажен длины, 1 1/4 ширины за 65 долларов. Четыре китайца предложили свои услуги матросов за 50 долларов до И-чжоу, на наших харчах.

Торговались и уже выторговали все, что могли. Оставалось отдать только деньги.

Пошли все на берег смотреть наш корабль. Форма его такая же, в каком ездил Язон, Одиссей, да и величина не меньше. По краям кругом площадка, а кругом высокая в три доски ограда. Внутри четыре отделения, пятое на корме для матросов.

Корабль наш окрашен в черный полинявший цвет и похож на гроб. Мы называли его «Бабушкой». Обещают идти по шестидесяти верст в день. Вопрос за лошадьми — поспеют ли.

Остальной день проходит в заготовлении запасов.

Купили старую корову за шестнадцать долларов: кожу, кровь и все внутренности отдать хозяину.

Ужасный способ их бойни. Заботясь получить всю кровь, они режут скот по частям. Сперва надрезают шею и снимают с живой часть кожи на шее, постепенно добираются до артерии и перерезывают ее. С полчаса уже продолжалась экзекуция над несчастной связанной коровой, когда позвали меня и я приказал прирезать ее.

— Говорят, еще не вся кровь вытекла.

— Режьте.

Купили чумизы, на том берегу у китайцев картофеля, капусты, массу мелочей, не видных, но в общем дорогих, — топор, пилу, дров, рогож (рогожи, правда, прекрасного качества, из соломы, два аршина — доллар). А все вместе с лодкой, матросами, запасами до ста семидесяти долларов, да расход ка лошадей, которые нужны будут от И-чжоу до Порт-Артура, а может быть, и раньше понадобятся, если «Бабушка» не выдержит, прыгая на перекатах по острым камням.

10 октября

Второй день мы плывем на «Бабушке». Ночевали в ней же. Принесли корейскую жаровню — глиняный горшок, наполненный углями, закрыли верх циновкой, и было тепло. Но небезопасно. И вчера и сегодня мы еще во владениях хунхузов, и, ложась спать, с внутренней стороны мы обложили вещами борт шаланды, обращенный к китайскому берегу.

До двенадцати часов ночи сегодня было мое дежурство. До десяти светила луна, а потом, хотя и темная была ночь, но по воде отлично видно.

Да и лодки у хунхузов не было, чтоб переехать, могли бы только стрелять, но в боках нашей шаланды и мы понаделали прорезов и теперь, укрытые шаландой, могли бы много зла им сделать.

Вчера мы проезжали мимо одной китайской деревушки, на которую на прошлой неделе напали хунхузы; они обложили деревню 600 долларами, каковую сумму и выплатили жители...

Они собирались после этого переправиться на корейскую сторону, когда приехал за ними нарочный из Шанданьона.

Район той партии мы уже проехали, но и районов других партий много еще, да и прежние могут, нас настичь еще, так как была дневка, во-первых; во-вторых — Амнока извилиста, и по воде длиннее, хотя и скорее.

Восход солнца был сегодня чудный.

Солнце еще за горами, и везде и на всем серые рассветные тени, только в расщелине двух, гор в облаках горят лучи не видимого еще солнца. Свет не яркий, и облака переливаются самыми нежными тонами. Точно картинка в рамке этих гор самого великого художника — природы.

А затем и на реке показалось солнце, сверкнули лучи, и засветилась река, отражая разноцветные камни своего мелкого дна самыми причудливыми узорами — вот фиолетовый, нежно-зеленый, розовый, и все прозрачное, с легкой дымкой начинающегося на воде утра. Дикий гусь взвился и режет воздух и уже исчезает в далекой синеве гор. По обеим сторонам реки, в коричневом бархате гор тонут здесь и там светлые полосы убранных полей хлебов. На горах и под горами жилье: фанзы, фанзы и фанзы. И много-много, если одна больше другой на аршин-полтора.

Сегодня утром из соседнего села пришла толпа корейцев; какой-то старик принес десяток яиц нам в подарок и записку... В этой записке он приветствует нас и выражает сожаление о том, что так опасен наш путь по Амноке.

Он в длинном белом костюме; его голова повязана каким-то белым полотном, темное лицо, черные глаза — фигура библейская.

Тут же и толпа китайцев в круглых шапочках с крылышками, как изображают Меркурия, с бритыми лицами, очень часто с типичными римскими лицами.

Мы перед ними в нашей классической стиль напоминающей шаланде, — мы современные аргонавты, и таким близким кажется умчавшееся время древних историй, таким понятным и простым кажется все то, что делалось, что уже потом покрылось живописным узором времен.

Старик не взял денег, и я очень был рад этому, иначе всю картинку эту испортил бы этот доллар.

Прощайте, друзья, мы уже огибаем громадную гору, уже прыгает шаланда между громадными камнями белого водопада, и гигант-китаец, наш молодец-капитан, всей грудью налегает на свой руль и кричит на гребцов. Стоя, наклонившись, налегают они на весла, и летим мы стремительно в какую-то неведомую нам даль.

В порыве лодки, в мужественных фигурах моряков китайцев — сила, удаль и беспредельное спокойствие.

Сказочник кореец, миниатюрная фигурка, робко прижался в углу каюты и, стоя с широко раскрытыми глазами, только смотрит, что из всего этого выйдет. Это самый опасный перекат.

Ничего, мы уже промчались мимо белой пены, клокочущей воды, острых скал, и режет «Бабушка» под прямым углом воду, уходя от новой стерегущей нас скалы.

Много шаланд разбилось о нее. Но уже китайцы матросы того берега, куда направляемся мы и где стоят семь таких шаланд, дружно и радостно кричат нашему капитану:

— Хо!

Что значит: хорошо.

А он, громадный урод в косе, уже бросил руль своему помощнику и, присев на корточки, тешится, как ребенок, свистком, который я подарил ему.

Потом полез в свою каюту, принес редьку и дарит мне.

Что передаст фотография там, где все в тонах, красках, фигурах, позах и выражениях?

И если меня, много видевшего на своем веку, захватывает и поражает эта жизнь младенческого периода человечества, то изображенная на картинах, в пластике, разве она не поразила бы и не привлекла бы ту толпу, которая наполняет наши выставки?

А своеобразной нежностью и мягкостью здешних тонов как в природе, так и в людях, достигается — непередаваемая прелесть, красота, очарование ощущений. Какая-то умиротворяющая, спокойная, как умчавшееся время, ненадоедающая мелодия.

Иногда завоет что-то китаец, и в двух-трех нотах услышишь вдруг этот окружающий нас отовсюду ласкающий мотив.

А то услышишь вдруг резкий отголосок севера, где белый Пектусан, где вековая желтая равнина лиственниц оттеняет нежно-голубое небо, где красавица река сверкает и грохочет под землей, как гром и молния в небе, где царство хунхуза, тигра и барса.

А день ясный осенний пригрелся у этих гор и слушает шум воды, песенку ветерка и скрип нашего суденышка.

Мы плывем, и в каждой каюте идет своя работа.

Бибик обед готовит, Хапов спит после дежурства, В. В. с китайцами, П. Н. выслушивает сказки корейца, Н. Е. с инструментами наносит контуры реки, гор, притоков, измеряет глубину реки и записывает название сел.

Я веду свой барометрический журнал, занимаюсь английским языком, веду дневник, записываю сказки.

Беседин с Таани ведут лошадей сухим путем, а И. А. помогает Н. Е. делать промеры. Что до китайцев, то они гребут и едят за десятерых. Всю провизию нашу съедят.

Иногда мы стреляем по уткам, гусям, но, надо откровенно сказать, неудачно.

Что до меня, я всегда рад промаху, — пусть улетает скорее жадным полетом, говорящим о жажде и радостях жизни.

Здесь, приближаясь к югу, мало знают «араса» и принимают нас за японцев. Впрочем, и тех никогда не видали.

11 октября

Вторая ночевка на воде. Я, впрочем, ушел в фанзу и в отношении удобства проиграл: ночь была теплая, и спать в шаланде было хорошо. В фанзе же от горячего пола было душно, кусали тараканы, плакал ребенок за перегородкой, стонал и кашлял девяностолетний старик.

Вчера, когда мы вошли в фанзу, он сидел и ел. Он даже не повернулся к нам. Старое дряблое тело с сохранившимся желудком. Как величайший мудрец и философ, нашедший истинную суть естества, или как бессознательное животное, он сидит перед своей пищей, смотрит на нее во все глаза и жадно ест.

Я думал, что он глух, но сегодня утром, услышав, что внук (сын его давно умер) продает нам курицу, он прокричал:

— Курицу не надо продавать.

Со мной рядом спали китайцы, корейцы, по обычаю, голые; их бронзовые темные тела покрыты миллионами тараканов; иногда во сне они делают сонное движение— слабую попытку избавиться от своих врагов, и опять спят богатырским сном в тяжелой, душной атмосфере.

Вечером набилась полная фанза корейцев. Говорили о политике, о текущих делах и делишках...

Я поверял прежние сведения. Некоторая разница уже чувствуется между южным и северным корейцем. Южане темнее, глаза строже, зажигаются огоньками, речь быстрая, страстная...

Но так же гостеприимны и благожелательны.

— Новое время идет, новая цивилизация входит в Корею, — что ж, надо жить, как другие живут. Через двадцать лет не узнают нас наши деды.

Не сомневаюсь, что раз серьезно поставится вопрос дальнейшей культуры корейца, способный народ быстро наверстает пройденный культурным человечеством путь.

Будет ли лучше им?

Праздный вопрос, на который не стоит отвечать. Думаю, впрочем, по мягкости характера, кореец и в культуре будет всегда во власти других.

Сегодня утром наблюдал, как корейцы делают свою прическу.

Они чешутся раз в месяц. Остальное время они, проснувшись, руками приглаживают кверху свою прическу, туда, к макушке, где она шишкой закручена. Более франтоватые смазывают волосы маслом,

сваренным с воском, кладут в масло ароматные травы, по преимуществу гвоздику.

У каждого корейца обязательно есть маленькое зеркальце, которое продают разносчики китайцы.

Недаром костюм корейца напоминает костюм девушки. Он и наряды любит, любит и в зеркальце посмотреться, движения его женственны, а проходя мимо женщины, он и совсем превращается в какую-то девушку.

А настоящая девушка? Некрасива, мала. У нее очень некрасивая и неграциозная походка с каким-то выворачиванием вперед себя ног. Так ходят и богатые и бедные, — очевидно, так принято, это хороший тон.

В шесть часов утра свету нет еще, но в просвете будущего дня видно далеко...

Прозрачная стальная вода реки усиливает свет и рельефнее подчеркивает спрятавшийся другой берег.

У серой скалы приютилась фанза, среди коричневых и серых тонов зеленые сосны взбираются вверх по скале.

И все так рельефно в этом полусвете, как вырисованная до мельчайших деталей картинка.

А тут же, за поворотом, новый пережат с громадными камнями, вода бурлит, кипит и бешено несется у громадных, отвесно нависших над рекой скал, и кажется, не река уже это, а скалистый берег моря в разгаре шторма, и нет спасенья попавшему сюда кораблю.

Наша «Бабушка» танцует на волнах, скрипит и жалуется на старость, молит о вечном покое, но железный колосс, наш капитан, гигантским рулем с страшной силой загребает воду и заставляет и «Бабушку» и воду повиноваться себе, и извивается шаланда между то спрятавшимися под водой, то торчащими скалами.

Совсем близко подойдет к береговой скале, вот, кажется, подхватило и несет нас, и нет спасенья...

— Шкпрво!

Несется резкий, дикий окрик капитана, и четыре китайца, как мчащиеся собаки, с прижатыми ушами, все стоя, всей силой налегают на весла, и мчится вода, мчимся мы, мчатся все эти из бронзы вылитые статуи, фигуры матросов китайцев.

А как добродушно, радостно, по-детски смеются они, когда опасность миновала, и подмигивают нам.

Это мужественные, сильные люди, и они храбрее братьев своих — хунхузов. Те действуют ночью и в лесу, прячась за деревьями, эти при свете дня, грудь с грудью, схватываются беспрестанно с опасным и свободным врагом. Враг, которого любят, впрочем, больше друга.

— Там в И-чжоу, — говорят они, — вас повезут по морю на настоящем парусном судне сажен в десять. Там матросы не нам чета, — там всегда над головой смерть.

Бытовая картинка: вверх по реке толпа китайцев матросов тянет шаланду. Их человек двадцать, но издали это какие-то клубочки. Все они изогнулись и пригнулись к реке, упираясь ногами, хватаясь руками за камни почвы. Вся поза их, натянутая, как струна, бечева, говорит о крайнем их напряжении. Так будут они тащиться еще сто верст, делая в день по пять — шесть верст, на каждом перекате выгружая и нагружая снова шаланду.

Не удивительно, что пуд муки после этого стоит 4 рубля, а пуд соли 80 копеек.

Таких матросов хозяева нанимают по 40 долларов в год.

Поднявшись к месту назначения, они отправятся в леса и там будут готовить лес для сплава.

Весной шаланда, нагруженная хлебом, при двух-трех матросах, беспрепятственно спустится по реке, а остальные матросы пойдут на плотях.

И у них есть своя «дубинушка», короткая заунывная. Слышатся сперва повышающиеся, затем спускающиеся с замиранием звуки:

— Ганги! Эйлей-лей!

— Ганги! Эйлей-лей!

Что-то покорное, безнадежно терпеливое. Тяжела жизнь корейца.

С виду, впрочем, мало это заметно, а на расстоянии даже получается отрадное впечатление.

Действительно, приютилась красиво и уютно маленькая фанза; поля около нее. Счастливый кореец, сам хозяин своей земли, не знает никакой круговой поруки, платит за десятину пашни 40 копеек подати да с каждой фанзы 30 копеек, довольствуется своим, обходится без денег, самые ограниченные потребности свои — соль, зеркальце,

тесемки, для нарядного платья бумажную материю — выменивает на чумизу, кукурузу, рис, — и счастлив.

Но когда подойдешь поближе, то происходит нечто подобное тому, что мы видим на Пектусане: издали — равнина, а спустишься — миллионы скрытых, как западня, глубочайших оврагов.

Много таких оврагов у корейцев — рабство (в голодные года родители продают своих детей), хунхузы, несправедливое, жаждущее взятки, ищущее только предлога, чтобы схватить провинившегося и начать мотать из него жилы, — его начальство, начиная от ничтожного пудни (староста), уже облеченного очень большими правами (розга, легкая пытка). И это каждого, кто только провинится или подозревается только в преступлении. А предрассудки старины, вяжущие корейца по рукам и ногам!

За своими предками, святыми горами, имеющими способность оплодотворять избранных женщин, за всеми этими драконами, куреями, тиграми, тысяченожками, с переселенными в них человеческими душами, со всеми своими тоннами (предсказателями), бонзами и ворожеями, с убеждением, наконец, что все дело в том, чтобы удачным выбором могилы найти, как клад, свое счастье, и тогда не надо ни образования, ни ума, ни способностей — всем этим, как веревками, опутан кореец уже много тысячелетий, за всем этим ничего он не видит, не слышит и слышать не хочет или не может уже.

Это какое-то состояние вечного детства, вечных сказок, того возраста, когда дети верят еще в сказки, когда ребенок смотрит на каждого и сомневается — кто перед ним: такой же, как он, обыкновенный житель земли или пришлец иного мира.

Надо бежать от злого человека, злой горы, тигра, барса, начальства, господина, надо бояться всех и вся...

И вся прелесть этой первобытной жизни сводится, в сущности, к заячьим ногам.

Но это уже не человек, а заяц.

А возьмите года невзгод: года эпидемий без докторов, голодные года без путей сообщений.

Поистине надо быть свихнувшимся человеком, чтоб в этой первобытной идиллии находить какую бы то ни было прелесть...

А какая грязь, какие насекомые...

Я уже не говорю о положении людей другой расы, привыкших к кое-каким удобствам и совершенно, как теперь мы, лишенных их.

А ужасная проказа: в деревне Ходянби, в пятьсот фанз, семь прокаженных. Они живут вместе с остальными; эти остальные пьют с ними, едят. И так по всей той Корее, которую я прошел.

А сколько калек, уродов, какая смертность!

Спросите в каждой деревне, и везде вам скажут или, что то же количество, что и прежде, народу живет теперь на свете, или убавляется.

Убавление на севере очевидно: брошенные фанзы, деревни, упраздненные города, теперь жалкие деревушки— на каждом шагу.

Один большой оригинал нашего времени, больной недостаточной культурностью, говорит:

— Я еду отдыхать сюда от тяжести нашей культуры.

На вкус и цвет товарищей нет. Оригиналы таким и останутся, но все человечество не живет жизнью оригиналов.

Ему нужны безопасные, обеспечивающие его жизнь и потребности условия существования, и никто не станет спорить, что где-нибудь в Бельгии они обеспеченнее, чем здесь.

Я по крайней мере, спасенный чудом от диких хунхузов, не буду спорить и думаю, что уничтожить этих хунхузов можно только с помощью общечеловеческой культуры, и я думаю, что пример здешней пятитысячелетней культуры, выработавшей людям маленькие, отупевшие головы и заячьи ноги, — хороший пример.

Оставим все эти вопросы, — они раздражают только.

Заблуждения, как эпидемии, горячечный бред, приходят и уходят. Горячечного не убедишь, а выздоровевшего убеждать не в чем. Да и безобидны эти заблуждения: не переменятся законы жизни от того, что тот или другой желал бы так или иначе повернуть жизнь. Жизнь идет по своим законам, и людьми достаточно прожито, чтобы при желании нельзя было уяснить себе истинный смысл этих законов.

Часа через два после встречи с китайцами бурлаками мы уже сами бурлачили, таща нашу «Бабушку» по каменистому мелкому перекату.

Китайцы, голые, в воде, мы все, захватив веревку, тащились, пригнувшись и напрягаясь, по берегу.

Часа в три протащили сажень сто. Несчастные китайцы посинели, несмотря на весь свой бронзовый цвет, и щелкали зубами, как волки. Чем дальше, тем ниже и мельче река. Так будет еще верст пятьдесят, до впадения большой реки справа.

Все те же горы футов в пятьсот, отдельные, частью покрытые желтой и красной листвой кустарника, виноградника, редкого, никуда не годного леса.

Крайне только редко попадаются обнаженные скалы и по преимуществу у обрывистых берегов.

Тогда вверх уходят каменистые террасы, поддерживаемые точно колоннами; цвет этих скал серовато-розово-красно-темный. Косые лучи солнца просвечивают их, и тогда кажутся они точно своим цветом окрашенные, прозрачные.

Сегодня пришли на ночевку в корейскую деревню Минтоцанкари и в первый раз встретили негостеприимное отношение со стороны одной корейской фанзы.

П. Н. не только не впустил хозяин, но и ругался очень энергично. Его черные глаза с красными белками метали искры, он не говорил, а кричал, темный, черный, взбешенный.

— Что он говорит?

— Он говорит: вы все прокляты, другие народы, я до сих пор вас не видел и не хочу никогда видеть.

— Скажите ему, что мы пришли сюда не ссориться, что мы считаем корейцев братьями и до сих пор везде нас встречали гостеприимно, как следует встречать гостей. Когда он к нам придет, мы встретим его гостеприимно. А затем оставьте его и спросите, кто желает нас принять.

— Все желают, кроме этого; его все ругают и извиняются; говорят, что он сули выпил.

Пришел какой-то старик и стал кричать на строптивного хозяина фанзы.

— Что он кричит?

— Он упрекает этого хозяина, что он до сих пор полагающихся с него дров не доставил для школы, а гостям умеет грубить.

Хозяин после этого ушел к себе, и мы больше не видели его.

Деревушка в восемь дворов, а школа есть.

Конечно, школа — это еще только звук пустой.

Школа и школа. Татары и корейцы тысячелетия обучают в своих школах, да толку мало. Чему учить и как учить?

— Чему учат в школах?

— Женской грамоте, древним словам, как почитать предков, небо, ад, святые горы.

— А знание, ремесло дают в этих школах?

Что-то такое заговорили: бурум, бурум, бурум.

Смеются.

Смеется и П. Н.

— Ничего этого, говорят, нет у нас.

Я вспоминаю нашего предводителя дворянства Чеботаева, он тоже настаивает, что школа должна обучать древнеславянскому церковному пению, но отнюдь не оскверняться разными ремеслами и знаниями: для какого-нибудь англичанина туриста слова нашего Чеботаева так же звенят в его ухе, как в моем звенят эти безнадежно добродушные бурум, бурум, бурум...

12 октября

Сегодня, только что выехав, мы засели на самом перекате и так прочно, что, пробившись часа три, вылезли из воды и греемся теперь на солнце. Послали за лодкой, переедем на берег, будем тащить волоком.

Всю замазку из «Бабушки» выбило, и течет теперь она, как дырявое ведро.

Течь увеличивает осадку; прежде сидела она три четверти аршина, теперь сидит аршин.

Доедем ли и когда?

Наше сиденье на мели кончилось тем, что мы послали за корейцами той деревни, где ночевали, и они, за исключением ругавшего нас, поголовно явись и раздевшись, полезли в воду и протаскивали нас по мелкому месту.

Так как денег у нас теперь очень мало, то восемнадцати человекам, помогавшим нам и потерявшим полдня, мы дали только пять долларов, причем около двух долларов из них отходило к китайцу, у которого купили мы канаты, пилу, топор.

Я извинился, что даю мало, а корейцы ответили, что они и этих денег не хотели бы брать, так как пришли помочь своим гостям.

— Скажите им, что я их очень, очень благодарю.

Лодка отходила.

— Скажите, что я желал бы когда-нибудь еще раз увидеться с ними.

— Они просят вас к себе в гости. Корейцы смеются и смотрят на нас.

— Скажите, и я зову их к себе в гости.

— Придем, говорят, — говорят, северные корейцы стали уже постоянными гостями России и они на будущий год тоже хотят идти на заработки к русским. Очень хвалят русские заработки, Говорят, у русских денег много, а у японцев нет. И что японец иногда несправедливо делает, — обманывает, значит.

— Скажите, что, когда мы прощаемся, мы снимаем шляпу.

Когда П. Н. перевел, я снял шляпу, а корейцы руками выражали мне свои приветствия.

— Кричат: счастливой дороги!

— Асинчандо!

— Хе, асинчандо, — весело повторяет толпа, а мы в палящих лучах нашего летнего солнца уплываем вниз туда, где, кажется, горы сошлись и нет выхода.

Я сижу на корме, смотрю туда и думаю под мирный плеск весел: «Не то же ли и в жизни, — вот, кажется, заперло что-то все входы и выходы, и конец всему, — темная ночь, залпы; кажется, ворвались уже ищущие смерти и крови с зверскими выражениями лица...»

Все это уже позади. Только картинка в памяти: в рамке темной ночи горящая фанза и темный лес, освещаемый молнией залпов, и всеми своими изворотами, перекатами и глубинами, берега и горы, притоки и деревни попадают на бумагу.

Я думаю, что если б случилось здесь строить дорогу железную, например, то организация дела должна быть такова: год на изыскания. В этом же году закупка и сосредоточение зимой, в период перевозки, нужных для работ лошадей, скота и запасов: чумизы, кукурузы, рису, ячменя, гаоляна, овса, соломы (сена здесь нет). Закупка постепенная, по пудам, так как запасы ничтожные, да и те кореец ни за что не продаст все сразу. Немножко сегодня, немножко завтра.

Как закваска и школа русский рабочий необходим. Корейцы с большим трудом могут до некоторой степени явиться перевозочной

силой. Остальные рабочие в громадном большинстве будут, конечно, закаленные в работе китайцы.

Так как все дело в правильном начале, то, казалось бы, в таком новом деле не следует здесь торопиться и следующий за изысканиями год посвятить этому неспешному началу. А затем, раз клюнет, нахлынут рабочие руки, форсированная работа сама собой явится.

Кра-кра-кра! Это затрещала наша «Бабушка» по камням и так, что я уже думал, что ничего от нее не останется.

Она уцелела, но сваренный для всех суп — на дне лодки, подбирают куски мяса, но дно лодки грязно.

— В холодной воде обмыть — можно есть; чумиза осталась.

Чумиза все: она заменяет и кашу и хлеб. Суп с чумизой, чай с чумизой, завтрак — чумиза.

Иногда кукурузная каша, но ее едят не так охотно, и холодная она отвратительно тяжела и безвкусна.

Под вечер Н. Е. подстрелил утку, и мы подплыли за ней к корейскому берегу.

Вдруг слышим — на китайском берегу пальба и свист пуль мимо.

Наши китайцы подняли отчаянный крик, но, пока кричали, еще несколько раз выстрелили. К счастью, никого не задела.

Оказывается, это солдаты китайские, приняв нас за высаживающихся хунхузов, открыли огонь по нас.

Хорошо еще, что не начали палить из двух ручных пушек, которые вынесли на берег и из которых уже угощали нас раз в этих гостеприимных местах.

Уже, когда мы подъехали к ним на голос, китайцы все еще сомневались и, с сожалением наконец, что так и не успели разрядить своих пушек, понесли их назад в фанзу.

— Где старший?

— Старший уехал в город. Вчера на том самом месте, где высаживались вы, высадились ночью хунхузы, мы и считали, что вы их оставшиеся товарищи.

— Ну хорошо, сообщите вашему начальству, что в Шанданьоне, это ваши места, на нас напали хунхузы и убили четырех лошадей и одного корейца, другого в плен захватили. Имя пленного — Цой-сапаги. Запишите, мы делаем вам официальное заявление.

— Его туда не ходит, — его здесь, — переводит В. В.

— Пусть передадут своему начальству.

Военный пункт китайский, откуда в нас стреляли, называется Ян-юн-тоу и находится на Амнокке, в сорока верстах выше, вверх по течению от Виверса.

Итак, ночью хунхузы, днем китайские сторожевые пункты.

— Вы должны были кричать издали нам, — говорят они нам.

Я вышел к ним с маузером и приказал переводить следующее:

— Их десять выстрелов не сделали нам вреда, потому что они не умеют стрелять, потому что их ружья никуда не годятся, но я и мы все умеем стрелять, и наши ружья каждое выстрелит в десять раз скорее, чем они все вместе и каждая пуля попадет в цель на полтора вершка. И, сказав, я прицелился и выстрелил в доску десять раз, на что потребовалось не более десяти секунд.

— И мы уже имеем право уложить вас всех, потому что вы по ошибке первые открыли огонь. Советую поэтому не ошибаться, потому что не всякий отнесется так добродушно, как я.

Впечатление от маузера было громадное: быстрота, сила выстрелов, меткость.

Восторг выражался по-детски: кричали, визжали, хохотали и совершенно не слушали, что переводит В. В.

13 октября

Ночевка в маленькой, зажатой в глубоком коротком ущелье корейской деревушке Шондор, а подальше, на китайском берегу, бывший город, а теперь деревня в 50 фанз, Коун-коу.

Там тоже и пушки и ружья, хотя там и не регулярные солдаты, а род обязательной для всех милиции. Утром и вечером играет зоря, и монотонные звуки длинных труб несутся по реке.

Воины и здесь, как и в регулярных войсках, не носят особой формы: форма одна и для них, и для хунхузов, и для мирных жителей: на голое тело надевается кофта, широкие штаны, одни, другие, на ногах китайские туфли с войлочной высокой подбивкой.

Наш гигант-капитан заявил, что надо известить китайцев, иначе опять стрелять будут.

— Да ведь мы опять в Корее.

— Все равно.

— Все равно, так извещайте.

С первыми лучами света мы пускаемся в туманную еще даль реки.

Но рассвет быстрыми шагами идет.

Уже из серого жемчуга перламутровыми стали облака, вот вспыхнули рыжим огнем они и словно приподнялись и, дымясь, клубятся в небе.

А там, в плубине, еще темной сталью отливает река, синеватый дымок прячется в ущельях гор, и словно еще спит все предрассветным, самым лучшим сном.

Чей-то далекий крик пронесся по реке, и замер, и разбудил округ. Кричат петухи, вьется дым из труб, шумит река и золотятся уже лучами западные вершины гор.

Облака сбежали с неба, остались только там и сям мелкие-мелкие следы их, чешуйчатые, как полосы намытого песка сбежавшего дождевого потока.

Свежо, сыро еще, но уже осветило все, все уголки, ясное утро и обещает веселый солнечный день, хотя барометр и упал немного.

Барометр, однако, не ошибся. Мелкие оторванные перламутровые облака окружили солнце и, прикрывая его, рельефно открывают спрятавшуюся за лучами солнца даль. Словно отпечатана она в прозрачном воздухе и спит неподвижная, вся в горах, в синеватой мгле осеннего дня. Одинокая сосна на далекой вершине, на другой, на террасе, словно замок — грозный, темный, где проходит или прошла какая-то неведомая жизнь.

Громадные черные бакланы носятся по реке или сидят на берегах, едет под утесистым берегом китаянка верхом на лошади, нарядная, зачесанная, работник ведет в поводу ее лошадь. Там и сям стоят такие и большие, чем наша, шаланды с разными товарами: солью, мукой.

Маленькая, как корыто, лодочка плывет; прирос к ней кореец и маленькими двусторонними веслами искусно управляет, и прыгает с ним лодочка по острым волнам переката и быстро скользит вниз. Вчера мы обогнали эту лодку и видели в ней гребущего корейца и другого, неподвижно лежавшего (малейшее движение, и лодка опрокидывается), укрытого до головы. Желтое лицо лежавшего, острый взгляд черных глаз говорят о болезни, — это купец, заболевший на чужой стороне, спешащий теперь в родной город Ичжоу.

В его глазах напряженный страх: доедет ли.

Сегодня уже весь он покрыт, и взявшийся доставить его печально кричит П. Н.:

— Умер.

Как умирал он на этих волнах, не двинувшись, не опрокинув лодки? Может быть, и умер оттого, что, сделав движение, опрокинул лодку и утонул.

Лицо лодочника печально, и будет везти он свой груз еще дней восемь, задыхаясь в отвратительном трупном запахе. Но другого выхода ему нет. Как вознаградят его, может быть, обвинят его? Фигура лодочника говорит о его незащитности, нравственной придавленности.

— Зачем он не заявит ближайшему начальнику, не предаст тело, ну хоть временно, земле, а там уведомят его родных?

П. Н. кричит ему что-то, тот отвечает:

— Он обещал живого или мертвого привезти его в его дом.

— Получил ли он деньги?

— Ничего не получил.

— Покойник везет с собой деньги?

— Он не знает.

— Кто удостоверит, за сколько он нанят?

— Небо.

Нет, конечно, он врать не будет. Кореец ведь не врет.

Мы плывем дальше. Горы опять подошли, и узоры их ковров видны рельефнее, — посохшая трава, мягкий светло-коричневатый, бархатистый фон. Лес с посохшими листьями, островками там и здесь выступает темно-коричневый бархат.

Это гигантская шкура тигра, он залег здесь и спит под голубым небом, над голубой рекой.

Вот сидит каменный человек.

— А там, у ног его, — объясняет капитан-китаец, — лежит другой такой человек. Это брат убил брата и сел, а когда спросил его один старик: «Ты что дела ешь?» — он ответил: «Брат мой спит, я стерегу его». — «Ну и стереги, пока свет стоит».

А вот скала тигр. Громадная голова, вдавленная между плеч, и лапы — точно пригнулся и вот-вот прыгнет.

— На голове у него след от тигровой лапы, — объясняет тот же капитан.

— Отчего же он тут?

— Его не знает, — переводит В. В., — шибко давно было это.

Немного я узнал с моим В. В. о китайском житье-бытье. Хочу в Ичжоу подыскать корейца, хорошо говорящего по-китайски, тот будет переводить П. Н., а он мне. В. В. разве в том отношении будет полезен, что с ним китайцы разговорчивее и откровеннее будут.

Я занимался, когда меня позвали:

— На китайском берегу моют золото.

На отлогом китайском берегу сидели две партии корейцев, по пяти человек, сидели и что-то делали.

Мы пристали к берегу, и проводник кореец, он же и сказочник, отправился сперва один спросить у корейцев позволения подойти к ним.

Увидев идущего к ним корейца в их же одеянии, хищники, успевшие уже наострить лыжи, остановились и, выслушав просьбу, изъявили согласие на наш приход.

Тогда мы все пошли, и они посвятили нас во все тайники своего несложного искусства.

Сперва они роют и просеивают песок. Роют прямо с поверхности, просеивают в небольшое (в пол-аршина) лукошко, сделанное из стеблей конопли.

Отделяются камни больше одного дюйма. Этот просеянный песок в лукошках сплошных переносят к воде (сажен 20). Там в деревянных плоских тарелочках, постоянно скруживая, промывают песок, отбрасывают крупные камешки, опять моют и кружат, пока в лукошке не останется черный, как ил, песок и несколько крупинок мелкого золота.

Пять человек в день намывают на два рубля.

Прежде здесь работало много, и казна с каждого в месяц брала по 350 кеш (70 копеек), но теперь золото истощилось, китайцы перешли вниз по течению, а остатки подбирают корейцы.

Отсюда (верст десять ниже Вивена) и вплоть до устья все время моют золото, и чем ниже, тем богаче оно.

Мы взяли пробу, поблагодарили корейцев и поехали дальше.

— Берегитесь, где золото моют хунхузы, лучше прячьтесь в каюты, а то они стрелять будут.

Проехав верст пять, мы останавливаемся ночевать, как потому, что уже темнело, так и потому, что впереди виднеется самый мелкий пережат

Капитан, сейчас же по приезде, отправился узнавать, как и где проехать его.

Только в первый день, однако, удалось проехать 160 ли; сегодня, например, хорошо ехали, нигде не стояли, а сделали всего 130 ли (43 версты). Дело в том, что чем дальше, тем тише течение.

Пристали к корейскому берегу (это не по нашей инициативе, наши китайцы-матросы сами предпочитают корейский берег китайскому).

Узкое ущелье, и в нем две фанзы на уступах ущельев. Где-то на отвесных горах виднеются ничтожные клочки пашни, которой в общей сложности не наберется и трех наших казенных десятин.

Лучшая фанза, куда сперва ходил наш кореец, очень бедна: род кавказской горной сакли. Заднюю стену составляет скала, двор — маленькая площадка уступа той же скалы. Ни соломы, ни скирд хлеба, пять-шесть тыкв лежат на завалинке, несколько горстей кукурузы, даже красного перца не было.

Все бедно, очень бедно, и только вид из этой сакли, высеченной наполовину в скале, был прекрасный на реку, на китайский берег и всю горную даль.

Мужа дома не было, встретила нас жена его словами:

— Мы должны принять путников.

Жена, молодая женщина лет двадцати пяти, по обычаю здешних мест, ходит без юбки, в широких шароварах, с голым поясом, спиной и грудью, в короткой кофте, прикрывающей только верхнюю часть спины. Она стройна, симпатична, но некрасива, как громадное большинство кореек, с широкими скулами.

Сперва она боялась нас, но потом, увидав, что мы скромны до того, что до прихода ее мужа не хотим входить в дом, рассмеялась и сказала:

— Ну, это уже совсем лишнее, а вот солому без мужа я не могу вам разрешить.

Муж ее с другими приносит обычную годовую молитву за хороший урожай.

Скоро пришел и муж, тоже молодой, высокий и стройный, очень симпатичный.

Он разрешил нам постелить солому для постели (снопы конопли, другой не было), а когда стемнело, в его фанзу собралось несколько корейцев и теперь ведут оживленный разговор, расспрашивают о нашем путешествии.

Никогда они никаких русских, ни других народов не видали.

Оказывается, наш хозяин почти не занимается посевом, а исключительно живет рыбной ловлей. Ловит и продает ее корейцам, то есть выменивает на кукурузу, чумизу и прочие хлеба. Но эти дни он что-то болеет и не ловит рыбу. Было у них двое детей, но умерли от оспы.

На наше счастье он сегодня ночью забросил невод.

Ловится мелкая рыбка, крупной нет, пол-аршина наибольшая.

— Много рыбы в реке?

— Много.

— Много людей занимаются ловлей рыбы?

— Как ремеслом, очень мало.

— Скучно вам без хозяйства?

— Живем с женой.

Жена прижалась к нему, и сидят себе, довольные своей судьбой, в своем горном гнезде.

— Вот в этом году нам счастье: разбило плот, и мы наловили себе вот сколько бревен.

Брусев, сажени в две длиной, до трех четвертей аршина шириной и до полуаршина толщиной, по преимуществу кедрового леса, столярного, прекрасного качества, до ста штук навалено в овраге. И не только здесь, а и везде, где нам приходилось останавливаться, мы видели здесь такие же кучи этого леса.

— Что вы с ним делаете?

— На дрова пилим.

Что стоила работа в лесу, вывозка к реке, сплав?

— Какая часть плотов так пропадает?

— Большая половина.

Вечер. Глухо шумит осенний ветер, шелестя сухой крышей нашей фанзы. Тускло горит длинная, параллельно полу воткнутая, корейская свечка. Несколько человек корейцев сидят на пороге.

— Они спрашивают: чем дарить им высоких гостей?

— Скажите, мы никаких подарков, кроме их сказок, не принимаем. Если хозяин хочет доставить своим гостям удовольствие, пусть он расскажет сказку.

Хозяин переглядывается с женой и смеется.

— Какие мы знаем сказки? Наши сказки простые.

— Их нам и надо.

— Говорит: надо подумать.

Пауза.

— Вот наша сказка, — говорит хозяин, смотря усиленно в землю и раскуривая свою трубку. — Один человек выкрал себе жену и ушел он с ней на Амнокку рыбачить. И жили они, вот как и мы, на Амнокке. Пока муж был здоров, все шло хорошо, потому что они любили друг друга. Другой раз нет рыбы, — ну, покрепче прижмутся друг к другу, чтобы меньше есть хотелось, и уснут. Но простудился раз муж на реке и свалился. Тогда плохо пришлось им: нет рыбы, нет чумизы, нет денег знахаря позвать. Лежит муж и говорит:

— Если б мне теперь рыбки съесть, я бы выздоровел, а без рыбы умру.

Ничего не ответила ему жена и ушла на реку.

Сидела, сидела — нет рыбы.

Тогда она взяла нож, вырезала из своей ноги длинный кусок мяса, пришла домой, изжарила и подала мужу.

— Я никогда не ел такой вкусной рыбы, — сказал муж, — как ты поймала ее?

— Я сидела на берегу и просила небо и морского царя, и рыба выскочила из воды ко мне на берег.

— Ах, — сказал муж, — я уже наполовину ожил, еще бы одну такую рыбку, и совсем бы я выздоровел. Не попросишь ли ты еще одну?

— Попробую, — сказала жена и опять пошла и вырезала себе кусок мяса из второй ноги.

Муж съел и сказал:

— Ну теперь я совсем здоров; никогда я не ел такой вкусной рыбы.

Муж выздоровел, а жена его день ото дня таяла. Муж никак не мог понять, в чем дело, когда однажды увидел у спавшей жены кровь на ногах, посмотрел и увидел страшные раны. Тогда он понял, откуда жена доставала ему рыбу, и от горя болезнь опять возвратилась к нему, и через три дня он умер.

Собрав последние силы, жена продала все, похоронила мужа и осталась одна во всем свете на помеху всем.

Она пошла к реке и бросилась в нее.

Но она не утонула: с неба спустилась в воду радуга, по ней сошел муж ее, подал ей руку, и оба они, уже здоровые и счастливые, ушли в небо, к великому Оконшанте.

После того в той округе, где жила утопленница, три года был голод, пока один предсказатель не сказал, проходя, жителям:

— Вы до тех пор не избавитесь от голода, пока не поставите в честь утонувшей установленное для добродетельных женщин памятника.

Тогда жители обратились через губернатора к императору и, получив от него разрешение и грамоту, воздвигли установленный по закону памятник в честь добродетельной жены.

С тех пор округа не знает голода, и старик, показывая ребенку на стоящий у горы памятник, говорит: «Если тебе попадется такая жена, она составит и твое счастье и всех живущих в ее округе».

Рассказчик замолчал, молчали и мы, а погода хозяин смущенно сказал:

— Плохие наши сказки.

— Сказка очень хорошая: она говорит об уважении к женщине, о бедных людях, их трудной нужде, о том, что только и выход у них — на небо, к Оконшанте.

— Хорошо еще если на небо — не всякий туда попадет, а вот как начнешь бегать тысяченожкой. А может, и тысяченожке не так уж плохо живется.

Вот что раз случилось. Висели два камня над рекой, — один пониже, был всегда в воде, другой повыше — всегда наверху.

Который пониже был, говорил:

— Хоть раз бы мне увидеть, что делается на земле. А который повыше был, говорил:

— Хоть раз бы закрыло меня водой.

Вот и пришел раз такой сухой год, что и нижний камень увидел землю. Но было сухо, и все выгорело, — у людей не было хлеба, скот ревел без корма, и все кругом было желто, как лучи солнца.

— Плохо же жить на земле, — сказал камень, — еще немного, и вся растрескается моя красивая наружность. То ли дело, как жил я раньше: прозрачная вода мимо меня бежала, веселый хоровод рыбок кружился и прятался подо мной, когда проходила лодка рыбака вверху, и то-то была потеха, когда с лодки падали куски чумизы, сколько, сколько рыб набегало тогда ко мне в гости.

И он был очень рад, когда вода снова закрыла его и он снова ушел в свое царство.

Пришел другой год, и вода поднялась так высоко, что залила верхний камень. Но вода была мутна, грязна и, как верхний камень ни тарасился, он ничего не увидел, и только грязь набилась в него.

— Фу, какая гадость, — сказал камень, когда увидел опять свет, и уже не хотел больше опять очутиться под водой.

Вот и вся сказка: вода да камни — тут и вся жизнь наша.

Ночь настала, уснули мы, но разбудил нас рев бури, дождь и вой рассвирепевшей реки.

Дождь был и в фанзе: сочилось из задней стены, с крыши текло, как в решето. Злой северный ветер гулял по комнатам, проникая сквозь плетеные, глиной смазанные стены, сквозь бумажные окна-двери.

Было холодно: зуб на зуб не попадал; подмокли книги, записки.

Щелкая зубами, я думал: «Но ведь это только еще половина октября, — придет большой холод, выпадет снег, река покроется льдом, и поедут на санях. Как тогда жить в такой фанзе? И уж не про себя ли хозяин рассказывал свою сказку?»

А он беспечно и весело заглядывает к нам и кивает головой.

Заражаешься их настроением: жизнь для них та же сказка, и все здесь сказочно, и поэтично сказочно, и ужасно сказочно. И природа такая же. Вчера еще было лето; ночь началась теплая, летняя, а теперь зимняя вьюга, с дождем и снегом.

14 октября

Наутро синий от холода капитан объявляет, что в пяти ли самый трудный из всех перекатов и что при таком ветре думать нечего его пройти.

— А если ветер неделю будет такой?

— Надо ждать.

— А если до зимы?

— Весной поедем.

— Чего боится капитан?

— Лодку разбить.

— Пусть бьет.

Капитан смеется. Переводчик переводит.

— Капитан говорит: если разобьет лодку, все будут в воде, а сегодня холодно.

— Ничего, вода все-таки теплее воздуха.

Я начинаю приводить ему доводы: провизия вышла, серебряных денег нет больше, золотых и бумажек не меняют.

Кое-как В. В. переводит, что перекат называется Наун-менлазо, — в нем большие камни расположены в шахматном порядке, — очень трудно и без ветра лавировать между ними, а при ветре наша «Бабушка» и совсем не станет слушаться руля.

Мысль потерять хоть один день вгоняет меня в такую тоску, что я еще энергичнее убеждаю и до тех пор, пока капитан не соглашается.

Наш капитан такой молодец, что с ним ничего не страшно. Но когда мы подходим к перекату, запертому, действительно, двумя отвесными скалами, как косяками, видим кипящую воду и саженные вскакивающие и тут же проваливающиеся волны, когда капитан объясняет, как поступать в случае крушения, на душе делается жутко и, переживая еще одну новую опасность, в тысячный раз упрекаю себя в неисправимости.

Но уже «Бабушка» влетает в ревущий водопад, мы несемся, поворачиваемся набок, кажется, совсем опрокидываемся, отбрасываемся в другую сторону. Рев воды, ветра, дикие нечеловеческие окрики капитана, как статуи от напряжения матросы... И мы опять уже на спокойной глади, и страшный перекат уже сзади, а капитан весело смеется и качает головой.

Мы едем дальше, но холод такой нестерпимый, что впору бросить всякое писанье, сидеть, дрожать и щелкать зубами; особенно когда река делает поворот к северу, а при ее извилистости таких северных поворотов, кажется, больше, чем южных.

Здесь на китайском берегу везде моют золото, и капитан говорит, что здесь попадаются иногда довольно крупные самородки.

По обеим сторонам по-прежнему множество деревень, которых нет на обычной сорокаверстной карте, а тех, которые изредка помечены на карте, нет в действительности.

Напрасно называешь те имена деревень, которые должны бы быть, — нет, и никогда и не слышали таких имен.

Провизия наша подходит к концу, а между тем ни золота, ни бумажек нигде не принимают.

Вся надежда на китайское торговое село Уэй-саго, к которому мы теперь подъезжаем.

У отлогого берега шаланд двадцать, нашего покроя, с высокими мачтами и флажками: белыми, голубыми, красными.

Как только пристали, нас сейчас же окружила густая толпа китайцев. В. В. ушел менять деньги, а мы ждем его.

От китайских судов, к которым мы пристали, вонь нестерпимая.

— То от их еды, — объясняет Бибик, — бо мабуть дохлых собак ели. Ему какая падаль ни попадется — все годится. А потом так и носит дух от той падали по неделям.

Какой-то франтоватый китаец, высокий, с узкими плечами, молодой с щегольской, наполовину искусственной косой что-то с пренебрежительной гримасой объясняет толпе по поводу наших инструментов, вещей, платья. Слышно часто: мауза, — что значит стриженный. Это презрительная кличка для всякого европейца.

Ах, хорошо бы разменять деньги и купить чумизы, спичек, китайского сахара, рису.

Вот идет, наконец, В. В. Он в своей голубой шубе с китайским воротом, разрезами по бокам и шапочке Меркурия, очень напоминает фигуру наших бояр XV столетия. И сапоги желтые, и идет вперевалку.

Но вид у него не торжествующий.

За ним катит широкой походкой, в непромокаемой куртке, неладно, да крепко сшитой, П. Н.

— Не меняют, — кричит он издали.

— Что же делать?

— У меня два доллара есть, — говорит В. В.

Ну, хоть чумизы да спичек купим. Но и чумизы не оказалось; купили дробленую кукурузу.

Надоело все это и грязно. В каждом блюде китайских волос, как салата, накрошено: жесткие, черные, они секутся и летят, как перед весной летит с лошадей шерсть. стакан чаю подадут, и сейчас же в нем, кроме пятен жира и аромата его (у нас одна кастрюля, в которой все варится по очереди), масса черных волосиков. Прибавим ложку китайского желтого сахару, и прибавится еще одним неприятным специфическим запахом больше.

Иногда я закрываю глаза и хочу вспомнить вкус наших блюд. Но ни одно из них не вызывает больше моего аппетита, мне кажется, я навсегда потерял аппетит к какой бы то ни было еде. Смотришь на нее с отвращением и принимаешь, как лекарство, без которого не проживешь. Вот уж никакого чревоугодничества в этой обстановке нет. На горах вместо дождя выпал снег, и так печально все говорит о зиме, холодных днях.

Пора, пора бы и нам, залетным птицам, лететь, если не в более теплые края, то хотя в родные и во всяком случае с домами, в которых печи, у которых можно отогреться.

В этом китайском селе из девятнадцати фанз одна принадлежит начальнику города, девять под лавками, пять под гостиницами, и таким образом для обыкновенных жителей остаются четыре дома.

Все дома — тип двойных крестьянских изб, вымазанных глиной и крытых камышом.

Только водочный и масляничный заводы в стороне от села и обнесены белой стеной.

Китайские телеги двухколесные, неуклюжие, их везут четыре-шесть мелкорослых лошадок.

Это село — одно из крупных торговых центров. Здесь скупается золото и продаются добывателям его и другим охотникам хунхузам дробь, порох, пули, ружья и прочие необходимые припасы.

Один китаец торговец, свесив предложенный нами золотой в девяносто долларов, предложил за него одиннадцать долларов, — очевидно, по курсу скупаемого им здесь золота. Но и этим скупщикам

золото привозят тоже больше скупщики, и можно представить, что получает непосредственный добыватель.

Солнце выплянуло перед закатом и бросило сноп фиолетовых с непередаваемо нежным отливом лучей на две горы, и горят они, как прозрачные, каким-то чудным светом среди печального сумрака остальных гор. Но и в сумраке они в бархатных своих одеяниях волшебны хороши.словно дворец богатый в полумраке, и только одна комната его горит огнями и льет свой свет в нарядный полусвет других комнат.

И, несмотря на нестерпимый холод и ветер, нельзя не поддаться прелести этого холодного, но прекрасного, как мечта, как сон, заката.

Как ни прекрасна природа всегда и во всем, но мы все стоим на палубе нашей «Бабушки» и напряженно высматриваем первую самую маленькую фанзу, чтоб променять весь этот волшебный, но ледяной дворец на маленькую, душную, с насекомыми и сверчками глиняную комнату фанзы.

И вдруг страшно, до безумия почувствовался родной камин, близкие сердцу лица. Перенестись на одно мгновение — не надо пищи, не надо удобств, но увидеть, согреться душой и телом. Какой бы то ни было ценой можно ли исполнить это желание? Нет, нельзя.

Уныние ненадолго. Да и мне ли унывать, так счастливо вырвавшемуся из всех случайностей совершенно первобытного, неизведанного пути. Уж совсем было попались в лапы кровожадных хищников. Приди они раньше, они и фанзу зажгли бы раньше, и лошадей перестреляли бы, да и мы куда делись бы ночью? Волей-неволей должны были бы показаться невидимому врагу и попасть под расстрел.

Но и живые, без лошадей, за сотни верст от жилья, куда бы мы делись от них? Ничем не рискуя, ночь за ночью, они расстреливали бы нас, пока не покончили бы с последним, уверенные, что все, что с нами, при нас и осталось бы.

А застигни этот холод нас на Пектусане, где теперь, вероятно, градусов пятнадцать, да при ветре, превращающем эти пятнадцать градусов в нестерпимый мороз. Заблудись мы там в такую ночь, как прошлая, начало которой было такое теплое, и мы все там и остались бы, превратившись в такие же ледяные сосульки, которые висели по его скалам и тогда уже, когда мы были там.

Я понимаю теперь тот страх, который охватил Дишандари, когда ночью тогда пошел вдруг снег.

Спокойный и мужественный, он заметался тогда и упал духом и говорил, как человек бесповоротно погибший.

И после такого счастливого в конце концов результата могу ли я роптать? А вот и фанза наконец, уныние мое быстро прошло, и я уже радостно оглядывался в крошечной, наполненной кукурузой, угарной, но теплой комнате фанзы, где приютили нас.

Только что устроились, входят несколько корейцев.

— Мы, жители этой деревни, узнав о приезде иностранцев, собрались и, обсудив, решили приветствовать дорогих гостей.

Я благодарю и прошу садиться. Они опускаются на корточки, и начинается беседа. Кто мы?

— Мы русские. Слыхали ли они о русских?

— Слыхали. Это самое большое и сильное в мире государство.

Разговор продолжается с час, и мы расстаемся, желая друг другу всего лучшего.

Собственно, не расстаемся: депутация переходит в домашние комнаты хозяев, и оттуда еще долго мы переговариваемся, пока, наконец, на обычный вопрос: «Чем же им угощать дорогих гостей», — я отвечаю: «Сказками».

Из трех сказок одну, по совершенной ее нецензурности, пришлось не записать, а в одной, относительно верной жены, пришлось опустить по той же причине несколько сильных и злоостроумных мест. А на вид, когда они сидели в моей комнате, это были такие почтенные люди.

16 октября

Сегодня попутный ветер, и мы, сделав из двух бурок парус, едем со скоростью шести верст в час. Наш оригинальный парус в виде черной звезды привлекает общее внимание. Несколько шаланд, однако, с своими громадными римскими парусами обогнали нас.

— Нельзя ли, чтоб они нас прихватили?

Кричат им, — отвечают: можно.

— Сколько они за это хотят?

— Об этом не стоит разговаривать, — сколько дадут.

Нас привязывают борт. к борту, и мы едем со скоростью восьми верст в час — давно неведомое удовольствие.

— Нельзя ли вам сказать в ближайшем таможенном пункте, что эти бобы, которые мы везем — ваши, тогда мы не заплатим пошлины?

Об этом просят нас китайцы, хозяева паруса.

— Нет, этого нельзя. А много у вас бобов?

— Около тысячи пудов.

— Сколько вы заплатите пошлины?

— По копейке с пуда.

— Если вы довезете нас до И-чжоу, то мы примем пошлину на себя.

— Мы бы рады, если позволят перекаты.

Пока во всяком случае мы едем вместе.

У нас все, решительно все на исходе. Кроме мяса, впрочем, но мясо зато начинает пахнуть. Я предлагал выбросить его, но Бибик говорит, что именно теперь мясо и хорошо.

— Корова старая, жесткая была, а теперь мягкая, нежная.

Мясо, действительно, на вкус теперь гораздо лучше стало.

— А вы посмотрите, — горячо заступаясь за мясо, говорит Ив. Аф., — что китайцы едят, — к ихнему мясу без зажатого носа и подойти нельзя, а это что? Вот как надо, к самому мясу наклониться, чтоб услышать дух.

— Обед нечем варить: дров нет, — докладывает Ив. Аф., — разве у китайцев той шаланды в долг взять.

— Попросите.

Дали дров.

— Сколько стоит?

Смеются:

— Ничего не стоит.

Сварили себе обед и предлагают нам. Благодарим и показываем на свой, который собираемся варить. Ив. Аф. пристроился все-таки и ест.

— Гораздо вкуснее нашего: хорошо разваренная кукуруза, какая-то прикуска.

— Неловко, бросьте.

— Что ж неловко, — им это лестно только.

Я боюсь, что было бы, если бы до И-чжоу оставалось еще несколько дней, — мы все обратились бы в нищих странников.

Холодно, грязно, голодно: последние часы в Корее проходят тускло. Только к вечеру как будто теплее стало. Шире река и, как расплавленная, с фиолетовым налетом, спит неподвижно. Понизились горы, сзади сомкнулись крутые, высокие, а вперед ушли мелкими отрогами, открывая горизонты и даль реки. Там недалеко уже и конец всем горам, и через два-три дня мы будем уже любоваться необъятным горизонтом моря.

Словно из тюрьмы, каким-то узким, бесконечно высоким коридором выходишь опять на волю.

Последняя ночевка в корейской деревенской гостинице. Душно, тускло; человек двадцать корейцев, кроме нас; насекомые и дым, дым из растрескавшегося пола, едкий, вызывающий слезы; дым от крепкого корейского табаку, заставляющий чихать и кашлять. Попробовали отворить дверь, — извиняются, но промят затворить: больные есть.

После еды корейцы отгрызают пищу, и бесконечные рулады оплашают воздух.

Не хочется есть, не хочется спать, и в то же время чувствуешь болезненную ненормальность этого. Продолжайся дальше путешествие — поборол бы себя, но теперь весь как-то сосредоточился на конце своего путешествия.

Боюсь только упустить что-нибудь существенное.

Лесу нет, на каждом шагу — и на китайском и на корейском берегу поселения. Китайский берег более пологий, богаче почвой и пахотными полями. На китайском же берегу, в местности Мен-суичуэнг (Холодный ключ), против корейской горы Чусанчанга, богатейшие серебряные рудники. Все китайцы передают о них, захлебываясь от восторга. Но китайское правительство не разрешает разрабатывать их, не разрешает разрабатывать рудники красной меди близ Мауерлшаня.

— А тайно?

Китайцы отчаянно машут головами: «Хунхузы».

17 октября

Сегодня придем в И-чжоу.

Это первая мысль, с которой проснулся, вероятно, каждый из нас.

Серенький денек, небо в тучах, сыплется оттуда что-то невероятно мелкое, что-то, чего не разберешь в ранних сумерках начинающегося дня. Перспектива намокнуть не особенно приятна, а о работе и говорить нечего.

Природа на прощанье хочет наглядно показать нам, что нет такого положения, которое не могло бы стать худшим.

Вероятно, оттого, что мы искренне уверовали в это, природа смилостивилась; дождь перестал, и в результате, правда, серенький, но теплый денек, какие бывают у нас в начале сентября.

Морозов нет больше, они остались там, за теми горами.

Перед нами же юг, тепло, океан.

Все это места, посещенные японцами; здесь в последнюю войну проходили японские войска.

В корейском населении впечатление от пребывания японцев сохранилось несомненно очень хорошее, да к тому же японцы победили китайцев, их исконных угнетателей и для корейца непобедимых.

Поэтому к японцам и уважение большое.

За все то, что японцы брали у корейцев, — за все платилось.

Тем не менее и после войны все-таки китайцы здесь хозяева и на своем и на корейском берегу. В тоне обращения их с корейцами чувствуется обращение победителя с побежденными. Благодаря этому и японцам нет здесь ходу.

Китайцы оскорблены и возмущены победой японцев.

— Что такое Япония для нас, пятисотмиллионного народа?

Как бы то ни было для мирной торговой деятельности здесь, на Ялу, условия для японцев неблагоприятные. Китаец силен здесь и в торговле, да силен и в своем оскорбленном национальном чувстве.

Это чувство у китайцев есть несомненно. И равнодушием только маскируется временное бессилие.

Наконец, у японцев денег нет, а здесь, чтоб делать хорошие коммерческие дела и захватить район Северной Кореи и главным образом примыкающей к ней Маньчжурии, нужен первоначальный капитал не меньше ста миллионов.

— Смотрите, — говорит с завистью П. Н., — на китайской стороне золото роют, хлеб сеют, а через Амнокку только перешел в

Корею — голые горы и ничего больше. Там золото, серебро, железо, красная медь, какой лес, а здесь ничего. Нет счастья корейцам...

Я решаюсь выступить тоже в роли корейского сказочника.

— Позовите нашего проводника, и я расскажу ему, почему нет счастья в Корее. Когда Оконшанте создал землю, то ко всякому государству послал особого старца покровителя. Послал и в Корею, наделив старца всеми богатствами: пашней, лесом, золотом, серебром, красной медью, железом, углем. Все это старец уложил в свой мешок и пошел. Шел, шел, устал и остановился на ночлег в Маньчжурии. Предложили ему маньчжуры своей сули, соблазнился старец и думает: на ночь выпью, а до завтра просплюсь. Не знал он, что китайская водка такая, что стоит на другой день хлебнуть воды, как опять пьян станет человек (не переброженная). Вот проснулся старик на другой день, плотнул ключевой воды и пошел своей дорогой. Пошел и охмелел, — так и шел весь день пьяный. Перебрел через какую-то речку, и показалось ему, что перешел он Амнокку, и стал он разбрасывать повсюду пашни, леса, золото, серебро, медь, железо, уголь. Когда пришел к Амнокке, остались у него только горы да разная мелочь от всех прежних богатств. Так и осталась Корея ни с чем, а хуже же всего то, что диплом на счастье корейское охмелевший старик оставил тоже у китайцев.

Кореец слушает меня, удрученно качает головой и что-то говорит. П. Н. переводит:

— Говорит: наверно, все так и было.

— Скажите ему, что не было, потому что я сам это выдумал.

— Сказал, только он не верит: говорит, что больше похоже на правду, чем на выдумку. Говорит, что и у них считают, что корейское счастье все попало к китайцам...

Я смотрю в кроткое задумчивое лицо корейца: какое-то спокойное и тихое помешательство и ясная грусть об утраченном навеки счастье.

18 октября

Последний день в Корее. Мы в городе И-чжоу. С виду это самый чистенький и богатый город из тех, которые мы видели.

Множество черепичных фанз с китайскими крышами на четыре ската с приподнятыми вверх, точно улетающими в небо краями. Края

эти изображают из себя иногда драконов, змей, священных птиц. На макушке крыш еще маленькая на столбиках крыша, точно корейская шляпа на голове. Цвет черепицы черный. Черный и белый цвет извести — два господствующих цвета, что придает городу мрачный вид. Все те же бумажные двери, окна, и только в очень богатых фанзах кусочки стекла.

Город до войны процветал и насчитывал до 60 тысяч жителей. Но война разорила его. Сперва китайские войска заняли брошенный почти город и, не стесняясь совершенно, захватывали имущество, ловили скот, насиловали женщин, жгли на дрова фанзы. Затем явились японцы и до появления главной квартиры, по отзыву всех, держали себя нехорошо. Но с приходом главной квартиры безобразия прекратились и стали платить за все.

Теперь в городе насчитывают не более 15 тысяч жителей и 4 тысячи фанз из бывших 20 тысяч. Жители не возвращаются в город, так как живущие на той стороне китайцы упорно стоят на том, что будет скоро новая война с Японией.

Корейцы по-прежнему любезны до бесконечности. Начальник города, кунжу, прислал к нам цуашу (предводитель дворянства) с вопросом, не надо ли нам чего.

Нам надо было разменять японское золото, за которое давали здесь половинную стоимость японскими долларами. Кончилось тем, что кунжу разменял нам все золото по курсу.

Кстати, предупреждаю туристов, думающих путешествовать по северной части Кореи: лучшие деньги здесь японские доллары, которые идут здесь по 500 кеш. От устья Тумангана до Хериона по тому же курсу шли у нас и серебряные рубли и бумажки. Мексиканские доллары идут на 20–30 кеш (4–6) [копеек] дешевле. Золото же и японские бумажки нипочем не идут.

Любезность кунжу этим не ограничилась. Он первый сделал нам визит и на наше замечание, что он предупредил нас, сказал:

— Имя русского в Корею священо. Слишком много для нас сделала Россия и слишком великодушна она, чтоб мы не ценили этого. Русский — самый дорогой наш гость. Мы между двумя открытыми пастями: с одной стороны, Япония, с другой — Китай. Если нас ни та, ни другая пасти не проглатывают, то, конечно, благодаря только России.

Мы остановились в обширной сравнительно фанзе с потолком, оклеенными обоями стенами, с бумажными дверями, на которых нарисованы разные небывалые звери, птицы, с стеклами в середине дверей и окон. На теплом полу, устланном циновками, стоит грубоватое подражание японской ширме, туалетный японский столик с зеркалом и разными банками. Но двор микроскопически мал, грязен.

Улицы чище и шире других городов, есть даже канавы, но грязи и вони все-таки очень много, так много, точно все время вы идете по самому неряшливому двору какого-нибудь нашего провинциального дома. Сегодня как раз ярмарка. В маленькой, узенькой улице много (сот пять) народа, открыты лавки, лежат на улице товары: чумиза, рис, кукуруза, лапша, посуда, сушеная рыба, дешевые материи, пряники (на 20 кеш мы купили фунта два их: тягучие, клейкие, мало сладкие). Толпится рабочий скот. Попадают иногда прекрасные экземпляры быков, пудов до сорока живого веса. Но коров хороших нет: аналогия с людьми. Корейцев много красивых, с иконными темными лицами, но кореянки некрасивы: скуласты, широколицы, с маленькими лбами, с маленькими неизящными фигурками.

Но лица их добрые, ласковые. Особенно у пожилых женщин, у которых нет страха за свою молодость, и они уже спокойно смотрят на вас. Благодаря нарядной прическе в этом взгляде что-то знакомое — так смотрит чья-нибудь тетушка со двора своей усадьбы где-нибудь в глухой деревушке, бедно одетая, но которую вы сейчас же отличите от крестьянки по ее стародавней прическе, — смотрит спокойно, добродушно ласково, все изведавшая на своем веку.

Впрочем, и таких женщин мало. Все женщины где-то прячутся в задних комнатах своих фанз, а редкая, если и показывается на улице, то здесь, на юге, под такой большой шляпой, каких на севере Кореи я не видал. Это не шляпа даже, а большая плетеная корзина, у которой вместо плоского дна конус. Диаметр такой корзины больше аршина, и такая корзина закрывает женщину ниже плеч. Смотрят же обладательницы таких шляп через щели соломенного плетения. Исключение составляют только танцовщицы — класс, официально уже упраздненный, но еще продолжающий функционировать. Их лица открыты, набелены, взгляд смелый, уверенный, костюм нарядный — цветные шелка, около них запах мускуса, гвоздики.

Возле таких танцовщиц всегда несколько молодых людей в изысканно белых костюмах, нередко из шелка, в своих черных из волоса с миниатюрными тулками и громадными полями шляпах.

Очевидно, тонкостью своего обращения они хотят импонировать львице и всем окружающим, подражая во всем своим старшим по культуре братьям — китайцам.

— Тут что... А вот в Сеуле... Там образованные танцовщицы, там они не хуже китайских умеют играть и перекидываться острыми словами.

Сказать острое словцо, подобрать тут же рифму с особым смыслом, с намеком на политику, общественную жизнь, на какой-нибудь наделавший шуму эпизод — это верх образования.

Мы праздно продолжаем ходить по ярмарке. Один кореец купил горсть рису, другой тащит мешочек кукурузы, чумизы, а тяжелая связка кеш болтается у него сзади, привязанная к поясу. На самом маленьком нашем деревенском базаре и товару больше и крупнее торговля.

А вот похороны. Большие парадные похороны. Умерла жена — уже старуха — богатого корейца. Процессия с воплями и плачем медленно проходит.

Впереди всех верхом на лошади, по-мужски, женщина в сероватом из тонкого рядна халате, повязанном веревкой. Женщина эта покрыта каким-то прозрачным серым мешком.

Это любимая раба, на обязанности которой лежит оплакивать покойницу. Почетная роль. Радостное сознание этого почета заглушает в ней печаль, и хотя она и усердно взвизгивает, но озабоченно и со страхом оглядывается, боясь пропустить момент, когда надо остановиться. Ее уродливое лицо, с несвойственной для корейки живостью, то и дело оглядывается назад. Видно, что для нее это событие на всю остальную жизнь и честь выше головы.

Все войдет опять в колею, опять будут ее неволить и бить, но этот день, как солнце всей ее жизни, будет светить ей до последнего шага ее жизненного пути. Будет о нем она рассказывать внукам и правнукам своих господ и в ясный весенний день, когда отдыхать будут ее старые кости, и в угрюмый осенний вечер, когда от ломоты места живого не будет в них, так же рассказывать, как и у нас еще

рассказывают барчукам старые нянюшки, видевшие еще и барщину и всю неправду крепостной жизни.

За работой тянется ряд хоругвей: на шестах доски с изображениями людей и невиданных зверей, громадные кольца золоченой и красной бумаги. Это деньги — деньги для ада, которые там будет платить покойница. Их положат с ней в могилу. Она и здесь уже платит, — идут двое и разбрасывают такие деньги по дороге. Это умиливает духов ада, и, следуя теперь за телом, они ни покойнице, ни ее родным, ни всем тем, мимо домов которых проносят тело усопшей, не будут делать зла. Но для верности женщины каждого дома выносят на порог горсть сухих листьев, хворосту, ельнику и жгут его. Дым еще лучше денег отгоняет злых духов и во всяком случае гигиеничнее.

Ближе подходит процессия, и нестерпимый в неподвижном солнечном воздухе трупный смрад. Не удивительно: тело покойницы держали три месяца на дому прежде погребения.

Вот и катафалк — громадные закрытые носилки с балдахином, закрытым со всех сторон. Стенки его разноцветные, по верху изображения страшных лиц, драконов, змей, священных птиц.

Впереди катафалка дети, родные, друзья. Сзади носилки: в передних сидит подруга покойной и громко плачет — это ее обязанность.

Процессия останавливается на перекрестке, где дорога сворачивает уже за город, и происходит последнее поминание в городе.

Перед катафалком устанавливается богатый корейский стол с рыбой, но без мяса, так как это был пост, с чашками риса, с восковыми свечами.

Впереди этого стола (не выше полуаршина) полусидят на коленях все мужчины, одетые в траур (такой же, как у рабы).

Муж покойной читает какие-то бумаги, сын покойной, лет шестнадцати юноша, стоит перед столом, лицом к катафалку, и кладет частые земные поклоны или, складывая руки, поднимает и опускает их.

Чтение нараспев, и иногда все подхватывают и повторяют припев. Какой-то, очевидно, сильный момент, потому что все заметались, припали к земле, и несколько искренних рыданий сливаются с страстно тоскливым напевом.

Ощущение какого-то всеконечного конца, горя, пустоты.

Кончилось, все встают, обед несут дальше, и вся процессия опять приходит в движение, медленно скрываясь где-то за городом в ярких лучах осеннего дня.

Так же, как и у нас, точно тише вдруг стало, и громче там и сям пение петухов.

Пора и к начальнику города с визитом.

Маленький начальник в лиловом шелковом халате, с маленькой в три волоска бородкой уже ждет нас на высоте своего навеса.

Для нас открыты средние ворота, нас ведут по средней лестнице — это высший почет. По этой же лестнице спешит сойти навстречу к нам кунжу.

Мы жмем руки друг другу и идем внутрь его помещения. Комната без стульев, ковер: жестом руки нас просят садиться.

Я уже привык и сажусь свободно, поджимая под себя ноги, но Н. Е. никак не может усесться, и, наконец, ему приносят какое-то высокое сиденье.

Нам подают маленькие столики с закусками, рисом и супом, но мы только что поели и едим плохо.

Хозяин дарит мне два листа с надписями, сделанными известным поэтом Кимом. На одной из них говорится о городе И-чжоу в таких словах: «Где кончаются горы, где долина и зелень, где гладь воды, где синее небо да белое облако в небе, там город И-чжоу».

Этот Ким был когда-то начальником здесь, любил город и оставил по себе очень хорошую память.

Мы сидим; я осматриваю маленькие высокие комнаты здания, с вертикальными рядами китайских знаков. Мы уже переговорили обо всем; несколько раз повторяет хозяин уже высказанное сожаление, что мы так скоро, сегодня же, покидаем его город; мы хотим вставать и прощаться уже, когда что-то докладывают хозяину, и он, сделав гримасу, что-то говорит и неохотно встает, направляясь к порогу.

Там стоит он и ждет, а во дворе какой-то шум. Немного погодя показываются китайский офицер и несколько его солдат.

У порога хозяин и гость кланяются.

Китайский офицер с красивым римским лицом, бритый, высокий, стройный, с изящными манерами, в костюме, напоминающем

римские туники, входит в комнату, уверенно, но вежливо кланяется нам и по приглашению хозяина садится на ковер.

Я делаю движение встать, но П. Н., из нескольких фраз понявший, в чем дело, говорит:

— Не уходите, очень интересно. Это начальник китайского города. Он пришел с жалобой на корейцев. Будто бы триста корейцев его плот ограбили. И плот не его, и триста корейцев никогда не бывало: все врет... Если б офицер понимал, что говорит П. Н.! Но он сидит величественно и спокойно, слегка поводя своими большими, красивыми, подведенными глазами. Видны были его красивые, длинные руки с громадными отточенными ногтями, с широким из цветного камня кольцом на большом пальце.

Он, очевидно, знает, что все на нем дорогое и сидит хорошо, и умеет он держаться, знает, что он красив и строен и может быть и очаровательным поклонником, и суровым, беспощадным судьей, и жадным хищником, не пропускающим удобного случая. Таковым был он в эту минуту, и лицо его словно говорило: «Если я в данный момент и обнажаюсь, может быть, с этой стороны, то мне все равно: остальное при мне, и я добыю своего».

Маленький корейский начальник, полный контраст своего гостя, болезненно и раздраженно мнетя.

Он обрывает речь своего гостя и раздраженно обращается к переводчику:

— Спроси: разве вышел новый закон, по которому китайские солдаты тоже могут входить в мою комнату, и притом не снимая обуви?

Солдаты в своих синих кафтанах, с красными и желтыми щитами и обшивками, действительно явились без церемонии за своим начальником и, кажется, только ждут распоряжения, чтоб броситься на тщедушного хозяина.

Переводчик дипломатично обращается не к офицеру, а шепчет что-то солдатам. Те нехотя и обиженно выходят не только за дверь, но и совсем на двор.

Выслушав гостя и приняв его заявление, хозяин говорит переводчику:

— Всегда китайцы жалуются, что их грабят корейцы, и маленькие дети даже не верят и смеются над этим. Их хунхузы грабят.

И всегда лес оказывается начальника, но всегда без документа. Начальник говорит, что и деньги были отняты у его сплавщиков леса. Когда у сплавщиков бывают деньги?

Хозяин устало опускает голову: ему обидно и стыдно и за гостя и за себя. Офицер просит вызвать на суд виновных. Хозяин отдает распоряжение.

Мы встаем и откланиваемся. Такой же великолепный поклон со стороны римлянина китайца. Мало того, он встает и совершенно по-европейски жмет, нам руки. Я жму и с радостью соображаю, что он сегодня в свой город не попадет, а я буду там ночевать, а завтра утром, прежде чем он приедет, я уже выступлю и таким образом избавлюсь от визита к нему.

Хозяин с видимым удовольствием оставляет своего гостя и, несмотря на усиленные наши просьбы, провожает нас до ворот.

Мы спешим в свою фанзу. Наши китайцы матросы с своим гигантом капитаном уже ждут нас. Итак, мы отправляемся по восточному побережью Ляодунского полуострова в Порт-Артур. Лошадей наших, идущих из Мауерлшаня с Бесединым и Тайном, еще нет. Так как в Порт-Артуре у меня и Н. Е. есть дело, которое задержит нас там на несколько дней, то я решаю ехать с Н. Е. вперед, чтобы воспользоваться тем временем, пока будет подходить наш обоз для нужных работ в Порт-Артуре.

Во главе обоза остается И. А. При нем солдаты: Бибик, Беседин, Хапов и кореец Тайн. С ними же остается китайский переводчик В. В. Последнего оставляю с величайшим сожалением, заменяя его корейцем, говорящим по-китайски. Этот будет переводить П. Н., а последний нам. Таким образом, передовой отряд составляется из меня, Н. Е., П. Н. и корейца, жителя И-чжоу.

При нас два револьвера и мой маузер с последними девятью зарядами. Все остальное вооружение мы оставляем обозу.

Обоз — громкое название: семь верховых лошадей, одной больше против числа всадников. Эта лишняя повезет кастрюлю и четыре уцелевшие чашки — вот и весь наш теперешний обоз.

Капитан и матросы ручаются за безопасность нашего пути до Порт-Артура.

— Есть морские пираты, но сухопутных хунхузов маню (нет). Все время вы будете ехать густонаселенными пахотными местами.

Этого довода для меня достаточно, чтоб не думать больше о каких бы то ни было хунхузах. Потому что, если я видел там в горах эти уродливые язвы китайской цивилизации в лице хунхузов, то успел уже увидеть и культурный земледельческий класс. Познакомился наконец и с другим классом людей в лице моего капитана и его моряков — пролетариев, рабочих, которые честным путем хотят заработать свой хлеб.

Я не мог не проникнуться к тем и другим глубоким уважением: я видел тяжелый труд земледельца по притокам и по самой Амноке, видел тяжелый и мужественный труд моряков. Я видел этот облагороженный свободным трудом взгляд и понимал и чувствовал, что при внешнем сходстве этих людей с хунхузами (грязный костюм, нечистоплотная коса, закоптелый таежный вид) разница по существу неизмеримая, такая же, как между нашим лесным бродягой и оседлым населением.

Все это, торопливо укладываясь, я растолковываю маленькому, но храброму И. А., который высказал некоторое сомнение относительно риска предстоящего путешествия.

Все готово.

— Ну-с, господа, до Порт-Артура. Помните постоянно, что вы в гостях и, следовательно, ничего требовать не можете. Хороший гость старается, напротив, сделать что-нибудь приятное хозяину.

Мы опять в нашей «Бабушке». Она довезет нас по реке до китайского городка Сохоу, а оттуда завтра на лошадях мы поедем дальше по Ляодунскому полуострову.

Сохоу в тридцати пяти ли от И-чжоу. Отсюда до Татонкоу, морской пристани у устья Амноки, главного пункта лесного, тридцать ли.

Солнце садится, и в последний раз мы видим его с корейского берега: оно уже за горами, и светятся далекие теперь горы, охваченные фиолетово-золотистой дымкой. Тишина, покой, мир. Горит река, и все неподвижно и тихо, как сладкий, но чуткий сон усталого человека. Он спит, видит грезы, но весь чувствует свой сон.

Усталый человек — это я. В первый раз за время своего путешествия я ощутил, вернее, позволил себе ощутить, ввиду близкого уже конца, утомление. В первый раз только на одно мгновение я позволил себе посмотреть на все окружающее с точки зрения моих

обычных удобств. Я, тот прежний, увидел вдруг со стороны себя — грязного, в этой окружавшей меня классической грязи и специфическом китайско-корейском аромате: «Бабушка», пропитанная салом, с прилипшими к ее бортам и сиденьям маленькими, вечно секущимися, жесткими, черными волосами, грязные китайские чашки, грязные косы, сальные спины, грязные фигуры наших храбрых матросов. И вся эта грязь, пахучая, с каким-то удручающим национальным ароматом, с насекомыми, которых кореец не торопится уничтожать, потому что они приносят счастье.

О, сколько этого счастья в Корее, в головах этих несчастных, в их длинных волосах, закрученных на макушке узлом, проткнутым булавкой...

Ощущение этой грязи почувствовалось так сильно вдруг, что, если б я мог, я, конечно, выпрыгнул бы даже из самого себя, чтоб бежать без оглядки.

Но выпрыгнуть нельзя, бежать некуда, растравлять самого себя даже опасно, так как дорога впереди еще большая, и преждевременное отвращение могло вызвать и соответственное истощение, так как известно, что отвращение побеждает голод, расстраивает питание, а о нервной системе, о спокойном восприятии не могло бы быть и речи.

Да, наконец, и матросы китайцы при всей своей грязи проявляли столько трогательного радушия, привязанности, внимания, что нельзя было оставаться равнодушным.

В. В., провожавший нас до города, радовался, как ребенок, что мы наконец едем в китайскую сторону, в китайский город. Это его сторона, его город — эти матросы и он будут нас там принимать.

— Что Корея, — добродушно машет он рукой, — вот Китай наша посмотри... Что Корея...

Он радостно говорит что-то капитану. Капитан несколько раз кивает ему головой и в свою очередь выпускает несколько горловых и носовых звуков. В. В. торопливо переводит:

— Сахар есть, чай есть, булки есть... Ну? Что Корея... Яблоки вот какие... Ну? Пряники — все есть... Дом большая.

— И лошадей можно завтра же утром нанять?

— До Лиушаня (Порт-Артур) сразу найдем... Лошади хорошие: мулы... Разве, как в Корее, одного быка на всю деревню не найдешь... Тут и быка, и лошадь, и мула, и осла, сколько хочешь найдешь...

больше, как во всей Корее... Шибко богатый... гостиница, ужин, завтра днем театр...

В. В. обращается опять к капитану, тот быстро что-то кричит, глаза его разгораются...

— Его хочет вас угощать завтра, хочет вести театр, китайским обедом кормить... Хочет на своя деньги угощать: ваша хороша ему показалась.

Я очень благодарю капитана и очень жалею, что должен торопиться. Капитан тоже жалеет, и мы молча едем дальше. И каждый думает свою думу.

Взошла луна и льет свой свет на воду, ушедшую в глубь берега. В неясном просвете причудливые бледные горы сливаются с такими же бледными облаками.

Скоро конец всего путешествия. Мысль эта настойчиво лезет в голову, хотя впереди еще больше четырехсот верст по стране совершенно неизвестной.

Верить в культуру, в безопасность среди культурного населения, но эта вера так скоро и легко разбивается. Какой-нибудь хунхуз, какой-нибудь взрыв непонятого негодования, и все быстро становится и непонятным и чужим, и сознание бессилия двух-трех путников в чужой стране, где все-таки нет-нет и происходят всякие расправы: то миссионера убьют, то восстание поднимется, и там бьют подвернувшихся под сердитую руку европейцев.

И что лучше, как путешествовать здесь, — обращаясь за содействием к начальству китайскому или, доверяя гостеприимству народа, с ним только и иметь дело?

Прежде всего всякое начальство — начальство. Допустим даже, что оно окажется любезным и гостеприимным. Но, во-первых, при сношении с ним неприятна потеря времени. Во-вторых, всякое начальство пожелает доказать разумность своего существования. Какой путь в данном случае изберет китайское начальство? Навяжет, может быть, нам солдат, которым надо платить, а у нас так мало денег. А может быть, задержит нас до получения уведомления из центров, что нас действительно можно пропустить. И сделано ли еще такое уведомление?

А если допустить нелюбезность, то осложнений может быть множество вплоть до подстрекательства населения, запрещения вести

нас, что-либо продавать нам.

Так как такие случаи бывали уже с другими путешественниками, то во всяком случае получается некоторый риск в том и другом случае. Но за путешествие помимо начальства была — большая скорость путешествия и связанная с ней психология: пока люди будут успевать только раскрывать рты при виде нас, мы уже будем далеко. На ночлегах же, приезжая поздно и уезжая рано, мы опять-таки никому не дадим опередить себя, и всегда первые и сами повезем весть о своем прибытии.

Тихо на лодке. Мерно стучат весла в уключинах. Присев на корточки, посматривает капитан и напевает какую-то китайскую песенку. Ухо мое уже привыкло к этим песням. Много носовых и металлических звуков, как будто подражание удару медных тарелок. Много диссонансов, а заключительные аккорды все не в тон и не в такт. Все пение с какими-то выкриками, часто резкими и неприятными, но местами улавливается и речитативная мелодия, наподобие некоторых мало музыкальных французских шансонеток. Иногда это похоже и на вагнеровскую музыку, и уже думаешь, а вдруг слух наш будет прогрессировать именно в этом направлении и будущие поколения в этих диссонансах и нестройных воплях будут находить и мелодию и прелесть, как это находят, очевидно, китайцы.

Я вспоминал берлиозовского «Гибель Фауста» и «Фауста» Гуно. Ста лет еще не прошло, когда впервые обе вещи появились на сцене: Гуно вознесли до неба, а Берлиоза освистали, осмеяли и прокляли.

Один автор получил все счастье жизни, на долю другого досталась вся горечь ее. Оба теперь спят вечным сном, а людское музыкальное чувство уже, очевидно, другое: не перед Гуно преклоняется. Гуно — ребенок перед Берлиозом. На наших глазах прошел Вагнер с своей непонятной музыкой и уже победил.

Может быть, и эта музыка китайцев победит? Будут находить в ней такой же глубокий смысл, какой видят поклонники Китая во всей пятитысячелетней китайской культуре.

Наш будущий переводчик-кореец в своем белом костюме присел на корточки и ежится от холода.

Холодно всем: пронизывающая сырость реки пробирает насквозь.

— П. Н., не расскажет ли он сказку?.

— Говорит, что сказок не знает.

— Неужели ни одной не знает?

— Да в И-чжоу никто не знает, — говорит П. Н., — сказки все уже назади остались.

Кореец что-то говорит.

— А, вот видите... Он говорит, что теперешняя династия царствует лишнее, оттого все так плохо и пошло в Корею. Что против предсказаний она уже двадцать пять лет больше царствует, а должен бы царствовать Пен.

— А где же этот Пен?

П. Н. спрашивает, слушает и переводит.

— А этот Пен на острове живет, а только верно это или нет, он не знает, и никто не знает, потому что, кто до сих пор попадал на этот остров, назад больше не возвращался: задерживают там... в солдаты, что ли, берут?.. Ему ведь тоже войско надо, чтобы прогнать старую династию.

— Да вы не смейтесь сами, а то он подумает, что мы не верим, и сам несерьезно будет говорить.

— Нет, это ничего... Позвольте, он еще говорит... — А, видите, вот что он говорит. Он считает, что корейцам, как японцам, иначе надо начать жить: бросить старое платье, волосы, веру старую бросить...

— А много корейцев так думают?

— Здесь, говорит, много. Да и я сам знаю, что много. Им только неловко самим так сделать, а если б кто-нибудь приказал...

— Ну, вот второй сын короля, — говорю я, — который в Японии, женится на дочери японского микадо, вступит на престол и прикажет...

— Он говорит, что этого нельзя, чтоб он женился на японке, — этого никогда еще не бывало.

— Так ведь и новое, что хотят они заводить, тоже не бывало.

— Это, говорит, верно.

— А любят они своего короля?

— Никто, говорит, не любит, — глупый и несчастливый, а старший сын совсем идиот, — женили, с женой не знает, что делать, сидит и молчит, ни тятя, ни мама. У него был брат, не этот, что в Японии, — другой, очень умный, — от любовницы. А жена приказала его зарезать, чтобы все-таки ее сыну достался престол. Она бы и

этого, который в Японии, прирезала, — тот тоже от любовницы, — если бы могла достать.

Кореец опять что-то говорит.

— Говорит, что теперешний король и его министры только и знают, что мотать да продавать корейское добро, а то и даром раздавать, чтобы только не трогали. Всю Корею продадут, пока их выгонят.

Продавать только уж нечего.

Я смотрю в ту сторону, где осталась Корея. Ее не видно больше, она исчезла, растаяла в молочном просвете тусклого лунного блеска.

Единственный кореец, оставшийся еще с нами — наш проводник, — неясным белым пятнышком светлеет на носу «Бабушки».

Ближе и ближе зато огоньки китайского берега, и из бледной дали уже выдвигаются темные силуэты бесконечного ряда мачт.

Впечатление какого-то настоящего морского порта. Ночь увеличивает размеры судов, и кажутся они грозной флотилией кораблей, пароходов. В сущности же это такие же, как и «Бабушка», шаланды, или побольше немного, ходящие, впрочем, в открытое море, где и делаются часто жертвами морских разбойников, морских бурь.

Вот выступила и набережная, дома и лавки, огни в них.

Мы уже на пристани, и при свете фонарей нас обступила густая и грязная толпа разного рабочего люда: матросы, носильщики, торговцы. Их костюмы ничем не отличаются ни по грязи, ни по цвету, ни по форме от любых хунхузских: синяя кофта, белые штаны и, как сапоги, закрывая только одну переднюю сторону, надетые на них вторые штаны, обмотанные вокруг шерстяных, толстых и войлоком подбитых туфель. На голове шапочка или круглая, маленькая, без козырька, с красной, голубой или черной шишечкой, или такая же маленькая и круглая, наподобие меркуриевской шапочки с крылышками.

Толпа осматривает нас с приятной неожиданностью людей, к которым среди ночи прилетели какие-то невиданные еще птицы. Птицы эти в их власти, никуда от них не улетят, и что с ними сделать — времени довольно впереди, чтоб обдумать, а пока удовлетворить первому любопытству.

Подходят ближе, трогают наши платья, говорят, делятся впечатлениями и смеются.

Мы тоже жадно ловим что-то особенное, характерное здесь, что сразу не поддается еще точному определению.

Это все китайцы, — не в гостях, а у себя на родине, — эти лица принадлежат той расе, которую до сих пор привык видеть только на чайных обложках да в оперетках. И там их изображают непременно с раскошенными глазами, толстых, неподвижных, непременно с длинными усами и бритых, непременно в халатах.

Конечно, по таким рисункам нельзя признать в этой толпе ни одного китайца. Это все те же, что и во Владивостоке, сильные, стройные фигуры с темными лицами, с чертами лица, иногда поражающими своей правильностью и мягкой красотой. Вот стоит сухой испанец, с острыми чертами, большими, как уголь, черными глазами. Вот ленивый итальянец своими красивыми с переливами огня глазами смотрит на вас. Вот строгий римлянин в классической позе, с благородным бритым лицом. Вот чистый тип еврея с его тонкими чертами, быстрым взглядом и движениями. Вот веселый француз с слегка вздернутым толстым картофельным носом. Нет только блондинов, и поэтому меньше вспоминается славянин немец, англичанин.

Но массу китайцев одеть в русский костюм, остричь косу, оставить расти бороду и усы, и, держу какое угодно пари, по наружному виду его не отличишь от любого русского брюнета. Старых китайцев, уже седых, которым закон разрешает носить усы и бороду, даже в их костюме, вы легко примете за типичных немцев русских колоний...

Окончательно и бесповоротно надо отказаться от какого бы то ни было обобщенного представления типа китайца, а тем более того карикатурного, которых считают долгом изображать на своих этикетках торговцы чайных и других китайских товаров.

От толпы глаза переходят на улицу, дома.

Отвык от таких широких улиц, от больших из камня и из кирпича сделанных домов. Тут же и громадные склады с громадными каменными заборами — все это массивно, прочно, твердо построено. Слегка изгибающиеся крыши крыты темной черепицей, и белые

полоски извести, на которой сложены они, подчеркивают красоту работы.

Так же разделаны швы темного кирпича, цвет, достигаемый особой выкалкой с заливкой водой (очень часто, впрочем, в ущерб прочности).

На каждом шагу стремление не только к прочному, но и к красивому, даже изящному...

Эти драконы, эти сигнальные мачты, красные столбы, красные продольные вывески с золотыми буквами, с птичьими клетками, магазины с цветами.

Н. Е. сделал нетерпеливое движение, и сейчас же от него отошли все любопытные.

В ожидании капитана, который ушел разыскивать гостиницу, мы подошли к фруктовой лавке: громадные груши, правда, твердые, но сочные и сладкие, каштаны, вареные, печеные... Боже мой, да ведь это, значит, конец всем тем лишениям, о которых непривыкший и понятия себе не составит.

— А завтра свежие булки, сладкие печенья, — повторяет восторженно В. В. — В гостинице ужин, хороший чай.

Гостиница, ужин, булка, хороший чай, груши, каштаны, эти прекрасные постройки, эти широкие улицы, вся эта оживленная ночная жизнь пристани с ее людом, фонари — и все это после темной, нищей, холодной и голодной Кореи, после всех этих в тихом помешательстве бродящих по своим горным могилам в погоне за счастьем людей. Здесь контраст — энергия, жизнь, какой-то громадный, совсем другой масштаб.

Вся виденная мною Корея перед этим одним уголком какая-то игрушка, с ее игрушечными домиками, обитателями, с их игрушечными, детскими, сказочными интересами.

Конечно, попади я прямо в Китай, все это показалось бы мне иначе: их груши я сравнил бы с нашими, их одноэтажные дома — с нашими до неба этажами, их гавань — с нашей.

Но теперь с масштабом Кореи я проникаюсь сразу глубоким сознанием превосходства китайской культуры и сравнительной мощи одного народа перед другим.

И я точно слышу из туманной лунной дали бессильный шепот милого корейца:

— Да, да, и все потому, что китайцам досталось наше счастье.

В своих сказках кореец облагодетельствовал и Китай, и Маньчжурию, и Японию — все богаты и счастливы за его счет, только он беден и ничего не имеет.

Но он честен, добр, трудолюбив и жизнерадостен среди своих святых гор, своих предков, могил, среди скудных нив, среди невозможных политических условий своего существования: хунхуз, китаец, его собственное правительство — гнетущее, с проклятой думой только о себе. Только о себе, так как нет уже сил поддерживать даже какие-нибудь отдельные классы: и дворяне, и купцы, и крестьяне все спасение свое видят только в государственной службе. Кто там, тот спасен, кто за флагом, до тех никому никакого дела.

Теплая ночь южного города, силуэты юга на каждом шагу, — южные типы, уличная жизнь юга, запах жареных каштанов.

Мы ходим по широким улицам города, отыскивая себе пристанище, мимо нас быстро мелькают с корзинами в руках и что-то кричат китайские подростки.

Это пища, каштаны. Проснувшись, какой-нибудь китаец крикнет его к себе, поест и опять спит.

Это называется будить голодных.

Все гостиницы полны посетителями, громадные дворы их полны лошадьми, быками, мулами, ослами.

Сладострастные блязня этих ослов несутся в сонном воздухе, несутся крики продавцов каштанов, усталость, сон смыкает глаза. Мы идем дальше, и кажется все кругом каким-то сном, который где-то, когда-то уже видел.

Вот наконец и гостиница, где-то на краю города, после целого ряда громадных каменных оград.

В. В. смущен тем, что гостиница не из важных, но нам все равно, и мы рады какому-то громадному сараю, где нам отводят помещение. Очень скоро нам подают «беф а ля Строганов» на масле из бобов, рис, чай и сахар.

Все кажется роскошным, поразительно вкусным, Мы сидим на высоких нарах, задыхаемся и плачем от едкого дыма затапливаемых печей, но довольны и едим с давно забытым удовольствием.

— А интересно спросить, — говорит Н. Е., — из чего этот беф-строганов? Может быть, собачки...

- Не все ли равно, вкусно?
— Вкусно-то вкусно...

19–25 октября

Проснулись рано, но еще раньше нас проснулись любопытные, и теперь с добродушным любопытством дикарей толпа праздных китайцев стоит и ждет, что из всего этого выйдет... Вышло то, что пришлось при них и одеваться и умываться.

Во дворе уже стоят готовые для нас экипажи. Надо посмотреть.

На двух громадных колесах устроен решетчатый ящик, обтянутый синим холстом. Высота ящика немного больше половины туловища, длина две трети этого туловища, ширина — полтора. Одному сидеть плохо, вдвоем отвратительно, втроем, казалось бы, невысказанно, но китайцы умудряются усаживаться по пяти человек и двое на переднем сиденье.

Никаких, конечно, рессор, и так как сидение приходится на оси, то вся тряска передается непосредственно. Спускается с горы экипаж, и вы с вещами съезжаете к кучеру, едет в гору — вас заталкивает в самый зад, и вещи нажимают на вас, в громадных ухабах вы то и дело стучаетесь головой, руками, спиной о жесткие стенки вашей узкой клетки.

Четыреста верст такой дороги.

Три мула в запряжке: один в корню, два впереди.

Во всей Корее и такого экипажа нет, но уродливее, тяжелее, неудобнее и в смысле сиденья и в смысле правильного распределения сил трудно себе что-нибудь представить.

Сила одной лошади уходит на то, чтоб тащить лишнюю тяжесть десятипудовых колес, годных совершенно под пушечные лафеты; и наш еще легкий экипаж, грузовые же в два раза тяжелее, и тридцать пудов груза там тянут шесть-семь животных: бык, корова, мулы, лошади, ослы, все вместе.

Трогательное сочетание громадных быков с каким-нибудь седьмым осленком. Он равнодушно хлопает своими длинными ушами и с достоинством, в путаной запряжке смотрит на вас из толпы своих больших сотоварищей.

Колеса, обитые сплошь толстым железом, кончаются острыми ребордами, которые, как плуг, режут колею.

Для каменистого грунта это хорошо, но в мягком колея доходит до глубины полуаршина, всегда при этом так, что как раз там, где одна сторона колеи совсем ушла в землю, другая мелка, и поэтому, помимо невозможных толчков и перекосов, ехать рысью невыносимо.

Да и шагом, надо удивляться, как едут.

— Что делать, — объясняет возница, — закон не позволяет иного, как на двух колесах, устройства экипажей. Только богдыхан может ездить на четырех.

Для одного человека, который к тому же никуда и не ездит, остальные четыреста миллионов поставлены в такие дикие условия, которые от нечего делать разве можно выдумать в пять тысяч лет.

Вот идет китайская женщина. Несчастливая калека на своих копытах вместо ног. Походка ее уродлива, она неустойчиво качается и, завидя нас, торопится скрыться, но не рассчитывает ношу и вместе с ней летит на землю: хохот и крики. Она лежит, и на нас смотрят ее испуганные раскошенные глаза (у женщин почти у всех глаза раскошенные и тип выдержан), утолщенное книзу мясистое лицо: толстый расплюснутый нос, толстые широкие губы. Лицо намазано синеватыми белилами, фигурная прическа черных волос с серебряными украшениями. Да, пять тысяч лет выдумывали такого уродо-калеку. Это надежный охранитель своей позиции и в то же время мститель за себя — это тормоз посильнее и телеги.

— Со мной, калеккой, останетесь, и никуда я и от вас не уйду и вас не пушу.

Тормоз говорящий, живой. Все остальное мудрый Конфуций, хуже корана, до конца веков предрешил.

В этом отношении очень характерна одна легенда о Конфуции.

Однажды Конфуций с тремя тысячами учеников вошел в одну глухую долину. Там под фруктовом деревом, с западной и восточной стороны, сидело по женщине. С западной стороны женщина была стройна и красива, с восточной стороны женщина была некрасива, имела длинную талию и короткие ноги.

— Вот поистине, — сказал Конфуций своим ученикам, — красивая женщина и вот урод.

И он показал на женщину восточную.

— Но когда тебе придется, — сказала женщина Востока, — вдеть в зерно четки с тысячью отверстиями нитку, придешь за решением ко

мне.

— Она не только уродлива, но и глупа, — сказал Конфуций, — и поистине не следует нам здесь больше оставаться.

И он ушел назад, в город со своими учениками, В тот же день позвал Конфуция к себе богдыхан и предложил через все тысячу отверстий одного зерна четки продеть нитку. Тогда вспомнил Конфуций о женщине Востока и пошел к ней...

Он нашел ее в той же долине, под тем же деревом, на том же месте, но женщины Запада не было с ней больше.

— Да, — сказал Конфуций, — я действительно пришел к тебе за решением.

— Я ждала тебя, — ответила женщина.

И, взяв у Конфуция четку, она опустила ее в мед. И, взяв шелковую нитку, она привязала ее к маленькому, только что родившемуся муравью.

Затем, вынув четку из меда, она пустила на нее этого муравья.

Муравей съел мед на поверхности и полез за ним во все тысячи отверстий, а за ним проходила и нитка.

— Отнеси богдыхану, — сказала женщина Востока, подавая ему готовую нитку.

Тогда Конфуций сказал ей:

— Я вижу теперь твою мудрость: ты не только предвидела задачу, которую дал мне богдыхан, но и решила ее. Я до сих пор считал себя мудрым и только теперь вижу, как ничтожна моя мудрость перед твоей. Молю тебя поэтому, не для своего блага, а для блага моего народа, открой мне великий источник твоей мудрости. И если ты приобрела его учением, скажи имя великого учителя, и я не пожалею всей жизни, чтобы перенять у него хоть несколько его великой мудрости.

— Ты ее всю получишь, но не здесь, на земле. А пока довольно тебе знать, что то, что надо здесь, ты получишь от меня.

— Кто же ты?

— Я посланница неба.

— Но зачем нужно было великой мудрости проявить себя в таком ничтожном явлении, как эта четка?

— Потому что, — сказала женщина, вставая, — небо желало, чтобы посланник его, великий Конфуций, дал ответ на все вопросы,

какие когда-либо придут в голову человеку, от самых великих до самых ничтожных.

И, говоря это, женщина Востока поднялась в небо, а Конфуций упал на землю, лежал так всю ночь и все думал. А для чего мудрецу нужна целая ночь, то обыкновенный человек тысячу жизней должен прожить, чтобы понять.

Так великий Конфуций ковал свой народ, пока не заковал его всего в заколдованном круге, где нет дороги вперед, нет дороги назад, где все стоит на месте и только в каких-то бесплодных завертушках мысли псевдоклассическая интеллигенция может выкруживаться над неподвижным.

Колесо, форма судна, домашний очаг, одежда, женщина, образование — все навсегда подведено под свою вечную форму, все завинчено крепкими, геологических периодов винтами.

И, как бы в подтверждение мне, здесь сообщается последняя новость. Мать богдыхана устранила от престола своего сына и уже отменила его декрет относительно разрешения чиновникам стричь косы и носить европейское платье.

Сообщается это тоном, из которого ясно, что ничего другого к не могло выйти.

— Но ведь коса — признак рабства у вас, это маньчжуры заставили вас носить косу в память подчинения.

— Да, конечно.

Ответ, напомнивший мне нашего русского человека. Он вам выскажет самый свой сокровенный предрассудок, от которого сын его отделается только в хорошей настоящей школе, но на высказанный вами протест он сейчас же согласится и с вами. Он согласится, но вы сразу в его глазах становитесь человеком не его закона, с которым он так отныне и будет поступать.

Капитан и матросы провожают нас за город.

Лавки, громадное оживление на улицах, неуклюжие телеги, носильщики, прохожие, крики, запах бобового масла...

Сегодня я опять съел беф-строганов! не от этого ли бобового масла страшная изжога и рот, как луженый, — больше есть его не буду. Булки тоже только наполовину удовлетворили: они совершенно пресные, без корки, и что-то в них то, да не то: как-то отнят вкус хлеба. Но рис хорош. Вот и предместье города — широкие улицы,

пыль, солнце, тепло, сверкает взморье, и все вместе напоминает юг, где-нибудь в Одессе, на Пересыпи, когда едешь на лошадях из Николаева.

Капитан и матросы прощаются с нами и отдают приготовленные нам подарки: капитан подает сладкое печенье, похожее на наше кэк, но, увы! на том же бобовом масле! Матросы подарили нам печеных каштанов, груш, орехов.

Все это было так трогательно, так деликатно. Мы горячо пожали друг другу руки.

В. В. смеется и переводит:

— Капитан говорит: «Э, вот человек, которого я хотел бы еще раз увидеть».

У большого капитана недоумевающее, огорченное, как у ребенка, лицо.

— Так нигде и не заедете к начальнику? — спрашивает В. В.

— Нет, не заедем.

Попробуем без начальства, — никто еще, кажется, так не пробовал путешествовать по Китаю.

Мы уже едем. Я с трудом высовываюсь и смотрю: все в такой же позе стоит капитан, я киваю ему, он тоже кивает, но, очевидно, машинально, как человек, который все равно уже не может передать, а я понять его чувство.

Толчок, и я падаю назад, и капитан, и его матросы, и В. В. — все это уже отныне только память, воспоминание, нечто уже отрешенное от своей материальной оболочки, вечное во мне: сильный душой, большой ребенок, капитан, его скромные матросы, добрый возвышенный В. В. — все в косах, все китайцы...

Веселое солнце, давно не виданные равнины, пахотные поля, сельские домики, мирная работа осени: молотят, свозят снопы, какие-то люди ходят с коромыслами на плечах, с двумя корзинками, привязанными на длинных веревках к концам. Остановятся, что-то захватят маленькими трехзубчатыми вилами с земли и положат в корзину.

— Что они делают?

— Собирают удобрение.

— А эти что делают?

— Выкапывают из земли корни кукурузы.

— Для чего?

— Для топлива.

— Для чего они подметают там, в лесу?

— Собирают листья для топлива.

Мы едем маленьким леском, береженным и холеным, подметенным так, как не подметают у нас дорожки в саду.

— Неужели все леса так?

— Лесов мало здесь. Все, конечно.

— Рубят леса?

— Леса сажают, а не рубят.

— Что это за кучи?

— Удобрительные компосты, навоз, ил, зола, отбросы, падаль.

Вот когда сразу развернулась передо мной эта пятитысячелетняя культура.

— А это что за ящики из прутьев, с написанными дощечками, там, вверху, на этих шестах?

— Это головы хунхузов; на дощечках написано, за что им отрубили головы.

О, ужас, полусгнившая голова равнодушно смотрит своими потухшими глазами.

— Если б их не убивали — жить нельзя было бы, надо убивать.

— Но хунхуз и есть следствие жестоких законов.

— Да, конечно, — равнодушно соглашается мой кучер-китаец.

— А тела их, — говорит он, — зарывают в одной яме, спиной вверх, с поджатыми под себя ногами и руками так, чтобы обрубленной шеей один труп приходился к задней части другого.

— Зачем это?

— Чтоб все смеялись.

Я возмущен до глубины души.

— Такой закон.

Гнусный закон, который, кажется, только тем и занят, чтоб нагло издеваться над всем святая святых человека: уродует труд, женщин, мало того: в своей гнусной праздности, в своей беспредельной беспрепятственности издевается и над трупами.

— Суд короткий — некогда долго разбирать, много невинных здесь. Убили важного чиновника, за которого придется отвечать. Надо найти виноватых. Поймают каких-нибудь: признайся, а нет —

пытка, — все равно, признается. А кто имеет деньги, может купить за себя другого, — того и казнить будут.

— Дорого покупают?

— Как придется: и за пятнадцать долларов и больше.

— Недорого.

— Нет, недорого. Я сам из шанхайской стороны. Народу там много. Нас было всех тринадцать братьев и сестер. Из семи братьев нас четыре живых выросло. А сестер, как родится, на улицу выбрасывали. Только последнюю одна из Шанхая купила за доллар.

— Зачем?

— А вот, чтоб танцевать, петь. Там, в Шанхае, и здесь, и везде в Китае весело, много таких...

— Что это за народ все идет?

— В город идут, наниматься на работу.

— А отчего они не работают на своих полях?

— Потому что у них нет их.

— Как нет? У каждого китайца своя полоска земли и своя свинка. Кучер смеется.

— Это вот все работают в поле тоже работники, не хозяева. Хозяин один, а работников у него много: десять, двадцать, шестьдесят есть.

— Много земли у таких хозяев?

— Не больше пятидесяти десятин: больше закон не велит.

— Чья земля?

— Хозяйская.

— Нет, не хозяйская, — говорю я, — он только в аренду берет ее у государства.

— Не знаю; всякий хозяин может продать свою землю, у кого есть деньги — купить. Кто плохо работает, продать должен, кто хорошо работает — живет.

То же, значит, что и в той части Маньчжурии, где я был.

Для проверки, впрочем, мы останавливаемся возле одной из ферм.

Постройки каменные, из черного кирпича. Крыши из темной черепицы. Это общий тип здешних построек. Если кладка из камня, то работа циклопическая, с расшивкой швов, очень красивая. Камень мраморно-серый, розовый, синеватый.

Громадный двор огражден каменным забором такой кладки.

В передней стене двора двое ворот. На воротах изображение божества войны. Страшный урод в неуклюжем одеянии, с усами до земли, с какой-то пикой, луком.

Между ворот и с боков передний флигель, где производится всякая работа: в данный момент шла солка салата и растирались бобы.

В открытые ворота видны внутренние жилые постройки.

Ряд ажурных, бумагой заклеенных окон, двери, красные полосы между ними, исписанные черными громадными иероглифами.

Перед всем домом род террасы, аршина в полтора высотой, с особенно тщательной кладкой. Крыша с красивым изгибом и коньком в несколько, одна на другую положенных на извести, черепиц.

С внешней стороны вся постройка по вкусу не оставляет желать ничего большего.

Но наружность обманчива: внутри грязно и неуютно.

Комнаты — это ряд высоких сараев, с нарами в полтора аршина высотой, с проходом между ними. Комнаты во всю ширину здания и все проходные. Уютности и чистоты миниатюрной Кореи и следа здесь нет. Хозяина и его работников мы застали на улице перед двором.

Вернее, это тоже часть двора, потому что две стены забора выступают вперед, но передней стены нет.

Здесь, в этом месте, как раз протекает ручей, несколько верб склонилось над ним, и сквозь их ветви видна даль полей, силуэты причудливых гор, лазурь неба, а еще дальше синей лентой сверкает море, и ярче там блеск солнца.

Хозяин с работниками возились с кучей удобрения. Такие кучи перед каждой фермой.

Их несколько раз перекадывают с места на место. Нет в поле работ, — оттого ли, что кончились, оттого ли, что дождь идет, — работа всегда возле удобрительных куч.

Запах невыносимый.

Хозяин, очевидно, человек дела даже между китайцами.

Весь хлеб (по преимуществу кукуруза и гоалин) уже обмолочен, солома сложена в большие скирды, сложены и кукурузные корни, и собраны листья из виднеющегося на пригорке леса. Невдалеке от дома идет уже осенняя пашня и бороньба. Во всех полях однородная

культура, во всех полях молодые, подростки и старики со своими коромыслами жадно ищут скотский помет. Первое впечатление очень сильное. Но затем выступают и недостатки.

В земледельческих орудиях никакого прогресса. И орудия эти в то же время бесконечно далеки от идеала. Для примера достаточно взять борону. Здесь это доска аршина в полтора длины. Сквозь доску продеты прутья, и торчат они в разные стороны. Двумя концами доска привязывается к шее животного, человек стоит на доске и тяжестью своего тела прижимает и ее и прутья к земле. Животное тащит человека на доске, человек, как акробат, все время балансирует; бороньба получается отвратительная по качеству, ничтожная по производительности.

Но так работали предки. Вот другой пример: тут же на улице впряженный ослик приводит в движение небольшой жернов, вместе с осликом ходит вокруг жернова женщина или мужчина, то и дело рукой подгребая вываливающуюся из жерновов муку. Производительность такой мельницы два-три пуда в день. Ни ветряных, ни водяных мельниц.

Поразительная забота об удобрении, доходящая до работы того медведя, который весь день таскал колоду с одного места на другое. Действительно: удобрение, уже лежащее в поле, подбирается и несется домой. Каждый корешок выкапывается и несется туда же. Какое количество лишних рук требуется для этого? На наши деньги расход на десятину получился бы 20 рублей. На эти 20 рублей, казалось бы, выгоднее было бы купить со стороны совершенно нового удобрения. В данном случае привезти с моря и рек разных трав, илу, как и возят здесь.

Отопление этими корнями тоже не оправдание, так как тут же, в кузнице, работают на каменном угле.

— Далеко добывается этот уголь?

— Пять ли отсюда — сколько угодно.

— Почему же вы не топите печей ваших этим углем?

Молчат китайцы и только смотрят на человека, который пристаёт к ним с несуществующим для них вопросом «почему». Все «почему» давно, очень давно решены и перерешены, и ничего другого им, теперешним обитателям земли, не остается, как делать, ни на йоту не отступая, то же, что делали их мудрые предки.

При такой постановке вопроса преклоняться придется не перед пятитысячелетней культурой, не перед допотопными и нерасчетливыми орудиями и способами производства, а перед поразительной выносливостью и силой китайской нации.

Как живет нация, — задавленная произволом экономическим (калека-домосед женщина, обязательные орудия: борона, двухколесная телега, судно и прочее), произволом государственным (взяточничество, вымогательство, пытки, казни и, как результаты, хунхузы, постоянные бунты), гнетом своей бесплодной интеллигенции, религиозным уродством (Конфуций), — живет и обнаруживает изумительную жизнерадостность и энергию.

И несомненным здесь станет только одно: что, когда в нации возродится атрофированная теперь способность к мышлению, а с ней и творчество, китайцы обещают, при их любви к труду и энергии, очень много.

И только тогда, во всеоружии европейского прогресса (только европейского, конечно), в лице их может подняться грозный вопрос их мирового владычества.

Но, вероятно, это произойдет тогда, когда и само слово: китаец, немец, француз — в мировом хозяйстве уже потеряет свое теперешнее национальное значение и грозность вопроса сама собой, таким образом, рухнет.

А до того времени китаец — только способный, но бедный и жалкий. И слова: «каждый китаец имеет свою полоску и свою свинку», «китаец решил капитальный вопрос, как прокормиться», — в значительной степени только слова.

Пролетариата в Китае за эти только несколько дней я вижу такую же массу, как и у нас. Что до прокорма, то какое же это решение, если приходится решать этот вопрос путем выбрасывания детей на улицу, путем питания организма диким чесноком да горстью гоалина, — питание, которому не позавидует наш западный еврей, для которого селедка в шабаш уже роскошь?

Другие вопросы: способны ли китайцы приобщиться европейской культуре, в какой срок и каким путем?

Ответы на них могут дать, вероятно, только будущие поколения, так как познание китайского естества в настоящий момент вообще находится в первобытном состоянии, а тем более, что могу сказать я,

турист, с птичьего полета смотрящий на всю эту, совершенно чужую мне жизнь? Могут быть только впечатления: искренние или неискренние, предвзятые или свободные. В своих впечатлениях я хотел бы быть и искренним и свободным.

Вот наконец и огоньки нашей гостиницы. Большой двор, огороженный высоким каменным забором. Во дворе множество арб, быков, мулов, лошадей и ослов.

Из длинного корпуса гостиницы льется свет в темный двор.

Перед нами печи, котлы, пар и дым от приготовляющихся кушаний. Все закоптелое, темное и все такое же грязное, как и те китайцы, которые готовят и прислуживают.

В обе стороны от того места, где мы стоим, вдоль всего корпуса протянулись бесконечные нары, с проходом посредине. На этих нарах сидят, лежат и спят китайцы.

Нас ведут в дальний конец, и китайцы, недоумевая, осматривают нас. Там, в конце, куда привели нас, так же тесно, как и везде. Несколько китайцев сдвигаются и очищают нам место.

Конечно, грязно и много насекомых, пахнет скверно, но усталость берет верх, и, пока нам что-то варят, мы с Н. Е. ложимся.

Скоро начинается разговор с соседями. Нас спрашивают, откуда мы.

— Из России.

— Куда едете?

— В Порт-Артур.

— Правда ли, что Порт-Артур и еще четыре города взяты русскими, и если взяты, то с какою целью?

Что-то отвечаю об обоюдных экономических интересах и в свою очередь задаю вопрос: по этой дороге проходили японские войска?

— Проходили.

— Грабили население?

— Никого не грабили и за все платили.

— Обижали женщин?

— Никого не обижали.

Это здесь общий отзыв. Благодаря этому и нам, принимаемым за японцев, было легко путешествовать. Часто слышишь, когда едешь: это японец... Потому что людей других наций здесь не видали еще.

С рассветом мы спешим дальше.

До самого Порт-Артура впереди нас никто не ехал.
Раз только мы дали обогнать себя бонзам (монахам).
Это было на третий день нашего пути.

Мы заехали на постоялый двор пообедать, а бонзы кончали свою еду. Их было несколько человек: пожилой, несколько молодых, двое детей. Все без кос, остриженные при голове. Они ели свой китайский обед, сидя с поджатыми ногами на нарах вокруг низенького столика и молча, сдержанно посматривая на нас. Кончив еду, они встали и ушли.

— Они вас приняли за миссионеров, — сказал после их ухода хозяин.

Мы не обратили на это внимания, занятые варкой мамалыги, — блюдо, которого здесь не знают и которое мы усердно пропагандировали.

Поев, выкормив лошадей, мы отправились в дальнейший путь и в сумерки приехали в большое торговое село. До сих пор нас везде принимали очень любезно. Тем более мы были удивлены, когда перед нашими экипажами быстро захлопнулись ворота гостиницы, а громадная толпа, окружив нас, стала что-то угрожающе кричать.

К несчастью, мы были лишены даже возможности узнать, в чем дело, так как с некоторого времени с нашим проводником-корейцем стало твориться что-то совершенно непонятное: он глупел не по дням, а по часам и сегодня совершенно уже перестал понимать по-китайски.

И теперь он стоял ошалелый, и напрасно П. Н. отчаянно кричал ему что-то по-корейски.

— Черт его знает, что с ним сделалось.

— Может быть, пьян?

— Нет, не пахнет водкой.

Но вслед за тем П., Н. хлопнул себя по лбу и крикнул:

— Он накурился опиумом!

Хорошо по крайней мере то, что мы с этого мгновенья знали, что нам не на что было больше надеяться.

Я обратился к нашим ямщикам, показывая на запертые ворота, и сказал:

— Маю хоходе?

Хоходе — хорошо, маю, ю, значило (по крайней мере для меня и моих возчиков) нет и есть; фраза моя должна была таким образом значить:

«Хорошего нет?»

Ямщики поняли меня и мрачно ответили:

— Хоходе маю.

Я еще знал слово — чифан, что значило — есть, слышал также, как ямщики кричат на лошадей, когда хотят, чтобы они шли вперед: «Е». А когда хотят остановить их: «И».

Я опять показал на ворота гостиницы:

— Чифан маю?

— Маю, маю, — грозно и решительно закричала толпа.

Я вдруг вспомнил, что слово «фудутун» означает начальство.

— А фудутун ю?

— Маю, маю...

— Ну, маю, так маю.

Я назвал находившееся в 35 ли село и спросил ямщиков:

— Чифан ю?

— Ю, ю, — радостно ответили ямщики.

Тогда, сделав величественный жест по направлению к тому селу, я скомандовал им отрывистое: «Е!»

И в одно мгновение все мы сразу вскочили, и на этот раз не надо было погонять ямщиков наших.

Ничего подобного не ожидавшая толпа так и осталась с раскрытыми ртами, а мы тем временем быстро улепетывали, подпрыгивая на невозможных ухабах.

Выезд из села проходил по очень крутому каменистому спуску. Наши экипажи гроыхали так, точно раздавался непрерывный залп из пушек. Спуск этот, впрочем, сослужил нам службу, открыв заблаговременно устроенную за нами погоню.

Мы в это время остановились было, чтобы зажечь фонари, так как стало уже совсем темно. Вдруг раздались знакомые уже пушечные выстрелы, и на спуске мы увидели освещенные огоньками до десятка телег, все наполненные китайцами.

Вместо того чтоб зажигать фонари, преданные нам ямщики своротили свои экипажи в кусты по какой-то тропинке, проехали сажень сто и, погрозив нам, чтоб мы молчали, остановились. Скоро мимо нас с грохотом, треском и криками пронеслись наши преследователи и скрылись в темноте. Когда и шум от них замолк и свет их фонарей исчез, наши ямщики рассмеялись, зажгли свои

фонари, и мы поехали, но уже какой-то другой дорогой, проселочной, с ужасными выбоинами.

Мы ехали уже несколько часов, путаясь в каких-то пересеченных оврагах, когда услышали вдруг около десяти выстрелов. Наши ямщики опять начали смеяться и, размахивая руками, что-то говорили нам.

Проехав еще немного, мы остановились у одинокой фанзы. Нам сварили там кукурузу, лошадям дали соломы, и с рассветом мы тронулись дальше.

Проспавшийся проводник объяснил нам все наше вчерашнее происшествие. Вот в чем дело. Бонзы, приняв вчера нас за своих профессиональных врагов — миссионеров, успели вооружить против нас селение, сказав, что мы едем крестить их. Выпустив нас из села, жители спохватились и погнались за нами в погоню. Они несомненно доехали до того села, которое я называл, думая застать нас там, но, не найдя, возвратились обратно, теша себя с горя своими собственными выстрелами.

Сегодня мы продолжаем нашу дорогу все тем же окольным путем и выедем на большой тракт только к вечеру.

Опять день и солнце, опять поля кругом, все то же трудолюбивое густое население, множество скота: хватит продовольствия на целую армию. Приволье, зажиточность, мир. Какой-то благословенный уголок земного шара, где 23 октября 25 градусов днем, где выспевают виноград, растут груши и сливы, где трудолюбием жителей все эти приморские пески превращены в плодоносные пашни.

К вечеру мы выехали опять на большую дорогу и ночевали на постоялом дворе.

Когда, поев, мы улеглись, как и все остальные посетители, на нары, мой сосед, путешествующий китаец, с помощью переводчика, которого мы теперь стерегли, как свой глаз, спросил меня:

— Вы не боитесь путешествовать одни?

— Но китайцы в нашей стране тоже одни путешествуют, — ответил я.

Мой ответ произвел хорошее впечатление на общество, и со всех сторон мне закивали дружелюбно головами.

— У нас тоже, куда хотите, поезжайте, а нехорошие люди везде есть.

И со всех сторон кричали:

— Это верно, везде есть дурные люди.

А утром нам подали счет и ни копейки не взяли больше против того, что брали со всех. И так везде и всегда. И поэтому я энергично протестую против всяких обвинений китайцев в мошенничестве и лукавстве.

Не лукавство же и не мошенничество, например, такой факт. С разрешения моего ямщика, я взял кнут и сам погоняю наших мулов, привыкших ходить только шагом. Сперва мулы слушались очень хорошо, но затем кнут перестал действовать на них. Я скоро открыл секрет: мой ямщик потихоньку придерживал вожжи.

— Маю хоходе, — укоризненно сказал я ему.

Он быстро мне закивал головой в ответ, бросил, как обожженный, вожжи и уже больше не дотрагивался до них, грустно уставившись глазами в пространство. И если б не сознание, что у меня не было другого выхода, что труд его мулов я оплачу в несколько раз дороже против условленной платы, то неловко должен был бы чувствовать себя я, а не он, рискуя напряженной и непривычной работой подорвать его рабочую силу.

Это, конечно, мелочи, но вот и более крупные факты, и общеизвестные притом. В коммерческих делах китайцам доверяют на слово очень крупные суммы. Во всех банках — китайцы. Артель китайских рабочих за несправедливое оскорбление одного из своих членов оставляет работу, теряя при этом весь свой заработок. Все это не указывает ни на мошенничество, ни на хитрость, а напротив, как часто пользуются этими свойствами китайцев именно те, которые с спокойной совестью и громче других говорят: «Китаец мошенник».

Чем ближе мы подъезжаем к той линии, за которой идут уже русские оккупационные владения (начало этой линии город Бидзево), тем как-то беспокойнее население. Нередко вслед нам раздавались выстрелы.

Однажды, это было под вечер, мы ехали среди прекрасно обработанных полей, синело море, далекие горы сквозили в чудном закате. Вдруг какой-то китаец, работавший в поле, вскочил на лошадь и ускакал в деревню. Мы поняли все, когда, въехав в село, увидели на площади вооруженную толпу. Вооружены были ружьями с зажженными уже фитилями, старинными пиками. Не было даже времени вытащить свои револьверы, да и бесполезно было ввиду

такого множества народа. Кто знает, оружие в наших руках дало бы им, может быть, только нравственное право напасть на нас. Мне и Н. Е., ехавшим каждый на своем облучке, оставалось только смотреть так спокойно, как будто все это не до нас касалось.

— Они принимают нас за хунхузов, — объяснили нам наши ямщики, когда мы выбрались за околицу недружелюбного села.

— Разве и здесь есть хунхузы?

— Да, говорят, около Бидзево морских хунхузов около тысячи человек.

Не успели мы отъехать и версты от села, как за нами погналась погоня. Гнались и стреляли по направлению к нам, мы дали подъехать передней арбе довольно близко и в свою очередь дали два залпа на воздух. Это успокоило наших преследователей, они сразу остановились, и мы скоро потеряли их из виду в прозрачных сумерках начинающегося вечера. Довольные собой, они поехали домой есть свой ужин, чтоб повторить его в полночь, разбуженные разносчиками съедобного.

Вечером 25 октября, в 11 часов, мы въехали наконец в первый занятый русскими город Бидзево.

— Кто вы? Откуда вы? — спрашивал нас начальник города, он же начальник сотни казаков, когда мы с Н. Е., отворив его дверь, неожиданно вышли из мрака.

— Мы — первые, сухим путем прибывшие к вам из Владивостока.

— Но, позвольте... Как же вы прошли через лагерь хунхузов?

— Какой лагерь хунхузов?

— Да ведь нас осаждают шестьсот хунхузов, и морских и сухопутных... Вчера еще ночью расправились под городом с одной семьей, которую подозревали в доносе. Я уж послал донесение...

Я развел руками: никакого лагеря нет.

— Как нет? Вероятно, хунхузы спали и не заметили вас. Ну, счастлив ваш бог. Мы с минуты на минуту ждем нападения.

— У вас много войска?

— Семьдесят два казака среди шести тысяч жителей китайцев, совершенно парализованных хунхузами.

Можно сказать, приехали наконец в безопасное место.

Любезный командир пригласил нас к себе, познакомил с своею женой, первой европейской дамой в Бидзево. Дама эта в то мгновение, когда мы входили к ней, сидела на кушетке, бледная, с широко раскрытыми большими черными глазами.

Пока подавали чай и ужин, мы слушали грустную повесть напряженных вечным страхом нервов. Конечно, женщинам с такими нервами не место в такой обстановке.

— Я уговаривал ее уехать, — говорил муж.

— Но теперь, зная обстановку, я без тебя умру от страха за тебя.

Мы опять в давно забытых условиях пили чай с сахаром, молоком, хлебом и сливочным маслом, пили водку и ужинали.

А потом нас отвели спать в здание храма, занятое казаками. Красивое здание, с узорными китайскими крышами, за чугунной узорной оградой, с прекрасною набережной. Был отлив, и теперь море далеко-далеко от берега сверкало серебряной полоской в блеске луны.

— Как это вышло, что казаки поместились в зданиях храма?

— Но где же больше? Ведь, когда им надо, мы их пускаем сюда.

Я подумал, что если бы к нам, русским, пожаловали бы друзья другой национальности и устроились бы в наших храмах...

— Китайцы добродушны? — спросил я.

— Да ничего... когда чувствуют силу, а когда вот так с семидесятью двумя человеками: виляют... и сам черт не разберет, кто из них хунхуз, кто нет.

Ох, как хорошо и крепко мы спали эту ночь! А утром любезные хозяева нас еще раз покормили, напоили чаем, и мы, окруженные толпой китайцев, вышли на улицу, чтоб ехать дальше.

Общее впечатление этого Бидзево — какое-то всеобщее недоумение. Недоумевают и, очевидно, не понимают, в чем тут дело, китайцы; не знает, как быть и держать себя, эта горсть русских. Их отношения к китайцам и китайцев к ним неясные и условные.

— По одним делам я сам разбираюсь, по другим — отсылаю их к их судьям. А таможней заведывает еще китайский чиновник. А вот тут недалеко есть город, так там ихний фудутун не хочет уезжать, и конец. Ничего еще как следует не устроено, и до всего приходится своим умом и за свой ответ додумываться: больше на политике и выезжаешь...

Политика и русская сметка, очевидно, помогают командиру, и отношения у него с местным населением простые, условно-добродушные.

Вышла на улицу проводить нас и единственная дама здешних мест, симпатичная и в то же время глубоко несчастная жена командира.

— Какой прекрасный день, — сказал я ей.

— Тем страшнее будет ночь...

Ее черные глаза широко раскрылись, и темная страшная ночь сверкнула в них. Вот ужас жизни!

— Неужели вы без конвоя?

— За день ведь они успеют добраться до нашего пикета, — отвечает ей муж. — А то, — обращается он к нам, — подождите, мы к вечеру ждем доктора, при нем пятнадцать человек конвоя.

Даже у П. Н. пренебрежительная гримаса. Что до Н. Е., то тот давно уже сидит на своем облучке и, отвернувшись угрюмо, слушает наш разговор. Когда мы уже выехали за город, П. Н. со слов переводчика и наших ямщиков-китайцев говорит:

— Это все сами китайцы их и расстраивают. Может, пятьдесят каких-нибудь хунхузов шляется, как в каждом городе, а они нарочно раздувают, чтоб боялись... Положим, что как и надеяться на них: сегодня нет хунхузов, а завтра все они хунхузы, — с китайцами тоже шутки плохие.

26 октября

Страна от Бидзево до Порт-Артура представляет несколько другой характер в сравнении с проеханным уже нами побережьем Ляодунского полуострова.

Местность гористее, пахотных полей меньше, и урожай значительно беднее здесь. Нет той заботы о полях, нет больше мирных, оживленных картин сельского хозяйства: групп, работающих в поле, работающих около фанз молотильщиков кукурузы, гоалина; групп, возящихся у компостных куч.

Здесь хозяйство стало как бы второстепенным уже делом, и в фанзах и около народу мало, — больше старики; многие фанзы стоят пустые. Ушли ли их обитатели, привлеченные заработками в Порт-Артуре, совсем ли ушли, испугавшись иноземного нашествия?

В двадцати четырех верстах от Бидзево наш казачий пикет из шести казаков.

Пикет расположен в одной из фанз деревни. У ворот стоит часовой казак: желтые лампасы, желтый кант на фуражке — забайкальские казаки.

Поели и дальше поехали.

Военный доктор едет с конвоем — четырнадцать казаков.

Н. Е. кричит мне:

— Вот как люди ездят!

Смотрят на нас доктор, казаки, стараясь угадать, кого мы с Н. Е., сидящие на облучках, очевидно, прислуга, везем там, внутри. У меня оттуда выглядывает П. Н., у Н. Е. еще важнее смотрит кореец в своем национальном костюме, который, впрочем, наполовину умудрился растерять, так как постоянно или пьян, или спит.

— Кого везете? — сонно спрашивает последний казак Н. Е.

— Японского и корейского министров, — так же апатично отвечает ему Н. Е. и в свою очередь спрашивает: — Хунхузы есть?

Казак нехотя бросает что-то, чего за дальностью расстояния разобрать мы уже не можем.

Вечереет. Совсем уже мало пашни, горы толпятся, и скоро придется переваливать через них. Уже впотьмах подъезжаем к следующему селу, где стоит казацкий пикет.

27 октября

Чем ближе к Порт-Артуру, тем больше заметно присутствие русских.

На узком перешейке, между двумя морями, где видны оба берега, посреди перешейка возвышается целая земляная крепость.

Тут же лагерь русский. Идут какие-то маневры; группа офицеров на берегу.

От китайского города Вичжоу, пока совершенно еще самостоятельного, идет большая дорога в горы, за которыми скрывается Порт-Артур. Китайский город уцелел среди наших владений, потому что он принадлежит каким-то родственникам богдыхана. Прежде вся округность платила подати этим родственникам. Теперь подати платит население нам, но и

родственники богдыхана не зевают и вымогают вторую подать в свою пользу пыткой.

По дороге оживленное движение: идут, едут в арбах, на ослах. Прекрасный тип верховых ослов, высоких, на тонких ногах, с тонкой, нежной, как шелк, светлой шерстью. Очевидно, они дороги, потому что сидят на них китайцы богато одетые, в богатых китайских седлах, с дорогими попонами, расшитыми на них шелками и золотом драконами, зверьем и изречениями.

С тем же любопытством, с каким я смотрю кругом, смотрят и китайцы и русские.

Очевидно, для всех в новинку все, что теперь происходит.

Чтоб быть правдивым, не могу не заметить, что по дороге попадались иногда русские, которые при встрече, например, их экипажей с китайцами, без церемонии ругались, кричали и требовали, чтобы китайцы сворачивали немедля, хотя бы от этого китаец рисковал с своей неуклюжей запряжкой свалиться под откос.

Быстрота и беспрекословность, с которой китайцы торопились исполнять эти требования, казалось, удовлетворяли кричавших, но не думаю, чтобы они удовлетворяли китайцев. На меня по крайней мере все это производило тяжелое впечатление чего-то старого-старого, давно забытого.

Какому-то солдатику, который кричал в толпе китайцев, я говорю:

— Зачем вы кричите?

— Помилуйте, ваше благородие, — я один здесь назначен: не буду кричать на них, как справлюсь?

И еще энергичнее он продолжал свою ругань и крики.

Собственно, такой же ответ вы услышите и от более интеллигентных.

— Нас здесь очень мало — авторитет необходим... Посмотрите на англичан: они бьют, да не так, как мы... И если этого не делать здесь, в Азии, где нас, собственно европейцев, горсть, то все погибнет...

Ссылка на англичан постоянная и столь же неверная.

В Порт-Артур мы приехали поздно вечером.

Долго возили нас по каким-то тесным, грязным, темным китайским улицам, пока мы не нашли в одной из двух гостиниц грязного, маленького, темного номера.

И то помог какой-то военный, так как содержатель гостиницы, господин Афу, китаец, отказал нам.

— Глупости, Афу, дай номер, — приказал военный.

— Ей-богу, нет.

— Прогони буфетчика в город.

— Так разве.

И вот вместо буфетчика поселились мы.

28–31 октября

За три дня, что я пробыл в Порт-Артуре, я увидел, правда, все, но разобраться во всем этом трудно.

Чувствуется, что это все только самое первичное начало того, чему конец не нам увидеть.

Общее впечатление такое: люди пришли, дальше что?

— Здесь, с этим только полуостровом, узким, как нога, только и поставить одну ногу, а другую куда? На одной долго не прстоишь... Только здесь ничего серьезного не получишь.

Что надо для серьезного?

И вам говорят военные люди:

— Надо изгнать японцев из Кореи, чтобы поставить и другую ногу, чтобы иметь такой по крайней мере порт, как Шестаков.

У каждого своя специальность, и что другое говорить военным?

В общем, впечатление недавно завоеванного края — обстановка, напоминающая немного Болгарию после войны, во время оккупации.

Но там было проще. Очевидно, здесь наша задача не столько победить, сколько внести культуру. Какую культуру? Чувствуется два противоположных направления. Одно за то, чтобы признавать за побежденными без войны китайцами полную равноправность, их право жить, как они хотят жить; за это направление моряки с Шестаковым во главе и инженеры путейские во главе с очень умным, талантливым и очень дельным инженером Кербедзом.

Другое направление за то, что мы, русские, пришли сюда жить, и будем жить, и заставим все и вся сообразоваться с нами, и ни с кем сообразоваться не будем.

В этом направлении многое уже сделано и, вероятно, все остальное делается: энергично вводится русское денежное обращение, уже принят в торговлю русский вес.

И то и другое значительно удорожило жизнь, Дороговизна жизни растет очень.

Говор местных людей удалось послушать в первый же вечер нашего прибытия в Порт-Артур за ужином в общем зале.

За соседним столом ужинала группа военных самого пестрого состава: артиллеристы, военные инженеры, просто военные.

Какой-то адъютант, человек лет сорока, с мрачными энергичными глазами, с торчащими ежом густыми седеющими волосами, морщил свой маленький лоб и, жестко вычеканивая слова, долбил:

— А я китайца бью, бил и буду бить, потому что иначе это будет не дело, а черт знает что.

— А если не велят? — бросил маленький блондин-артиллерист — и раздраженно закрыл, свои большие бледные глаза.

— А не велят, так сами и пожалуйте делать.

— Вас просят.

— А меня просят, — я иначе не умею.

— Глядя на вас, и солдаты бить станут, — небрежно говорит ему красивый, выхолненный военный инженер.

— И бьют.

— Не приказано, — отвечает не спеша инженер, — и зачем? Зачем я стану подвергать себя ответственности: не приказано. Я человек закона: не приказано... Пусть работа вместо четырех тысяч стоит сорок тысяч: не приказано. И ни я, ни мои солдаты пальцем не трогают. Лежишь — лежи... не приказано...

А на другой день инженер путейский доказывает мне, что китаец работает не хуже русского, но только не поденно, а сдельно.

— Китаец и без того работает за грош: сорок копеек куб обыкновенной земли — цена неслыханной дешевизны. Но сдельно не хотят им сдавать работы, а гоняют на поденную, — платят, правда, пятнадцать-десять копеек в день, но куб вгоняют в десятки рублей... И факт, что на всё цены растут здесь неимоверно и будет то же, что и во Владивостоке.

По утрам мы пьем кофе в одной булочной, где подают не консервы, а настоящее молоко. Там же пьет свое кофе какой-то иностранец, типичный и характерный.

— В английских колониях цены не растут, — англичане приходят, чтобы взять, а не дать. У русских же наоборот, цена сразу

поднимается до того, что никакого дела, нельзя делать... Русские дают, но не могут, не умеют брать.

— Правда, что англичане дерутся?

— Это глупые сказки... Я хорошо знаю англичан: это единственная нация, которая умеет вести дело колоний. Нигде нет таких удобств, той дешевизны, нигде вас не ставят так лицом к делу и нигде не дают столько прав. Англичанин каждому, дает свободу и только помогает делать дело, а все остальные, кроме Бельгии еще, нации провалились в колониях, не исключая и Франции... Здесь, в колониях, Франция спела свою песенку, как все латинские народы: сами французы это отлично сознают... При нашей жизни мы еще увидим, как из рук французов уйдут все их колонии, — вот так же, как из рук испанцев... Будущность за англичанами, со временем, за немцами...

Симпатичный уголок Порт-Артур?

Пока нет. Может быть, это суровый закон необходимости, но на мирного гражданина тяжело действует хотя бы такая уличная сценка.

Улица полна военными и их дамами, а посреди улицы с самой благодушной физиономией пехотный солдатик, с бляхой городского, ведет, держа по косе в каждой руке, двух китайцев.

На лицах китайцев стыд и растерянность, встречные китайцы с опущенными глазами угрюмо сторонятся.

Ведь в России гоголевских времен городничий, правда, тряс за бороды, да и то глаз на глаз, а так, чтоб за бороды водить по улицам — не приходилось что-то видеть. А коса у китайца, пожалуй, еще священнее, чем борода у русского.

Что сказать о самом городе?

Маленький китайский городок, ютящийся у бухты, спешно перестраивающийся для новых нужд.

Местность кругом голая, без растительности, открытая холодным ветрам.

Эти ветра уже начались, и мелкая пыль осыпает и бьет в лицо. Неуютно на улице, неуютно в этих китайских, хотя и приспособленных уже к иной жизни, фанзах.

Общий говор и интерес минуты: продолжатся ли увеличенные оклады после Нового года, или надо будет бежать назад в Россию?

О бегстве помышляет каждый, и я не встретил ни одного человека, который помирился бы с мыслью основаться здесь.

Способ сообщения — дженерики — маленькая ручная колясочка на двух колесах, которую везет сильный китаец. Способ неприятный и тяжелый.

В то время как сухопутные военные заняты укреплением берегов, моряки думают над здешней бухтой. Бухта глубока, но очень мала. Пароход «Херсон» прямо чудо выкинул, повернувшись в бухте. И притом бухта с одним очень узким выходом. И следовательно, с нашим флотом может легко повториться здесь то же, что случилось с испанским в Сант-Яго.

Если углубить южную бухту, проделать в скалах еще один выход в море, то, конечно, положение значительно улучшится. Но все это требует и денег и времени, и при всем том и приливы, и отливы, меняющие высоту горизонта на 14 футов, и Вейхавей, в нескольких часах езды отсюда, все-таки останутся.

При таких условиях Порт-Артур хотя и будет стоить много, но никогда не достигнет Владивостока ни в прямом, ни в переносном смысле, в том смысле, что никогда он не будет владеть Востоком.

И другой торговый порт здесь — Талиенван благодаря скалам своего побережья и той же разнице горизонта не обещает большой будущности.

И все здесь, кажется, сходятся в том, что на Желтом море нет хорошего порта, — хорошие порты в Японском море, глубокие, покрытые, незамерзающие, с разницей горизонта в 2–3 фута.

А Порт-Артур, Синампо — это только морские станции.

И не будь туманов и замерзаемости — ни один порт не сравнится с Владивостоком. Против льда средство найдено.

Иллюстрацией того, как нелегко в бурю попасть в иголочный проход порт-артурского порта, служит разбившийся о скалы остов китайского броненосца у самого входа в порт.

Повторяю, никакого определенного впечатления о Порт-Артуре я не вынес, слишком еще все хаотично там было в мое время, — восемь тысяч войска в маленьком городке, почти все на бивуаках, почти все с недоумевающими лицами, что из всего этого выйдет. Уйдут ли через полгода назад? Усилят ли их настолько, что смогут они оказать серьезное сопротивление в случае нападения?

Но в то же время вы увидите планы будущего города и порта, а могучий двигатель жизни — железная дорога — уже начинающий осуществляться факт; работают и за городом и в городе; выгружают с грохотом рельсы, подвижной состав. Пароходы русско-китайской железной дороги установили уже постоянное сообщение и с западным и с восточным побережьями Ляодунского полуострова, вывозят материалы (главным образом лес) из Татонкоу, куда они доставляются из верховьев Амноки. Оттуда же привезется лес и для всех будущих построек.

Что-то большое, очень большое завязывается, что роковым образом не может ни остановиться, ни не стоить нам громадных жертв.

В последний раз я прохожу по узким улицам этого русско-китайского города, в последний раз сижу в телеграфе, где за каждое слово надо платить рубль тринадцать копеек.

Мы с Н. Е. отправили, как только приехали, телеграмму в И-чжоу, чтобы солдаты наши не шли по Ляодунскому полуострову, а направились на Чемульпо и оттуда пароходом в Порт-Артур. Но телеграмма уже не застала их.

Как-то они доберутся? Н. Е. остается ждать их и будет телеграфировать мне. Я же сейчас сажусь на пароход и еду в Чифу, Шанхай, через Японию, Америку, Европу — домой.

Домой! Хотя до дому остается еще более двадцати пяти тысяч верст. И Тихий и Атлантический океаны особенно бурные в это время года: хуже не будет того, что было.

Я уже на борту маленького пароходика, который довезет меня до Чифу.

Н. Е. и П. Н. слезят с трапа, вон они уже в лодке, и в последний раз мы машем друг другу.

Как быстро, кажется теперь, промчалось время, что мы провели вместе: пронеслось, как все проносится, как пронесется и сама жизнь, оставив след не более вечный, как тот, который бурлит теперь за нашим пароходиком.

Вот и выход в море, голые скалы, за ними скрылся город.

Прощай, Порт-Артур, увижу ли когда-нибудь тебя еще раз? Не пожалею, если не увижу. Может быть, и выработается со временем и в тебе твое «поди сюда», но пока... прощай!

1–2 ноября

Нас бросало, как ореховую скорлупу.

Приятно было одно — это то, что я убедился, что меня по-прежнему не укачивает.

А утром мы уже были в тихом рейде маленького чистенького Чифу.

Плохо мне пришлось в английской гостинице: прислуга — китайцы — окончательно отказываются понимать меня; хозяин понимает только тогда, когда я показываю соответственное слово в лексиконе. Ни по-французски, ни по-немецки не говорят здесь.

Выручил меня здесь наш русский начальник почтовой конторы.

Он с семьей живет в хорошеньком, с садиком, домике недалеко от пристани и ведет здесь образ жизни такой же, как и все европейские семьи: утром фрукты, завтрак, чай, в час второй завтрак, в пять — чай, в семь — обед. Он хорошо говорит по-английски, немецки и французски, получает мизерное, не соответствующее режиму здешней жизни содержание.

Уже одни русские туристы, вроде меня, чего стоят: два дня с радушием и гостеприимством, чисто русским, они кормят, поят и развлекают меня.

Жизнь ведут они замкнутую, ограничиваясь в своих общениях с остальными европейцами — главным образом англичанами — официальными визитами.

— Странный народ эти англичане, — жалуется хозяйка дома, — в известных отношениях они очень щепетильны, а войти, например, в гостиную в пальто и так и сидеть — это сплошь и рядом. Дамам кланяются, и очень низко, а мужчина мужчине только головой кивает, делает рукой какой-то легкий жест, как будто хочет дотронуться до шляпы.

— Держат себя заносчиво?

Муж, спокойный, флегматичный, отвечает:

— С внешней стороны, может быть, и есть что-то шокирующее, — просто манера, но по существу очень благожелательны, не любят сплетен и относятся с большим доверием. Я несколько месяцев не получал жалованья: открыли кредит... Совсем

же меня не знают, мог бы так и уехать... У них правило уж такое: верить всякому человеку, но если уж обманет...

Против дома моих знакомых громадный вымпел, на котором выбрасываются шары, и количество их, правая или левая сторона вывески, извещает город о приходящих и уходящих пароходах.

А вот, наконец, и мой пароход.

Английский небольшой пароход. И с кем я еду? С лордом Чарльзом Бересфордом.

На пароходе в рубке, перед столовой, вокруг мачты расставлены ружья, ножи, сабли — все это на случай нападения морских пиратов. Есть и две маленькие пушки.

— Все это, — с добродушной гримасой объясняет мне один пассажир-француз, — теперь уже никакого значения не имеет — это старый пароход.

2–4 ноября

Лорд — очень сдержанный и вежливый, немного рыхлый старик; при нем молодой корректный секретарь. Каждое утро лорд первый раскланивается со всем нашим маленьким обществом и затем по расписанию пишет, читает, гуляет. Общество небольшое.

Молодой, почти юноша, англичанин, в полосатом, цвета удава, длинном пальто с меховым воротником, да француз и я. Француз — фабрикант и поставщик вин, житель Шанхая.

За обедом и завтраком к нашему обществу прибавляется старый, с фигурой морского волка, капитан. Он очень почтителен с лордом, как почтителен и юноша. Юноша любезен и с нами, но, к сожалению, между нами непреодолимая преграда: он знает только свой английский язык, а мы не знаем его. Хотя я постепенно занимаюсь этим языком, то сидя на палубе с словарем и книгой, то в каюте, занимаясь переводами с русского на английский. Я уже почти свободно читаю газеты, но говорить или понимать, что мне говорят, совершенно не могу, — очевидно, для произношения недостаточно одного словаря.

Француз не в духе: он зачем-то ездил в Порт-Артур и ругает формализм русских и французов.

— К стыду нашему, здесь, на Востоке, единственные люди дела — англичане. В Шанхае мы, французы, предпочитаем обращаться к

английскому, а не к своему консулу.

Для лорда мы останавливались у Вейхавея, но так далеко, что, кроме скал, ничего не видали. Оттуда к нам подъехал паровой катер. Остановились у немцев в Киу-Чау. Сначала говорили, что лорд высадится здесь на берег, за ним приехал было и катер, но обиделся ли он невниманием, — за ним приехали без офицера, — или по какой-нибудь другой причине, но, словом, крикнув что-то катеру, мы тронулись сейчас же дальше.

Впечатление от Киу-Чау еще меньше, чем от Порт-Артура.

Почти пустынный, без всякой жизни, отлогий берег, несколько немецких военных судов — вот и все.

Отсюда нас начало качать, и чем дальше, тем больше. Оказалось, что мы попали в крыло тайфуна. Ветер был в лицо и такой сильный, что трудно было стоять. Здесь море уже окрашено желтым, как разбавленная глина, цветом Желтой реки.

Так как наш пароход маленький, то мы остановились не на взморье, где останавливаются океанские пароходы, а вошли в реку и, пройдя по ней двадцать миль, остановились у пристани, в самом Шанхае.

5–8 ноября

Оригинальный и в своем роде единственный уголок мира — Шанхай. Это большой красивый город. В нем живет тысяч тридцать европейцев и тысяч пятьсот китайцев.

Китайский город отделен от европейского и тянется на громадном расстоянии. Не довольствуясь сушей, он захватил и воду, и на реке против китайского города вы видите массу плавучих, наскоро сколоченных домиков.

Оригинальность и исключительность европейского Шанхая в том, что он не принадлежит никакому государству. Здесь нет и не может быть поэтому никаких политических преступлений. Надо убить или украсть, чтобы суд консулов мог судить вас.

В этом громадном торговом пункте есть русская икра, английские вещи, французские вина, американская мука, польская клепка, но русского, поляка, американца, француза, как мы привыкли понимать эти слова в их политическом значении, нет.

Конечно, где же в другом месте и появиться этой первой звездочке далекого будущего, как не здесь, на Востоке, в Китае, пережившем уже в сущности свою государственность. В этом смысле — *lux ex oriente* [11].

В торговом отношении здесь господствуют, конечно, англичане.

Мы меньше других. Мы отказались добровольно, тридцать лет тому назад, от предложенного нам китайцами, наряду с англичанами и французами, места. Теперь это место стоит миллионов сорок рублей.

Я остановился в «Hotel des Colonies», хорошем отеле, где говорят не только по-английски, но и по-французски.

В ожидании парохода я пробыл в Шанхае пять дней. Меня навещал мой спутник — француз; я познакомился с нашим, очень любезным и внимательным консулом, благодаря которому, между прочим, и директору наших тюрем, генералу Саломону, видел китайские тюрьмы. Но главным моим спутником и здесь был любезный и образованный начальник нашей почтовой конторы. С ним мы перебивали везде и в городе и за городом, посещали театры — европейский и китайский, покупали вещи, наводили справки относительно моего дальнейшего путешествия, знакомились со всем окружавшим нас.

Мы почти не разлучались с ним эти пять дней. Наш день распределялся так: до завтрака он работал в своей конторе, а я занимался английским языком. Кто-нибудь из нас заходил за другим, и мы отправлялись завтракать то в мою, то в его английскую гостиницу.

Время между завтраком и *five o'clock* (пять часов, время, когда пьют чай или кофе) мы ходим по городу, то покупая, то просто осматривая из любопытства китайские магазины.

Вот магазин шелковых изделий. Китаец приказчик говорит вам:

— Это не японская работа с нашивными узорами, это ручная китайская работа.

И работа и материя прекрасны и оригинальны.

Вот магазин, где продаются разные работы из камня и дерева.

Всевозможные игрушки, рисующие быт китайцев, с отделкой, поражающей своей тщательностью и микроскопичностью. В этих игрушках вся бытовая сторона китайской жизни: вот везущий вас дженерик и ею колясочка, вот китаянка, вот свадебный обряд, вот суд,

вот всевозможные наказания: голова, просунутая сквозь бочку, голова и руки, когда человек не может лежать: две-три недели такого наказания, и нервная система испорчена навеки. А вот представления о загробной жизни; суд и наказания грешников: одного пилят пополам, другому вырывают язык, третьей вырезают груди, а четвертого просто жгут на костре. Как красивы работы из камня, который называется мыльным камнем: разноцветный мягкий камень.

Иногда, напившись чаю, мы едем кататься за город, любимое место прогулки high life'a [12]. Здесь вы встретите и нарядные кавалькады, и группы велосипедистов, и богатые выезды с китайцем-кучером и двумя лакеями-китайцами на запятках. Остроконечные шляпы их, их косы, длинные, под цвет обивки экипажа одежды с пелеринами — все это производит сильное впечатление и переносит вас в сказочную страну роскоши и богатства, страну английских колоний.

Затем мы обедаем: два раза обедали у консула, в обществе наших симпатичных моряков. Шли разговоры о флоте.

— У японцев флот хорош, первый после английского, у немцев плох, у французов много деревянных и старых судов.

— А наш флот?

— У нас есть прекрасные боевые единицы, но ничего цельного нет. Англичане, например, раз строят — строят того же типа не менее четырех судов. Эскадра из таких четырех судов имеет и скорость одинаковую, одинаковые запасные части — словом, все хозяйство одинаковое. А у нас из четырех судов, составляющих транспорт, все, конечно, разного типа: одно имеет скорость двадцать узлов, другое — двадцать пять, третье — пятнадцать, а четвертое — каких-нибудь восемь; ну и идут все со скоростью восьми узлов в час.

Я упоминал уже о посещении нами тюрем. Тюремное китайское начальство было заранее уведомлено о том нашим консулом. Нас встретил плавный судья, угостил нас чаем, очень долго на прекрасном английском языке разговаривал с генералом Саломоном, но показал нам в сущности очень мало: один деревянный флигель с чистыми комнатами. В этих комнатах на нарах сидели какие-то китайцы, с очень благодушными лицами, не похожими на лица преступников или по крайней мере людей огорченных. Да и было их очень мало. Кто-то

из бывших с нами сделал предположение, что нам показывают стражу тюремную.

— Сегодня, если хотите, мы поедem в китайский монастырь, — предложил мне как-то после завтрака мой любезный компаньон.

И вот мы едем туда китайским грязным городом, едем берегом мутно-желтой реки, несколько верст едем дачами и, наконец, останавливаемся перед высокой каменной стеной. Мы сходим с экипажа и в отворенные ворота видим широкий двор, посреди которого высится круглое, с невысоким куполом, здание: это храм Будды, пагода.

За нами увязывается какой-то китаец проводник, хорошо говорящий по-английски. Два китайских монаха в длинных грязных балахонах, подвязанных веревкою, с обнаженными, низко остриженными головами, делают попытку отогнать от нас нашего проводника, но тот в свою очередь энергично отгоняет монахов, и те уже робко где-то сзади плетутся за нами.

— Однако монахи здесь очень робки, — говорю я.

— Поневоле, в Китае нет привилегированной религии, и все имеют право свободного входа во все храмы, да к тому же эти монахи плохо говорят по-английски, а наш проводник — хорошо.

Мы входим в большой, плохо освещенный храм; посреди — громадный, во весь храм, красной меди, Будда. Кругом него множество маленьких фигурок — тоже будды: будда трехголовый, тринадцатиголовый, будда с тысячью руками, будда на лотосе и без лотоса. Вдоль стен статуи других божеств: войны, мира; множество других фигур: этот помогает от такой-то болезни, тот — от другой, этот защищает от неприятеля, от того зависит урожай.

— И этим уродам молятся? Господи, какие они глупые, — весело говорила молоденькая дамочка своему кавалеру.

Новый двор и новый храм.

— Обратите внимание на украшение крыши.

Там, вверху, по карнизам и на коньке крыши, всевозможные фигуры из мира фантазии: драконы, зверье, люди. Прекрасная работа по силе и выразительности.

Мы проходим несколько дворов и храмов и подходим к последнему. У входа доносится какая-то музыка воды: мелодичная и однообразная. Двери храма тяжело затворяются за нами, и мы

остаемся в едва освещенном полумраке. В темноте перед нами все та же гигантская фигура Будды на лотосе. Лицо его без желания, никаких чувств на нем из знакомых нам, кроме чувства покоя, подавляющее спокойствие.

С остриженными головами, спущенными на спину капюшонами, сидят на полу два китайца монаха: они бьют в такт металлическими угольниками и что-то напевают. Эти переливающиеся, как вода, мелодичные, однообразные звуки льются без перерыва, наполняют храм, вливаются в вашу душу, усыпляют ваш слух. Вы ловите мотив и теряете себя в лабиринте охватывающих вас звуков. Кажется, что вечно стоишь здесь, убаюканный этой мелодией, темнотой храма, покоем того, кто смотрит на вас. Точно и на вас сошел этот бесстрастный покой, и живете вы уже только отвлеченным сознанием, что вы живы. Как-то осязательно чувствуешь, как и вся окружающая меня теперь жизнь застыла, как несутся над ней века, тысячелетия.

И долго потом вы все еще слышите этот переливающийся мелодичный звон, видите громадного Будду перед собой, эти головы стриженных монахов, вечно сменяясь, по очереди, день и ночь выбивающих все тот же однообразный, мерный ритм.

— А сегодня, — сказал мне в другой раз как-то мой любезный собеседник, — мы пойдем в китайскую часть города: в Чайную улицу и китайский театр.

Мой спутник случайно или умышленно никогда не предупреждает о том, что мы увидим, и вследствие этого сила и свежесть впечатления не разбиваются.

Было часов девять вечера, когда мы вышли из дому.

— Пойдем пешком.

Мы идем частью города, принадлежащею англичанам. По обеим сторонам прекрасно вымощенной улицы красивые, с зеркальными окнами дома, сады, зелень. На каждом перекрестке — неподвижные, как статуи, индусы стражники: белые тюрбаны, длинная черная борода, оливковые лица, длинный взгляд черных, каких-то сонных, точно загипнотизированных глаз.

А вот предместье, жилище метисов — помесь португальцев с разными аборигенами Востока. Тесные улицы, скученные бедные дома.

Когда-то португальцы были здесь такими же хозяевами, как теперь англичане. Потомки их, метисы, занимают более скромное общественное положение: это писаря, счетчики, третьестепенные приказчики.

Эти все сведения, пока мы идем, сообщает мне мой спутник, а я тороплюсь запечатлеть в памяти и прочесть что-то во встречающихся нам метисах.

Вот идет усталый, задумчивый, бесцветный брюнет, с желтым лицом, плохо покрытым растительностью, с жесткими волосами на голове. В фигуре нет силы, упругости, красоты — что-то очень прозаичное и бездарное.

Вот она — в европейском платье от плохой модистки, без корсета, без желания нравиться, вся озабоченная какими-то прозаическими соображениями, вероятно о хозяйстве, о дороговизне жизни. Скучная жизнь, когда надо тянуться за тем, «что принято, что скажут?» Не стоит выеденного яйца.

А вот и китайская часть города, и вас уже охватывает какой-то теплый и неприятный аромат китайских улиц.

Горят огни в китайских магазинах, в раскрытых настежь дверях сидят их хозяева, на улицах оживленная толпа: серая, грязная толпа в голубых кофтах, в косах, и грязный след от них на спине, масса мелких, жестких, секущихся волос на плечах. Запах грязного, но здорового и сильного тела. Много тел, и все они энергично идут туда же, куда идем и мы.

Вот и Чайная улица в красном зареве заливающих ее огней. Этот красный отблеск сливается там вверху с голубой ночью, и прозрачной голубой пеленой окутывает ночь эту фантастическую улицу.

Она много шире других и своими ажурными балконами вторых этажей, своими висящими на красных полосах, золотом исписанными вывесками, с миллионом разноцветных фонарей, освещающих все это на фоне красного зарева, она имеет какой-то воздушный, сказочный вид. Гул, звон, пение. Вы плывете в громадной густой толпе этих сплошных грязных тел, — тепло, душно, звонче литавры и дикая музыка под теми балконами вторых этажей. Там толпа, мелькают женские фигуры, гул движения.

Пока вы смотрите туда вверх, здесь, внизу, вас давят, толкают, там у входов разрисованные женские фигурки, которые зазывают к себе

толпу эту, и в то же время то и дело на вас налетают с торопливым резким окликом то носилки с фонарями, то конный экипаж, то дженерик, то, наконец, просто носильщик, который с товаром своим на высоко поднятой руке несется стремительно вперед и что-то кричит благим матом. Кричат все — энергично, резко, и везде — в носилках, в каретках конных: и ручных, у носильщиков все тот же товар — китайские женщины. Их множество, и все они на одно лицо: — набеленные, накрашенные, с замысловатой прической черных волос, блестящих и жестких, как лошадиная грива, все в ярких, дорогих длинных одеждах. Эти маленькие, как дети, которых носильщик несет на одной руке, они действительно дети, им восемь, десять, двенадцать лет.

— Куда их несут? — спрашиваю я своего спутника.

— Требуют.

— Кто?

— Китайцы.

И я слушаю отвратительные, ужасные рассказы о том, как с раннего детства эти несчастные жертвы готовятся к своей нечеловеческой участи: растление в восемь лет, а в пятнадцать уже выброшенное за борт, с уничтоженным человеческим естеством отребье.

— Что это за здание?

— Род кафешантана; войдем?

Мы входим; единственные европейцы среди этого моря китайцев. На нас смотрят холодно, равнодушно, а иногда и враждебно. Зная, как ненавидят китайцы европейцев, зная, как особенно щепетильны они в женском вопросе, невольно приходит мысль в голову/ о риске с нашей стороны. Но мы уже уплатили за вход и за другими проходим в широкое нижнее помещение.

Вдоль стен, сплошь, род открытых лож с мягкими скамьями. На них в разных позах лежат люди: опершись на руку, лежа, один готовится что-то. Маленькая ручная лампочка тускло освещает его наклонившееся бледное, точно водой налитое, бритое лицо. Вот другой: он быстро, жадно, из длинной трубочки втягивает в себя несколько плотков дыма. Третьи лежат неподвижно, как мертвецы, на боку и стеклянными выпученными глазами бессмысленно куда-то смотрят.

— Что это за люди?

— Курильщики опиума. Этот вот, с остановившимися глазами, уже готов: он видит теперь то, что хочет: богатство, почести, женщин. Это одиночки: они только курят. Если они с женщинами, они и курят и плотают внутрь — и мужчины, и женщины, доводя себя до самых иступленных форм разврата.

В этой толпе грязных тел, в тяжелом угаре опиумом и испарениями насыщенного воздуха, мы поднимаемся в верхний этаж в каком-то мучительном возбуждении, чувствуя, что не успеваешь схватывать всей этой массы новых и новых впечатлений. Мысль и фантазия невольно приковываются к отдельным образам, жадно проникают их и опять отвлекаются к новым. Мы стоим наверху, перед открытой эстрадой. В громадной низкой зале множество столиков, за ними сидят китайцы, а вдоль стен такие же, как и внизу, ложи с такими же фигурами. Садимся и мы за столик, нам подают в маленьких чашечках с тяжелым ароматом зеленый чай, мы пьем его и смотрим на ярко освещенную эстраду.

Посреди эстрады стол, вокруг стола разрисованные фигурки китайок, на столе чай. За столом, в глубине эстрады, несложный оркестр: визгливая скрипка, барабан и литавры. Барабан дико ухает, литавры бьют, скрипка все время визжит на самых высоких нотах.

Каждая из китайок по очереди поет или, вернее, выводит невероятно высокие, металлические, режущие ноты. Кажется, искусство здесь — слить свой голос с пискливым голосом скрипки. Иногда слышится что-то очень заунывное и тяжелое, — в общем же впечатление дикое, грубое, совершенно примитивное.

Проблески нашего кафешантана чувствуются: у каждой певицы свои поклонники, свои завсегдатаи, игра в любовь, а может быть, и действительная любовь. Толпа не стесняется самым циничным образом выражать свои впечатления.

Нам постоянно подают салфетку, обмоченную в горячую воду и слегка выжатую. Ею надо вытирать лицо, руки, вероятно, чтоб не так чувствовалась жара.

Жарко очень, и все душнее. Все резче, страстнее возгласы. В этой тяжелой, душной атмосфере точно и сам растворяешься, сильнее чувствуешь царство этого грязного тела, в этой страшной,

фантастичной, красной улице. Там как будто еще больше толпа, гуще, но возбужденнее гул.

Мы опять в этой толпе, опять тянутся сплошные кафешантаны по обеим сторонам, все переполнено там, а новые и новые массы народа, как потоки, вливаются из боковых улиц.

— Сегодня праздник у них?

— Каждую ночь так и круглый год.

В этот же вечер мы побывали в театре: что сказать о нем?

Самого низкого пошиба балаган, где не играют, а ломают какую-то нелепую, ходульную, совершенно нереальную комедию. Неэстетично до последней степени в этом карикатурном прообразе европейских театров. Все та же непролазная грязь, те же серые, грязные тела. В громадном деревянном сарае амфитеатром расположен партер, первый и второй ярусы, — везде за столами сидит публика, пьет чай, жует фрукты, вмешивается в ход пьесы, то угрожая, то одобряя.

Из театра мы опять прошли в Чайную улицу. Было часов двенадцать ночи. Все та же толпа, то же возбуждение, так же с дикими криками несли и везли куда-то эти разрисованные женские фигурки. Сильнее зловоние, чад, и угар, и испарения этих грязных тел. В кровавом просвете улицы фантастично и кошмарно движутся эти тела. А выше голубая прозрачная ночь так нежна, так красива, таким мирным покоем охватывает китайский город. Тем ужаснее все то, что творится здесь, под ее прекрасным покровом.

— Все это только цветочки, — говорит мне мой спутник, когда мы возвращаемся домой. — Никакая фантазия европейца не может представить себе, как развращен и циничен Восток... Как реален он, как разбита здесь вся иллюзия чувства одного пола к другому. Со стороны смотришь, и уже теряется всякая ценность какого бы то ни было чувства. Восток — это вертеп, гниющая клоака, это дряхлое старое тело, требующее нечеловеческих средств возбуждения, это цинизм, пред которым мы, европейцы, с нашими иллюзиями о чувстве, только еще. маленькие дети, которым говорят, что их нашли в капусте, и которые этому верят. Вот пусть этот водянистый китаец, который смотрит на нас с апатией и цинизмом своей пятитысячелетней культуры, — пусть он возьмет перо в руки и передаст осмысленно свои ощущения, свои мысли, все извращение

своего человеческого естества, — что будут тогда пред ним все наши пессимисты, Мопассан, сам Мефистофель Гете?

Во всяком случае, чтобы постигнуть или, вернее, что-то почувствовать, прикоснуться к чему-то бездонному и страшному Востока, надо побывать ночью в Чайной улице Шанхая.

Тяжелым лишением, трудом, нечеловеческой воздержанностью, месяцами и годами скопляемые деньги прожигаются там беззаветно, с размахом не знающей удержа широкой натуры на игру в кости, на женщин, мальчиков, девочек, на опиум. И попасть сюда — радость жизни, мечта, заветная святая святых каждого китайца, всех этих одурманенных жизнью китайцев.

Но слишком, мне кажется, все-таки не следует преувеличивать значения этого. Это избыток сил никуда не направленных, жизнерадостность ребенка. Посмотрите на другого китайца, который сидит в банках, который завладевает уже почти всеми предприятиями Шанхая: сами англичане в ими же созданных учреждениях теперь только этикетка, а работают китайцы. Через двадцать лет здесь все дело перейдет в руки китайцев, и конкуренция с ними будет немислима, и особенно для англичан, которые все слишком сибариты, слишком на широкую ногу ставят дело, — немцы более чернорабочие, но и тем непосильна будет конкуренция с китайцем.

Да, Восток — сочетание догнивающего конца с каким-то началом, какой-то зарей той жизни, о которой только может еще мечтать самый смелый идеалист наших дней.

Громадные, во много этажей, узкие и высокие плавучие здания на реке — все это склады опиума, все это принадлежит самому культурному народу в мире, все это, дающее сотни миллионов дохода.

Как-то в клубе я выразил одному англичанину упрек за торговлю опиумом.

Он сделал гримасу.

— Принцип свободной торговли; начать с того, что почти вся эта торговля теперь фактически в руках самих китайцев... Ни вы, ни я, конечно, мы не станем торговать опиумом, — вам и мне его и запрещать не надо... И суть здесь не в запрещении, а в тех условиях жизни, в каких одним опиум необходим, а другим он не нужен. Сегодня уничтожьте продажу нашего опиума, китайцы будут курить

свой, доморощенный, — и курят и всегда курили, — более дорогой, худшего качества, следовательно, и более вредный.

— Но и тот и другой — яд.

— Меньший, чем ваша водка: они курят свой опиум и доживают до глубокой старости. Умственные способности помрачаются, конечно, но их скотская жизнь и не нуждается в них: они только бремя в условиях этой жизни, только несчастье, от которого чем скорее избавиться, тем легче тому несчастному, кого природа одарила ими. При таких условиях вопрос об опиуме равносителен вопросу: что лучше — попытка под хлороформом или без?.. Повторяю при этом, что как у вас порядочные люди, вероятно, не торгуют водкой, так и у нас этого занятия избегают уважающие себя люди.

В Шанхае есть французская колония. Есть несколько магазинов французских, за городом устроен большой католический монастырь ордена иезуитов, при нем коллегия, в которой обучаются китайцы христиане. При монастыре же прекрасная обсерватория. Дисциплина и дрессировка в монастыре доведена до поразительного. Так дрессировать человеческую натуру умеют только иезуиты. Монахи ходят в китайских платьях. Я видел китайцев христиан: китайский костюм, борода — сочетание того и другого здесь производит очень странное впечатление. Китайцы к своим братьям-христианам относятся очень недружелюбно, и избиение миссионеров всегда начинается с этих китайцев христиан.

Французская газета в Шанхае клерикального направления: много пафоса, фарисейства и тенденциозного извращения фактов. Один американец, бывший солдатом на Филиппинах в американской армии и теперь возвращающийся в Америку, Mr. Frazur, худой, высокий, лет тридцати, очень деликатный и очень осторожный, говорит, улыбаясь:

— Вот такие же газеты и в испанских колониях. Внизу, в приемной комнате гостиницы, появилось извещение, что завтра, — 9 (21) ноября, отойдет в Америку через Японию и Сандвичевы острова тихоокеанский пароход «Gaelig»; на этот пароход у меня уже был взят билет с платой до Парижа, в том числе и по железным дорогам, за пятьсот рублей в первом классе, то есть почти за ту же плату, какую взяли бы с меня на нашем пароходе Добровольного флота «Ярославле» до Одессы, причем я не получил бы и десятой доли тех удобств, какие имел в своем путешествии через Америку.

Пароход принадлежит английской компании. Английскую компанию я выбрал по общему настоянию. Вот вкратце доводы в пользу такого выбора.

В длинном путешествии, а нам предстояло в одном Тихом океане прокататься больше месяца, меньше других приедается мясная английская кухня. На английском пароходе я мог рассчитывать на практику в английском языке. Наконец на английском пароходе безопаснее, чем на других. Иллюстрацией последнего приводится два ярких случая: один, бывший у французов, другой — у англичан.

Французский пароход «Bourgogne», погибший два года тому назад в Атлантическом океане. В момент столкновения на пароходе и пассажиры и офицеры парохода веселились, — французский экипаж отличается своим умением веселиться, своей любезностью, особенно к дамам. Уже когда столкновение произошло, публику успокоили сперва. Но через четверть часа после этого капитан «Bourgogne», доблестно погибший на своем посту, крикнул роковое:

— Sauve, qui petit! [\[13\]](#)

Тогда произошло нечто отвратительное и ужасное: малодушный экипаж, за минуту до того рассыпавшийся в любезностях пред дамами, бросился прочь от них и, в лице шестидесяти трех человек, сбежал с трапа в спущенную лодку. Бежавших за ними они отталкивали, сбрасывали с трапа. В последнее мгновение несколько женщин бросились в воду и хватались руками за их лодку: они ножами рубили им руки, те самые руки, которые, может быть, еще сегодня утром целовали, приветствуя их с начинающимся днем — последним страшным днем, когда несчастные потеряли и жизнь и веру в человека. Те пассажиры, которые оставались еще на пароходе, обезумевшие от ужаса и паники своих руководителей, бросились по лестницам вверх, туда, где над палубой на изогнутых кронштейнах качались на страшной высоте привязанные лодки. Несчастные все расселись в них и сидели так, потому что никто из них не знал, как спустить эти лодки на воду. Оттуда последним взглядом они могли еще раз увидеть, как размахнулся их пароход и вместе с ними пошел ко дну. От дикого их вопля не разорвались сердца уплывавших малодушных негодяев, и они благополучно спаслись. Из пассажиров спаслись только двое: один английский профессор и его жена. Не потеряв головы, в последнее мгновение он успел принести из каюты

плавательный пояс для себя и жены. Надевать их было уже поздно. Схватив поперек свою упавшую в обморок жену, плавательные пояса в другую руку, он бросился с своим багажом в океан. Три дня их носило по волнам, жена его несколько раз падала в обморок, пока он поддерживал ее; наконец их взяли на проходивший мимо пароход.

Аналогичный этому случай произошел на английском пароходе в том же океане, в то же время года, с разницей в два-три дня во времени. Был такой же туман, произошло такое же столкновение, и английский пароход получил такую же пробоину. Была сделана немедленно водяная тревога. Немедленно же весь экипаж, который на английских пароходах не входит во время пути ни в какие сношения с пассажирами, был на своих местах. Прежде всего публика была заперта кто где был, и началось сортирование ее: семейные отдельно, потом дамы, потом господа кавалеры. Несколько человек из публики, остававшихся на палубе, в то время когда соответственная часть команды экипажа спускала шлюпки, бросились к трапу, капитан с своего мостика крикнул им, чтобы они возвратились в каюту и что в первого, кто ступит на трап, он будет стрелять. Кто-то вступил и, простреленный, упал в воду, а остальные возвратились назад, в каюты, в указанные им места. Через четверть часа после столкновения все пассажиры, вся команда, касса и архив парохода были в лодках; последним сошел капитан; а пароход так же быстро, как и «Bourgogne», пошел ко дну. Все спаслись, потому что хотя и был туман, но океан, как и во время гибели «Bourgogne», был совершенно тих.

Все это факты, которых не отрицают и французы, но англичане с особым раздражением и высокомерием подчеркивают, вспоминая в то же время и благотворительный бал парижский и дело Дрейфуса. И они презрительно говорят:

— Все это признаки вырождения.

Мой спутник по Шанхаю иного мнения. Как русский, он питает слабость к французам, вырос в убеждении, что французы — первая в мире нация, и, не отрицая теперешнего упадка и обмеления французской нации, считает это явление и временным и, как это всегда бывает у французов, предшествующим эпохе крупных социальных переворотов.

Я передал это его мнение Mr. Frazur, и деликатный американец энергично согласился с ним:

— Несомненно, французы прежде были центром мира, и весьма возможно, что социальный вопрос и назрел у них прежде других. Во всяком случае нигде, конечно, так не опошлилась буржуазия и весь ее строй с ее литературой, как во Франции. И нигде, как во Франции, так не ясно, что какие-нибудь паллиативы оздоровления на той же буржуазной почве уже не действительны. Выход для нее — идти вперед, если ее пустят другие народы. В этом безвремении и трагизм и источник еще большего опошления.

Если англичане говорят презрительно о французах, то и французы платят англичанам тем же, — инцидент с Фашодой не остается здесь без влияния на взаимные отношения.

Мой знакомый француз говорит:

— История скоро выбросит за борт англичан: слишком они разбросались, слишком белоручки, слишком рутинны — рутины столько же, как и у китайцев, а фальши больше в их этике... О, как они лицемерны! Он за столом не выпьет рюмки вина, но вечером в своем клубе так напьется, что двое поведут его, поддерживая, и все-таки у него будет такой вид при этом, точно он собирается читать лекцию о воздержании...

9 ноября

Сегодня встал рано и тороплюсь укладываться. Совершенно самостоятельно, но с самым варварским произношением объясняюсь по-английски с прислугой, портным, прачкой, фотографом, извозчиком, телеграфной станцией, пароходной конторой. Язык как деревянный, и знакомые слова постоянно убегают, и все время с растерянной, напряженной физиономией ловишь их. Понимать еще труднее, чем говорить, хотя если говорить отдельно, то оказывается, что я понимаю уже почти все — все-таки три тысячи слов уже выучено. Недостаёт только навыка. Теперь в длинном путешествии будет и он.

Час дня. Сильный ветер, переходящий в шторм. Мы с моим спутником К. Н. стоим на пристани bund'a и ждем маленького пароходика, который отвезет меня на взморье.

Солнца нет, тучи, холодно даже в осеннем пальто. Желто-мутная поверхность громадной реки вздулась и короткими напряженными волнами хлещет в пристань. Сегодня как раз принц Генрих открывает памятник погибшему в 1896 году экипажу «Этлиса». Мне виден отсюда этот памятник. Он стоит тут же *bund'e* (набережная — лучшая улица Шанхая). Памятник очень простой, но много говорящий. Из зеленой меди сломанная мачта и приспущенный флаг. Флаг широкими складками обвивает нижнюю часть мачты и сиротливо лежит на пустой скале. Два часа тому назад здесь было большое торжество: играла музыка, маршировали, громко отбивая такт и энергично с силой вытягивая ноги, немецкие солдаты, принц Генрих говорил речь энергично, громко, так что, казалось, он ругал кого-то. Он не ругал: он воздавал должное мужеству погибших. Когда фрегат понесло на скалы и гибель была очевидна и неизбежна, весь экипаж запел веселую браваурную песню... Два-три очевидца из оставшихся в живых были тут же. Тут же в гостях у немцев, были английские, русские, австрийские, итальянские войска, — словом, все нации, суда которых находились в это время в Шанхае, прислали своих матросов. Не было только французов.

— Прощайте! — кричу я, и, уже ныряя, как чайка, наш пароход «Самсон» несется по желто-грязным волнам.

Новые лица кругом: одни провожают, другие едут в Японию, третьи дальше, в Америку. Некоторым дамам уже дурно, дурно детям, и маленькая девочка, с побелевшим лицом и судорогой отвращения и ужаса, кричит в отчаянии:

— Мама, мама...

На взморье волны сильнее, злой ветер рвет их верхушки, и наш «Самсон» то энергично взбирается на верх волны, то стремительно летит с нее вниз: так и кажется, что вот-вот он, не рассчитав, и совсем нырнет в желтую преисподнюю. На палубе стоять совершенно невозможно: все время качивает так, как будто гигантский насос работает непрерывно...

Мы мчимся мимо «Ярославля»: он тоже сегодня уходит в Одессу, но я на три дня буду раньше его.

Только не на Добровольном флоте, где несчастная идея начальственности и глупой, — есть умная, — дисциплины убивает всякое удовольствие поездки, неустанно держит вас в сознании, что

над вами бодрствует чья-то рука высшего порядка: рука бухарского отца-командира и его приспешников.

Нет, уж хоть здесь подальше от них.

А вон, на мглистом горизонте, черной точкой показался и наш «Gaelig». Издали скрадываются его размеры, но когда наш «Самсон» подходит вплоть, взлетая и ныряя так, что мы едва стоим на ногах, а гигант «Gaelig» не шелохнется, и надо высоко вверх поднимать голову, чтобы видеть его черные, высоко вверх поднятые борта, тогда только видишь, что это за громадина.

Я уже сверху смотрю в последний раз на привезшего нас пигмея «Самсона». Среди китайских и английских матросов, среди канатов, разных блоков и шканцев я пробираюсь в свою каюту. В окна видны мне курительная зала, читальня, мы спускаемся в нижний этаж, где громадная столовая, спускаемся ниже, и длинным коридором я прохожу в свою каюту. В ней две койки, два иллюминатора, умывальный прибор, зеркало, красного дерева висючая этажерка, в отверстиях которой — стаканы с воткнутыми в них полотенцами, графин. Пассажиров мало, и я буду один в своей каюте. Я еще раз внимательно оглядываюсь в своей новой квартире, в которой придется прожить больше месяца. Никакой роскоши, все прочно, солидно, везде безукоризненная чистота, койки с двойными мягкими светлыми одеялами, с приготовленными постелями.

Хочется прочесть в книге будущего, каким-то верхним чутьем почувствовать, угадать, будет ли благополучно путешествие, что случится в длинной дороге. Все едут, и все надеются, что все будет благополучно, но тем не менее не всегда ведь благополучно и кончается, и кому-нибудь да надо попадать в неблагоприятные рубрики статистики — праздные мысли, которые всякому, вероятно, в свое время приходили в голову.

Доносятся свистки, звук цепей, просовывает голову лет сорока японец, в европейском платье и прическе, говорит что-то, кивает головой, показывает свои крепкие зубы. Я улавливаю слово «бэгедж». Японец опять исчезает, а я остаюсь в недоумении, где же действительно мой багаж — его еще в Шанхае отобрали у меня, и ручной и тяжелый, часть которого идет прямо в Париж.

Но вот и багаж, и мы уже плывем: надо посмотреть.

Все тот же ветер на палубе, те же тучи в небе, то же желтое взморье и черная полоска земли на горизонте, от которой мы со скоростью сорока верст в час уходим в Нагасаки. Послезавтра, значит, будет опять тепло, солнце, и это будет так хорошо. Целый месяц впереди оригинальной обособленной жизни на пароходе, куда не ворвется суতোлока суши, деловая проза, забота не проспать, поспеть к сроку.

Целый месяц — это какой-то громадный капитал никуда еще не израсходованного времени. Могу ничего не делать, могу отдыхать, спать, и все на совершенно законном основании, как человек, правда неожиданно, но совершенно законно получивший вдруг наследство и считающий себя отныне совершенно обеспеченным человеком.

Сколько я напишу, как подвинусь в английском языке, прочту все закупленные в Шанхае книги!..

Забегая вперед, я должен сознаться, что и десятую долю я едва успел сделать из задуманного и в моем свободном от всех обязательств и дел месяце, увы! оказалось столько же часов, сколько и во всех остальных уголках мира. Впрочем, я клевету: на этот раз судьба сжалилась и действительно подарила мне осязательно по крайней мере лишние сутки: два дня подряд у нас был понедельник, 6 декабря нового стиля, — это те лишние двадцать четыре часа, которые мы накопили, двигаясь все время на восток...

Вот во что превратилось все казавшееся мне богатство моего свободного месяца.

Этот процесс разменивания месяца на дни, дней на часы и минуты начинается мгновенно, и чем дальше, тем глаже идет дело.

Пока там разбирались другие пассажиры, нас трое русских очутились в столовой. Все мы одинаково интересовались распределением дня на пароходе в отношении еды. Право, уже не помню, кто из нас сделал первое открытие, что мы все одной национальности, но случилось это как-то сейчас же, и сразу мы заговорили на своем родном языке и отрекомендовались: один оказался В. И. Д. — директор Русско-Китайского банка, прежде в Порт-Артуре, а теперь назначенный в Иокогаму, а другой — Иван Тихонович Б., единственный русский, ведущий торговлю в Японии, в Нагасаках.

В. И. Д. оказался тем самым красивым блондином с длинными усами, которого я видел в китайском монастыре с дамой. Он прекрасно владеет английским языком и быстро, деловито выяснил все пароложные порядки. В девять часов утра чай и первый завтрак, в час — ленч — второй завтрак, в четыре — чай, в семь — обед. В промежутки также можно требовать еду и питье, записывая свои требования в ярлычную книжку лакея (вся прислуга, кроме старшего лакея-японца, — китайцы). К концу путешествия все эти ярлыки при общем итоге препровождаются каждому для оплаты. Содержание без вина: вино оплачивается отдельно. В одиннадцать часов вечера все огни в столовой, курительной, библиотеке гасятся. Курить можно только на палубе и в курительной. Белье в стирку принимается только в Иокогаме, где пароход стоит двое суток, — вопрос очень важный, если принять во внимание, что каждый день надо надевать к обеду смокинг.

— Это значит, что, например, чтоб быть совершенно корректным, — воскликнул я в ужасе, — надо иметь запас белья в двадцать четыре рубахи, и это в путешествии, где стараешься брать как можно меньше багажа.

— Да что-нибудь в этом роде придется вам сделать, — сказал В. И. мне в утешение, — англичане... они по три раза в день костюмы меняют.

— Да наплевать на них, — сказал Иван Тихонович, — я всегда в сюртуке, и смокинга у меня и в заводе нет.

— А курить действительно нельзя в каютах? — спросил я его.

— Насчет этого строго.

— Ну, курю я, что они со мной сделают?

— Оштрафуют — до ста долларов штраф. Мера предосторожности против пожара... — Горят и от папироски, а одна возможность этого в открытом море, где месяцами и парохода встречного не увидишь...

— Ну, бог с ними, не будем курить в каютах.

Так как с В. И. нам еще неделю ехать, а с И. Т. два дня, то я и пристал к нему вплотную, как к аборигену здешних мест.

До обеда он уже сообщил мне все о своих делах.

В Нагасаках он два с половиной года торгует, и до сих пор дела его шли хорошо. Он продает русский табак, русские вина, водки,

ликеры, русские сахар и конфеты.

Сахар местный 14 копеек за фунт, русский, пиленый, И. Т. продает 18 копеек за фунт, головой — по 15 копеек, а оптом даже по 4 рубля 50 копеек пуд. Качество русского сахара гораздо выше местного. Местный желтоватый, скорее в комьях песок, легко рассыпающийся, с каким-то запахом.

Лучше всего идет торговля русскими конфетами. И на них, и на водку, и на одесские консервы, и на сахар спрос энергично растет. Клиенты: англичане, японцы, китайцы.

И. Т. взялся и за мануфактуру: фирма Коншина выслала уже ему свои товары, а японцы через него в этом году выписали русской мануфактуры на десять тысяч рублей.

И. Т. считает, что это дело могло бы пойти здесь, на Востоке, Мечта его — распространить свою торговлю и в Маньчжурию и в Корею. Но собственно в Японии придется бросить дело, так как с нового года все русские товары будут обложены пошлиной в 40%. Это только русские; французские, например, вина будут обложены только 10% пошлиной. И. Т. и ездил в Шанхай с целью отыскать себе новое место. Лично он пришел к заключению, что в Шанхае дело должно пойти, но наш консул предсказывает ему неудачу.

— Я обращусь к английскому консулу.

Время покажет, конечно, кто из них прав.

И. Т. огорченно говорит:

— Неужели мы, русские, только и годимся здесь, чтоб жить на готовые деньги или быть городскими чужих богатств?

В. И. пришел из каюты уже переодетый к обеду.

Время и мне переодеваться: половина седьмого, и уже несутся мерные, заунывные удары металлического гонга.

Ровно в семь китаенок вторично быстро проходит с гонгом по коридору, и звуки, дрожа и завывая, мерно расходятся во все углы парохода.

Пассажиров немного: всего два стола ярко освещены и покрыты приборами.

Распорядитель — стюарт — встречает всех у дверей, справляется, какой ваш номер, и указывает ваш прибор. На половине пути — таков обычай — места опять изменятся.

Мое место к наружной стене спиной. Против меня В. И. (по обоюдной нашей просьбе), сбоку, с одной стороны, молодой англичанин, с которым я ехал до Шанхая, а с другой — почтенный американец, сенатор и ученый астроном.

В то время как за вторым столом несколько дам, за нашим всего одна. Спутник ее — пожилой, безукоризненный англичанин. Дама молода, красива и стройна, одета элегантно, с богатыми, с красноватым отливом, каштановыми волосами.

В. И. выясняет мне тут же по-русски этот маленький дипломатический прием, к которому прибегла в данном случае администрация парохода. Дело в том, что дама не была обвенчанной женой, и чтобы остальные обвенчанные и потому очень щепетильные английские дамы не протестовали, ее посадили за тот стол, где, кроме нее, дам не было. В.И. кончает:

— Во всяком случае мы не в убытке, потому что наша дама одна стоит больше, чем все те вместе взятые.

Мистер Фрезер тоже за нашим столом vis-a-vis с дамой. Он весело кивает мне головой, молодой англичанин, мой сосед, шумно высказывает радость, замечая мои успехи в английском языке, В. И. уже ведет оживленный разговор с американским сенатором. Он единственный, который не признает никаких этикетов: он сидит в грязном потертом сюртуке, в мягкой рубашке, без галстука.

Капитан парохода, толстый, свежий капитан, в куртке и в кепи, которое теперь лежит на диване, осматривает все общество и, встречаясь глазами, кивает каждому головой и говорит:

— Good evening! (Добрый вечер!)

За нашим столом сидит его помощник, лет тридцати пяти, блондин, умытый и приглаженный. Он тоже кивает головой, и мы обоюдно говорим то же приветствие.

Мы приступаем к еде.

У каждого свой лакей-китаец, который и подает нам меню.

Пока я не наострился, меню подавалось мне в каюту, и с словарем в руках я предварительно изучал его.

За другим столом сидят молодой метис с женой, оба тихие, симпатичные. Молодой пастор с женой и с их маленькой дочерью: они несколько лет жили в Китае и теперь едут за сбором пожертвований, так как в том районе, где они живут, свирепствует

страшный голод. Еще две дамы с мужьями за тем же столом: одна пара грубая, малосимпатичная, хозяйка большого галантерейного магазина в Сан-Франциско, другая пара — жители Нью-Йорка, богатые коммерсанты, — она в бальзаковском возрасте, сохранившаяся, но с налетом задумчивости осени на лице, хотя прекрасной, ясной, тихой осени.

Затем несколько джентльменов английских, в высоких воротниках, гладко причесанных, немецких и японских.

Японцы все в европейских костюмах, все маленькие, худые, с туго обтягивающей их лицо темной кожей. Этой кожи поспешила отпустить им природа, и их зубы торчат из точно приподнятых страдальчески губ. Растительности на лице никакой, на голове много, но волосы жестки, как хвост лошади. Из маленьких щелок смотрят на вас уверенно и спокойно глаза.

За третьим отдельным столом сидят три китайца и с ними два мальчика: один в китайском платье, другой — в европейском. Это родные братья; и полный, симпатичный китаец, их отец, в национальном костюме, добродушно смотрит на своих детей. У мальчика, одетого по-европейски, такая же, впрочем, коса, как и у остальных китайцев.

Китайцы сидят за отдельным столом по установившемуся здесь, на Востоке, отвратительному обычаю.

— Почему же отвратительный? — переспрашивает меня В. И. — У них свои обычаи, от которых они не желают отказываться; у них свой запах, они нечистоплотны. Они неаппетитно едят, нечистоплотны или так уж просто пахнет от них, — вполне законно и нам сторониться их. Японцы надели европейское платье и сидят с нами. И за что я обречен смотреть, как он, китаец, будет выплевывать из своего рта пищу, класть назад ее на тарелку, опять в рот... И на суше стошнит, а здесь, в море, от одной мысли, брр... Нет, уж бог с ними, пусть обедают отдельно.

Китайцы едут в Сан-Франциско, и с ними их семьи.

С двумя китаянками я каждый день дружелюбно раскланиваюсь, — мать и дочь, — мы стоим иногда несколько мгновений, каждый желая что-нибудь сказать, но между нами барьер — наши языки, и, кивнув друг другу еще раз головой, мы расходимся.

10 ноября.

Сегодня качка, и уже нет впечатления, что наш «Gaelig» — гигант, которого не укачает никакая волна. Иногда нас швыряем прямо как негодную скорлупу, и тогда пароход наш стонет и скрипит так, что, кажется, вот-вот он рассыплется.

Из разорванных облаков выглянуло солнце и холодно смотрится в желтую, мутную воду. Вода вся в судороге от порывов ветра и мечется и бьет в наш корабль. И каждый раз после такого удара несутся раскаты будто выстрелившей пушки, и фонтаны воды заливают иллюминаторы.

Я беру книги — русские, английские, французские — и отправляюсь в библиотеку.

Там много столиков с чернилами, перьями, бумагой, на которой изображен каш «Gaelig» и трехцветное знамя. В библиотеке уже сидит пастор с худым, измученным, молодым лицом и делает какие-то выписки из толстой английской книги, испещренной цифрами; на диване полулежит какой-то молодой англичанин, очевидно франт, в клетчатом костюме, с брошкой в галстук, с длинным лицом, большими зубами, на гладко причесанной голове маленькая шелковая шапочка, штаны, конечно, подкатаны.

Я погружаюсь в работу. Проходит час, кто-то что-то крикнул, и все из библиотеки спешат вниз. Я спешу за всеми, и все мы останавливаемся на площадке перед столовой, рассматривая только что вывешенную карту. На ней уже обозначено: сколько миль мы сделали до двенадцати часов сегодняшнего дня, какова была погода. Сила ветра обозначена десятью баллами, — следовательно, близко к шторму. Часы уже переведены, и мы все переводим свои, каждый день приблизительно на полчаса вперед.

Выхожу на палубу. Мистер Фрезер делает свою обычную прогулку перед завтраком. С ним какой-то господин, лет пятидесяти пяти, с загорелым мужественным лицом, в шляпе с широкими полями. Тонкий и худой, мистер Фрезер внимательно слушает его, а потом делится со мной услышанным:

— Это знаменитый король одной из групп Гавайских островов. Лет тридцать тому назад он поселился на этих островах, выбросил английский флаг и с тех пор живет там, — у него теперь несколько

взрослых детей и тысяча человек подданных малайцев. В первый раз он едет теперь в Англию.

— Он англичанин?

— Да. Он известен своею деятельностью, его колония в цветущем состоянии, прекрасные школы, кофейные плантации, заведены сношения с остальным миром, пароходы останавливаются в его бухте. Я познакомлю вас с ним, но, к сожалению, он ни на каком другом, кроме английского языка, не говорит.

Я знакомлюсь с королем, и мы ограничиваемся несколькими самыми обиходными фразами. Он мне говорит, что один из его сыновей тоже инженер и что они теперь строят у себя маленькую дорожку. Мистер Фрезер переводит мне, что король случайно попал на эти острова: буря разбила корабль, на котором он плыл, а его выбросило на один из берегов тех островов, где он теперь король. Я прошу передать королю, что очень счастлив увидеть современного Робинзона Крузо и в тысячный раз убедиться, что по самодеятельности и энергии англичане первая нация в мире. Мистер Фрезер переводит мои слова и, обращаясь ко мне, говорит:

— Я прибавил к вашим словам, что и мы, американцы, того же мнения.

На лице короля спокойное удовлетворение человека, создавшего людям своего острова иную жизнь: таково должно быть лицо Фауста, когда, в предвкушении созданной им жизни, он говорит: «Мгновение, ты прекрасно, остановись».

Десять часов вечера: я уже лежу, с удовольствием потягиваясь, в постели. Там, за тонкой стальной перегородкой бушует море, неистово стучится в борта нашего корабля, а в каюте тепло и мягко разливается матовый электрический свет. Там, где-то далеко-далеко, за этим буйным морем, и родина и дорогие сердцу люди, но пока я отрешен от всего этого, и думай, не думай, а придется еще полтора месяца так качаться. И хорошо еще, что хоть не укачивает. Но сон плохой: кренит так, что, того и гляди, свалишься с койки, — падают книги, ездят чемоданы по полу. Иногда раздастся особенно оглушительный удар, — не столкновение ли? Или что-нибудь лопнуло: вал, руль, винт, переборка? И я прислушиваюсь: не одеваться ли и бежать наверх? Но если крушение это, зачем же одеваться, зачем

бежать наверх? Ворвется и сюда грозное море. И опять ничтожной скорлупой кажется мне наш гигант «Gaelig».

11 ноября

А сегодня мы уже входим в Нагасакскую бухту, — море синее, спокойное; солнце приветливо заливает нас своими лучами; ветерок лениво тронет лицо и полетит туда, где спят в солнечном блеске высокие берега, то голые и серые, то покрытые зеленой растительностью.

Вот Папенберг — скала у входа в бухту, с которой японцы, сорок лет назад, столкнули в море десять тысяч европейцев и своих крещеных японцев: многие из очевидцев еще живы и теперь в той толпе японцев, которая стоит на берегу и смотрит на нас. И здесь внизу, У бухты, и там выше, в зеленой горе, и на самом верху, где храм какой-то, домики хорошенькие, как игрушка, с большими навесами японские домики, — это Нагасаки.

Тепло и тихо, и по изумрудной поверхности бухты уже плывут к нам с навесом от дождя лодки, гребут в них японцы, часто голые, то стриженные, то в затейливой национальной прическе. Подъехав голые, набрасывают торопливо халаты и, размахивая энергично руками, заывают пассажиров.

Вот мы уже и на берегу, и я жадно вдыхаю в себя мягкий теплый воздух, любясь этой негой, спящей в золотых лучах осени южной земли. Кажется, уже видел все это когда-то: эти горы, этот город в них, этот ясный солнечный день, и в нем зелень осени, то желтый, то красный лист, светящиеся в блеске лучей, как прозрачные. Следы жаркого лета кругом на всем этом, сухом и пыльном; видел и эту толпу — в японских халатах, в европейских костюмах и смешанных, одни остриженные, другие в прическах, те с непокрытой головой, эти в шляпах котелком, но в халате, из-под которого выплывает голое тело. У одного на ногах род сандалий, или деревянные подставки, которые громко стучат о плиты мостовой; другой в ботинках. Видел и эти женские фигурки с прической, в халатах, опоясанных широким поясом, с громадным бантом сзади, их смуглые лица с прорезанными глазами смотрят приветливо, но как-то ничего не выражают. Мы поднимаемся в верхнюю часть города, доходим до самого верха, широкая, в несколько этажей лестница пред нами, там наверху

храм, — видел и это. Но, кажется, тогда была ночь, и в голубой ночи ярко горели огни фонариков всех этих, как портики, домов игрушечного города, огни отражались в бухте и дрожали там, когда проплывала, бороздя поверхность воды, лодка...

Пьер Лоти! Хризантема! Этот почтенный маленький старый японец в своем халате и прическе, который приседает, кланяется и скалит зубы, — ведь это почтенный родитель Хризантемы, а вот и сама она подает нам кофе в этом самом храме, наверху горы. И я долго не могу отделаться от навязанного мне Лоти впечатления, и все кажется мне, что это так, не люди, а фигурки — фигурки, снятые на время. с полок художественных магазинов, где стояли они, выточенные из желтой слоновой кости, — фигурки людей, их домиков, отблеск той конфетной природы с розоватым отливом, которой так много в прекрасных альбомах цветной японской фотографии.

Но, читая Лоти, можно было разве угадать, что так скоро случилось в жизни японского народа — войну Японии с Китаем, выдвинувшую Японию сразу в ряд культурных наций? Войну, которая показала всем, что такое Япония и в смысле техники и в смысле политического развития форм ее жизни.

Читая Лоти, можно было разве предполагать ту нечеловеческую энергию, с какою нация в ничтожный промежуток тридцати лет догнала и перегнала многие культурные нации, культивирующиеся — столетиями?

И когда писал уже Пьер Лоти свою Хризантему, весь этот процесс небывалого в мировой истории прогресса уже был в полном разгаре...

И ничего этого не заметил или, вернее, не дал заметить и почувствовать французский «бессмертный».

И почувствовал это наш Гончаров в то время еще, когда японцы напрягали всю свою энергию, чтобы сбросить с скалы Папенберг не десять тысяч, а если бы могли, то и всех европейцев.

Как бы то ни было, я стараюсь отделаться от невольных предвзятых впечатлений и ищу непосредственных.

Вот японская улица, и сильно бросается в глаза подвижность и стремительность в движениях японской толпы. В то время, как фигуры корейца и китайца рисуются в воображении в состоянии покоя, японец вечно напряженно подвижен: идет ли он, он идет как-то

судорожно спеша, вас ли везет в своей ручной колясочке, он напрягается изо всех сил, чтобы как можно скорее доставить вас к месту назначения. Даже в массе своей японская толпа сохраняет свои индивидуальные особенности: она напоминает синематограф с его нервными дрожащими фигурами или же толпу, вырвавшуюся из сумасшедшего дома и по дороге кое-кого ограбившую. Вот следы грабежа: один захватил шляпу, другой стянул пиджак, остальное его не стесняет, одет, полуодет, совсем голый, с накинутым халатом — не все ли равно? Точно это или помешанные, или люди, поглощенные чем-то таким большим, и вопрос о костюме — такая мелочь, о которой и говорить не стоит. Всмотритесь в эти сухие, взвинченные, напряженные лица. Как все это бесконечно далеко от покоя всего того Востока, который остался позади! Хочется спросить, какая муха их кусает?

Это напоминает период наших шестидесятых годов, тоже большого подъема и прогресса. Но у нас действовала только часть общества, самая интеллигентная, самая незначительная, а здесь, в этой японской массе, — все, весь народ, в каком-то бессознательном порыве торопятся сбросить с себя всю ту рутину, которая сковывала их до сих пор.

Как-то коснулись похорон, и японец проводник говорит мне:

— Японцы теперь сжигают умерших.

— Давно введено сжигание трупов?

— Не больше пяти лет.

— И так сразу все стали сжигать?

— Все. Разве у кого нет тридцати долларов, ну, так за тех полиция сожжет.

Что до меня, я был поражен этим новым ярким доказательством нешаблонности японцев, отсутствием у них всякой рутины. У нас в Петербурге, где благодаря болотистой почве этот вопрос назрел гораздо больше, чем в Японии, несколько лет тому назад раздался было в печати голос о сожигании трупов, но так и замер. И пройдет, конечно, еще не один десяток лет, когда наши даже интеллигентные люди будут завещать своим потомкам сжигать свои трупы. А здесь пять лет — и вся нация, как один человек, прониклась уже сознанием пользы.

Мы в магазине художественных вещей: прекрасные художественные вещи: черепаховые, слоновые, клуазоне. Хотя бы этот слоновой кости старик — на коленях у него книга, сбоку тянется к нему и протягивает ручку такой же лысый, как и старик, ребенок. Стариц оторвался от своей книги и поверх ее, поверх очков, смотрит на ребенка. Сколько мысли, силы и чувства в прекрасном выполнении фигурок!

— Нет, вы вот обратите внимание на эти две вазы клуазоне.

Пред нами две вазы почти в рост человека, металлические, эмалированные, с блестящею узорною поверхностью. Это не эмаль, а особая работа по проволоке. Надо быть очень большим знатоком, впрочем, чтобы понять, в чем тут дело.

— Эти вазы мне самому стоят девятьсот рублей, но теперь их и за две тысячи нельзя достать, теперь нельзя так работать; это можно было, когда японец жил голый и ел свои ракушки, и ему ничего не надо было, и никто ему не давал ничего, тогда ему и копейка заработка в день и то была находка, а теперь у него и заработок другой и потребности другие. Оттого так и падает качество выделяемых японских вещей: дешевизна осталась, а добросовестность в работе пропала.

— Вот, — говорю я, — часто слышу от здешних противников японской нации, что у японцев нет творческой силы, что способны они только, как обезьяны, воспринимать, а между тем вот ваш магазин весь наполнен самостоятельным и прекрасным японским творчеством.

— Но что вы хотите, — говорит хозяин, — говорят из зависти, говорят об ученике, который вчера только на чал учиться. Тридцать лет — что такое в жизни народа? Нет, я другого боюсь для Японии: большие разбойники уже поделили мир между собою, и, как ни вооружаются теперь японцы, этим воспользуется только Англия. Они легкомысленно готовы брать деньги у англичан без конца — на флот, великолепную технику, электричество, — японцы, когда берут деньги, не думают долго, а когда завязнут по шею в долгах у англичан, их судьба будет не лучше Египта.

На пароходе застали мы несколько новых пассажиров. Один из них русский, поверенный какого-то большого торгового дома.

Фамилия этого человека Б. Несмотря на свою молодость он уже имеет маленькую лысину и носит очки. Наружность его не похожа на русского. Лицо худое с тонкими чертами, с бородкой a la Henri IV, с манерами, уверенными в себе. Он умеет сбрасывать с себя деловую внешность и тогда хочет казаться человеком, которому море по колено, разбитным, веселым и даже гулякой.

Первое впечатление получалось даже пошлое. Услыхав наш русский говор, он крикнул:

— А, русские!

Подошел к нам, представился и поздоровался.

— Какая досада, что так мало удалось пожить в Нагасаках, но все-таки успел свести знакомство с одной японкой, муж которой уехал куда-то по делам. Вы заметили, у японок у всех холодное тело, а эта и на японку совсем непохожа. Прелесть...

Он поцеловал кончики своих пальцев и опять продолжал уже на новую тему:

— Вы знаете, отчего японцы так худы и такие нервные? Они страшно любят горячие ванны, — каждый день часами просиживают в них, там и кофе пьют, и газеты читают, и гостей принимают.

Вспомнив новое, он вскрикивает:

— А как японцы ненавидят нас, русских!

Он свистнул, присел и выкатил свои карие, красивые, молодые глаза.

Мы рассмеялись, а он продолжал:

— А в чайных домах вы были? Нет?! И джон-кина не видали?! О! Это танец, — его танцуют молодые японки: начинается с того, что все должны делать такие же движения, какие делает первая; кто сделал не так — штраф: сбросит ленточку, бантик, дальше и дальше, пока не сбросит с себя все... И все так... Музыка быстрее, быстрее: джон-кина! джон-кина!

И молодой коммерческий человек в английском клетчатом костюме, в шелковой, на затылок сдвинутой шапочке энергично пляшет на палубе танец джон-кина. Из-за угла в это время неожиданно показывается обедающая за нашим столом дама. Тогда он бросается со всех ног в курительную, а когда дама проходит, возвращается и говорит радостно, возбужденно:

— Послушайте, что это за дама? Неужели пасса жирка нашего парохода? О, черт возьми...

И он крутит свои усики.

— У нее муж есть, — говорю я.

— Молодой? Старый?

— Немолодой.

— Отобью!

— У него сто миллионов, — говорит В. И.

— Сто миллионов? Ах, черт его возьми! Это нехорошо, потому что у меня...

Он вынимает из кармана золото и говорит:

— Долларов двести наберется. При готовом билете доеду до Сан-Франциско?

— Как поедете, — отвечает В. И.

— Господа, удерживайте, пожалуйста, меня: мое положение ведь совсем особенное, я ведь жених, через месяц свадьба, понимаете.

Но через полчаса он уже уславливается с В. И. побывать с ним во всех интересных местах в Йокогаме.

— А невеста? — спрашиваю я.

— При чем тут невеста, — говорит В. И. и двумя руками энергично вытягивает свои мягкие красивые усы. — Здесь, на Востоке, лучше не употреблять этих слов: невеста, жена, если для кого-нибудь они еще сохраняют какой-нибудь аромат; здесь все это так просто... И кто жил на Востоке, тот навсегда потерял вкус ко всему этому. Здесь женщина потеряла всякую цену и интерес, — неделя-две и прочь.

И, обращаясь к Б., он с покровительством Мефистофеля говорит:

— Пойдем, пойдем, молодой человек, все покажу.

— Пойдем, конечно, — задорно отвечает Б., — о чем еще там думать?.. А вот что, господа, как здесь обедают: во фраках или смокингах?

Вечер охватил бухту и берега, и, кажется, выше поднялись горы, и горят где-то там, в недосыгаемой высоте, крупные, яркие звезды, горят огни города; множество их, ярких, разноцветных, освещающих игрушечные домики, и от света их темнее кажется вода бухты. Кажется, что провалился пароход наш, и только видны там высоко-

высоко края темно-синей бездны. Ночь теплая, мягкая, как где-нибудь в Италии, но тех песен нет здесь: никаких песен.

12–14 ноября

Сегодня мы плывем в Японском Архипелаге. Немного напоминает езду по Адриатическому морю — такое же воздушно-синее море, такие же скалистые серые острова, так же спят они в прозрачном золотистом воздухе, так же нежны краски и моря, и неба, и дали. А может быть, здесь еще нежнее в какой-то, точно действительно розоватой дымке здешнего воздуха. Только пароход мерно шумит, все же остальное: и те паруса лодок и те далекие жилища на берегах — все точно сковано дремой и негой прекрасного дня, и, кажется, спишь и сам видишь во сне эту прекрасную идиллию. Синей пеленой стелется пред глазами море, горы Японии поднялись до неба и застыли там в неподвижной красе. Мягкий теплый ветерок ласкает лицо, трогает волосы — и опять тихо, и солнце опять заливает своими горячими лучами палубу.

Б. сегодня плохо настроен, жалуется, что нет интересных дам и даже про нашу говорит, что в ней ничего в сущности интересного нет. Может быть, он немного сердится на нее, что она не кивнула ему головой за завтраком, как кивает она нам, всем остальным, после чего мы приподнимаемся и почтительно кланяемся ей: таков, обычай и здесь и в Америке, и только после такого кивка дамы мужчина имеет право снять свою шляпу и поклониться ей.

В. И. утешает Б.:

— Ну, ничего, завтра она вам тоже поклонится.

Но Б. обижен вконец.

14–18 ноября

Сегодня утром мы проснулись в Иокогаме. Большая бухта с незапертым горами горизонтом. Горы там, где-то далеко, и выше их всех вулкан Фузи-яма, рельефный и неподвижный в своем белом одеянии на фоне голубого неба.

Город весь в долине, и передовые здания закрывают остальные.

Уже толпятся лодки, катера вокруг нашего парохода. Мы переезжаем на эти три дня в город.

Так как в Иокогаме таможня, то, пристав к берегу, ведут и нас и несут наши чемоданы в красивое остроконечное здание таможни.

Очень вежливо, конфузясь, маленький ростом японец, в европейском платье, задает нам несколько вопросов и, не осматривая чемоданов, пропускает нас. Довольны мы, довольны наши дженерики, доволен и сам японец чиновник.

Мы едем по красивой набережной, встречая много экипажей в таких же, как в Шанхае, запряжках, только вместо китайцев кучера здесь японцы. А вот и наша гостиница — светло-серое двухэтажное легкое здание, с зелеными жалюзи.

Японская прислуга деловито, приветливо и быстро берет наши вещи, на ходу сообщает цены номеров, и вот мы во втором этаже, в красивой комфортабельной комнате с камином, по два доллара в сутки.

Б., уже опять раздумавший следовать за В. И. в его похождениях, поселяется в моем номере, а В. И. устраивается совершенно отдельно от нас.

18 ноября

По новому стилю — декабрь, самое бурное время в Тихом океане, но пока в большой Иокогамской бухте, защищенной к тому же и брекватером, тихо и спокойно. Наш громадный пароход неподвижно высит в небо свои мачты и трубы. Так же неподвижно стоит множество других пароходов, наполняющих бухту. Тут английские, американские пароходы, а больше японские — военные и торговые. Нарушают покой бухты только лодки да катера, непрерывно снующие от пароходов к пристани.

Ясное утро отражается в голубой глади залива, отражается в ней город, горы, все еще зеленые, несмотря на декабрь; только там дальше, на самом горизонте, в опаловом тумане нежно вырисовывается гигантский усеченный конус вулкана, весь покрытый молочным снегом.

Быстро промчались три дня, проведенных в Иокогаме и Токио, и опять сию на палубе, разбираясь в сложных впечатлениях.

Я видел Японию, страну хризантем, страну черепаховых изделий, статуэток из слоновой кости, ваз клуазоне, цветных фотографий, страну игрушечных деревянных домиков.

Я ездил по их железной дороге, такой же игрушечной (узкоколейной, дешевой), с которой, однако, они делают прекрасные дела.

Из окна вагона я видел их поля с игрушечными участками, с поразительной обработкой этих участков, Ни одной четверти земли, за исключением откосов скал, не осталось невозделанной. И на всем протяжении, куда ни кинешь взгляд, везде из-за густой зелени апельсиновых и лимонных деревьев, из-за пальм кокетливо выплядывают маленькие двухэтажные, с крышами причудливой китайской архитектуры домики. Хотя вблизи иллюзия пропадает: вследствие постоянных землетрясений домики выстроены очень легко, чуть не из апельсиновых ящиков, но издали это красиво.

И надо отдать справедливость японцам, они, не хуже французов, умеют бить на эффект. Посмотрите на их раскрашенные фотографии, которые снимают они в момент цветения персикового дерева, — самый воздух кажется розовым. Или все эти красивые, эффектные безделушки: разные веера, черепаховые и слоновые вещи, шелковые материи и шитье по шелку. Электрическое освещение, прекрасно шоссированные дороги, прекрасный коммерческий и военный порт, множество фабричных труб, торчащих на горизонте.

В сравнении с безнадежно замотанным опекой своего правительства, всей старины корейцем, в сравнении с хотя и жизнеспособным, но пока в таких же тисках китайцем, японец — вырвавшаяся на свободу сила, поражающая вас своей стремительностью, энергией, размахом.

Но в то же время в нем что-то если не отталкивающее, то во всяком случае — с чем надо свыкнуться, сжиться. Худая, изможденная, темно-желтая фигурка, открытый рот, торчащие зубы, кожа лица, как будто ее стягивают на затылок, отчего выше поднимаются углы глаз и сильнее торчат скулы плоского лица, — все вместе делающее это лицо поразительно похожим на великолепный экземпляр орангутанга, который я видел в зоологическом саду в Токио: такой же маленький лоб, весь в складках, и движущаяся, из жестких густых волос, растительность на голове.

В сравнении с иконописной смуглой фигурой корейца, в сравнении с богатыми и разнообразными красивыми типами китайцев, японец жалкий поскребок, выродок по телу между своими

братьями, что-то в то же время холодное, если не злобное, в этом некрасивом лице, что-то таинственное и даже страшное. Хочешь верить, когда говорят:

— Бойтесь японца, не верьте его низким поклонам, улыбке, сюсюканью с захватываньем воздуха, с потиранием рук; так же улыбаясь, он всадит вам кинжал и будет сюсюкать и улыбаться.

Я закрываю глаза и вижу такую же, как в Шанхае, улицу ночи в Иокогаме, такая же голубая, прозрачная от света огней ночь. Но тихо, неподвижно, безмолвно все в японской улице. По обеим сторонам тянутся ряды деревянных клеток, ярко освещенных; в этих клетках вдоль столов сидят безмолвными неподвижными рядами набеленные японки в своих национальных костюмах. Разница только в цветах — в этой клетке цвет красный, дальше голубой, там черный. Они неподвижны, как статуи.

Для кого же выставлены все эти тела в этих нероновских клетках? Кого ждут все они в этой мертвой тишине пустой улицы?

И с жутким чувством тоски торопишься пройти эту бесконечную, страшную, как вход в ад, улицу. Да, это ад, и какой-то холодный, мефистофелевский расчет в нем.

Там, в Шанхае, отвратителен его открытый цинизм, но в нем и бесшабашный размах, и удаль, и, главное, жизнь. Добродушное толстое лицо китайца смотрит на вас задорно и беспечно, как ребенок, который сам не знает, что творит. Здесь, в Иокогаме, нет жизни, нет японского лица в складках, этого стриженного, гладко обритого старика сатира в этой улице: расставив для кого-то сети, он сам ушел, Мефистофель, одинаково холодный и к ядовитой приманке, выставленной им, и к жертвам ее.

И страшная мысль забирается в голову: может быть, этот орангутанг-старик, который тридцать шесть лет тому назад толкал с своей Тарпейской скалы европейцев в воду, а теперь в халате, надетом на голое тело, и в шляпе котелком, являющийся во всеоружии технического прогресса, все тот же смеющийся над всем и вся, как тогда, так и теперь торговавший своими женщинами, дикарь-сатир.

И невольно я вспоминаю опять все другие неблагоприятные отзывы об японцах: японец скрытен, холоден, фальшив, расчетлив.

И так трудно мне, мельком видевшему эту страну, проверить эти «говорят».

Вот толпа, в своем одеянии действительно странная толпа, торопливая, судорожная. Лицо какого-нибудь старика, холодное, в складках, с неприятным выражением, хорошо запечатлевается, но продолжайте всматриваться — и рядом с таким лицом вы увидите удовлетворенное, спокойное лицо рабочего человека.

Этот дженерик, который так усердно вез меня и теперь вытирает пот с своего лица, — пять, через силу десять лет, и самый сильный из людей этого ремесла умирает от чахотки, — в лице этого человека нет злобы, кусочками своей жизни он заплатил за сегодняшний свой тяжелый кусок хлеба, и лицо его дышит спокойствием и благородством сознательно обреченного.

Вот из телеграфного окошечка смотрит на вас маленькая козявка — японский чиновник и педантично считает слова моей телеграммы, внимательно, несколько раз перечитывает каждое слово, исправляет, записывает ваш адрес на случай телеграмм и здешний и тот, куда вы едете. Я благодарю его, говорю, что в этом нет надобности, он настаивает, говорит: на всякий случай. И благодаря только этому я успеваю получить одну запоздавшую, но очень важную для меня телеграмму. Любезность, за которую я даже не успел поблагодарить рассыльного, так как телеграмму получил уже на пароходе.

Поступили ли бы так же вежливо и деловито с вами на нашем русском телеграфе? Принял ли бы русский телеграфист ваши интересы ближе к сердцу, чем вы сами?

Я вспоминаю любезную администрацию зоологического сада, куда попали мы в неурочное время, и достаточно было заявить, что мы туристы, как один из распорядителей сада сам повел нас. И при этом туристы — русские, туристы той нации, к которой японцы не могут питать добрых чувств.

Вот еще факт. В книжном японском магазине меня заинтересовали английские издания на оригинальной японской бумаге с прекрасными японскими рисунками. Я пожелал узнать стоимость их, где они издаются, можно ли издавать и русские произведения таким образом. Объяснения мне давала одна из хризантем — по внешнему по крайней мере облику своему. На прекрасном английском языке эта маленькая козявка-хризантема в своем национальном костюме и прическе, водя миниатюрным пальчиком по книге, давала

мне такие толковые и обстоятельные ответы, каких в русском книжном магазине я не получил бы.

Я слушал ее и думал: уверяют, что японские женщины продажны. Но зачем такой, например, девушке торговать своим телом, когда у нее и без того есть ремесло, которое кормит ее. И, конечно, ее положение более гарантирует ее от торговли телом, чем любую из наших барышень из тех, ремесло которых только и заключается в том, чтобы путем законного брака обеспечить за собою и впредь сытое прозябание.

Девушка в книжной лавке говорит, и чем больше я ее слушаю, чем больше всматриваюсь в нее, тем сильнее действуют на меня ее полная достоинства манера, ее увлечение возможностью задуманного мною издания именно в Японии: говорит в ней только ее патриотическое чувство, и как всякое альтруистическое чувство, высшее во всяком случае, чем личное, оно еще более облагораживает девушку и далеко не дает впечатления хризантемы.

Я видел молодых японок и в европейском костюме, скромных, интеллигентных, в обществе таких же молодых людей — таких же, как наши студенты, студентки.

Я был, наконец, на заводах и в мастерских железных дорог и уже как специалист мог убедиться в поразительной настойчивости и самобытной талантливости японских техников, мастеровых. Как рационально приспособились они ко всему своему железнодорожному делу, на какую коммерческую ногу поставили его. Без обиды для всех наших техников-инженеров, с чистой совестью скажу, что в сравнении с японскими техниками, мы плохо обученные техники и притом без всякой самобытной инициативы. И не техники даже, а до сих пор еще все те же трусливые и забитые ученики, которые все свое спасение видят в том, чтобы ни на шаг не отступить от всякого хлама рутины, осложняющего и удорожающего простое коммерческое дело.

В этом частном деле особенно виден и прогресс японцев, и гениальная нерутинность их, и хотя я завидую им от всей души в этом, но и признаю их полное превосходство над нами, утешаясь при этом тем, что хоть этим не хочу походить на тех из наших, с противным апломбом невежества высокомерно третирующих тех, до которых им очень далеко.

Мы уже снимаемся с якоря, лодки, катера и провожающие уже там, внизу, мы, пассажиры, сбившись у борта, смотрим туда, вниз. Наш гигант, среди целого ряда таких же гигантов, медленно поворачивается и пробирается к выходу.

Вот мы проходим мимо нашего четырехтрубного гиганта броненосца «Россия»; страшные пушки его скрыты, как скрыты в таинственных недрах его и все остальные ужасы разрушения: ядра, порох, динамит.

Одного такого страшилища довольно, чтобы весь этот цветущий мирный уголок земли превратить в развалины. Но и одной маленькой вертлявой миноноски больше чем достаточно, чтобы уничтожить такое чудовище. И как бы в ответ на эту мою мысль четыре японских миноноски несутся к нашему крейсеру, на мгновение останавливаются у самого его борта и снова скрываются в бухте.

Не дай бог ни того, ни другого.

Мы уже идем полным ходом. Вся даль лазурного моря покрыта белыми парусами; это лодки рыбаков. Голые, они ловят свою рыбу, там на берегу у каждого из них посеяна полоска рису, и все несложные потребности жизни удовлетворены этим. Всю жизнь будут они так работать, а когда умрут, их сожгут в этой стране панорам туманных гор, синего безмятежного моря, дремлющих на нем белых парусов. Негой, грезой, лаской дышит все здесь, и берет окончательно верх доброе чувство, и от всего сердца шлешь этим людям труда, этим чудным берегам свое последнее прости.

Прости, Япония, скоро опять станешь для меня ты далекой и чужой стороной, но память о тебе, прекрасной, о твоём мощном, как в сказке, пробуждении и возрождении будет для меня одним из лучших воспоминаний моей жизни, будет большим, будет вновь забившим источником веры в чудеса на земле.

Вокруг света * _

I

На пароходе в Тихом океане

Скрылись из виду берега прекрасной Японии. Наш путь на Сандвичевы острова.

Кругом все тот же беспредельный, тот же и в бурю синий Тихий океан. Едва заметные широкие волны равномерно поднимают и опускают наш пароход. А между тем эти волны высотой в многоэтажный дом. Но они широки, равномерны и потому не чувствительны.

Солнце светит, греет палубу и ярко блестит, переливая изумрудом и бирюзой след нашего парохода.

То низко-низко опускаясь, то взвиваясь к небу, за нашей кормой день и ночь несутся без устали какие-то странные коричневые птицы, с длинными и узкими, как ножи, крыльями, с длинными шеями, с большими тяжелыми головами. И в такт крыльям старчески трясутся и качаются их головы, как бы говоря: «Да, да, всё мы видели и всё мы знаем».

Тихо в этой водной пустыне, ни паруса, ни дыма на горизонте. И только со звоном отбивает такт машина парохода: что-то и могучее и в то же время усталое, жалующееся в этом звоне.

Время идет однообразно, я знакомлюсь со своими спутниками.

Там, на суше, все эти люди будут опять и сухи и деловиты. Вся проза будничной сутолоки опять четко выпишется на их лицах и складках их лиц, но теперь У нас у всех — месяц обреченных мерно качаться на этих волнах, покой и праздничный отдых. Мы не хотим прозы, мы избегаем поглубже заглядывать в душу друг другу; мы верим на слово, что мы все таковы, какими хотим казаться.

Каждый день в семь часов утра высокий и тонкий американец, мистер Фрезер, уже меряет быстрыми большими шагами палубу. На нем фланелевый утренний костюм и белые штиблеты. К завтраку он переоденется, к обеду наденет смокинг; погуляв, он примет ванну, будет опять гулять, спустится затем в свою каюту и появится снова уже к утреннему чаю. Он систематично и умеренно будет есть апельсин или яблоко, бифштекс, сочный, кровавый, яйца, еще что-

нибудь и запьет все это чашкой чая. Полчаса, час после чаю сидит на палубе рядом с кем-нибудь и разговаривает; затем он отправляется в библиотеку, пишет там письма, читает и за полчаса до завтрака опять быстро ходит по палубе. Так как таких делающих свой моцион очень много, то ходят все по часовой стрелке, обгоняя или нет друг друга.

После обеда мы собираемся в столовую, и Фрезер играет нам на рояле. Играет он выразительно, у него красивое мягкое туше, он знает и любит музыку.

Однажды он заиграл «Лето» Чайковского и, улыбаясь, обратился ко мне.

Я плохой музыкант, но на этот раз вспомнил и назвал.

Музыка как-то идет к Фрезеру, — она ярче подчеркивает его.

Есть люди, которые производят на вас такое же гармоническое впечатление, как музыкальная мелодия. Их поступки, слова дополняют друг друга, все усиливая нарастающее впечатление.

В Фрезере постоянно чувствуется и правдивый, и очень деликатный, и очень вежливый в то же время человек. Он был солдатом американской армии и, заболев на Филиппинах злокачественной лихорадкой, возвращается теперь, по окончании войны, домой. Он принимал участие в нескольких сражениях и отзывается о победах американцев очень скромно.

— Борьба была слишком неравная... Но положение там создалось очень тяжелое для американцев, и вряд ли можно было избежать этой войны.

Несколькими штрихами он иллюстрировал порядки испанских колоний, с их заносчивой администрацией, не брезгавшей всевозможными несправедливыми поборами. Еще хуже влияло на жизнь католическое духовенство. Влияние насильственное, распространявшееся не только на католиков; так, например, производились поборы в пользу католических монастырей и с лютеран. А если кто упрямился, того бойкотировали — у таких ничего не покупают, ничего им не продают и вконец подрывают им торговые дела. Этим не ограничивались: унижали и издевались, пользуясь безвыходностью. Епископ, например, идя по улице, протягивает руку, как бы невзначай, какому-нибудь не католику купцу. Не поцеловать протянутую руку значит поставить крест над собой и над всей своей

деятельностью в тех местах. Словом, все то же, что было и в семнадцатом столетии.

Всевозможные запретительные пошлины, с неустановленной, постоянно изменчивой системой притом, вконец тормозили как производительность местного населения, так и торговлю. Из всего извлекала выгоды только кучка людей, причем за каждый такой рубль выгоды этой кучки и население и торговля платились тысячными убытками.

— Положение и американцев и англичан, — говорил Фрезер, — таково, что ценой всей своей культуры, всего своего существования они должны добиваться свободных рынков. Свободный рынок без захвата страны выгоднее для нас, потому что с захватом связывается множество расходов. Но для данной страны наш захват выгоднее, потому что с ним вместе мы приносим и нашу культуру, и нашу свободу, и нашу организацию, и наши школы.

Фрезер много читал, знаком хорошо с французской, немецкой и нашей литературой и выше всех ставит английскую, а в ней его слабость — Киплинг, И главным образом за то, что, прожив всего четыре года в Америке, Киплинг так понял и описал американцев, как до сих пор никто из своих, даже американских писателей не описывал. Из русских Фрезер читал Л. Н. Толстого, Тургенева, Достоевского. Он преклоняется перед беллетристическим гением Л. Н. Толстого и перед его вечно молодой энергией в поисках истины. От Тургенева он в восторге:

— Что-то девственное, чистое, ароматное, как дыхание весны. И столько родственного! Кто читал Тургенева, не может не симпатизировать вашей нации: она рисуется грустной молодой девушкой, сидящей в своем терему и мечтающей о суженом...

И Фрезера и всех наших пассажиров, англичан и американцев, очень трогало то обстоятельство, что я усердно каждый день по нескольку часов занимался английским языком. Видя мои затруднения с выговором, Фрезер предложил мне свои услуги, и каждый день мы с ним читали авторов паровой библиотеки. Труднее других читался Киплинг, герои которого говорят не литературным языком, а жаргоном. И обороты и слова всех этих американских, индийских и английских жаргонов — прямо тарабарская грамота.

В числе пассажиров «Gaelig'a» едет немец А. Это плотный, лет сорока господин, очень добродушный человек, но очень щепетильный и обидчивый политик. У них с французом Н. столкновений множество на почве политики, — они постоянно ссорятся, а мы, остальные, мирим их.

Раз дошло до того, что они несколько дней не говорили между собою. Ссора произошла из-за Бисмарка.

Н. сказал, что Бисмарк, кроме величайшего зла, ничего не принес с собой на землю. Немец вскочил.

— Вы должны доказать это?!

— Нет ничего легче: это Бисмарк праву противопоставил силу, — после него и другие перестали стесняться и дошли до цинизма наших дней.

Немец говорил:

— Идея национализма, без которой человечество не может прогрессировать, — гений Бисмарка этой идее служил, и как мог он на право смотреть с иной точки зрения?!

И немец доказывал, что и Бисмарк великий человек и их теперешний император, который сказал знаменитую фразу, что промышленность — кровь в организме, — тоже великий человек.

Француз не стал слушать, сказал что-то резкое и ушел.

— Blut, Blut (кровь), — повторял немец.

Фрезер утешал его, говоря, что их императора очень и очень уважают в Америке, что Англия, Америка, Япония и Германия всегда будут одно в прогрессе...

Н. — француз и довольно легкомысленный. Ему лет тридцать. У него прекрасные белокурые волосы, красивые равнодушные глаза, холеные усы. Что-то детское в нем, капризное, беспечное и скучающее. Он уже перезнакомился со всеми.

Старика одного, американского сенатора, за любовь его к звездам называет инспектором звезд. Слушает его почтительно и, отходя, тем же почтительным голосом говорит нам по-французски, считая, что сенатор не понимает его языка:

— Он очень беспокоится: Great Dog (созвездие Большого Пса) пропал.

«Great Dog» Н. произносит так, точно давится. На замечание, что он, Н., резок с немцем, Н. отвечает:

— Я ему еще не то наговорю. С какой благодати я этой немецкой сосиске, начиненной шовинизмом прусского солдата, буду потакать? Пусть убирается в свои казармы и кричит там: «Да здравствует Бисмарк!» А здесь его Бисмарк только разбойник. И пусть это хорошо знает немецкая свинья.

Немец злобствовал и каждому из нас тихо доказывал, что Н. человек малообразованный, выродившийся, как все латинские расы: французы, итальянцы, испанцы, что будущность принадлежит не им, а англосаксам, германцам.

II

Ми-хо-то

В одиннадцать часов вечера мы уже все в своих койках. Н., переодевшись в свою пуджаму — из легкой материи куртка и широкие на шнурках шаровары, — заходит еще раз ко мне в каюту и говорит:

— Вы мне позволите, *cher maitre* [14], посидеть у вас четверть часа? Может, мы выпьем по стакану сода-виски? Это хорошо перед сном.

Мы пьем сода-виски и разговариваем еще четверть-полчаса.

Один на один Н. симпатичнее. Виден в нем человек, наблюдающий жизнь, обобщающий факты, человек сердца, наконец. У него какие-то осложненные личные дела, он почему-то должен был очень быстро уехать из Иокогамы. Однажды вечером он зашел в мою каюту, держа в руках простой, но красиво сделанный деревянный ящичек.

— Сегодня я немного грустен, *cher maitre*. Не хотите ли вы съесть со мной это печение и выслушать историю той, которую вы никогда не видали, а я не увижу больше. Да, — вздохнул он, — пока так живешь изо дня в день, все кажется таким обычным, будничным, малоинтересным, но потом, когда это уже прошлое, получается иная окраска, и с иным чувством уже смотришь в окошечко, туда, где остался кусочек твоей навсегда ушедшей жизни. Я хочу рассказать вам о той, которая подарила мне этот ящик с печениями. Это моя японская жена Ми-хо-то, с которой я расстался в Иокогаме. Это печение она принесла, провожая меня на пароход, и, по обычаю, спрятала его у меня в каюте так, чтобы я не заметил его, и я только сегодня совершенно случайно нашел его и вспомнил обычай. Я был тронут. У них такое поверие, что если бы я, найдя, съел это печение один, то это значило бы, что я опять вернусь к ней. И вы поверите, может быть, мне, что я колебался, не поступить ли мне именно так, чтобы исполнить желание бедной Ми-хо-то. Увы, это невозможно, конечно, — вы понимаете? Мы год были мужем и женой...

— Скажите, — перебил я его, — правда, что в Японии на любой девушке можно жениться на месяц, на два?

— Можно, но, конечно, не на любой: на девушке из чайного домика.

— Только?

— Да. И моя Ми-хо-то была оттуда же. Но, хотя они и девушки из чайного домика, но на такой брак они смотрят так же серьезно, как и на обыкновенный. Ми-хо-то даже хотела и зубы себе почернить в знак вечной любви, но я категорически запретил и поклялся, что в тот день, как она это сделает, сбегу от нее. Ах, вы себе представить не можете, что за преданное, верное существо японская жена. Как она покорна, робка! О, до какого иногда бешенства доходил я от этой вечной покорности, приниженности, поклонов и приседаний! И чем больше я бешусь, тем больше боится она — забьется в угол и дрожит, сидя на корточках, и смотрит, не сводя с меня глаз. Но зато, когда подзовешь ее и погладишь, как она ласкалась! Каким гением считала меня! Нет такой глупости, в какой я не мог бы ее убедить. Не было ничего такого, чего я не мог бы сделать, по ее мнению. Если бы я сказал ей: «Ми-хо-то, завтра я уничтожу Июкогаму и всю Японию», — она поклонилась бы и сказала: «Ши, мой повелитель».

Когда она узнала, что я еду, — я, конечно, сказал, что уеду на время, — она потеряла аппетит и сон. Проснусь иногда и вижу, что она сидит надо мной и плачет. «Спи». — «Ши, мой повелитель», — свернется клубочком и лежит без движения, пока я не засну. А что я ей давал? Свою душу? Между нами ничего не было общего, — люди двух разных миров, разных понятий, — вы понимаете? Давал иногда, раз в полгода, двадцать — тридцать долларов, чтобы угостила своих родных и сделала им подарки. И какое счастье, восторг... Каким святым она ни молилась, провожая меня в дорогу: к одному побежит, к другому опять исчезнет; бегала еще к тому на горе, который бурю посылает... Каждую мою вещь, укладывая, целовала и шептала ей что-то: это она просила вещь напоминать мне об ней... А какое счастье было, когда я позвал ее с матерью провожать меня на пароход. Она только об одном печалилась, что нет от меня сына с волосами богов: белокурые волосы — принадлежность богов по их мнению. «Ах, если бы у меня был сын, — говорила она, — мне легче было бы перенести разлуку с тобой».

Н. начал раскупоривать ящичек с печеньем, и когда раскрыл его, то сверху печенья оказался лист, исписанный по-китайски.

Н. внимательно разобрал сперва сам, а потом перевел.

— Это ее стихи, вот их смысл: «Каждое утро я буду вставать и кланяться солнцу, чтобы оно передало тебе, как я люблю тебя. Я буду шептать ветру, чтобы он передал тебе, что вся моя душа летит к тебе. Где бы ты ни был, я всегда буду с тобой, я буду ждать тебя терпеливо, а когда не хватит больше сил — я умру, и ты тогда опять увидишь меня: я прилечу к тебе птичкой и все буду петь о своей любви».

Н. растроганно смотрел на меня и говорил:

— Нет, конечно, это очень трогательно... Правда? Я сказал ей, что приеду, но как же иначе?..

Я слушаю Н., пробую вкусное печенье и вспоминаю маленькую робкую фигурку Ми-хо-то, когда она торопливо пробиралась среди пассажиров в момент, когда надо было провожающим оставить пароход. Я вспоминаю и фигуру Н., со смущенной торопливостью шедшего впереди Ми-хо-то и ее матери. Он последний раз кивнул им головой, когда они были уже в лодке, и потом долго сидел один на палубе. Потом мы познакомились, он стал остричь. Теперь, окончив свой рассказ, он сидел с таким же, как тогда на палубе, лицом и, лениво встав, говорит нехотя;

— Пора спать, *cher maitre*.

III

Гонолулу

Приятно увидеть опять землю, а тем более такой исключительно счастливый уголок вечной весны, как Гонолулу.

То, о чем читал только, что снилось, может быть, вечная весна, вечное тепло, то я вижу теперь собственными глазами. Великолепные пальмы, ананасы, бананы... Весь в зелени тропической растительности тонет плоский берег Гонолулу. Из-за зелени уютно выглядывает город. Праздничное тихое утро. Солнце греет своими лучами, и нежно плещется маленькая голубовато-зеленая волна о сваи набережной. Это волна все того же Тихого океана, но сам он, гигант, во всем своем великолепии там, на горизонте, а здесь, у берегов этого вечнозеленого с прекрасным климатом Гонолулу, — это залив, такой глубины, однако, что наш корабль подошел к самому берегу.

Там, на берегу, стоит толпа в самых легких костюмах: лица смуглые, загорелые. Вот бронзовое лицо малайца, вот черное негра, оливковое испанца, метиса, японца. Вот веселая свадебная группа местных колонистов: веселые, крикливые, сухие, длинноногие, все увитые гирляндами цветов. Яркая, пестрая картинка юга в блеске радостного южного утра земли. Мы все на палубе, Н. стоит в летней шляпе с тюрбаном, в костюме из легкой фланели, в цветной рубашке, с поясом, без жилета.

Вышла дама нашего стола, опять в новом, двадцать первом костюме, легкая и воздушная, в тон всей остальной праздничной обстановке.

Мы спешим на берег.

Красивый малаец предлагает нам свой парный экипаж.

— Нет, идем пешком, — говорит Н.

— Куда идем?

— Купим фрукты, пойдем прогуляемся, потом отправимся завтракать в ресторан, а потом обсудим, за город поедem, вообще узнаем...

Прямо от пристани громадное длинное стеклянное здание: это рынок. На его прилавках играет в лучах солнца и зелень, и фрукты, и

рыба. Глаза разбегаются, — так ярко, красиво, свежо. Рыб целая коллекция: серебряные, золотые, белые, синие, и многие из них странных, невиданных форм.

Мы ходим по улицам. Маркизы, дома, как дачи, масса зелени, гигантские пальмы, все опять и непрерывно говорит о радостях постоянного тепла. Такой уютной, налаженной кажется жизнь. Идет громадная малайка с мясистыми, но приятными чертами добродушного лица, — род широкой блузы свободно колыхается на ней, и сквозь легкую материю проглядывает ее смуглое тело. Проходят сухие американцы, скромные, деловитые, такие же сухопарые, но чопорные англичане...

Вот городская ратуша. На ней развевается американское знамя. Три года назад эти острова были Гавайской республикой, и царили здесь испанцы. А еще год назад умер последний гавайский король Каракао. Последнее время он потерял всякий престиж и жил и умер в Сан-Франциско.

Он путешествовал как-то в Европу, облюбовал в ней Бельгию, в Бельгии — Брюссель, в Брюсселе один из кабачков, где и проводил все свое, время.

После завтрака в красивой, богатой, но страшно дорогой гостинице (здесь, впрочем, все дорого, американский доллар равняется нашим двум рублям, но ценность его, по-моему, меньшая, чем наш рубль: за стрижку волос я заплатил полтора доллара, то есть три рубля) мы отправились в местный музей. Очень хорошенькое здание с яркой картиной здешнего вулкана Мауна-Лоа (такая же картинка в гостинице), с множеством портретов разных Каракао, когда-либо здесь царствовавших. Один из них был таким же преобразователем, как наш Петр.

Вот красивое лицо молодой малайки, — это дочь одного из Каракао, бросившаяся в кратер в начале нынешнего столетия. Тогда был страшный голод и жрецы требовали человеческой жертвы, и, чтобы спасти свою родину, она бросилась в вулкан. Память народная навсегда увековечила ее, — дух ее считается покровительницей всех этих островов. Я опять подхожу к картине здешнего крупнейшего в мире вулкана. Он имеет в окружности несколько миль, и в период сильных извержений от него течет огненная река в Тихий океан. Это море огня бывает, впрочем, ярким и красивым только в

исключительные мгновения, когда вулкан не спокоен, в обыкновенное же время это серо-стальное, лишенное жизни, как бы застывшее озеро. Оно далеко, верст за восемьдесят, среди гор, оголенных и лишенных растительности. Наш пароход стоит только до вечера, и нам никак не попасть туда.

В большой зале музея, — зала в два света, — во весь потолок растянулось чучело рыбы-дьявола (defil-fish) — та пьевра, которую описывал Виктор Гюго в «Тружениках моря». Здесь в Тихом океане она вместе со своими щупальцами достигает нескольких сажен в диаметре. Самое тельце ее небольшое, круглое, серо-коричневое, и от него уже идут безобразные длинные лапы-крючья. Над тельцем возвышается величиной с небольшой арбуз шар, наполненный черной жидкостью. Когда эта дьявол-рыба хватает свою жертву, она в то же мгновение выпускает эту жидкость, отчего вода делается темной и мутной, в ней и исчезает это страшное видение со своей жертвой. Одной минуты достаточно, чтобы пьевра высосала всю кровь, всю влагу из схваченного ею человека. При такой быстроте, конечно, спасение немыслимо.

Рядом с музеем помещается такое же, как музей, и даже более красивое здание.

Думая, что это тоже отделение музея, мы вошли в пустую переднюю, поднялись, по лестнице во второй этаж и только там убедились, что попали в школу.

Громадные классные комнаты, роскошные скамьи, расположенные амфитеатром, шкафы, доски.

В открытую дверь мы невольно залюбовались шедшим уроком. Молодой учитель что-то благодушно говорит, а ученики в самых разнообразных позах слушают его. Ученики и ученицы — подростки, от двенадцати — пятнадцати лет. Вот сидит красивый смуглый юноша-малаец, с глазами черными и яркими: он откинулся на руку и смотрит куда-то в пространство перед собою, — вряд ли он слушает.

Мы ездили за город в бамбуковый лес, видели финиковые деревья, гадели, как поспевают бананы и ананасы, — одни поспевают, другие зацветают только, и так всегда в этом царстве весны. Мы видели шалаши из травы, в которых живут аборигены, видели голых, только с поясом из длинной сухой травы аборигенов и аборигенок. Говорят, аборигенки танцуют какой-то свой местный танец. Но нам пора уже

на пароход. Кажется, что едешь в громадной оранжерее с тропическими растениями, — так же тепел и своеобразно ароматен воздух.

Мы приехали на пароход к закату. Солнце садится, золотя даль синего океана. Океан горит в закате и кажется прозрачным — то ярко-красным, то темно-синим. Все небо громадными полосами освещено всеми цветами радуги, — вот снопы палевых лучей, вот пурпур, тот угол весь фиолетовый, а там на севере отликает синюю сталью. Грандиозные тучи на горизонте, грозные, как бастионы, огненно-дымчатые, золотисто-палевые, с прозрачно-зеленой лазурью в них, а в центре, к которому тянется все, яркое ядро недремлющего ока, короткими, собранными лучами освещающее в последний раз уже надвигающийся мрак быстрых южных сумерек.

И уж кончено все, уже темно, и вспыхивают светлые, яркие звезды в темно-синем бархатном небе.

Южная ночь, мягкая, ароматная, сразу охватила и небо, и землю, и океан, и какое-то жуткое, таинственное ощущение, точно что-то движется или дышит что-то громадное, точно говорит или шепчет что-то, это море охватывает и плещет о борт парохода.

В каком-то очаровании красиво сливаются в этом прозрачном мраке огни города и блеск звезд. Где-то в темноте равномерный плеск весел. Плеск стихает, и из темноты несутся мелодичные песни.

Прильнув к борту, мы, все пассажиры, слушаем пение, а когда оно стихает, на нашем пароходе раздаются аплодисменты и крики «бис» и снова нам поют.

Наш пароход уже движется, незаметно мы поворачиваемся и, став лицом к открытому пред нами в блеске звезд океану, мы идем уже полным ходом вперед. Замирает песнь, тонет берег в темной дали, и постепенно исчезают огни милого, сразу очаровавшего нас Гонолулу.

IV

Сан-Франциско

Там назади осталось безмятежное небо Гонолулу. Спят в нем синее небо, берега вечнозеленые и воздух ароматный нежный, как дыхание весны.

Нет яркого солнца, летних костюмов, южной толпы, темно-синих атласных ночей с крупными теплыми звездами.

Иная картина. Холодно, как в Севастополе в декабре, и чем ближе к Сан-Франциско, тем холоднее.

Мы уже в пальто гуляем по палубе, дует холодный ветер, и беспокойнее океан.

Все такой же он синий, может быть, еще синее и прозрачнее, но теперь холоднее уже, и что-то злобное в нем, чуждое нам. Стоя у борта, уносишься мыслью от него к Сан-Франциско.

Иногда мы заглядываем в отделение, где едут бедняки — европейцы, японцы, китайцы. Всюду чистота, порядок. Китайцев множество, — все они переселяются в Сан-Франциско; весь Китай переселился бы, если бы не запрещение со стороны Америки, не выдержавшей конкуренции дешевых рабочих.

— Но как же так? — говорю я Фрезеру. — Свободная страна, во имя свободы и права доступная всем, ведущая войну с Китаем...

Фрезер говорит:

— Для капиталистов было бы выгодно допустить китайских рабочих: они так некультурны, потребности их так ограничены, что они могут работать в десять раз дешевле американца. Но это поставило бы американского рабочего в безвыходное положение, понизило бы всю культуру страны. Таким образом, на устранение китайских рабочих надо смотреть, как на победу американского рабочего над своими капиталистами.

С одной стороны, это, конечно, так, но с другой... с другой — это такой сложный вопрос, которому не место в набросках карандашом.

Китайцам готовится их кухня, и преобладающее в ней — во всех видах рис. Когда погода хорошая, китайцы группами сидят на палубе

и в большинстве случаев играют в какую-то, вроде костей, игру. Так же азартно играют они и здесь, как везде.

Сегодня наш последний обед на пароходе: обед исключительный по количеству и разнообразию блюд.

Все довольны, хорошо настроены, все благодарят администрацию парохода и пьют за здоровье славных моряков-англичан.

Правда, они два раза делали водяную тревогу, но если бы сделали и четыре раза, вряд ли кто был бы в претензии.

Администрация парохода, — все англичане, — как будто и не возились с пассажирами, но в конце концов чувствуется в каждой мелочи, что все делалось исключительно в интересах всех. Ни одного столкновения, ни одного повода к неудовольствию. Больше месяца мы провели вместе, а время пролетело так, что, кажется, и недели не прошло.

В последний вечер мы дольше обыкновенного сидим в столовой. Фрезер меня заставляет рассказать содержание только что задуманной тогда повести «Клотильда» [\[15\]](#). Когда я кончил рассказывать (я рассказывал по-французски), Фрезер говорит:

— Я не знаю, как у вас выйдет на бумаге, но если бы вышло так, как вы рассказали нам, это был бы шедевр.

Я сижу и думаю, что Фрезер угадал мой недостаток: я говорю лучше, чем пишу.

Америка...

Наш громадный пароход «Gaelig» стоит у пристани, и, глядя сверху, видишь там внизу, как в колодце, узкую полоску открытой набережной, крыши пакгаузов, крытых платформ.

Видневшийся в утреннем тумане город, мыс тюленей, громадные, на оранжереи похожие, прачечные — все теперь исчезло. Мы уперлись с одной стороны в гору, закрывающую город, а с других сторон окружены, как лесом, мачтами таких же гигантов, как наш «Gaelig».

Запах пеньки, смолы, моря. Какая-то деловая проза и скука. Надо сходить с парохода, делать что-то в таможне.

Мы спустились туда вниз, в колодезь. Прошли, подняли головы, в последний раз увидели там, наверху, часть борта нашего «Gaelig'a» и исчезли в темном громадном сарае, в первое мгновение произведшем на меня впечатление крытого двора громадной корчмы.

Вот и наши вещи. Мы отпираем сундуки, ящики, и, несмотря на то, что я показываю свой билет до Петербурга, с меня взыскивают пошлину, и очень большую, за все японские безделушки: сумма пошлины равняется стоимости вещей.

Все это быстро, коротко, деловито.

— Оль райт (очень хорошо)! Можете брать свои вещи.

Мы в городе.

Американский город так не похож на наш европейский, так в нем отсутствует вчерашний день, разнообразие, так полон он разного рода техническими чудесами, весь каменный, закованный в железо и сталь, что на первое время теряешь способность воспринимать и удивляться.

Вот мчится по улице электрический трамвай; там, под вторым этажом, несется паровой; такой же — с другой стороны; еще один — под улицей.

Вот дом в 27 этажей; почему не в 57? Наш отель «Палас» в 17. Двор его больше любой площади, но и то и другое могло бы быть еще больше.

По подъемной машине мы поднимаемся в какой-то наш этаж.

С нами дама, и мы все без шляп и все стоим: это Америка, и мы уже знаем, что женщине здесь всегда, везде и во всем первое место. Двенадцатилетняя девочка может свободно путешествовать днем и ночью из конца в конец своей страны под покровительством всех мужчин ее родины.

Мы в отведенных нам номерах. Яркая чистота комнат, светлая ясеневая мебель, зеркала, широкие кровати, камины...

Внесли вещи, и мы, Н., Б. и я, торопливо разбираем их, чтобы, переодевшись, идти завтракать, осматривать город, получить по переводам. Стук в дверь, и перед нами стоит высокий широкоплечий молодой человек, с открытым веселым лицом...

Он называет мою фамилию. Я выступаю, кланяюсь. Я отвратительно коверкаю английский язык, он — французский; нам помогают Н. и Б. Он интервьюер газеты «On Call». Он узнал, что я русский писатель и пришел познакомиться со мною и моими друзьями. Откуда я еду? Куда? Названия моих сочинений?

— «Гимназисты»?

На мгновение он задумывается, но уже встряхивает головой:

— O, oui, je comprends [16],— он энергично размахивает руками. — «Les gymnastes» («Гимнасты»)?

Мы смеемся и объясняем ему.

Он быстро заглядывает в свою книжку, просит наши портреты, — их у нас нет, — кланяется и уходит.

Мы кончаем наш туалет и тоже уходим.

Мы берем чичероне — худенького, тощего, с остатками приглаженных волос на голове, француза, двадцать лет живущего в Сан-Франциско.

Он попал сюда случайно, без знакомых, без связей, женился здесь и теперь живет, получая 12 тысяч долларов в год (24 тысячи рублей) за свое комиссионерство.

— На наши деньги жалование министра, — говорю я.

— Здесь в Америке это среднее жалование, — отвечает он.

Мы идем по улице с домами в десятки этажей, корпус которых — железо, облицовка — камень; и таких гигантов домов, закованных в железо и камень, в перспективе улицы столько, сколько хватает глаза, а в них множество громадных магазинов, лавок, контор, ресторанов.

Вот еще отель в 17 этажей. Никогда, ни на мгновение, ни днем, ни ночью, ни в будни, ни в праздники вот уже двадцать четыре года не запирающийся отель. В нем лучший ресторан. Здесь весь торговый мир в одиннадцать часов утра пьет свой кок-мартин (стаканчик напитка, приготовляемого из разных специй с вишней на дне; сквозь ароматную горечь чувствуется и некоторая сладость, — это вместо нашей рюмки водки); множество кабинетов, подъемных лестниц, непрерывная вереница входящих, выходящих, деловые свидания, дамы друг с другом, кавалер с дамой, целое общество, собравшееся пикником, — всех поглощает этот громадный отель, все исчезают за его таинственными волнующимися портьерами.

Вечером мы в театре.

Перед театром мы заходим в наш отель. В своих номерах мы находим множество визитных карточек, просунутых под дверь. На карточках фамилия их владельцев, их фотография, их специальность и адрес. Многого мы не понимаем, и наш чичероне объясняет скрытый для нас смысл. На одной из карточек физиономия в цилиндре представительного господина, — он предлагает к нашим услугам содержимый им дом с неприличными увеселениями. Наш

чичероне начинает сообщать нам интересные, по его мнению, подробности.

После этого сообщения одинаково впечатление гадливости и от изображенного на карточке господина, владельца предлагаемого увеселительного заведения, и от нашего чичероне.

По дороге в театр я делюсь впечатлениями с Н., который деловито говорит:

— Что вы хотите? Это его специальность: в каждом месте, куда он приведет нас, он получит свой процент.

Большой театр сгорел в Сан-Франциско, а с ним сгорела опера, и мы едем в оперетку, уплатив кебу (извозчику) два доллара за один конец (четыре рубля).

Оперетку неуклюже, но весело разыгрывают американцы, и публика хохочет и довольна. Непосредственность публики, ее оживление, битком набитый театр далеко оставляют за собою безжизненную игру в пустом наполовину театре у нас. Бросается в глаза пуританизм в постановке, избегают скабрзностей, канканов, но хохочут громко, от души всякой политической остроте или остроте на злобу дня.

Театр кончен, мы идем по залитым огнями улицам с таким движением, как и днем: Сан-Франциско — центр с постоянным приливом населения всего океанского побережья, никогда не спит.

На другой день мы в гостях у Фрезера в его клубе.

V

Американец об Америке

Клуб Фрезера — очень красивое снаружи и очень уютное внутри здание: общие комнаты, комната для еды, для игр, для гимнастики, для занятий, великолепная библиотека.

Таких клубов множество, каждый американец — член какого-нибудь клуба и любит его не меньше своей Америки.

Вот стол у окна, за которым занимается Фрезер. Комфортабельный, уютный уголок, из зеркального окна которого открывается далекий вид на красивую улицу с громадными домами, трамваями и железною дорогою вдоль вторых этажей.

И так как клуб в верхней части города, то не закрывается вид и на весь город и на бухту со всем ее лесом мачт.

Фрезер показал нам газету с образцом американской рекламы: громадными буквами от имени Зола объявлялось о распродаже в принадлежащем ему магазине разных вещей. Реклама объясняет, кто такой Зола: знаменитый писатель, защитник Дрейфуса.

На прощанье Фрезер подарил мне один из томов Киплинга, где на первой странице рукой Фрезера были написаны следующие стихи Киплинга:

«Когда настанет страшный суд и воскреснут мертвые, бог каждому воздаст по делам его.

Он призовет тогда писателей и художников, и посадит их в золотые кресла, и даст им золотые доски и большие золотые кисти и карандаши.

И они будут писать, что чувствуют, и никто больше не будет стеснять их, потому что оскорблявшие их палачи уже будут брошены в бездну забвения».

Я не хотел огорчать тогда поклонника Киплинга. Гений его кто не признает, но несомненно и то, что наряду с таким стихотворением, какое приведено выше, у Киплинга имеются стихотворения и проза, где проводится много нетерпимого, узкобуржуазного и даже шовинистского.

— У вас вчера был рецензент? — спросил Фрезер.

Я рассмеялся.

— Вы думаете, это я его послал? Они сами разнюхали: это их хлеб. Вот статья о вас и ваших друзьях.

Фрезер вышел вместе с нами из своего клуба, чтоб показать нам еще один образчик американской рекламы. Он повел нас в ювелирный магазин.

Огни уже горели, когда мы вошли в него.

Громадная сводчатая зала, и по ней на белом фоне в человеческий рост фигуры — красивые женщины, писатели, люди истории. Все эти лепные фигуры усыпаны бриллиантами с ног до головы — крупными прекрасными бриллиантами.

Перед этим ослепительным поражающим блеском ничто вся эта груда бриллиантовых брошек, колец, браслетов, лежащих под стеклами прилавков.

Смотришь ошеломленный; первый вопрос, когда возвращается способность говорить:

— Что же стоят эти стены?

— Три миллиона долларов — шесть миллионов рублей.

И какое множество здесь этих магазинов, и сколько богатств в них!

— Завтра я покажу вам один банк и его устройство.

И, благодаря любезности Фрезера, перед нами открылись скрытые богатства и устройство одного из американских банков.

Нечто тоже ошеломляющее. План банка напоминает наш русский для внешней торговли банк на Морской. Но, конечно, в масштабе, в несколько раз увеличенном и притом в десять этажей.

С каждого этажа вы видите все тот же центральный зал внизу, где происходят сношения с публикой.

Каждый этаж имеет свое особое назначение.

Вот целый ряд кладовых со всевозможными автоматическими приспособлениями — против воров, против пожаров: каждая кладовая может мгновенно наполниться водой, весь банк может мгновенно осветиться огнями, каждая отворенная не в урочное время дверь производит резкую тревогу во всем банке. И если отворенная дверь затворится, новая тревога. Оставшийся внутри вызывает новую, тоже автоматическую тревогу, и нужен какой-то секрет, чтобы выйти назад.

Словом, вся техника призвана на помощь, чтобы оберечь все эти груды наваленного во всех этих этажах золота.

— И в результате, — спросил я Фрезера, когда мы вышли из банка, — воровства действительно нет?

— Есть, — рассмеялся он, — один росчерк пера... Сумасшедшие и голодные не так страшны. Страшнее богатые люди, пользующиеся доверием, кредитом, те, которые, не взламывая, одним росчерком пера могут вынуть все богатства банка. Сегодня богаты они — и богатства банка к их услугам, а завтра они бедны — и богатства банка нет, несмотря на весь гений современной техники. Вот слабое место всех банков, искупающееся их силой; страна работает, возделывается по последнему слову техники земля, строятся дома, фабрики, города, стучат машины, и рынки переполняются товарами, и надо искать новых и новых рынков. Если нельзя найти мирно, надо завоевывать их.

— Для войны нужны войска, — перебиваю я, — и вот та Америка, которая благодаря своей свободе только и достигла апогея, заводит теперь эти войска, облагается пошлинами, ограничивает переселенцев, имеющих менее пятисот долларов не пускает, — словом, Америка начинает ограждать себя стеной разных, и несвободных, и неравноправных мер. Теперь вы пошли еще дальше: вы начинаете свои завоевания, словом, выбрасываете совсем уже другое знамя: Америка для американцев, собственно, такой же регресс, как и везде. Может быть торжество реакции тем более сильное, чем ближе конец ее и с ним начало новой жизни...

— Вопрос очень сложный, — отвечает Фрезер, — как ни силен будь корабль, но своя предельная вместимость для каждого существует, и раз она достигнута... что тут делать? Что касается ломки буржуазного строя, уступки места иному...

Фрезер отрицательно покачал головой.

— Об этом не думает американец, иначе он никогда не был бы тем, что он теперь. Американец не философ...

— Да, американец не философ, — продолжал далее размеренно Фрезер. — По свойству своей натуры, по своему образованию и воспитанию, каждый американец работает или желал бы работать исключительно на почве накопления богатств и мало думает о равномерности их распределения. Я этим не хочу сказать, что на этой

последней почве нет работы в Америке. Она есть и громадная, но источник ее все тот же: накопление. Иллюстрацией сказанного мною могут служить очерки и повести нашего нового американского писателя Hamlin Garland'a. Гарланд сам прошел весь тяжелый путь американского фермера, находящегося в невыносимой кабале капитала. Он сам тип буржуа, со всей практикой этого буржуа, не мешающей, однако, ему служить любимой идее, хотя бы эта идея и шла в полный разрез со всем строем его собственной буржуазной жизни... Но всю продуктивность своей работы в то же время видит он в работе в своем строе, ни на мгновение не выходя из его рядов, твердо веря в творческую силу только этого капиталистического буржуазного строя, потому что это почва, сойти с которой нельзя, если не заниматься самообманом, как нельзя, в силу законов притяжения, уйти с земли или поднять самого себя за волосы... Гарланд и не унижается до обмана себя и других. Таков герой его романа, понятный и вызывающий симпатии у нас в Америке. Но не герой вашего русского романа! Ярко, талантливо, с той силой, которая имеется только у человека, который сам плоть от плоти тех, о которых он пишет, Гарланд рисует сильных, закаленных в разного рода невзгодах людей, с мозолями на руках, не выпускающих из рук плуг, топор, лопату, ружье, наконец, в борьбе с двуногими и четвероногими хищниками... В прекрасно рисуемом быт романе «The spoil of office» рассказывается, как эти люди, руководимые девушкой поразительной энергии, сплачиваются в одно для противодействия и борьбы с угнетающими их капиталистами. И эти союзы, цель которых облегчить всем дорогу к богатству, дают блестящие результаты, достигающие одинаково обеих целей: и цели накопления и цели более равномерного распределения. Путь достижения единственный — свободный труд, самый напряженный труд человека, задавшегося очень эгоистичной целью обеспечить свое и ближних своих благосостояние. Но сколько добра и красоты вырастает на этой разумной, эгоистичной, жизненной почве: союзы рабочих, союзы фермеров, громадная благотворительность, громадная заработная плата... И вот в результате трудно жить у нас только рантьеу из Европы, потому что здесь миллион его франков превращается в неполных двести тысяч долларов, причем, несмотря на то, что доллар теоретически равняется семи франкам, на практике для богатого он

немногим разнится от франка во Франции. Что до рабочих, то их заработок два-три-четыре доллара в день. Но благодаря организации жизнь такого рабочего обставлена здесь совсем иначе, чем жизнь богатых. У них свои дешевые столовые, больницы, клубы, организованные жилища, в которых электричество везде, и даже на кухне при приготовлении пищи. И это электричество благодаря громадному употреблению очень дешево., Осветить пять комнат, считая и приготовление пищи, стоит в месяц пятнадцать рублей на ваши деньги. При такой организации жизнь семейного рабочего обходится в день до двух долларов. Он два раза в день ест по два мясных блюда, пьет кофе, пиво и вино. Вот вам результаты с виду несимпатичного меркантильного эгоизма людей наживы...

Фрезер вздохнул и продолжал:

— Вы, русские, — идеалисты, я знаю. Вы, как титаны, все строите новую Вавилонскую башню, чтобы, добравшись до неба, изменить там сразу все законы человеческой жизни... Или, как помните, я сравнил на пароходе русских с девушкой в терему: она мечтает, не зная жизни, и в этой жизни ждут ее одни только разочарования... Я ничего дурного не хочу этим сказать, — кто выше, благороднее Дон-Кихота!

Но сила вещей сделает свое дело, и в следующем поколении русские передовые люди будут такие же, как и у нас, как и везде: чистокровные буржуа, и не будут больше обманывать себя и будут работать, как буржуа, для скорейшего достижения небуржуазных целей... А идеализм останется, и у нас он есть, но более продуктивный, чем ваш, более реальный. Эта самая девушка — героиня романа «Дюлонг и его товарищи»... Вы помните?

— Так что-то, в общем...

— В нескольких словах я позволю себе напомнить вам эту великую смерть Дюлонга и его спутников. Как известно, корабль Дюлонга «Жаннета» погиб во время его экспедиции на север у устья Лены, и Дюлонг разделил тогда свой экипаж на два отряда. С одним пошел по левому берегу Лены, а другой направил по правому. Когда надежда на то, чтобы встретить жилище, исчезла, Дюлонг отрядил передовой отряд из двух человек, отдав им весь имевшийся у него спирт, прося их в интересах своих и их оставшихся товарищей выпивать ежедневно по три наперстка спирта. Тогда его им хватит на

двадцать дней. Выдал он двум передовым еще по ружью, настаивая, чтобы они ни под каким видом с ними не расставались. В двадцатый день своего путешествия эти двое увидели, наконец, жильё на другом берегу Лены. Был полный ледоход. С опасностью жизни, прыгая с льдины на льдину, они перешли реку и приблизились к жилью. Жильё оказалось летним кочевьем чукчей, но уже пустым. На их счастье, забывший что-то туземец как раз в это время возвратился в свое кочевье. Но, увидев двух пришельцев, испугался и повернул было назад своих оленей. Тут и пригодились этим двум передовым их ружья: под страхом быть убитым, чукча остановился. Жестами передовые объяснили ему о бедственном положении их товарищей. А чукча тоже жестами объяснил им, что товарищи их уже спасены. Нервная напряженность прекратилась, и обоих несчастных чукча доставил в город уже в горячке. И только когда они пришли в себя после болезни, выяснилась роковая ошибка: спасен был не их левый, а правый отряд. Дюлонг же и его товарищи погибли. Они умирали один за другим, и оставшиеся в живых хоронили своих скончавшихся товарищей. Последним погиб сам Дюлонг. Когда он не мог от истощения больше идти, он сложил весь ценный научный багаж своих наблюдений и с записной книжкой, где было записано все до мельчайших подробностей, пополз на четвереньках. Последний день, отмеченный им, был 23 октября. Но он не мог больше писать, и перед этой датой стояла только длинная черта. Его нашли замерзшим с поднятой вверх рукой, чтобы легче нашли его. Эта рука, торчавшая из-под снега, и указала искавшим его труп. Так погибли великой святой смертью Дюлонг и его отряд, до последнего мгновения думавшие о других, до последнего мгновения двигавшиеся вперед. Это тоже величайшие ведь альтруисты, и в то же время плоть от плоти всех нас, меркантильных людей, которые называются американцами.

Фрезер кончил, и мы уже молча продолжаем нашу прогулку. Я рассеянно смотрю в перспективу улицы и думаю, что эта одна улица с поразительной техникой, с многомиллионной стоимостью ее домов, со всем, что заключается в них, богаче всего, что я видел в Японии, Китае и Корее вместе взятых. Это действительно родина колоссальных, нигде в других странах не виданных богатств, — они здесь все налицо. Конечно, богатство и техника — первое, что так ярко здесь в Америке бросается в глаза. Вторичный процесс в полном

ходу, и богатства эти громадному большинству дают уже возможность устраивать жизнь как можно лучше, и нищеты почти нет здесь. Громадные филантропические учреждения достаточны, чтобы дать место у себя слабым, неспособным, отработавшимся. И все это на почве труда с исключительно эгоистичной целью накопления, при строгом до жестокости разделении двух сфер — коммерческой и благотворительной.

Мы идем дальше, и я думаю, что для того, чтобы оспаривать такую постановку вопроса, какая у Фрезера, надо ему противопоставить нечто такое же, как и у американцев: сытого, здорового, интеллигентного работника. И если его нет, если есть только нищий, истощенный, изъеденный болезнями, круглый в своем невежестве дикарь, то все доводы в пользу этого дикаря будут такими же неубедительными и дикими, как и сам этот дикарь.

Что противопоставить, например, смерти хозяина Дюлонга и его рабочих.

Гениально описанную смерть нашего хозяина и его работника?

VI

На американской ферме

Сегодня я еду по железной дороге к графу П. — рекомендация одного знакомого Фрезера, — в его имение, в ста верстах от Сан-Франциско.

Имение графа около ста десятин. Высокий и узкий трехэтажный голубой дом далеко виден. Осень, деревья сада обнажены, и сквозь них видны и остальные хозяйственные постройки с красными железными крышами. Воскресение — и граф и его пять работников дома. Из рабочих один только дежурный в рабочем костюме, остальные в пиджаках, крахмальных рубашках, и только руки графа и рабочих выдают людей физического труда.

Граф — крепкий, лет шестидесяти старик, сухой, неразговорчивый, с бритым лицом, и только из-под подбородка торчит у него седой клочок волос. Нас провели в читальную, где в это время, двое рабочих сидели с ногами выше головы и читали газеты.

Мы познакомились, пожали друг другу руки; один из рабочих вслед за тем сейчас же ушел к себе в комнату, а другой, — светлый блондин, громадный, с высоким пристегнутым воротником, с узкими до невозможности, как у большинства американцев, брюками, с бритым, как у актера, лицом, — смотрел на нас своими светлыми глазами и нерешительно вертел газету.

Мой чичероне переводил ему мои вопросы и мне его ответы.

Вскоре, впрочем, вошел сам хозяин, и работник ушел.

Собрались опять все за завтраком из двух блюд: вареная ветчина и жаренный в масле вареный картофель. Ветчина была очень и очень соленая, да и масло в картофеле также. Ели все молча, не торопясь и очень много, после завтрака подали кофе с молоком и сухарями из пресного теста. В сухарях, наоборот, соль уже совершенно отсутствовала.

Граф жил один. Дочь его была замужем за таким же фермером, как он, и жила с мужем и тремя детьми верстах в шестидесяти. Муж ее — бывший, работник графа. Сам граф много лет тому назад начал свою карьеру здесь в Америке тоже с рабочего.

— Каждый рабочий делается фермером?

Наивность своего вопроса я сообразил, когда уже задал его.

— Разве каждый подмастерье, каждый приказчик открывает свой магазин и делается мастером, купцом? Каждый моряк — капитаном? Для всего нужно свое призвание, а для земледельца больше, чем для других. Земледелие не только ремесло, но и искусство, потому что требует, кроме знания, любви, потому что только любовь не считает жертв. А если начать их считать, кто же останется здесь?

На вопрос мой, как велик средний размер здешних хозяйств, граф ответил:

— От пятидесяти до ста десятин.

— То же, значит, что и в той части Китая, где я был, — сказал я. — И такое хозяйство устойчиво, хорошо сводит концы с концами?

— Как у кого, — лучше все-таки, чем большие хозяйства. Два тут было на больших акционерных, началах, и оба лопнули.

— Почему?

— Чужими руками хотели разбогатеть, а земля не любит этого и умеет разбирать, где чужие, где свои руки.

Мы обошли с графом его хозяйство. Везде образцовый порядок, но ничего нового я лично не встретил: те же рядовые сеялки, сенокосилки, жатвенные машины.

— Сколько у вас работников?

— Для поля три человека, один для двора и один для откорма скота.

В Китае на такое количество земли потребовалось бы человек шестьдесят, а здесь во всем труд человека заменен машинами, и благодаря этому одна может обрабатывать тридцать десятин. У нас в России, если б даже всю землю, удобную для пашни (250 миллионов десятин), разделить на 100 миллионов нашего сельского населения, то на душу пришлось бы всего 2 1/2 десятины. Другими словами, и в идеальном случае даже, заработок одного американца пришлось бы разделить на двенадцать русских ртов.

В деле же перевозки, по количеству железных дорог, одну порцию здешнюю пришлось бы делить уже на сотни русских ртов.

Вывод из сказанного слишком ясен, чтобы распространяться о нем, и к тому же все это давно известно.

А как обставлены здесь торговля, сбыт сельскохозяйственных продуктов — хлеба, скота!

Среднее удаление сельскохозяйственной фермы от пункта сбыта. 7–8 верст.

На каждом таком пункте прием хлеба с элеватором, с выдачей 75 процентов ссуды, с заменой громоздкого хлебного товара квитанцией, которая свободно поместится в любом вашем жилетном кармане.

Квитанций, которую вы можете перевозить в любой конец мира и продать там хлеб в любой наивыгоднейший для вас момент, точно зная в каждый данный момент всю наличность хлеба в стране, регулируя этим посевы того или другого хлеба.

Этим путем завладели американцы мировым рынком, благодаря этому они и хозяева его и сбывают всегда свой хлеб по наивысшим ценам.

И как умеют они компенсировать все новыми и новыми приспособлениями все убытки от перепроизводства. Уже теперь доставка из любого пункта Америки в любой Европы не превышает 22 копейки за пуд.

Я вспоминаю довод одного государственного человека у нас против того, что для успешной конкуренции нам необходимо делать то же, что делает Америка.

— Ну, тогда еще больше только собьем цену, — ответил он.

Далеко бы ушли люди, руководствуясь такой своеобразной, выгодной только для конкурентов логикой.

А приспособления при перевозке и хранении фруктов, мяса, рыбы, птиц, масла! Вагоны-холодильники, склады, ледники... Общество таких вагонов и складов дает и теперь 50 процентов дивиденда, а начало с 400 процентов. Начало с 200 вагонов и нескольких складов, а теперь у них 80 тысяч вагонов и склады везде.

Как приспособляются, как торопятся приспособиться железные дороги к жизни! Попробовали бы заправила дорог здесь разыгрывать из себя таких неменяемых, таких не желающих считаться с требованиями окружающей их жизни, таких даже не понимающих совершенно этой жизни, каковы наши заправила. Здесь это было бы, впрочем, немислимо, так же, как если бы приказчик стал палкой разгонять своих покупателей или стал бы для своего удовлетворения гноить товары своего хозяина. А мы гноим товары, пропускаем все

сроки доставки, и если и вынуждают нас платиться за это, то ведь не из своего же кармана платим, хотя в этом и кроется одна из главнейших причин, почему наши дороги и так плохо и так убыточно работают, почему вся наша торговля несет такие убытки, почему, между прочим, теряем все больше и больше заграничные рынки.

Мы переходим с графом в отделение для откорма скота.

Откорм здесь — это целая наука, и не в теории, а на практике определено и проверено точно, в какое именно количество сала и мяса должен превратиться каждый съедаемый фунт пищи. Можно откармливать так, что животное будет откладывать свой жир поверх мяса; можно слоями распределить жир. Всю роль в распределении этого жира играет сахар. Если, например, желают жиром равномерно пропитать мясо, начинают откорм с сахара и т. д.

Мы возвращаемся в дом, и граф показывает мне образцы семян. Я слышу о сельскохозяйственных обществах, клубах, образцовых фермах и агрономических станциях.

Словом, о чем бы ни зашла речь, видишь и слышишь не одного человека, а сплоченный союз целой группы, тесно связанной между собою одною и тою же общою целью. И все это при полной индивидуальной свободе.

Так, конечно, можно работать, или, впрочем, только так и можно работать.

Я еду назад в Сан-Франциско, мысленно полемизируя с идеалистами своей родины.

Вот сущность моей полемики.

Всей высоты своей культуры Америка достигла только совершенно свободным, ничем не стесняемым трудом.

Кажется, так логична эта свобода и равноправие труда, в силу которых следует признать за крестьянами такое же право выбирать себе любой вид труда, каким пользуется и пишущий эти строки. И если я не хочу пахать землю, хочу быть моряком, не хочу сидеть в общине, а хочу продать свой участок и писать, то и всякий другой в государстве должен иметь такие же права. В этом только залог успеха, залог прогресса. Все остальное — застой, где нет места живой душе, где тина и горькое непросыпное пьянство все того же раба, с той только разницей, что цепь прикована уже не к барину, а к земле. Но прикована все тем же барином во имя красивых звуков, манящих к

себе идеалиста-барина, совершенно не знающего, и не желающего знать, а следовательно, и не могущего постигнуть весь размер проистекающего от этого зла.

VII

Из конца в конец Америки

Прощай, Сан-Франциско.

Мы мчимся со скоростью 90 верст в час через всю Америку в Нью-Йорк. Шесть дней пути, но как облегчен переезд!

Вагоны, о которых мы и понятия не имеем по роскоши и удобствам. С моей точки зрения, прямо безумная роскошь. Штофная мебель, атлас, шелк, бронзы, инкрустации, хрусталь. Библиотека, читальная, курильная, парикмахерская, разговорная, вагон-столовая. Громадный вагон, каждое утро сменяющийся новым, с новым рестораном, новой кухней, новыми блюдами.

Я вспоминаю наш бедный сибирский поезд, все с тем же воздухом, закусками и блюдами от Москвы и до Иркутска, — от испарений одного пива противно войти в наш вагон-столовую. Мой компаньон Н. уже начал знакомство с окружающим нас обществом.

Две барышни. Одна — доктор философии и писательница, другая акушерка.

Н. начал знакомство обменом книг.

Доктор философии — хорошо осведомленная в литературе особа. Она владеет французским и немецким языками, свободно читает на них книги, но говорит отвратительно. Тем не менее мы понимаем друг друга, прибегая иногда и к английскому языку.

Она очень любит русскую литературу и находит, что русские женщины похожи на американок.

Французскую литературу и пустую французскую женщину она не уважает.

Я читал в дороге «Quo Vadis?» Сенкевича в английском переводе.

Она любопытствовала и с гримасой отдала назад мне книгу:

— Я люблю Сенкевича «Семью Поланецких», «Без догмата», потому что эти романы реальны, — я люблю все реальное, а «Quo Vadis» я не люблю, потому что это все фантазия, его выдумка, ничего общего с действительностью не имеющая: написал своих же поляков. Я не люблю таких романов.

Она помолчала и с некоторой иронией сказала:

— Хотя и пишу сама такие же романы.

— Зачем же вы их пишете?

Она пожала плечами.

— Потому что журналы платят мне за них деньги...

Доктор философии, за исключением последней черты, очень напоминает мне наших курсисток, прямых, щепетильных, простых, в то же время и требовательных, брезгливых ко всякому поползновению на ухаживание.

Н. со своими манерами вежливого кавалера-француза, который считает грубостью, если не дать почувствовать даме, что она производит на него впечатление, ей неприятен, и она, не стесняясь, говорит:

— Мне не нравится ваш компаньон: он или думает, что все в него влюблены, или он влюблен во всех: я не люблю таких...

Ровно в одиннадцать часов вечера доктор философии задерживает свою занавеску, и все там тихо до девяти часов следующего утра. В девять часов занавеска отдергивается, доктор философии заглядывает сперва в окно, поворачивает затем голову в нашу сторону и, строго окидывая нас глазами, кивает нам, — женщины первые кланяются в Америке.

В ответ мы оба почтительно ей кланяемся, а она удовлетворенно и задорно на нас смотрит: то-то, мол, а то я и иначе сумею с вами разделаться.

Я не сомневаюсь в этом. Где-где, а в Америке женщина чувствует почву под ногами. Это она — мать или будущая мать всех этих свободных людей. Только свободная женщина и может дать свободного и свободолобивого гражданина. Только такая мать готова жертвовать и своей жизнью и детей своих научить любить эту свободу больше жизни.

Другая соседка наша ехала с нами только сутки.

Я познакомился с ней: она акушерка.

— Выгодно ваше ремесло?

— Роды — нет: десять долларов. Прекращение беременности — сорок долларов.

— Это разрешено законом?

— Как в каком штате, но везде на это смотрят сквозь пальцы.

И она показала, как смотрят сквозь пальцы..

— Это... не считается безнравственным?

— Но за что же несчастная одна обречена нести все последствия того положения, при котором для нее в сто раз окажется более безнравственным естественный ход событий? И чем я поручусь, что, не получив от меня помощи, она не покончит и с собой и с будущим ребенком? Лучше уж кого-нибудь спасти, и если выбирать: кто там еще будет, а уже эта есть.

В вопросах любви доктор философии и акушерка расходятся.

Акушерка жалуется, что в числе рутины и обломков прошлого, завезенных со старого материка, находятся и вопросы любви, свободного чувства, которые далеко не на высоте. Даже развод, хотя и с неизмеримо меньшими затруднениями, чем у нас, сопряжен все-таки и здесь с хлопотами. Акт венчания необходим: без этого остановившаяся в гостинице вместе с мужчиной женщина, если она не записана под его фамилией, получает билет проститутки. И все дело опять-таки сводится, следовательно, к соглашению двух, потому что паспортов нет же. Энергичная проповедь Вудгол изменила, впрочем, за последнее время отношение ко всем этим, отжившим свое время, формам.

Доктор философии, заложив рука за руку, говорит безапелляционно:

— Любить надо раз и навсегда. Если разочаровалась — бросить и больше не унижаться. Неужели всегда кокетничать, строить глазки? Я ненавижу это...

Мы проезжаем необитаемыми пустынями, но и здесь телефоны и электрический свет на самой маленькой станции.

Изредка видишь громадные фургоны, пару крупных, как дом, лошадей и сидящего на высоких козлах господина, в вязаной куртке, с трубкой в зубах, в шляпе котелком.

Зима, все голо. Мы все время извиваемся у подножья невысоких, не закрывающих горизонта гор, напоминающих наше преддверье Крыма.

Пустыня осталась позади, и мы проезжаем множество городов и ферм с желтыми, голубыми и красными, узкими, высокими домами.

— Скорей, индейцы, — кричит мне Н. на одной из станций, — ведь это их родина.

Я захожу за угол какого-то сарая и вижу там несколько темных с красным отблеском тела женщин в ярких костюмах. Они очень напоминают наших цыганок.

Но ни одного мужчины. Так за всю дорогу и не увидел я ни одного индейца. Оригинальное право принадлежит здесь индейцам: ездить бесплатно по всем железным дорогам Америки. Это они, как хозяева страны, выговорили себе. Но никогда этим правом не пользуются, и никуда они не ездят.

— Вот резиденция мормонов — Святое озеро и храм — гроб, в котором помещается десять тысяч человек.

То и дело проходят разносчики с местными продуктами: фруктами, лакомствами. Между прочим, индейское лакомство: печеная кукуруза в сахаре.

А вот и Чикаго.

Между двумя поездами мы успеваем осмотреть знаменитые здесь бойни, на которых ежедневно убивают несколько тысяч крупного скота и до 15 тысяч свиней; бойни устроены за городом, их окружают изгороди, и в них множество скота всякого сорта и вида. Мы едем узким и грязным переулком из этих изгородей. Мимо нас проносятся или неподвижно стоят джентльмены верхом на красивых высоких лошадях, оседланных мексиканскими седлами. У джентльменов в руках громадные бичи, которыми они хлопают, когда какой-нибудь бык не хочет идти туда, куда его направляют.

Мы осмотрели только отделение свиней. Вот их громадное стадо во дворе. Это стадо непрерывно пополняется из соседних дворов. К стене под навес в небольшое, загороженное с трех сторон пространство, привлекаемые едой, спешат свиньи. Там их одну за другой подхватывает за ногу крюк и вздергивает на громадное колесо.

Уже подхваченная, свинья все еще ест и старается не замечать невзгону, но, вздернутая наверх, она уже вопит благим матом.

Достигнув высоты помоста над колесом, она продолжает двигаться головой вниз уже по горизонтальному направлению.

На помосте стоит джентльмен, весь в белом, розовый, бритый, с белым колпаком, с длинным острым ножом в руках.

По мере прохождения мимо него свиньи, все тем же движением, спокойным, ровным, без напряжения, он вонзает ей в горло свой длинный нож. Несколько мгновений после этого свинья, все двигаясь

вперед, бьется еще торопливо, вместе с черной кровью изрытая последние звуки. Но она уже погружается в кипятик, а через несколько шагов дальше опять поднимается кверху, попадая в новые руки, эти руки мгновенно снимают с нее щетину, и уже непрерывной вереницей тянутся ряды белых свиных туш.

В одном месте разрезают им животы, в другом отрезают задние ноги, в третьем середину, передние ноги, голову.

Мы спускаемся из одного этажа в другой, и на наших глазах ходившая во дворе свинья уже в виде всевозможных консерв, сосисок и колбас поступает в магазины, в громадные укупорочные, откуда и рассылается во все концы Америки.

Так отвратительно впечатление от всего этого, от ужасного запаха, что долго еще после того смотришь на все с точки зрения этих боен, этого равнодушия, этой вереницы движущихся мертвых белых трупов, а в центре их — фигура, распространяющая всюду эту смерть, вся в белом, спокойная и удовлетворенная, с длинным острым ножом.

— Оль райт!

Нью-Йорк.

И все-таки самое сильное впечатление произвел на меня Сан-Франциско. Нью-Йорк в пятнадцать раз больше, в нем дома в 36 этажей, но именно вследствие его необъятности общее впечатление теряется.

Больше представляешь себе, чем чувствуешь, всю эту громаду.

Ясно одно: в тот короткий срок, который имеется в моем распоряжении, не то что ознакомиться — и объехать его не успеешь.

Остановился я в скромном с виду «Hotel Martin».

Но отель первоклассный — центр французской колонии.

Французы здесь такие скромные, маленькие. Неудачи с Фашодой в полном разгаре, и все они, легко падающие духом, ходят печальные и пришибленные.

И Н. стал какой-то грустный и задумчивый. Кажется; причиной этому и его личные дела.

Мы были с ним в опере, заплатив по двенадцати рублей за двадцать четвертый ряд кресел. Все мужчины во фраках, а дамы декольте. Из театра дамы и кавалеры поехали, по здешнему обыкновению, в ресторан ужинать и пить чай.

Там лучше можно было рассмотреть их роскошные туалеты, их белоснежные, хорошо вымытые шеи и руки, их румяные, здоровые и красивые лица. Наконец, их завидный аппетит, с каким они ели громадные, сочные от крови бифштексы. Их прекрасные белые зубы ярко сверкали, и энергично работали их челюсти.

— Что вы хотите, — меланхолично устало объяснял мне маленький Н., — ведь это все дочери тех мясников, свиней которых мы видели с вами в Чикаго. У них много денег, но вчерашнего дня у них нет. Они так же необразованны и невоспитанны, как их свиньи: я ведь их хорошо знаю, — у нас в Париже они в моде, и считается дозволенным жениться человеку из Сен-Жерменского отеля на такой... Прикрываясь оригинальностью и модой, эти господа женитьбой поправляют дела. А как падки американцы до титулов!..

Н. презрительно свистнул и продолжал:

— И ничего пошлее нет этой нью-йоркской аристократии — ни вкуса, ни оригинальности: что это за костюмы, что за опера? Какая-то солдатская выправка, каждое движение заученное, — тяжело пахнет потом... И все «оль райт».

И Н. со звуком, напоминающим лай бульдога, повторяет, опустив голову: «All right».

В театре меня поразила дисциплина толпы после окончания спектакля.

Верхнее платье выдавали из одного окошечка, за которым возились всего два человека. Когда хлынула вся эта громадная толпа в вестибюль, я подумал, что и ждать придется очень долго и давка будет.

Но и платье свое я получил гораздо скорее, чем у себя на родине, где десятки капельдинеров, и давки никакой не было. Без всяких полицейских толпа так педантично соблюдала права друг друга, что и в голову не приходило ринуться впереди других. Такой же порядок царил и при разезде. Чувствовалась в этой толпе дисциплина культуры. Я поделился своими мыслями с Н.

— На этот счет они молодцы, — согласился Н. — В их толпе не может быть паники нашей толпы, они привыкли к опасностям, сильны, находчивы, всегда в сборе. Я, проездом в Японию, попал в прошлом году в театр здесь. Вдруг раздался какой-то странный шум, публика подняла головы, кто-то крикнул: «Огонь!» В одно мгновение

все были на ногах, но никто не двигался. В следующее мгновение уже все аплодировали, успокаивая друг друга, и один за другим под эти аплодисменты, без всякой давки, соблюдая очередь, стали выходить. Но в это время на сцене появился какой-то господин, что-то сказал, и все опять сели на свои места, и спектакль продолжался; никакого пожара не оказалось.

Нам подают счет нашего ужина: одиннадцать долларов. Завтрак, обед, ужин, номер, кеб, театр, мелкие расходы — и почти ста рублей нет в день. Я думаю, не ошибусь, если скажу, что Нью-Йорк — самое дорогое в мире место.

Да, уже здесь рантьеру из Европы делать нечего, и надо очень и очень много свободных денег, чтобы путешествовать с удобствами по Америке. Это не Франция, Швейцария, Италия, где франк и лира почти то же, что здесь доллар.

VIII

В Атлантическом океане

Свистит уныло холодный ветер. Скрывается в тумане громадный, как этот туман, Нью-Йорк со своими шестью миллионами жителей, со своим семидесятиверстным пространством, со своими узкими и высокими до неба домами, со всей своей роскошью и чудесами техники.

Неимоверных размеров, многоэтажный пароход «Лукания», самый большой в мире, с ходом до пятидесяти верст в час, уже полным ходом выбирается в открытый океан.

Мрачно, тихо, торжественно.

Там, на пристани, еще виднеется группа провожающих, но что до них? Все это уже отрезано, все это уже осталось позади и уже в прошлом, но еще рельефнее встает в памяти вся новая, как с иголки, богатая Америка.

В отдельности все там и не поражает, может быть, но совокупность впечатлений сламывает и заставляет признать, что действительно эта страна — царство богатства и техники, единственных в мире. Господство на мировом рынке этой страны, законодательство и власть ее в экономической области становится и понятнее и неизбежнее. Можно, конечно, с гордым видом отворачиваться и говорить: «Что техника, что богатства?» Но ведь миром руководит не тот, кто скажет так. Можно говорить, что Америка — страна рекламы, что в Америке столько машин, что она сама не что иное, как одна большая машина, машина, которая делает свою неумолимую работу, как бойни в Чикаго; что в Америке много денег, но мало поэзии, мало искусства, нет вчерашнего дня; что американец — человек без тени, которая не успела еще вырасти; что вся сущность Америки в туго набитых карманах выбившихся в люди мясников; что даже в искусстве их — техника все того же мясника, который одна за другой колет свиней с спокойствием и верностью машины, и так и слышится после каждого взмаха, верного и спокойного, любимое в Америке: «All right». Будь это певец, мясник,

дама. Он заколол, тот взял ноту, принял позу, та вымыла шею, руки, грудь, съела кровяной бифштекс, надела великолепное декольте...

И несомненно, известная ремесленность чувствуется и шокирует, скучно за прошлым, и мало философии у этих деловых людей. Но все это наживное и второстепенное в сравнении с тем, что уже есть; и то, что есть, красноречиво говорит, что и остальное так же пышно и быстро расцветет, как уже расцвели здесь общественная жизнь, свобода женщин и мужчин, как расцвели техника и экономическое благосостояние этой великой страны.

Все быстрее идет вперед наш громадный пароход, Вот назади скрывается уже в дымке тумана громадная, манящая к себе статуя Свободы.

Прощай, Америка! Буду счастлив, если удастся еще раз увидеть тебя!

Шумит и бушует Атлантический океан: декабрь — самое бурное время его.

Легкие зелено-бутылочные волны его с белыми гребнями торопливо, беззвучно, одна за другой убегают в мглистую, пеной покрытую даль.

Злее налетит вихрь, сорвет верхушки волн и обдаст брызгами сверху донизу наш пароход. Несмотря на размеры (12 тысяч тонн вместимости), нашу «Луканию» качает: если бы не эта качка, то потерялось бы и впечатление парохода. Это скорее многоэтажная гостиница, и моя каюта, например, ни одной из своих сторон не соприкасается с бортом корабля.

Чем дальше, тем качка сильнее. Однажды мы сидели в курительной на четвертом, самом верхнем, этаже. Туда никогда не достигали раньше волны. И вдруг — это произошло мгновенно — вместо пола мы увидели там внизу бездну и весь сразу открывшийся перед нами бешено мечущийся, мглистый, весь в пене горизонт океана.

В открытую дверь к нам уже хлынул этот океан, зеленый, растрепанный старик, и ужаснее всего было то, что наша «Лукания», легши набок, точно очарованная, раздумывала: подниматься ли ей назад. Продолжалось это, вероятно, несколько мгновений, но я и, вероятно, многие пережили такое ощущение, как будто мы уже окунулись в эти легкие зелено-прозрачные волны. И весь тот день

налетали эти волны, разбивались, как выстрелы пушек, удары о борт нашей «Лукании». Не было и тени того величия, с каким Тихий катит свои синие густо-плавкие волны.

Меня не укачивало, но и удовольствия никакого я не испытывал от этой непрерывной качки. Особенно ночью. Сна почти нет, потому что от качки постоянно едешь туда и сюда по койке. И пока едешь от полу — еще ничего, а когда наклоняет к полу, надо задерживаться, а иначе упадешь. Эти четыре ночи без сна взвинтили мою нервную систему до очень болезненного раздражения.

Пассажиров сравнительно мало было — около семисот человек, и неинтересные. Большинство — англичане, да и сам пароход принадлежал английской компании.

Мой спутник из Нью-Йорка и мой сосед за столом — англичанин лет тридцати пяти, здоровый и румяный, сообщил мне, что, вероятно, приехав, мы уже услышим об объявленной французам войне.

— Эта война неизбежна, — говорил он, плотая шампанское, — у французов должны быть отняты их колонии, потому что они не годятся для этого дела... Латинские расы обречены на вымирание и должны уступить место нам, американцам, немцам и даже японцам. Испания не хотела сознать это и поплатилась: такая же судьба ждет и французов, — их флот через две недели после войны не будет существовать.

Англичанин говорил со мною по-французски. Он обратился ко всему столу и то же сказал по-английски. Ему сочувственно закивали головами все и, перебивая друг друга, горячо заговорили на тему о необходимости и неизбежности войны. И всю дорогу все говорили о том же постоянно, горячо и настойчиво. Несколько французов, ехавших с нами, сторонились и держались угрюмым особняком.

— О, это выродившаяся нация, — говорили англичане, — чтобы убедиться в этом, достаточно привести процесс Дрейфуса. Мировое правосудие в руках каких-то капитанов. Это — позор...

— Вы думаете, — кричал отчаянно другой, — они примут вызов? Они пойдут на все уступки и никогда не посмеют драться с нами.

— Весьма вероятно: это люди прошлого, их песенка спета, — это сплошь теперь только мелочные лавочники, которые умеют думать только о себе...

Грозный океан был уже позади, мы проплыли и зимой зеленую Ирландию, плыли теперь по гладкой, как зеркало, поверхности моря, к вечеру мы подойдем к Ливерпулю, а раздражение против французов все росло и росло.

Раздражение неприятное, тяжелое.

Вообще все это общество, несмотря на то, что между ними были и ученые и люди пера, производило сильное впечатление самодовольства до пошлости, чем-то обиженных людей. Это были хозяева, ни на мгновение не забывающие, что все это, начиная с парохода, кончая последней безделушкой, — их, принадлежит им и им не надо идти ни к кому и ни у кого ничего не надо просить, — все лучшее в мире у них. Они дадут и другим, но дадут заносчиво, зная хорошо цену того, что дадут.

Эти люди энергичны и жадны к жизни. Они чистятся, переодеваются и моются несколько раз в день, всякими способами укрепляют свое тело, едят свои громадные, кровью пропитанные бифштексы с аппетитом, не уступающим дикарям. Поэзии нет в этом обществе. Интересы коммерческие, узконациональные.

Знамя, под которым двигалась некогда политика, — религия, теперь заменено другим: промышленность, национализм. Промышленность — кровь организма, кровь английского организма, немецкого, каждого в своем национальном мундире.

Перед самым приходом в Ливерпуль, за обедом, мой сосед по столу сказал мне:

— Вероятно, будет и с вами война у нас, мы вам готовим большой счет. Вы, конечно, друзей своих французов поддержите?

Другой сосед мой, старичок, лукаво подмигнул и сказал, рассмеявшись:

— Теперь, пожалуй, и не поддержат.

— Почему?

— У французов деньги взяты уже: политика ведь дело коммерческое.

— Война с русскими будет не легкая для вас, — заметил я, — потому что русские соединяют в себе свойства и диких и культурных наций. Вооружением мы, вероятно, не уступим вам, а как нация менее культурная, мы храбрее вас. У нас есть одна дикая песня, припев которой лично для меня отвратителен, но характерен, по-моему:

Жизнь наша копе-е-ейка...

— Посмотрим, — пожал плечами англичанин, — флот мы ваш, как и французский, уничтожим скоро, и военный и торговый, Порт-Артур отнимем, а там что же останется у вас на Востоке?

— А Индия? — спросил я.

Англичанин рассмеялся:

— Меньше всего в Индии мы о вас думаем. Ведь это вам Индия представляется страной в двести миллионов, ждущих и не могущих дожждаться вас, а мыто ведь знаем, что Индия страна культурная, мы знаем эту культуру, потому что мы создали ее. Кроме Англии, нигде нет такого самоуправления, таких законов, таких школ, как в Индии. Индию надо отрывать зубами от Англии, надо побороть прежде всего сопротивление двухсот миллионов людей. Идите в Индию, там вас хороший сюрприз ждет.

— Много заслуг у англичан, — покачал я головою, — но кружат они вам головы.

— Нет, не кружат, — американцы, немцы, японцы будут с нами, а остальной весь мир нам не страшен, да его и надо победить и прежде всего пропеть «De profundis» ^[17] латинским расам.

Я большой поклонник английской культуры, вносящей действительное равенство всех и для всех, признаю все их заслуги пред человечеством, но этот тон раздражал до желания невзгоды этой нации в ее же интересах. Желание, впрочем, признаю, вполне несправедливое и мимолетное.

IX

В Европе и дома

Под влиянием общества на пароходе «Лукания» и его настроения я изменил первоначальный свой план остановиться на несколько дней в Лондоне, в этом центре современного культурного мира, и решил приехать сюда когда-нибудь в более спокойное время, когда не будет портиться впечатление от диких воплей этих вдруг пожелавших крови и смерти людей...

Лондон поэтому я видел только в тумане только что начинающегося прекрасного розового утра. Я ехал проездом на вокзал по Пикадилли, пустой, безлюдной, и видел только, как в первых лучах солнца женщины мыли подъезды и тротуары.

На вокзале я успел выпить кофе, купил какой-то юмористический журнал, и мы поехали.

Карикатура: молодая женщина, в трауре, с легкомысленной заплаканной физиономией, сидит на террасе над морем, а старый англичанин отчитывает ее за легкомыслие. Он постоянно повторяет: «Вы молчите? Вы растерялись до неприличия, — вот до чего вы себя довели...»

Это было как раз в период тех трех недель, когда Франция молчала на ультиматум англичан, а потом покорила и приняла все их требования.

Это был тяжелый период унижения для французов.

Бедные французы — их много в поезде, и все они точно чего-то горького съели.

Я смотрю в окна вагона.

Все еще предместья Лондона — живописные, с уютными домиками, все в зелени. И дальше, за Лондоном, почти сплошь дома, селения, зеленые поля — люцерна, клевер, парки, речки, леса. И все живописно, уютно, богато...

Переезд через Ламанш занимает всего сорок минут, но такой качки нигде не было.

Маленький дрянной парходик подбрасывало, как мяч. Было много трагикомичных сцен во время этого переезда.

Толстый француз, важно и жадно евший на берегу у плохого буфета бутерброды, теперь сидел на палубе у борта, без шляпы, растерянный, бледный. Напрасно матросы уговаривали его сойти вниз или отодвинуться, — он только бессильно мотал головой. Каждую минуту, его окатывали брызги с ног до головы, а он только вздрагивал на мгновение и снова погружался в свое летаргическое состояние.

Какая-то дама выскочила из каюты, поскользнулась и села посреди палубы и так и сидела, не желая никуда уходить. И ее окачивали и брызги и волны, и она тоже каждый раз только нервно всхлипывала.

Оба страдали морской болезнью.

Какой-то господин подошел к толстяку, с любопытством рассматривая его, наклонился, и вдруг как раз в эту минуту ему сделалось дурно, и все это попало в корзину толстяка, стоявшую у его ног.

— Monsieur!!! — с отчаянием закричал толстяк, но новый приступ морской болезни не дал ему договорить, и толстяк, перегнувшись за борт, тянул только мучительное: «А-а».

Хотел что-то в свою очередь объяснить толстяку виновник, начал, — и мгновенно его голова за бортом. И оба они: то кричат что-то друг другу, то головы обоих исчезают.

Но все быстро и сразу меняется, как только пароход подходит к пристани на французском берегу: качки нет больше, желто-грязный пролив назад, толстый господин еще мокрый, как губка, уже ест что-то. Дама, сидевшая посреди палубы в луже, уже веселым голосом кричит приветствия стоящим на берегу.

Через полчаса мы уже мчимся по железной дороге в Париж.

На этот раз я в Париж попадаю случайно, уговорил меня ехать один из французов, доказывая, что это кратчайший путь. Из-за этого я потерял лишние сутки, как потом оказалось, и, конечно, ругал легкомысленного француза. Ни англичанин, ни американец так не поступили бы; уж если стали бы давать советы, то дали бы на совесть.

Со мной в купе ехало еще трое, все трое французы, все трое едущие в Париж, очевидно, встречать Новый год.

Новый год во всех отношениях для них не из удачных.

До сих пор было тепло, но часов с четырех пошел снег, разыгралась такая метель, что в Париже на улицах ничего не было

видно.

Мои спутники, в нарядных легких платьях, с зонтиками, с подкатанными панталонами, озабоченно смотрели в окно...

Разговорились мы под самый конец с пожилым французом, все время читавшим газеты.

— Ужасно, ужасно, — проговорил он, отодвигая газеты. — И чем все это кончится? Неужели будет война? Это ужасно.

Узнав, что я русский, он с тоской спросил:

— Неужели русские нам не помогут?

Двое остальных слушали наш разговор молча, удрученно или безнадежно смотря в окно.

Я вырос с убеждением, что французы великая мировая нация. Теперь, после кругосветного своего путешествия, я уже без интереса смотрю на них. Я видел там их значение. Дрейфус, Фашода, позорная гибель «Бургон», позорный пожар на балу, где мужчины ножами и палками били женщин, — я представляю себе того изысканного, блестящего, вежливого кавалера, который, когда началась сумятица, ударом палки прокладывая себе дорогу, свалил с ног прежде всех свою невесту.

Я не думаю отпевать, как англичане, нацию, но период упадка этой нации сильно чувствуется. Это бывало и раньше, впрочем, старый буржуазный строй отживает, и нигде это умирание, разложение заживо не чувствуется так, как в Париже.

Мне пришлось в другой раз побывать в этом городе, познакомиться ближе с работой людей будущей культуры, с их руководителями: Жоресом, Гедом. Я увидел, каким ключом бьет эта будущая жизнь там, видел свежесть, силу и веру этих людей.

И не сомневаюсь больше теперь, что французы, оправившись от своей теперешней позорной реакции, опять первые отворят дверь в земной рай будущего человечества.

**Корейские сказки, записанные осенью
1898 года ^{*}₋**

Предисловие

В 1898 году, в сентябре и октябре, я проехал из Владивостока в Порт-Артур, — большею частью верхом, частью в лодке: в лодке — по Ялу (Амнока-ган).

Ехал не. прямо, а с заездами, — то в Корею, то в Маньчжурию.

Во время этого путешествия я собрал прилагаемые сказки.

Двадцать-тридцать корейцев, в своих дамских белых кофточках, в дамских шляпах с широкими полями и высокими узкими тульями, окружали нас, присаживаясь на корточках, и лучший сказочник рассказывал, а остальные курили свои тонкие трубочки и внимательно слушали.

Мой переводчик г. Ким, сам кореец, прекрасно владеющий и корейским и русским языком, учитель по специальности, переводил; я быстро, фраза за фразой, записывал, стараясь сохранить простоту речи, никогда не прибавляя ничего своего.

За это я ручаюсь и не сомневаюсь, что будущие исследователи подтвердят истину моих слов.

Я слушал эти сказки то вечером, после гостеприимного ужина, то во время отдыха на перевалах, откуда открывалась перед нами далекая панорама долин и гор в осеннем нежном, как старые персидские ковры, узоре.

Целые снопы фиолетовых и оранжевых лучей заходящего во всем своем величии желтого солнца заливали эту даль, и она сверкала, вспыхивала в последний раз и уже исчезала, как видение, в просвете быстро наступавших сумерек. И все кругом — и эта даль, и эти люди, и их жизнь — казались тоже сказкой.

Одну тетрадь со сказками я потерял, к сожалению. Теперь, когда я опять еду туда, на далекий Восток, мне, может быть, удастся возместить эту потерю. А может быть, я не найду уж той прежней сказочной Кореи, тех библейских патриархальных фигур: чистых, доверчивых детей; наивных, благородных и в то же время пятитысячелетних старцев, изведавших и познавших и душу человеческую и тщету всего земного, которым ничего, кроме их сказок и гор, не надо.

Юмор, добродушие, всепонимание и всепрощение, паразитическое благородство.

Так они живут, так умирают.

Я стою над умирающим корейцем, впервые увидевшим нас, белокожих. В его доме на нас произвели нападение, его смертельно ранила одна из пуль нападавших хунхузов.

Темное, красивое, иконописное лицо; чудные большие глаза; черная борода, напоминающая индуса. Спокойствие, величие простоты...

— Я исполнил только свой долг гостеприимства... Но уходите скорее отсюда... Оставьте нас... Нет, не надо золота, потому что оно привлечет опять злых людей и погубит нас...

Корейцев называют трусами.

За белые костюмы, за робость — русские называют корейцев белыми лебедями.

Да, как лебеди, корейцы не могут драться, проливать человеческую кровь; как лебеди, они могут только петь свои песни и сказки.

Отнять у них все, самую жизнь — так же легко, как у детей, у лебедей: хорошее ружье, верный глаз...

Ах, какие это чудные, не вышедшие еще из своего сказочного периода дети!

Заяц

Заболел морской царь, и доктор-рыба доложил ему, что только печенка зайца может спасти его от смерти.

Тогда послали кету поймать зайца. Кета поплыла, но у берега попала на удочку.

Послали сома, но и сом попался.

Тогда послали ужа. Но уж, когда выполз на берег, попал под колеса арбы и был раздавлен.

Тогда послали черепаху.

Черепаха разыскала царя зверей, тигра, и говорит:

— Ты царь, и у нас есть царь. Наш царь умирает, и доктор сказал ему, что если он не съест заячьей печенки, то жить он не будет.

Тигр выслушал и приказал привести к нему зайца.

— Иди, — сказал он, — за этой черепахой: тебя зовет морской царь.

Идет заяц с черепахой и выпытывает, что нужно от него морскому царю.

Рассказала ему черепаха, в чем дело.

— Но если у меня вынут печенку, так ведь я уже жить не буду?

— Этого я не знаю, — сказала черепаха.

— Ну, так вот что, — у меня есть один хромой родственник. Он давно жалуется, что ему от хромой ноги жизнь не в жизнь. А царю вашему ведь все равно, чью печенку ни есть — лишь бы только заячья была. Так ты подожди меня, я только вот в этот лес сбегая и живо приведу тебе хромого зайца.

— А мне все равно, — сказала черепаха и выпустила зайца.

Заяц шмыгнул в лес, и только его и видели.

Ждала-ждала черепаха и поползла к своему царю.

Узнал царь, в чем дело, и велел ей опять ползти к царю зверей.

Рассказала черепаха царю зверей, как ушел от нее заяц.

— Ну, иди домой, — сказал ей царь, — от тебя он опять убежит, — я пошлю его с более надежным.

Услыхал заяц, что его опять ищут, и говорит:

— Ну, теперь, когда мне все равно умирать, сделаюсь я хунхузом.

И заяц сделался хунхузом.

Раз видит он, ползет по дороге черепаха.

— Ты куда ползешь? — спрашивает ее заяц.

— Да вот к вашему царю сказать, чтобы он больше не беспокоился, так как наш царь уже умер.

Тогда заяц забежал вперед черепахи и, присев перед своим царем на корточки, сказал:

— Слыхал я, великий царь, что ты требуешь меня, — вот я.

— А где ты был до сих пор?

— Я бегал на китайскую сторону к брату своему в семнадцатом колене.

— А почему ты ушел тогда от черепахи?

— Я не ушел, а отпросился согласно разрешению выставить за себя хромого. Вот к этому хромому брату я и бегал.

— Ну?

— Да, не пошел, — говорит, не хочу еще умирать.

— А не хочет, так иди ты.

В это время приползла черепаха с известием, что их царь уже умер.

— Ну, умер, так умер, — сказал тигр и отпустил зайца с наградой.

Три брата

Жили три брата на свете, и захотели они нарыть жень-шеню, чтобы стать богатыми. Счастье улыбнулось им, и вырыли они корень ценой в сто тысяч кеш. Тогда два брата сказали: «Убьем нашего третьего брата и возьмем его долю». Так и сделали они. А потом каждый из них, оставшихся в живых, стал думать, как бы ему убить своего другого брата. Вот подошли они к селу. «Пойди, — сказал один брат другому, — купи сули (водки) в селе, а я подожду тебя». А когда брат пошел в село, купил сули и шел с ней к ожидавшему его брату, тот сказал: «Если я теперь убью своего брата, мне останется и вся суля и весь корень». Он так и сделал: брата застрелил, а сулю выпил. Но суля была отравлена, потому что ею хотел убитый отравить брата. И все трое они умерли, а дорогой корень жень-шень сгнил. С тех пор корейцы не ищут больше ни корня, ни денег, а ищут побольше братьев [\[18\]](#).

Восьми-несчастный

У человека восемь счастья: счастливая могила предков; хорошая жена; долголетие; много детей; много хлеба; много денег; много братьев; образование. Но есть люди, которые не обладают ни одним из этих счастья, и тогда они называются восьми-несчастливыми — Пхар-ке-боги.

Одним из таких и был Ниноран-дуи, которого даже жена бросила.

И все ж таки случилось однажды так, что Ниноран-дуи встретил женщину по имени Дю-си, — молодую, красивую, богатую, которая полюбила Ниноран-дуи. И Ниноран-дуи полюбил Дю-си. Но так как несчастья восьми-несчастливых передаются и тем, кто любит их, то и для Дю-си встреча с Ниноран-дуи не прошла даром, — ее торговые дела пошли плохо, ее скот падал, поля ее не приносили больше урожая.

Все это кончилось тем, что, когда однажды Дю-си проснулась, она не нашла больше подле себя своего любимого Ниноран-дуи, она нашла только письмо его. Он написал ей, что, несмотря на то, что он любил ее всеми силами своей души, он оставляет ее, так как ничего, кроме несчастья, он не может ей дать.

Дю-си, прочитав письмо, горько заплакала, потому что она любила Ниноран-дуи, а не свои богатства, которые она с этого момента возненавидела; раздав их нищим, она ушла из тех мест, где жила.

Она шла по долине, плакала и думала: «Если бы у меня было столько хлеба, чтобы накормить всех голодных, и столько денег, чтобы дать всем, кто в них нуждается, тогда не было бы больше горя на земле!»

Когда она так думала, она вдруг увидела перед собой едущего на быке красивого сильного человека, увешанного цветами и обвитого колосьями. Он остановил быка и сказал ей:

— Полюби меня, будь моей женой.

— Я люблю уже одного восьми-несчастливого и никого, кроме него, любить не могу. Но если желаешь, будем братом и сестрой, — отвечала Дю-си.

Они побратались по обыкновению их страны: надрезав себе пальцы, кровью написали свои имена, каждый на поле своей одежды, затем, отрезав написанное, обменялись, и, спрятав это у себя на груди, каждый отправился своей дорогой.

Утомившись от пути, Дю-си вошла отдохнуть в хлеб, прилегла там и заснула. Во сне она увидела белого, как серебро, лицом и волосами старика, который сказал ей: «Тот человек, которого ты встретила на быке и с которым побраталась, был я. Я — дух долины. Я знаю твое желание. Вот тебе мешочек с рисом, — одного зерна довольно, чтобы самый большой котел наполнился рисом. И сколько бы ты ни брала из этого мешочка рису, он никогда не истощится!» Сказав это, старик исчез, а Дю-си проснулась. Около нее лежал маленький мешочек с рисом.

Взяв мешочек, она пошла дальше.

Долина кончилась, и Дю-си стала подниматься на перевал высокой горы. Там, на вершине перевала, рос прекрасный густой лес, посередине которого стоял шалаш. Молодой красивый дровосек сидел в шалаше перед огнем очага и кипятил воду в котле.

— Что ты положишь в эту воду? — спросила Дю-си после приветствия, остановившись у входа в шалаш.

— Я ничего не могу положить в эту воду, — ответил дровосек, — потому что у меня нет ни чумизы, ни рису.

Тогда Дю-си вошла в шалаш, достала из мешочка одно зерно рису и бросила его в котел.

Котел сейчас же наполнился до верха рисом, и дровосек с Дю-си вполне насытились этой пищей.

После ужина дровосек сказал Дю-си:

— Полюби меня, и будем мужем и женой.

— Я не могу полюбить тебя, — отвечала ему Дю-си, — потому что люблю своего мужа, восьми-несчастливого, но если хочешь, будь моим братом.

Дровосек согласился, и они побратались.

Вскоре после этого наступила ночь, и Дю-си крепко заснула. Она увидела во сне белого, как серебро, лицом и волосами старика, который сидел верхом на громадном тигре.

— Дровосек, ужинавший с тобою в шалаше, был я. Я — дух гор. Я знаю твое желание: вот возьми этот кусок золота, и сколько бы ты

ни отрубала от него, золото у тебя никогда не будет уменьшаться!

Старик исчез, а Дю-си проснулась. Не было больше дровосека, ни шалаша, а около нее лежал кусок золота.

— Теперь я знаю, что мне делать, — сказала Дю-си, вставая, — я выстрою на этом месте целый город! Ко мне будут приходить со всех сторон все голодные и все те, кому нужны деньги, и в числе их я найду и своего восьми-несчастливого.

Так и сделала Дю-си. К ней приходили все нищие, все голодные или нуждающиеся в деньгах. Ожидания ее исполнились, — однажды пришел к ней ее муж Пхар-ке-боги.

Когда увидела его Дю-си, она бросилась к нему и упрекала его, что он ее покинул. Пхар-ке-боги, узнав Дю-си, был, конечно, тоже счастлив. Дю-си взяла с него клятву в том, что он не покинет ее и не уйдет от нее больше. После этого они зажили очень счастливо, кормя и поя всех проходящих к ним нищих.

Однажды у Дю-си вышли все деньги, и за ними необходимо надо было ехать в другой город, чтобы разменять золото на деньги.

Дю-си дала свой кусок золота мужу и просила его, чтобы он нарубил побольше кусков и обменял их на деньги, чтобы не ездить часто в город и не разлучаться.

Пхар-ке-боги навьючил осла золотом и отправился с ним в город.

По дороге необходимо было переехать ручей, а так как Ниноран-дуи был восьми-несчастный, то и случилось, что как раз в это время пошел сильный дождь, превративший малый ручеек в громадную реку, в которой и потонул при переправе осел вместе с золотом.

— Нет! — вскричал в отчаянии несчастный, — так не может дольше продолжаться: слишком много уже несчастий я приношу собой этой женщине! Или я спасу, ее золото, или погибну и сам вместе с ним!

Он бросился в воду и утонул. Дю-си долго ждала Ниноран-дуи и, наконец, не вытерпев, пошла сама его отыскивать.

Когда она подошла к ручью, вода в нем спала, и это был опять маленький ручеек. На берегу она увидела и лежащее золото и мертвого Ниноран-дуи. Ничто больше не могло утешить Дю-си. Она шла и плакала. Она плакала о своем дорогом восьми-несчастном и о всех несчастных и всех восьми-несчастных. Когда силы ее оставили, она села и так умерла плача, а от ее слез в этом месте протек ручей,

который и называется «ручей слез». Один купец ехал в город по делам, сбился с дороги и попал как раз в то место, где лежала мертвая Дю-си. Увидав женщину, он, по обычаю своей страны, в знак уважения, слез с лошади и прошел мимо нее пешком. Проходя, он заметил, что женщина неподвижна, а подойдя ближе и убедившись, что она мертвая, вырыл могилу и похоронил ее. Вскоре затем он нашел опять свою дорогу, благополучно приехал в город и удачно кончил все свои дела. Приписывая удачу встрече с похороненной им женщиною, он на обратном пути снова заехал на ее могилу и, по обычаю своей родины, помянул ее. После этого он, по приезде домой, рассказал домашним и знакомым о случившемся с ним происшествии и своей удаче в делах. Другие купцы, его товарищи, ездившие в город по делам торговым, тоже посетили могилу Дю-си и помянули ее. И их постигла удача. Купцы из других местностей, узнав об этом, также завертывали на могилу Дю-си и тоже получали удачу в своих делах.

Однажды какой-то несчастный случайно попал на могилу Дю-си. Он горько плакал о своем горе и так и заснул на могиле. Во сне ему явилась прекрасная молодая женщина, вся в белом, и плакала вместе с ним, и, утешая его, говорила:

— Напейся из этого ручья, — вода в нем чистая, потому что источник его — слезы за несчастных. Когда ты напьешься, уменьшится твое горе, потому что ты полюбишь всех других несчастных, как любила их та, слезы которой образовали этот ручей!

Стали ходить на могилу Дю-си другие несчастные, и слава о могиле Дю-си росла все больше и больше.

Согласно законам страны был поставлен на ее могиле памятник с надписью: «Добродетельной женщине».

А слава все растет и растет и будет расти, потому что та, которая спит в этой могиле, любила несчастных, а их все больше и больше на свете.

Кучи Кантхегана

Во время царствования династии Цумуан жил близ реки Туманган в городе Ауди восьмидесятилетний старик Кантхеган.

Он был предсказатель и знал, что прожил только половину своей жизни. Он был очень учен, хотя занимался всегда сельским хозяйством. Но когда ему минуло восемьдесят лет, он бросил все дела и только занимался тем, что с удочкой в руках ходил на реку и удил рыбу, но, так как на удочку он не клал никакой приманки, рыба не ловилась. Так продолжалось три года.

— Ты выживший из ума старик, и я не хочу с тобой жить. Давай мне развод.

Кантхеган согласился и дал жене развод.

Но потом произошло вот что:

Царь, узнав, что какой-то старик уже три года ловит рыбу без приманки, заинтересовался им и призвал его к себе.

— Зачем ты три года ловишь рыбу без приманки?

— Потому что я знал, что ты призовешь меня.

Царь разговорился с ним, узнал его ученость, мудрый ум и сделал его первым министром.

Тогда бывшая жена его пришла к нему и стала просить, чтобы он опять взял ее к себе.

— Нет, — ответил Кантхеган, — друга для хороших дней я всегда найду, а в мои трудные дни ты не была мне другом. Но так и быть, я для тебя кое-что сделаю.

И он приказал сложить возле дороги кучу камней с надписью: «Прохожий, вспомни о моей жене, скажи — дрянная женщина — и плюнь».

С тех пор кореец, проходя мимо такой кучи, всегда плюет и говорит:

— От дрянной женщины.

Впрочем, женщины корейские не верят этой легенде, и кучи камней, которых очень много по дорогам, объясняют тем, что камень этот корейцы стаскивают со своих каменистых полей, а чтобы им веселее было таскать, они и тешат себя всякими плуствиями.

Художник

Жил в Корее художник Ким-тон-чуни.

Он был знаменит, но мечтал о большем.

Однажды приснился ему восьмидесятилетний белый старик и сказал ему:

— Есть небесная река. Она нежнее неба и светлее земной самой чистой воды. Чтобы видеть ее течение, надо все ночи проникать в небо, и цвет, который начинается за тем местом, где падает красноватый отблеск Ориона, и есть цвет той реки. Срисуй ее, и такая картина даст счастье всей Корее. Но она будет тебе стоить жизни.

Проснувшись, Ким с нетерпением ждал ночи и искал цвет небесной реки.

Сперва он ничего не мог разобрать. Небо было то темное, и тогда оно было синее и только около звезд, крупных, как капли росы, оно словно бледнело и таяло. То всплывала луна, обвитая нежным сиянием Ориона, и в блеске луны меркли звезды и бледнело небо.

Но все это было не то, пока после долгого напряжения не уловил Ким иных, словно движущихся частичек неба.

И он изошрился свое зрение до того, что мог видеть в небе то, чего никто из смертных не видел еще.

И когда так неподвижно сидел Ким, говорили, что душа его отделялась от его тела и уходила гулять на небо.

Тихо подвигалась работа Кима.

Месяцы, годы проходили.

Однажды сидел так Ким, смотря в небо, и оставалось последний блеск уловить, как вдруг перестал он видеть и небо и все окружающее.

Ким ослеп, и когда утром пришли к нему, то нашли его уже мертвым.

А картину его отнесли к императору, и тот созвал ученых и спросил:

— Что это значит?

Ученые долго совещались и ответили императору:

— Это ничего не значит.

И картину бросили в архив.

Но один китайский мудрец сказал богдыхану:

— В Корее знаменитый художник Ким нарисовал картину: ее непременно за какие бы то ни было деньги надо купить.

Богдыхан послал в Сеул, и, когда корейский император узнал, зачем послы приехали, он отдал им картину за тысячу кеш (два рубля).

Со взятками корейским министрам она обошлась в тридцать тысяч кеш (шестьдесят рублей).

— На что вам эта дрянь? — спросили корейские министры, пряча деньги в свои широкие карманы.

— На что? А дайте-ка сюда удочку.

И когда удочку поднесли к картине, из нее выскочила живая рыбка.

— Видели? — спросили китайцы. — Вы продали счастье вашей страны.

И с тех пор Китай стал богатеть, а Корея пошла книзу и дошла до той нищеты, в которой теперь находится.

Пак

Жил-был на свете бедный юноша, по имени Пак. У него не было ни отца, ни матери, ни родных. Жил он тем, что срезал серпом высокую болотную траву, растущую у озера, и продавал ее на топливо. Он давал траву, а ему давали немного чумизы. Однажды, когда Пак срезал траву, выбежал к нему из чащи олень и сказал человеческим голосом:

— Спрячь меня, Пак, — за мной гонится охотник!

— Куда я тебя спрячу? — сказал Пак.

— Спрячь меня в этом стоге травы, который ты накосил.

Пак спрятал оленя, прикрыв его и его рога травой. Скоро сюда прибежал и охотник и грозно спросил Пака:

— Где олень?

Пак его несколько не испугался и в свою очередь спросил охотника:

— Олень, что такое олень?

Охотник не стал больше и разговаривать с человеком, который никогда не видел и не знает, что такое олень, а побежал дальше.

— Ну, спасибо тебе, — сказал олень, — постараюсь и я тебе услужить! Тебе минуло сегодня как раз шестнадцать лет, ты совершеннолетний, а потому пора подумать и о женитьбе. Кстати, сегодня же в это озеро, всегда раз в год, спускаются восемь небожительниц, чтобы купаться в нем. Укройся в кусты и смотри, какая тебе больше всех понравится, — той юбку возьми и спрячь и, помни, не отдавай ей юбку назад, несмотря на все ее просьбы, раньше того, как у вас будут трое детей! Помни еще одно: если я тебе зачём-нибудь понадобится, только крикни меня, до трех раз: «Олень, зову тебя!»

Сказав это, олень скрылся в лесу, а обрадованный Пак спрятался в кусты. И была пора, потому что, только он успел укрыться, как восемь прекрасных девушек, в белых одеждах, спускались к озеру. Спустившись, они разделись и стали купаться, играя между собой в прозрачных водах озера.

Пак выбрал себе самую младшую и осторожно спрятал ее юбку. Сейчас же после этого одна из девушек тревожно сказала:

— Как будто человек тут близко — лучше улетим отсюда!

И все девушки сейчас же бросились к берегу, оделись и исчезли в облаках. Только восьмая осталась, нигде не находя свою юбку. Тогда показался из-за кустов Пак и сказал ей:

— Юбку твою я взял, потому что я полюбил тебя и хочу, чтобы ты была моей женою, если ты согласна?

Она была согласна, потому что Пак был тоже красив и нравился ей, но она попросила назад свою юбку. Пак не дал, и они стали мужем и женой.

Когда пришла ночь, жена спросила у мужа:

— А где же твой дом?

— Мой дом? Вот мой дом, — и он показал на камыши, на озеро. — Крыша моя — голубое небо. Стены — эти горы, а ущелье это — мое окно.

И Пак подвел ее к ущелью, в котором, как в панораме, все в ковровых уборах, уходило вдаль все горы Кореи.

— Дом хорош, — сказала жена, — но, когда идет дождь, твоя крыша протекает?

— Так, — ответил Пак, — но, когда он проходит, платье мое просыхает, и я греюсь у огня великого солнца!

— Дом хорош, — повторила молодая жена, — но не совсем.

Разговаривая таким образом, они заснули прямо на поляне, а на другой день Пак, счастливый, проснулся в большой, богатой фанзе. Он встал и вышел на двор и здесь увидел, что фанза его покрыта черепицей; большой двор с постройками; амбар, полный чумизой и рисом, а под навесом стоял огромный корейский бык и лениво жевал кукурузные зерна.

— Это тебе мой свадебный подарок! — сказала жена и на всякий случай спросила: — Не отдашь ли мне теперь мою белую юбку?

— Нет, нет, моя милая жена, — ответил он, — не отдам.

И стали они жить весело и счастливо.

Прошло несколько лет. У них уже было двое сыновей, когда однажды жена Пака опять попросила мужа вернуть ей юбку. И Пак согласился, рассуждая, что жена его любит и, наконец, куда же она уйдет теперь от своих детей? И он отдал ей ее юбку. Но, проснувшись

на другой день, он увидел только свое озеро! Жена, дети, дом с постройками, всегда полный амбар с хлебом — все это исчезло, как сон. Огорченный Пак вскричал тогда:

— Буду я после этого верить женщинам!

Но это было, конечно, слабое утешение. К его счастью, он тут же вспомнил об олене и громко позвал его, три раза крикнув:

— Олень, зову тебя!

Олень немедля явился перед ним и сказал:

— Лучше было бы для тебя, Пак, если бы ты хорошенько помнил слова мои. Но, так и быть, я помогу тебе. Вот возьми эти три тыквенных зерна, посади их сейчас же, и завтра они вырастут до неба. По ним ты взберешься на небо при условии, если не будешь оглядываться вниз!

Олень исчез, а три зерна на другой день действительно выросли до неба. И Пак полез на небо, но, позабыв опять приказания оленя, посмотрел вниз, и тыквы сразу исчезли, а Пак полетел на землю. Хорошо, что было еще невысоко и он не поломал себе рук и ног. Оставалось одно: опять позвать оленя. Олень явился и на этот раз сердито сказал:

— Однако же ты, Пак, плохо слушаешь приказания! Даю тебе еще три таких же зерна, но помни, это последние, и больше ты меня не увидишь!

Пак посадил опять три тыквенные зерна в землю, а наутро, когда тыквы-деревья опять выросли до неба, Пак полез и вниз больше не оглядывался, пока не добрался до неба.

Взобравшись туда, Пак присел отдохнуть на голубую землю; невдалеке он увидел прекрасную фанзу с обширными пристройками, амбарами, с громадными садами, обнесенными забором. Отдохнув, Пак полез через забор в сад и, к великой радости, увидел там своих двух любимых сыновей. Дети, подбежав к нему, обрадовались, поздоровались и побежали к матери, весело крича ей:

— Отец пришел, отец наш пришел!

Мать не поверила и печально ответила им:

— Как может ваш отец прийти с земли на небо?

Но, увидав мужа, она обрадовалась и сказала:

— Не сердись на меня, ты сам виноват, я любила и люблю тебя по-прежнему, но это была воля отца моего, чтобы я требовала свою

юбку, ты же не должен был давать ее.

В это время вышел из фанзы старик; это и был отец жены Пака.

— Вот мой муж, — сказала дочь отцу и подвела мужа к своему отцу.

Старик не очень обрадовался новому зятю.

— Муж-то муж! — ворчал он, — вот он умудрился взобраться на небо; пусть-ка умудрится на землю слезть! Что говорить, ловкий парень! А все-таки дочь мою тебе не увести так просто отсюда назад, на землю. Должен ты будешь сперва угадать мои две да одну загадку моего старшего зятя, вот когда все мои молодцы вернутся с работы у Оконшанте [19].

А чтобы не терять времени, я начну тебя испытывать; вот я спрячусь, а ты отыщи меня.

— Когда выйдешь во двор, — шепнула жена Паку, — увидишь петуха, который роется в навозной куче, — это и будет отец.

Пак вышел на двор, увидел петуха и говорит ему:

— Что вам за охота, тестюшка, рыться в навозе?

Петух преобразился в отца жены и сказал:

— Ну что ж, на этот раз угадал, как-то в другой раз угадаешь?

— Теперь он будет черным жирным боровом, вот там, за этим амбаром, — прошептала жена Паку.

Пак зашел за амбар и говорит черному борову:

— Что вам за охота, тестюшка, свой собственный амбар подрывать?

В то же мгновение боров превратился опять в тестя.

— Хорошо, и на этот раз угадал ты. Как-то справишься со старшим моим зятем!

Скоро пришли мужья и всех остальных семи дочерей старика, который и предложил старшему задать какую-нибудь загадку Паку.

— А вот я пушу стрелу из лука, — сказал старший зять, — а он, Пак, пусть не дозволит ей упасть ни на небо, ни на землю...

— Ничего, справимся, — шепнула жена мужу.

И, как только старший зять выпустил стрелу, жена Пака в то же мгновение обратилась в кречета и подхватила стрелу. Старший зять, видя это, в свою очередь превратился в орла и пустился за кречетом. Видит кречет, что не спастись ему от орла, выпустил стрелу на землю,

как раз в том месте, где в это время проходил сын одного предводителя дворянства.

— Ну, все равно, — сказал старший зять, превратившийся опять в человека, — стрела моя упала на землю, и жены мы тебе не отдадим!

— Скажи, что не на землю упала стрела, а попала в затылок сына предводителя дворянства, — шепнула жена Паку.

— Ну, в таком случае, — сказал опять старший зять, — по уговору ты должен стрелу передать мне в руки, а потому иди на землю и принеси ее мне.

— Проси у них лошадь, — шепнула жена. — Когда тебе будут давать красивых лошадей, ты проси маленькую, мохнатую, горбатую — уродца-лошадь; она стоит в заднем стойле.

Так Пак и сделал, несмотря на все насмешки и остроты старика и зятьев, что его выбор пал на такого уродца-коня, никому ненужного. А конь-то этот и был конь удивительный: как только Пак сел на него, сейчас же конь спустился легко и спокойно с неба, прямо к дому предводителя дворянства. Там, по случаю смерти сына, все были в глубоком трауре и громко плакали.

— В чем дело? — спросил плачущих Пак.

— Да вот был у нас сынок живой, веселый и здоровый, а вот только что перед тобой упал и лежит мертвый!

Никто из родных не заметил стрелы, потому что она была очень тонка и вся ушла в тело молодого дворянина.

— Ну хорошо, — сказал Пак, — ваш сын не умер, я оживлю его, но для этого уйдите все и оставьте меня одного с ним.

Оставшись, он осторожно вытащил тонкую стрелу, — и покойник тотчас же ожил. Поднялась в доме радость и веселье. Пак хотел в тот же день уехать назад на небо, но обрадованные родители не отпускали такого дорогого гостя и три дня пировали с ним. На четвертый день Пак сказал, что ему необходимо ехать; распрощавшись с гостеприимными хозяевами, сел на своего мохнатого коня-уродца и скрылся в облаках.

— Ну, вот твоя стрела, — сказал он старшему зятю.

Делать было нечего, надо было покориться уговору и отпустить Пака с женою на землю. Но все родные стали уговаривать Пака остаться здесь, жить на небе.

— Что тебе делать на земле? — говорили они. — Ни родных, ни друзей у тебя нет там. А здесь, коли останешься с нами, мы пристроим тебя на службу к Оконшанте, и будешь доволен.

Подумал Пак, посоветовался с женою, и порешили они остаться навсегда жить на небе.

В ожидании места Пак ездил пока с женою, которая была на службе у Оконшанте. Они ездили на драконе, и жена его из мраморного флакончика выливала дождь, где он нужен был на земле. Когда они летели над Кореей, Пак, показывая, говорил жене:

— Вот Корея! Это Сеул, а это провинция Пиандо, а вот, смотри, и наше милое озеро! Как оно высохло с тех пор: налей же побольше воды в него из флакона!

Жена исполняла его просьбу, но он просил ее не скупиться. Она лила еще, но Паку все было мало; он отнимал у нее флакон, пока, шутя и играя так, однажды они уронили флакон. Он упал в жерло вулкана, который и потух от того, а в его кратере образовалось озеро Великого Дракона, из которого и потекли с тех пор три реки: Амнока, Туманган и Сунгари. Великий Оконшанте не прогневался на свою любимицу — жену Пака, но он отстранил ее от дела и не дал никакой службы ее мужу.

Он сказал:

— У них довольно и без того дела.

А дело их было — любить друг друга.

Так и до сих пор живут Пак и жена его на небе.

Добродетельная жена

Один человек выкрал себе жену, и ушел он с ней на Амноку рыбачить. И жили на Амноке. Пока муж был здоров, все шло хорошо, потому что они любили друг друга. Другой раз нет рыбы, — ну, покрепче прижмутся друг к другу, чтобы меньше есть хотелось, и уснут. Но простудился раз муж на реке и свалился. Тогда плохо пришлось им: нет рыбы, нет чумизы, нет денег знахаря позвать. Лежит муж и говорит:

— Если б мне теперь рыбки съесть, я бы выздоровел, а без рыбы умру.

Ничего ему не ответила жена и ушла на реку.

Сидела, сидела — нет рыбы.

Тогда она взяла нож, вырезала из своей ноги длинный кусок мяса, пришла домой, изжарила и подала мужу.

— Я никогда не ел такой вкусной рыбы, — сказал муж, — как ты поймала ее?

— Я сидела на берегу и просила небо и морского царя, и рыба выскочила из воды ко мне на берег.

— Ах, — сказал муж, — я уже наполовину ожил, еще бы одну такую рыбку, и совсем бы я выздоровел. Не попросишь ли ты еще одну?

— Попробую, — сказала жена и опять пошла и вырезала себе кусок мяса из второй ноги.

Муж съел и сказал:

— Ну теперь я совсем здоров: никогда я не ел такой вкусной рыбы.

Муж выздоровел, а жена его день ото дня таяла. Муж никак не мог понять, в чем дело, когда однажды увидел у спавшей жены кровь на ногах, посмотрел и увидел страшные раны. Тогда он понял, откуда жена доставала ему рыбу, и от горя болезнь опять возвратилась к нему, и через три дня он умер.

Собрав последние силы, жена продала все, похоронила мужа и осталась одна во всем свете на помеху всем.

Она пошла к реке и бросилась в нее.

Но она не утонула: с неба спустилась в воду радуга, по ней сошел муж ее, подал руку, и оба они, уже здоровые и счастливые, ушли в небо, к великому Оконшанте.

После того в той округе, где жила утопленница, три года был голод, пока один предсказатель не сказал, проходя, жителям:

— Вы до тех пор не избавитесь от голода, пока не поставите в честь утонувшей установленное для добродетельных женщин памятника.

Тогда жители обратились через губернатора к императору и, получив от него разрешение и грамоту, воздвигли установленный по закону памятник в честь добродетельной жены.

С тех пор округа не знает голода, и старик, показывая ребенку на стоящий у горы памятник, говорит:

— Если тебе попадет такая жена, она составит и твое счастье и всех живущих в ее округе.

Отгадчик

Было два товарища: Тори (камень) и Тутеби (жаба).

Это имена, которыми называли их в детстве...

Тутеби был сын знатных родителей, а Тори — сын простых.

Тутеби был способный, а Тори — простак и увалень.

Тутеби часто дразнил Тори, но любил его.

Когда они кончили ученье, Тутеби сказал Тори:

— Ничего, что ты не знатного рода, я помогу тебе сделать карьеру.

Вот что сделал Тутеби:

Когда отец его ушел в гости, он спрятал любимую саблю отца.

Когда отец возвратился и узнал, о пропаже, он чуть не убил сына.

Но сын сказал:

— Не печалься, отец, у меня есть товарищ, который обладает необыкновенным даром угадыванья.

Затем он пошел к Тори и сообщил ему, что он сказал отцу. Не забыл он сообщить и то, где спрятана была сабля.

Когда отец Тутеби позвал Тори, то на вопрос:

— Можешь ли ты угадать, где моя сабля?

Тори ответил:

— Могу.

И показал, где сабля была спрятана.

Отец Тутеби дал ему денег и обещал протекцию.

В это время у китайского императора пропала государственная печать, и китайский император писал корейскому императору, прося его, если у него есть угадчик, прислать немедленно к нему.

Отец Тутеби рассказал тогда корейскому императору про Тори.

— Надо сперва его проэкзаменовать, — сказал император.

Когда Тори привели, император сказал ему, указывая на закрытую шкатулку:

— Ну-ка, угадай, что в этой шкатулке?

— О, Тутеби! — вздохнув, с упреком сказал Тори,-

— Да, Тутеби, — сказал император и показал всем запертую в шкатулке жабу.

— Этот годится, — сказал император и приказал Тори отправляться к китайскому императору.

«Ну, теперь я совсем пропал, — думал дорогой Тори, — и китайский император срубит мне башку. Ай да Тутеби, хорошо ты мне удружил».

Подъезжая к Пекину, Тори сел отдыхать под деревом.

На дереве сидела птичка и пела: «Чи-чу, чи-чу»

И с тех пор только и повторял Тори: «Чи-чу, чи-чу».

Когда его привели к императору, то он так уверен был в своей смерти, что на вопрос: «Где государственная печать», ответил только:

— Чи-чу, чи-чу.

И вдруг один из придворных упал на колени и признался, что это действительно он похитил печать.

Дело в том, что фамилия этого придворного как раз была «Чи-чу».

— Действительно, — сказал император, — ты мастер угадывать, и я оставлю тебя при своем дворе.

Тори вовсе не обрадовался этому, потому что рано или поздно обнаружилось бы его незнание.

Поэтому он стал проситься домой, ссылаясь на то, что там его жена и родные.

— Это до меня не касается, — сказал император.

— Но до меня это касается, — рассердился Тори. — И всему причиной этот мой нос, которым чую я, где что спрятано. Так не хочу же я его!

И Тори одним взмахом отрезал себе нос.

— Ну, теперь я такой же дурак, как и вы все, — сказал он.

Император хотел было его казнить, но передумал и отпустил домой.

Над Тори смеялись. потом, но он считал, что отделаться от китайского императора только носом — это небольшая еще плата за знакомство с ним.

Нен-Мои

Болото фиалок

Жил в Сеуле один государственный оценщик по имени Шо-сын-дуй. Он был очень бедный. Однажды он шел по улице и увидел одного юношу по имени Ни-тонон, который кричал:

— Торади, торади (салатный корень)! Одна кеша за пучок!

Шо-сын-дуй, как оценщик, узнал сейчас, что это не торади, а драгоценный жень-шень.

— Я покупаю у тебя всю корзину, неси за мной.

Ни-тонон принес в его дом корзину и, так как в ней было сто пуков, то и получил за них сто кеш.

Затем Шо-сын-дуй накормил его обедом и отпустил домой, сказав ему на прощанье:

— Если у тебя есть еще такой корень, приноси, я весь куплю.

— Есть, сколько хочешь, — мы и не садим его, а он задавил весь наш огород.

— Неси весь.

Ни носил ему целый месяц, пока переносил все, и Шо набил этим корнем все свои кладовые.

Распродав корень, Шо выручил тридцать миллионов лан.

Он спросил Ни:

— Из кого состоит твое семейство?

— Мать да я, — отвечал Ни.

— Если хочешь, я отдам за тебя свою дочь.

— Так что ж, — согласился Ни, — отдавай.

Ни с матерью поселились у Шо и сыграли свадьбу. Но Ни был очень прост, и молодая жена обижалась на него.

— Люди твоего возраста играют в кости, ухаживают за танцовщицами, а ты, как мешок, все сидишь дома.

И тесть сказал ему:

— Да, это верно: ты пошел бы повеселился. Вот тебе сто лан (что составляет десять тысяч кеш).

Ни пошел в город, обошел его весь и возвратился, истратив всего две кеши, которые заплатил за две съеденные чашки лапши.

Жена была в отчаянии, что ей попался такой муж, который не может истратить больше двух кеш.

Но постепенно Ни привык. Он уже тратил по тысяче лан в один вечер.

Тогда тесть сказал ему:

— Ты уже истратил десять тысяч лан. Теперь поезжай в Китай, купи там китайского шелку, и мы сделаем хорошее дело.

И тесть дал ему на покупку десять миллионов лан. Ни взял деньги, поехал в Китай и отдал деньги первой попавшейся танцовщице.

Затем с пустыми руками возвратился домой.

— Что ты сделал, мой сын?

— Отдал деньги танцовщице, но если ты дашь мне еще десять миллионов лан, я куплю шелк.

Тесть дал ему.

Ни уехал в Китай и опять отдал деньги той же танцовщице.

Возвратившись домой, он сказал:

— Деньги я опять отдал танцовщице, но если ты теперь дашь мне десять миллионов лан, я куплю шелку.

У Шо денег не было больше. Он взял тайно из государственной казны десять миллионов и отдал их зятю.

Ни уехал и опять передал деньги той же танцовщице.

— Ну, — сказал он ей, — теперь прощай, больше не увидимся.

— Ты мне делал такие щедрые подарки, — сказала ему танцовщица, — что и я хотела бы подарить тебе что-нибудь на память.

Она открыла все свои драгоценности и сказала:

— Выбирай.

В углу сундука лежал простой синий камень, величиной с кулак, с четырьмя дырочками: одна побольше, три поменьше.

— Да вот этот камень и дай, — сказал Ни.

— Твое счастье, — ты выбрал самую ценную вещь мою. Вот видишь надпись на камне: «Тинан»? Стоит только сказать это слово, и все, что ты ни пожелал бы, исполнится.

Ни поблагодарил, взял камень и пошел домой.

Когда Ни близко подходил к своему дому, он встретил веселую компанию мужчин и танцовщиц, которые и угостили его.

В ответ и Ни захотел угостить их. Он ударил по камню, и из камня вышла девушка Тинан, и Ни сказал:

— Я хочу, чтоб на этом месте вырос дворец и в нем было бы прекрасное угощение.

Тинан ушла в камень, а вместо нее вышли три старика с тыквами.

Ударил один старик в тыкву, и вырос великолепный дворец. Другой ударил, и появилось все хозяйство и рабы. Третий ударил, и появилось всевозможное угощение.

Начался пир и продолжался три дня, пока один приятель Ни, проходивший мимо, не сказал ему:

— Из-за тебя твой тесть сидит в тюрьме.

— А за что он сидит в тюрьме?

— Сидит за то, что позаимствовал из государственной казны десять миллионов лан и не уплатил. Теперь же, с процентами, составилось уже тридцать миллионов лан.

Тогда Ни оставил пиршество, приказал Тинан убрать все назад и пошел в Сеул.

Дома его встретила голодная и оборванная жена. Так как за домом некому было смотреть, то дом весь развалился.

— Ты привез шелк?

— Ничего я не привез, а деньги отдал танцовщице.

— Бедный отец погибнет в тюрьме.

— Не надо было меня учить тратить деньги. Лучше будем есть, — сказал муж.

— У меня ничего нет, — ответила жена.

Тогда он пошел в тюрьму, к тестю.

— Купил шелк?

— Нет, я отдал деньги танцовщице. Дом твой развалился, и теперь нам нечего есть.

— Да, я твой должник, — сказал тесть, — вот возьми мое платье, продай и купи себе пищу.

— Ты лучше скажи, куда деньги внести за тебя и сколько?

— Откуда у тебя деньги?

Ни рассказал тогда.

Деньги Ни внес, и тестя освободили.

На месте же их дома вырос целый дворец, где каждый день оделяли бедных деньгами и хлебом.

Тогда в городе стали говорить, что Ни и его тесть, наверно, кого-нибудь обокрали, иначе откуда появились бы у них такие богатства.

Молва эта дошла до императора.

— Может, он и не украл, — сказал императору первый министр, — но человек с таким богатством, да еще мотающий деньги на бедных, опасный для государства человек, и лучше весь его род уничтожить.

Император не спорил, и стража отправилась забирать в тюрьму Ни, его тестя и его жену.

Но, когда окружили дворец, Ни вызвал Тинан и приказал ей унести и дворец и их всех куда-нибудь подальше от таких мест, где сильным или умным людям рубят головы за то, что они помогают бедным.

Тинан ушла в камень, а из камня вышли три старика.

Первый ударил в тыкву, и дворец приподнялся на воздух, второй ударил, и дворец поднялся до облаков. Третий ударил в свою тыкву, и дворец скрылся из глаз.

Выбрал ли Ни на земле место для своего дворца и, выбрав, уже устроился там, или, может быть, так и остался на небе — этого никто не знает. На том же месте, где был его дворец, теперь — болото. На этом болоте весной цветут фиалки, и называется это болото Нен-мой — болото фиалок.

Чаюги

При императоре Сук-цон-тавани жил один бедняк Ким-ходури. Он занимался тем, что рубил дрова и продавал их.

В день он рубил три вязанки, — две продавал, а одну вязанку сжигал сам.

Но вот, с некоторого времени, стала пропадать одна вязанка дров. С вечера нарубит три вязанки дров, а наутро их оставалось только две.

Думал бедняк, думал и решил рубить по четыре вязанки.

Тогда четвертая стала пропадать.

— Ну, хорошо, — сказал себе бедняк, — вора я все-таки поймаю.

Когда пришла ночь, он залез в четвертую нарубленную вязанку и ждал. Среди ночи вязанка вместе с бедняком поднялась и полетела прямо на небо.

Пришли слуги Оконшанте, развязали вязанку и нашли там Кима-ходури.

Когда его привели к Оконшанте, тот спросил его, как он попал на небо. Ким-ходури рассказал как и жаловался на свою судьбу.

Тогда принесли книги, в которых записаны все живущие и их судьбы, и сказал Оконшанте:

— Да, ты действительно Ким-ходури, и не суждено тебе есть чумизу, но всегда хлебать только пустую похлебку.

Заплакал Ким и стал просить себе другой судьбы. Он так плакал, что всем небожителям и самому Оконшанте стало жаль его.

— Я ничем в твоей судьбе не могу помочь тебе, — сказал он, — но разве вот что я могу сделать: возьми чужое чье-нибудь счастье и, пока тот не придет к тебе, пользуйся им.

Оконшанте порылся в книгах и сказал:

— Ну, вот возьми хоть счастье Чапоги.

Поблагодарил Ким, и в ту же минуту служители Оконшанте спустили его на землю в то место, где стояла его фанза.

Ким лег спать, а на другой день пошел к богатому соседу и попросил у него сто лан займы и десять мер чумизы.

Прежде Киму и зерна никто не поверил бы в долг, но теперь счастье Кима переменилось, и сосед без всяких разговоров дал ему

просимое. На эти деньги Ким занялся торговлей и скоро так разбогател, что стал первым богачом в Корее.

Все ему завидовали, но Ким один знал, что счастье это не его, а Чапоги. И он с трепетом каждый день и каждую ночь ждал, что придет какой-то страшный Чапоги и сразу отнимет все его счастье.

— Я убью его, — сказал себе Ким, — и приготовил нож, меч и стрелы, напитанные ядом.

Однажды мимо дворца Кима шли двое нищих: муж и жена.

Во дворе дворца стояла телега, и муж и жена спрятались под нее от солнечных лучей.

Там, под телегой, пришло время родить бедной женщине, и рожденного мальчика назвали они Чапоги, что значит найденный под телегой.

— Кто там кричит так громко под телегой? — спросил Ким, выходя во двор.

— Это Чапоги кричит, — ответили ему слуги.

Ким так и прирос к земле.

«Так вот откуда пришла расплата: не страшный человек, а маленький, беззащитный, голый от нищеты ребенок, — подумал Ким. — Нет, его не убивать надо, а лучше вот что я сделаю: я усыновлю этого Чапоги и, как его отец, буду и вперед продолжать жить на счастье своего сына».

Так Ким и сделал, и если не умер, то и до сих пор живет счастливо и богато, как отец рожденного под телегой.

Знаем!

Жили себе муж и жена, хорошие люди, но только никогда никого до конца не дослушивали и всегда кричали:

— Знаем, знаем!

Раз приходит к ним один человек и приносит халат.

— Если надеть его и застегнуть на одну пуговицу, — сказал человек, — то поднимешься на один аршин от земли, на две пуговицы — до полунеба улетишь, на три — совсем в небо улетишь.

Муж, вместо того чтобы спросить, как же назад возвратиться, закричал:

— Знаем!

Надел на себя халат, застегнул сразу на все пуговицы и полетел в небо.

А жена его бежала и кричала: «Смотрите! смотрите: мой муж летит!» Так бежала она, пока не упала в пропасть, которой не видела, потому что смотрела все в небо. На дне пропасти протекала река. Говорят, он превратился в орла, а она в рыбку.

И это, конечно, еще очень хорошо для таких разинь, как они.

Два патриота

Жили-были на свете два предсказателя: кореец То-шен и китаец Цхо-ирен.

— Надо посмотреть, что делает мой собрат, — сказал корейский предсказатель и пошел на китайскую сторону.

Шел, шел и видит, стоит гора, на горе костер горит, и китаец разрывает чью-то могилу.

— Зачем ты разрываешь могилу? — спросил кореец.

— А ты сперва поздоровался бы, корейский предсказатель.

— Откуда ты знаешь, кто я?

— Хорошему предсказателю следовало бы все знать, — ответил китаец.

Понял корейский предсказатель, что перед ним китайский предсказатель, и, ничего не сказав, присел, закурил трубку и стал смотреть, что из всего этого выйдет.

Вырыв могилу, китаец вытащил из нее наполовину сформировавшихся двух драконов и бросил их в огонь.

Затем, закурив трубку, присел возле корейского предсказателя и сказал:

— Теперь видел, зачем я рыл могилу? Если бы эти драконы сформировались и улетели в небо, то большой вред был бы от того китайскому государству.

— Да, ты ученее меня, и я хотел бы у тебя поучиться, — сказал кореец.

Китаец согласился учить его и повел своего ученика по горам, объясняя счастье каждой. Так дошли они до реки Амноки, пятнадцать верст выше города Виве-на. Река Амнока, как известно, граничит Китай и Корею.

— Вот видишь здесь, на китайском берегу, эту гору. Она называется Цари-сачи. Она похожа на сосуд цари, в котором мы едим лапшу. Теперь посмотри на корейскую сторону: та гора не напоминает ли тебе чего-нибудь?

— Она похожа на гири-тан, сосуд, в котором мы выпариваем наш хлеб.

— Гора та так и называется. Одна гора без другой бессильны, но вместе нет счастливее этих гор на свете. Тот род, который похоронил бы здесь своих предков, имел бы счастье, какого еще не имел ни один, рожденный землею. Но все несчастье в том, что горы эти принадлежат разным государствам, и, пока так будет, от этих гор никакому государству толку не будет.

И, оказав это, китайский предсказатель заплакал от огорчения.

Утерев слезы, он продолжал:

— Здесь мы с тобой расстанемся. Я не желаю зла ни тебе, ни твоей стране, и ты сейчас увидишь это, потому что я тебе скажу секрет, как сделать, чтобы страна твоя процветала. Вот он: в вашей провинции Ханхади есть гора Пян-сан. Если на вершине ее поставить три камня и перекрыть их плитой, то великое благоденствие будет для страны.

То-шен поблагодарил товарища, простился с ним и возвратился домой.

Сейчас же он пошел и поставил на Пян-сане три камня и перекрыл их плитой.

Но прошло три года, и оказалось, что Цхо-ирен коварно обманул товарища. За все три года во всей Корее не родилось ни одного ребенка.

— Ну, хорошо же, — сказал То-шен, — и я же удружу твоей стране.

То-шен отправился для этого на Пектусан, из озера которого Танхаги вытекает китайская река Хын-нен-ган. У истоков этой реки То-шен устроил ца-он-хим, что значит самоработакйца толчая.

Результатом этого было то, что в последующие три года и у китайских женщин не родилось ни одного ребенка.

Тогда Цхо-ирен пришел к богдыхану и, рассказав ему все, сказал:

— Думаю, что это происки корейского предсказателя.

Китайский император приказал немедленно вытребовать То-шена в Пекин.

Когда То-шен приехал, его встретили очень ласково, а Цхо-ирен просил у него прощения.

— Мириться, так мириться, — сказал То-шен, и он рассказал, что он устроил против счастья Китая.

Послали на Пектусан, разрушили толчею, и в ту же минуту все китайские женщины родили.

— Ну, теперь, — сказал китайский император, — рубите скорее обоим предсказателям головы.

То-шenu и Цхо-ирену отрубили головы и издали закон, чтобы и впредь всякому, кто будет заниматься делами своей родины, рубить голову.

С тех пор, правда, и китайские и корейские женщины рожают исправно, но дела обоих государств идут все хуже и хуже.

Небесная подруга

Был один благочестивый сын, который так ухаживал за своими родителями, что у него не было даже времени жениться.

И отца и мать на старости лет разбил паралич, и так как они были бедные, то, усадив их в ручную тележку, сын возил их, прося для них милостыню.

Так прошла вся его молодость, и, когда старшей умерли, он и сам уже был немолодым человеком.

Чтобы похоронить родителей с почетом, сын продался на десять лет в рабство и, получив все деньги вперед, истратил их на пышные похороны, а затем отправился в город, где жил его новый господин.

По дороге он встретил женщину невиданной красоты.

Женщина остановила его, сказала, что боится идти одна, и попросила проводить ее.

Дорогой она так обворожила его, что он полюбил ее, как только мог.

Когда пришло время разлуки, женщина спросила его, отчего он такой грустный?

Тогда он сказал:

— Судьба разлучает меня со всеми, кого я люблю. Родители, которых так любил я, ушли в небо, теперь ты уходишь от меня.

— Если хочешь, я останусь с тобой.

— Как могу я хотеть этого? Ты молодая, невиданная красавица, а моя жизнь уже позади меня.

— Любовь возвратит тебе молодость, — сказала женщина.

— Но не возвратит мне свободы, — я раб.

— Что ж, и я пойду с тобой в рабство.

Когда он привел ее к своему господину, тот спросил женщину, что она может делать?

— Я могу ткать шелковое полотно.

— Сколько аршин в год ты можешь ткать?

— Я могу в год ткать триста кусков.

— В каждом куске сорок аршин, — триста кусков обыкновенная женщина, если бы она, не разгибая спины, могла ткать двести лет, и то

не выткала бы того, что ты хочешь соткать в месяц.

— Я сказала, — ответила ему женщина.

— Если ты выполнишь сказанное, то, по совести, я через год и тебе и мужу твоему возвращу свободу.

Мужа заставили месить глину для черепицы, а жену посадили ткать шелк. Работа мужа была утомительная, и, когда приходила ночь, он не мог пошевелить пальцами. Но приходила жена, всегда веселая, и ободряла его.

Прошел год, и женщина принесла господину триста кусков шелкового полотна.

— Вы оба свободны, — сказал господин.

Когда муж и жена вышли за город, муж был так изнурен, что не мог идти; он сел и сказал жене:

— Чем больше я смотрю на тебя, тем больше убеждаюсь, что ты особенный человек, — такой красоты, такой доброты, ума, силы и преданности не может быть у обыкновенного человека, и ты любишь меня, жалкого умирающего раба?

— Да, ты не ошибся, и теперь я открою тебе всю правду. Я жительница неба и служу всемогущему Оконшанте. Я создана из лучших качеств твоей души. Время пришло, и, если хочешь, дай твою руку, и мы поднимемся с тобой на небо, к великому Оконшанте, к твоим родителям. Там возвратится твоя молодость, и, счастливый, ты забудешь со мной все горести земли.

— О да, я хочу!

И он протянул ей руку и вместе с ней навсегда исчез в голубых лучах неба.

Благородный муж

Ким-бо-реми был женат на молодой красивой женщине Чон-си.

Ким-бо-реми часто отлучался и оставлял жену одну.

Один школьник, сын министра Ни-сын-тая, влюбился в Чон-си.

С помощью одной старушки, которой он хорошо платил, он объяснился молодой женщине в любви и просил у нее свидания.

Но Чон-си отказала.

Тогда молодой повеса лег в постель, и старушка сказала Чон-си, что он умирает от любви к ней и умрет совсем, если она не разрешит ему прийти к ней.

Тогда Чон-си разрешила, и повеса стал ходить в ее дом, а брат мужа Чон-си послал короткое письмо ее мужу: «Приезжай: несчастье».

Когда Ким приехал, брат встретил его, рассказал все, и они пошли к дому Кима.

Оставив брата за забором, Ким перелез в дом, посмотрел в дверь жены и, возвратившись, сказал:

— Ты ошибся, — она одна и спит.

Затем, попрощавшись с братом, Ким сделал вид, что уехал назад по делам.

Но, когда брат ушел, он возвратился, потому что повеса был в комнате его жены.

И он и жена Кима уже спали. На столике стояла еще суля, которой жена угощала своего любовника.

Ким осторожно разбудил молодого повесу. Когда тот проснулся, Ким оказал:

— Ты видишь, я мог бы убить тебя. Но ты молод и по своим способностям обещаешь многое. Вот суля, выпьем.

Когда юноша выпил, муж спросил:

— Любишь ли ты так мою жену, чтобы взять ее себе в жены? Если любишь, я дам развод, женись.

— Она мне не пара, — сказал юноша.

— Тогда выпей еще, — сказал муж, — и уходи, и больше никогда к ней не приходи, потому что я так люблю ее, что, как видишь, взял ее

себе в жены.

Юноша выпил, обещал больше не приходить и сдержал свое слово.

Когда юноша ушел, вышел и Ким, не разбудив своей жены.

Он сел на лошадь и уехал по своим делам.

Он месяц не возвращался, а возвратившись, застал жену счастливую его прибытием.

Он нежно обнял ее и никогда не дал ей понять, что знает ее тайну.

Охотники на тигров

В провинции Хан-зондо, в городе Кильчу, лет двадцать назад существовало общество охотников на тигров. Членами общества были все очень богатые люди. Один бедный молодой человек напрасно старался проникнуть в это общество и стать его членом.

— Куда ты лезешь? — сказал ему председатель, — разве ты не знаешь, что бедный человек не человек: ступай прочь.

Но тем не менее этот молодой человек, отказывая себе во всем, изготовил себе такое же прекрасное стальное копье, а может быть, и лучше, какое было у всех других охотников.

И когда они однажды отправились в горы на охоту за тиграми, пошел и он.

На привале у оврага он подошел к ним и еще раз попросил их принять его.

Но они весело проводили свое время, и им нечего было делать с бедным человеком; они опять, насмеявшись, прогнали его.

— Ну, тогда, — оказал молодой человек, — вы себе пейте здесь и веселитесь, а я один пойду.

— Иди, сумасшедший, — сказали ему, — если хочешь быть разорванным тиграми.

— Смерть от тигра лучше, чем обида от вас.

И он ушел в лес. Когда забрался он в чащу, он увидел громадного полосатого тигра. Тигр, как кошка, играл с ним: то прыгал ближе к нему, то отпрыгивал дальше, ложился и, смотря на него, весело качал из стороны в сторону своим громадным хвостом.

Все это продолжалось до тех пор, пока охотник, по обычаю, не крикнул презрительно тигру:

— Да цхан подара (принимай мое копье)!

И в то же мгновение тигр бросился на охотника и, встретив копье, зажал его в зубах. Но тут, с нечеловеческой силой, охотник просунул копье ему в горло, и тигр упал мертвый на землю.

Это была тигрица, и тигр, ее муж, уже мчался на помощь к ней.

Ему не надо было уже кричать «принимай копье», он сам страшным прыжком, лишь только увидел охотника, бросился на него.

Охотник и этому успел подставить свое копьё и в свою очередь всадил ему его в горло.

Двух мертвых тигров он стащил в кусты, а на дороге оставил их хвосты.

А затем возвратился к пировавшим охотникам.

— Ну, что? Много набил тигров?

— Я нашел двух, но не мог с ними справиться и пришел просить вашей помощи.

— Это другое дело: веди и показывай.

Они бросили пиршество и пошли за охотником. Дорогой они смеялись над ним:

— Что, не захотелось умирать, за нами пришел...

— Идите тише, — приказал бедный охотник, — тигры близко.

Они должны были замолчать. Теперь он уже был старший между ними.

— Вот тигры, — показал на хвосты тигров охотник.

Тогда все выстроились и крикнули: «Принимай мое копьё!»

Но мертвые тигры не двигались. Тогда бедный охотник сказал:

— Они уже приняли одно копьё, и теперь их надо только дотащить до города: возьмите их себе и тащите.

Законные и незаконные дети

Прежде и в Корее были законные и незаконные дети, но вот с каких пор все дети стали законными.

У одного министра не было законного сына, и согласно обычаю он должен был усыновить кого-нибудь из своего законного рода, чтобы передать ему свои права и имущество.

Выбор его пал на племянника.

В назначенный день, когда собрались для этой церемонии в доме министра все знаменитые люди и прибыл сам император, вышел к гостям незаконный десятилетний сын хозяина, держа в руках много заостренных палочек.

Каждому из гостей он дал по такой палочке и сказал:

— Выколите мне глаза, если я не сын моего отца.

— Ты сын.

— Тогда выколите мне глаза, если мой двоюродный брат сын моего отца.

— Но он не сын.

— Тогда за что же вы лишаете меня, сына моего отца, моих прав?

— Таков закон, — ответили ему, — и по закону ты незаконный.

— А может быть, не я, а закон незаконный?

— А все может быть.

— Кто пишет законы? — спросил мальчик.

— Люди, — ответили ему.

— Вы люди? — спросил мальчик.

— Мы? — гости посоветовались между собой и ответили: — Люди.

— От вас, значит, — сказал мальчик, — зависит переменить неправильный закон.

Тогда император сказал:

— А ведь мальчик не так глуп, как кажется, и почему бы действительно нам и не переменить несправедливый закон?

И закон переменили, и с тех пор в Корее нет больше незаконных детей.

Еще добродетельная женщина

Во дворце императора с незапамятных времен стоит каменный стол. И вот однажды на этот стол, прямо с неба, упала каменная рюмка. Но когда император хотел ее взять со стола, то не смог этого сделать. Он позвал своих министров, но и те не могли. Тогда император назначил всем министрам три дня сроку, чтобы решить, в чем тут дело. В противном случае все министры будут казнены.

К счастью, в Сеуле гостил в то время знаменитый предсказатель, который объяснил, в чем дело.

— Взять рюмку может только та женщина, которая всегда была верна своему мужу.

Так и доложили императору, и он приказал вызвать всех женщин, верных своим мужьям.

Некто Юн-цанани, услышав это, страшно обрадовался.

— Вот теперь, — кричал он, бегая по улице, — все убедятся, что единственная честная жена во всем государстве — моя!

Но сестра Юна позвала его и сказала:

— Я кой-что тоже понимаю в предсказаниях и должна тебе сказать, что все это только ловушка. На самом же деле требуется женщина, у которой муж по счету будет девятым, которого она любит.

— Вот как, — сказал разочарованный муж.

И он пошел к своей жене и рассказал ей печальную новость.

— Главное, то обидно, что, говорят, император приготовил очень ценный подарок, и таким образом мы бы сразу разбогатели. Так хорошо все устраивалось, и вдруг, оказывается, требуется женщина, любящая сразу девять человек.

— А бонзы люди? — спросила нерешительно жена.

— Люди, — а что?

— В таком случае утешься, — подарок наш.

— Как? — вскричал муж.

Но в это время вошла его сестра, и он замолчал, чтобы не обнаруживать скандала, а сестра, уведя его, сказала, что, справившись, она убедилась, что ошиблась, и требуется действительно женщина, верная своему мужу.

О том, как муж поступил потом со своей женой, история умалчивает, но факт тот, что с тех пор Юн-цанани, как все благоразумные мужья, молчал о добродетелях своей жены.

А между тем в назначенный день все улицы Сеула, вся площадь были наполнены всеми без исключения замужними женщинами, которые пришли перед небом и людьми доказать свою невинность.

Была и жена Юна, но за теснотой не могла пробиться вперед, а стояла со многими другими в каком-то глухом переулке.

Когда император проснулся и узнал, что собрались все замужние женщины, он был очень доволен процветанием нравственности в государстве.

Однако в назначенный час никто не подходил к столу с рюмкой, и каждая в свою очередь очень любезно уступала более старшей. Таким образом очередь легко могла дойти и до императрицы, а может быть, и до бунта.

Но вдруг показалась пожилая женщина, вся в белом, как полагается носящей траур.

Несмотря на тесноту, она свободно прошла к столу и, присев, подняла руки к небу и сказала:

— Небо, ты свидетель моих слов, — девятнадцати лет я овдовела. Я была верна мужу при его жизни, осталась ему верна и до сих пор.

Затем она поднялась, подошла к столу и взяла в руки рюмку.

Рюмка качнулась, но не отделилась от стола.

Тогда вдова задумалась, опять присела и сказала:

— Действительно: раз в жизни, встретив красивого человека, я с вожделением посмотрела на него.

Затем вдова опять встала, подошла к столу, взяла рюмку, и рюмка отделилась от стола. Вдова получила ценный подарок, но женщины оспаривали, говоря:

— Мы не знали, что вожделение в счет не идет.

Женское любопытство

Там, где Амноку с китайского берега сжали скалы Чайфуна и отвесными стенами спустились в нее с высоты, Амнока, обходя эти горы, делает десять ли вместо одной ли прямой дороги. И вот почему.

Одна женщина подсмотрела, как дракон хвостом прорубал эти скалы, чтобы пропустить Амноку прямой дорогой, и крикнула:

— Смотрите, смотрите, что там делает дракон!

Но при ее крике дракон улетел в небо, а Амнока теперь заставляет пловцов кружиться там, где они могли бы ехать прямо, если бы не праздное любопытство женщины, помешавшей дракону сделать задуманное им доброе дело.

Наказание

Жил-был один искатель мест для счастливых могил.

Семь лет он учился для этого у бонз и, кончив учение, зарабатывал себе на пропитание своим ремеслом.

Умирая, он сказал своему сыну:

— Я не оставляю тебе богатства не потому, что растратил его, а потому, что никогда и не было его у меня. Но самую счастливую гору я не показывал никому и сберег для своего рода; это одна из тех исключительных гор, которая дает потомку зарытого там императорскую корону. Вот что я оставляю своему роду. Когда вступишь на престол, поставь на моей могиле большой памятник, чтобы, пока живы люди, поминали они того, кто положил основание новой династии. Когда я умру, ты должен похоронить меня совершенно голым, затем не забудь высыпать в мою могилу двадцать мер чумизы и жди.

Сказав, где именно находится счастливая гора, искатель счастливых гор умер.

Когда наступило время похорон, все родные и друзья возмутились, когда сын покойного объявил, что хочет похоронить отца голым.

— Разве он нищий был? Да и нищий, имея детей, знает, что хоть в рабство продадутся они, а достанут денег, чтобы одеть и похоронить как следует отца.

Тогда, не одевая отца, — сын только обернул его труп в дорогое шелковое покрывало и так и похоронил его.

Через несколько лет после этого случился голод и чума, и народ стал роптать против царствовавшей династии.

Тогда сын искателя счастливых могил объявил себя императором и вступил с толпой недовольных в Сеул.

Против него выступили сторонники династии, произошло сражение, и царствующая династия, победив, захватила сына искателя счастливых могил в плен.

Когда его подвергли пыткам, он признался, что побудило его домогаться престола.

Послали на могилу его отца, развели, прежде чем открыть могилу, огонь и нашли в могиле уже образовавшегося дракона, которому подняться в небо мешало только шелковое покрывало, обертывавшее его тело. Что до чумизы, то из каждого ее зернышка сделалась голова воина, но несчастное покрывало не допустило их сформироваться вполне и идти на помощь своему повелителю, сыну искателя счастливых могил.

Дракона тут же бросили в костер, а головы воинов побили камнями. Сына же искателя счастливых могил казнили как мятежника и бунтовщика против существующей династии.

Ловкий стрелок

Один молодой человек, прожив все, что оставил ему отец, решил идти в Сеул, попытать счастья на службе.

Перед уходом он помолился на могиле предков и пошел к предсказателю.

— Ты должен, — сказал предсказатель, — если хочешь получить хорошее место, придя в Сеул, носить самую вонючую грязь.

Придя в Сеул, молодой человек, ленивый ко всякой работе, на этот раз исполнил в точности приказание предсказателя.

Но из этого ничего, однако, не вышло.

Тогда с горя, подражая местным франтам, он нарядился и купил себе лук, хоть и не умел стрелять.

Накинув лук на плечи, он, как настоящий охотник, отправился за городские ворота стрелять.

Встретив за городом человека, несшего лебедя, он за сто кеш купил этого лебедя, проткнул ему глаз стрелой и с этим лебедем пошел назад в город.

Когда он проходил мимо дома одного министра, министр этот позвал его и спросил, как это случилось, что стрела попала прямо в глаз.

— Я всегда стреляю только в глаз, — ответил молодой шалопай.

Министр спросил его неспроста: над домом министра поселился филин, а, как известно, соседство такой птицы никогда не бывает к добру.

И вот министр спал и видел, как бы убить филина.

Как раз так случилось, что в это время все три его сына, отличные стрелки, как это и подобает людям высшего света, были в далекой отлучке.

Кроме сыновей, у министра была еще невеста-дочь.

Министр стал расспрашивать молодого человека, из какого он роду, и когда молодой человек сказал, то оказалось, что род его в свое время был в славе в Корее, а с отцом молодого человека министр был даже товарищем.

— Тогда я буду говорить с вами откровенно, — сказал министр, — убейте филина и берите за себя мою дочь.

— Жаль, что вы просто не попросили меня подстрелить этого негодного филина, а теперь от счастья жениться на вашей дочери я так взволнован, что боюсь промахнуться и не попасть в глаз. А между тем если я не попаду именно в глаз, это будет такой позор, которого я не переживу, потому что однажды сгоряча, — горячность мое большое несчастье, — я дал клятву иначе, как в глаз, не стрелять.

Пока министр сожалел, что так поторопился, молодой человек придумал выход.

— Я думаю, — сказал он, — самое лучшее так устроить. Считайте вашего филина убитым, — мы сыграем свадьбу, и, когда я немного успокоюсь от счастья, я не замедлю убить его на самом деле.

Министр вдвойне обрадовался, как тому, что зять у него будет прекрасный, лучший в городе стрелок, так и тому, что он такой находчивый молодой человек.

Желая все-таки поскорее отделаться от страшного филина, министр поспешил со свадьбой, и, когда прошел медовый месяц молодых, стал приставать к зятю относительно филина.

Зять придумывал тысячи отговорок, но, наконец, тесть настоятельно потребовал исполнения обещания и назначил срок до утра следующего дня.

Спрашивает дочь министра у своего мужа:

— Отчего ты такой грустный?

Подумал молодой человек, подумал и признался жене, что он вовсе не охотник.

Тогда жена посоветовала ему поступить так: окупить клею, сварить его и, вымазавшись им, залезть ночью на крышу. Филин прилетит, выберет его, как самое высокое место на крыше, присядет и приклеится ногами и перьями своими.

Так и поступил молодой человек, поймал филина, а наутро принес его с проколотым стрелой глазом к тестю.

Тесть страшно обрадовался и рассказал всему городу, какой его зять стрелок.

Поэтому, когда пришел годовой день стрельбы в цель, когда лучшие стрелки получают похвальные листы от самого императора и

называются «дишандари», весь город пошел смотреть, как отличится зять министра.

И сыновья министра, лучшие стрелки, к этому времени приехали в Сеул.

— Что вы? — говорил им отец. — Вот посмотрите, как он стреляет.

— Что ж я теперь буду делать? — сказал муж жене.

— Вот что надо делать: скажи, что ты дал клятву стрелять только в глаза птиц или зверей. А если, на твое несчастье, подвернется какая-нибудь птица, я пошлю тогда, когда ты натянешь лук, подтолкнуть тебя, как бы нечаянно, а ты рассердись и дай клятву, что после этого, пока живешь, стрелять не будешь.

Так и сделал на другой день знаменитый охотник: сказал, что иначе, как в глаз, не стреляет, и отказался на этом основании стрелять в цель.

Но когда в небе показался вдруг лебедь, то уже нельзя было не стрелять.

В то мгновение, однако, как он натянул свой лук, раба его жены, проходя, толкнула его.

Тогда молодой человек притворился взбешенным, упрекал тестя в том, что он распустил своих слуг, и в бешенстве, изломав лук, дал тут же страшную клятву никогда больше не прикасаться к луку.

Но стрела тем не менее попала в лебедя, и, когда его принесли, все увидели, пораженные, что она торчала в глазу убитого лебедя.

Молодому человеку дали первую награду и объявили первым стрелком всего государства.

Это помогло ему сделать карьеру, и впоследствии и он был таким же министром, как и его тесть.

Конфуций

Однажды Конфуций, с тремя тысячами учеников своих, проходил по одной долине, посреди которой росло фруктовое, все в фруктах дерево, а по обеим сторонам дерева сидело по женщине и ели фрукты с дерева.

Сидевшая на западной стороне была красива, белая с лица и стройна, сидевшая с восточной стороны была желта и не так красива.

— Вот действительно красивая женщина, — сказал Конфуций, указывая на женщину с западной стороны.

— Но, когда тебе придется в шиповенный бус с девяносто отверстиями продеть нитку, ты вспомнишь не о западной, а о восточной женщине.

— Она не красива, — сказал Конфуций, — и, кажется, к тому же тронутая умом.

Когда Конфуций пришел ко двору богдыхана, тот, передавая ему колючую бусу с девяносто отверстиями, сказал:

— Если ты действительно мудр, вдень так нитку, чтоб прошла она через все эти девяносто маленьких дырочек.

Тогда Конфуций вспомнил о женщине, сидевшей с восточной стороны, и пошел к ней.

Он нашел ее под тем же деревом, тогда как женщины Запада больше не было.

— Я действительно пришел к тебе просить помощи.

Тогда женщина взяла бусу, обмакнула ее в мед, затем взяла маленького муравья, привязала к нему тонкую шелковую ниточку и оставила муравья и бусу. Муравей стал есть мед и, вползая в дырочки, тащил за собой нитку, пока не прошел таким образом все девяносто отверстий.

Конфуций удивился мудрости женщины и ее проницательности.

— Ты угадала, о чем спросит меня богдыхан, ты разрешила такую трудную задачу: кто ты? где ты училась?

— Я нигде не училась, а знаю все, потому что я служительница неба и послана к тебе, потому что небо желает, чтобы его избранник,

Конфуций, ответил бы на все вопросы, которые во все времена могут задавать друг другу люди.

И, сказав, женщина на глазах Конфуция поднялась в небо.

А Конфуций упал на землю и так пролежал всю ночь. И он думал. И то, что он. передумал в эту ночь, на то обыкновенный смертный должен употребить тысячу жизней.

Династия Ли

Пятьсот лет тому назад на корейский престол вступила и ныне царствует династия Ли.

Вот как это случилось.

В провинции Ха-нюн, в округе Коигн жило два рода: Ли и Пак. Ли в деревне Сорбои, Пак — в деревне Намбои.

И Пак и Ли были богатыри.

Богатырем называется человек, рожденный от женщины и священной горы: Мен-сан-соргис

Луч (сорги) священной горы проникает в женщину, и через двенадцать месяцев рождается богатырь, который немедленно после рождения улетает, потому что он рождается с крыльями. Следов этого рождения не остается никаких. Родители богатыря должны в строгой тайне сохранять рождение богатыря, иначе он не явится к ним с священной горы, где живет и упражняется в искусстве битвы, в минуту опасности или во время войны.

Маленький богатырь прилетает невидимкой и кормится грудью матери. Но мать не знает, когда именно он выпивает ее молоко.

Одна глупая мать из города Тан-чен, когда у нее родился богатырь, прежде чем улетел он, обрезала ему — крылья. Сын вырос, из него вышел невиданный силач, он подымал вола с его ношей, но он был и глуп, как его вол, тогда как небо приготавлило ему славную судьбу богатыря.

Таковыми богатырями были Ли и Пак, когда народ выбирал себе новую династию.

Тогда — к богатырю Ли явился во сне покойный его отец и сказал:

— В третью ночь, при луне, на озере Цок-чи-нуп будут драться два дракона, синий и желтый. Ты выпусти стрелу в синего, потому что он отец Пака, а желтый — я.

Так и сделал Ли. Тогда раненый синий дракон бросился в Туманган, а желтый устремился рекой, которая с тех пор и протекает из озера Цок-чи-нуп в Туманган и называется Цок-чи.

Таким образом богатырь Ли одолел Пака и был первым императором из династии Ли.

В деревнях Сорбои и Намбои до сих пор сохраняются памятники двух богатырей. Они стоят под китайскими черепичными павильонами, а в этих павильонах мраморные мавзолеи, на которых рукой самих богатырей написаны, не высекая мрамора, а прямо пальцами, их славные дела.

Вторая легенда о царствующей в Борее династии

Жили на свете когда-то два знаменитые искателя счастливых могил: Ни-хассими и Тен-гами.

Однажды они отправились вместе разыскивать для самих себя счастливую гору.

Они пришли в провинцию Хамгиендо и там, близ Томана, разыскали счастливейшую гору в Корее.

Но они еще точно не определили счастливейшее место на горе для могил и, ничего не решив, легли спать.

Проснувшись на другое утро, они увидели недалеко от себя маленькую водяную птичку, которая выкрикивала: «Симгедон».

Сварив чумизы, они поели и встали, и, как только они встали, вспорхнула и птичка и, крича «симгедон, симгедон», полетела впереди.

Так звала она их, пока не пришли они к одному месту горы, где сидели две совершенно одинаковые старушки и ткали холст.

Как только путники подошли, старушки сейчас же скрылись.

— Это, конечно, и есть счастливейшие места, — сказали искатели.

Оставалось только решить, кому где похоронить своего предка.

Ночью они оба увидели своих предков, которые им сказали:

— Тот, кто похоронит своего предка между местами, где сидели старухи, род того будет царствовать первый, и династия того продержится на престоле четыреста четыре года. А кто зароет пониже своего предка, тот сменит эту династию. Бросьте между собой жребий.

Так и сделали искатели, и первое место досталось Ни-хассими.

Однако в роду Ни-хассими первые четыре поколения после того рождались все уроды: хромые, горбатые, слепые, идиоты, и только в пятом колене родился умный и сильный, от которого родился знаменитый Ни-шонги, основатель и теперь царствующей династии Хон-дзонг-та-уан-ни-си.

Вот при каких обстоятельствах родился он.

Отец его, заподозренный царствовавшим тогда императором, суровым и жестоким, в мятеже, чуть не был казнен и только тем, что укрылся в провинции Хамгиендо, в город Ион-хын, спасся от смерти.

Но и там, не чувствуя себя в безопасности, удалился в ближайшие горы и там жил во владениях некоего Хан-цямбо.

В одну ночь приснилось Хан-цямбою, что прилетел синий дракон и поцеловал его дочь.

Утром Хан-цямбой отправился осматривать свои владения и наткнулся на спящего человека.

Помня сон и увидя, что человек этот не женат, Хан-цямбой отдал за него свою дочь, и через двенадцать месяцев она родила богатыря Ни-шонги.

Как богатырь, Ни-шонги родился бесследно и до двадцати восьми лет рос на святых горах, обучаясь военному ремеслу вместе с двумя названными братьями Пак-хачун и Тун-дуран.

Пак был старший, Ни — второй, а Тун — младший по годам из них.

Когда Ни кончилось двадцать восемь лет, к нему во сне явился дед его и оказал (то, что уже оказано в легенде о Ли и Паке).

После этого все три богатыря отправились в Сеул.

Царствовавший тогда император дошел до предела своей жестокости.

Когда приближенные к нему люди предупреждали его о накопившемся раздражении в народе, он отвечал, что скорее родится лошадь с рогами и у сороки вырастет белый гребешок на голове, чем раздражится корейский народ.

Но через несколько дней прилетела к его дворцу сорока с белым гребешком, а немного погодя у лучшей его лошади родился рогатый жеребенок.

Но император ответил:

— Прежде лопнет этот чугунный столб, чем лопнет терпение моего народа.

Но ночью был небывалый мороз, и наутро лопнувший чугунный столб валялся на земле.

В это же утро подошли три богатыря к столице с войсками, и императорское войско, бросив императора, от которого отвернулось небо, вышло из городских ворот навстречу богатырям.

Оставленный всеми император бежал в горы, где и погиб.

Три же богатыря вошли в столицу, и народ предложил им, по соглашению между собой, занять вакантный трон.

Тогда, как старший, хотел сесть Пак. Но два дракона, образующие сидение трона, приблизились друг к другу, и Пак не мог сесть.

Так продолжалось до трех раз, и народ предложил сесть Ни.

Ни сел, и драконы не двинулись.

Ни сделался императором, а Пак ушел. в провинцию Хамгиендо и скрылся там в монастырь.

Ни, боясь Пака, послал стражу в этот монастырь и приказал:

— Если Пак действительно поступил в монастырь и остригся, то оставьте его, иначе убейте.

Стража пришла в монастырь и нашла Пака остриженным.

Император Ни, пока Пак жил, посылал в этот монастырь каждый год триста дан (в каждой дане пятнадцать мер рису, что составляет около полутора тысяч наших пудов).

После смерти Пака его изображение сделалось священным и до сих пор сохраняется в монастыре Шоханса.

Второй привилегией монастыря было бить розгами всякого корейца, который провинится против монахов этого монастыря.

Монахи этого монастыря и до наших дней пользуются славой самых грубых и дерзких людей.

Легенда о бобре

Происхождение ныне царствующих маньчжурской и корейской династий

В провинции Хон-чион, в округе Хориен, в деревне О-це-ами, жил Цой (предводитель дворянства), и у него была молодая дочь Цой-си (дочь Цоя).

Однажды, проснувшись, она ощупала возле себя какого-то мохнатого зверя, который сейчас же уполз.

Она зажгла лучину, но в комнате никого не оказалось.

Она рассказала об этом родителям, и, после долгого совещания, было принято следующее решение. Если еще раз зверь придет, то она, притворившись спящей, привяжет к его ноге конец клубка длинной шелковой нитки.

Так Цой-си и поступила.

Когда настал день, то ниточка привела отца Цой-си к озеру, которое называется Хан-тон-дзе-дути.

Нитка уходила под воду, и когда отец потянул за нитку, на поверхности всплыл бобер, опять нырнул и больше не появлялся, а нитка оторвалась.

Через десять месяцев Цой-си родила мальчика, цветом кожи до того желтого, что его называли Норачи (рыжий).

Он вырос, был нелюдим и кончил тем, что, женившись, поселился на озере своего отца, потому что бобер и был его отец. Он любил воду и плавал, как и отец его, бобер.

Однажды родоначальник рода Ни-чай (родоначальник теперешней маньчжурской династии), из Когнского округа, деревни Сорбой, увидел во сне, что из озера, где жил бобер, вылетел в небо дракон, а явившийся в это время белый старик сказал ему:

— Это умер бобер. Кто опустится на дно озера, где стоит дворец бобра, и положит кости отца своего в правой комнате от входа, тот будет китайским императором, а чьи кости будут лежать в левой комнате, тот будет корейским.

Проснувшись, Ни-чай вырыл кости своего отца и с Тонгамой (зарыватель костей) и костями отца отправился к озеру Хан-тон-дзе-дути.

Но так как Ни-чай не умел плавать, то он и просил Норачи положить кости его отца во дворце бобра. При этом Ни-чай обманул Норачи.

— Я открою тебе все, — сказал Ни-чай, — там две комнаты: правая и левая. Чьи кости будут лежать в правой, тот будет корейским императором, а чьи в левой — китайским. Положи кости отца своего в левой, а с меня довольно будет и корейской короны.

Так Ни-чай хотел обмануть Норачи. Но Норачи поступил как раз наоборот, а на вопрос Ни-чай, зачем он так сделал, сказал:

— Для твоего же рода лучше так, а мне просто больше понравилась правая комната.

Ни-чай должен был помириться с своей долей и просил Норачи о вечной дружбе между их родами. Норачи согласился.

Прошло еще время, и у Норачи родились один за другим три сына.

Третий, Хан, имел страшное, волосами обросшее лицо, а взгляд такой, что на кого он смотрел, тот падал мертвый.

Поэтому он никогда не выходил из комнаты и всегда сидел с закрытыми глазами.

Ни-чай умер, а сыну его приснился сон, что в колодце, близ озера Хан-тон-дзе-дути лежит китайская императорская сабля. И опять белый старик сказал ему:

— Владелец этой сабли — китайский император.

Поэтому, проснувшись, сын Ни-чая отправился к озеру, нашел там колодезь, а в нем саблю.

Так как все уже называли Хана будущим повелителем Китая, то сын Ни-чая задумал убить его этой саблей.

Пользуясь дружбой отцов, он пришел к Норачи и стал просить его показать ему Хана.

Напрасно Норачи отговаривал его, представляя опасность. Сын Ни-чая настаивал, и в силу дружбы Норачи не мог ему отказать.

Но, когда сын Ни-чая вошел в комнату Хана и тот открыл глаза, хотя и не смотрел ими на гостя, сын Ни-чая так испугался, что положил саблю к ногам Хана и сказал:

— Ты император, тебе и принадлежит эта сабля.

Хан, ничего не ответив, закрыл глаза, а Норачи поспешил вывести своего гостя из комнаты сына.

— Я знаю своего сына, — сказал Норачи, — спасайся скорее. Я дам тебе его лошадь, которая вышла к нему из озера и которая бежит тысячу ли ^[20] в час.

Сын Ни-чая вскочил на эту лошадь и скрылся, когда с саблей в руках вышел из своей комнаты Хан.

— Где тот, кто принес эту саблю? — спросил он отца.

— Он уехал.

— Надо догнать его и убить, чтобы преждевременным оглашением не испортил он дело.

Хан хотел сесть на свою лошадь, но оказалось, что на ней-то и исчез гость.

— Тогда нельзя медлить ни минуты!

И, собрав своих маньчжур, Хан двинулся на Пекин. Он и был первым императором из маньчжуров. Он настроил множество крепостей, и камни для них из моря подавал Натхо, тот самый Натхо, который выбросил камни для знаменитой китайской стены. А когда спросили, кто из моря подает камни, Натхо только на мгновение высунул свою страшную голову из воды.

Художник, бывший здесь, успел все-таки срисовать его, и с тех пор голова Натхо, вместе со священной птицей Хаги (аист), служит украшением входов в храм.

Ловкий человек

Один богатый человек сделал такое объявление через глашатаев:

«Все мое состояние и мою единственную красавицу дочь отдам тому, кто представил бы соответственные доказательства того, что он ловкий человек».

Один молодой охотник явился на вызов.

— Принеси мне в месячный срок сто тигровых шкур, — сказал ему отец девушки.

Молодой охотник отправился на тигровую гору.

— Не ходи туда, — сказали ему люди, — там теперь их царь и с ним тысячи тигров.

— Мне это и надо, — ответил молодой охотник и пошел в гору.

Когда царь тигров, в несколько раз больший, чем обыкновенные тигры, увидел его, он остолбенел от напости этого человека.

— Что же мне с ним сделать? Изорвать его в клочки или прямо живьем проглотить?

— Проглотить его живьем, — посоветовали тигры.

И царь проглотил охотника живьем.

Этого только и желал охотник.

Как только охотник очутился в желудке царя, он, чтобы обезопасить себя, прежде всего связал веревкой выход в кишки. А затем он стал царапать ножом печень царя.

Тогда царь сделался злой и сказал тиграм:

— А мне все равно, на ком ни срывать свой гнев!

И стал убивать тигров.

И каждый тигр кричал: «Пощади».

А охотник считал голоса и, когда насчитал до ста, всадил нож в сердце царя тигров, а затем, распоров его живот, вышел.

Таким образом тесть его получил сто шкур и, убедившись, что молодой человек ловок, выдал за него свою дочь.

Выгодный оборот

Одному молодому человеку нравилась одна вдова, которая, после смерти мужа, три года жила в своей фанзе и никуда не выходила.

Он все думал, как бы ему жениться на ней.

Однажды отец сказал ему:

— Вот тебе тысячу лан: иди и торгуй.

Молодой человек взял тысячу лан, пошел к фанзе вдовы, просунул палец в бумажную дверь и сказал:

— Кто так же пальцем коснется моего пальца, тому я дам тысячу лан.

Вдова подумала, что ничего у нее не убудет, и коснулась его пальца, а молодой человек просунул ей тысячу лан.

Затем он возвратился домой. Отец спросил его?

— Купил что-нибудь?

— Дал только задаток, — надо еще две тысячи лан.

Отец дал ему, а он пошел к молодой вдове, просунул руку по локоть и сказал:

— Кто рукой коснется моей руки до локтя, тому отдам две тысячи лан.

Подумала вдова и коснулась его руки до локтя. Молодой человек отдал ей деньги, а возвратившись, сказал отцу:

— Товару оказалось больше, чем я думал, и надо еще три тысячи лан.

Дал отец, и молодой человек пошел к вдове и, просунув голову в дверь, сказал:

— Кто щекой коснется моей щеки, тому дам три тысячи лан.

Посмотрела вдова на красивое лицо молодого человека и подумала, что от нее не убудет, если она прикоснется.

Прикоснулась и получила три тысячи лан.

А молодой человек, возвратившись к отцу, сказал:

— Еще больше товару, не хватает четырех тысяч лан.

Опять дал отец ему деньги.

Вошел молодой человек в дом вдовы и сказал:

— Кто обнимет меня и поцелует, тому я дам четыре тысячи лан.

Вдова обняла его и поцеловала, а молодой человек отдал ей четыре тысячи лан.

— Вместо денег ты бы лучше тоже меня поцеловал.

— Я не брал с тебя денег.

— Но я целовала тебя, и ты должен меня поцеловать, — я отдам тебе за поцелуй все твои деньги.

— Этого мало.

— Возьми все богатства моего покойного мужа, — их миллионы.

— Мало.

— Чего же ты хочешь?

— Хочу, чтобы ты была моей женой.

— О, какой глупый, чего же я другого хочу?

Тогда сын пришел к отцу и сказал:

— Вот как я торговал: на твои десять тысяч лан заработал миллион и жену.

После этого они сыграли веселую свадьбу, и молодой муж купил себе должность губернатора.

Желтая собака

Один человек, одолев всю книжную премудрость, отправился в Сеул держать экзамен.

Перед этим он зашел к предсказателю и спросил его, на какую должность он выдержит экзамен.

— На первую, — сказал предсказатель, — но думай не о должности, а о своей жизни. Лучше всего тебе было бы перед экзаменами заручиться умной женой, если нельзя женой, то хоть невестой, если и этого нельзя, то попроси у той, которая тебе понравится, хоть что-нибудь на память.

С этим и отправился ученый человек.

По дороге в Сеул он увидел богатую фанзу и, узнав, что живет в ней бывший министр и у него есть дочь-невеста, зашел к министру.

Его приняли и отвели в помещение для гостей.

Вечером, гуляя, он зашел в школу, где дочь министра обучалась китайской грамоте.

Он как раз застал там дочь министра одну и сейчас же сказал:

— Так как предсказатель приказал мне жениться перед экзаменами, то вот вас я избрал своей женой.

— Но я вас не избираю своим мужем, — ответила дочь министра.

— Это очень жаль, — сказал ученый, — не можете ли вы по крайней мере согласиться быть невестой, так как иначе моей жизни грозит опасность?

— Это, конечно, очень прискорбно, что вашей жизни грозит опасность, но моей грозит еще большая, если я когда-либо сделаюсь вашей женой.

— Не дадите ли мне по крайней мере что-нибудь на память?

Тогда дочь министра рассмеялась и дала ему бумажку, на которой нарисовала желтой кистью собаку.

Получив подарок, ученый отправился в Сеул.

Как и было предсказано, он выдержал первым экзамен и получил первую должность.

Один из сановников тут же, на экзамене, предложил ученому свою дочь в жены.

Ученый, очень польщенный этим, изъявил свое согласие, а сам, пока готовили все к свадьбе, засел еще немного поучиться, хотя больше и не предстояло уже никаких экзаменов.

Так он и не видал своей невесты до самого того дня, когда, как муж уже, остался с ней глаз на глаз.

Он пришел в ужас, увидев, до чего жена его была безобразна, с бельмом на глазу, хромая и рябая.

— Но кто же тебе мешал раньше посмотреть на меня?

Что было делать? Ученый сел в угол, ничего не ответив, и так и просидел там всю ночь и в конце концов так там и заснул.

Проснувшись утром, он к ужасу своему увидел, что жена его лежала с отрубленной головой.

Его и обвинили в убийстве жены, ввиду обнаруженного им ее безобразия.

В свое оправдание он мог только сказать, что он не виновен в ее смерти.

Но никто этому не поверил, кроме старого учителя, который экзаменовал его.

— Тут что-нибудь да не так, — сказал он и, отправившись к королю, просил его отсрочить казнь на десять дней с тем, чтобы через десять дней представить доказательство его невинности.

— Хорошо, — сказал король, — но с условием, что если не представишь, то я тебя казню вместе с ним.

Пришел старый учитель к преступнику и спрашивает, есть ли у него какое-нибудь доказательство его правоты.

— Ничего у меня нет, — вот есть только эта желтая собака, которую предсказатель велел мне выпросить от той женщины, которая откажется быть моей женой или невестой. Вот это она и дала мне.

Взял старый ученый картинку, ходил с ней все девять дней, но ничего не придумал.

Жене своей он ничего не сказал, потому что жена его была известная на весь город сплетница и все так перевирала, что у людей, слушавших ее, уши вяли. Уж не раз жена подводила своего серьезного и доброго мужа, и потому он раз навсегда решил ничего ей не говорить.

Но вечером, накануне десятого дня, старый ученый позвал жену и сказал ей:

— Что сделано, то сделано и того не воротить: знай, завтра я буду казнен.

И муж рассказал ей все, не скрыв и картинки.

— Жаль, что у тебя не хватило глупости, помолчать еще и до завтра, — сказала ему жена, — тогда я по крайней мере избавилась бы от такого дурака, как ты.

Так как муж ее решил никогда не отвечать ей, то и теперь промолчал, а жена сказала:

— Весь свет знает, и только ты дурак и не знаешь, что покойная любила своего раба, — которого зовут «желтая собака», надо поэтому взять этого раба и пытаться его до тех пор, пока он не сознается, что из ревности убил ее.

Так и сделали и пытались раба до тех пор, пока не переломали ему обе ноги, и он сознался, что из ревности убил дочь министра.

Тогда раба казнили, а ученого выпустили на свободу.

Тринадцатилетний муж

Однажды женили одного тринадцатилетнего мальчика на двадцатилетней девушке.

Когда жениха оставили на ночь с невестой, то, по обычаю, молодежь села подошла к окну их фанзы и ждала, что скажет им остроумный жених.

Но жених сидел с своей невестой, тяжело дышал, обтирал пот с лица и ничего не мог сказать, потому что был неграмотный.

— Отчего ты такой печальный? — спросила его жена.

— Как мне не быть печальным, — отвечал жених, — товарищи от меня ждут слова, а что я могу сказать, когда я неграмотный.

— Не печалься, я научу тебя. Скажи им, что в лесу растет молодая сосна, но она вырастет и будет красивым деревом.

— Я не могу так сказать.

— Я буду тебе подсказывать, ты встань у окна, а я стану у этой стены.

Она стала у стены, а он у окна.

— Так слышишь? — спросила жена.

— Так слышишь? — громко повторил муж.

— Слышим, слышим, — весело отвечали ему со двора.

— Это я тебя спрашиваю, — шепнула жена.

— Это я тебя спрашиваю, — громко сказал муж.

— А мы тебя слушаем.

— Подожди, поговорим сперва тихо между собой, — опять сказала жена.

— Подожди, поговорим сперва тихо между собой.

— Что-то мы плохо тебя понимаем, — крикнули ему со двора.

— В лесу растет молодая сосна, — шепнула жена.

Муж повторил, но так скоро, что жена шепнула ему:

— Тише, тише...

И муж повторил:

— Тише, тише...

Тогда во дворе поняли, что он повторяет слова жены, и крикнули ему:

— Ну и дурак же у твоей жены муж.

И со смехом ушли прочь.

А муж стал ругать свою жену, что она так подвела его.

Как появились мыши и с каких пор перестали убивать стариков

Китайская сказка

Прежде стариков, когда они достигали шестидесяти лет, убивали.

Один сын очень любил своего отца и, когда ему минуло шестьдесят лет, спрятал его в подземелье, куда и носил ему пищу.

Однажды на дворец богдыхана напали какие-то страшные звери, величиною с корову, серые, с узкими, длинными мордами, с длинными тонкими хвостами. Все потеряли голову и не знали, что делать.

Тогда старик отец сказал:

— Надо найти восьмифунтовую кошку.

Нашли кошку в семь с половиной фунтов.

— Кормите ее, — сказал старик, — пока она не вытянет восемь фунтов ровно.

Когда кошка вытянула восемь фунтов, ее выпустили на зверей.

И вот что случилось.

Увидев ее, звери стали уменьшаться, пока не превратились в обыкновенных мышей, которых и ловят с тех пор обыкновенные кошки.

Когда император узнал, кто выручил всех из беды, то разрешил с тех пор старикам жить столько, сколько они хотят.

Так появились мыши на свете, виновники того, что стариков не убивают больше.

Уан-Чине

Тысяченожка

В местности Тянь-кори жил один бедняк, Ким-нон-чи.

Как он ни заботился о своих предках, как ни искал счастливой горы, но все не находил. Но он еще раз попробовал и перенес кости деда на новую гору. Потом он устроил поминки и поминал так усердно, что напился допьяна.

Была уже ночь, когда он оставил могилу деда и пошел в город.

У городских ворот его встретила красивая женщина и попросила к себе в гости.

Когда он пришел к ней, на столиках уже стояли чир-неби (семь закусок), всякие вкусные блюда и суля (водка).

Женщина угощала его и просила полюбить ее, так как она в свою очередь через одного старика, который являлся ей во сне, узнала его, Ким-нон-чи, полюбила и теперь, зная, что он идет с могилы деда, вышла к нему навстречу.

— Это мое новое счастье, — сказал себе Ким-нон-чи, — и глупо от него отказываться, и, хотя у меня есть жена, эта будет моя законная любовница.

Так они полюбили друг друга.

— Я только тебя об одном прошу, — сказала женщина, — в течение трех месяцев никогда не приходи ко мне незванным и никогда не заглядывай в двери моей комнаты.

Сначала Ким-нон-чи так и делал, но потом любопытство взяло верх над благоразумием, и однажды он, придя невзначай, заглянул в бумажную дверь своей возлюбленной. Он увидел в щель, что комната была пуста, а на циновке лежал какой-то зверь, похожий на собаку.

Тогда он постучался и вошел. Зверя в комнате больше, не было, а перед ним стояла та, которую он любил.

Она была задумчива.

— Ты не исполнил моей просьбы, — сказала она печально. — Сядь же и выслушай, что я тебе скажу. Слышал ли ты что-нибудь об

Уан-чине (тысяченожке)? Знай же, что это женщина, в наказание обращенная на тысячу лет в тысяченожку. За три месяца до срока ей дается право принимать по временам вид женщины. В это время она должна найти человека, который полюбил бы ее. Но человек этот, до срока, не должен знать, кто она. Мне оставалось только еще один день быть тысяченожкой. Теперь же я останусь ею еще тысячу лет. Вот что ты сделал своим любопытством. Но и тебе оно даром не пройдет.

И все сразу исчезло: и фанза, и женщина, и остался Ким-нон-чи сидящим на пустом месте.

Он встал, протер глаза и пошел домой.

Дома ждало его горе: единственный сын его умер.

А когда Ким-нон-чи уснул, приползла тысяченожка и, желая поцеловать, укусила его, и он так и умер, не проснувшись.

Еще тысяченожка

Жил себе в И-чжоу некто Ним-куак-сан.

Он был очень беден, имел много детей, и все они требовали от него пищи, денег и нарядов.

Накануне одного Нового года дети так пристали к нему с новыми костюмами, что несчастный отец, как был, выскочил из дому и решил больше домой никогда не возвращаться.

Пропусту он решил лишиться себя жизни, а так как была особенно холодная зима, то и пошел он в горы, чтобы там замерзнуть.

Но хотя и хотел он умереть, однако выбрал себе место, укрытое горами, и, сев там, ждал смерти.

Немного погодя видит он, что идут две женщины! одна молодая, богато одетая, другая ее раба.

Женщины, проходя, поздоровались с ним, и богато одетая спросила его, что он здесь делает в такой холод?

Ним откровенно признался, зачем он пришел сюда.

— Из-за этого не стоит умирать, — сказала молодая женщина, — пойдем со мной, и я тебе охотно помогу.

Он пошел за ней, и они пришли в И-чжоу в очень богатую фанзу.

Молодая женщина дала ему денег, материи, чумизы и просила навещать ее, но раньше, чем войти, всегда стучаться в дверь.

Счастливый Ним принес детям своим обновы, еду и деньги. И Новый год прошел для всех его детей так же весело, как и для всех тех, у кого были чумиза, одежда и деньги.

Ним стал ходить к молодой женщине, и скоро они полюбили друг друга и решили обвенчаться.

Однажды вечером, когда Ним вышел из своего дома, чтобы идти к своей невесте, вдруг в темноте перед ним вырос громадный, до неба, дух.

— Я твой дед, — сказал дух, — и явился, чтобы предупредить тебя: та, которую ты любишь, не женщина, а тысяченожка. Если хочешь в этом убедиться, пойдешь, отвори дверь, и ты увидишь не свою возлюбленную, а тысяченожку.

И дух исчез.

Ним не знал, что ему делать, и в конце концов решил послушаться деда. Но, когда он подошел к двери, ему жаль стало тысяченожку, и, прежде чем войти, он постучался.

Когда он вошел, молодая женщина поклонилась ему до земли и сказала:

— Я теперь вижу, что ты меня любишь, и я тоже буду тебе верной женой. Я знаю все. К тебе являлся твой дед. Это не дед твой, а мой враг — змей, курей — мой бывший муж. Кому-нибудь из нас суждено было в этот вечер сделаться человеком. Время назначено было как раз то, когда ты постучал в мою дверь. Если бы ты заглянул, я осталась бы еще на тысячу лет тысяченожкой, а курей превратился бы в человека.

Вскоре они сыграли веселую свадьбу и зажили, любя друг друга.

Бывшая тысяченожка принесла громадное счастье всему роду своего мужа. И хотя с тех пор прошла не одна тысяча лет, а и до сих пор фамилия Ним-куак-сан самая богатая в И-чжоу.

Дядя

Жил-был в провинции Хандиенго один добрый человек по имени Цу-ирени.

У всякого человека есть своя слабость, и у Цу-ирени была: он спал и видел, как бы ему попасть куда-нибудь губернатором.

В то время должности в Сеуле давались уже не за знания, а за деньги.

У Цу был один знакомый мошенник-министр, которому Цу перетаскал все свое состояние.

Министр все обещал ему место, говоря:

— Губернатор — это большая должность, надо еще денег.

Отправился Цу еще раз домой и на этот раз, распродав все, сколотил еще триста лан и пошел в Сеул.

По дороге, в гостинице, он познакомился с двумя путниками: мужем и женой. Жена с часу на час должна была родить и действительно в ту же ночь родила дочь. Но у родителей новорожденной не было даже денег за тот стол с едой, который подается матери.

Тогда Цу отдал им свои деньги и сказал:

— Я уже старик, одинок, — на что мне мое губернаторство. Вы же люди молодые, перед вами вся жизнь впереди. Может быть, мои деньги принесут вам счастье.

Муж и жена поблагодарили Цу, и он ушел к себе домой.

Прошло семнадцать лет, Цу было уже восемьдесят лет, и он давно уже был нищий, но не унывал и перед смертью решил еще раз посмотреть на Сеул.

— Не все ли равно, где просить милостыню, — говорил он, смеясь, своим соседям.

Соседи слушали и качали головой: так человек растратил состояние, которого хватило бы на два века другому, и — ничего не сделал.

Когда Цу пришел в Сеул и просил милостыню, его увидел предсказатель тестя короля (поунгуни) и сказал:

— Вот человек, который получит сегодня все двенадцать должностей, вплоть до последней, и больше того.

Придя к Поунгуни, предсказатель на вопрос, что ждет его сегодня, посмотрел в лицо и сказал:

— Большая радость.

Но Поунгуни был не в духе и сказал:

— Все должности я имею, я тесть короля, каких радостей я могу еще ждать? Не королем же меня сделают. Что нового?

— Сегодня, — сказал предсказатель, — я встретил нищего старика, по лицу которого я прочел, что он получит сегодня все двенадцать должностей и больше того.

— Ты смеешься надо мной?

— Смею ли я?

— Хорошо, но если этот нищий и завтра останется таким же нищим, то у тебя будет отрублена голова. Пойди и приведи мне этого нищего.

«Вот на свою голову сказал», — подумал предсказатель и пошел за нищим.

Когда привели старика нищего, все вышли на него посмотреть, в том числе и жена тестя короля.

— Говорил тебе мой предсказатель, что ты получишь сегодня все двенадцать должностей и больше того? Как это может случиться?

— Не знаю, что будет, а знаю, что было, — ответил нищий, — а было то, что я сегодня еще ничего не ел.

— Накормите его, — сказал тесть короля и ушел.

— Я когда-то где-то слыхала этот голос, веселый, насмешливый, — сказала жена.

— Вот что, старик, мы тебя накормим, но с тем, чтобы ты рассказал нам обо всех своих добрых делах.

— Мои добрые дела не займут много времени, и все они не стоят одной чашки чумизы. Да и было-то всего одно, когда однажды я помог двум бедным людям.

— У этих бедных людей, — спросила жена тестя короля, — родилась дочь, и у них не было даже заплатить за стол с едой для матери новорожденной?

— Да, это так было.

— Эти люди были мы, — сказала тогда жена тестя короля, — а дочь наша теперь жена короля. С тех пор я не переставала молить небо о встрече с тобой, чтобы при жизни еще поблагодарить того, кто помог нам в трудную минуту.

И жена тестя короля упала перед стариком на пол. Затем позвали тестя короля и, узнав, кто перед ним, и тесть поклонился старику в ноги. Мать пошла к дочери и сказала:

— Хочешь видеть твоего второго отца, о котором я тебе не раз говорила: он у нас.

Дочь рассказала своему мужу королю, и король пошел посмотреть на старика.

— Так как один отец у нас есть, то назовем этого старика дядей, — звание, как известно, превышающее все двенадцать государственных должностей.

А предсказатель тестя короля вошел в такую славу, что скоро составил себе состояние, равное королевскому.

Нян и Тори-си

Нян и Тори-си умерли, когда им обоим только что минуло по шестнадцати лет.

Телесные души обоих после смерти явились к начальнику ада, Тибуану.

В ожидании очереди юноша и девушка познакомились и разговорились между собой.

Когда же пришла их очередь, по справке оказалось, что душу молодого человека, Нян, вызвали по ошибке: нужно было вызвать Няна из И-чжоу, а вызвали Няна из Уи-вена.

— Ну, иди назад, — сказал молодому человеку Ти-буан.

— Мне скучно идти одному, — стал просить молодой человек, — нельзя ли мне возвратиться на землю с этой девушкой?

— Нет, нельзя, потому что она очередная.

Но молодой человек очень просил и наконец заявил, что без нее и он не хочет возвращаться на землю.

Он говорил:

— Я человек бедный, мне надо жениться, а на какие деньги я женюсь и кто за меня, бедняка, пойдет на земле? Там богатый ищет богатого, и только здесь все равны и не надо денег.

Просьба юноши была так горяча, что тронула Ти-буана.

— Я не могу менять, что занесено раз навсегда в книгу судеб, и мне неоткуда для этой девушки достать новой жизни. Но вот что я могу тебе предложить: по книгам судеб тебе назначено жить до шестидесяти восьми лет, — отдели сколько хочешь этой девушке и бери ее.

Нян остальную свою жизнь разделил ровно пополам, — одну половину себе взял, другую отдал девушке.

— Идите за этой собачкой, — сказал им тогда Ти-буан.

— Сперва мы сделаем метку, — сказал Нян.

И оба они друг у друга на спине написали свои имена.

Затем они пошли за собачкой, и когда та, дойдя до реки, бросилась в нее, и они бросились, и сразу души их очутились в их телах.

Тогда оба рассказали, что с ними случилось в аду.

Отец девушки думал при жизни ее выдать ее замуж за своего приятеля и теперь, когда дочь возвратилась, сделал вид, что не верит сказанному ею, что надпись на ее спине сделала ее подруга, и торопил с задуманной раньше свадьбой.

Но в день свадьбы пришел Нян, и девушка сказала:

— Вот мой муж.

Нян снял тогда свою кофту, и все прочли на его спине имя Тори-си, но отец Тори-си продолжал упрямяться.

— Ни небо, ни ад не смеют нарушить родительскую волю, — говорил он.

Тогда Нян посоветовался с Тори-си и сказал:

— Так как Тори-си не желает моей жизни, если выйдет за другого, то я беру назад свою жизнь.

Тогда нечего было больше делать отцу, и, рассерженный, он сказал:

— Иди от меня: ты не моя.

Он сказал правду: Тори-си действительно не была больше его, она принадлежала Няну, и так как они знали, что им оставалось немного жить, то они нежно любили друг друга и, главное, никогда не ссорились.

У них родилось трое детей, для которых они при жизни успели заработать довольно денег.

Они умерли вместе в один и тот же день, час, минуту и мгновение.

Когда путник проходит мимо их могилы, окрестные жители рассказывают ему, как жили и любили друг друга Нян и Тори-си.

Когда хотят сказать, что двое любят друг друга, то говорят:

— Они любят друг друга, как Нян и Тори-си.

Еошеи

Это было очень давно, когда кошки еще не существовали на земле.

Жил тогда один стрелок из лука. Он спал и видел, как попасть ему в Сеул на праздник стрелков и получить от самого императора похвальный лист и звание «дишандари». Хотя он стрелял и очень хорошо, но приходил всегда в такое волнение, что делал непростительные промахи. Тогда умные люди посоветовали ему пойти к предсказателю, прежде чем отправиться в Сеул.

Стрелок так и сделал. Предсказатель, получив с него тысячу лан, сказал ему:

— Пусть не переходит тебе дорогу женщина. Если же перейдет, поцелуй ее.

Хотел еще спросить у него охотник, но на другой вопрос у него не хватило денег, и он, ограничившись одним ответом, пошел в Сеул.

Не доходя девяти ли (три версты) до Сеула, встретила ему женщина поразительной и оригинальной красоты. Она была сильна, стройна, имела зеленые глаза, взгляда которых охотник не мог выдержать.

Она перешла ему дорогу, и согласно приказанию предсказателя охотник пошел за ней, чтобы поцеловать ее.

Казалось, она шла так же тихо, как и он, однако до самого вечера он не мог догнать ее, пока она не вошла в маленькую избушку.

Тогда и охотник вошел за ней.

Там, в избушке, сидели отец и мать девушки.

Стрелок поздоровался с ними и объяснил, зачем он пришел сюда.

— Если предсказатель сказал, то так должно быть.

Тогда вошла девушка, и стрелок поцеловал ее.

— Сегодня поздно уже, и мы предлагаем тебе ночлег, — сказал старик.

— Я не прочь бы и на всю жизнь здесь остаться, так как полюбил вашу дочь и хочу на ней жениться.

— Пожалуй, женись, — сказал старик.

Пришла ночь, и все легли спать.

Проснулся стрелок и видит, что рядом с ним спит молодая тигрица, а подальше два старых, больших тигра.

Охотник от страха закрыл глаза, а когда снова открыл их, то с ним рядом опять спала его жена, а подальше отец и мать ее. Стрелок подумал, что ему показалось все, и заснул опять.

Утром, когда стрелок пошел в Сеул стрелять в цель, жена сказала ему:

— Сегодня тебя, мой муж, ждет большое отличие. Ты попадешь во все цели, но этого мало, и сегодня ты прославишься из рода в род, пока живы люди. Помни: когда ты попадешь в последнюю цель, на дороге, на трех мулах, покажутся трое: двое на белых мулах, в белом и с белыми опахалами, а третий на пестром, с зеленым опахалом. Как увидишь, немедленно стреляй в них.

— Как? В людей?

Жена покачала головой:

— Это не люди, это дикие люди, — если ты не убьешь их, они съедят всех. Когда убьешь их, разрежь грудь того, который ехал на пестром муле. В груди ты найдешь двух зверьков: никогда с ними не разлучайся, — пусть они будут тебе, как дети.

— Если мне, то и тебе.

— Да, конечно; прощай, мой муж возлюбленный.

— Но зачем же ты так печально прощаешься со мной, — я скоро вернусь.

— Я печальна потому, что одна минута разлуки с тобой все равно, что вечность.

Как говорила жена, так все и вышло.

Стрелок попадал во все цели, а когда спустил стрелу в последнюю, на дороге показались трое на мулах. Двое на белых, третий на пестром. Стрелок натянул свой лук трижды и трижды выпустил стрелу. Каждая попала в сердце каждого из путников.

— Что он делает? Он стреляет в людей?

— Идите и посмотрите, что это за люди, — сказал стрелок и пошел со всеми туда, где упали путники.

Но велик был ужас всех, когда вместо путников увидели трех тигров: двух старых громадных, — самку и самца, и одну молодую тигрицу.

— Какое счастье, что он убил их, иначе бы всем нам грозила смерть.

Пока так говорили, стрелок быстро разрезал грудь молодой тигрицы и, вынув двух маленьких хорошеньких зверьков, спрятал их у себя на груди.

В тот день стрелок получил и «дишандари» и место губернатора.

Но напрасно он искал свою жену, — он никогда не нашел ни ее, ни родителей ее, ни избушки, и даже того места, где стояла избушка.

Прошел год, зверьки подросли немного, когда случилась вдруг война, несчастная для Кореи.

Тогда император назначил стрелка-губернатора главнокомандующим.

— Но я ничего не знаю в военном деле.

— Но ты счастлив, — иди и победи, иначе голову долой.

— Не печалься, отец, — сказали зверьки, — ты победишь.

На Амноке, на двух берегах ее, сошлись войска, — неприятельское и корейское.

В ночь перед сражением зверьки вышли в поля и леса и кликнули всех крыс и мышей:

— Идите на ту сторону в неприятельское войско, перегрызите у них все тетивы и все луки, съешьте их провиант и обувь.

Но войско без оружия, провианта и обуви — не войско, а толпа нищих, и стрелок-губернатор всех их на другой день забрал в плен.

Тем и кончилась война, А губернатор сделался министром.

Что до зверьков, то от них пошло потомство. Теперь зверьков этих везде можно встретить, — их называют кошками.

Хотя теперешние кошки и не говорят, но, помня их происхождение, и до сих пор считают их священными животными и в память их происхождения и спасения от врагов уважают и чтут их.

Воловий труд

Жил-был на свете один писатель Ким. У него было два сына: старший и младший.

В то время как младший знал уже очень много, старший, Ким-Хакки, которому уже было шестнадцать лет, не знал и первых двух знаков азбуки: ха-ныр, тен, таа, ди, что значит небо и земля. При этом небо по-корейски ха-ныр, а по-китайски тен, земля по-корейски таа, а по-китайски ди.

Отец поэтому постоянно бил его и говорил, что он лучше убьет его, чем потерпит позор, что сын писателя останется неграмотным.

— Но чем я виноват, — оправдывался старший сын, — я день и ночь сижу за азбукой — ничего не выходит, мой младший брат целые дни играет, а у него все идет хорошо: это от неба так дано.

— Не от неба, а от твоей глупости, — отвечал отец и сильно бил его.

Наконец однажды отец сказал ему:

— Устали мои руки бить тебя, да и не хватит палок, хотя бы я вырубил весь свой лес. Убить тебя тоже не могу. Но прогнать тебя с глаз моих могу и прогоняю. Иди, куда хочешь. Научись грамоте — приму тебя, не научись — не приму.

— Позволь мне остаться у тебя работником, — я трудолюбив и могу работать.

— Не хочу.

— Куда же я пойду?

— Куда хочешь.

Насилу старший сын выпросил, чтоб хоть жену его оставил отец у себя, пока он будет пытаться счастья.

— Хорошо, — сказал отец, — пусть живет себе в задней комнате, но пусть тоже не показывается мне на глаза.

Жене же Ким-Хакки сказал:

— Жди меня десять лет. Если через десять лет я не приду, считай меня умершим.

Затем он зашел к своему другу и просил его в случае, если отец прогонит его жену, принять ее и кормить до его возвращения.

Друг обещал, и Ким-Хакки пошел куда глаза глядят.

Шел Хакки, шел и пришел в один город, где под одним окном услышал шум учившихся школьников.

Хакки зашел в школу и рассказал учителю все о себе.

— Это очень жалко будет, если сын такого знаменитого писателя останется неграмотным, — сказал учитель. — Я согласен взять тебя на десять лет и сделать все, что могу. Но не будь в претензии, если я о твою спину изломаю не один сноп палок.

Хакки с радостью согласился, и учение началось.

Между тем жена Хакки жила у тестя в задней комнате, варила себе чумизу и дни и ночи молила небо помочь ее мужу.

Через десять лет без тринадцати дней явился к ней во сне белый старик и сказал:

— Просьба твоя услышана небом, за свое трудолюбие муж твой получит то, о чем просишь ты, добродетельная жена.

В ту же ночь вот что произошло с Хакки:

— Прошло девять лет, одиннадцать месяцев и шестнадцать дней (в Корее лунный месяц двадцать девять дней), — говорил учитель Хакки, — а ты и до сих пор не выучил и первых двух слов. Вот теленок стоит рядом с тобой в стойле, — ему два года, но я уверен, что, слыша постоянно твое «ха-ныр, тен и таа, ди», и он запомнил эти слова.

И учитель, позвав теленка, крикнул ему:

— Ха-ныр, тен!

И вдруг теленок поднял голову к нему.

— Таа, ди!

И теленок опустил голову к земле.

— Видишь? Если теленок умнее тебя, то что я могу с тобой сделать?!

И, избив Хакки в последний раз, учитель приказал ему оставить наутро его дом. И в эту ночь учитель пошел спать к своей семье, в первый раз после десяти лет, так как все это время он спал со своим учеником, заставляя его и по ночам заниматься.

Избитый Хакки долго и горько плакал, пока не заснул.

Когда он заснул, явился к нему во сне белый старик и сказал:

— Ты Ким-Хакки?

— Я, — отвечал Хакки.

— Ты получишь то, чего ты так упорно добивался. Открой рот.
Хакки открыл рот, и старик бросил туда три шарика.

— Проглоти!

Хакки проглотил и проснулся.

По старой привычке он сейчас же схватился за книгу и — о, чудо! Он не только стал читать ее без запинки, но он знал все, что было в этой книге и во всех тех, которые находились в училище.

Он взял в руки кисть — и еще большее чудо. Он стал писать знаки, которых не мог бы написать никто другой в Корее. Он стал составлять фразы, и смысл их стал выходить такой глубокий, как океан, и остроумный, как блеск драгоценных камней.

Тогда закричал он:

— Шенсан-ним, шенсан-ним (учитель, учитель)!

Когда прибежал учитель, счастливый Хакки сказал:

— Теперь экзаменуй меня.

Стал учитель экзаменовать, но Хакки знал много больше учителя.

Тогда учитель бросился на шею к ученику и поздравил его с таким успехом.

А скромный Хакки не скрыл и рассказал, откуда явилось к нему его знание.

После этого Хакки пошел домой и пришел ровно в тот день, когда кончилось десять лет с того времени, как ушел он из дому.

Прежде всего он пошел к жене и после радостной встречи спросил:

— Как обращался с тобой отец?

— Я только раз его видела, но он, увидев меня, закричал, чтобы я ушла с его глаз. Я ушла и больше не видела его.

— В таком случае я не пойду к нему.

— Нет, ты должен идти, потому что отец и мать заменяют нам небо на земле. И идет ли с неба дождь, снег, светит ли солнце, все должны мы принимать без ропота, под страхом вечной гибели. Поэтому иди и поклонись отцу.

Так и сделал Хакки, но отец закричал ему:

— Прежде поклона твоего, прежде, чем ты смел явиться передо мной, ты должен представить доказательство твоей учености.

Тогда Хакки пошел в комнату своей жены и попросил купить ему шелковой материи.

На этой материи он написал рукой дракона несколько прекрасных и глубоких изречений, которые одни обессмертили бы его отца, если бы он мог так писать.

Тогда только отец разрешил старшему сыну прийти и обнять его.

Но после этого Хакки с женою оставили дом отца.

— Отец любил не меня, — сказал он жене своей, — меня такого, какого создало небо, а мои знания. И если бы я не приобрел их чудом, я был бы навсегда чужой для него.

Хакки, выдержав экзамен в Сеуле, поступил на службу, и так как при дарованных ему небом способностях соединял большое трудолюбие и воловье терпение, то мог переносить все несправедливости капризного начальства и в конце концов дослужился до министра.

Тогда он дал хорошее место своему учителю, своему другу, но отцу никакого места не дал, хотя и был всегда почтителен с ним, как и подобает сыну.

Что до младшего брата, то так ничего из него и не вышло. Привыкнув легко, без труда получать все, он в жизни, где, кроме способностей, требуется воловий труд, ничего не успел.

Волмай

Во время царствования последнего из своей династии императора Косми-дзон-тван жила одна девушка Волмай-си, дочь богатых родителей.

Она получила прекрасное образование и читала по-китайски так же, как ее знаменитый, всем народом почитаемый учитель Орушонсэн.

Когда ей минуло шестнадцать лет, Ору сказал ей:

— Теперь твое учение кончено. По уму и образованию ты заслуживаешь быть женой министра.

— В таком случае я и буду ею.

На этом основании она отказывала всем искавшим ее руки и так как за ней еще были сестры, то, чтобы не мешать им делать супружескую карьеру, Волмай, с согласия родителей, получив на руки свою часть наследства, ушла из родительского дома и, построив гостиницу у большой дороги, так искусно повела свои дела, что ее гостиница была всегда полна народом, а молва о ней и похвалы разносились по всей стране.

Однажды один молодой угольщик нес мимо ее гостиницы уголь.

Ей нужен был уголь, и она, позвав, спросила, что он желает за свой товар.

Угольщик посмотрел на нее и сказал:

— Ничего больше, как раз поцеловать тебя.

— Не слишком ли высокую плату ты просишь? — спросила оскорбленная девушка.

— Таково уже мое правило, — отвечал молодой угольщик, — что я хочу или все, или ничего. И если ты находишь мою плату высокой, бери без всякой платы.

И, сказав, угольщик бросил, с плеч к ее ногам уголь и ушел, прежде чем девушка успела что-нибудь ответить.

Прошло несколько дней, и опять мимо ее гостиницы проходил красавец-угольщик. Но он даже не посмотрел на нее и прошел мимо. Но девушке опять был нужен уголь, и она вынуждена была позвать его.

— А-а, — сказал угольщик, — знакомая покупщица.

И, подойдя к ней, бросил к ее ногам уголь и ушел.

Напрасно она звала его получить плату за уголь.

— Я знаю твою плату, — ответил ей, не поворачиваясь, угольщик.

А на другой день, когда девушка проснулась, на ее дворе лежала громадная куча угля, которую она не могла израсходовать и в год.

Волмай была очень смущена этим и все дни проводила у дверей, посматривая в ту сторону, откуда обыкновенно приходил угольщик.

Когда однажды она наконец увидела его, то пошла к нему навстречу и сказала:

— Я знаю, что этот уголь, который сложен у меня во дворе, от тебя.

— Да, это принесли мои товарищи.

— Ты разве имеешь такую власть, что приказываешь?

— Есть больше, чем власть, — я пользуюсь любовью моих товарищей.

Девушка помолчала и сказала:

— Я хотела бы с тобой рассчитаться.

— С большим удовольствием, — сказал молодой угольщик и, сбросив уголь с своих плеч, так быстро поцеловал ее, что она не успела даже ничего подумать.

— Я никогда еще ни с кем не целовалась, и теперь волей-неволей ты должен стать моим мужем.

Угольщик весело рассмеялся и сказал:

— Что до меня, то я согласен.

— Вот так вышла замуж за министра, — смеялись все ее родные, поклонники и знакомые.

Между тем молодые хорошо зажили.

— Ты умеешь читать? — спросила молодая жена своего мужа.

— Ни мама, ни папа, — ответил ей весело муж.

— Хочешь, я выучу тебя?

— Что ж? В свободное от хозяйства время отчего не поучиться.

Прошло пять лет, и муж ее знал все, что знала она.

— Теперь иди к моему учителю Ору-шонсэ, и пусть он проэкзаменует тебя. Кстати принеси мне ответ на следующий вопрос:

«Если король глуп, а сын его идиот, то не пора ли вступить на престол новому?»

Через несколько дней муж возвратился и принес жене ответ:

— «Да, пора!»

Скоро после этого жена сказала мужу:

— Пригласи к себе трех самых умных и влиятельных из своих товарищей.

Когда муж пригласил их, жена приготовила им богатое угощение и вечером сказала им:

— Будьте добры, поднимитесь завтра на заре вот на эту гору и, что увидите там, расскажите мужу и мне.

Утром, когда три углекопа поднялись на гору, они увидели там трех мальчиков.

Один сказал:

— Здравствуйте.

Другой сказал:

— Завтра, однако, старого короля вон выгонят.

Третий сказал:

— Вам трем дадут хорошие должности.

Затем три мальчика исчезли, а удивленные угольщики пришли и рассказали, что видели.

— Я все это знала, — сказала хозяйка гостиницы, — потому что я предсказательница. Я скажу и дальше, как вам получить хорошие должности и прогнать человека, который всех губит. Соберите сегодня к вечеру всех своих товарищей и приходите сюда.

Когда все угольщики собрались в назначенный час, она позвала мужа в свою спальню и сказала:

— Десять лет тому назад я решила выйти замуж за министра. Я вышла за тебя замуж, потому что, как предсказательница, угадала, что ты будешь министром. Теперь я тебе скажу, что твое время пришло: сегодня тебя назначат, а завтра признает весь народ. Вот тебе топор. С этим топором ты с твоими товарищами, каждый поодиночке, пройдете в столицу. Там, около дома Ору-шонсэна, вы все соберетесь. Ты один войдешь в дом и скажешь учителю: «Жена моя, Волмай, кланяется тебе. Вот этим топором я собью замок у ворот дворца, а теми людьми, что стоят и ждут моего приказания, я заменю разбежавшуюся дворцовую стражу».

Все так и было сделано.

Когда муж Волмай вошел в дом Ору-шонсэна, то увидел там несколько человек и учителя жены, которые спорили о том, кем еще заместить одно вакантное место министра. Ору предлагал мужа Волмай, а другие предлагали каждый своего. Муж Волмай, войдя, сказал:

— Я муж Волмай, вот этим топором я собью замок с ворот дворца, а теми людьми, что стоят на улице, я заменю разбежавшуюся дворцовую стражу.

— И ты поступишь, как лучший из всех военных министров, — ответил ему Ору.

Всем остальным осталось только крикнуть: «Е-е» (что значит «да, да»)!

Затем, когда все заснули, муж Волмай со своими угольщиками отправился ко дворцу, сбил замок, застал врасплох стражу и предложил ей выбор: или, сняв одежду, бежать из дворца и молчать обо всем случившемся, под страхом смертной казни, или быть немедленно умерщвленными.

Стража избрала первое. Угольщики надели их форму, и дворец с королем был взят.

Наутро уже заседал новый король Индзан-тэвен, заседали новые министры, и когда старые пришли во дворец, то им было предложено или признать новый порядок, или тут же быть казненными.

— А где старый король и его сын?

— Оба живыми взяты на небо.

— О, это большая честь, — мы ее недостойны, — сказали министры и присягнули новому королю.

И все пошло своим чередом, а уважаемый всеми учитель и предсказатель, Ору-шонсэн, во всеуслышание на площади предсказал новому королю счастливое и выгодное для народа царствование, а его династии существование на тысячу лет.

При таких условиях народ ничего не имел и против двухтысячелетнего существования новой династии.

Предсказание Ору исполнилось, новый король царствовал в интересах своего народа, а угольщики так и остались служить в дворцовой страже.

От них и пошел черный цвет этой стражи.

С ними и муж Волмай до своей смерти оставался министром, и никто уже не смеялся больше, что Волмай не умела выбрать себе мужа.

Счастливая могила

В провинции Чон-сан-до, в городе Чон-шун-кун жил Сим-ходзан, занимавший должность аджон, что значит правитель канцелярии губернатора. Он же заведовал и тюрьмой.

Состарившись, Сим уволился от должности, но так как эта должность наследственная, то его сменил сын.

Во время службы сына в тюрьму привели одного убийцу по фамилии Ким. Ночью Ким убежал из тюрьмы и прибежал, спасаясь, к Симу, с просьбой спрятать его.

Сим спрятал его так, что никто даже из домашних не знал, что в доме скрывается чужой человек.

Между тем согласно закону сына Сима за бегство Кима, избив прутьями, сослали в ссылку.

Когда розыски кончились, Сим сказал Киму:

— Ну, теперь ты можешь безопасно уйти из города.

Прошло много лет.

Ким ушел в монастырь, где все время учился искусству отыскивать счастливую гору для покойников.

Кончив, он пошел в город, где жил Сим.

Старик Сим уже умер, а молодой возвратился из ссылки.

От сына Сима только узнал Ким, что тот был сослан из-за него.

— Я пуншу ^[21],— сказал ему Ким, — ты пострадал из-за меня, и теперь я хочу отблагодарить тебя и твоего покойного отца. Бери кости своего отца и неси за мной.

Таким образом, Сима похоронили на одной из самых счастливых гор.

И вот что случилось потом.

Овдовел император и искал себе жену. Однажды, умываясь, он увидел в воде девушку, сидящую под сосной.

Каждый день после этого он видел в воде эту девушку и полюбил ее.

Тогда он созвал министров, и по их совету художник срисовал эту девушку.

Портрет этот был вывешен на самом людном месте в Сеуле.

Однажды подошел к портрету раб Сима и сказал:

— Каким образом сестра моего господина попала сюда?

Так узнали, кто была девушка, и император послал своего председателя министров сватать ее.

Женившись, император дал ее покойному отцу звание тестя и связанную с ним должность правителя части государства, а брата ее назначил губернатором.

С тех пор род Сима в славе и до сих пор.

Теперешний Сим — министр иностранных дел.

Тутонтайна

Жабий дом

В давние времена, в Хуан-хадо, округе Хаджо, в деревне Кон-тон жил один бедный человек по имени Пэк.

Дожил Пэк до пятидесяти лет и не мог собрать достаточно денег, чтобы жениться.

В это же время жил один богатый человек, который занимался тем, что женил бедных.

И Пэк пришел к нему. Богатый и ему нашел невесту и дал денег на выкуп ее.

Женился Пэк, и через год жена родила ему дочь Хан-не-си, и затем умерла.

На одиннадцатом году Пэка разбил паралич, и так как он не мог больше работать, то им и грозила голодная смерть.

В это время еще приносили человеческие жертвы. В Кон-тоне приносили такую жертву ежегодно в честь поселившейся там тысяченожки.

Для такой жертвы требовалась девушка.

Хан-не предложила себя за десять тысяч кеш [\[22\]](#), которые и просила передать после ее смерти отцу.

Жертва приносилась таким образом: в молитвенном доме — Кукши, после обряда, клали девушку на стол, и все уходили. Когда потом, через некоторое время возвращались, то девушки уже не было, а из Кукши уползала тысяченожка. После такой жертвы начиналось для всех особое счастье.

Хан-не очень любила одну жабу. Эта жаба всегда выползала из своей норы в то время, как Хан-не ела, и Хан-не не жалела пищи, часто сама не доедая для жабы.

Когда Хан-не повели на место жертвоприношения, за ней поползла и жаба.

Положили Хан-не на стол и вышли все, а тысяченожка вползла в дом.

Тогда она стала выпускать красные лучи, и Хан-не потеряла сознание.

Но жаба в свою очередь выпускала лучи, и лучи жабы оказались сильнее лучей тысяченожки.

Когда, после определенного времени, все вошли в молитвенный дом, то застали там мертвую тысяченожку, большую добрую жабу и живую Хан-не.

В память этого события и построили в честь этой жабы молитвенный дом. Жаба не требовала больше человеческих жертв.

Она живет в своем домике, и каждый справедливый человек, который приходит в этот домик помолиться, видит эту жабу.

Дурной же человек видеть этой жабы не может.

А так как хорошие люди все-таки не переводятся, то видят эту жабу и в наши дни.

Ни-Муей

Ни о чем не заботящийся

Жил себе человек по имени Ни-мен-сан.

Было у него двенадцать сыновей и одна дочь.

У каждого сына он гостил по месяцу, а в високосный год, когда тринадцать лунных месяцев в году, тринадцатый месяц гостил у дочери.

И никаких других дел у Ни-мен-сана не было.

Все завидовали ему и столько говорили о его беззаботной жизни, что слух о нем дошел до императора.

Заинтересовался император таким человеком, у которого никаких дел и забот не было, и потребовал к себе Ни-мен-сана.

— Правда ли, что ты ничего не делаешь и только гостишь у своих детей?

— Да, небо послало мне, по числу месяцев в году, двенадцать сыновей, а на тринадцатый, високосный, одну дочь, и так я и живу каждый месяц у другого.

— Хорошо же ты устроил свои дела. В награду за это я дарю тебе вот эту бусу, но с условием, чтобы ты сберег ее, и, когда только я ни спрошу, она должна быть при тебе, иначе плохо тебе будет.

Император отпустил Ни-мен-сана и приказал страже как-нибудь незаметно украсть у него бусу и забросить ее.

Переодетый стражник пошел за Ни-мен-саном на перевоз, незаметно вытащил у него из торбы бусу и выбросил ее в реку.

Переправившись через реку, Ни-мен-сан остановился в одной фанзе на ночлег и сейчас же полез в торбу посмотреть, цела ли его буса.

Правду сказать, с тех пор как император подарил ему бусу, вся беззаботность Ни-мен-сана бесследно пропала. Он теперь только и думал о своей бусе.

А когда в торбе бусы не оказалось, то и Ни-мен-сан узнал, что такое горе и заботы.

Всю ночь не спал он, думая, как отыскать пропавшую бусу, и к утру очень проголодался.

В это время он услышал крик рыбака и, позвав, купил у него одну рыбу. Какова же была его радость, когда, начав чистить рыбу, в ее желудке нашел он свою бусу.

Между тем император приказал возвратить Ни-мен-сана.

Когда его привели, император грозно сказал ему:

— Где подаренная тебе буса?

Ни-мен-сан вынул бусу и показал ее императору.

— Каким образом ты опять ее нашел, когда я знаю наверное, что ты ее потерял?

Тогда Ни-мен-сан рассказал, как нашел он бусу.

— Ну, за тебя и небо и морской царь, — сказал тогда император, — ты действительно имеешь право ни о чем не заботиться, и пусть с этих пор фамилия твоя будет Ни-муйей, что значит ни о чем не заботящийся.

Ни-муйей дали должность Бую-они, что значит ничего не делать, и так и жил он, пока не умер, и был похоронен с большим почетом.

Ким

Жил некто Ким-хашени.

На родине не везло ему, и решил он поехать за моря попытать счастья.

Оставил жену и уехал Ким и десять лет был в отсутствии.

Там, за морем, он нажил большое состояние и решил ехать домой.

Перед отъездом пошел он к предсказателю узнать, какова будет его дорога.

— Если ты дашь мне восемь тысяч лан, я скажу, какая будет тебе дорога, — сказал предсказатель.

Много было восемь тысяч лан, но не пожалел Ким и отдал их предсказателю.

— Четыре вещи запомни ты, — сказал предсказатель, — не ездь прямой дорогой, не ходи ночью через перевал, не мой масляной головы, бойся кантишей, что значит мера ободранной чумизы.

После этого поехал купец домой на своем корабле.

В одном месте стали некоторые его товарищи настаивать ехать прямо морем, а не кружиться вдоль берега. Немногие, с Кимом во главе, не поехали, и только они и спаслись, так как случилась буря и потопила уплывших в море.

Когда оставшиеся в живых благополучно достигли родины, они все вместе пошли по одной дороге.

Наступил вечер, когда они подошли к одному перевалу.

— Я дальше не пойду сегодня, — сказал Ким.

Но товарищи сказали ему:

— Если так тихо будешь идти, ты никогда и домой не придешь; если хочешь, оставайся, а мы пойдем себе.

Они пошли, а Ким остался.

Ночью их всех перебили разбойники, а Ким благополучно дошел до своей фанзы.

Был уже вечер, и, войдя, Ким наткнулся на бочку с маслом, упал, и масло вылилось ему на голову.

Он хотел вытереть волосы, но вспомнил слова предсказателя и не вытер.

Пока он путешествовал, жена его, думая, что он погиб, вышла замуж за другого.

Увидав первого мужа, она не обрадовалась ему, но не подала вида, а приняла его, как требовал обычай.

А между тем попросила второго мужа убить первого, когда тот ляжет спать.

Ночью вошел второй муж и стал щупать, где голова первого мужа.

От масла распустилась прическа спавшего мужа, и, приняв его голову за голову женщины, второй муж убил вместо мужа жену.

На другой день, когда убийство было обнаружено, все обвинили первого мужа в убийстве жены за измену.

Его связали и повели к судье.

Судья судил и присудил его к смерти, и когда ему дали кисть, чтобы он подписал приговор, то на кисть села муха.

В таких случаях приговор не подписывается, и дело вторично пересматривается.

Ким рассмеялся и, показывая на муху, сказал:

— Муха.

— Да, муха, — согласился судья, и подсудимого отвели обратно в тюрьму.

Прошел год. Позвал судья Кима и говорит ему:

— Расскажи мне все подробно.

Тогда Ким рассказал ему все подробно, не утаив, что предсказал ему предвещатель.

— Но что же значит последнее предсказание: кантишей? — спросил судья.

— Не знаю, — сказал Ким.

Вечером судья все думал, что делать ему с Кимом и что значит «кантишей».

Заметив задумчивость мужа, жена спросила его, о чем он думает.

Когда он рассказал ей, жена посоветовала ему спросить у обвиняемого, не знает ли он кого-нибудь по фамилии Кантишей.

На вопрос судьи Ким ответил:

— Знаю: это мой сосед и, как оказывается, второй муж моей покойной жены.

Тогда судья понял все. Он послал за этим Кантишей и пытал его до тех пор, пока тот не признался во всем.

Тогда его повесили, а Кима отпустили.

Так Ким, хоть и за большие деньги, но сберег свою жизнь.

Курей

Около одного монастыря поселился злой курей (змей) и поедал каждого корейца, кто приходил молиться в монастырь.

Тогда один старый бонза сказал, потому что он был тонн (предсказатель):

— Так будет продолжаться до тех пор, пока корейцы не соберут две тысячи петухов.

Корейцы собрали и принесли. Через год у одного петуха стали расти рожки. Монах зарезал всех петухов, кроме этого, а старый бонза сказал рогатому петуху:

— Иди к курею.

Петух пошел и возвратился с окровавленной головой.

Тогда бонза с остальными монахами пошел туда, где жил курей, и все увидели, что у курея только голова осталась змеиная, а тело было женское.

Тогда монахи убили змея, и с тех пор корейцы свободно ходят в тот монастырь.

СЫНОВНЯЯ ЛЮБОВЬ

Жили себе отец и сын. Сын очень почитал отца. Когда отец заболел и был при смерти, сын продал все и понес деньги к знахарю, чтобы тот только вылечил отца.

Когда сын ушел к знахарю, жена его вышла на реку мыть белье.

На берегу она увидела бонзу (монаха), который сказал ей:

— Если хочешь, чтобы свекор твой жив был, свари вот такого жень-шеня (хороший корень жень-шень формой и цветом похож на тело младенца).

И бонза показал на ее двухлетнего сына.

Жена сына больного поняла, что надо резать их ребенка, чтобы спасти старика. Она взяла и зарезала сына, сварила из него похлебку и напоила свекра.

В тот же день свекор выздоровел, и, когда вернулся его сын, он сказал ему:

— Твоя жена напоила меня чем-то вкусным, и вот я опять здоров.

Муж спросил жену:

— Чем ты напоила отца?

— По приказанию бонзы я напоила его наваром из нашего сына.

Тогда муж поклонился ей в ноги и поблагодарил за любовь к его отцу.

Прошло четырнадцать лет.

Опять жена сына мыла на берегу белье, когда подошел к ней бонза с шестнадцатилетним юношей.

— Прими своего сына назад, — я его воспитал, и теперь он может назваться образованным человеком, а тогда ты резала не сына, а жень-шень, который я дал тебе, но отвел тебе глаза.

Права отца

Жил отец и три сына.

— А что, — спросил однажды отец, — почитаете вы меня за то, что я виновник того, что вы появились на свет?

Старший сын сказал:

— Почитаю.

И средний сын сказал:

— Почитаю.

А младший сказал:

— За это еще не за что почитать.

Отец и братья рассердились и прогнали его.

Ушел младший сын и пришел к перевалу.

— За этот перевал не ходи, потому что в той фанзе, что по ту сторону перевала, десять человек умерли от холеры, и только и жива еще последняя дочь.

— А сколько ей лет?

— Ей шестнадцать лет.

— Ну, так я, пожалуй, пойду.

И пошел.

Приходит, а девушка говорит ему:

— Разве ты не знаешь, что в этой фанзе все мои родные умерли от холеры?

— Знаю, но я узнал, что ты одна, и пришел к тебе.

Она оставила его у себя и через некоторое время, полюбив, согласилась сделаться его женой.

Так как отец его жены был богатый и жена его знала, куда отец прятал деньги, то она однажды послала мужа своего за этими деньгами, и стали они богачами на всю окрестность.

Слух об их богатстве дошел до братьев и отца.

— Нет, — сказали они, — мы мало его наказали, выгнав только из дома, его надо лишить жизни, а деньги взять себе.

И вот задумали они злое дело.

Присылают раз два брата письмо к младшему с известием, что умер их отец и чтобы приходил он на похороны.

Младший брат сейчас же пошел. Жена, провожая его, приказала ему: чтобы сули он не пил в доме братьев и до парадных кушаньев не дотрагивался, а ел бы такую же простую пищу, как и они будут есть.

Пришел младший брат к старшим и видит, что отец жив.

А братья смеются:

— Мы нарочно тебя обманули, потому что иначе не надеялись, что ты придешь к нам.

Затем они посадили его за стол и стали угощать сули и парадным обедом.

Но, когда он налил сули и поднес отцу и братьям, они отказались.

Тогда он сказал:

— Неприлично и мне пить и есть отдельно от братьев.

И вылил на пол сули, а парадный обед бросил собакам, от чего они и сдохли.

Затем, поев с отцом и братьями, в тот же день возвратился домой.

Между тем хунхузы, узнав, что младший брат ушел к своим родным, отправились туда, чтобы захватить его и получить за него богатый выкуп.

Они напали на дом его родных ночью, врасплох, и так как караульных собак не было, то и захватили отца, двух старших братьев, а младшего не нашли.

Думая, что отец и братья спрятали его, хунхузы сперва пытали их, а потом, рассердившись, убили и отца и братьев.

А младший и до сих пор живет.

Перевозчик

Жил себе старый перевозчик.

Никому не отказывал он в перевозе: давали ему что-нибудь за это, он брал; не давали, ничего не просил.

Видит раз перевозчик, что через реку плывет курей (толстый змей).

Плыл, плыл и стал он тонуть. Тогда старик поспешил к нему на помощь на своем перевозе и перевез его на другую сторону.

Ничего не сказал курей, только заплакал, и где упали его слезы, там растут с тех пор прекрасные цветы. Они растут и в других местах на земле, но только там, где поливают их слезами.

В другой раз, когда старик сидел у своего перевоза, увидел он, что плывет молодая косуля и тонет.

Поехал старик и перевез косулю на другой берег.

Вышла косуля, ничего не сказала и убежала в лес.

Пошел старик в лес нарвать себе салату на зиму, вдруг выбежал красивый козел и стал рыть ногой землю. Но в это время проходил какой-то прохожий с лопатой, и козел убежал.

— Будь добр, прохожий, покопай в этом месте.

Только три раза копнул прохожий, и стукнула лопата обо что-то.

То было золото.

— Благодарю тебя, — сказал старик, — за твою работу я даю тебе половину этого золота.

— Это золото выкопал я, и оно мое, — сказал прохожий.

Стали они между собою спорить, и так как ничего из их споров не вышло, то и решили они идти в город к судье.

Судья отдал золото прохожему, а старика за вымогательство, избив палками, посадил в колодки.

Ночью приполз к старику курей и укусил его в ногу.

На другой день нога старика так распухла, что уже думали, что умрет он.

Ночью опять приполз к нему курей и дал ему целебных листьев.

От этих листьев на другой день пропала вся опухоль на ноге, и даже след от раны исчез.

А курей в ту же ночь приполз к жене судьи и так же, как и старика, укусил ее за ногу.

На другой день и у нее так распухла нога, что уже думали, что умрет она.

Тогда начальник тюрьмы доложил судье, что у старика отчего-то пропала такая же опухоль.

Позвал судья старика и спрашивает:

— Отчего пропала у тебя опухоль?

— Курей мне листья такие принес.

— Где листья?

Показал старик, приложил к ноге жены судьи, и опухоль пропала.

— Почему же курей принес тебе листья?

Тогда рассказал старик, как перевез курея и косулю.

— А косуля что тебе дала?

— Дал ее муж то золото, которое ты передал прохожему.

Тогда судья послал догнать прохожего, отобрал у него золото, передал старику, а прохожего посадил в колодки.

Водка из камня

Сын министра полюбил дочь мясника и просил у отца разрешения жениться на ней.

Но отец только выругал его и не позволил.

Тогда сын женился без разрешения.

Отец рассердился и прогнал и сына и невестку.

Прошло много лет, и настал несчастный год для министра: от должности его отставили, чумиза и рис не уродились, и весь скот подох.

Сразу стал нищим министр и со всей семьей пошел просить милостыню.

Так пришел он, между прочим, и к прогнанному сыну.

Сын принял отца, мать, братьев и сестер, заплакал от радости и поселил их у себя в доме.

Но он сам был беден и как ни старался, но не мог прокормить всю семью.

Тогда жена его продала все свои фальшивые косы, а когда опять не хватило чумизы, отрезала и продала и свою собственную косу.

На эти деньги она купила чумизы и понесла ее домой. Но по дороге уронила мешок, и чумиза рассыпалась.

Тогда она стала собирать чумизу и не хотела, чтобы пропало хоть одно зерно. Так, собирая, она сметала с дороги пыль и нащупала камень с углублением в нем. В углублении была жидкость.

Она взяла этот камень и принесла его домой.

Когда тесть ее попробовал жидкость, которая была в камне, он сказал:

— Это лучшая из всех водок.

Но водка эта имела и другое достоинство: сколько ее ни пили, ее не уменьшалось.

С таким камнем вся семья скоро опять разбогатела, а водка эта и до сих пор называется Чуу-чен-сок, что значит водка из камня.

Самый камень, кажется, пропал теперь, но про того, кто, угощая, не жалеет водки, говорят и до сих пор:

— У него Чуу-чен-сок.

Птичий язык

Был один человек Ли-тха-чи, который понимал птичий язык. Идет раз Ли и видит — летит ворона и кричит ему:

— Као, као (что значит: идем, идем).

И он пошел за вороной и пришел к тому месту, где лежало мясо. Он взял кусок этого мяса и стал варить себе суп.

В это время пришел человек и стал упрекать его в том, что он зарезал его корову.

И как ни оправдывался Ли, человек повел его в город к судье. Ли объяснил судье, как было дело.

— Хорошо, — сказал судья, — если ты понимаешь птичий язык, то скажи, о чем кричит тот голубь, который сидит на том дереве?

— Он говорит, что запутался в паутине.

Пошли, посмотрели. Действительно, голубь запутался в паутине.

— Ты мог это и увидеть, — сказал судья.

И так как был уже вечер, и все птицы разлетелись, то судья приказал посадить Ли до утра в тюрьму.

В тюрьме, с окна, к Ли на колени упал птенчик из ласточкиного гнезда. Ли покормил его своей слюной, и так как изнутри не мог посадить его назад в гнездо, то и оставил птенчика у себя на груди. На другой день, когда его опять привели к судье, судья сказал ему:

— Ну, хорошо, вот над тобой вьется ласточка и кричит. Что она говорит?

— Она просит возвратить ей вот этого птенчика, который упал ко мне в тюрьму и которого надо теперь посадить в его гнездо.

И Ли с судьей, пошли к гнезду ласточки и, как только Ли впустил птенчика в гнездо, туда же влетела ласточка и, чирикнув в последний раз благодарность Ли, затихла.

Тогда судья сказал:

— Такой человек, как ты, действительно не может сделать ничего дурного.

И он отпустил Ли.

Недостойный друг

Сын богатых родителей из провинции Пьяндо молодой Паксендарги, отправился в Сеул с тем, чтобы купить там соответственную его дворянскому достоинству должность.

Но в Сеуле он повел веселый и праздный образ жизни и истратил все деньги, данные ему отцом для покупки должности.

Так как платить ему больше было нечем, то его прогнали из гостиницы, и друзья не хотели его больше знать.

Он ходил по улицам и уже думал о голодной смерти, когда услышал, проходя мимо одной фанзы, громкое чтение. Он остановился и стал слушать. Ему понравилось и чтение и книга. Он вошел в фанзу и сказал хозяину:

— Вы хорошо читаете, и, если вы позволите, я сяду и буду вас слушать.

— Садитесь и слушайте.

Когда хозяин устал, Паксен предложил читать дальше. Оказалось, что Паксен читал тоже хорошо и имел приятный голос.

Хозяин очень обрадовался, так как любил чтение, и предложил Паксену погостить у него.

Паксен поселился у него и так жил, проводя время в чтении и прогулках. Недалеко жила одна молодая вдова. Проходя мимо ее фанзы, Паксен заметил ее и полюбил.

Он стал часто гулять мимо ее фанзы, пока вдова тоже не заметила его и не полюбила.

Потом и она стала гулять в то время, когда гулял он, и так они наконец познакомились, а потом он признался ей в любви и узнал, что и она его любит. Но она была не дворянка, и поэтому он не мог на ней жениться.

Тогда они решили обойтись без этого и уйти куда-нибудь, где их никто не знал бы, и так жить.

Так как родные не пустили бы ее, то она решила уйти тайно.

Однажды она сказала ему:

— Достань пять вьючных мулов, и пришли их ко мне ночью, когда будут все спать. Я нагружу все свои драгоценности и отправлю

их к тебе, а ты жди меня с ними у городских ворот утром, когда их будут отворять.

У Паксена не было мулов; и он долго думал, где ему достать их. И он решил пойти к одному из прежних своих товарищей, с которыми вел раньше праздную жизнь.

Он признался ему во всем и просил мулов.

Приятель тоже любил вдову, но скрыл от Паксена это и достал ему мулов.

Но когда утром Паксен с мулами и драгоценностями ждал вдову у ворот, пришел к нему его приятель и рассказал ему, что родные вдовы узнали обо всем, вдову заперли, а сами пошли в полицию заявить о том, что какой-то Паксен обокрал их и стоит теперь с вещами у городских ворот.

— Тебе нет спасенья теперь. Беги с этими вещами, а когда опасность пройдет, я привезу к тебе эту женщину.

Так и сделала.

А приятель остался у ворот, и когда вдова пришла, он сказал ей:

— Напрасно ты ждешь. Он просто хотел похитить твои драгоценности и теперь уж далеко...

Вдова была в отчаянии, — ее так обманул ют, кто так клялся ей в любви, она осталась без драгоценностей и не могла больше вернуться к родным.

Тогда коварный друг сказал ей:

— Отомсти ему, полюби меня, и мы с тобой тоже уйдем далеко, прочь отсюда.

Так как у вдовы другого выбора не было, то она сказала:

— Хорошо, но там, куда мы уйдем, мы выстроим такую гостиницу, чтобы слава о ее гостеприимстве, удобствах и дешевизне прошла по всей стране.

— Хорошо, — сказал друг Паксена, — хотя это и будет мне дорого стоить, но я люблю тебя и согласен на твою странную прихоть.

Так они и сделали.

Паксен, напрасно ждавший вдову, боясь идти в Сеул, чтобы там не схватили его, не знал, что делать, когда один проезжий рассказал ему о бегстве неизвестно куда вдовы с его другом.

Тогда Паксен проклял всех женщин и, отдав мулов и драгоценности вдовы в монастырь бонзам, решил иначе сделать себе

карьеру.

Он ушел искать золото и жень-шень. Он жил, как самый последний бродяга, и нередко пули хунхузов свистели мимо его ушей. Он ходил по самым глухим местам, и чем глуше было, тем меньше болело его сердце. Уходя все дальше и дальше, он дошел до вершины Ченьбошана — Пектусана и священного озера драконов.

Потрясенный и испуганный святотатством своего поступка, он не сомневался больше в своей смерти.

Ночь наступала.

Он принес горячую молитву небу и сказал заходящему солнцу:

— О, великое солнце, ты из своего золотого дворца видишь весь мир, а я отсюда никого и ничего не вижу. Когда увидишь ее, передай ей, как умираю я здесь из-за нее.

А когда он заснул, ветер ласкал его лицо, а он думал, что это она, как когда-то, целовала его.

И вот среди ночи кто-то приказал ему, и он открыл глаза и то, что увидел, никогда больше не забывал.

Молодой месяц светил в далеком небе. Но темно было, и нежный Скорпион, как бриллиантами, горел вокруг месяца своими звездами и все глубже, казалось, проникал в синеву темного неба. Мрачно и одиноко стоял белый Пектусан и далеко в небо ушел своей вершиной. Из этой вершины исходил бледный, едва видимый туман, и вдруг вылетел дракон и стал между месяцем и землей. И дракон был белый и прозрачный, как туман, и поднялся он на чистом небе к самому месяцу, и оттого его видели все, кто не спал. Он сказал:

— Не бойся меня, потому что я знаю, что ты не по своей воле пришел. Но ты по своей воле стал бедным корейцем и узнал, как тяжело ему жить, как грабит его начальство и какие подати берут с него. Ты страдаешь даром, и я награжу тебя. Иди в страну прямо на закат отсюда и, когда пройдешь три солнца, увидишь озеро и три дерева, и там начни копать. Ты найдешь там столько золота, сколько захочешь.

И когда сказал так дракон, он стал бледнеть и совсем исчез в темном небе.

Утром проснулся Паксен и вспомнил свой сон. Он поблагодарил небо, великого дракона и пошел в страну на запад.

Через три солнца увидел он озеро и три дерева.

Тогда он стал копать и увидел столько золота, сколько может присниться человеку только во сне.

Он копал и копал. Когда его мучила жажда, он пил воду из озера, а когда хотел есть, то ел корень жень-шень. Он копал бы и до сих пор, если бы однажды дракон не прилетел к нему ночью, как и в первый раз, в четвертый день новолуния, и сказал:

— Несчастный человек, ты знаешь ли, сколько времени ты копаешь? Ты копаешь уже пятнадцать лет и три лунных месяца.

Тогда заплакал Паксен и сказал:

— Не хочу я больше копать.

И тогда пропало все золото, кроме того, которое он нарыл.

Но и его было так много, что надо было сто мулов, чтобы поднять его. Тогда Паксен взял столько, сколько мог, и пошел назад. И когда он шел, леса расступались перед ним, болота высыхали, а на реках делались мосты. Но когда он проходил, позади него были только опять болота, леса да непроходимые горы.

И пришел он в один китайский город, где и продал все свое золото, так как, если бы пришел с ним в Корею, то по законам страны, запрещающим добычу золота, был бы казнен.

Денег за золото дали ему так много, что нанял он семьдесят быков, которые везли за ним его деньги.

А сам он ехал в двухколесном паланкине и думал о том, как прошла вся его жизнь, потому что это уже был старый и измученный человек.

Так приехал он в тот город, где вдова с другом его держали гостиницу.

Вдова знала, что делала. Слава о гостинице разнеслась по всей стране, и она знала, что когда-нибудь ее коварный любовник попадет в расставленную ловушку.

Она узнала его сразу, как только въехал он во двор. Но он не узнал ее.

Вечером, когда она накормила его ужином, она взяла нож, спрятала его между складками платья и пошла к нему, как будто поговорить с ним, а между тем узнать от него все.

Но она узнала совсем другое, чем думала.

Не ведая, с кем говорит он, Паксен рассказал все, что с ним случилось. Тогда вдова заплакала, бросила нож и открыла, кто она;

рассказала, как обманул их обоих его друг.

— Что же, — сказал Паксен, — жизнь всякого человека проходит, но мы никого не обманули, мы любим друг друга, и нам есть что вспоминать. Мы уйдем далеко-далеко отсюда и проведем конец нашей жизни вместе.

Так они и сделали, уйдя в ту же ночь из гостиницы, оставив ее недостойному другу.

Сироты

Некто Тян-тон-уги женился, и жена сразу родила ему мальчика и девочку. А затем мать умерла, и дети остались сиротами.

Тон-уги женился на другой. Но та была злой мачехой для чужих ей детей. Когда же и у нее стали рождаться дети, то она только и думала о том, как бы известить ей детей от первой жены.

Когда им минуло девять лет, мачеха придумала вот что

Привела в комнату девочки чужого мальчика и приказала ему убежать, когда она войдет со своим мужем.

Когда все так случилось, мачеха сказала мужу:

— Если и теперь ты не прогонишь своих детей, то я не останусь в твоём доме.

Тогда отец согласился и прогнал детей.

В глухую ночь мальчик и девочка, держась за руки, ушли из дому и шли до тех пор, пока не пришли к бедной фанзе, которая стояла в глухом лесу.

В фанзе жили две женщины, — одна старая, другая молодая.

— Кто вы? — спросили их женщины.

Дети рассказали, и старуха дала им по груше. Когда дети съели груши, женщины дали им три фонаря и сказали:

— Идите прямо, и вам попадетсЯ избушка на пути.

Вас не будут пускать, но вы дайте один фонарь. Потом вам встретится прозрачный мост, вас не будут пускать, но вы дайте другой фонарь. Наконец, когда подойдете к старому, как мир, дворцу, отдайте третий фонарь.

Так все и случилось. Их не пускали в избушку, но они отдали фонарь, и их пустили. Там было темно, и девять дней они шли темным коридором. Затем они вышли на свет и увидели такой сад и такие цветы, каких еще не видали.

Они подошли к прозрачному мосту через реку, вода которой была нежнее цвета неба.

Они отдали другой фонарь и перешли мост.

Тогда дети подошли к старому, как мир, дворцу и отдали третий фонарь, и их впустили. В первой комнате они увидели женщину,

которую пилой разрезы-вали пополам. Эта женщина была их мачеха. Во второй комнате, в котле, варили человека — это был убийца. В третьей комнате в огонь зарывали человека и поливали его тремя рюмками горячей сули. Это был человек, не заботившийся о могилах своих предков.

В четвертой — блуднице отрезали губы...

Так они прошли много, много комнат, когда увидели человека, который ел семь закусок и прекрасные блюда, — это был праведник.

В следующей, большой и светлой комнате, была их мать.

И к ним пришел сам Оконшанте.

— Это ваш дедушка, — сказала детям мать.

— Да, — сказал Оконшанте, глядя детей по головке, — я ваш дедушка, потому что она моя дочь. Это я вам послал груши и три фонаря, с помощью которых вы пришли ко мне на небо. Вы не возвратитесь больше на землю, вы всегда теперь будете жить с вашей матерью и будете играть в этом саду.

И он отворил дверь, и дети увидели такой сад, какого нет на земле. И они скоро забыли про землю.

Судья

Прежде, когда должности не продавались, а приобретались знанием, начальство в Корее было умное.

Жила однажды красивая женщина, жена хозяина постоянного двора. Хозяин пил и играл, а она вела все дело.

Все заглядывались на прекрасную женщину, но она ни на кого не обращала внимания, пока не пришел некий Ким-ки, родом из Хериона. И хотя он шел далеко, но красота хозяйки удержала его, и, видя и с ее стороны поощрение, он решил остановиться у нее на ночлег.

Ночью, когда хозяин ушел, по обыкновению, играть в карты, он осторожно прошел к ней в спальню.

Наступив на что-то мокрое, он вздул огонь и увидел, что это была лужа крови. Тут же лежала и мертвая хозяйка с ножом в груди. Он хотел бежать, но вспомнил, что в эту ночь в гостинице ночевал он один, и, следовательно, в случае его бегства, его нагонят и обвинят. Но и так было не легче: все улики были против него, и он решил покориться своей участи.

Утром пришел хозяин и, застав Кима с своей убитой женой, отправил его в тюрьму.

На вопрос судьи Ким, боясь пыток, сказал, что он убил.

Но судья, внимательно осмотрев труп, вынул нож и, увидев, что нож Кима при нем, спросил его:

— Где ножны от этого ножа?

Их не было у Кима-ки.

Тогда мудрый судья приказал всем жителям принести свои ножи.

Перемешав их и подсунув и этот нож, судья приказал взять назад свои ножи.

Все взяли ножи, и остался только подсунутый.

— А это чей же нож?

— А это нож пэк-тей Цсяя, — сказал его сосед. Пэк-тей — значит мясник.

Этого только и надо было судье. Он приказал схватить Цсяя, посадить его в тюрьму и надеть ему ниже колен деревянные клещи.

Эти клещи сжимали до тех пор, пока кости на ногах у Цся не лопнули, и, не выдержав больше боли, он сознался, что убил ее за то, что она не соглашалась быть его любовницей. Тогда ему отрубили голову.

Богатырь

Жил министр Со-сын-шан.

Против него была устроена интрига, и император уволил его.

Со-сын-шан поселился с женой в глухом, уединенном месте и, оскорбленный несправедливостью, никого не хотел видеть.

Он желал одного только сына, но сына у них не было.

Тогда жена его, Чен-си, пошла с рабой своей в монастырь к бонзам.

Один бонза, встретив ее у монастыря, сказал ей:

— Я знаю, зачем ты пришла, — иди за мною.

Он привел ее на святую гору, а так как уже была ночь, то она легла спать.

Ночью ей приснился сон: видит она, что на небе Большая Медведица (Чир-шей) движется и, приняв образ человека, пронизывает ее серебряными лучами.

Когда она проснулась, бонза сказал ей:

— Иди домой и жди.

Прошло двенадцать месяцев, и Чен-си родила бесследно ребенка, и так как у этого ребенка были крылья, то он и улетел на святую гору.

Иногда только он прилетал к своей матери, чтобы кормиться ее молоком, так что сама мать не знала об этом.

Родители, по обычаю, молчали о случившемся, так как иначе сын никогда не возвратился бы больше к ним.

Мальчик рос на святой горе и назывался Со-дэ-шан. Великий Тонн учил его наукам и военному делу, и так шло, пока Со-дэ-шану не минуло шестнадцать лет.

Тогда он стал проситься у Тонна домой.

— Ты богатырь и не для того создан, чтобы жить жизнью смертных. Сперва надо совершить возложенное на тебя дело, и тогда уже разыскивай себе родных и жену. Знай, что великан государства Танара воюет с Шабуаном. Богатырь Шабуана Ка-тар-ион уже дважды победил нашего богатыря Чун-чи-ли. Иди и победи Ка-тар-иона.

— Но у меня нет ни меча, ни шлема, ни щита, ни всего одеяния богатырского.

— Ты получишь его на могиле предков.

Тогда Со-дэ-шан отправился на могилу предков, совершил поминовение и уснул. Во сне явился к нему белый старик и принес ему все богатырское одеяние.

Когда Со-дэ-шан проснулся, он увидел возле себя богатырское одеяние и оделся. В это время с неба спустился огненный конь, сев на которого он отправился к императору.

Когда император узнал, что богатырь — сын изгнанного министра, он выразил удивление, что сын не только не хочет мстить, но даже берется защищать страну от врагов.

Император дал ему войско и подчинил ему своего богатыря Чун-чи-ли.

Со-дэ-шан прежде всего устроил пир своему войску и пировал с ним три дня. Потом он спросил своих воинов:

— А может быть, и не стоит на войну идти, и не лучше ли всю жизнь так пировать?

— Нет, — сказали воины, — надо врага изгнать из нашей страны.

— Ну, тогда пойдем и прогоним.

Со-дэ-шан пришел как раз тогда, когда Чун-чи-ли занимался единоборством с Ка-тар-ионом. И Ка-тар-ионы уже убили Чун-чи-ли.

Тогда рассердился Со-дэ-шан и бросился на врагов. После жестокой битвы неприятель был разбит. Но Ка-тар-ион не падал духом. Он хотел поджечь лагерь Со-дэ-шана и отправился туда ночью.

Но ор попал в руки самого Со-дэ-шана, и тот убил его.

Тогда император Шадуана собрал все войско и пошел на Со-дэ-шана.

Но Со-дэ-шан разбил императора и самого его захватил в плен.

Таким образом, империя Шадуан была присоединена к империи Танара.

Любовь

Чун-хян была красива, как звезда на небе, но вела жизнь легкую, и ласками ее пользовались многие.

Так жила она, пока не пришел к ней Ли-то-рен, сын местного начальника, тасы. Она полюбила его и не хотела больше никого знать.

Так они жили, пока отца Ли не прогнали со службы, так как в грабеже он перешел все пределы, и что город разорен и нечем больше платить подати, стало известно королю в Сеуле.

Его имущество отобрали в казну, а его и его семейство сослали в ссылку.

Ли расстался с Чун-хян, но сказал ей на прощанье:

— Жди меня. Я люблю тебя, и когда срок кончится, я приду за тобой. Тогда мы уйдем из этого города куда-нибудь, где нас никто не знает, и будем там вместе жить.

Но, когда приехал новый таса, он скоро узнал (так как в городе все знали друг про друга), кто такая была Чун-хян.

Тогда он приказал привести ее к себе.

Чун-хян не хотела, и ее силой, на руках, принесли к тасе.

— Зачем ты не хотела сама прийти ко мне? — спросил ее таса.

— Потому что я люблю Ли и не хочу больше никого другого любить.

— Глупая, — сказал ей таса, — ты красива и молода, и я понимаю, почему Ли любил тебя, но он не стоит тебя, и отныне ты будешь любить меня.

Но Чун-хян не хотела и отказалась от всех предложений тасы.

Тогда таса посадил ее в тюрьму. Это не помогло. Тогда таса сказал:

— Бейте и секите ее каждый день, пока она не сделается старухой.

И так секли и били прекрасную Чун-хян, пока не пропала ее красота.

Тогда таса приказал отпустить ее на волю.

Она возвратилась в свой дом и там жила в ожидании того, кого любила.

Много лет прошло, когда в город пришел один человек.

Он остановился в гостинице и стал расспрашивать о тех, кто живет в городе, и он узнал все про Чун-хян, как мучил ее таса и как теперь живет она уединенно в своей фанзе.

Тогда Ли пошел к ее дому и постучался.

— После стольких лет беспокойно стало вдруг мое сердце, — сказала Чун-хян, услышав стук, и сама пошла отворять.

Они сразу узнали друг друга, потому что Чун-хян стала опять удивительно молодой и прекрасной.

Они оставили этот город, где все еще жил ненавистный таса, и поселились далеко-далеко, забыв в счастливой жизни о пережитых невзгодах.

Два камня

Висели два камня над рекой. Один, пониже, был всегда в воде, другой, повыше, был всегда наверху.

Который пониже был, говорит:

— Хоть раз бы мне увидеть, что делается на земле.

А который повыше был, говорит:

— Хоть раз бы закрыло меня водой.

Вот и пришел раз такой сухой год, что и нижний камень увидел землю.

Но было сухо и все выгорело, — у людей не было хлеба, скот ревел без корму, и все кругом было желто, как и лучи солнца.

— Плохо же жить на земле, — сказал камень, — еще немного, и растрескается вся моя красивая наружность. То ли дело, как жил я раньше: прозрачная вода бежала мимо меня, веселый хоровод рыбок кружился и прятался подо мной, когда проходила лодка рыбака вверху надо мной, и то-то была потеха, когда сверху падал кусок чумизы, — сколько, сколько рыбок набегало тогда ко мне в гости.

И он был очень рад, когда вода снова закрыла его и он ушел в свое царство.

Пришел другой год, и вода поднялась так высоко, что залила верхний камень.

Но вода была мутна и грязна, и, как камень ни таращился, он ничего не увидел, и только грязи набилось в него.

— Фу, какая гадость, — сказал камень, когда увидел опять свет, и уже не хотел больше опять очутиться под водой.

Сын тысяченожки

Хотя тысяченожкам не везет в Корею, так как любопытнее корейца, как известно, нет человека на свете, но одной, тысяченожке удалось все-таки найти такого человека, который все три месяца ни разу не заглянул к ней в комнату.

После этого тысяченожка стала такой же, как все, женщиной и родила здорового и сильного мальчика, которого до девяти лет звали Шуади, что значит теленок, а затем Тон-чу-ди.

Судьба таких детей от матери, бывшей тысяченожкой, всегда необычайна.

До тринадцати лет он воспитывался дома, в тринадцать его отдали к бонзам, а в шестнадцать лет он блистательно кончил свое ученье и отправился домой.

По дороге, на берегу одной реки, он увидел, что мальчики поймали хорошенькую рыбку и спорили о том, кому она принадлежит. Тон подошел, взял рыбку в руки и вдруг увидел, что из глаз ее текут слезы.

Тогда он купил рыбку, пустил ее обратно в реку и продолжал дорогу.

Через некоторое время подъехал к нему человек на прекрасной лошади без шерсти. Этот человек сказал ему:

— Мой господин просит вас к себе в гости.

Слуга слез с лошади и предложил ее Тону.

— Одно условие, — сказал слуга, — надо завязать вам глаза.

Тон согласился, и они отправились в путь.

После некоторого времени слуга снял с Тона повязку, и Тон увидал перед собой большой прозрачный дворец.

Все кругом двигалось, было странно и не похоже на землю.

— Где я?

— В океане, во дворце морского царя.

— Зачем он позвал меня?

— Это он вам сам расскажет.

Когда Тона привели к морскому царю, тот сказал ему:

— Сегодня ты спас мою дочь. Я позвал, чтобы поблагодарить тебя. Чего ты хочешь?

— Которую из дочерей я спас?

— Вот эту, самую младшую, Мор-цанье, которую я в первый раз сегодня выпустил на волю, и она так неосторожно попала к людям и без твоей помощи погибла бы.

Мор-цанье была гораздо красивее всех тех, которых он видел на земле, и поэтому он сразу полюбил ее.

Что до Мор-цанье, то она еще раньше, когда Тон рыбкой держал ее в руках, полюбила его.

— Я в награду хочу жениться на Мор-цанье, — сказал он.

— Пусть будет так, — сказал царь и сыграл веселую свадьбу.

Через три года Тон соскучился по земле.

— Пойдешь ты за мной на землю? — спросил жену.

— Пойду. Уходя, когда отец предложит тебе подарки, возьми только без шерсти лошадь, которая бежит тысячу ли в час; собачонку, которая как только залает, амбар наполняется рисом, и аршин, которым если мерить материю, то ее делается в десять раз больше.

Так и сделал Тон.

Возвратившись на землю, он поселился в Сеуле и, с помощью лошади, собаки и аршина, сделался богатым человеком.

В это время отец его уже умер.

Мать сказала сыну:

— Когда я была тысяченожкой, то жила возле горы одного змея. Через десять дней кончится ему три тысячи лет, и он, превратившись в дракона, улетит в небо. Таким образом откроется новая императорская могила, там и похорони своего отца.

Так и сделал сын.

Счастливым днем для похорон оказался как раз тот, в который змей должен был превратиться в дракона.

Накануне Тону приснилось, что пришел к нему морской царь и сказал: «Передай змею, когда его увидишь, поклон от меня».

Проснувшись и вырвав кости своего отца, Тон отправился к горе змея.

У подножья он встретил множество народа и узнал, что змей никого не пропускает, убивая всякого, кто подходит к нему.

— Сегодня счастливый день для похорон отца, и я должен идти, — сказал Тон и пошел.

Увидев разинутую пасть змея, он испугался, но вдруг вспомнил свой сон, поклонился и сказал:

— Я принес тебе поклон от морского царя.

Этого слова только и ждал змей.

В то же мгновение он превратился в дракона и улетел в небо, а гора с грохотом и треском лопнула и раскрылась. Тон, не медля ни минуты, бросил в нее кости своего отца, после чего гора опять закрылась.

Вскоре после того Тон получил место губернатора, род его возрос, и последняя из его рода вышла замуж за императора.

Сим-Чен

Давно-давно, когда еще не приходили японцы, когда еще монахи Будды, в своих больших шляпах, были священными гостями и не запрещали им выходить из своих монастырей, в королевстве Сан-нара жил бедный слепой старик с своей женой.

Его звали Сим-поис, а жену Кванситун.

У них не было детей, и это было их главное горе.

И потому, когда родилась у них дочь Сим-чен, радости их не было конца.

Но на восьмой день Кванситун умерла, и слепой Сим-поис остался с своей маленькой дочкой.

Он носил ее на руках из дома в дом, и везде, где были матери с грудными детьми, они кормили Сим-чен своей грудью.

Так незаметно вскормили Сим-чен, так же незаметно и выросла она и стала самой красивой девушкой, какая когда-либо была на земле.

Все говорили об этом ее отцу, но Сим-поис отвечал всегда:

— Я слепой и не знаю того, о чем вы говорите мне.

Но раз мимо его фанзы проходил монах и, услышав его, спросил:

— А что бы ты дал великому Будде, если бы он возвратил тебе зрение?

— Я дал бы ему триста мешков рису, — сказал Сим-поис.

— Откуда ты, бедный слепой, достанешь столько рису? — спросил монах.

Сим-поис ответил:

— Что говорю я, то верно, потому что нет такого человека, который осмелится обмануть Будду.

— Хорошо, — сказал монах, — приноси рис в монастырь, и ты получишь зрение.

Монах ушел, а Сим-поис стал думать о том, как он мог обещать столько рису и откуда ему достать его.

Но, сколько он ни думал, он ничего не мог придумать.

Тогда он загрустил и перестал принимать пищу.

— Отчего, отец, ты не ешь ничего? — спросила его Сим-чен.

— Я не скажу тебе, отчего я не ем ничего, — ответил отец.

Тогда заплакала Сим-чен и сказала:

— Разве я не забочусь о тебе? Разве я не отдам за тебя жизнь, чтобы видеть тебя опять веселым?

Тогда Сим-поис рассказал ей все.

— Не печалься, отец, и ешь: это Будда так велел тебе сказать, и он сам и исполнит все.

Через некоторое время пришли к ним купцы, которые собирались ехать через море за товарами в Нан-сан. Они пришли купить девушку, чтобы принести ее в жертву морю, когда море рассердится и начнет их топить.

— Купите меня, — сказала Сим-чен, — за триста мешков рису.

Купцы подумали и согласились.

На четырнадцатый день третьего месяца купцы назначили свой отъезд.

Последняя ночь оставалась только, Сим-чен сидела у изголовья своего отца и тихо плакала.

Одна слеза упала отцу на лицо, и проснулся он.

— Дочь моя, зачем ты плачешь?

Сим-чен испугалась:

— Не спрашивай меня, отец.

— Нет, я спрашиваю. Я твой отец, и ты должна мне все сказать.

— О отец, не спрашивай меня.

— Так ты чтишь предков, так почтут и тебя. Иди от меня.

Испугалась Сим-чен еще больше и все рассказала отцу.

Заплакал слепой:

— О дочь моя, дочь, зачем ты так сделала, — я запрещаю тебе.

И он пошел к купцам и сказал им:

— Не отдам я вам свою дочь, берите свой рис назад.

— Рис мы уже отправили в монастырь, — ответили ему купцы.

Тогда старик упал на землю, рвал на себе волосы и кричал:

— Зачем отнимают у меня дочь? На что мне на старости лет глаза, чтобы выплакать их опять? Она молодая, я старый...

Но Сим-чен нежно обнимала его и говорила:

— Не говори так, отец: часто на старом дереве цветут цветы, и нет их на молодом... Это воля богов, и я не боюсь смерти...

Так ушла Сим-чен с купцами, и ее провожали подруги, которым говорила она:

— Не плачьте обо мне, а если вы меня любите, то кормите моего отца и ходите за ним так, как ходила я. Не плачьте, потому что я не боюсь смерти и рада умереть за своего отца.

Все пришли, и все слышали ее слова, и глава рода их, старик, еще больший, чем ее отец, сказал ей:

— Ты великая девушка, и надо, чтобы всякий делал то, что он может. Ты не умрешь и из рода в род будешь жить с нашими предками, и между первыми из них ты будешь первая. — И, повернувшись к Сим-поису, он сказал ему: — А ты ее отец, и твой почет с ней.

Так сказал древний, как век, старик, глава их рода, и что сказал он, то так и будет.

И все это слышали и плакали.

И плакали купцы и прибавили еще денег на пропитание слепого Сим-поиса.

А потом они сели на корабль и увезли с собой Сим-чен.

Сперва они плыли благополучно, море было тихое, и часто на его поверхности показывались русалки.

Они кивали Сим-чен головой и жалели ее.

Сим-чен сидела и тоже грустно кивала и думала: «Скоро, скоро мы с вами увидимся».

А потом поднялась буря, и спряталось солнце в своем золотом дворце. И с громом запирались окна дворца темными ставнями, и стало темно, и бешеные волны поднялись выше корабля.

Тогда Сим-чен потребовала себе сосуд с чистой водой — чен-хвашу — и стала молиться за спутников.

Помолившись, она мужественно подошла к борту корабля и, закрыв глаза руками, бросилась в бушующее море.

— Так прекраснейшая из прекраснейших роз «кангсенхва» оторвана от родной ветки и унесена неумолимым потоком, — сказал один из купцов, в то время как остальные в немом ужасе смотрели в мрачные и темные бездны океана.

Но уже конец страшной буре, отворяются двери золотого дворца солнца, и уже плядит оно из-за рядов своих и золотистых, и

пурпурных, и оранжевых башен, из своей нежно-лазуревой дали на убегающий по зелено-прозрачным волнам корабль.

А Сим-чен ушла в подводное царство и увидела там столько чудес, что забыла про землю.

Прошло три года.

Поехали купцы назад, на родину, с богатой добычей.

Плывут они по морю и видят, что там, где принесли они Сим-чен в жертву морю, плавает лучшая из роз «кангсенхва».

Взяли они эту розу и сказали:

— Это прекрасная Сим-чен превратилась в эту розу.

Когда приехали купцы на родину, им рассказали, что молодой король их очень болен, и может его вылечить только цветок «кангсенхва».

Тогда они пошли к королю и продали ему за большие деньги цветок.

Тогда морской бог спустил Сим-чен через радугу назад на землю, прямо в королевский сад.

Спит Сим-чен, и снится ей, что пришла к ней мать и говорит ей:

— Ты будешь королевой.

Проснувшись Сим-чен и видит, идет к ней молодой король и держит в руках прекрасный «кангсенхва».

— Кто ты?

— Я не знаю, — и Сим-чен говорила правду, она забыла про землю.

— Красивее тебя, — сказал ей король, — я не видал никогда, и ты будешь моя жена.

И, когда сыграли свадьбу, Сим-чен вспомнила, как жила она прежде на земле, вспомнила отца.

Она рассказала все своему мужу.

Если бы она до свадьбы вспомнила, не была бы королевой по закону, так как была незнатного рода.

Но теперь уже все было сделано, и король послал за ее отцом.

Когда привели ее отца, королева обрадовалась и спросила:

— Ты всегда видел, старик?

— Нет, я не всегда видел, — сказал старый Сим-поис, но моя дочь умерла за меня, и я стал видеть.

Тогда заплакала королева и сказала:

— Я твоя дочь. Ты не узнаешь разве моего голоса?

То-то была радость. Король назвал старика своим тестем, и жили они все трое и долго и счастливо.

Только и грустила иногда Сим-чен, когда вспоминала злой обычай бросать молодых девушек в море, но король говорил, утешая ее, что, может быть, и их судьба не хуже ее.

Честный человек

Когда-то в Сеуле жил бедный, но честный человек.

Он был честный, но беспокойный, — до всего ему было дело.

Родственники достали ему место сторожа городских ворот.

Надо было ему смотреть, куда из города ходит один из министров.

Он ходил к своей возлюбленной, и сторож всем об этом рассказал.

Министр приказал его отстегать плетьюми и прогнать, но, к счастью, скоро и самого министра за излишнее воровство отстегали и сослали в ссылку или отдали в рабство.

А сторож опять получил свое прежнее место. Но и на этот раз он недолго ужился на нем.

Заметил сторож, что красивый бонза, как только наступит вечер, входит в город.

— Зачем он из своего монастыря шляется сюда каждую ночь? Это неспроста.

И вот однажды, заперев ворота, он выследил, в какую фанзу скрылся монах.

Это был дом очень богатых людей. Бонза вошел в женское отделение.

— О-го, — сказал сторож и осторожно подкрался к окну.

Окна в Корее бумажные, и, сделав маленькое отверстие, сторож мог видеть все, что происходит в комнате.

Там спал маленький, лет десяти, мальчик, а возле него сидела красивая женщина. Это была жена мальчика.

Каждый раз, как мальчик-муж засыпал, к ней приходил монах — бонза, и всю ночь они целовались.

Сторож видел, как и теперь монах обнял чужую жену, и слышал, как он говорил ей;

— Мне надоело так тайком ходить к тебе, я убью твоего мужа, и тогда поневоле ты пойдешь за мной. Мы уйдем далеко отсюда и будем самыми счастливыми людьми.

Он уже вынул нож, но в это время сторож, открыв окно, бросился в комнату, выхватил у бонзы нож и заколол его и жену.

От шума проснулся мальчик.

— Как ты смел убить мою жену? — крикнул он и бросился на сторожа.

— О глупый, — сказал ему сторож и толкнул его так, что он упал, а сторож выскочил в окно.

— Ну, — сказал он сам себе, — теперь я так хорошо устроил свои дела здесь, что мне только и остается, что быть повешенным.

Он этого не хотел, и, бросив дом и семью, в глухую ночь бежал из Сеула.

Прошло много лет.

Муж-мальчик вырос, дослужился до министра и вышел в отставку.

Но он никогда не оставлял мысли отомстить за жену.

Выйдя в отставку, он поселился в одном городе и открыл даровой ночлежный приют.

Каждого, кто приходил к нему, он расспрашивал, кто он и откуда.

А приходило много: всякий хотел даром поесть и поспать.

Вот однажды пришел один старик.

— Отчего ты, старик, такой печальный?

— Оттого, что я не нашел правды на земле. Все, кому я делал добро, все они выходили моими злейшими врагами. На старости лет я нищий, навсегда разлученный с своей семьей.

— Почему ты с ней разлучен?

Старик рассказал все.

— Я искал тебя, чтобы убить, а между тем ты спас мою жизнь, — сказал хозяин.

Он обнял старика, дал ему много денег и сам отвез его к его семье в Сеул.

Ню-сан

В корейских деревнях нет школы, но в каждой фанзе, где есть ученик, дают на время помещение и школе, и ученику, и учителю.

Один ученик по имени Хон был сын богатых родителей и любил щеголять. Его костюм был сшит из тонкого репса, а на ногах он носил щегольские китайские башмаки.

В одной из фанз была красивая девушка, которую Хон полюбил.

И девушка полюбила его.

Вечером они сходились за фанзой, где назначали свидание друг другу.

Девушку эту полюбил и учитель, Ню-сан, что значит три листа вербы.

Однажды Ню-сан усыпил Хона, оделся в его платье и пошел вместо него на свидание.

Но девушка не далась в обман. Тогда рассерженный Ню-сан заколол ее.

Но затем, испугавшись, он убежал, забыв на месте туфли Хона.

На другой день убийство обнаружилось, и так как там были туфли Хона, то его и схватили.

Хон, ввиду таких неотразимых улик, чтобы избежать пытки, взял вину на себя.

Его приговорили к смерти, и губернатор утвердил приговор.

Но душа девушки не хотела его смерти.

Она сорвала три листа вербы и бросила их на губернатора.

— Ню-сан, что значит три листа вербы, без ветра упали на меня. Это что-то странно.

Настоящий Ню-сан, стоявший тут же, услышав вдруг свое имя, стал поспешно прятаться в толпе.

— Что это за человек там прячется? — спросил губернатор.

— Это Ню-сан.

— Нет, нет, это не я убил! — закричал Ню-сан.

Но ему не поверили и надели на него клещи. Их крутили до тех пор, пока кости ног Ню-сана не лопнули и он не сказал правды.

Тогда его казнили, а Хона отпустили.

Родовая месть

Еман-аман — родовая месть — страшная вещь.

Корейская пословица говорит, что жизнь одного убитого человека стоит тысячи жизней других.

Всякий носящий фамилию убитого, где бы он ни был, должен мстить убийце.

Но из рода убийцы тоже могут мстить.

И так продолжается часто из рода в род.

В прошлом году в городе Когни вот что случилось.

В округе Когни проживал некто Хан. У него в фанзе жила вдова его сына. На вдов охотников всегда много.

Некто Мун-дзи-нооги, женатый кореец, прослышав о вдове, отправился ночью с партией и, силой схватив, увез ее.

Родные защищали вдову, но безуспешно, и один из защищавших был убит при этом. Прошло два года, корейские власти считались с русскими, и так как Мун не считался русским подданным, то его и выдали корейским властям, которые и засадили его в Когни в тюрьму. Шесть месяцев продолжался суд, и так как Мун был богат, то его и оправдали на том основании, что-де не он, а один из товарищей его убил.

Тогда Хан решил распорядиться сам. С помощью родных ночью он проломал стену той тюрьмы, где сидел Мун, вытащил его из тюрьмы и проколол его ножом. Затем он разрезал ему живот, вынул печень и, по обычаю, откусив кусок, пожевал и выплюнул, а остальную печень бросил собакам.

Так как все родственники Муна живут в России и немного изменили свой взгляд на месть, то Мун так и останется неотомщенным в свою очередь.

Похороны

Прежде корейцы хоронили мертвых очень скоро после их смерти.

Но вот с каких пор обычай этот переменился.

У императора Шемуана была дочь, которую он очень любил.

Смерть ее в молодых годах убила таким горем императора, что он никак не мог решиться хоронить ее.

И вдруг на третий день она воскресла.

С тех пор и вышло распоряжение как можно дольше не хоронить покойников.

Богатые держат мертвых в домах до трех месяцев, заделывая их в парадные комнаты, оставляя им пищу. Бедные держат меньше и хоронят в нечетные и счастливые дни месяца. Такие дни они узнают или из календарей, или от предсказателей и шаманов.

С каких пор в Корее появилось тонкое полотно

Была одна очень странная и сильная девушка. Она жила в Тангани.

Когда пришло время выдавать ее замуж, ее выдали за одного бедного человека.

На свадьбе молодые называются королем и королевой. Они могут требовать все.

— Я хочу бычачьего мяса, — сказала она.

И нечего делать, пришлось для этого зарезать последнего быка.

Наевшись, она сказал-а:

— Я хочу курить.

И хотя в Корее курят только старые уже женщины, но ввиду свадьбы ей подали табак и трубку.

Затем, по обычаю, молодые три дня ничего не делали.

Но она и на четвертый день ничего не хотела делать, а спросила:

— Много ли у вас чумизы?

— У нас чумизы три меры.

— Дайте мне ее.

Она сварила из нее себе кашу и всю ее съела, оставив остальных голодными.

Все молчали, так как не принято бранить молодую.

Поев, она спросила:

— А что, есть у вас волокно?

Ей дали столько, что из этого количества можно бы было приготовить сто кусков полотна.

Но она сделала из всего один только кусок. Но это было такое тонкое полотно, какого еще не видали в Корее.

За него дали столько денег, что семья сразу разбогатела.

С тех пор и узнали в Корее о тонком полотне.

Змеи

Есть в Корее змей.

Он с виду похож на красивого парня. Передние лапы его похожи на руки, задние же могут обхватить человека. От задних лап идет хвост.

Змей любит самых красивых девушек. Он обольщает красавиц, и они, думая, что имеют дело с парнем, отдаются ему.

И тогда только они узнают ужасную истину. Но поздно: змей точно прирастает к ним. Так и ходят они, нося его на спине. Задними лапами он обнимает их за талию, а передние держит на плече девушки. Таких девушек называют змеиными девушками: курон-как-си.

Чтобы избавиться от змея — одно средство: сделать из дерева его изображение и осторожно показать его головку змею. Тогда, думая, что это его настоящая подруга, змей поползет к ней и освободит таким образом девушку.

Жена раба

У одного министра была дочь редкой красоты. Ее берегли так, что она не знала даже луча солнца, так как никогда не выходила из комнаты. Блеск золота заменял ей солнечные лучи.

Но тем не менее, когда пришла пора любви, девушка полюбила раба своего отца.

За такую любовь к рабу закон наказывает гражданской смертью. Виновный считается умершим, его гроб хоронят, делают надпись, что такой-то или такая-то скончались, оплакивают их Смерть, а самих их, бесправных, изгоняют из дома.

Отец девушки предложил ей, когда преступление было обнаружено, удалиться из его дома. Но так как она не хотела, то он послал одного из своих стражников разыскать самого последнего человека в королевстве. Стражник привел человека, который выжигал в лесу уголь.

Этот человек никогда не умывался и сам был черен, как уголь.

— Хочешь мою дочь взять себе в жены? — спросил отец.

— Хочу, — ответил угольщик.

— Бери и никогда не попадайся мне на глаза.

Угольщик взял свою жену и увел ее к себе в лес.

Она испугалась, когда увидела свой новый дом.

Это был простой шалаш, одинаково открытый и ветру и холоду. В кладовой же было пусто и не было даже горсти чумизы.

— Что же мы будем есть? — подумала она вслух.

На пороге сидела старушка, мать угольщика.

— А вот мы понесем на базар уголь, — сказала она, — и купим чумизы на завтра. А завтра купим на следующий день. Так и живем мы, так живут все угольщики.

И в это время жена угольщика обратила внимание на желтый камень, из которого была сделана завалинка вокруг их шалаша.

Она не знала солнечного луча, но хорошо знала, что такое золото.

— Возьми, — сказала она мужу, — один камень, отнеси в город и отдай его за столько, сколько тебе дадут.

Муж поехал и привез назад несколько возов денег. Так они продали все золото и стали так же богаты, как и их отец.

— Ты грамотный? — спросила она потом своего мужа.

— Нет.

— Тебе надо учиться.

Она наняла ему учителей, и через десять лет он был образован, как и ее отец.

Затем она купила ему должность министра, и отец первый приехал к ним с поклоном.

С каких пор женщины Кореи стали вести замкнутую жизнь

Вот с каких пор корейские женщины стали вести замкнутую жизнь.

Тысяча пятьсот лет назад царствовал в Корее знаменитый император О-шан-пу-он-кун.

Когда ему было шестнадцать лет, он ходил в школу и от товарищей слышал, что все женщины Сеула распутны. Он пожелал поэтому испытать свою жену и мать.

Однажды, когда жена его гуляла в саду, он, переодетый, выскочил из-за кустов, поцеловал ее и убежал.

Вечером жена его ничего не рассказала, но была задумчива.

Прошло еще два дня. Она перестала принимать пищу.

— Отчего ты ничего не ешь? — спросил ее король.

Тогда она заплакала и рассказала ему все.

— Я теперь обесчещена, и мне остается одно — умереть, потому я и не принимаю пищу.

Тогда король обнял ее и рассказал все, как было.

Относительно того, как испытать мать, король долго думал и решил прибегнуть к следующей хитрости. Он и два его товарища должны были, переодетые в Будду и двух его ангелов, появиться в буддийском монастыре, который тогда существовал в Сеуле, в то время, когда по случаю Нового года все женщины города будут в храме с обычными чашками риса. О замысле короля знал только монах, и от остальных все сохранялось в строжайшей тайне.

Поэтому, когда вдруг, во время службы, в храм вошел Будда с двумя ангелами, так, как их изображают на изваяниях, то монахи упали на землю, крича: «Сам великий Будда сошел на землю», а все бывшие в храме женщины потеряли голову от страха.

Мнимый же Будда, не теряя подходящего мгновения, сказал:

— Я пришел на землю, чтобы снять с вас ваши грехи, идите с вашими чашками рису ко мне и несите их столько, сколько у каждой любовников. Если которая хоть одного утаит, то тут же в храме будет мной казнена.

Тогда открылись удивительные вещи. Хотя и запасли монахи много рисовых чашек, но их не хватило, и они много раз бегали за ними на базар. Хорошие дела они сделали в тот день, да и король узнал, что из всех его подданных женщин только и были невинных две: его жена и мать. У остальных же было по два, по три и до десяти мужей. Его ангелы записывали женщин и их мужей, а на другой день король написал и расклеил везде объявления, в которых сообщил, сколько у каждого из его министров жен и сколько у каждой из них возлюбленных.

А чтобы впредь ничего подобного не могло быть, король и издал им правила, по которым и до сих пор живут женщины Кореи.

Ко и Кили-си

Когда-то жил в одном городе молодой человек по имени Ко. Он был бедный и служил работником у своего соседа. Он был трудолюбив, хорошо обращался с своими товарищами, и потому все любили его. И так как он был не женат, то все хотели, чтобы он женился. Однажды для этого жители города собрались на совещание и решили, что девушка по имени Кили-си, слава о которой далеко ушла за пределы города, лучше всего подойдет к нему. Отец девушки тоже был согласен. Таким образом Ко женился на Кили-си.

Был выбран для свадьбы как раз тот день, который лучше всего подходил к ним. Это был восьмой день третьего новолуния.

Когда после свадьбы молодые были отведены в их помещение, Кили-си сказала Ко:

— Ты молодой и способный человек, ты можешь сделаться большим человеком, и время у тебя есть. Тебе всего восемнадцать лет. Я люблю тебя, но хочу любить еще больше. И я не буду твоей женой до тех пор, пока ты не научишься читать, писать, пока ты не узнаешь всех наук.

— Но для этого надо не меньше десяти лет, — вскричал Ко.

— Десять лет в работе скоро пройдут, а я буду ждать тебя и заниматься хозяйством.

— Я исполню твое желание, но через год. А этот год я хочу прожить с тобой, потому что ты прекрасна и я люблю тебя.

— Нет, если ты теперь не исполнишь моей просьбы, то через год я ничего не буду для тебя стоить. Если же ты любишь действительно меня, то сделай, о чем прошу.

— Хорошо, — сказал Ко, — я исполню твое желание, но я тоже ставлю условие: ты должна быть на эту ночь моей женой, и затем я уйду и возвращусь опять к тебе через десять лет, когда буду таким, каким ты желаешь меня видеть.

— Хорошо, я исполню твое желание, но сперва мы должны заключить условие между собой.

Она обрезала свой третий палец правой руки и из полившейся крови сделала знаки клятвы на краю своей юбки. Затем она оторвала

написанное, разорвала пополам, одну половину отдала ему, а другую спрятала у себя.

На другой день, когда все проснулись, Ко уже не было, и никто не знал, куда он ушел.

Кили-си дала Ко на дорогу несколько книг и немного денег.

Ко шел по дороге и думал, как он может сделаться ученым человеком. Так шел Ко и пришел в одно селение.

Проходя по улице, около одной фанзы, он услышал голоса учившихся школьников и сообразил, что это школа. Тогда он вошел в нее и сел.

Учитель спросил его:

— Кто ты?

— Я ученик, — ответил Ко.

— Где твои книги? Ко показал.

— Прочти, — сказал учитель. Но Ко не умел читать.

— Ты не ученик, а мошенник, ты хочешь только даром чумизу есть. Мои ученики уже много знают, и некому здесь с тобой возиться: иди.

И Ко ушел.

— Нет, никогда мне ничему не выучиться, — сказал он, — лучше я пойду в лес, и пусть меня разорвут тигры.

И он ушел в лес. Он шел все дальше и дальше и зашел в такую чащу, что потерял дорогу. И хотя он и хотел умереть, но когда услышал возле себя шум, то, подумав, что это тигры, быстро спрятался.

Но это были не тигры, а монахи, монастырь которых под черепичной крышей стоял в этом лесу.

— Это тот самый мошенник, который прошлой ночью хотел нас обокрасть, — сказал один монах.

И все бонзы тогда стали бить Ко.

А потом его связали и отправили в тюрьму.

Три дня Ко молчал от страха.

Но потом, когда пришел главный начальник, таса, и сказал, что Ко не имеет вида разбойника, и заговорил с ним ласково, Ко пришел в себя и рассказал все, что с ним случилось.

— Хорошо, — сказал начальник, — если ты действительно хочешь учиться, то оставайся у меня, носи дрова в дом, а я буду сам учить тебя.

Так и сделал Ко. Пять лет он прожил у тасы и сказал ему таса, что он может идти в Сеул и держать там экзамен, на какую хочет должность в Сеуле.

Тогда еще в Сеуле не продавали за деньги должностей.

И хотя десять лет, положенных ему его женой, не прошло, но Ко пошел в Сеул.

Там ему и другим назначили день экзамена.

Сам король задал всем такую задачу:

«Соип-охы-ую-си-дзюн», что в буквальном переводе значило: «Смех, женщина, виноторговля, центр».

Из всех Ко один и прочел и истолковал, что хотел этим сказать король.

Вот что он хотел сказать:

— «В центре города есть виноторговля, где торгует красивая женщина и своим весельем и смехом привлекает всю молодежь».

Ко дали лучшую должность Пон-эса, что значит ревизор всех провинций.

Прошло еще три года, и, хотя срок еще не истек, Ко решил посетить родину.

Но он приехал и остановился в фанзе, где его никто не знал.

— Скажите мне, — спросил он, — есть ли здесь человек по имени Ко и что вы знаете о нем?

— Да, восемь лет тому назад, — отвечали ему, — был здесь Ко, но после свадьбы он ушел, и с тех пор никто больше его не видел.

— Куда ушел он?

— Мы не знаем, — здесь осталась только жена его.

— Что это за женщина?

— Это очень добродетельная женщина. Она выстроила себе прекрасную, под черепичной кровлей фанзу и живет там с своим сыном, которому семь лет. Она устроила школу, где бесплатно занимаются наши дети.

— Я ревизор, — сказал Ко, — и должен осмотреть школу.

— Идите туда, там вас встретит полное гостеприимство, хотя самой хозяйки вы и не увидите, так как после ухода мужа она никому не показывается.

Когда Ко пришел в школу, все ученики его ждали. Он вызывал каждого из них и спрашивал фамилию.

Один из них на вопрос, как его фамилия, ответил:

— Меня зовут Ко.

Но отец не выдал себя и, кончив экзамен, ушел. Прошло еще два года.

Кончилось десять лет, и Ко поехал опять к себе на — родину.

Он опять пришел в школу и сказал сыну:

— Я хочу видеть твою мать.

— Мою мать нельзя видеть.

— Отнеси ей эту вещь.

Это была половина лоскутка, исписанная десять лет тому назад ее кровью.

Сын молча ушел к матери.

— Там какой-то чужой человек желает тебя видеть и дал этот лоскуток.

Кили-си, как только увидала лоскуток, крикнула:

— О сын мой, зови его.

— Мать, что это значит? Разве это твой муж?

— Да, это мой муж и твой отец.

Так возвратился домой Ко, сдержавший свое слово, и зажил с своей верной и умной женой.

Клятва

У Ян-сын-шеня, министра, был сын Ян-сан-боги, который до тринадцати лет учился дома, а затем отправился в монастырь к бонзам кончать свое образование, чтобы к своему совершеннолетию, шестнадцати годам, быть вполне образованным человеком.

По дороге в монастырь он проходил как-то под вечер мимо одной фанзы, принадлежавшей простому сельскому дворянину Хуан-сан-ше.

Дочь этого дворянина, тринадцатилетняя красавица Хуан-чун-вонлей, увидав юношу, послала рабу спросить, как зовут его.

Когда раба принесла ответ, девушка сказала:

— А спроси его, не хочет ли он немного отдохнуть с дороги?

Ян-сан принял предложение и вошел в дом. Когда он разговаривал с хозяином фанзы, отцом Вонлей, последняя вызвала отца и сказала ему:

— Позволь мне, отец, выйти к этому юноше.

— Но разве возможно это, — ты девушка, да к тому же просватанная?

— Отец, я переоденусь мальчиком.

Вонлей была единственная и к тому же балованная дочь, и она так горячо просила, что отец наконец согласился.

Девушка, переодевшись мальчиком, вышла к гостю, и они очень скоро подружились.

— Когда вы родились? — спросила юношу Вонлей.

— Я родился тринадцать лет тому назад, в третью луну, пятнадцатого дня, в обеденную пору.

— Как это удивительно, — сказала девушка, — ведь это мой год, день и час рожденья.

Гость, по приглашению отца, остался у них ночевать.

Дочь же опять пристала к отцу с новой просьбой — отпустить ее с этим юношей к бонзам учиться.

— Отец, я оденусь мальчиком, и, клянусь тебе именем покойной матери, никто никогда не узнает, что я девушка. А в шестнадцать лет я вернусь и выйду замуж за того, кого ты назначил мне в мужа. Эти же три года, единственные, которые остаются у меня свободными,

позволь мне употребить на приобретение знаний, так как знание есть счастье.

Это было верно, и многие из подруг Вонлей, как и она, знали уже хорошо и мужскую и женскую грамоту.

Долго не соглашался отец. Но она так просила, плакала и уверяла, что умрет, если отец не исполнит ее желания. Отец наконец сдался.

Он взял с нее ещё раз клятву, что она не откроет своего пола.

— Будь покоен, отец, я исполню свой долг.

— Что бы вы сказали, — спросила на другой день Вонлей своего гостя, — если бы и я пошел с вами учиться к бонзам.

Ян-сан был очень рад этому и сказал, что само небо посылает ему такого товарища.

После этого они отправились в монастырь. Это было прекрасное путешествие. Когда приближалась ночь, они разводили костер, чтобы не съели их тигры и барсы, и весело разговаривали. Затем они ложились спать и беззаботно спали до утра. Однажды Вонлей сказала:

— Мы товарищи; почему нам не говорить друг другу «ты».

И они стали говорить друг другу «ты».

— Мы родились с тобой в один и тот же день и час, — сказала Вонлей на другом привале, — так нам надо побрататься.

И они побратались.

Для этого они написали своей кровью свои имена на одежде, отрезали написанное и, обменявшись, спрятали эти знаки у себя на груди.

Когда же они пришли к бонзам, великий Тонн (предсказатель) стал учить их всем наукам.

Ян-сан и Вонлей не могли жить друг без друга и никогда не разлучались.

— Скажи мне, — спросил однажды Ян-сан девушку, — отчего ты спишь всегда в платье, когда обычай наш спать голыми?

— Когда я был маленьким, я так заболел, что чуть не умер, — ответила Вонлей, — тогда отец дал клятву, что, если я выздоровею, то до шестнадцати лет буду спать в одежде.

Однако от мудрого Тонна не скрылся пол Вонлей. Когда обоим исполнилось пятнадцать лет, он послал их купаться.

— Ты ничего не заметил, внук мой? — спросил Тонн Ян-сана, когда они возвратились с купанья.

— Я ничего не заметил, дед мой, кроме того, что брат мой, который купался выше меня по реке, порезал себе ногу, и потому на реке показалась кровь.

Прошел еще год, ученье кончилось, обоим минуло шестнадцать лет, и Тонн, призвав Ян-сана, сказал ему:

— Внук мой, ты кончил ученье, и пришло время избрать тебе подругу жизни, потому что жизнь человека, не имеющего потомства, ничего не стоит. Такой человек как будто не жил. И ты заслуживаешь по своим знаниям, трудолюбию и чистоте души лучшей из женщин. Она ближе, чем ты думаешь, к тебе. Я говорю о твоём товарище. Знай, это девушка, и лучшая из девушек.

Вечером Ян-сан сказал Вонлей:

— Недаром так рвалось мое сердце к тебе, недаром так любил я тебя, и теперь, когда мы все знаем, что мешает нам, если ты любишь меня, стать мужем и женой?

— Люблю ли я тебя? — ответила Вонлей, — я полюбила тебя прежде, чем ты меня. Но разве ты забыл, что мы братья теперь?

— Я стал твоим братом обманом и не признаю своих обязательств, — сказал Ян-сан, снимая амулет, — возьми его назад.

— Но для меня это остается обязательством, — ответила она.

Тогда Ян-сан обнял Вонлей и сказал:

— О, Вонлей, зачем, когда наступило время нашего счастья, ты мучишь меня?

И он стал так горячо просить Вонлей, что она сказала ему:

— Хорошо, но я должна сперва снять зарок с себя.

Спи: когда я его сниму, я приду к тебе.

Ян-сан заснул, а когда проснулся, то вместо девушки увидел возле себя только письмо от нее.

«Мой возлюбленный, — писала она, — тебя я полюбила и останусь тебе вечно верна. Но твоей я буду в вечности».

Ян-сан ничего не понял из этого письма и бросился догонять Вонлей.

Так он дошел до ее дома, не догнав ее.

Его встретил отец Вонлей и заявил ему, что его дочь уже семь лет, как сосватана. И, хотя жених ее не такого знатного рода, как он, Ян-сан, но слово дано, и ни земля, ни небо ничего не могут изменить здесь.

— Можно по крайней мере увидеть ее? — спросил Ян-сан.

— Нет, — ответил отец.

Ян-сан не мог жить без Вонлей.

Отец и мать обрадовались, увидев сына, но радость их сменилась горем, когда заметили они, что сын их болен.

Скоро положение Ян-сана стало безнадежным, и, умирая, он сказал:

— Я умираю от любви к девушке, имя которой Хуан-чун-вонлей. Здесь ничего нельзя изменить, потому что она уже сосватана. Когда я умру, похороните меня у той дороги, по которой муж Вонлей поедет со своей женой.

Там его и похоронили.

А Вонлей обвенчалась с человеком, которого отец ее выбрал семь лет тому назад.

Но отец, пользуясь своим правом, не сразу отпустил Вонлей к мужу, а удержал ее у себя в доме еще на три года.

Все это время Вонлей только и делала, что стирала свое свадебное платье, и сделалось оно наконец тонкое, как паутинка.

Через три года приехал муж за Вонлей и увез ее к себе в дом.

Когда они проезжали мимо могилы Ян-сана, сидевшая на дереве зеленая птичка запела какую-то нежную песенку, от которой в первый раз после трех лет на бледных щеках Вонлей показался румянец.

Она остановила свою лошадь и сказала мужу:

— Это могила моего брата, — и Вонлей в доказательство показала лоскут, на котором кровью было написано имя Ян-сана, — позволь же мне согласно законам нашим помолиться о нем.

Муж не мог отказать жене в этой просьбе.

Подойдя к могиле, Вонлей сказала:

— Теперь, когда я исполнила волю моего отца, могила, раскройся и пусти меня к тому, кого одного я люблю и буду вечно любить.

Могила раскрылась, Вонлей вошла в нее, и могила снова закрылась.

Муж хотел было удержать ее за платье, но тонкое платье разорвалось, как паутина.

— И все-таки ты не будешь лежать с ним рядом, — сказал муж.

Он разрыл могилу, нашел там много костей и стал растаскивать их в разные стороны. Но кости опять сползались вместе, и опять он

разлучал их, пока не раздался грозный голос с неба:

— Человек земли, это я, Великий Оконшанте, говорю тебе: все земные счета для этих лежащих в могиле окончены. Теперь это только мои дети: оставь же их.

Могила закрылась, а муж уехал к себе домой, уведомил родных Вонлей о случившемся и скоро женился на другой девушке.

Наступил праздник жатвы, который бывает ежегодно в восьмую луну пятнадцатого дня. По обычаю, так как в этот день поминают усопших, родные Ян-сана и Вонлей собрались на могиле своих детей. Тогда прилетели две птички, красная и зеленая, и запели какие-то нежные песни.

А когда обряд поминовения был кончен, с неба спустились две прекрасные небожительницы в белых одеждах, и каждая из них держала в руках по пяти цветков: белый, голубой, красный, желтый и черный. Небожительницы коснулись своими жезлами, и могила раскрылась. Они бросили туда белые цветы, и образовались скелеты. Бросили голубые цветы, и образовались жилы. Бросили красные, — потекла кровь. Бросили желтые, — образовалось тело. Бросили черные, — души вошли в тела, и, счастливые и радостные, Ян-сан и Вонлей вышли из могилы.

Небожительницы сказали:

— Это хозяин неба, Великий Оконшанте, уже не как ваших, а как своих детей возвращает их вторично на землю и дает им то счастье, которое отняли у них люди.

Ян-сан и Вонлей жили очень счастливо, имели много детей. Так как они уже умирали, смерть не коснулась их вторично: в день, когда им минуло восемьдесят лет, к ним спустился дракон и на глазах всех унес их на небо, к отцу их, Великому Оконшанте.

Сказки для детей * —

Посвящается моей племяннице Ниночке

Была когда-то на свете (а может, и теперь есть) маленькая, потертая, грязная книжка. В этой книжке таилась волшебная сила. Кто брал ее в руки, тот делался добрым, веселым, хорошим, и главное — тот начинал любить всех и только и думал о том, как бы и всем было так же хорошо, как и ему. Купец не обманывал больше, богатый думал о бедных, большой барин больше не думал, что он не ошибается и что в его голове может поместиться весь мир. И все потому, что тот, кто держал книжку волшебную, любил в эту минуту других больше, чем себя. Но когда книжка случайно выпадала из рук того, кто держал ее, он опять начинал думать только о себе и ничего больше не хотел знать. И если книжка вторично попадалась на глаза, ее отбрасывали ногами, а то с помощью щипцов бросали в огонь. Книжка как будто сгорала, все успокаивались, но так как книжка была волшебная, то она сгореть никогда не могла и опять попадалась кому-нибудь на глаза.

Был раз веселый праздник. Все, кто мог, радовались. Но маленький больной мальчик не радовался. Его всегда мучили всякие болезни, и давно уж весь мир казался ему аптекой, а все незнакомые люди докторами, которые вдруг начнут насильно пичкать его разными горькими лекарствами.

Никто этого не любит, и вот почему мальчик, в то время как все дети веселились, шел, гуляя с своей няней, такой же грустный и скучный, как и всегда. У него была большая тяжелая голова, которая перетягивала его, и ему легче поэтому было смотреть вниз, и, может быть, вследствие этого он и увидел маленькую грязную книжку. И хотя няня и тянула его за руку вперед, он все-таки настоял на своем и поднял книжку.

Он держал ее, и чем крепче прижимал к себе, тем веселее становилось у него на душе. Когда он пришел домой, увидев мать, он закричал радостно: «Мама!» — и побежал к ней. И хотя по дороге выскочил папа, который читал в это время одну очень умную книгу о том, как надо обращаться с детьми, и крикнул сердито своему

капризному сыну: «Не можешь разве не кричать?» — мальчик не обиделся и понял, что папа кричит оттого, что у него нет такой же книжки, какая была у него.

И тетя, увидав его веселого, не смогла удержать своего восторга, бросилась и начала его так больно целовать, что в другое время мальчик опять бы расплакался, но теперь он только сказал:

— Милая тетя, мне больно, пусти меня, пожалуйста.

И хотя тетя еще сильнее от этого стала его тормозить, он терпел, потому что понимал теперь, что тетя любит его и сама не понимает, что делает ему своей любовью больно. Когда наконец мальчик прибежал к матери, он показал ей свою книжку и сказал счастливый, приседая и заглядывая ей в глаза:

— Книжка...

Мать не знала, конечно, какая это книжка, но она видела, что сын ее счастлив, а чего ж больше матери надо? Она захотела только еще прибавить ему немного счастья и, погладив его по голове, ласково проговорила:

— Милый мой мальчик.

Да, мальчик был очень счастлив, и когда няня, укладывая его спать, взяла было у него книжку, он так начал плакать, что няня должна была возвратитъ ему книжку, с которой так и заснул мальчик.

А ночью к нему прилетела волшебница фея и сказала:

— Я фея счастья. Многим я давала свою книжку, и все были счастливы, когда держали ее; но, когда я брала опять ее от них, они не хотели второй раз принимать эту книжку от меня. Ты, маленький мальчик, первый, который захотел взять ее обратно. И за это я тебе открою секрет, как сделать всех счастливыми. И хотя ты еще очень маленький мальчик, но ты поймешь, потому что у тебя доброе сердце.

И так как этого именно и хотел мальчик, потому что такова уж была сила волшебной книжки, то он и сказал фее:

— Милая фея! Я так хочу, чтоб все, все были так же счастливы, как я: и мама, и папа, и тот плотник, который сегодня приходил просить работы, и та старушка, которая, помнишь, шла и плакала оттого, что ей есть нечего, и тот мальчик, который просил у меня милостыни... все, все, добрая фея!

— А если б для того, чтобы все были счастливы, тебе пришлось бы умереть?.. Хочешь знать секрет?

— Хочу!

— Тогда идем!

И прекрасная фея протянула мальчику руку, и они пошли.

Они вышли на улицу и долго шли. Когда город остался позади, фея показала ему вверх, и хотя было темно, но там, наверху горы, высоко, высоко, ярко горели окна волшебного замка.

Фея нагнулась к мальчику и сказала:

— Вот что надо сделать, чтобы все были счастливы. Там, в том замке, спит заколдованная царевна, чтобы все были счастливы, надо разбудить ее. Но это не так легко: сон царевны стережет злой волшебник. Ты видишь перед нами ту большую дорогу, освещенную огнями, что идет прямо в гору? Видишь, сколько идет по этой дороге детей? Многие из них идут туда, в замок, с тем, чтобы разбудить царевну, но никто не разбудит! Это волшебная дорога: по мере того как они поднимаются в гору, их сердца каменеют, и, когда они приходят наверх с своими каменными сердцами, они забывают, за чем пришли, и злой волшебник громко смеется и бросает их в виде камней вон в ту темную сторону, откуда слышны эти крики, плач и стоны.

— Это кто кричит?

— Те, которые ходят во тьме и в грязи. Они кричат, потому что им страшно и скучно во тьме, кричат, потому что они в грязи, потому что хотят есть, кричат, потому что надеются, что проснется царевна и услышит их голодные крики. Злой волшебник смеется и бросает им вместо хлеба каменных людей, которые, падая, убивают их, а они, не видя в темноте ничего, думают, что это камни летят в них с неба, или кто-нибудь из них же бросает их, и тогда они убивают друг друга.

— А зачем волшебник так делает?

— Он должен их мучить, потому что только этим темным местом и можно прийти к дороге, ведущей в замок, к дороге, над которой уже не властна сила волшебника. Но об этом никто не знает, и пока там и темно, и грязно, и страшно — все хотят попасть на ту освещенную, но заколдованную дорогу. Какой хочешь идти дорогой? Той ли, где темно и грязно и нет таких нарядных, и веселых детей, какие идут по этой большой прямо в гору дороге?

— Этой, — мальчик показал в темную и грязную сторону.

— Ты не боишься? Там злые дети, они ходят в темноте взад и вперед и, не зная дороги, кричат и убивают друг друга; там может

убить тебя камень волшебника, Пойдешь?

— Да.

— Идем.

Они пошли, и мальчик увидел вокруг себя страшные лица злых детей.

— Дети! Идите за мной! Я знаю дорогу!

— Где, где?

— Сюда, сюда, идите за мной!

— Но разве есть другая дорога, кроме той, по которой идут те счастливые дети?

— Ах, нет, той дорогой не идите. За мной идите!

— Но ты, как и мы, идешь без дороги?

— Нет, здесь есть дорога... Идите... со мной фея.

— А, глупый ты мальчик, мы устали и так, мы есть хотим... Есть у тебя хлеб?

— У меня есть книжка счастья.

— О, да он совсем глупый... затопчем его в грязь с его глупой книжкой!

— Хочешь, улетим? — наклонилась к мальчику фея.

— Нет, не хочу... Они затопчут меня, но ведь книжка останется здесь... Это хорошо, милая фея, и ты того, кто подымет ее, не правда ли, поведешь дальше?

Мальчик не слышал ответа: злые дети уж бросились на него и, повалив, топтали его в грязь. И когда совсем затоптали, все были рады и прыгали на его могиле. Они думали, что затоптали и мальчика и его книжку. Но книжку нашли другие и пошли дальше, а когда все ушли, фея вынула мальчика из грязи, обмыла его и отнесла в замок к царевне.

Он не умер, он спит там в замке рядом с царевной, и ему снятся хорошие сны. Добрая фея рассказывает их ему, когда прилетает с грязной и темной дороги, по которой, хоть тихо, а все идут и несут книжку счастья в заколдованный замок.

И когда принесут наконец книжку, — проснутся царевна и мальчик, погибнет злой волшебник, а с ним исчезнет и мрак, — и увидят тогда люди, что для всех есть счастье на земле.

Курочка Куд * —

I

Курочка Куд была такая нарядная на своем птичьем дворе. На головке у нее был хохолок, а на ножках точно кружевные панталончики. Она знала, что она хорошенькая курочка, но ходила так, точно совсем ничего не знала. Петушки ухаживали за ней, а она говорила им:

— Вы мне так надоели: вы все такие скучные и пустые — только все рассказываете старые, скучные, давно известные сплетни.

И курочка Куд уходила от своих кавалеров, а старая курица — тетка Куд — строго спрашивала:

— Куд, куда?

— А вот куда, — отвечала Куд и весело начинала рыться в земляной ямке, — ха-ха-ха! ха-ха-ха!

— Куд, что ты делаешь? Ты вся испачкаешься!

— Ах, как скучно! — отвечала тогда Куд и начинала ходить такая важная и скучная, как будто она уже была совсем старушка, или приключилось с ней очень и очень большое горе.

II

Раз курочка Куд подошла к дверям курятника как раз тогда, когда двери его были открыты.

«Надо мне посмотреть, что там за птичьим двором делается», — подумала она.

И она важно — Куд всегда все важно делала — вышла из дверей птичьего двора на берег пруда.

Была весна. Солнышко весело светило, так хорошо пахло согретой зеленой травкой, уточки плавали по пруду.

«Как хорошо, — подумала Куд, — и я теперь не скоро возвращусь назад. Я буду гулять, посмотрю все, все, все...»

И она пошла прямо к тому месту, где росли камыши, и смело — Куд ведь никогда ничего не боялась — вошла туда.

Ах, в камышах было еще лучше: правда, немножко грязно, но тихо, а вверху сверкало такое нежное голубое небо.

— О, как хорошо, — прошептала весело курочка, и в то же время она услышала, как кто-то как будто шепнул ей:

— Кур-Кур!

— Я не Кур, а Куд, — ответила Куд и быстро повернулась.

Перед ней стоял темно-коричневый петушок. Это был такой смешной, высокий, на тонких ножках петушок.

— Кур! — упрямо повторил петушок.

Тогда Куд рассердилась и сказала:

— Ты смешной, высокий, не похож на наших петушков и глупый невежа.

— Что такое невежа? — спросил петушок и так больно клюнул Куд в спинку, что та подпрыгнула и вскрикнула:

— Ах, что ты делаешь?!

— Однако ты совсем не умеешь прыгать, — сказал петушок, и он легко, быстро подпрыгнул выше камыша.

Куд была справедливая курочка. Она согласилась, что петушок прыгнул так, как никто на птичьем дворе У них не мог бы прыгнуть.

Она подумала и сказала:

— Я бы тоже хотела так прыгать.

— Пойдем в поле: я тебя скоро выучу.

— Пойдем, — согласилась Куд.

Петушок пошел вперед прямо по болоту, так легко, как будто он шел по твердому сухому месту, а Куд шла за ним и то и дело проваливалась.

Она вся выпачкалась и весело смеялась, думая, как рассердится тетка, когда увидит ее такой грязной.

Когда наконец пред ними открылось далекое поле, покрытое молодой зеленой травкой, петушок сказал:

— Ну, смотри.

И петушок так высоко подпрыгнул, что Куд вокрикнула от удовольствия.

— Ну, теперь я, — крикнула она и изо всех сил подпрыгнула.

Но прыжок вышел тяжелый, смешной, — она неловко упала на землю, но сделала вид, что нарочно так упала, — не хотела вставать, нарочно билась крыльями и весело хохотала сама над собой.

— Это потому, что ты совсем не распускаешь крыльев, когда прыгаешь. Вот смотри!

И петушок, слегка распутив крылья, присел и, как резиновый, отскочил от земли. По мере того как он летел, его крылья сами собой распускались все больше и больше и несли его, пока петушок опять плавно не опустился на землю.

Куд весело бежала за ним и кричала:

— Ну, теперь я знаю как...

И она опять прыгала, и опять неловко падала, и опять смеялась.

— А ты можешь совсем летать? — спросила Куд.

— Могу и летать, — ответил петушок и легко полетел вперед, а Куд побежала за ним, догоняя его.

Петушок опустился далеко-далеко, а Куд все бежала и бежала.

Когда она догнала наконец петушка, усталая, задыхающаяся, тот спокойно уже клевал что-то на земле своим маленьким тоненьким клювом.

— Ох, как я устала! — воскликнула Куд, опускаясь возле петушка. Она увидела, что он что-то ест, и спросила:

— Что ты ешь?

— Кузнечика.

— Я не люблю кузнечиков.

— Не ешь.

— А я хочу есть, — сказала Куд.

— Чего же ты хочешь?

— Зерен хочу.

Петушок покачал головой.

— Зерна, — сказал он, — только еще осенью поспеют.

— А мы каждый день едим у нас зерна, — отвечала ему Куд.

— Во сне? — спросил ее петушок.

— Во сне, а на нашем птичьем дворе.

И Куд оплянулась, чтобы показать петушку, где их птичий двор.

Но нигде не было больше видно их птичьего двора. И он, и пруд, и камыши — все исчезло. Она даже не знала, в какой стороне их двор.

Они бегали по степи и прямо, и вбок, и взад, и вперед. И сзади, и с боков, и везде виднелась все та же ровная, спокойная степь, и только впереди далеко-далеко, на самом конце, там, где как будто сходилась степь с небом, темнел лесок. И этого леока она никогда не видала.

— Где я? Где наш птичий двор?

Петушок посмотрел на нее с удивлением и сказал:

— Откуда я знаю, где твой какой-то птичий двор?

Тогда Куд вдруг так страшно стало, и она начала плакать и кричать:

— Я хочу на птичий двор! Отведи меня сейчас на птичий двор! Я хочу на птичий двор!

— А если ты будешь так кричать, я улечу от тебя! — рассердился на нее петушок.

Куд еще больше испугалась, но перестала кричать и только потихоньку плакала.

А — петушок поймал нового кузнечика, клевал его, плотая по кусочкам, и говорил:

— Это очень глупо плакать! Я терпеть не могу, когда плачут! Кругом так хорошо: солнышко греет, травка зеленая, — зачем плакать?.

Это все было верно, и Куд подумала: «Зачем плакать?»

Она перестала плакать, но на душе у ней было все-таки тревожно, и она, присев, так смотрела в глаза петушка, что тому стало вдруг жаль Куд, и он подошел к ней и ласково почистил об ее спинку свой клюв.

У себя на птичьем дворе Куд крикнула бы петушку, который захотел бы так чистить свой клюв об нее:

— Невежа!

Но теперь она и не подумала об этом, а только тихо, покорно проговорила:

— Я так хочу пить.

— Это не так легко достать воды здесь, — сказал петушок. — Постой, я подпрыгну: не увижу ли где?

И петушок высоко-высоко подпрыгнул и опять опустился на землю.

— Вон там, где лесок, — сказал он, — есть, кажется, вода.

— О, как далеко! Я никогда не дойду туда, — вздохнула Куд.

— Что за далеко? — ответил петушок, — не надо только думать, что далеко. Идем.

И он пошел, постоянно подпрыгивая, а усталая Куд, распутив крылышки, то и дело спотыкаясь, кое-как поплелась за ним.

Она уже ни о чем не думала: она устала и боялась только, как бы не отстать ей от петушка и не остаться совсем уж одной в этих незнакомых местах.

Когда они дошли до озера, Куд, присев к земле, бессильно прошептала:

— О, как я устала!

III

Там, у озера, и провели Куд и петушок весь день до вечера. Солнце садилось и последними лучами, как золотой пылью, осыпало озеро и далекую степь.

Над озером поднимался легкий туман и горел над ним, точно прозрачное цветное покрывало. Молодые деревья будто выше подняли свои вершинки и смотрели в далекое, огнем заката охваченное небо. Где-то уж затягивал свою вечернюю песенку сверчок; звонко в степи кричала дикая утка; в кустах около озера, запевал соловушка.

Куд сидела около петушка, и ей все так нравилось, и она говорила, счастливая:

— Ах, как хорошо! Как хорошо! Как я счастлива, что ты показал мне все это. Так я никогда бы ничего и не видела. Мне кажется и теперь, что я вижу это только во сне... и знаешь, мне кажется, что все это ты создал...

Петушок на это ответил:

— Ну, хорошо, — создал, положим, это не я, а подумать о ночлеге надо. Как-нибудь переночуем, а завтра опять дальше.

— Куда ж еще дальше? — огорчилась Куд, потому что и сегодня она очень устала.

Петушок не знал и сам, куда дальше, но решительно отвечал:

— Всегда дальше, Куд.

Но Куд не хотелось идти дальше. И так как она всегда привыкла все делать по-своему, то и теперь, осторожно клюнув что-то на земле,

она спросила:

— Ты никогда не жил на одном месте?

— Никогда.

— Разве ты не любишь смотреть, как садится здесь солнце и как на этом самом месте, где теперь так хорошо нам, оно и завтра сядет?

— Оно везде, где мы ни будем, сядет и, может быть, еще лучше, чем здесь.

Куд не понравился ответ петушка, и, вздохнув, она обиженно сказала:

— Теперь я помню: тетка говорила мне про вас, вольных кур: вы всегда ищете чего-нибудь нового... А мы, домашние куры, мы очень не любим перемены и всегда говорим: «От добра добра не ищут».

— Зачем же ты ушла тогда со мной?

— Я заблудилась, — сухо ответила Куд.

— Так что, если бы ты нашла дорогу, ты возвратилась бы назад? — спросил петушок.

— Не знаю, — уклончиво ответила Куд.

— Ну, так я дорогу знаю и завтра отведу тебя назад, в то место, откуда взял.

— А-а! — вскрикнула Куд, — я знала, знала, что ты злой...

И она заплакала.

— Почему я злой? Ну, не хочешь идти назад, оставайся, но зачем же ты плачешь и что это за манера постоянно плакать?

— Я не буду плакать, — отвечала покорно Куд.

И Куд подняла на петушка свои заплаканные глазки, — она была такая хорошенькая в своем хохолке, точно в ночном чепчике.

— У нас совсем нет таких, как ты, — сказал петушок, смотря на нее, — и я рад, что встретил тебя...

— И я рада, — тихо вздохнула Куд.

— Ты не хочешь назад?

— Нет, — еще тише прошептала Куд.

— Ну, так слушай, Куд, — я что думаю, то и говорю: хочешь быть моей женой?

Куд опустила голову и без колебания сказала:

— Хочу.

Но потом она вдруг испугалась.

— Что я сказала! Что я сказала?!

— Ты хорошо сказала, — успокоил ее петушок, — прямо, начистоту — так, как говорят всегда у нас.

И он весело захлопал крыльями и закричал, как следовало по его законам:

— Кукуреку! Слушайте вы все, кто здесь слышать может, вот я беру себе в жены Куд. Отныне Куд моя жена и притом самая хорошенькая жена, какая только была когда-нибудь на свете!

Это слышали кузнечик, соловушка, толстая жаба, которая в это время выползла из озера, и две цапли — муж и жена, поселившиеся тут же в кустах, около озера, и теперь совершавшие свою обычную вечернюю прогулку вдоль опушки леса.

Цапли были очень счастливые муж и жена, ученые, с длинными носами.

Цапля-муж, услышав вызов петушка, поджал под себя свою высокую ногу и насторожился, а жена в это время смотрела на мужа. Потом он сказал:

— Немного самонадеянный молодой человек, но в основании истинное чувство, которое при достаточном освещении развитого ума может дать самые благотворные последствия.

Его жена удовлетворенно кивнула своей длинной головой. Она только снисходительно прибавила, проплатывая мимоходом маленькую ящерицу:

— А как тебе понравилось это милое убеждение в том, что жена его первая красавица?

— Милая моя, если миру чего недостает, то это, конечно, беспристрастия. И это понятно: каждый в своем теле сидит, как в ящике, и кричит из него только то, что видно только ему. И петух поэтому будет всегда воспевать свою жену, заяц свою, и так далее.

Чуткое ухо жены, не перестававшей слушать мужа и в то же время прислушивавшейся ко всякому подозрительному шороху, уловило какой-то треск, и, обернувшись, она спросила мужа:

— Ну, а как ты думаешь вон о том звере на двух ногах, в зеленой куртке и с ружьем в руках, который, кажется, к тому же как раз нас имеет в виду?

— О, это самый ужасный и неразвитый вид животного из всех созданных на этом свете, это — человек. Мы все из нужды уничтожаем других и никогда друг друга, тогда как этот зверь

зачастую ради одного удовольствия убивает и других и, что всего ужаснее, друг друга. Летим, и надо предупредить всех о приближении чудовища.

И, взмахнув крыльями, цапли поднялись в воздух и, проносясь над озером, говорили своими нежными, мягкими голосами:

— Ты, петушок, и ты, Куд, и все вы, кто услышит нас, — берегитесь: идет человек с ружьем.

Не услышала только беленькая чайка. Она с мужем уже несколько дней искала себе место, где бы свить им гнездо. Увидев вдруг озеро, она, радостная, крикнула мужу:

— Смотри, какое розовое, прозрачное озеро! Летим скорей туда, там сошьешь ты мне гнездо, в нем положу я свое яичко, буду сидеть в гнезде, а ты, мой милый, ты всегда будешь со мной. О, сколько счастья, сколько счастья! — так кричала она и кружилась над озером, и звала отставшего мужа, и, не дождавшись, косым взмахом, стрелой, счастливая, бросилась книзу.

Но не долетела бедная маленькая чайка до озера: взвился дымок, прогремел выстрел, и упала она, простреленная, мертвая, к ногам охотника. Яйцо ее, будущая маленькая чайка, упало с ней и разбилось.

Лежит мертвая чайка на земле, а над ней в небе вьется и так больно-больно кричит оставшаяся живая.

Поднял охотник мертвую, посмотрел, куда попал ей заряд, и подумал: «Да, я хорошо стреляю, да что с этой чайкой делать? Не едят ее».

И он бросил далеко от себя убитую чайку; зацепилась она за сухое деревцо, так и повисла на нем.

А чайка живая все металась, то тревожно бросаясь — к убитой подруге, то вверх, то к охотнику, и в отчаянии точно кричала ему:

— Злой, злой, убей и меня теперь! Я не хочу жить без нее.

Поздно вечером прилетели цапли домой.

Тихо на озере. Высоко в небе светит яркая луна. Висит белая чайка на дереве, и отражаются в неподвижной воде озера и дерево, и мертвая чайка, и далекое небо.

Где-то близко-близко так жалобно плачет и стонет другая, живая чайка, и несутся в степь ее стоны.

Спят цапли стоя, спят и точно слушают и смотрят в ту сторону, где висит маленькая убитая чайка на дереве.

— Ку-ку-ре-ку-у-у! Полночь, господа, на дворе! — уже поет тоненький голосок петушка. Куд жметя теснее к нему, — снится ей мертвая чайка, и шепчет она:

— О, как все это ужасно, — смерть, смерть и конец всему, и никогда-никогда никто не возвратит бедную чайку больше к жизни!..

Села луна, и спит темная степь. Спит озеро, воздух... Уснула и осиротевшая чайка: все плакала, плакала и так уснула на полустоне. Сладкий сон снится ей: снится, что жива ее подруга, и, счастливые, так торопятся они улететь в ту страну, где нет злых охотников. Туда улетят они, там будут жить счастливые, чтобы вечно любить друг друга.

Только еще посветлело в степи, только загорелась розовая полоска в том месте, где встает над землей солнышко, как проснулся петушок.

Он торопливо захлопал крыльями и закричал озабоченно:

— Кукуреку! Вставайте скорее все, потому что никто не смеет спать, когда хозяин наш, солнышко, уж хочет вставать.

— Какой беспокойный завелся у нас, однако, сосед, — сказала цапля мужу.

— Пусть каждый, — оказал ей муж, — исполняет свои обязанности. Петух — часы природы, и пусть он звонит...

— Да, но он звонит и в полночь и на рассвете...

— Что ж из этого? Полночь такое же время, как и рассвет... Пойдем лучше есть маленьких ящериц. Прежде всего немного пищи: никогда не забывай, дорогая, и помни, что одна маленькая ящерица может влить столько энергии в организм, создать такой полет фантазии, мысли...

— И чувства, — подсказала жена.

— Да, да, и чувства... О чем я говорил?

— Не знаю, милый, когда я слушаю тебя, я забываю все, — я забываю даже то, что ты говоришь...

— Ну, все равно, и главное здесь, конечно, чтобы быть всегда беспристрастными, а теперь идем.

И они, как все чинные, умные цапли, никогда не разлучаясь, зашагали в степь, как раз в то время, когда ящерицы и другие им

подобные выбегают из своих норок.

А Куд в это время уговаривала петушка поселиться на озере.

Ей надо было нести яйца, надо было высиживать деток.

— Так природа устроила, милый мой, и что мы можем против этого сделать? Позволь мне: я сама устрою маленькое, хорошенькое гнездышко, — ты ничего не будешь знать, а я тебе в награду подарю много-много маленьких хорошеньких петушков и курочек.

— Ну, что ж делать? — сказал петушок: — Если ничего больше не остается, будем ждать маленьких хорошеньких петушков и — курочек.

И, захлопав крыльями, он закричал:

— Кукуреку! Мы с Куд окончательно поселяемся на озере, и Куд подарит мне много хорошеньких петушков и курочек.

— Милый, зачем же об этом говорить всем?!

— Да, об этом можно было бы и подождать так кричать, — согласилась цапля-жена, услышав в степи их разговор.

— Ну, бог с ними, — ответил муж, — и будем терпеливо ждать, что из всего этого выйдет.

А вышло вот что: Куд устроила себе гнездышко, нанесла в него яйца и в один прекрасный, веселый день села на них, сперва поудобнее оправившись. После этого она, довольная собой, сказала петушку:

— Милый мой, как я счастлива! Теперь я встану только окруженная нашими детками.

И с тех пор Куд постоянно сидела на яйцах.

И цапля села на яйца. Она была тоже очень счастлива, потому что после разрушения ее первого гнезда деревенскими детьми, в том месте, откуда они убежали на это озеро, она думала, что в этом году у нее не будет больше детей.

А скоро к Куд и цапле прибавилась еще одна соседка.

Это была утка.

Однажды эта утка прилетела на озеро сразу с тремя женихами.

И вот что все увидели: когда утка и ее три жениха опустились на воду, то утка отплыла в сторону, отвернулась, а женихи ее начали драться между собой. И они дрались до тех пор, пока один жених тут же умер от ран, а другой, чувствуя себя побежденным, улетел. Тогда

тот, кто остался — коренастый, плотный селезень, — подплыл к своей невесте и, по законам своей породы, грубо крякнул над ее ухом:

— Жена!

Только тогда она подняла голову, чтобы посмотреть, кто ей достался и кому она теперь, как раба, должна покоряться и служить.

Селезень был всегда злой. Он только и говорил:

— Моя! Моя!

Что до петушка, то он предпочитал бегать по степи и только, соскучившись иногда, кричал издали:

— Кукуреку, Куд! Я люблю тебя!

Куд слышала его крик, но молчала. Что ж ей было делать? Не кричать же по-петушиному, — ни одна уважающая себя курица так кричать не станет.

Правда, ей немножко было грустно, что ее петушок такой непоседа, ей хотелось бы, чтобы он всегда около нее сидел. Но она покорялась, — она верила, что петушок все-таки любит ее больше всего на свете. И когда ей становилось особенно грустно, она думала о том времени, когда будут у нее детки и как обрадуется им петушок.

Наконец Куд стала матерью. Это случилось так неожиданно, так просто.

Когда петушок пришел, он уже застал и Куд и всех детей и не мог налюбоваться на Куд, какая она стала сразу серьезная, озабоченная.

Было из-за чего: целых восемь цыплят вывела Куд, и все они были такие маленькие, так жалобно пищали, так просили есть. Куд приходила в отчаяние и думала, что не переживет и умрет от жалости к ним.

Но — скоро все обошлось и пошло своим чередом.

И цапля вывела к этому времени двоих, а утка целых тринадцать. А когда ей говорили, что тринадцать — нехорошее число, она кивала добродушно своим большим носом и, неся свой животик вперед, отвечала:

— Ну, ничего, все-таки тринадцать моих уточек лучше, чем двенадцать чужих.

То были хорошие дни.

И цапли, и ужи, и Куд с петушком — все с своими семьями проводили все время то в степи, то у озера. Когда мужья уходили,

оставались жены и вели между собой интересные разговоры.

Цапля и утка много путешествовали, и Куд слушала их занимательные рассказы о том, что они видели.

Однажды Куд узнала, что, когда придет осень, и цапли, и утки, и даже ее муж улетят далеко-далеко, в ту страну, где нет зимы.

— А я как же, — испуганно спросила Куд, — я ведь не умею летать.

— О, бедная, — сказала цапля, — что ж ты будешь делать?

— Во всяком случае я отправлюсь с мужем, — с отчаянием сказала Куд.

— Я всегда говорила, что из всего этого ничего не выйдет, — крикнула утка.

Куд сказала:

— До осени еще далеко; я научусь и прыгать и летать, — буду каждый день летать теперь.

И с тех пор Куд не так думала о детях, как о том, чтобы научиться летать.

Но эта наука ей плохо давалась. Ее собственные дети давно уже, гоняясь за бабочками, летали также легко, как и отец их.

«Слава богу! — думала Куд, — хоть им я не передала своих тяжелых крыльев».

Но для нее самой это было плохое утешение.

Однажды опять пришел охотник на озеро и застал всех его обитателей врасплох.

Он убил трех курочек, двух уток и жену цапли.

Одна из курочек так похожа была на Куд, — ее так любила Куд и так жалела, что она почти так же плохо, как и сама Куд, летала.

Грустно в тот день было на озере. Солнце садилось, и так пусто было кругом.

Муж-цапля так и застыл, стоя на одной ноге, опустив свою голову: все кончилось для него, — ведь цапли только раз в жизни любят. Из-под полузакрытых желтых век смотрели его маленькие глаза так, точно вдруг увидел он насквозь и всю землю, и всех живущих на земле, и все дурное, что в каждом сидит.

Точно говорил он:

— Да, вы убили мою жену, отняли у меня всю радость жизни, но что я могу тут сделать? Я могу только понимать, что не надо так

делать.

Около него собрались его дети, Куд и петушок со своими детьми и все утки.

Он долго молчал и, вздохнув, точно проснувшись вдруг от страшного сна, сказал им:

— Друзья мои, мы немного сами виноваты, что случилось с нами такое большое, непоправимое горе. Надо было давно принять меры: нам нельзя было жить в такой большой компании. Нас преследуют люди, нам трудно в одном и том же месте доставать пищу. Теперь, наученные опытом, не будем медлить: наши дети выросли, и для блага всех и своего пусть каждый стоит на своих — ногах: уходите сами и отпусти те всех и каждого в свою сторону.

Это была последняя ночь, которую проводили обитатели озера вместе. В последний раз прокричал на заре петушок, и его дети помогали ему:

— Ку-ку-ре-ку!

Только цапля-муж остался жить на озере.

— Я останусь здесь, — сказал он, — на озере, где умерла моя жена. Я буду каждый год прилетать сюда весной, буду ходить здесь один и вспоминать моего отнятого друга, пока смерть не сжалится и в свою очередь не возьмет меня. В этих воспоминаниях о смерти отныне вся цель моей жизни. Такой закон у нас. И если нельзя больше быть счастливым, можно и в страдании почерпать мужество.

Так болело сердце Куд, когда в последний раз провожала она улетающих от нее навсегда деток.

Улетели дети, утки, молодые цапли. Пора и ей с петушком отправляться в далекий, неведомый путь.

Вот в последний раз сверкнуло дорогое сердцу озеро, и цапля на нем, и то дерево, где все так и висела убитая чайка. Болтается там беленькая, качает ее ветер, и все еще точно зовет она свою подругу. Где подруга? Может, это она все кричит и стонет где-то в степи, может, другая, у которой тоже убили дружка...

Как давно все это было. Только всходила тогда травка, только начинал по зарям свои песни соловушка.

А теперь синие, темные тучи на небе, и так сердито налетает холодный ветер на деревья, точно говорит им: «Довольно вам было радоваться летом. Я сорву и брошу на землю ваш зеленый наряд, — таков закон природы, — за летом идет осень, и я делаю то, что велит мне великая мать-природа».

Так не хотелось лесу снимать с себя зеленое платье: он спорил, шумел, но падали листья один за другим, пока не упали все и желтым ковром не укрыли землю.

Стало опять ясно, — стих ветер. Но холодное солнце заглядывало в пустой уже лес.

Так далеко видно в лесу, и голые деревья так грустно и безмолвно смотрят в прозрачное синее небо.

И степь опустела.

Люди сняли и хлеб и траву и увезли все к себе.

Точно замерли и дремлют осиротелые степь и лес, летят далеко от них в теплые страны их летние гости.

Тяжело Куд поспевать за петушком.

Иногда падала она и говорила в отчаянии:

— Милый, брось меня, я останусь и умру.

— Нет, нет, — отвечал петушок, — время есть еще, — ни одной цапли не видно в небе.

Опять дует ветер и несет с собой холодные, темные тучи. Ранний снег выпал, и гонит его ветер и кучами ссыпает над лесом. Забивается снег под крылья Куд и петушка, голодные и холодные спешат они.

— Вот камыши, — кричит петушок, — там отдохнешь, там теплее, там, может, найдем мы и пищу.

О, как хорошо было бы поесть и согреться. Но ветер сильней, и так больно забивается и намерзает снег на перьях. О, какой сильный порыв! Что это? Где, где петушок, где небо, лес и свет дневной? Кажется Куд, что все еще бежит она и не может понять, что с ней такое? О, как помнит себя она нарядной беззаботной курочкой Куд на своем птичьем дворе; озеро встает перед ней, как живое, с ней петушок ее... Может быть, сон только был все это — и озеро и петушок... Как больно: неужели сон, и сейчас она проснется и опять на своем птичьем дворе; о, как ужасно! Но кто-то где-то там далеко-далеко говорит будто. То голос нежный цапли в небе: «Ты дорого

заплатила за свое счастье: забитая снегом, ты замерзаешь теперь, бедная маленькая Куд... И ничем, ничем нельзя больше тебе помочь...»

«Смерть?! — думает Куд, — она пришла уже! Но голос этой цапли?.. Значит, все действительно было... было... там у озера».

Бедная маленькая Куд! Она уже больше ни о чем не думала: занесенная снегом, она лежала мертвая на холодной земле.

Попугай *_

Майкина сказка

Попугай был красивый, серый. Серый, как серый жемчуг, а грудь белая, как белый атлас.

Он жил прежде далеко-далеко отсюда, в той стране, где никогда зимы не бывает.

Он жил там с женой, с детками в лесу на берегу моря.

Какой красивый был лес, какое красивое было море!

Особенно когда садилось солнце.

Тогда точно все горело: небо, облака, море, далекие берега.

А потом, когда солнце опускалось в море, сразу становилось темно, очень темно, и не видно больше было ни моря, ни берегов. Небо становилось темным, и только звезды, большие яркие звезды, светились наверху и как будто слушали, как шумело внизу море.

И так темно было в лесу и так страшно.

Иногда просыпался какой-нибудь попугай на своем дереве и начинал кричать. И тогда все попугаи просыпались и тоже кричали.

Но опять приходило утро, опять становилось светло, и всем делалось сразу весело.

Попугаи опять кричали, но уже от радости. Они и их детки прыгали по деревьям и хлопали от радости крыльями.

Раз пришел в лес охотник, разостлал сети, набросал зерен и спрятался. Попугаи сначала смотрели, а потом слетели на землю и стали клевать зерна. А когда они захотели улететь назад на деревья, то не могли больше, потому что запутались в сети. И чем больше бились, тем больше запутывались. Пришел охотник и забрал их.

Кричали бедные попугаи, которых забрали, кричали и те, которые остались в лесу.

Поймали и красивого попугая. И так кричали, как будто плакали — его детки, их мама.

Они провожали его до самого конца леса, прыгая с ветки на ветку, с дерева на дерево.

А красивый попугай сидел в клетке и тоже кричал, грустно смотрел, как будто говорил:

— Прощайте, дорогие детки, прощай, жена. Никогда, никогда я больше вас не увижу.

Охотник принес попугаев домой, рассадил их по клеткам, научил их говорить и потом продал их.

Красивого попугая купила мама, у которой было трое деток, все девочки. Старшую звали Тото, среднюю Ника, младшую Май.

Все очень любили попугая.

Он сидел в большой клетке — зимой в столовой, летом на террасе на даче.

Попугай сидел на террасе, смотрел на море, на скалы, на деревья и думал о чем-то. То он разговаривал, то свистел, то пел даже.

Он знал много слов и фраз и часто говорил совершенно новые.

Он знал имена всех детей и совсем, как мама, кричал вдруг:

— Тото!

Тото тогда прибежала из сада, искала маму, но мамы не было. Сидел только попугай, смотрел, то в ту, то в другую сторону наклоняя головку, на Тото и спрашивал:

— Ты кто?

— Ах, ты, попка, всегда меня обманываешь, — скажет Тото и убежит опять в сад.

А попка вытянет шейку и слушает, а потом начнет свистеть или петь.

Раз наняли нового работника. Он идет по саду, а попка кричит ему с террасы:

— Ты кто?

Работник говорит:

— Работник! а что?

Попугай очень любил вишни, виноград, семечки, и, когда Майка несла ему в фартучке ягодки, он вытягивал шею и спрашивал:

— Что несешь?

Кто чесал головку попугаю, того он любил; а кто дразнил его, того он не любил, когда видел его, поднимал свои перья, хотел клюнуть, переставал говорить и петь, пока тот человек не уходил.

Больше всех он любил Маечку.

Она приносила ему разные лакомства и говорила:

— Кушай, попочка, а я буду тебе рассказывать про твоих деточек. Попочка ел и слушал, а Маечка говорила:

— Твои деточки, попочка, здоровые и очень скучают о тебе. Они тебе письмо скоро пришлют, а когда я вырасту, я отвезу тебя к твоим деточкам. Они так удивятся, какой ты стал умный, сколько уже говорить умеешь.

Очень много умел говорить попочка. Ника часто капризничала, и как начнет, бывало, плакать, так три часа и плакала.

Перестанет совсем уже, мама спросит ее:

— Ты, Никочка, перестала плакать?

— Нет, мама, — ответит Никочка, — я отдыхаю только, я сейчас опять начну.

Вот раз, когда Никочка так отдыхала, попугай вдруг говорит:

— Ты, Никочка, перестала плакать?

Даже Никочка рассмеялась. Захочет плакать, вспомнит попугая и только рассмеется. А Тотто говорила:

— Вот какой умный наш попка: никто Нику не мог отучить плакать, а попка отучил.

Никочка была и самая капризная и самая большая шалунья. Она всегда очень быстро бегала и падала.

Мама кричала ей:

— Ника, опять упадешь.

А Ника как раз в то время, как падала, кричала:

— Нет, мама, не упаду.

Раз на террасе никого, кроме попки, не было, Ника влезла на стул, а оттуда хотела влезть на перила. И наверное бы упала; так как балкон был высокий, то, может быть, и сломала бы себе ручку или ножку.

Вдруг попугай, совсем как мама, крикнул:

— Ника, упадешь!

Ника испугалась и соскочила со стула. А попугай стал смеяться:

— Ха-ха-ха.

Ника увидела, что это попугай ее испугал, наговорит ему:

— Нехороший попка, зачем меня пугаешь.

А мама дала попке сахару и говорит:

— Добрый попка, хороший попка, ты умнее моей Ники.

А когда попке становилось скучно и никого не было около него, он кричал:

— Кто здесь, кто там?

И все дети бежали к нему и кричали:

— Попочка, попа, мы здесь.

А он их передразнивал:

— По-по-чка.

Раз Тото подошла к нему и сказала:

— Попочка, милый, кончилась скучная зима, и мы скоро опять поедем на дачу.

Но попочка был грустный.

— Попочка, что с тобой? — спрашивали детки.

Переехали на дачу.

Попочка было повеселел, но опять загрустил, совсем почти не говорил, слушал, смотрел, опускал голову и молчал.

Прежде он был такой гладкий, шелковый, а теперь перышки его торчали во все стороны, и он часто вздрагивал...

Он стал совсем мало есть.

Раз Майка пришла к нему и говорит:

— Попочка, миленький, ты, наверно, скучаешь о своих детках. Хочешь, я отворю клетку, и ты полетишь к ним?

Вдруг попка захлопал крыльями.

— Он хочет, — сказала Маечка и отворила клетку.

Попка вышел из клетки, замахал крыльями и полетел. Но он больше не мог уже лететь и упал в кусты.

Он стал кричать так жалобно там:

— Кто здесь, кто там?

— Попочка, попочка, — кричали подбежавшие детки.

А он еще дальше забился в кусты и еще жалобнее кричал:

— Кто здесь, кто тут?

Когда его поймали и посадили в клетку, он закрыл глазки и замолчал.

— Наверное, он думает о своих детках, — говорила Маечка.

А попка спал и все вздрагивал во сне.

Ах, ему снилось, что он все еще летит далеко-далеко на свою родину, к своей жене, деткам. Вот и на родине.

Какое прекрасное утро, туман встает над морем, в лесу просыпаются птички, и он уже видит своих старых друзей.

Он торопится, так много надо рассказать ему.

— Ах, слушайте, слушайте вы все мою горькую историю, слезы сами польются из ваших глаз. Ведь я буду вам рассказывать о пропавшей моей молодости, о длинных годах моего плена, тоски, моего горя...

И всю ночь бедный попка бился и вздрагивал.

А на другой день утром, когда детки проснулись и пришли на террасу пить молоко, попка лежал уже мертвый в своей клетке.

Пьесы

Орхидея * —

Драма в четырех действиях и пяти картинах

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

Наталья Алексеевна Рославлева, 21 года, одевается по моде.

Борис Павлович Беклемишев, литератор, 32 лет.

Мария Васильевна Беклемишева, жена его, интеллигентная особа, 27 лет.

Александр Сергеевич Зорин, литератор, лет 50, слегка обрюзгший, полный.

Владислав Игнатьевич Босницкий, средних лет, высокий, худой, неопределенной профессии, с эффектными жестами, подвижным лицом, мимикой которого подчеркивает свою речь.

Князь, студент-белоподкладочник.

Алферьев, бедно одетый студент.

Санин, зять Беклемишева.

Дети Беклемишевых:

Аля — мальчик пяти лет, больной. Девочка — двух лет.

Прислуга, актеры, зрители.

Между первым и вторым действием проходит шесть месяцев. Между третьим и четвертым три месяца.

Действие первое

Богатая приемная в большом отделении при гостинице. Посреди накрытый стол. На столе самовар, кофейный прибор.

Явление 1

Лакей. В деревне рассказать, так и не поверят: «тыщи» летят... Это вот хоть понял, значит, человек, зачем он жить на землю

пришел... Деньги есть — все возможно... Мужа побоку спустила, каждый день нового молодца... А уж нашему брату на водку никто во всей гостинице больше не дает.

Явление 2

Князь (*входит, оглядывается угрюмо*). Не выходила барыня?

Лакей. Спят.

Князь идет к дверям спальни и пробует отворить.

Явление 3

Босницкий входит и во время дальнейшей сцены присаживается к столу, наливает чашку кофе, пьет и ест.

Голос Рославлевой (*из-за двери*). Напрасно, дверь заперта.

Князь. Мне надо вам сказать всего два слова.

Голос Рославлевой (*после паузы*). Не пушу. Я до вечера никого не принимаю... Уходите.

Князь. Так? (*Некоторое время ждет ответа, поворачивается и, увидев Босницкого, энергично плюет, потом мрачно здоровается с ним.*)

Босницкий (*невозмутимо*). Здравствуйте, не принимают так не принимают.

Князь (*угрюмо вполголоса*). А кто виноват? Надо было еще там с разными Беклемишевыми знакомить.

Босницкий (*допивая кофе и вставая*). Это все быстро кончится. (*Смотрит на часы.*) Ну-с, угодно партию на биллиарде? Так и быть, пять рублей заработаете.

Князь (*нехотя*). Вперед я ничего не дам.

Босницкий (*весело*). Хорошо, хорошо... Вот что... идите, я только два слова чиркну. А! Да бросьте вы вашу, ну, ей-богу, преглупую ревность... доказал, что я общественный человек... Я ей что-то такое напишу, от чего она сразу повеселеет. Ну, идите.

Явление 4

Босницкий (*пишет*). «Сыграйте первую партию с маркером, — через четверть часа приду». (*Оставляет писать, лакею.*) Отнесите эту записку князю... (*Вынимает рубль.*) Барыня выйдет — придите сказать: я буду в библиотеке или ресторане.

Лакей. Слушаю-с.

Голос Рославлевой. Павел!

Лакей. Что прикажете?

Голос Рославлевой. Кто-нибудь есть в столовой?

Босницкий быстро отходит к двери, делает энергичные жесты лакею.

Лакей. Никого нет-с.

Босницкий исчезает за дверью.

Явление 5

Рославлева (*входит, идет к столу и садится, брезгливо.*) Кто это пил? Фу, гадость... (*Лакею.*) Возьмите эту чашку.

Лакей берет чашку.

Не приходите больше.

Лакей. Слушаю-с. (*Уходит.*)

Явление 6

Рославлева с недовольным лицом наливает себе кофе, лениво и рассеянно пьет его, избалованно, по-детски разламывая печенье.

Босницкий (*быстро входя, целует Рославлевой руку*) — Ну, так и есть! Да вы знаете, несчастная, который уже час?

Рославлева (*равнодушно*). Для сегодня — это все равно.

Босницкий. Потому что Беклемишева не будет? (*Протягивая нараспев.*) А если я скажу, что Борис Павлович просил передать, что раздумал ехать к родным и сейчас приедет.

Рославлева (*радостно*). Приедет?!

Босницкий (*сложив руки, смотрит и качает головой*). Да понимаете ли вы, что я, я должен теперь чувствовать?

Рославлева (*с злой и в то же время веселой интонацией*). Не понимаю... (*Ласково*). Голубчик, не сердитесь. Где вы его видели? Он не поедет к родным?... Ах, я так, так счастлива...

Босницкий. Она счастлива... Я утешаю себя только тем, что она была так же счастлива, когда в свое время...

Рославлева (*с наслаждением смеется, смотрит, не сводя глаз, с той же злой интонацией*). Утешайтесь, утешайтесь...

Босницкий. Жестокая... И, главное, бесполезная жестокость: кто вас познакомил с Беклемишевым? Мог бы и не знакомить, если бы смотрел глазами остальных...

Рославлева. Ну, конечно! Вы самый умный человек, и остальные... Гм... гм... кхе... кхе... кхе...

Босницкий. Женская благодарность... Послушайте, Наталья Алексеевна, серьезно: это нехорошо... Ведь и мы, мужчины, умеем мстить...

Рославлева (*протягивает ему руку, смущенно*). Ну, мир... Позвоните.

Босницкий (*звонит*). Ну-с, что ж вам еще сказать? Да... Зорин приедет благодарить вас... Князь внизу с маркером на биллиарде... Ну, а теперь я бегу?

Рославлева. Нет, оставайтесь... Помогите мне с Зориным... Я боюсь, — что я с ним буду говорить?

Босницкий. Во имя чего оставаться? Вы все-таки должны помнить, что если я слишком самолюбив, чтобы насильственно занимать чужое место, то тем менее желаю быть в роли зрителя...

Рославлева. Владислав Игнатьевич!

Босницкий, Вы, кажется, серьезно хотите играть в любовь? Оставьте: поверьте, ничего интересного нет. Какая там любовь, герой, когда вся стихия современного человечества — ложь, ложь русская, французская, китайская, — какое геройство во лжи? А бросьте вы эту ложь, и вы уже на дне; поверьте, в том искусство, тот только приспособлен, кто умеет скользить по жизни, не обманываясь ее глубинами. Там в глубинах дно, а на дне ил и зеленые раки.

Рославлева (*с веселым ужасом зажимает уши*). Я уже вижу это дно: боюсь!

Босницкий (*нежно*). И оставьте его ракам. (*Понижая голос.*) Вспомните лучше невыполненный долг старому, всегда преданному другу за юбилей, за знакомство с литераторами. (*Целует ее.*)

Рославлева (*растерянно*). Ну, хорошо, хорошо, довольно.

Явление 7

Лакей входит.

Рославлева (*лакею*). Убирайте.

Босницкий (*смотрит озабоченно на часы, пожимает плечами*). Хорошо... В таком случае я... тут в ресторане один мой знакомый... я сейчас его спроважу и приду. (*Идет к двери.*)

Рославлева (*проводя его, уходит за ним, слегка бьет рукой об руку, растерянно*). М-м-м...

Лакей убирает со стола. Уносит прибор.

Явление 8

Рославлева и князь входят.

Рославлева (*быстро идя вперед, расстроенная, горячо, раздраженно*). Ну, а я вам говорю, что не желаю, не желаю и не желаю...

Князь (*идет за ней, говорит неприятным, наставительным тоном*). Не понимаю... В таком случае через год вас понесут уже на кладбище.

Рославлева. Ну, и отлично.

Князь. И это все-таки будет еще лучше, а может быть и хуже.

Рославлева. То есть что?

Князь. Сами знаете: пьете — всякого пьяницу за пояс заткнете, все ночи в оргиях, меняете любовников...

Рославлева. Да вы с ума сошли! Вы не смеете!

Князь. Нет, смею и буду говорить.

Рославлева. А я вас выгоню!

Князь (*грубо*). Не уйду.

Рославлева. Что?!

Князь. Вот и что.

Рославлева (*останавливается перед камином, с отчаянием*). Господи! что же это?!

Князь (*порывисто*). Наташа! Мы с тобой совсем сумасшедшие люди.

Рославлева. Господи, да когда же конец этому?! Я вас слушать не могу. Я ведь всегда, всегда вам прямо говорила, что ненавижу, презираю вас.

Князь. И тогда ненавидела?

Рославлева (*устало*). Вы знаете очень хорошо, что я ничего не помнила.

Князь (*страстно*). Вы лжете, — вовсе не так уж пьяны были... После того еще бутылку выпили... Наташа, пожалей же... Ведь ты же знаешь, как я люблю тебя...

Рославлева. Да не смейте же говорить мне «ты».

Князь (*не слушая*). Я ведь погиб, погиб, — спаси меня, Наташа! (*Вынимает платок, плачет.*)

Рославлева. Это мужчина?!

Князь (*угрюмо*). Не бойся — мужчина! Надо будет — и плотку сумеем перерезать. Наташа, ведь ты же гибнешь... Ведь и я с тобой пропаду... Я не могу никому тебя уступить... Я убью, зарежу... Уедем отсюда, уедем за границу.

Рославлева. С вами? Слушать ваши сальные анекдоты? Наслушалась!

Князь. Наслушалась?! Поумнела с тех пор, как с писателями познакомилась? Беклемишев?! А на что вы ему? Еще раз сыграть роль...

Рославлева (*крича*). Да как же вы смеете, наконец?!

В дверях показывается Босницкий.

Я презираю, ненавижу вас...

Князь. А, так?! Ну, тогда...

Рославлева. Да что тогда? Не смейте больше бывать у меня.
(*Быстро уходит и скрывается в своей спальне.*)

Явление 9

Босницкий (*входя*). В чем дело?

Князь (*взволнованно*). Понимаете, весь сыр-бор загорелся из-за того, что я сказал, что, если так пойдет, она или умрет, или сопьется, или еще хуже что-нибудь выйдет.

Босницкий (*с гримасой*). Зачем?

Князь. А вы разве не того же мнения? Может быть, так резко говорить не надо было, ну, я жалею, что не умею владеть собой... (*Ходит, решительно останавливается перед Босницким.*) Слушайте: вы помирите меня с ней, а то я в таком состоянии, что, ей-богу, не ручаюсь... Я согласен просить у нее извинения... на все согласен... Может быть, действительно грубо... Ну, я не буду: только я должен помириться, понимаете — должен...

Босницкий (*ходит задумчиво, с гримасой*). Уйдите туда (*показывает на дверь*), я позову вас.

Явление 10

Босницкий (*подходит к спальне Рославлевой, стучит тихо*). Наталья Алексеевна... (*Молчание.*) Выйдите, он ушел.

Явление 11

Рославлева входит слегка заплаканная, утомленная.

Босницкий. Охота вам обращать внимание на слова человека с приросшими мозгами: с такими людьми надо уметь брать высший тон, а уж сделана ошибка, надо с тактом уничтожить ее последствия... Ну, влюбился, потерял голову... Сами же подали повод...

Рославлева (*с отвращением*). Да ничего он не потерял, и не я ему нужна... Отлично понимаю... Ведь я все, все так понимаю...

Босницкий (*с гримасой*). Что там еще... Вопрос просто ставится: решили вы покончить с ним, ну и выводите так линию... Взбалмошный мальчишка... Сидит там и говорит: если она меня не простит, я покончу с собой.

Рославлева. Да не покончит же...

Босницкий. Но кончают... Самого слабохарактерного можно довести. И что приятного? Пустит себе пулю в лоб, — скомпрометируете себя перед всеми.

Рославлева. А-а!

Босницкий. Имейте терпение: даю вам слово, — в самое короткое время отстанет... Слушайте: я его позову... Никаких объяснений, ничего не надо...

Рославлева. Предупреждаю — никаких объяснений. Иначе я не выдержу.

Босницкий. Само собой, никаких. (*Быстро уходит.*)

Явление 12

Рославлева (*стоит неподвижно, с отчаянием*). Эти негодяи способны рассказать все Борису!

Явление 18

Босницкий и князь входят.

Рославлева (*равнодушно-апатично князю*). Ложу взяли?

Князь (*угрюмо*). Взял, вот... сдача. (*Кладет билет и деньги на стол.*)

Рославлева (*подходит, берет билет, бросает его на стол, тихо*). Терпеть не могу сидеть далеко от сцены.

Князь. Ближе не было.

Босницкий (*подходит к столу, смотрит билет*). Это хорошая ложа.

Князь. Да отличная ложа. Ведь это так уже: не понравится, так уж все не так, — взял бы я ложу ближе к сцене, она сказала бы: зачем не дальше...

Рославлева (*садится в кресло, упрямо, равно-душно, ни к кому не обращаясь*). Терпеть не могу сидеть далеко от сцены, (*Смотрит в камин.*)

Явление 14

Входит лакей, подает Рославлевой карточку.

Рославлева (*лакею*). Просите.

Лакей уходит.

Явление 15

Рославлева (*Босницкому*). Зорин. Переодеться?

Босницкий. Не надо.

Рославлева. Нет, я пойду хоть поправлю волосы. (*Уходит.*)

Явление 10

Князь нетерпеливо встает.

Босницкий. Уходите?

Князь (*с фатоватой выправкой вынимает портсигар, угрюмо*). Пусть уходят те, кому надо. (*Горячо.*) Я не понимаю, к чему таскать сюда всех этих Зориных, Беклемишевых?

Босницкий (*ядовито, с гримасой*). Все-таки немножко странно с вашей стороны распорядиться в доме самостоятельной женщины.

Князь. Самостоятельной женщины?! Ребенка, которым всякий, как хочет...

Явление 17

Входит Зорин.

Босницкий (*весело, размашисто протягивает Зорину руку*). А-а. Позвольте познакомиться...

Князь делает досадливое движение, жмет руку Зорина и уходит.

Явление 18

Зорин (*сидясь, оглядывает комнату*). Цветов много, хризантемы, букеты... это все подношения поклонников? Это вы познакомили с ней Беклемишева?

Босницкий. Да.

Зорин. С какой целью?

Босницкий. Немного больше психологии женской души ему, художнику, не помешает.

Зорин. Но вы сами, насколько я понимаю, от этой психологии добровольно отказываетесь...

Босницкий. Вы слишком умный человек, чтобы вас морочить... Отказываюсь. Не совсем добровольно, впрочем, — нет времени, нет денег, чтобы поспевать за всеми ее сумасбродствами.

Зорин. Бросить же прямо неудобно, а Беклемишева карман вытерпит: резонно... Тем более что при этом другом вы остаетесь...

Босницкий. Нет, вы невозможный пессимист.

Зорин. Беклемишев ведь не слышит... Даже скучно, до чего в жизни все это одно и то же.

Явление 19

Входит князь.

Князь (*спотыкается, напряженно-весело*). Оперся на бамбуковую трость, Мишка, смотри, сероват — выведут.

Зорин (*князю*). Что значит «оперся на бамбуковую трость»?

Князь (*сухо*). А не знаю, право; так просто — давление на мозг.

Босницкий. У молодого джентльмена язык образный...

Князь (*грубо*). Говорите проще — не обижусь: мой приятель, дескать, белоподкладочник, у которого, как говорится, усы штопором, голова пробкой. (*Берет графин, наливает себе, приговаривая.*) Человек, коньяку! (*Выпивает и уходит.*)

Зорин. Хорош.

Явление 20

Входит быстро Рославлева, переодетая в другое платье.

Рославлева (*Зорину*). Ах! Я так, так рада!

Зорин. Рады не рады, а принимайте: от литературного фонда с благодарностью за пожертвование, — низкий поклон до земли. (*Тяжело кланяется.*)

Рославлев (*смущенно*). Не конфузьте... Я растерялась совсем. Садитесь.

Все садятся.

Зорин. Не теряйтесь, пожалуйста: ручаюсь вам, со мной это скоро пройдет... Жена говорит мне: «Ах, Саша, ты какой ужасный! К тебе приходят студенты, курсистки — никогда писателя в глаза не видали, — смотрят, как на бога, а ты, вместо того чтобы поддержать, пойдешь и пойдешь: „Да вы знаете, кто я?“ Все развенчать, никаких иллюзий, такой ужасный реализм!» Да, иллюзий никаких! В молодости, в самую патетическую минуту, когда, кажется, весь мир забыл, я в эту-то минуту и подлец, — точно черт мне из-за чужой спины пальцем тычет: и морщинка под глазом, и складка не так, и шейка грязная... Рославлева. Александр Сергеевич-Зорин (*добродушно*). Вот вам и Александр Сергеевич... Я ведь циник... Можно курить?

Рославлева. Пожалуйста. (*Тихо Босницкому, пока Зорин достает портсигар и закуривает.*) Совсем ушел?

Босницкий (*так же тихо, с гримасой*). Шапка здесь.

Рославлева возмущенно пожимает плечами.

Зорин (*Рославлевой*). Ну что же, понравились вам на юбилее наши писатели?

Рославлева. Ужасно!

Зорин. Но больше всех Беклемишев?

Рославлева. Я страшно люблю его сочинения.

Зорин (*добродушно*). Что-нибудь читали?

Рославлева. Я читала две его вещи. Кажется, больше и нет?

Зорин. Больше и нет.

Рославлева. Он хорошо пишет.

Зорин. Хорошо... Как что...

Рославлева. Александр Сергеевич, то, что вы пишете, с природы или фантазия?

Зорин. И если с природы, то кто именно, а если фантазия, то как было в натуре? (*Босницкому*.) Это ведь особенная женская логика: Беклемишев писатель — это что, а вот интересно, как он пишет, кого именно пишет.

Рославлева, Ох, опишет меня, Александр Сергеевич.

Зорин. Вы, женщины, ведь любите, чтобы вас описывали... Иная на все пойдет: до печати — миленький, голубчик, сделайте надпись, а потом и не кланяется.

Рославлева (*лукаво*). А Владислав Игнатьевич что пишет?

Зорин (*иронически*). Он слишком умен, чтобы писать.

Босницкий. Умнее Шекспира не напишу, а глупее... не стоит... Творчество ео ipso ^[23]уже глупая сила, — с созданным вместе рождается и то, что его разрушит... То, что сегодня ново, хорошо и умно, завтра уже станет старо, никуда не годно и глупо... а всё вместе — жизнь — одна большая, всегда несостоятельная глупость. Есть нечто более тонкое: угадать, понять это глупое... А впрочем, и это ниже достоинства, потому что вас не поймут... Что до меня, я давно уже уложил свой багаж и сижу на нем в ожидании черт его знает где запоздавшего поезда... Здесь времени хватит выпить, закусить... легкий флирт устроить и уступить его другому без гнева и сожаления... Вы скажете — провинциальный шалопай?

Рославлева. Просто шалопай.

Босницкий (*лениво повернув голову, прищурившись, смотрит на Рославлеву*). Я боюсь, что если захочу и вашу сделать кстати характеристику, то она выйдет, пожалуй, резка немного...

Рославлева. Делайте.

Босницкий. Делать? (*Оглядывается, откинув руку, щелкает пальцами*.) Да? (*С мекфистофельским лицом*.) Извольте: «их раздоры,

болтливость, упрямство, слабость, ревность, насмешки и то искусство, которое сии малые души имеют к привлечению в свою пользу великих людей, не могут тут быть без последствий». Господин Монтескио, перевод тысяча восемьсот первого года господина Крамаренко, издание нашей академии, глава девятая: «О состоянии женского пола в разных правлениях».

Рославлева. Александр Сергеевич, слышите?

Зорин (*вставая*). Слышу... Пора мне...

Явление 21

Входит Беклемишев, здоровается, целует Рославлевой руку.

Рославлева (*тихо*). Милый! (*Громко Зорину*.) Александр Сергеевич, куда же вы? Позавтракаем.

Зорин. Нет... ночь всю писал — с поездом отправлять рассказ надо, а конец еще в голове... Да и какой я вам компаньон? Только завтрак весь испорчу... Я ведь циник: всю иллюзию разобью... Когда тридцать лет пишешь... Где я шапку свою дел?.. Я и дочери своей говорю: бери лучше правофлангового в мужья, чем писателя, — какой муж писатель? Иллюзий никаких, ночь пишет, днем или с друзьями по трактирам пропадает, или спит, и при всем этом хорошо еще, если через несколько лет после свадьбы не примется за пополнение пробелов по части женской души... (*Показывает на Беклемишева*.) Вот кого зовите: рыцарь без страха и упрека...

Босницкий. Тот рыцарь, который стоит перед малюткой гор. (*Показывает Рославлевой на Беклемишева*.)

Так целуй его смелее
И смотри, ребенок мой,
Рыцарь духа пресвятого
В этот миг перед тобой.

Рославлева. (*всплескивая руками*). Владислав Игнатьевич!..

Босницкий (*слегка смущенно*). Художник не рыцарь? Благороднейший из всех рыцарей... как Данте определяет художника:

«Jo mi son uno che quando amore spiro noto in quel modo dei detta dentra, vo significando».

Зорин. Ходячая энциклопедия... Переведите хоть.

Босницкий. «Я так создан, что мною руководит любовь, и что она мне диктует, то я и пишу». Художник! Он любит, боготворит все то, что жизнь. Это его храм, где все тянет его с неотразимой силой... Все старо в этом храме, как мир, и ново, как тот луч, который играет в том разноцветном фонаре... Ребенок и мудрец — два вечных естества художника...

Зорин. Поэтому вы и предлагаете целовать его? Че-ерт! *(Машет рукой, кланяется и уходит.)*

Рославлева *(вдогонку).* Александр Сергеевич, оставайтесь завтракать.

Зорин *(не поворачиваясь, отрицательно мотает головой, идет, слегка волоча ногу).* Было время... *(Уходит.)*

Явление 22

Босницкий. Этот Зорин всегда бесит меня. Ведь большой талант в сущности, очень тонко наблюдает жизнь и понимает — мог бы развернуть картину *(делает соответствующий жест)*, а что в его писаниях? Шаблон, мораль, никуда не годная психология... В жизни сам поцелуется без всякой психологии, и в этом и будет психология, а на бумаге такую канитель разведет...

Явление 28

Входит слегка выпивший князь. Беклемишев делает нетерпеливое движение и сухо здоровается с князем.

Беклемишев *(отходит с Рославлевой к сцене, тихо).* Вы хотели, кажется, сегодня никого не принимать, Рославлева *(тихо, испуганно).* Я не виновата.

Явление 24

Входит лакей, подает Рославлевой карточку.

Рославлева (*берет карточку, быстро бросает ее на стол и смущенно закрывает лицо*). Ах, ах, ах! (*Торопливо, испуганно лакею*.) Никакого ответа не будет.

Лакей уходит.

Явление 25

Босницкий берет карточку.

Рославлева (*быстро хочет отнять у него*). Нельзя, отдайте. Я уйду, если не отдадите.

Босницкий (*обиженно*). Да извольте, извольте.

Князь. Точно никто так и не догадается, — от мотылька, конечно.

Беклемишев (*в сторону*). Это еще кто? (*Громко, сдержанно*.) Это кто?

Рославлева (*растерянно*). Я здесь ни при чем.

Босницкий (*Беклемишеву*). Понимаете...

Рославлева (*кричит*). Не говорите, не говорите.

Неловкое положение. Беклемишев угрюмо смотрит в тарелку. (Босницкому, решительно.) Говорите.

Босницкий (*князю*). Вы, кажется, лучше знаете.

Князь. Я ничего не знаю: у меня болит голова. (*Уходит.*)

Явление 20

Рославлева (*Босницкому*). Говорите же. Босницкий. Ну, одним словом, какая-то глупая маскарадная история, и с тех пор целый эскадрон воинов, с этим мотыльком саженного роста во главе, осаждает.

Рославлева. Я им никакого, никакого повода не подала. Это было три недели назад: разговаривала в маскараде, — все разговаривают, проводили мою карету до подъезда, узнали мой адрес и с тех пор не

дают покоя; чем я виновата? *(Беклемишеву.)* Пишет, что внизу ждут меня завтракать...

Явление 27

Лакей *(входит, смущенным голосом).* Они здесь — просят на два слова. *(Уходит.)*

Явление 28

Рославлева *(растерянно).* Господи! *(Вдруг плачет.)*

Беклемишев *(сурово).* Вы хотите выпроводить их?

Рославлева. Конечно. Это было пустое кокетство, но теперь я не хочу, не хочу, не хочу!..

Беклемишев. Вы позволяете мне переговорить за вас?

Босницкий. Ну, что там еще?! Прогнать их через лакея.

Беклемишев *(Рославлевой).* Можно?

Рославлева. Я боюсь.

Беклемишев *(сухо).* Пожалуйста, не бойтесь. *(Идет к двери.)*

Босницкий. Все уж пойдем тогда.

Беклемишев *(холодно).* Зачем? Выйдет, что струсили. *(Уходит.)*

Явление 29

Босницкий. Глупая история: дуэль выйдет.

Рославлева стремительно бросается к двери. Босницкий тоже встает, в дверях появляется Беклемишев.

Явление 30

Рославлева. Ну?!

Беклемишев *(идет к сцене, сухо).* Ушли и больше не придут.

Рославлева. Но что же вы им сказали?

Беклемишев...Сказал им, что здесь живут совершенно порядочные люди, — они извинились и ушли.

Рославлева. Ах, я так, так, так благодарна... Я такая глупая: я не должна была вас пускать...

Беклемишев (*морщится*). Почему?

Рославлева. Вы писатель, и вдруг из-за меня...

Беклемишев (*недовольно*). Ну, что там еще!..

Босницкий. А если бы не так благополучно кончилось? И вдруг дуэль? Писатель Беклемишев и известный скандалист маскарадов...

Беклемишев. Конечно, это было бы глупо...

Босницкий. Да, да... Но мне все-таки пора... (*Подходит к Рославлевой, иронически целует ей руку, приятельски жмет руку Беклемишеву и уходит.*)

Беклемишев провожает его.

Явление 31

Рославлева одна.

Рославлева. Боже мой, боже мой! Что он подумает обо мне? Что мне делать?

Явление 32

Беклемишев входит.

Рославлева (*испуганно, ласково обнимая Беклемишева*). Милый мой... У тебя что-то есть на душе? Конечно, я знаю, что все эти... Но я сейчас тебе объясню, как все это вышло.

Беклемишев. Какое я право имею?..

Рославлева. Ты? Какое право? Право жизни и смерти. (*Решительно.*) Милый, ты никогда меня не будешь знать, если не узнаешь мою историю. Я тебе все, все расскажу. Ты всегда так упорно отклоняешься, но ты должен, должен меня выслушать; особенно

теперь, когда мне все так ясно, все... Милый, позволь... Беклемишев (*нехотя*). Расскажи.

Садятся.

Рославлева (*оживленно*). Слушай... Помнишь, я тебе как-то шутила, на твой вопрос: откуда я? — ответила: «Я спустилась на землю на лунном луче»?.. Ты знаешь, я действительно сошла с луны в том смысле, что я не понимаю ничего в человеческих отношениях... Говорят, надо так, а не так, — надо лгать, надо притворяться... я не понимаю этого, я не могу. Я и хочу, как другие, и всегда все выходит как раз наоборот. Я просто какая-то, верно, проклятая... Вначале я мечтала о подвигах и жертвах, а что вышло из всего этого? Я бросила дом, общество, ушла на курсы. Я не могла поступить на высшие курсы, потому что умела танцевать, ездить верхом, говорить на четырех языках, умела носить парижские платья, но диплома у меня не было. Я была на курсах сестер милосердия... Там я и познакомилась с моим будущим мужем, — он кончал тогда университет, — у него были красивые глаза, он все сидел и молчал, только смотрел, когда другие говорили. Мне казалось, что он молчит потому, что больше всех их знает... он молчал потому, что он дурак был, полное ничтожество, которое я презирала уже, когда шла с ним под венец.

Беклемишев. Зачем же шла?

Рославлева. Да ведь дура же, милый, дура была: жалко было. Год была невестой, обещала, совестно было обмануть... Думала, что замужество отворит мне какие-то двери... Ты слышал, вероятно, говорят: «Девушке ничего нельзя, девушка стеснена, а замужняя женщина свободна...» Этой свободы я и добивалась... Ах, Борис! Как ужасно жить с тем, кого ненавидишь. Я ходила за одним больным, у которого все тело было покрыто ранами; я мыла эти раны... воздух ужасный, ужасный, — но это было счастье в сравнении с тем стыдом, позором, которые я испытывала с мужем... Борис, ведь я пошла за него глупой восемнадцатилетней девочкой. Что я знала? Я сделала страшную ошибку, промах, и за что, сделавши этот промах, я — уже, когда поняла это, взрослая уже, не могла, не имела права исправить своей ошибки? Он бил меня...

Беклемишев. Бил... за что?

Рославлева. Я изменила ему... я думала, что хоть этим отделаюсь от него, я просто обезумела... я ненавидела, я презирала его, себя, всех, общество, это ужасное провинциальное, маленького городка, общество, я хотела всех сразу побить, растоптать, доказать, что лгут же они, что я не раба, что меня нельзя, как вещь, считать своей... показать этому, который, ни на что не способный, жил на мои средства и все время только караулил меня... *(Упавшим голосом.)* Когда я объявила ему, что изменила, я думала, что он меня оставит... А он бил меня, и, когда я убежала, не дал даже паспорта, — он мне и теперь не дает... я живу так как-то... Мало того, он подал прошение, чтобы наложили на меня опеку, чтоб его назначили опекуном. Он на коленях стоял перед губернатором и плакал, и вот теперь идет следствие: жандармы опрашивают всех... грязь, гадость...

Беклемишев. Но что ж делал тот... с которым ты изменила? Почему он не заступился?

Рославлева. А-а! Я только тем и спаслась, что сбежала. в распутицу, — проехала так пятьсот верст и больше никогда уже никого из них не видела... Я приехала в дом моей тетки, больше некуда было, — я тебе рассказывала, какой ужасной смертью умерли папа и мама. *(Вздыхая.)* Это такой нелепый дом у тетки... Книжки читают либеральные и ездят по монастырям, помешаны на приличии, на блеске, и рядом с этим и ночные похождения и такая грязь... Но чтоб никто ничего не знал... Все, конечно, знают. Официальное знакомство со всеми, но свой интимный кружок: дураки, пошляки, — вот князь из их общества... И я не лучше, конечно, их была... Мне было девятнадцать лет, я устала и просто решила жить и махнуть на все рукой: решила, что все это только книжная фантазия, там все эти какие-то другие люди, — все негодяи, и всем только надо одного... Два года я жила такой жизнью...

Беклемишев *(с усилием)*. Не стоит касаться ее... Мне необходимо только... Скажи: какую роль играл Босницкий во всей этой истории?

Рославлева. Милый, это наивно, это глупо, ты будешь смеяться, но, клянусь тебе, только потому, что и этот обещал мне какой-то выход.

Беклемишев *(с горечью)*. Тебе, что ж, представлялся этот выход как? Отворить какую-то дверь, и выход готов?

Рославлева (*ломая руки*). Боже мой! Всю, всю жизнь я отдала бы теперь, только бы не было со мною всего этого... Я должна все, все рассказать тебе... Слушай, Борис, самое ужасное... О-о... (*Закрывает лицо руками*.) Не только с Босницким, но и с князем...

Беклемишев. Довольно, Наташа.

Рославлева (*смотрит, широко открыв глаза, устало, равнодушно*). Если бы их было еще больше... чем больше, тем лучше... Я топтала себя, хотела совсем втоптать, задохнуться в грязи, хотела довести себя скорее до отчаяния, я напивалась, потому что иначе не могла их выносить, и не могла их выгнать, чтобы не остаться одной. Я хотела конца и боялась его до безумия... Я просыпалась, думала о смерти и думала, как бы скорей опять пришла ночь, чтобы напиться и ничего не помнить, чтоб все как-нибудь само собой пришло к роковой развязке... И вместе с тем я делала беспечный вид какой-то львицы... Ты видел, милый, что это за жизнь?.. Когда я увидела тебя, известного писателя и вместе с тем такого простого, деликатного, настоящего доброго, ласкового человека, когда ты вдруг предложил мне тогда выслушать и сказать свое мнение, перед тем как отдать в редакцию твой рассказ, я не знала, что со мной случилось, но я знаю, что я полюбила тебя навсегда, на всю жизнь... Ах, я почувствовала такую радость, точно я стала опять маленькой, счастливой и мне снится какой-то чудный, забытый сон... (*Прячет голову и плачет; некоторое время длится молчание; быстро спохватившись, смотрит на Беклемишева с ужасом*.) Милый, что с тобой? Ты не хочешь на меня смотреть, ты меня презираешь?..

Беклемишев (*с усилием*). За что ж мне презирать тебя? Все это, конечно, так понятно... Но какое я имею право?.. Нам надо, Наташа, серьезно поговорить... Ты прекрасна, молода; эти две недели прошли, как сон какой-то... Но, Наташа... так же не может продолжаться... Я не обманывал тебя... если бы я был свободен.

Рославлева молча, страстно целует руки его и платье.

Там, в деревне, жена, мои дети... Наташа, мы не будем ни оправдывать, ни обвинять себя... Все это так неожиданно, так неотразимо вышло, — что об этом говорить?.. Но... Идти дальше? Там стена, Наташа, из живых людей. Рубить для выхода придется эти живые, ни в чем не повинные человеческие тела... С топором палача о каком счастье может быть речь?! Мы хотим самых тонких красок,

самых ярких цветов, самых нежных мелодий, самых чудных грез, — всего лучшего, что дает только жизнь, — хотим рая жизни... В цветах рая не должно быть запаха трупа, Наташа, а он будет, — и труп и искалеченная жизнь детей. *(Нервно встает и ходит.)* Чудовищно, эгоистично — и для чего это? — для счастья, которого при таких условиях все равно не достигнем.

Рославлева *(тихо, мертвым голосом)*. Значит, конец?

Беклемишев *(ходит, садится возле нее)*. Покажи выход.

Рославлева *(горячо)*. Боже мой! Боже мой! Твоя жена шесть лет испытывала счастье, полное счастье, — я две недели, и никогда больше, никогда, ни одного мгновения не была счастлива.

Беклемишев. Станный довод.

Рославлева *(с холодным отчаянием)*. Да, я требую невозможного от людей. *(Задумывается, быстро, но спокойно целует его платье, встает и уходит, в дверях на мгновение останавливается и с любовью смотрит на Беклемишева.)*

Явление 33

Беклемишев *(быстро встает.)*. А-а! Вот где ужас жизни! Что делать? Побороть свое чувство, уйти навсегда, забыть, бросить ее, чтобы сорвалась еще раз, подтолкнуть в бездну? Но как же уйти, когда в душе сознание уже и своей вины и все то же впечатление ребенка, заблудившегося, который мечется, судорожно плачет от страха, от ужаса, оттого, что нет около нее тех, кого она хочет любить?! Она что-то задумала. *(Стремительно уходит за ней в дверь, быстро возвращается, держа ее за руку.)*

Явление 34

Беклемишев. Что ты хотела сделать? Если действительно меня любишь, скажи. *(Кричит.)* Наташа, да не будь же такая страшная... Говори, что у тебя в руке? Яд? Ты его приняла?

Рославлева отрицательно качает головой.

Как меня любишь?

Рославлева. Как тебя люблю... Но ты не можешь меня любить —пусти.

Беклемишев (*удерживая ее*). Постой, постой, Наташа. Я люблю тебя, но не в этом дело... Твое увлечение мной, конечно, пройдет, ты встретишь более достойного человека и, главное, свободного...

Рославлева. Никогда!

Беклемишев. Хорошо... Наташа, для меня ты чиста, как голубь... Наташа, я люблю тебя, и все-таки, несмотря на это, час назад никакие силы не удержали бы меня... Наташа, теперь я понимаю иначе свой долг, — я буду возле тебя, пока я тебе нужен.

Рославлева. До могилы, Боря...

Беклемишев. Хорошо. Но, Наташа... Ты видишь меня: факты налицо, и что мне распространяться перед тобой о своей добродетели! Я утешаю себя, что я художник, что мне надо знать душу человеческую. Но однажды я попробовал признаться жене в одной глупости, в сущности пустой истории. Жена — прекрасный, чудный человек, выше этой женщины нет на земле, — она поняла все, но просто организм не вынес, и она год была между жизнью и смертью.

Рославлева. И она простила тебе? Вот это и была ее ошибка. Она не должна была прощать.

Беклемишев. Но она не простит, когда узнает, что ее совсем заменили... Наташа, она — мать моих детей, — умрет она, умру и я. Я не мог бы жить с сознанием, что я палач.

Рославлева. Ты просто любишь ее.

Беклемишев. Не в этом дело, Наташа... Я связан обстоятельствами, которых нельзя уже нарушить. Я могу отдать тебе только то, что свободно во мне, и при условии, конечно, скрывать.

Рославлева (*вздыхает*). Милый мой, я на все согласна: возьми меня к себе в служанки.

Беклемишев. Наташа, зачем ты так говоришь?!

Рославлева. Но разве я могу теперь жить без тебя?! Я твоя раба и буду до могилы рабой.

Беклемишев (*нехотя*). Так недавно мы сошлись... Я не сомневаюсь, что все, что ты говоришь, правда, но, понимаешь, так еще рано говорить...

Рославлева. Понимаю, милый. Делай, как хочешь...

Беклемишев. Мне кажется... Я меньше всего хочу отворять какие бы то ни было двери выхода, но жить так, одной только любовью, — это значит... ну, играть на одной струне, стоять на одной жерди над пропастью, когда можно настлат прочный пол.

Рославлева. Ты хотел бы, чтобы я меньше тебя любила?

Беклемишев. Я хотел бы, дорогая моя язычница, чтобы любовь твоя сделалась более христианской, чтобы через меня ты пополнила свою жизнь, полюбила людей, общество, его интересы...

Рославлева. Милый, ты называешь меня язычницей... Конечно, как язычница, я ненавидела делавших мне зло. Хорошо, я буду христианкой. Что я могу дать обществу?

Беклемишев. Оценка твоя, конечно, как члена общества, теперь ничтожна.

Рославлева (*тихо*). Даже без паспорта...

Беклемишев. Паспорт найдем. Я пойду к этому негодяю рабовладельцу и поставлю ему вопрос ребром: не захочет добром, — двое нас не выйдут из комнаты.

Рославлева. И если не выйдешь ты — все кончено для меня, — а его, конечно, оправдают, и он получит еще и мое состояние. Милый, за него все, вся правда земли; оставим его жить... Если б я сделалась и самым идеальным даже членом общества, то что общество даст мне?

Беклемишев. Наташа, я хочу только сказать, что, если ты хочешь любви, основанной на уважении...

Рославлева. Общество нам, женщинам, оставляет только любовь, и то рабскую. Я и хочу только любить... как раба...

Беклемишев. Наташа... Ты говоришь о моих способностях, о писанье, об уме... Кажется, ты гордишься мной?..

Рославлева. Страшно горжусь.

Беклемишев. Я тоже хочу тобой гордиться. Мое уважение уже принадлежит тебе, конечно, но надо уметь завоевать уважение и других.

Рославлева (*покорно*). Хорошо. Я сделаю все: с чего начать?

Беклемишев. С чего хочешь... Познакомишься, рассмотришь и решишь сама. А теперь вот что: давай мне эти проклятые порошки, — что в них?

Рославлева. Какой-то сильный яд, — смерть легкая, с бредом.

Беклемишев. Откуда они у тебя?

Рославлева. Это один доктор... Я каждый вечер, засыпая, все хотела принять этот яд на другой день и не в силах была, а сегодня так легко приняла бы, потому что возвратиться к прежнему я не могла бы... *(Бросается на шею Беклемишеву.)* Боря, Боря! Мой бог, мой спаситель!

Беклемишев хочет бросить коробку в камин.

Не бросай... Когда я тебе надоем, — отдай мне эти порошки. Не бросай, как меня любишь... *(С упрёком.)* Ты боишься... значит, ты разлюбишь меня?.. **Беклемишев.** Хорошо, я не брошу.

Она идет с ним к столу радостная, счастливая.

Занавес

Действие второе

Столовая Беклемишевых в Петергофе. Открыта дверь в детскую.

Явление 1

Голос из детской девочки двух лет *(раздельный, каким говорят, когда знают только од-но-два слова).* Папа! Папа!

Голос няни. Папа, папа, — скоро приедет, привезет Валечке много игрушек.

Голос Али *(больной, капризный).* Я хочу, чтобы папа уже приехал.

Голос Беклемишевой. Папа скоро, скоро приедет: уже едут с вокзала. Не стой на кроватке, а то ножка заболит опять.

Голос Али. Иди — смотри в окно и скажи мне, когда увидишь папу.

Явление 2

Входит Беклемишева и задумчиво становится у окна.

Голос девочки *(из детской.)* Па-па! Па-па!

Голос Али. Уже едет?

Беклемишева. Нет. Но вот уже едут с вокзала.

Голос Али. Скоро едут?

Беклемишева. Скоро, скоро.

Слышен шум проезжающих экипажей.

Голос Али. Это папа?

Беклемишева. Нет.

Новый шум.

Голос Али. Папа?

Беклемишева. Нет.

Голос Али. Когда папа?

Беклемишева (*печально смотрит в окно*). С следующим поездом приедет папа.

Звонок.

Голос Али (*радостно*). Авидишь — папа!

Беклемишева (*с горечью*). Это дядя Зорин.

Голос Али (*раздраженный*). Я не хочу его, не води его ко мне.

Явление 3

Зорин (*жмет Беклемишевой руку*). А Бориса Павловича нет?

Беклемишева (*овладевая собой, приветливо*). Нет, не приехал еще.

Зорин. Он хотел, кажется, сегодня приехать?

Беклемишева. Да, хотел... Садитесь.

Зорин (*садится, добродушно*). Ая гулял и зашел... Аккуратность, впрочем, не его добродетель. Чем-нибудь увлекся, по обыкновению... По доброте, конечно... он ведь очень добрый?

Беклемишева. Если Боря не добрый, то кто же добрый?

Зорин (*добродушно*). Кхе... Но поручиться за него все-таки нельзя. Может быть, теперь он уже плывет где-нибудь на трембаке критян спасать.

Беклемишева (*рассеянно*). Что такое трем-бака?

Зорин. Гнилая лодка, на которой греки в бурю контрабанду возят. Непременно в бурю, чтобы обмануть бдительность пограничной стражи. Легко быть отважным на громадном пароходе, рисоваться

перед дамой своего сердца героем-морьяком, а вот я посадил бы такого героя в трембаку в бурю, в открытом море... И, заметьте, на коммерческой почве все это проделывается. А так, без коммерции, — что такое грек? — трус.

Беклемишева. Но какой ни увлекающийся Боря, но и вы, думаю, согласитесь, что хоть телеграмму, а прислал бы он.

Зорин. Телеграмму? Пожалуй. А может быть, интересную барыньку встретил? Писатель, да еще импрессионист, — человек не принципиальный: поручиться нельзя. Хотя Боборыкин и говорит, что русские мужчины честнее, что у них нет, как у французов, потребности в женской грации, ласке, потребности обладания, — но полагаться на это все-таки не советую... Тем более — импрессионист... Вы не ревнивы, конечно.

Беклемишева. Надеюсь...

Зорин. Че-ерт! И моя жена надеется. А попробуй я лишних пять минут посидеть с чужой дамой... Ведь для образованной женщины ничего обиднее нельзя сказать, назвав ее ревнивой. Как! Она, изучившая и физиологию и психологию, вдруг станет, как и последняя пастушку, получившая свое образование в гостинной, — ревновать?! Вы ведь думаете, что ваше образование делает вас совсем другим человеком...

Беклемишева *(сухо)*. Я ничего не думаю.

Зорин *(добродушно)*. Обиделись. Че-ерт! Я свою жену раз десять на день доведу до белого каления... Когда тридцать лет пишешь, так уж перестаешь видеть людей так, как смотрят на них в обыкновенном обществе: это вот Иван Иванович, а это Семен Семенович... Для меня и Иван Иванович и Семен Семенович — это уж книги все по тому же предмету, — разных только авторов, — и как не заглянуть в эту новую книгу...

Беклемишева. Все зависит здесь от манеры заглядывать.

Зорин *(кивает головой)*. Боря, например... Впрочем, Борю я оставлю, чтобы еще больше не рассердить вас... Здесь ведь у женщин тоже особая логика. Заговори я с вами о ком хотите, и ваше критическое отношение, ваша эрудиция будут при вас, и вы отлично разберетесь. Но если затронул моего Борю, — моего!.. Мой Боря бог, мой Боря гениальный писатель, безукоризненный общественный деятель. Заметьте: образованная женщина, которая отлично сознает,

что от Бориной славы ей ничего не перепадет, потому что Боря и она — совершенно друг от друга отличное... Но случись вдруг, что мой Боря перестал быть моим: куда полетит и бог, и гений, и общественный деятель!

Беклемишева (*спокойно*). У меня никуда не полетит, и все останется там же, где и было...

Зорин. Да, говорите... А любовь — так уж любовь, никем не изведенная, и смерть, обнявшись, в одном гробу?.. Че-ерт! У меня всегда является желание таких влюбленных, ищущих смерти, вместо яду напоить касторкой и затем поселить обоих. на двух необитаемых островах: ее с самым ненавистным, но молодым, его с самой ненавистной, но тоже молодой. И как вы думаете, через тридцать лет во сколько человек разрослась бы колония на этих двух островах?

Беклемишева. Я вам откровенно скажу, Александр Сергеевич, я очень уважаю вас, как одного из самых лучших наших писателей, и люблю ваши сочинения, но не люблю и не могу совершенно примирить таких ваших разговоров с тем возвышенным, что привлекает в ваших писаниях.

Зорин (*весело*). Че-ерт! Попробовал бы я в своих писаниях так писать, как говорю: вы бы первая, несмотря на то, что читаете очень и очень много, моих книг в руки не взяли бы.

Беклемишева. Не взяла бы... Я хочу подъема, хочу идеалов...

Зорин. И потому не хотите смотреть себе под ноги?

Беклемишева. Грязи не хочу.

Зорин. Да не грязи же, а сознания не хотите: требуете тумана и называете это идеалом... даже образованная... Нет ведь консервативнее элемента, как ваш брат — женщина.

Беклемишева (*заглядывает в детскую, про себя*). Уснул...

Звонок.

Это с нового уже поезда. (*Быстро заглядывает в окно, разочарованно.*) Санин... Маша, звонят.

Горничная проходит.

Зорин (*неловко, быстро вставая*). Ну, я пошел... Вот я какой: уважаю, вашего шурина во как, но заставь меня в его чистенькой, аккуратной, где все на месте, квартире, — не то чтобы век, — день за него прожить, день — и я повесился бы! Ведь он так живет, что знает

все: когда встанет, когда ляжет, когда займется, и сегодня и завтра... до гробовой доски.

Беклемишева. Но это честнейший человек, и с ним ничего не может непредвиденного случиться.

Зорин. Он лучше Бори?

Беклемишева. Боря художник.

Зорин (*жмет руку, уходит, слегка волоча ногу, качает головой*). Художник!.. Понимать только это слово надо.

Явление 4

Беклемишева одна, стоит и грустно смотрит вслед Зорину. Санин входит.

Беклемишева. Бори нет с этим поездом?

Санин (*здороваясь*). С этим поездом нет его.

Беклемишева растерянно садится на стул.

(Быстро, большими шагами, наклоняясь вперед, ходит по сцене; напряженно, успокаивая.) Ну что ж? Задержало что-нибудь... *(Увидев вдруг головой уткнувшуюся в спинку стула и тихо плачущую Беклемишеву, испуганно, с болью, нервно.)* Но, но?! Вы такой молодец... *(Бодрясь.)* Кураж! ^[24]

Беклемишева (*тихо, не поднимая головы, тяжело*). Такая тоска. Все одна, одна... Перевез нас сюда, потому что думал жить здесь, а все ездит и ездит где-то... Эти рассказы о Рославлевой, издевательства Зорина...

Санин нервно, беззвучно, с отчаянием закидывает руки, смотрит на Беклемишеву. Звонок.

(Быстро оправляется, пробегающей горничной, убито.) Маша, меня дома нет.

Явление 5

Входит Беклемишев, за ним улыбающаяся горничная.

Беклемишева (*быстро, радостно*). Боря, дорогой!

Горячо обнимаются.

Няня (*с маленькой дочкой выглядывает из детской*). Это папа.
Девочка испуганно уходит в детскую.

Санин (*целуясь с Беклемишевым, весело*). Стыдно, дети не узнают...

Слышен сонный, радостный голос Али: «Папа!»

Беклемишев (*весело*). Узнают все-таки. Иду, мой мальчик!
(*Быстро идет.*)

Беклемишева (*идет за мужем*). У него все ножка.

В дверях детской появляется полураздетый мальчик.

Аля (*от восторга смеется детским басом*). Ты приехал?!

Беклемишев подхватывает его на руки, мальчик ручонками сжимает щеки отца.

Ты приехал? Ты приехал?

Беклемишев с Алей и Беклемишева уходят в детскую.

Явление 6

Голос няни. Это папа, папа.

Санин (*ходит большими шагами по сцене, наклоняясь вперед*). Дети не узнают! Теперь прикрутим голубчика! (*Продолжает озабоченно ходить.*)

Прносят пакеты с игрушками.

Голос Али. Это игрушки?

Беклемишев. Игрушки, мой милый мальчик.

Беклемишева. На юг надо летом.

Беклемишев. Да, непременно. Это тебе, это тебе... это, а это тебе, моя маленькая, и это...

Явление 7

Беклемишева (*входя под руку с мужем, ласково*). Нет, постойте, счастье мое, я теперь за вас примусь... Вы когда выехали из деревни?

Беклемишев (*смущенно*). Что?

Беклемишева. Я телеграфировала управляющему, потому что вы сами стали безбожно молчать. (*Грустно.*) Не то, что прежде... Он ответил, что ты выехал из деревни двадцать седьмого: три дня, — значит, ты приехал вчера.

Беклемишев (*смущенно улыбаясь*). Но я приехал сегодня. Совершенно верно: я выехал двадцать седьмого, — но я провел сутки в Москве.

Беклемишева (*весело*). Зачем?

Беклемишев. По делам редакции.

Беклемишева. Это верно?

Беклемишев. С каких пор ты перестала мне верить?

Беклемишева. Верю, конечно. Но, миленький мой, об этой Рославлевой и о вас мне так прожужжали уши, что, наконец, и я начинаю не на шутку...

Беклемишев (*полусерьезно*). Нет, хоть уж ты не начинай...

Санин (*на мгновенье останавливаясь, с горечью, но глядя вызывающе*). А кому же, как не ей?!

Звонок. Пробегает горничная.

Беклемишев. На меня уж не раз ополчались, но до сих пор она не поднимала оружия...

Беклемишева (*горячо, с отвращением*). Так и до могилы, конечно, не подниму.

Явление 8

Горничная (*в дверях*). Анна Николаевна приехала.

Беклемишева (*огорченно*). Я же сказала тебе не принимать.

Горничная с озадаченным лицом смотрит.

Беклемишев (*с досадой*). Я не выйду.

Беклемишева (*горничной*). В гостиную проводи ее. (*Уходя, Беклемишееу.*) Я сейчас приду.

Явление 9

Беклемишев (*кивает ей головой, Санину*). Как поживаете?

Санин (*смотря в упор на Беклемишева*). Я ведь вчера вас видел в городе.

Беклемишев (*быстро*). Пожалуйста, только не говорите.

Санин (*продолжая ходить, качает головой*). Ах, Боря, Боря! (*С горечью*.) И все будет утверждать, что между нами только приятельские отношения... Комик вы... Себя, семью, родных оскорбляет, унижает, и даже не хочет этого замечать. (*Смеется нервным тяжелым смехом, ходит, не смотря на Беклемишева, хлопает себя по ляжкам, качает головой*.) Комик, комик... (*Возмущенно, с достоинством*.) Но, если я имею право, как ваш друг, друг вашей семьи, ваш родственник наконец, я спрошу: когда же конец (*решиительно трясет головой*) всей этой грязной истории с этой женщиной, которая иссушит ваш Мозг — вы уже ничего не пишете, — ваше тело — вы уже старик, — разобьет жизнь этих всех?! И это Беклемишев — надежда, общественная сила?! Через год это будет изолгавшаяся жалкая тряпка в руках этой...

Беклемишев (*с горечью*). Ваня, ограничьтесь мной и не касайтесь того, кого не знаете.

Санин (*энергично*). Знаю, видел: не оставляет ни в ком сомнения, кто она.

Беклемишев (*горячо*). стыдно, Ваня. (*Устало*.) Сейчас жена может прийти... Я буду у вас, и обо всем поговорим. Но, Ваня, если не хотите чего-нибудь страшного, ради бога, не затрагивайте при ней.

Санин (*грустно*). Да уж, конечно... Эх, Боря, Боря, думал я, что вы больше мужчина.

Беклемишев. При чем тут мужчина?

Санин. Мужчина, муж так мелко врать не станет, Боря.

Беклемишев (*нервно*). Ваня, да что ж вы, ей-богу?! Лучше, по-вашему, если бы я сказал правду и завалил сразу все здесь могильным камнем?! Ну, а эти на кого останутся?!

Санин (*с отчаянием*). Неужели же так далеко зашло?!

Беклемишев (*мрачно, нехотя*). Людям не распутать — только все погубить могут... (*С порывом отчаяния*.) Оставьте все мне: я все на себя взял — я лгу, я изоврался и изолгался, — хорошо... (*Страстно*.) Но легче, легче умереть... надо силу, чтоб жить...

*(Ходит, успокоившись.)*Здесь одно время поможет: малейший неосторожный шаг...

Явление 10

Беклемишева *(входя, веселая, счастливая)* — Анна Николаевна непременно хочет тебя видеть Беклемишев *(тоскливо)*. Я к детям хочу.

Беклемишева. На одну минуту.

Беклемишев. Ну, хорошо, идем.

Идут: Беклемишева останавливается, обнимает и несколько раз горячо целует мужа; Беклемишев искренне ей отвечает такими же поцелуями.

Явление 11

Санин *(один)*. О-о-о! *(Отчаянно машет рукой.)* Нет, не могу, — сбегу. *(Порывисто уходит.)*

Явление 12

Входят Беклемишев и Беклемишева.

Беклемишева. Я загляну к детям.

Беклемишев подходит к окну. Входит Беклемишева.

Беклемишева. О чем ты задумался?

Беклемишев. Так... Весна нежная, прекрасная, зелень как паутина, в позолоте заката, горит даль и небо... Чудное мгновенье...

Пауза.

Наша жизнь такое же мгновенье, Маня... Я всегда думал, что может помешать мне в жизни?! Другие от природы эгоисты, — они сами уродуют свою жизнь... я не эгоист... нет больше для меня счастья, как видеть счастливые лица.

Беклемишева. Да, ты добрый... А между тем женочка ваша, мое счастье, все это время была такая несчастная... такая несчастная. Нет,

нет, я не буду плакать... Мое солнце со мной, и нет больше мук... нет?

Беклемишев (*тихо, уклончиво*). Кто смутил тебя, Маня?

Беклемишева (*быстро*). Сердце мое смутило меня, Боря... Оно и теперь смущено.

Беклемишев. Маня!

Беклемишева (*быстро идет, затворяет двери детской, порывисто возвращается*). Боря, ты добрый, прекрасный! Большое счастье любить тебя... большое горе потерять тебя... но еще большее горе... быть обманываемой... Боря, не унижай меня... скажи... я найду силы... (*Бессильно садится на стул.*)

Беклемишев. Не обманывай себя: не нашлось бы у тебя сил. Да и не надо их. Я люблю тебя, Маня! Ты знаешь это... Могу ли я не любить тебя? Кто создал из меня художника, кто, когда никто, кроме тебя, еще не знал меня?.. Когда я в отчаянье рвал свое писанье, кто плакал, собирал клочки и склеивал их потом? Маня, как то солнце, как та весна прекрасная, так прекрасна ты в моем сердце!.. (*Дико.*) А-а!!

Беклемишева (*бросается к нему*). Боря, что с тобой?!

Беклемишев. Но это ужасно, Маня: я не могу жить без тебя, я люблю, люблю тебя, детей... а ты не веришь.

Беклемишева. Боря, верю, верю... Прости минутную слабость. (*Обнимает его.*) А, какое счастье!

Занавес

Действие третье

Богатый кабинет в квартире Рославлевой. За маленьким письменным столом с правой стороны сцены сидит Рославлева и переписывает. Она похудела, одета просто, в капоте, прическа простая, лицо озабоченное, печальное.

Явление 1

Рославлева (*кладет перо, задумчиво, устало*). Итак, переговоры с этим негодяем кончились ничем... Но он будет доволен моим письмом... (*Берет письмо и читает*). «Невоздержанность и неустойчивость Вашего характера, возмутительные притязания, совершенное непонимание меня — обрисовались снова и вполне. Я отказываюсь от всех дальнейших переговоров — унижительных, где торг идет и выкуп из рабства. Твердо верю, что избавлюсь от Вас, величайшего несчастья моей жизни, и так и не достигнете Вы Вашей гнусной цели — завладеть мной и моим состоянием. Но если бы Вы и добились, то помните, хорошо помните, что этот день Вашего торжества будет для Вас же и страшным днем. Глубоко заблуждаетесь, если думаете, что будете иметь дело все с той же девчонкой, которую Вы могли запугивать, бить и нагло издеваться... Горько ошибетесь: Вы встретитесь с женщиной, которая спросит у Вас отчет за свою разбитую жизнь. Никогда Вам не принадлежавшая, всегда искренне презиравшая Вас...» (*Вздыхает*). А Бори все нет... (*Смотрит некоторое время перед собой, поправляет волосы, нагибается, смотрит на часы*). Семь часов. Если и с этим поездом не приедет? (*С слабой иронической улыбкой*). Обещал вместе завтракать... (*Плачет, быстро вытирает слезы и продолжает писать*.)

Явление 2

Лакей. Николай Иванович Алферьев.

Рославлева. Проси.

Явление 3

Входит Алферьев.

Алферьев (*жмет Рославлевой руку*). Ну-с, я вам мешать не буду... Вы хотели знать, сколько будет стоить издание сборника? Я могу теперь вам ответить: очень даже дорого. А именно: если в десяти тысячах экземплярах, то три тысячи двести...

Рославлева. Я согласна.

Алферьев. Нет, вы не так сразу, — тут целое состояние. Торопиться некуда: я зайду на днях, а вы подумайте.

Рославлева (*встает и идет к большому столу, отодвигает ящик*). Берите, сколько вам надо.

Алферьев (*машет обеими руками*). Что вы, что вы? Во-первых, пока еще ничего не надо, а во-вторых, к вам будут приходиться со счетами: за бумагу, типографию, брошюровку, — вы и будете тогда платить им.

Рославлева (*задвигает ящик*). Пусть приходят.

Алферьев. Вы что это пишете?

Рославлева. Драму Бориса Николаевича.

Алферьев. Интересно бы почитать.

Рославлева. Нет, нет, на сцене скоро пойдет.

Алферьев. Борис Николаевич прежде читал нам... Он где?

Рославлева. Уехал по делам.

Алферьев. Ну, так прощайте... Так я зайду?

Рославлева. Я ведь согласна.

Алферьев (*смеется*). Да вы что? Не хотите меня видеть больше?

Рославлева (*страстно*). Иван Васильевич! Вы знаете все! Когда Бори нет, я жду его и никого не могу видеть, — я могу только переписывать его работу, — когда он со мной, кто отнимает наше время, тот... самый ужасный эгоист.

Алферьев (*смеется*). Ну, хорошо, бог с вами... Прощайте. (*Жмет руку и уходит.*)

Рославлева (*вдогонку*). Не обижайтесь только на меня.

Алферьев (*в дверях*). Нет, нет, а надо будет — все-таки зайду.

Рославлева. Хорошо, только на минутку.

Явление 4

Рославлева. Боже мой, боже мой! А его все нет!.. (*Опять пишет.*)

Явление 5

Лакей (*подает карточку*). Господин Босницкий.

Рославлева (*читает*). «Одну только, одну минуту старому другу». (*Лакею холодно.*) Не принимаю. (*Берет перо и пишет.*)

Явление 6

Рославлева (*проводит рукой по лицу*). Как кружится голова... потому что я ничего еще не ела сегодня... Боря, милый, дорогой, скорей же приезжай, я не могу жить без тебя. Ах, ты будешь, будешь мой, мой, только мой! (*Энергично пишет.*)

Явление 7

Входит Беклемишев. Рославлева, на мгновение повернувшись, продолжает писать. Беклемишев подходит и молча целует ее волосы. Рославлева, выпрямившись, не двигаясь, автоматически смотрит перед собой. Беклемишев кладет шляпу.

Рославлева (*вставая, все с тем же движением автомата, спокойно*). Как ездил?

Беклемишев (*нехотя*). Ничего. Наташа, я никак не мог приехать раньше. (*Ходит.*) Санин третьего дня видел меня в городе.

Рославлева (*равнодушно*). Да? (*Порывисто, страстно.*) Я так, так ждала. Хотя бы телеграммой уведомил...

Беклемишев. Где же бы я телеграмму писал?

Рославлева (*после некоторого молчания, с тупым раздражением*). Что ж ты там все это время делал?

Беклемишев (*резко, нервно, возмущенно*). Странный вопрос: что я делал в своей семье!

Рославлева (*судорожно закусывая губы*). Ах, в своей семье?!

Беклемишев (*еще резче*). А в чьей же? Моя, конечно (*С болью.*) Но не бойся, — я не наслаждался там: я видел горе моего друга, лучшего друга в жизни... Мой, мой бедный больной мальчик плакал, моя маленькая дочка меня звала «папа».

Рославлева (*бледнея*). Что же ты дольше не остался? И зачем упрекаешь меня своими детьми? Да разве я их не люблю, хотя и знаю только по портретам?.. (*Ласково*.) А у Али ножка? Ты отдал ему мои игрушки?

Беклемишев (*нехотя*). Отдал. (*Проводя рукой по лбу, про себя, нетерпеливо*.) А-а! За что я эту оскорбляю? (*Ходит, успокоясь и пожимая плечами*.) Жена хочет с тобой познакомиться: она верит, что между нами ничего нет.

Рославлева (*неопределенно*). Ты ей хорошо врал.

Беклемишев (*нетерпеливо, сдерживаясь*). Если хочешь, скажи слово, и я перестану врать: я ведь устал, Наташа, правда для меня ведь только выход. (*Страстно*.) Мне ненавистна ложь!

Рославлева (*холодно*). Кто ж виноват в этом?

Беклемишев (*взбешенно, почти кричит*). Эх, Наташа! Не натягивай же струн, ты ведь не знаешь их предела! Дай передохнуть. Должен отдать тебе справедливость: у тебя сила, выдержка, требовательность, какой не встречал я. Все было пустяки для меня в жизни, не было, с чем я не мог бы справиться. (*Страстно*.) Но если бы все, чего достиг, я сразу захотел бы, то и это легче было бы сделать, чем справиться с тобой... С виду ты только согласна как будто на все, но зачем ты все время выводишь свою собственную линию, и нужно дьявольскую силу, чтобы удерживать тебя от твоих безумных стремлений ставить вопрос, во что бы то ни стало, ребром?!

Рославлева. Я?

Беклемишев. Ты, конечно! Кто афиширует, кто ставит так вопрос, что ни малейшего сомнения ни у кого не остается, где бы я с тобой ни появлялся, в каких мы отношениях?.. И моя ложь выходит только бесцельной, глупой, пошлой.

Рославлева (*тихо, с ударением*). Но ведь и я лгу, и ты знаешь, как тяжело мне лгать... И если все-таки все всем очевидно, то ведь и на меня что-нибудь падает... Общество охотно прощает мужчинам и очень требовательно к нам, женщинам... Впрочем, я что?

Беклемишев (*безнадежно*). Ну, как хочешь... Знай только, что я, как Игорь, привязан теперь к двум березам, и, когда их, распустят, они разорвут меня (*быстро, нервно вздыхая*), — они уже рвут меня...

Рославлева. И к обоим одинаково сильно привязан!..

Беклемишев. К обоим.

Рославлева. И к жене?

Беклемишев (*запальчиво*). Да что ты думаешь? Шесть лет жизни с идеальным, безукоризненным человеком, с человеком, которого — ты знаешь это, от тебя-то я ничего не скрываю — я обожаю, который остался моим лучшим другом, которому я обязан всем, всем, ничего не значит?! И я вдруг стану ее не любить? Для этого, милая, надо забыть все, что было... (*Зло, бешено стиснув зубы*.) Чтобы забыть, умереть надо — только труп ничего не помнит... Труп, труп, смрадный труп!!

Рославлева (*холодно*). И все-таки и меня любишь?

Беклемишев. Таковую, как ты теперь, нарушающую все условия, на которых я сошелся с тобой, — ненавижу! Ненавижу тебя, язычницу, с такой я ничего общего не имею! Такой не хочу, не хочу!

Рославлева (*быстро подходит к Беклемишеву, прижимается и смотрит, не сводя глаз, испуганно на него; тихо, растерянно, дрожащим голосом*). Я боюсь тебя, я боюсь... (*Прячет голову у него на груди, потом опять так же смотрит.*)

Беклемишев (*нервно проводит рукой по лицу, стараясь смотреть ей в глаза, смущаясь, нервно*). Ах, боже мой! Значит, с тобой говорить серьезно совсем уж нельзя?

Рославлева (*испуганно, торопливо*). Нет, говори, говори.

Беклемишев. Ведь так же невозможно, Наташа! Что я зверь, что ли? Почему ты боишься вдруг меня? И у меня же нервы... Я лучше уйду...

Рославлева (*судорожно цепляясь за него*). Нет, нет! (*Испуганно*.) Я не буду, я не буду... не буду... не буду. (*Закрывает лицо руками, плачет жалобно и все громче.*)

Беклемишев (*с отчаянием*). Наташа, это ужасно. Ты насилуешь всю мою природу! (*Овладевая собой*.) Пойми, если я не в духе, если мои нервы не в порядке, наконец, я не могу ничего с собой сделать, — лучше всего оставлять меня, тогда я успокоюсь; а ты ведь требуешь, чтобы я был так же любезен с тобой, как и в первый день встречи. Перестань же наконец. Ты знаешь, я не выношу слез. Ну перестань же!

Рославлева (*все время плачет, но после его слов вдруг сразу стихает и несколько раз судорожно вздрагивает*). Милый, прости меня! Я злая, я мучу тебя, я требовательная, но я так безумно люблю тебя! Прикажи мне умереть, я умру, уйду с твоей дороги без слова

жалобы. Милый, дорогой, так люблю! Боря, делай, что хочешь, — ездй сколько хочешь, будь в своей семье, — клянусь, клянусь моей любовью к тебе, я больше никогда ни в чем не упрекну тебя... Но чем же я виновата, что не могу делить тебя!.. *(Быстро опускается перед ним на колени, страстно, безумно целует его платье, падает в обморок.)*

Беклемишев. Наташа, Наташа!

Занавес.

Действие четвертое

Картина I

Сцена представляет заднюю сторону кулис.

Явление I

Беклемишев стоит, значительно осунувшийся, проходящий Зорин подходит к нему.

Зорин *(останавливается, тяжело отдуваясь)*. Ну что ж, — успех... Есть, конечно, места... незнакомство со сценой, но, в общем, Беклемишев — художник, — это так... импрессионист, конечно, как всегда... но зато сам Беклемишев, че-ерт, совершенно несостоятелен... *(Добродушно усмехается.)* Удивительный вы мастер, право, сам запутывать свое положение: обеих жен в театр привел *(машет рукой)*, ребенок какой-то...

Беклемишев. Жена одна, другая друг...

Зорин. Но друг-то сам считает себя женой...

Беклемишев. Но как же иначе?

Зорин. Да уж хоть формальность соблюдайте. Сидит у Натальи Алексеевны!.. Ведь все знают... В какое же положение вы Марью Васильевну ставите? Не имеете права. И неужели вы думаете, что она так-таки ничего не понимает? Да и без того ее глупое, смешное положение перед всеми... И говорит, что друг... *(Качает головой.)* Не поздоровится от такого друга...

Беклемишев (*нервно, зло*). Но что же делать?

Зорин (*нехотя*). Да нельзя же и так. Сами ставите себя в безвыходное положение.

Беклемишев. Оно само создается — это положение.

Зорин. Перестал бы бывать.

Беклемишев. Не могу же я бывать там, где из-за меня не принимают Наталью Алексеевну. Хотя бы и у вас в доме. Как ни люблю я вашу жену...

Зорин смущенно поводит руками.

Я понимаю, но и я не могу, потому что и Наталья Алексеевна из-за меня несет жертвы...

Зорин. Н-да! Доложу вам, выкрутились вы на позицию... Ну, надо смотреть... Идите вы к Марье Васильевне в ложу. (*Уходит.*)

Явление 2

Беклемишев, облокотись спиной о стойку, тяжело задумывается. Входят Босницкий и Алферьев.

Алферьев (*показывая на Беклемишева*). Вот он.

Босницкий (*размахисто жмет руку Беклемишеву*). Ну что ж, успех? Mes compliments! [\[25\]](#)

Алферьев. А я откровенно скажу: я не удовлетворен. Люди ломают копья на какой-то совершенно личной почве. Кому это интересно?

Босницкий. Вам бы какую-нибудь дьявольскую интригу из политической жизни: нищий там наверху, в мансарде, и управляет всем миром?

Алферьев. Начать с того, что миром управляют не нищие, а законы. И, следовательно, этот идеал политического деятеля пора бы и в архив сдать.

Босницкий. А, например, гауптмановские темы?

Алферьев. Да, интересно. Ну, да, впрочем, и не в этом теперь дело, — надо все-таки слушать... Мне вот только Борису Павловичу два слова сказать... (*Берет Беклемишева под руку.*)

Босницкий (*берет Беклемишева под другую руку*). В таком случае, виноват, я всего одно слово имею сказать Борису Павловичу. (*Отводит Беклемишева.*)

Алферьев (*качает головой, добродушно*). Экий нахал!

Босницкий. Послушайте! Нельзя так афишировать. Вы, может быть, подумаете, что я завидую тому, что вы можете так свежо, с такой верой еще относиться к тому, что во мне вызывает только смех... Уверяю вас: не зависть заставляет меня говорить... Ну, конечно, вы там творческая сила, литератор, вам надо поднимать «проклятые вопросы»... вы создали до сих пор то, за что я не дам выеденной скорлупы яйца, а вы не пожалеете и жизни... Но выясните мне, что вы всей этой историей с Рославлевой, этой афишировкой хотите доказывать, и кому? По-моему, здесь нет почвы, и чем серьезнее вы будете доказывать, что она есть, тем смешнее будет ваше положение...

Беклемишев. Не все же негодяи...

Босницкий. Негодяи, конечно, не все, но скрытое от глаз не всякий видит, а то, что на виду, что подчеркивается, видят все и дорисовывает каждый по-своему... И этим вы, конечно, отдаете себя добровольно в руки любого негодяя... Но, и кроме негодяев, есть много тупых к чужим страданиям и даже охотников вышучивать... Я не понимаю, и никто не поймет... Не сердитесь: мне-то, конечно, все равно, а если и вам все равно, то что ж... Вам все равно?

Беклемишев. Все равно.

Босницкий. И прекрасно! Но все-таки идите в ложу к Марье Васильевне, потому что пьяный князь что-то напутал ей...

Беклемишев (*сухо*). Благодарю вас.

Явление 3

Входит Рославлева, Беклемишев и Алферьев отходят.

Рославлева (*встретясь с Босницким*). Как вам нравится?

Босницкий. Да, я уж поздравлял... Но вы, вы!.. Смотрели вы на себя в зеркало? На что вы оба стали похожи?

Рославлева. Это не важно!

Босницкий (*качая головой*). Не афишируйте.

Рославлева. Почему?

Босницкий. Общество все смотрит в глаза.

Рославлева. И пусть... И говорите своему обществу, тем, у кого корни в земле, — а я с луны... Я не умею лгать... У меня нет корней в земле...

Босницкий. Ваши корни в сердце любимого человека?

Рославлева. Только.

Босницкий. Знаете, кто вы?.. Орхидея.

Рославлева (*подумав, удовлетворенно*). Я люблю орхидеи.

Босницкий. Вы знаете свойство этого цветка?

Рославлева отрицательно качает головой.

Это чужеродное растение: оно вырастает на другом, истощает то, другое, и само умирает.

Рославлева. Мне нравится... Я согласна.

Босницкий. Она согласна!..

Рославлева. Привезите мне орхидеи.

Босницкий. Но оторванная орхидея уже гибнет.

Рославлева. Не согласна (*наклоняется, смеется торжествующе, весело*), — вдвоем!

Босницкий. Однако вы смутились возможности...

Рославлева. Я не могу смущаться: смерть ни перед чем не смущается.

Босницкий (*прощаясь*). Ну, так когда привезти орхидеи? Позвольте после театра... Ну что в самом деле, если стакан чаю с вами и Борисом Павловичем выпью? Борис Павлович к вам поедет, конечно?

Рославлева. Конечно. Хорошо, привозите. Только один стакан чаю...

Явление 4

Рославлева (*подходит к Беклемишеву, здоровается с Алферьевым, возбужденно Алферьеву*). Как вам нравится?

Алферьев. Я ведь профан; мне не нравится то, что на какой-то чисто личной почве люди ломают себе ноги.

Рославлева (*горячо*). Где бы вы ни поломали ноги, с поломанными ногами все равно вы уже никуда не годитесь.

Алферьев. (*смеется*). Ого! Я ведь и говорю, что профан. (*Беклемишеву*) Так когда?

Беклемишев. Завтра... часов в десять.

Алферьев. Там же?

Беклемишев. Да.

Алферьев (*Рославлевой*). Вот новость: завтра расскажу. (*Беклемишеву*) Тут из-за кулис можно смотреть?

Беклемишев кивает головой.

Явление 5

Рославлева (*осторожно оглядывается во все стороны, быстро, торопливо, порывисто обнимает Беклемишева*). Милый, милый, я не могу тебе передать, что делается со мной, как я счастлива! (*Замечая его угрюмый вид*) Опять нервы?

Беклемишев (*напряженно, стиснув зубы*). Наташа, иди, милая, назад, ведь все знают, куда ты пошла.

Рославлева. Пусть знают!

Беклемишев (*раздраженно, нервно сжимает руки*). Да иди же (*овладевая собой, сдержанно*), ведь там же догадаются.

Рославлева (*порывисто*). А-а... (*Покорно, овладев собой*). Иду, милый, не сердись на меня.

Беклемишев (*не смотря на нее*). Наташа, я буду сидеть в ложе жены.

Рославлева (*бросает гневный взгляд, так же покорно*). Хорошо, милый, прощай... (*Уходит*.)

Явление 6

Беклемишев. Идти к жене, и та и смотреть не хочет... Узнала, может быть, что-нибудь? А-а... (*Смотрит тупо перед собой; вдруг*

*решительно.)*Никуда не пойду я — уеду. *(Быстро идет к маленькой выходной двери.)*

Явление 7

Проходят актеры, Алферьев, Босницкий, Зорин.

Зорин *(уныло оглядывается, Босницкому).* Беклемишев ушел? Не понимаю психологии этого человека... Совершенно он запутается.

Босницкий *(рассеянно).* Запутался в лесу орхидей... Герой, взявшийся за решение неизвестно какого вопроса... *(Уходит к другим.)*

Явление 8

Из маленькой двери, слегка спотыкаясь, входит князь, — грязный, волосы взъерошены, один ус вниз, другой вперед, глаза мутные.

Зорин *(увидев, досадливо,)* А-а... *(Быстро идет к князю.)* Послушайте: ну, разве можно в таком виде?

Князь *(равнодушно).* Побаиваюсь.

Зорин *(настойчиво).* Идите домой: вы не имеете права марать свой студенческий мундир.

Князь *(качнувшись).* Вы думаете? Вы думаете право марать принадлежит только вам, литераторам? Так ведь я свой мундир мараю, а Беклемишев и свой и своих двух жен. Тьфу! Я за Марью Васильевну в морду ему дам. Он не смеет ставить ее в такое положение: в одном доме сегодня ее не приняли, — это я наверно знаю, — потому что убеждены, что и она потекает. Это хорошо?! Ему бы и советовали мундир не марать... Проповедники!.. Тьфу!

Зорин *(торопливо, ласково).* Ну, идем, идем...

Князь *(идя с ним).* То-то идем... *(Вырывая руку.)* Постой, ведь я пропал... а не будь твоего Беклемишева, она, может быть, полюбила бы меня... Я ее ведь любил с пятнадцати лет. *(Плачет, все смотрят.)*

Алферьев *(тихо).* Дубина!

Зорин *(печально, увлекая князя).* Идем...

Занавес

Картина II

Кабинет квартиры Рославлевой. В полумраке, слабо освещенном догорающим камином, тонут предметы. В окна светит луна, вырисовываются белые мраморные статуи, голые ветви деревьев.

Явление I

Беклемишев (*входит*). У-уф! (*Бросает шапку*.) Никого нет, слава богу! (*Берет со стола письмо, разрывает и читает следующее место громко*.) «Дело Натальи Алексеевны кончилось, к сожалению, не в ее пользу». (*Бросает письмо*.) А-а! И Зорин туда же. (*Ложится на кушетку*.) И все как один — выбирай! А если нельзя выбирать... (*Раздраженно*.) Выход?! Но нет выхода. (*Быстро встает*.) Бросить Машу, детей? Или эту, когда отрезал ей все в жизни, когда есть сознание, что висит над бездной, и для нее последняя веревка — я? А, проклятие? Надо лгать, если не хочешь быть чьим-нибудь палачом. И всякого прижать вот так, как меня, к стене, и ничего другого не придумает. И все понимают это и вместе с тем требуют. (*Ходит и снова ложится*.) Выход?! (*Приподнимается на локте*.) Но кто этот судья, который говорит мне: выбирай? Общество? Но при большей лжи, большем искусстве громадное большинство этого самого общества прекрасно обходит эту форму. И издеваются и в то же время требуют ее! Общество? Само несостоятельное, само запутавшееся в своих сетях, само создающее рабынь, живущих только одним. Но в таком случае и я не признаю приговоров этого общества. Это личное мое дело, только личное, и никто не смеет (*вскакивает*), не смеет совать свой нос. (*Быстро ходит, опять ложится, успокоенным голосом*.) Э! Пишите ваши приговоры, но власть подписать принадлежит только одной. А общество... Довольно, что для этого общества я работаю со всей правдой, со всей искренностью, на какую только хватает меня. (*Успокоившись*.) С обществом мы — квиты. (*После некоторого молчания*.) Теперь надо отдохнуть, надо нервную систему привести в порядок... Теперь все равно поеду за границу.

Явление 2

Рославлева (*быстро входя*). Боря, ты здесь?

Беклемишев (весело). Здесь. Иди ко мне.

Рославлева (*подходит радостно*). Как страшно! (*Становится на колени, целует Беклемишева*.) Эти белые статуи, как из склепов, смотрят в окно...

Беклемишев (*спокойно*). Оставь их, мирные тени прошлого. Милая моя! (*Гладит ее по голове*.) Я успокоился.

Рославлева. Неужели?! Ах, я так, так счастлива!..

Беклемишев. Я теперь всегда буду спокоен.

Рославлева (*кладет голову ему на грудь, тихо*). Милый...

Беклемишев. Это только мое, личное мое дело, и не перед людьми я буду в нем отчитываться. (*Гладит ее по голове*.)

Она порывисто целует его и опять кладет голову ему на грудь.

Измучил я тебя: ты похудела.

Рославлева. Ты измучил?! Это мученье?! Если бы ты резал меня и говорил: люблю, я стонала бы от счастья! Можно с тобой говорить? Я так боюсь неосторожным словом еще больше расстроить твои нервы.

Беклемишев. Говори, говори. Я вылечу свои нервы; твоё дело с мужем проиграно, и следовательно мы едем за границу. Конечно, я буду возвращаться...

Рославлева. Боря, Боря?! За границу с тобой?! Ах, я сегодня так же счастлива, как, помнишь, в первый... Но нет, нет! Так больше, так больше! (*Вскакивает, бросается ему на шею*.) Ах, и в первый день нашей встречи... я так, так все помню.

Беклемишев. И я помню.

Рославлева. Ты помнишь самое первое мгновение... самое первое, когда ты в первый раз только посмотрел на меня?

Беклемишев. Помню, конечно.

Рославлева. Постой! В каком я платье была?

Беклемишев. В каком платье?!

Рославлева (*вскрикивает и смеется*). Милый, в этом!

Беклемишев. Неужели? Но ты тогда казалась такой нарядной... у тебя были гофрированные волосы...

Рославлева. Да, да. Какое я на тебя самое первое впечатление произвела?

Беклемишев. Ты вошла с Босницким: мне жалко тебя стало... И что-то потянуло к тебе... Сперва, когда Босницкий предложил представить меня, я отказался.

Рославлева. Почему?

Беклемишев. Слишком уж ты контрастом большим была на этом юбилее. Собрались люди своего лагеря, может быть, и суровые судьи современного строя и не очень справедливые, но натерпевшиеся, настрадавшиеся, а уж о материальном положении и говорить нечего, — собрались своим лагерем праздновать свой семейный там праздник, и вдруг Босницкий, по своей бестактности, как мне тогда казалось, приводит туда человека другого совсем лагеря, в кружевах, надушенную и разряженную... Для чего?.. Может быть, для того только, чтобы потом в своем обществе осмеять то, что и понять не смогла? Но потом мне жалко еще больше стало и Босницкого и тебя.

Рославлева (*кокетливо*). Потом?

Беклемишев. Потом я увлекся хорошеньким врагом, попал в его сети...

Рославлева. И потом?

Беклемишев (*смотрит ласково*). Милая моя!

Рославлева (*ласкаясь*). И ты до сих пор еще немножко любишь своего врага?

Беклемишев. Люблю... Люблю глубоко и сильно, люблю всей душой, люблю, как силу, как какую-то неизведанную правду, вопреки всем, бесконечно притягивающую меня. (*Горячо целует; энергично.*) Мне захотелось вдруг писать...

Рославлева (*покорно*). Ах, везде мои враги. Значит, чай? Я сейчас распоряжусь. Милый, милый... (*Горячо целует его.*) Иду. (*Идет, вскрикивает перед зеркалом, в котором медленно проходит какая-то тень.*)

Беклемишев (*вздрагивая*). Что такое?

Явление 3

Входит горничная.

Рославлева. Это ты. Господи, как я испугалась.
Горничная. Письмо. (Уходит.)

Явление 4

Рославлева (недоумевающе). Письмо? (Быстро идет к столу, зажигает свечи.) От твоей жены... карандашом...

Беклемишев (берет письмо, садится, распечатывает и громко читает).

Рославлева присаживается к нему на колени, обнимает его и слушает.

«Я пишу тебе в театре наскоро: нам надо объясниться. Я верю тебе во всем, конечно, но я узнала только что о таком оскорблении, возможность которого даже никогда не могла предвидеть. Я искала тебя в театре, но мне сказали, что ты уехал... Я страшно расстроена и, не дождавись конца, уехала...»

Явление 5

Входит Беклемишева — ее не замечают.

Беклемишев (продолжая читать). «Приезжай к двенадцатичасовому поезду; если не приедешь, заеду за тобой к Рославлевой, так как, вероятно, ты у нее».

Рославлева (быстро). Надо сказать, что нет дома... (Поднимает глаза, вскрикивает при виде Беклемишевой.)

Беклемишев вскакивает и стоит остолебеневший.

Беклемишева (с презрением, упреком, отчаянием). Как евангелию, верила каждому твоему слову!.. (Уходит.)

Явление 6

Беклемишев (быстро, порывисто Рославлевой). Уйди и не входи, пока не позову. Вопрос жизни... Я возвращу ее...

Рославлева (умоляюще). Пусть, Боря, пусть уходит она...

Беклемишев (*не помня себя, дико*). А-а, безумная, иди же...
(*Хватает ее с силой за руку, вталкивает в спальню, выбегает.*)

Явление 7

Рославлева выходит из спальни.

Беклемишев (*возвращается*). Ушла, как в воду канула. (*Хватает шляпу, быстро идет к выходу.*) Надо ехать на вокзал. (*Останавливается перед неподвижно стоящей Рославлевой, не смотря.*) Наташа, я должен...

Рославлева. Боря... выслушай... Мы не искали этого... Боря, ты сам разбудил мое достоинство... Если я и стою еще на одной жерди, как говоришь ты, если я только люблю... да и жена твоя... Боря, но я ясно сознаю теперь всем сердцем моим, всем существом моим сознаю, что если ужасна была моя прежняя жизнь, то и эта, которую мы влачим с тобой теперь... Вечная ложь... Боря, я устала... нужен выбор...

Беклемишев. Выбора нет: за ее жизнь я заплачу жизнью.
(*Убегает.*)

Явление 8

Рославлева (*тупо*). Ушел... ушел... Одна... одна. (*Дико.*) А я верила, все верила... А-а, довольно обманывать и унижаться... (*Подбегает к столу, достает коробочку, высыпает порошок на руку и проглатывает; быстро идет к окну, при виде белых статуй хватается за волосы и отскакивает.*) Боюсь! Боря, мой Боря, я боюсь, боюсь!! Ничего, ничего... смерть скорая... (*Бросается на кушетку, лежит некоторое время откинувшись, поднимает голову с ужасом смерти, дико.*) Я не хочу!! А... (*Обрывается и некоторое время тупо смотрит; судорожно хватается за горло, с тревогой.*) Что-то странное делается со мною, я знаю, где я, и не узнаю ничего... (*Затихает, всматривается, вскрикивает безумно.*) Боря?! Ты?! (*Вскакивает и падает назад на кушетку, полулежа с открытыми глазами.*)

Явление 9

Входит Босницкий с несколькими орхидеями.

Босницкий *(весело).* Все, что мог достать... *(Подходит и протягивает с любезной обязательностью цветы Рославлевой.)* Ге?! *(С ужасом бросает в нее цветы и дико смотрит на мертвую Рославлеву.)*

Занавес

Подростки * —

Драматический этюд в одном действии

Большая комната, большой стол. Спिनной к публике четыре подростка, сгрудившись у стола, чем-то занимаються: один, сидя, рисует, а другие, окружив его, смотрят, нагнувшись. Иногда раздается веселый взрыв смеха. Пятый подросток, Горя, беспокойно ерзая на стуле и морща лицо, объясняет торопливым говором сидящему против него Алексею.

Явление 1

Горя (*говорит, горячо захлебываясь*). Нет, видите, Алексей, вот какое у нас, анархистов-коммунистов, отношение к остальным партиям. Основателем нашей партии является Кропоткин и последующие: Жан Грав, Малатеста, Черкезов, Вольский, Ветров. Кроме нас, существуют анархисты-индивидуалисты, их глава Макс Штирнер, предшественник Ницше, а теперь Макай, отчасти Туккер... (*Иронически скороговоркой*) Ну, это старик: ему сто четыре года, его каждый год уговаривают не выходить из партии. Еще есть анархисты-безначальцы, глава их Романов... Николай Романов... они начали было издавать свой журнал «Безначалье», но вышло всего два номера — закрыли. Собственно, про анархистов-безначальцев Кропоткин так сказал: «Они полны революционного жара, но с полным отсутствием революционного смысла». За границей нет безначальцев, там анархисты-коллективисты, особенно много их в Испании. У нашей фракции вот какое к ним отношение... Я вам приведу пример. Бросил анархист-безначалец бомбу в окно ресторана. Мы бы не бросили, но и бросившего не обвиним. Мы будем рассуждать так: если голодный, которому нечего есть, бросил бомбу в тех, которые вкусно и сладко едят, когда ему, голодному, нечего есть, то не виноват бросивший в том, что голод вызвал в нем такое раздражение, что он бросил бомбу, а

те, которые, кушая сладко, не думают, до чего может довести человека голод. Но, собственно, это фракция, мало дающая себе отчет в своих действиях. В Вильне такой, бросивший бомбу в кофейню, на вопрос, почему он бросил, только и мог крикнуть: «Да здравствует анархия!»

Алексей. Конечно, голодный человек на что только не способен! У нас, когда отступали к Мукдену, два дня маковой росинки во рту не было, так, кажись, и вырвал бы из рук, глядя, как офицер за оба уха закладывает. Ест и не подавится.

Взрыв смеха. Горя срывается с места, смотрит через головы на рисунок и тоже смеется.

Горя (*возвращаясь к Алексею*). Так вот, Алексей, если вы окончательно решили к нам, анархистам-коммунистам, примкнуть, так я вас сведу сегодня вечером...

Алексей. Сегодня, Горечка, я не могу. Так что швейцар будет в отлучке, и должен буду я бессменно находиться на своем месте, иначе в банке внизу никого не останется.

Горя. Ну, тогда в четверг — хотите?

Алексей. В четверг могу.

Горя. Тогда так часам к шести приходите, и мы вместе пойдем.

Алексей. А далече?

Горя. На Галерной гавани.

Алексей. Порядочно!

Горя. Что за порядочно? Ну, можно, если устанете, и на конке.

Алексей. Устану, Горечка, наперед знаю. В походах я завсегда уставал, слабенький ведь я. Так, бывало, устанешь, что ляжешь и лежишь, хоть и знаешь, что сзади идут хунхузы и прирезавают отсталых... Пусть режут, нет сил, подвалит под груди, дыханье перехватит, и уж ни о чем не думаешь... (*Вздыхает.*)

Горя нетерпеливо слушает.

Ох, тяжело было, миленький Горечка. И сами-то видите, в чем душа только держится, а тут еще сумка, да ружье, да амуниция, да запас сухарей, пуда три всего... Как терпеть? И бросаешь все, что только можно: и шинель, и белье, и сухари... И плетешься, по два дня не евши. А как стали из-под Сайтадзы отступать, тут и ружье бросили: «На тебе, дескать, Куропаткин, ружье, а солдата нет у тебя. больше». И не я один. Как от Мукдена погнали нас, и не стало больше солдат у Куропаткина, только ружья и остались.

Горя (*нетерпеливо, протягивая руку*). Так, значит, в четверг, Алексей?

Алексей (*пожимая руку*). Слушаюсь, Горечка.

Алексей подходит к группе, жмет всем руки, еще раз Горе и уходит.

Явление 2

Кранц (*подходя к Горе и гуляя с ним по комнате*). Ну что, ушел ученик?

Горя (*уклончиво, добродушно*). Ушел. Он, понимаете, ничего себе, только любит постоянно о своей войне рассказывать. Вы знаете, он говорит, что из офицеров, которыми солдаты не были довольны, назад почти никто не возвратился. Солдаты убивали. Во время сражения в спину стреляли.

Кранц. Так ведь видно же, что стреляли в спину.

Горя. А кто смотреть будет? И пуля все равно насквозь пробьет же.

Кранц. Я думаю, ваш ученик врет много.

Горя. Н-нет, я не заметил этого, да зачем ему врать?

Женя (*продолжая рисовать*). Нет, Алексей не врун, а ты вот что, Горя, ты обратил внимание, что Алексей остается иногда один в банке? Вот где экспроприацию тебе бы устроить.

Горя. Почему мне? Это предлагай максималистам.

Степа (*подлетая, засунув руки в карманы, к Го-ре*). Эх, эх, вот так анархисты! А вы сами чуждаетесь, что ли, таких дел?

Горя. Конечно.

Женя. Не ври, Горька.

Горя. Частную экспроприацию наше правое крыло, конечно, не признает.

Женя. А банк — частная? Эх, ты...

Горя (*обращаясь к Степе*). В таком случае и вы эсеры тоже.

Степа (*насмешливо*). Не об эсерах идет речь.

Горя. А знаешь, Женя, та, которая отбирала вчера билеты в театре, оказалась эсдечка меньшевичка.

Женя. Откуда ты узнал?

Горя. Я спросил ее.

Женя. Она тебе в морду не дала?

Горя. За что же в морду?

Женя. И за шпиона тебя не приняла? — **Горя.** Нет, конечно.
(Улыбается.) А вот сегодня меня чуть не избили.

Женя. За что?

Горя. Понимаешь! Я покупаю «Русское знамя», вдруг какой-то идиот кричит: «Вот черносотенец», и все побежали за мной. Ну, я, конечно, тоже побежал.

Женя. Жаль, что не догнали.

Горя. Отчего жаль?

Женя. Оттого, что такую дрянь читаешь.

Горя. Должен же я знать, о чем пишут мои враги?

Степа. Нет, а вот со мной, господа, чуть не случилась очень неприятная сегодня история. Иду я с урока латинского языка, и вдруг меня хватают два городских под руки. На мое счастье какая-то женщина говорит: «Не этот, вот тот!» Ну, они и бросили меня и побежали дальше.

Кранц. Счастье твое, что ты не сопротивлялся.

Степа. Так ведь я и опомниться не успел еще.

Андрюша. Черт возьми, а могла бы скверная ведь штука выйти, если тот, за которым гнались, проделал что-нибудь такое, за что вешают, — теперь бы уже висел!

Женя. Ты говоришь, за что вешают? А за что теперь не вешают?

Звонок.

Кранц (обнимая Горю). Полиция!

Горя (бледнея, испуганно). Ну?!

Явление 3

Входит Сережа.

Горя (Кранцу). Какое идиотство так пугать!

Степа. Дед! (Радостно бросается к Сереже.)

Пока Сережа здоровается, Степа возбужденно говорит.

Слушай, Сережа, вот я сегодня удивился в гимназии. На прошлой неделе нам задали сочинение на тему о влиянии литературной критики на общественную мысль. Я в своем сочинении указал, что общественные идеалы являются существенными факторами эволюции, а критический анализ есть один из факторов общественной идеологии. И так как литература — выражение общественной идеологии, то, следовательно, литературная критика имеет преобладающее значение. Понимаешь, сегодня учитель истории развивает такую мысль: всякое новое движение общественной мысли имеет свою отрицательную предпосылку, — критика предшествовавшего учения, и это самое плавное. Не важны учения, учения утопистов, например, Фурье и других сами по себе, но они в высшей степени важны, как критика господствовавших учений. Гений Маркса из этой критики и пришел к своему материалистическому учению. Но и его и Энгельса манифест имеет главнейшее значение, как именно критика всего предшествовавшего. Ты понимаешь? Я слушал свои собственные мысли.

Горя. А нам задана теперь тема: классовый антагонизм в Египте в период упадка.

Степа (*вскользь*). Собственно, в Египте была со-словно-классовая организация.

Женя. Ты, Горя, расскажи Сереже, как вчера тебя в Народном университете обыскивали.

Горя. Собственно, что ж рассказывать? Я стоял у столика анархистов. Пристав похлопал меня по карманам, а у меня как раз было расписание уроков. Он вынул, прочел — что такое? Это, говорит, слюнявка, ученик четвертого класса... Идиот, почему — слюнявка? Ну, записал меня, а в это время приставу уже собрали, он и ушел. Больше всех собирают наши анархисты: они самые богатые. Теперь, впрочем, так обеднели, что больше не на что покупать литературу. Они просили меня пожертвовать свою библиотеку. Когда я им дал пожертвованные дядей Ваней двадцать пять рублей — они были на седьмом небе.

Степа (*иронически*). Не высоко же ваше седьмое небо.

Горя мечтательно ходит по сцене. Пауза.

Сережа. Дядя Саша из Маньчжурии приехал.

Женя. Ты его видел?

Сережа. Видел. Он ужасно поражен переменой в России. Говорит: Россия неузнаваемо подвинулась вперед, начиная с его собственных детей. Три года тому назад Ване, когда он ехал на войну, было всего одиннадцать лет, а теперь он и Горьку за пояс заткнет. Крестьяне его поразили, масса новых книг, брошюр, но больше всего убедило его, что в России революция, оперетка в Москве в Солодовниковском театре. Серьезные люди, говорит он, вместо оперы поют в оперетке. Восемь тысяч серьезных москвичей заседают и при каждом намеке на современную политику хохочут, как дети, а там где-то в это время арестовывают, расстреливают, вешают. «Тогда, говорит дядя Саша, я не только понял, но и почувствовал, что в России революция, потому что осмеянное, как оплеванный кусок, никто уже не возьмет в рот, и если б, говорит, у нас теперь появился свой Оффенбах».

Горя. Кто же пропустил бы этого Оффенбаха в печать?

Сережа (*подходя к столу*). Что это вы нарисовали?

Женя. А это, понимаешь, мы на Степином прошении упражняемся. Видишь, Степа затеял перейти из одной гимназии в другую. Дело за маминым прошением. Вот мама и написала его, а мы разрисовали. (*Вешает рисунок на стенку*.) Вот видишь написано: «Прошу поместить моих четырех сыновей в восьмой класс».

Сережа. Четырех сыновей? Один же переходит!

Женя. Ну, а мы переделали четырех, портреты коих при сем прилагаются. Вот наверху и помещены эти портреты.

Сережа. Три только?

Женя. Три фигуры, но портретов четыре.

Степа (*указывая на одну из фигур*). Этот тип...

Женя. Степа, не мешай! Объясню все по порядку...

Горя. Вот видишь, эта веревка означает блок.

Женя. Горька!

Горя смеется, отходит и опять возвращается.

Видишь, каждый из нас означает особую фракцию: я эсдек большевик, Андрюша эсдек меньшевик. Мы с ним представляем одну фигуру, вот эту: одна половина этой фигуры большевик, — видишь, большой глаз, длинная рука, длинная нога, а другая половина — маленький глаз, короткая рука, короткая нога.

Горя (*торопливо*). А вместе они потому, что они составляют блок, вот видишь — блок и веревка...

Женя (*добродушно*). Горька, замолчи, а то я тебя под стол посажу. Эта средняя фигура Горька — анархист...

Горя (*торопливо, слегка задыхаясь*). Эта фигура, как видишь, тоже представляет из себя блок.

Женя. Горька, рот завяжу. Совершенно верно: анархисты-коммунисты, анархисты-индивидуалисты и анархисты-террористы. Одна нога — револьвер, опирающийся на бомбу, другая — ружье, опирающееся на кинжал. Эта сумка — надпись пятьдесят тысяч рублей — экспроприированных, конечно. Последняя фигура — Андрюша — эсер с своим девизом: «В борьбе обрешь ты право свое», а из заднего кармана падают п. н.-с. — партия народно-социалистическая. В этой руке земля, а эта рука тянется к сумке с пятьюдесятью тысячами рублями и подпись м. — максималисты. Все они, как видишь, в блоке. К шее каждого прикреплена веревка и перекинута через два блока. Если толкнуть эту скамейку, то все они и повиснут на этих двух блоках, что, вероятно, и случится в более или менее близком будущем.

Степа (*иронически*). Ну, уж это сказано, конечно, для украшения стиля.

Женя. Вовсе нет! Читал, что повешен только за принадлежность к партии. В глазах такого суда мы уже заслуживаем смерть, а попадемся такому суду в лапы — и готово...

Кранц. Да, да, дешева жизнь человеческая стала.

Женя. Надо дешевле. Теперь эти списки расстрелянных в газетах и не читаешь. Да в сущности не все ли ведь равно? Прожить двадцать лет, сорок, шестьдесят? Что все это в сравнении с вечностью?

Степа. Ну, все-таки умирать-то страшно!

Горя. Ни капельки не страшно!

Степа. Да, пока здесь стоишь. А ты представь себе, что тебя уже везут на расстрел, что через несколько мгновений ты уже умрешь. Закрой глаза и представь!

Горя (*закрывая глаза*). Ни капельки не страшно!

Женя. Нет, постой! Давайте, господа, устроим все как следует. Ну, вот вы будете солдаты — ты, Кракц, и ты, Андрюша, становитесь

сзади, а Сережа и Степа впереди, ты, Горя, становись в середину. Тебя везут вешать. Я офицер: вперед!

Идут.

Стой! Я читаю твой приговор. *(Читает монотонным голосом.)* «За принадлежность к партии анархистов, стремящихся к ниспровержению существующего порядка, Гореслав Плеганов приговаривается к смертной казни через повешение».

Горя. Я ведь имею право сказать последнее слово?

Женя. Говори, но коротко, иначе я прикажу бить в барабаны. Кранц, ты садись за рояль и, когда я крикну: «барабан», колоти немилосердно!

Горя. Господа! Вы меня убиваете. Но что я? Я ведь и жить не начинал еще. Убьете еще несколько тысяч таких, как я. Убьете, потому что вы неграмотны, потому что не знаете всемирной истории, потому что сила не во мне и не в них, кого вы убьете, а в идее, которую убить нельзя, потому что... Ну, хотя бы потому, что у нее шеи нет и повесить ее нельзя...

Женя. Довольно! Барабан!

Горя *(радостно)*. Я все равно уже все сказал, кроме того, что вы гнусные, жалкие, подлые наемные палачи!

Женя. Завяжите преступнику глаза и наденьте петлю. Вот эту бечевку... Степа, становись на стол и держи конец бечевки, преступник, становись на эту скамейку.

Горе завязывают глаза и становятся на скамейку.

Когда я махну платком, вы толкаете скамейку из-под его ног...

Горя *быстро срывает повязку и отходит. Общий смех и голоса:* «Ага, трусил!»

Горя. Еще бы! Вы ведь так и в самом деле меня повесите.

Женя. А значит, когда в самом деле начнут вешать, тогда ты трусишь: что и требовалось доказать.

Кранц *(садится за рояль)*. Ну, теперь Горьку повесили и будем петь: «Вы жертвою пали...» *(Играет.)*

Все поют. Горя тоже поет, отчаянно фальшивя.

Теперь «Вставай, подымайся...» *(Играет.)*

Женя. Горя, невыносимо фальшивишь!

Горя. Вовсе нет. Сам учитель говорит, что я подаю большие надежды... Я через год буду и петь, и у меня будет отличный слух. Все

дело в труде, в энергии к достижению намеченной цели.

Женя. И все-таки у тебя никогда не будет ни слуха, ни голоса.

Горя. Нет, будет. Ну, хочешь пари?

Женя. На что?

Горя. На что хочешь?

Женя. Давай!

Кранц играет кэк-уок. Женя начинает неумело танцевать.

Пробует танцевать и Степа.

Горя. Идиотский танец! *(Также пробует.)*

Звонок. Торопливо входит Рабинов и танцует очень хорошо.

Горя. Ну, мне пора на реферат. *(Уходит.)*

Горя быстро возвращается, бледный.

Полиция!

Женя. Что?!

Явление 4

В дверях появляется пристав, его помощник, городовые с наведенными револьверами, два штатских и дворники.

Пристав. Ни с места! По распоряжению охранного отделения нам поручено произвести в этой квартире обыск. Где хозяйка квартиры?

Женя *(выступая с достоинством).* Ее нет дома.

Пристав. Вы кто?

Женя. Я сын ее. Вы можете производить обыск и без нее.

Пристав шепчется со своим помощником. Осматривает с помощником присутствующих.

Пристав *(конная).* Я прошу вас всех, господа, оставаться здесь и ничего не уничтожать, пока мы будем производить обыск в других комнатах, и не расходиться. Помощник мой будет производить здесь обыск, а я в других комнатах. Абрамов, Семенов, стойте здесь у двери, и вы... *(Указывает на штатского.)*

Помощник производит обыск.

Рабинов *(тихо).* Что это значит? У вас есть что-нибудь?

Женя *(пожимая плечами).* Несколько изъятых теперь брошюр.

Рабинов. А что-нибудь серьезное есть? Оружие? Вот горе меня принесло!

Степа. У меня оружия нет. *(Жене.)* У тебя тоже?

Женя. Нет.

Степа *(к Горе).* Как у тебя — нет?

Горя сидит на стуле и молчит.

Женя *(быстро).* Говори! Что-нибудь придумаем тогда!

Горя *(глухо).* Нет. У меня ничего нет, а других я не могу же выдавать.

Женя. Никто этого от тебя и не требует, но отчего ты такой бледный? Испугался?

Горя. Что я идиот, что ли, чтобы пугаться?

Кранц подозрительно смотрит на Горю.

Рабинов. Слушайте, Горя, если что-нибудь есть, лучше скажите нам.

Горя молчит.

Женя *(настаивая).* Горя, да говори же!

Явление 6

Входит пристав, городовые и понятые. У пристава в руках жестяная коробка.

Пристав. Кому принадлежит эта коробка?

Молчание.

Я прошу и советую чистосердечно признаться, иначе все будут мною арестованы.

Горя *(делая усилие).* А что будет тому, чья эта коробка?

Пристав. Газеты читаете? Если это бомба, вешают хозяев бомб.

Горя *(вставая).* Все равно: это моя коробка.

Пристав. Что в ней?

Молчание.

Можно бросить ее на землю?

Горя *(быстро).* Нельзя!

Пристав. Бомба?

Горя *(в изнеможении опускается на стул).* Да...

Пристав. Ваша или вам принес кто-нибудь?

Молчание.

Я должен вас предупредить, что если вы не скажете, то вас сегодня могут уже повесить...

Молчание.

Рабинов (*кричит*). Говори же, Горя! Ты видишь, в какое положение ты ставишь нас всех?

Молчание.

Господа, да что ж вы молчите? Разве вы не понимаете, в какое положение этот мальчишка ставит вас и себя?

Женя (*тихо, с горечью Рабинову*). Ты забываешь, что ты здесь не хозяин...

Горя (*твердо*). Пускай он кричит, я все равно не выдам. Что ж, мне легче, что ли, будет, если еще кто-нибудь погибнет?

Пристав. Легче, потому что сохраните жизнь.

Горя (*широко раскрывает глаза и с горечью, скороговоркой*). Жизнь с сознанием, что я подлец... Он не понимает, что предлагает мне худшее, чем даже смерть.

Звонок.

Явление 7

Быстро входит мать.

Мать. Что здесь такое?

Пристав. Позвольте узнать, вы хозяйка квартиры?

Мать. Да.

Пристав. Нам поручено произвести обыск.

Мать. Он произведен?

Пристав. Да, и нашли уже вот эту бомбу.

Мать (*в ужасе*). Но этого быть не может!

Пристав (*показывает на Горю*). Ваш сын уже признался.

Мать. Ты?! У тебя?!

Горя (*взволнованно*). Мама, ты знаешь мои убеждения, ты знаешь, что эта бомба мне не нужна. (*Дрогнув, печально*.) Но ты понимаешь... Я же не могу ничего сказать больше...

Пристав. А между тем это необходимо, иначе, может быть, сегодня уже вашему сыну грозит смерть. Вы знаете, что это не слова.

Пауза.

Мать (*медленно идет к сыну с протянутыми руками, тихим, бесконечно ласковым голосом*).Сын мой дорогой, дитяtko мое!
(*Обнимает сына.*)

Горябеспомощно, по-детски, уткнувшись в мать, плачет. Мать безумными глазами смотрит перед собой.

Пристав (*пошептавшись с помощником*).В таком случае я должен арестовать. (*Подходит к Горе.*)

Мать (*точно просыпаясь*).Не дам! Вы все сумасшедшие! Я не дам своего сына.

Пристав. Я прошу вас опомниться. Соппротивление повлечет и для вас...

Мать (*дико*).Го-го! Я вас знать не хочу! Вон!

Пристав. Кончится тем, что я вынужден буду и вас арестовать...

Женя (*подходя к приставу*).Вы видите, что мать может сойти с ума.

Пристав (*растерянно*).Но что ж я могу здесь сделать?

Женя. Я пошлю за доктором.

Пристав. Мне некогда ждать. Андреев, Семенов, придержите ее, пока выведут сына.

Два городских подходят и схватывают под руки мать.

(*Теребя за рукав Горю.*)Ну, вы ступайте скорей. Горя поднимается и идет.

Женя (*догоняя Горю*).Горя, прощай! (*Целует его на пути.*)

Степа (*догоняя Горю*).Прощай, Горя, у тебя остаются здесь твои братья! (*Целует его.*)

Андрюшаи Сережа. Прощай, Горя! Скоро увидимся! (*Целуют его.*)

Мать (*бьется в руках городских*).Пустите же, пустите!

Горя скрывается в дверях.

А... А!.. Помогите же, помогите!!

Занавес

Воспоминания, статьи

Памяти Чехова *

Антон Павлович Чехов не отвечал на вопрос: каким должен быть человек? Но отвечал: каков при данных обстоятельствах человек.

Он — гениальный автор хмурых, безыдейных, беспринципных людей, таковых, какими они существуют, без малейшей фальши его резца.

Тонкого, исключительного в мире резца.

Антон Павлович творец маленького рассказа, самого трудного из всех.

И пока такие рассказы получили права гражданства, он долго носил их в своем портфеле.

В прошлом году я производил изыскания в Крыму; со мной вместе работал брат жены Антона Павловича — К. Л. Книппер, и я ближе познакомился с А. П. и его семьей.

Удивительный это был человек по отзывчивости и жизнерадостности. Он давно недомогал, скрипел. Но всего этого он как-то не замечал. Все его интересовало, кроме болезни.

Пытливость, масса юмору и веры в жизнь.

Смотришь на него, слушаешь, и сердце тоскливо сжимается, зачем такое ценное содержание заключено в такой хрупкий сосуд.

А он, спокойный, ясный, расспрашивает, говорит — странное сочетание мудреца и юноши.

В прошлом году шел его «Вишневый сад», и мы праздновали 25-летний юбилей А. П.

Праздновали, не произнося слова «юбилей».

— Двадцать пять лет назад впервые выступил А. П. в 78-м году в «Стрекозе» под псевдонимом «Человек без селезенки».

И вот через двадцать пять лет он стоял на сцене Художественного театра — любимейший писатель русского общества. Только его мы и видели, хотя и театр и сцена были переполнены.

Такой же, как и всегда, в пиджаке, худой, немного сторбленный, умными ясными глазами он смотрел, наклоня голову, как бы говоря: «Да, да, я вас знаю».

Заманивали мы его и в Петербург, он обещал, но не приехал.

Вскоре после этого текущие события ураганом охватили русское общество, и даже смерть Н. К. Михайловского прошла сравнительно, до времени, бесследно.

В последний раз я виделся с А. П. в апреле этого года в Крыму, на его даче в Ялте.

Он выглядел очень хорошо, и меньше всего можно было думать, что опасность так близка.

— Вы знаете, что я делаю? — весело встретил он меня, — в эту записную книжку я больше десяти лет заношу все свои заметки, впечатления. Карандаш стал стираться, и вот я решил навести чернилом: как видите, уже кончаю.

Он добродушно похлопал по книжке и сказал:

— Листов на пятьсот еще неиспользованного материала. Лет на пять работы. Если напишу, семья останется обеспеченной.

Все его сочинения купил, как известно, Маркс, за 75 тысяч рублей.

А. П. выстроил на эти деньги дачу, на которую надо было еще каждый год тратить.

Жить приходилось, считая каждую копейку.

В Москве на третьем этаже без подъемной машины.

Полчаса надо было ему, чтобы взобраться к себе. Он снимал шубу, делал два шага, останавливался и дышал, дышал.

Если бы у него были средства, он жил бы долго и успел передать бы людям те сокровища, которые унес теперь с собой в могилу.

Сенкевичу его общество поднесло имение, обставило его старость.

Нашему гению мы ничего не дали.

А. П., провожая меня, очень серьезно уверял, что непременно приедет в Маньчжурию.

— Поеду за границу, а потом к вам. Непременно приеду. Горький, Елпатьевский, Чириков, Скиталец — только говорят, что приедут, а я приеду.

И он с задорным упрямством детей, которым старшие не позволяют, твердил:

«Непременно приеду, приеду.»

Нет, не было тогда у меня предчувствия, что я смотрел на него в последний раз.

Ляоян, 16 июля.

На выставке ^{*}₋

Как и большинство, вероятно, я осмотрел выставку бегом, вскользь, не останавливаясь на деталях.

Но впечатление получилось, и, претендуя на внимание в той же пропорции, в какой один относится к остальному миллиону посетителей выставки, я хочу поделиться этим впечатлением с вами.

Выставка в смысле труда и энергии — несомненно явление очень и очень выдающееся на общем фоне нашей малодеятельной русской жизни.

Нижегородская выставка, как и всякая выставка, имеет, полагаю, громадный смысл и значение.

Никакими книгами, никакими путешествиями по России не восполнишь того, что собрано на этих восьмидесяти десятинах: это вся Россия, и здесь рельефно выступают и положительная и отрицательная сторона нашей жизни.

Уже самый вопрос о том, где быть выставке — в Нижнем, то есть в провинции, или в столицах — сразу наталкивает на капитальный экономический вопрос наших дней.

А именно: допустим, что выставка в смысле количества посетителей удалась бы и было бы их не пять, не двенадцать, а по количеству населения хотя бы нашей только страны 50–60 тысяч в день. Что случилось бы тогда? Да случилось бы то, что одна нижегородская дорога, связывающая выставку со всей Западной Россией, не могла бы тогда перевезти всех пожелавших увидеть выставку.

Легко могло бы случиться, что и при теперешнем положении дел, при серьезном каком-нибудь повреждении на единственной дороге, выставка оказалась бы сразу отрезанной от большей части России.

Но этого не случилось, бог даст, и не случится, посетителя не задавили, а к будущей выставке в провинции будет, вероятно, и дорог побольше. Тех дорог, которые создадут и свободный доступ к выставке, создадут и самых пассажиров.

Мне важен другой второстепенный из той же области вопрос — выбор места для выставки в самом Нижнем. Указывают бесполезность

избранного места для города, указывают на другие места, где выставка, как памятник, сохранилась бы лучше и в то же время принесла бы больше пользы местному населению. Вопрос этот для меня, как не местного жителя, неясный, и, может быть, разные мелкие неудобства, вроде хождения по пескам выставки, укусов комаров в свое время, дороговизны и затруднения в извозчиках, риска сгореть в разных сухопутных и плавучих деревянных кострах, — все это, может быть, окупается какими-нибудь вполне основательными соображениями в пользу именно выбранного места. Хотя бы одно пространство: восемьдесят десятин! Такой кусок земли, свободный к тому же, в самом городе или поближе к нему не так легко найти. Наконец близость ярмарки, а с ней уже готового контингента обычной публики.

Что сказать о внешнем виде выставки?

Слишком много, иногда очень притом скучного дерева.

Но если надо было так скоро все сделать, то в стране, пока еще дерева и соломы, другой строительный материал — железо, камень — не так скоро и раздобудешь.

К внешней стороне, можно, пожалуй, отнести и архитектуру зданий выставки. Всякий, кто видал другие выставки, согласится, что самостоятельного в них мало. И в упрек, думаю, ставить этого нельзя: мы еще не на той степени развития, когда можем указать человечеству что-либо новое, потому что таковые указания делаются, как видим из истории, не тем, кто пожелал бы приставить палец ко лбу, а нациями, тысячелетиями проходившими тяжелый путь общечеловеческой культуры. И на этом пути постепенности и последовательности хорошо, если мы уже сумели бы только толково усвоить и воспринимать давно другими открытые Америки.

Вот и выставка.

«Художественный отдел», «Художественно-промышленный отдел»...

О художестве очень много разговоров, но художественного и на выставке и в жизни нашей, — и выставка так красноречиво говорит об этом, по-моему, — так мало, мало, мало... претензий, конечно, миллион.

Эти задами изукрашенные барельефы, бронзовые буйволы, кузнецовская безвкусица, вероятно, авторам кажутся очень высокими

художественными произведениями. Не только авторам: кузнецовского товара расходуется на миллионы рублей в год...

Но безвкусица, отсутствие каких бы то ни было следов художественного воспитания в культурной сытой среде — это еще цветочки в сравнении с тем, что изготавливается собственно для народа.

Посмотрите на эти все те же от века веков уродливые рисунки, — при невозможном сочетании цветов красного, желтого, зеленого, — ситца, кумача, всего того, за что десятки миллионов платит народ. Это ли не суздальская живопись?! Но фабрикант, наживающий громадные богатства от своего народа, он и не думает об этом.

Облагораживание вкуса, художники, которые гением своего творчества сумели бы претворить сырое требование города в нечто такое, что совместно с остальным воспитанием и образованием манило и звало бы к иной, более высшей жизни, создавало бы иные радости, а с ними и потребности той жизни, — какое до всего этого дело самому, без художественного чутья, без любви, фабриканту? Он только тот же грубый продукт своей среды.

С одним навозом крестьянского двора, с одними кострами из соломы и дерева, вечно горящими, с одной дикостью и нуждой от невежества — нет энергии жизни, нет любви, нет радостей.

Деревцо у окна, хорошая книга, хорошая картинка, нежный рисунок, школа с образцовым полем и ремеслами, с познанием и стремлением к прекрасному в ней — это радости, это воспитание, это путеводные звезды к иной жизни и для нищего.

Без этого и обеспеченный материально, разбогатевший, вырвавшийся из дикой обстановки нужды, всегда только кулак, только тот фабрикант, который за разными красивыми словами всегда думает только об одной наживе и ни о чем другом.

И здесь вопросы воспитания, образования, общие и для интеллигенции и для народа (несколько зерен даже отборных семян среди остального чертополоха — кулаков, густо вырастающих на плохо обработанной ниве, не многое сделают), встают во всей своей силе и неотразимости. Мне возразят: образование находится в тесной связи с благосостоянием, а в кочевьях полуголодных киргизов хоть университеты строй — ничего не выйдет, а бельгиец сам найдет дорогу к питающей его науке. Может быть, и так это и пойдет в ту

область, где образование нечто такое же неизбежное, как и воздух для человека.

Мы в отделе машин, этих двигателей поездов, пароходов, фабрик, заводов.

Да, да! Здесь уже не бурлацкая лошадиная сила нужна: требуется работник-интеллигент, здесь сила вещей уже сама по себе создает образование, а с ним и самосознание.

В сравнении с этой страшной силой машин и кустарный рояль и кустарный велосипед только детская игрушка, да весь кустарный отдел только маленький, очень маленький придаток.

Да, здесь видишь силу нашего века, страшную, непоборимую силу, бесповоротно направляющую всю нашу жизнь.

Воочию здесь страшный капиталистический строй со всеми плюсами и минусами его. Где он, там, правда, царство капитала, но культурного, а потому с ним и самосознание.

Без него пустое место, без него при ста человеках на квадратную версту уже одну половину надо везти на китайский клин, а другую превращать в кустарей.

С ним в какой-нибудь Бельгии и двадцать тысяч уживаются на той же квадратной версте: и всем есть дело, и все сыты.

Сравните и согласитесь, что в смысле заполнения этой пустоты, во имя Торичеллиева закона (природа не терпит пустоты), во имя насыщаемости территории, во имя, наконец, не распределения, а накопления национальных богатств, капиталистический строй является такой страшной помпой, пред которой и кустарный промысел и китайский клин и теперь при таком населении уже являются только детскими игрушечными насосами.

Посмотрите, с другой стороны, сколько народу прокармливает все это машинное отделение у нас в России?оборотный капитал одного сахарного дела составляет почти полмиллиарда. То есть тот капитал, который каждый год остается в руках работающих возле этого дела. Другое дело распределение, но это уж богатство. И с этой точки зрения, может быть, и правильная регулировка этого дела, охранение товара от полного обесценения, в интересах работающих масс является неизбежной.

Может быть, и разумная покровительственная система в таком случае неизбежна. Америка только таким путем создала свою

промышленность, кроме Англии, все государства пришли каким-то роковым и неизбежным путем к той же охране.

Но, с другой стороны, вся эта охрана ведь за чей-нибудь счет да существует. И, конечно, существует она только за счет сельского хозяйства.

Но если хозяйство переживает кризис, то не спасут же его в некотором роде парники или оранжереи, что ли, его.

И в чем тут сила: в понижении пошлины или в культуре самого хозяйства?

Выставка и в этом отношении дает ясный ответ. Фабричные производства у нас страшно дороги.

Обратите внимание хотя бы на железное дело Урала, и вам ясна станет причина, почему наше железо вдвое дороже заграничного.

Дело в том, что годовое производство уральского завода равняется месячному производству заграничного завода.

Ищем причину и узнаем, что суть в том, что ограниченное количество леса на Урале не дает возможности расширять производство. А за границей работают на угле. Там при 35 процентах руды пуд железа стоит 70 копеек, у нас при 60-процентной руде железо стоит 2 рубля. Что же, угля нет на Урале?

Нет, есть, есть и руда и уголь.

Вам пишут, что на всех заводах имеется уголь, но он скрывается, потому что, пока пошлина и коренной лес имеется, нет расчета переходить на уголь.

Вернемся к сельскому хозяйству. Заводская корова, свинья, лошадь стоят сотни рублей.

Простые породы тех же коров, свиней, лошадей не стоят своего корма.

Простая рожь — натура 115 золотников — пуд 30 копеек.

Вальсидорорская рожь — натура 135 — пуд, считая прибавки 72 копейки на золотник, 40 копеек.

Простой подсолнух — рубль, образцовый у Иммера — 6 рублей.

О чем все это говорит? Говорит об отсутствии сельскохозяйственной культуры, о перепроизводстве низших. сортов и полном отсутствии высших. Значит, есть куда, в какую сторону двигаться! Эти сотни рублей красноречиво говорят, что, конечно, есть.

Движемся же мы так же энергично в нашем хозяйстве, как и в машинном деле.

Ответ на это — выставочная корова, 800 рублей, все-таки только корова, простая корова. Мне напоминает это из той эпохи, когда полудикие индейцы выменивали у испанцев их стеклянные безделушки на вес золота.

Я хочу этим сказать, что действительно хорошая корова у нас такая же редкость, какой у индейцев была безделушка, обычная у культурных народов того времени.

А что скажем о неизбежно необходимой сети в двести тысяч верст дорог для хозяйства, о неизбежно необходимой сети (общей сети, а не отдельных, элеваторов — отдельные элеваторы, как отдельная форма, не спасут дела) элеваторов, и то и другое ровно как сто процентов удешевляющее накладные расходы перевозки и сбыта.

Теперь и крупный землевладелец и крестьянин производят и сеют тот же некультурный продукт, подрывая друг друга. Уведите одного в область полной культуры, поставьте другого на путь культуры, дайте лишних сто процентов организацией перевозки и сбыта, поднимите, словом, весь сельскохозяйственный наш вопрос во всей его неотразимости и силе, и тогда на месте будут, может быть, и покровительственные пошлины.

Но довод, что путями сообщения, элеваторами, всей высшей культурой сельскохозяйственной мы только уронили цены, как хотите, это довод альтруистический в пользу наших западных соседей, наших конкурентов. Ведь им (Америке, Австралии) только и надо своей высшей удешевленной культурой обесценить наши некультурные дорогие продукты. Большое это дело сельское хозяйство, и в стране, исключительно живущей им, надо прежде всего понимать, сознавать и уважать это дело.

И выставка с своими невозможными ценами на разные виды сельскохозяйственных продуктов говорит, как невозможно недостаточно того, что сделано у нас для деревни.

Я сказал бы: даже модели того, как должно быть, как можно выдерживать конкуренцию западных соседей, не сделано еще. А ведь экономическая борьба требует такой усовершенствованной техники, такого же усовершенствованного оружия, как и политическая.

И неизбежность этой экономической войны, неизбежная непрерываемость ее делают ее еще опаснее политической.

Вот какое впечатление произвела на меня выставка.

Я провел на ней несколько дней. По целым дням ходил (расстояние и отсутствие путей сообщения на самой выставке — все та же картинка нашей жизни), уставал страшно, а когда голод давал себя знать, ел, как и все, плохо, теряя к тому же массу времени на эту плохую еду.

Любовался типами, каких не каждый день увидишь в обыкновенное время.

Выползло из своих глухих, далеких норок все из провинции, что имело только возможность себя проверить.

Типична физиономия публики и вечером вне выставки. «Омон», «Россия», «Повар» полны народом.

Ярмарочный театр, тип провинциального театра для наживы с громкими именами для рекламы и со всей остальной балаганной обстановкой (урезанной оперой, плохим хором, невозможным оркестром, бедной труппой), тоже сравнительно полон.

Зато городской театр, красивое симпатичное здание, наполовину пустует.

Но зато в городском театре для провинции небывало художественная постановка опер.

Прочувствовано, каждая деталь отделана, масса нового в постановке опер, прекрасный хор, оркестр, красивый ансамбль исполнителей.

Сцена живет, увлекает.

Корысти, погони за деньгами нет.

Там любовь, там искусство.

Этот театр — один из ярких блесков выставочной жизни. Истинные ценители там: балконы, галереи — верхи полны; смотришь и отдыхаешь на осмысленных интеллигентных лицах.

Для народа развлечений нет.

Не привык как-то наш народ развлекаться.

Попробовало было на Ходынке, отдало себе хвост и опять уползло страшное неведомое чудовище назад в свои темные дебри вечного труда.

Не знаю, как кого, а меня охватило тяжелое, прямо тягостное чувство, когда я въезжал в Россию из Европы. С внешней стороны все, как будто, то же, но чего-то не хватает. Мучительно роешься в мыслях, в чувствах.

Что-то там, за границей, осталось... Что? Записки Волькенштейн, книги, брошюры, словом, все то свободное слово, которое не пропускает наша цензура.

Слово, основа мира, всего живущего: «В начале бе Слово».

И конечно, свободное, потому что цензора уже потом пришли и наложили свою тяжелую руку на мир, на все живое.

Мне рисуется, как этот, часто малограмотный человек, в силу протекции облеченный званием цензора, сидит и водит своим красным карандашом.

И хорошо, если еще малограмотный или принимающий в том или другом виде приношение.

Боже сохрани, если это добросовестный и притом грамотный цензор. Еще хуже, если он делает свою карьеру!

Сколько их сделало эту карьеру до крымской кампании.

Все, казалось, было вычеркнуто...

И вдруг все, все и сразу всплыло, и каждая красная черточка превратилась в красную полоску крови.

Вырвалась и ярко вспыхнула придушенная жизнь. Вспыхнула и осветила на мгновение и истинных друзей, и истинных врагов.

А потом? А потом...

Все быстрее мчатся вагоны, мелькают поля, перелески. Ах, как скучно, как больно, как жалко этой бесцельно уносящейся жизни...

Привыкну, опять втянусь в эту жизнь, и, может быть, не будет она казаться тюрьмой, ужасом...

И еще тоскливее от этого сознания.

К современным событиям * —

Моя специальность — беллетристика. Как известно, в этой художественной области искусство в том, чтобы говорить образами и всякое «от себя» является только ослаблением картины.

Эта манера письма в конце концов настолько входит в привычку, что и в жизни и на бумаге перо публициста, где человек говорит исключительно от себя, вываливается совершенно из рук. Предпочитаешь наблюдать, анализировать, обобщать, делать выводы и проверять их жизнью. Но наступают такие мгновенья, когда и беллетристу приходится браться за перо публициста. Мне предъявляют обвинения: почему я молчу? Происходит ли это от равнодушия к общественной жизни? В том ли может быть причина, что я предпочитаю действовать только за спинами других, не открывая своих собственных карт? [26]

На такие обвинения молчать нельзя.

Мой интерес к общественной жизни не со вчерашнего дня, и я считаю, что моя любовь и преданность дорогим дням свободы доказаны пред русским обществом за много раньше до того, когда эти дни осуществились, доказаны тогда, когда сурово и очень сурово преследовались и эта любовь и эта преданность. И если в те дни я не скрывал своих карт, а открыто и в печати и в речах исповедовал свой символ веры, то неужели отрекись от него в дни свободы или спрячусь за спиной других? Нет, конечно. Я думаю, что я доказал, что никогда, ни при каких обстоятельствах я не прятался ни за чьей спиной и откровенно говорил то, что думаю.

И вот что я думаю по поводу текущих событий.

Борьба с правительством началась при довольно дружных усилиях всех партий: либеральной (буржуазной), социал-демократической, социал-революционной и анархистской.

Сперва преследовалась как бы одна цель, но в дальнейшем ходе событий карты каждой партии вскрылись.

Первая вскрыла свои карты социал-демократическая партия, убедившаяся опытом 48 года в Германии и всем дальнейшим, что только открытая политика и ее влияние могут привести ее к ее целям.

Либеральная партия, в общем у нас удивительно малограмотная, к слову сказать, с ужасом увидела, что если плохо ей было от старого правительства, то при водворении социального строя ей и совсем придет конец.

При такой альтернативе партия либеральная пошла на соглашение с правительством при условиях исполнения и даже расширения обещанных реформ.

Условие было принято, и пока что революция, по-моему, остановится, и если все обещания будут выполнены, то жизнь и пойдет мирно своим новым руслом. В 48 году, как известно, социал-демократы ничего не получили. Только через 30 лет впервые появился Бебель в том парламенте, который завоевали и либеральная и социальная партии.

Своей иной политикой крайняя партия у нас добилась большего: не менее двадцати депутатам социал-демократической партии кресла в Государственной думе уже обеспечены.

На что дальнейшее могут рассчитывать крайние партии?

Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо кратко коснуться сущности учений этих трех партий. Задачи социал-демократической партии — борьба труда с капиталом. Цель — победа труда над капиталом и соответственное переустройство жизни в новом социальном государстве. Социал-демократическое учение обосновано и построено на материалистическом учении истории.

В основу этого учения автором ее Марксом положена исключительно на экономической почве эволюция по известной триаде Гегеля (тез, антитез и синтез).

Для уяснения этой триады Гегель приводит как пример зерно овса, брошенное в землю, противоположностью его, антитезом ему, будет растение, выросшее из этого овса, а синтезом — зерно урожая. Применяясь к законам человеческой жизни, Маркс берет три периода этой жизни: докапиталистический строй, капиталистический и послекапиталистический, или социальный.

Таким образом эволюция, закономерность и научная обоснованность ложатся в основу всего учения. Как река не может побежать вверх по руслу, так не может и жизнь идти по желанию того или другого, а пойдет по своим непреложным законам.

Процесс капиталистического строя неизбежен и необходим. За муки и страдания он дает самосознание, а результатом этого является единение. Буржуазия является в этом строе трутнем, оплодотворяющим улей. И только после окончания этого процесса буржуазия, как и трутень в улье, явится ненужной.

Когда окончится этот процесс? Ответим коротко. Совершенно определенно выяснены только пути, по которым идут к цели все культурные народы, но на горизонтах самых культурных стран в отношении сроков достижения цели все еще только туманная даль.

И больше чем когда-либо сильно убеждение, что все дело здесь в экономике. Несомненно можно сказать только одно: самый богатый экономически народ первый и придет к цели. Потому что только экономическая свобода вызывает неотложные потребности в других свободах: политических, религиозных и пр.

Каким путем идет человечество к своей цели? Главным образом самосознанием (а вследствие самосознания образованием, единением, организациями). Стачки здесь помогают? Принципиально — да, но с миллионом «но». В общем, это очень сложный и спорный вопрос, завлекший бы нас далеко, но вот конечный вывод: если бы организация была бы всеобщая, то ведь достаточно было бы одной угрозы, и не нужна была бы сама стачка, наносящая во всяком случае неисчислимы бедствия решительно всем.

Какой путь: мирный или революционный избрала партия для достижения своих целей? В общем, мирный, признавая за революцией только значение ланцета, своевременно взрезывающего уже образовавшийся нарыв. Переживаемый нами период один из таких мгновений для получения буржуазной свободы в союзе с буржуазией и другими фракциями. Следующий период будет уже борьба за социальное государство силами одного, конечно, уже только рабочего класса.

Когда он наступит? Когда подсчетом своих организованных сил этот класс выяснит свой перевес над остальными силами.

Когда на последнем социал-демократическом амстердамском конгрессе поздравляли Бебея с 80-ю социал-демократическими депутатами в парламенте, представителями 4 милл. рабочих, он ответил: «Я не придаю этому значения. Из 14 милл. избирателей — 4

милл. слишком мало. Когда у нас будет 8 милл. из 14 — тогда мы покажем миру свою силу».

Перейдем к краткому рассмотрению целей других крайних партий. Социал-революционеры, как и социал-демократы, стремятся к тем же конечным целям, но, не признавая никакой научной постепенности, никакой подготовленности, говорят, что достаточно только доброй воли людей и завтра же человечество очутится в своем земном рае; говорят то же, что десятки лет на Западе говорил Фурье и другие утописты-идеалисты. Партия эта и ее цели, как не научные, являются таким пережитком совсем забытого уже на Западе, что о ней не было бы и речи, если бы у нас в России она не являлась бы представителем нашего крестьянства с его мелкобуржуазными целями. На этой почве партия имеет значение и будет иметь значение и в будущем как представитель крестьянства, переродившись, в партию мелкобуржуазную. Партия эта террористическая, и путь ее исключительно революционный, причем несомненно, что на другой же день после революции будет все тот же буржуазный строй, с той разницей, что один более крупный класс землевладельцев сменится другим более мелким. Но все процессы до полного своего назревания будут продолжаться. Анархистская, наконец, партия, основная цель которой уничтожение и буржуазного и социального государства с заменой свободной общиной, где люди руководствовались бы только своими свободными страстями, требует такого громадного развития всего общества и всех отдельных единиц его, что пока осуществление идеалов этой партии является беспредельно более отдаленной мечтой, чем даже социальное государство. И в лучшем случае учение это является идеалом того далекого времени, о котором мы и приблизительного понятия составить не можем. Путь для достижения цели тот же, что и у социал-революционеров — террористический и революционный.

После этих кратких характеристик ответ на поставленный выше вопрос (на что дальнейшее могут рассчитывать крайние партии) вытекает сам собою из сделанного определения партий.

А именно:

Социал-демократическая партия, являясь пока у нас представителем 4–6 миллионов организованных рабочих, не может, если останется на научной и реальной почве, рассчитывать на

завоевание теперь же социалистического государства. Иначе надо отказаться от научных обоснований и согласиться с социал-революционерами, что достаточно только пожелать и наименее развитой, наименее грамотный народ станет во главе всего мирового социального переворота.

Определивши наши современные течения, я укажу теперь на свое личное отношение к этим течениям.

Вся моя логика и все мои симпатии принадлежат социал-демократическому учению.

Логика, потому что это единственное научно и логически обоснованное учение.

Симпатия, потому что — что может быть выше общей, а не классовой любви к людям, выше братства в труде всех?

Ведь это все старые истины, которые во всех нас с детства воспитывают учением Христа.

Мое отношение к современным явлениям нашей харбинской жизни вытекает из предыдущего. Активного участия я не принимал частью в силу того, что я, как беллетрист, в некотором роде аппарат только воспринимающий, а частью и в силу того, что в данный момент я нахожусь на службе и так связан ею, что не имею возможности чем-либо другим заниматься.

В своем отвлечении я все-таки полагаю, что возвещенные манифестом 17 октября свободы являются отныне незыблемой почвой, и не советовал бы ни себе, ни другим ни на мгновение забывать, что почва эта существует уже.

Сделать можно все, несомненно придется и ответить за все.

Я не сочувствую ста центрам, ста республикам, в *этом*вижу отсутствие организации, залога успеха, вижу анархию, губительную для государства и общества.

Я полагаю, что желающий считать себя истинным членом социал-демократической партии — в организации, в стремлении к одному центру должен видеть всю цель свою, всю свою заслугу. И самовольные действия, вопреки общим того или другого лица, комитеты являются таким же тяжким преступлением, как и всякий другой произвол. Это не цель партии, а партия социал-демократов теперь более, чем когда-либо, должна ограждать себя от

ответственности за действия других крайних партий как прогрессивных, так и реакционных.

Я с самого начала заявлял и теперь, исходя из чисто опытных данных, считаю, что здесь в Харбине, в чужой стране, при кратком сроке воздействия, элемент запасных является совершенно непригодным материалом для агитации. Увлекаясь мыслью, что является возможным в короткий срок послать на родину готовый годный для сознательной борьбы материал, — на деле посылаются дикие орды хулиганов, которые громят, насилуют, разбивают и в конце концов останавливают всякое движение на линии и отрывают нас от России.

Если скажут: «Тем лучше, это вызовет здесь *негодование*, взрыв!..» Но ведь в этом взрыве погибнет все и вся. В чужой далекой стране пощады никому не будет.

Я не понимаю этого самосожигания, бросания себя под колесницы, не понимаю этой бессмысленной гекатомбы из миллиона человеческих трупов, и во всяком случае это не работа и не задача социал-демократической партии.

Представителей ее *рабочих* здесь в Харбине я видел и слышал.

Эти люди не заслуживают никакого в этом отношении упрека, и я считаю долгом заявить, что встретил между ними гораздо более образованных, развитых, понимающих свои задачи людей, чем в своем кругу. Если имеются люди, делающие создать катастрофу, следствие которой они и осмыслить не могут, то справедливость требует сказать, что эти люди существуют и в революционном и в правительственных лагерях.

Ведь так же ужасны возгласы: расстрелять, повесить и проч.

И так до сих пор, так и в будущем ни к чему хорошему не приведут эти люди крайностей. Громадное большинство требует законности, разумных спокойных тактичных из сущности вещей вытекающих действий, основанных на уважении манифеста 17 октября, основанных на уважении свободной личности.

Величайшая заслуга, и только она и будет оценена, того государственного и общественного деятеля, кто на этой почве сумеет сохранить и не пролить драгоценную кровь своих граждан здесь, где она не должна больше быть пролита.

Комментарии

По Корее, Маньчжурии и Ляодунскому полуострову –
Вокруг света *

Корейские сказки, записанные осенью 1898 года *

Дневниковые записи «По Корее, Маньчжурии и Ляодунскому полуострову», так же как и очерки «Вокруг света», написаны Гариным во время кругосветного путешествия, совершенного им в 1898 году; тогда же записаны им и «Корейские сказки». Желая отдохнуть после окончания строительства железной дороги в Поволжье, писатель решает предпринять путешествие и намечает маршрут: Сибирь, Дальний Восток, через Тихий океан в Америку и через Европу обратно в Петербург. Перед отъездом им было получено предложение принять участие в работах возглавлявшейся А. И. Звегинцевым крупной исследовательской экспедиции, отправлявшейся в Северную Корею и Маньчжурию. Это предложение, хотя несколько и нарушало планы Гарина, было принято им весьма охотно, поскольку представлялась возможность посетить один из интереснейших районов зарубежного Дальнего Востока.

И действительно, поездка по Северной Корее и Маньчжурии явилась для Гарина самой увлекательной частью его путешествия вокруг света. Отчасти это объясняется тем, что Гарин был одним из первых европейских путешественников, побывавших в стране, которая вследствие изоляционистской политики корейского правительства долгое время была недоступной для иностранцев. Достаточно сказать, что систематическое изучение Северной Кореи было начато русскими исследователями лишь в 1890-х годах, а экспедиция, возглавлявшаяся А. И. Звегинцевым, была наиболее крупной и по составу участников и по объему намечавшихся исследований.

Относящиеся к этой части путешествия записи Гарина отличаются и наибольшей полнотой, и большей систематичностью, и, наконец, наибольшей содержательностью и колоритностью.

Очерки Гарина написаны в распространенной в литературе о путешествиях форме дневниковых записей. Однако среди множества книг этого типа они выделяются присущей их автору исключительной

остротой восприятия описываемого материала и яркостью социально-политических, бытовых и ландшафтных зарисовок, наконец живостью и эмоциональностью языка.

Эти качества тем более удивительны, если учесть совершенно необычные условия творческой работы Гарина. Он писал «наскоро», в железнодорожном вагоне, в каюте парохода, где-нибудь на ночлеге в корейской или китайской фанзе, примостившись к краешку походного ящика, или просто в поле, в мороз, под дождем. Не имея времени обработать записи, он передавал рукопись в редакцию и уже принимался за другие неотложные дела. С другой стороны, эта «телеграфная» быстрота его работы придавала изложению исключительную динамичность.

Для автора очерков характерно стремление делать выводы на основе своих собственных впечатлений, стремление отрешиться от ходячих в то время представлений, в частности, от глубоко ложного представления о «дикости», интеллектуальной и моральной неполноценности корейского народа.

Корею Гарин посетил в период, когда она находилась в состоянии глубокого кризиса. Феодалная эксплуатация и царивший чиновничий произвол довели страну до крайних пределов разорения. Длительное время совершенно не развивалось сельское хозяйство, служившее основой корейской экономики, пали некогда процветавшие в Корее ремесла и искусство. Огромных размеров достигла экспроприация земель, в результате которой основная масса крестьян была обращена в безземельных арендаторов.

Политическая жизнь страны характеризовалась постоянной борьбой между феодалными группировками за влияние и власть. Экономическую слабость Кореи и ее неустойчивое политическое положение использовали в экспансионистских целях империалистические державы, особенно Япония, которая, стремясь захватить Корею, применяла все средства как экономического и политического давления, так и прямого вооруженного вмешательства. Незадолго до посещения Кореи Гариным Япония, ловко используя крестьянское восстание «тонхаков», вспыхнувшее в Корее в 1894 году, ввела в страну свои войска и, опираясь на военную силу, начала проводить широкую подготовку к захвату всей страны. Изменялась система управления государства, были реорганизованы корейская

полиция и армия, поставленные под начало японских офицеров. Японскими агентами в 1895 году была убита корейская королева Мин, которая стояла во главе оппозиции Японии.

Корея очаровала Гарина своими необъятными просторами, прекрасными пейзажами, природными богатствами, высоким интеллектом и поэтичностью ее жителей, — наконец, тем сердечным приемом, который повсюду встречали русские.

Но писатель с грустью наблюдает здесь ту же картину, что и у себя на родине, — огромные природные богатства, могущие обеспечить довольство и счастье народа и бесправное, нищенское существование миллионов тружеников.

Понимая, что для процветания корейского народа нужны «безопасные, обеспечивающие его жизнь и потребности условия существования», Гарин, однако, основной предпосылкой для этого считает приобретение «технических знаний», без которых «в наше время нельзя быть богатым», учебу у более культурных народов. В этом сказалась ограниченность мировоззрения писателя, полагавшего, что возрождение страны возможно без коренных социальных преобразований.

Ошибочны и некоторые другие высказывания Гарина, например, о «детскости» корейцев, их неспособности к войне, но такие высказывания редки, да и в них сквозит в первую очередь уважение к миролюбию корейского народа.

Дневника Гарина дают многочисленные яркие примеры крепнувшей русско-корейской дружбы. Корейский народ, вынесший многовековую неравную борьбу с китайскими феодалами и японскими захватчиками за свою национальную независимость и оказавшийся в конце прошлого столетия перед угрозой империалистического закабаления Японией, понимал великое значение русского народа для освобождения своей страны. «Имя русского в Корее священо, — говорит Гарину кунжу города Ичжоу. — Слишком много для нас сделала Россия и слишком великодушна она, чтобы мы не ценили этого. Русский — самый дорогой наш гость».

Надо отметить, что братское отношение к корейскому народу и высокая оценка его моральных качеств были характерны для большинства русских путешественников в Корее. И это тем более

важно подчеркнуть, что для многих западноевропейских и американских путешественников в Корею, так же как и для японских экспансионистов, было характерно пренебрежительное отношение к этому народу, взгляд на корейскую нацию как на неполноценную, не способную к прогрессу и к самостоятельному существованию. Клевета американских расистов на корейский народ у отдельных писателей доходила до изображения его как «гнилого продукта разложившейся восточной цивилизации». (G. Kennan, Korea: Degenerate state. «Out look», oct. 7, 1905, p. 409.)

Во время путешествия по Корею писателем был также собран и обработан фольклорный материал. Всего Гариным было записано до ста корейских сказок, легенд и мифов; из них сохранилось шестьдесят четыре, так как одна тетрадь с записями была потеряна в пути.

В этих простых рассказах, мифах, легендах, создававшихся самим народом, ярко отразились быт, мировоззрение и чаяния трудового народа Кореи. В них воспеваются любовь к человеку, труду, уважение к женщине.

До Гарина корейский фольклор был издан в ничтожном количестве: две сказки на русском языке в русских изданиях, семь сказок — в английских изданиях. И после Гарина, насколько нам известно, так полно он не издавался еще никем.

Собранный Гариным в Корею фольклорный материал, являющийся самым значительным вкладом в корейскую фольклористику, представляет огромную ценность для изучения истории и литературы корейского народа.

После Кореи путь Гарина лежал через Китай, где он пробыл недолго: два дня в порту Чифу на Шаньдунском полуострове и пять дней в Шанхае.

Для Гарина неприемлемы некоторые «гнусные» законы, шанхайская Чайная улица и многое другое. Но основное в его отношении к китайскому народу — уважение к нации, которая, будучи «задавленной произволом экономическим, религиозным уродством, живет и обнаруживает изумительную жизнерадостность и энергию».

Как бы полемизируя с ходячими представлениями своего времени, Гарин «энергично протестует против обвинения китайцев в нечестности», сообщает, что в коммерческом мире китайцам «верят на

слово очень крупные суммы», свидетельствует, что тип китайца, «которого считают долгом изображать на своих этикетках торговцы чайных и других китайских товаров», — не более как карикатура.

Через неделю пароход, на котором Гарин отправился из Шанхая, пришел в Нагасакскую бухту. Следующая остановка в Японии — порт Иокогама на восточном побережье Хансю. Гарин пробыл здесь три дня; он ездит по японским железным дорогам, интересуется крестьянскими полями, благоустроенными плантациями и садами, посещает заводы и железнодорожные мастерские.

Первое же впечатление от Японии рассеивает у Гарина навеянные произведениями французского романиста Пьера Лоти идиллические образы прежней, феодальной Японии. Гарин видит новую Японию, вступившую на путь быстрого капиталистического развития и империалистических захватов. Здесь он наблюдает совершенно иную, по сравнению с Кореей и Китаем, картину — стремительный подъем экономики, политическую активность, технический прогресс, оживление городской жизни, торговли. Словно «весь народ в каком-то бессознательном порыве торопится сбросить с себя всю ту рутину, которая сковывала его до сих пор».

Гарина восхитили прекрасно обработанные поля, «гениальная нерутинность» японских техников, интеллигентность служащих — почтового чиновника, продавщицы книжного магазина, — высокий художественный вкус, проявляющийся в ремесленных изделиях, повседневном быте.

Но и здесь Гарина возмущают отвратительные картины жестокой эксплуатации, безграничного унижения человеческого достоинства, — сотни дженериков, из которых самый сильный не выдерживает этой работы более пяти-десяти лет, целые улицы с выставленными в клетках женщинами — живым товаром.

Америка, куда направился Гарин после Японии, многим привлекла его. Гарина, талантливого инженера, она захватила могучим размахом техники, относительно высоким жизненным уровнем, деловитостью — всем своим ритмом напряженной полнокровной жизни. Всюду видел он огромные результаты труда, не связанного пережитками феодально-крепостнических отношений.

Гарин правильно подметил и ряд отрицательных черт американской жизни — отсутствие высоких духовных интересов,

поэтичности, иссушающий душу практицизм.

Однако относительная прогрессивность капиталистического строя заслонила от Гарина многое органически сопутствующее развитию капитализма.

Для писателя остались незамеченными наиболее глубокие процессы экономической и политической жизни США того времени. В 90-х годах США по экономическому развитию обогнали старые капиталистические страны. Вместе с ростом монополий и расширением их деятельности огромных размеров достигло расхищение природных и людских ресурсов, спекуляция, коррупция. Быстрыми темпами шло разорение фермерства и образование в городах армии безработных. В целях борьбы против массового движения господствующие классы добились создания национальной гвардии, разжигали расовую и национальную рознь, начали проводить экспансионистскую политику.

В известной мере ограниченность суждений Гарина объясняется тем, что он не сталкивался, по сути дела, с жизнью страны, наблюдал ее, как турист в течение очень непродолжительного времени. Однако была и другая причина, кроющаяся в мировоззрении писателя. В те годы Гарин возлагал большие надежды на интеллигенцию, на технический прогресс, верил в возможность преобразовать действительность в условиях существующего строя. Ему казалось, что в Америке, где каждый хотя и работает, преследуя «исключительно эгоистическую цель накопления», — благодаря общему более высокому культурному уровню среднего рабочего, фермера, — в значительной мере разрешена проблема социального равенства. «Громадные филантропические учреждения достаточны, чтобы дать место у себя слабым, неспособным, отработавшимся, — пишет Гарин, — ...нищеты почти нет здесь».

Правильно констатируя экспансионистские тенденции американского капитализма, — завоевание новых рынков сбыта для растущей массы продукции, Гарин не увидел, что наряду с этим происходит систематическое сужение внутреннего рынка за счет разорения массы мелких фермеров и образования в городах армии безработных.

Путевые записи Гарин заканчивает описанием своих европейских встреч. На английском пароходе, который вез его через

Атлантический океан в Европу, пассажирами были преимущественно англичане. Впечатление от этого общества, отмечает Гарин, тяжелое, гнетущее. Все их разговоры только о необходимости войны, о захвате чужих территорий.

Под тяжелым впечатлением от этих встреч, не желая слышать «диких воплей этих пожелавших крови и смерти людей», Гарин изменяет свой первоначальный план посетить Лондон. Однако и Париж, очаг старой буржуазной культуры, разочаровал Гарина. «Старый буржуазный строй отживает, и нигде это умирание, разложение заживо не чувствуется так, как в Париже». Но писателю привелось познакомиться и с другой стороной жизни Парижа, увидеть людей, борющихся за будущее человечества. «Я увидел, каким ключом бьет эта будущая жизнь там, видел свежесть, силу и веру этих людей». Этими словами о социалистах, борющихся за будущее человечества, думы о котором в творческих исканиях самого Гарина всегда занимали большое место, он заканчивает записи о путешествии.

В своих дневниках Гарин касается широкого круга тем из области географии, истории, этнографии, литературы, искусства, политики. Поэтому, естественно, было бы трудно ожидать одинаковой компетентности писателя во всех рассматриваемых им вопросах. Многие из того, что пишет в своих дневниках Гарин, не до конца продумано, иногда звучит наивно, а отдельные его высказывания просто ошибочны. Советскому читателю сейчас нетрудно заметить всю несостоятельность рассуждений писателя, например, о том, что «китаец пережил и умер навсегда для политической жизни» или что уделом китайского народа стали только «экономическое поприще и личная выгода». Однако подобных ошибочных высказываний в гаринских дневниках сравнительно немного, и скорее приходится удивляться, что при такой исключительной широте охвата материала допускаясь им неточности и ошибки не столь велики.

Дневники Гарина сыграли важную роль в развитии дружеских связей русского народа с соседними дальневосточными странами. Независимо от того, ошибался или не ошибался в отдельных случаях Гарин, он всегда оставался правдивым, искренним и дружески расположенным к простому человеку, к любому труженнику независимо от его национальности.

Научные результаты своих наблюдений и исследований в Корее и Маньчжурии, давшие ценные географические сведения о малоизведанных территориях, в особенности о районе Пектусана, публиковались Гариным в специальных изданиях — «Отчетах членов экспедиции 1898 года в Северной Корее» и в «Трудах осенней экспедиции 1898 года» (изданных в 1898 и 1901 гг.).

Свои впечатления, заносившиеся писателем почти ежедневно в полевую книжку, Гарин опубликовал вскоре по возвращении из путешествия, под общим названием «Карандашом с натуры», в журнале «Мир божий» за 1899 год № № 2–7, 10–12. Позднее, стилистически исправленные, под заглавием «По Корее, Маньчжурии и Ляодунскому полуострову», вместе с очерками «Вокруг света» дневники Гарина были выпущены отдельной книгой в издательстве «Знание», Спб. 1904.

Известна публикация дневниковых записей Гарина в Полном собрании сочинений изд. «Освобождение» (т. 6 и 7, 1914) под названием «В стране Желтого дьявола». Текст этой публикации содержит ряд разночтений с текстом «Знания». Очевидно, редакции этих изданий располагали разными источниками для публикации.

Известна также публикация «Вокруг света» в Полном собрании сочинений изд. т-ва Маркса (т. 7, 1916) в виде двух самостоятельных очерков. Один из них, под названием «Вокруг света», включает главы: «Сан-Франциско», «Американец об Америке», «На американской ферме», «Из конца в конец Америки», «В Атлантическом океане», «В Европе и дома». В другой, под названием «В Тихом океане», входят главы: «На пароходе», «Ми-хо-то», «Гонолулу».

Оба очерка в этом издании датированы 1902 годом; возможно, это дата не выявленной до настоящего времени публикации; не исключено также, что это дата написания.

В публикации «Знания» глава «В Европе и дома» значительно сокращена.

В настоящем томе очерки печатаются по тексту изд. «Знание».

Ваши, так почему же... казенные полесовицики? — Колонизация Башкирии царской Россией, начавшаяся в XVI веке, сопровождалась систематическими захватами башкирских земель и лесов. С 1830-х годов царское правительство стало проводить политику

«организованной» колонизации этого края русским крестьянством, в связи с чем огромные площади пахотных и других угодий перешли к переселенцам и в казну.

Помню эти места... — В 1891 году Гарин работал на изысканиях трассы этой дороги.

Эта земля да киргизы... — Здесь и ниже говорится о казахах, которых во времена Гарина ошибочно называли киргизами.

...и учителя их — сарты... — Сарты — так пренебрежительно называли узбеков и таджиков в царской России. Эти народы действительно оказали большое влияние на формирование культур других народов Средней Азии и Казахстана, однако утверждение Гарина, что вся казахская культура заимствована от узбеков, ошибочно. Казахи имеют собственную культуру, формировавшуюся с древнейших эпох.

Это — кабинетские земли... — то есть земли, составлявшие собственность царской семьи и находившиеся в ведении так называемого «Кабинета его величества».

...поселок, называвшийся Новой Деревней — основан в начале 90-х годов прошлого века; положил основание современному городу Новосибирску.

...государственная земля и общественники-крестьяне. — Очевидно, имеются в виду сельские общины с коллективным землевладением, которые в Восточной Сибири существовали наряду с государственными крестьянами, работавшими на земле, принадлежавшей казне.

...наша первая Николаевская железная дорога. — Октябрьская железная дорога (бывшая Николаевская), соединявшая Москву с Санкт-Петербургом, построена в 1851 году; до нее в России существовала лишь Царскосельская железная дорога (С.-Петербург — Царское село — Павловск), сооруженная в 1837 году.

...уже не окраинного положения генерал-губернаторства... — Иркутское генерал-губернаторство занимало окраинное положение до того, как в 1884 году было образовано Приамурское генерал-губернаторство с резиденцией в Хабаровске, охватившее восточные окраинные территории. В царской России власть генерал-губернатора на окраинах имела характер военной диктатуры.

...объясняя их вулканическими или иными подземными причинами... — Гарин ошибается относительно происхождения этих волн; характерные для Байкала сейши — стоячие волны, во время которых приходит в колебание вся водная масса озера, происходят от быстрых изменений атмосферного давления в одной части озера (внезапные удары ветра с гор и т. п.), вызывающих понижение уровня воды и повышение его в другой части озера.

...орды монголов, которые надолго затормозили жизнь востока Европы. — Речь идет о татаро-монгольском нашествии XIII–XIV веков.

Чингисхан(род. ок. 1155.— ум. 1227) — монгольский хан и полководец, основатель Монгольской империи. Его армия, состоявшая в основном из конницы, в первой четверти XIII века достигала двухсот тридцати тысяч человек.

...бурята[правильно: буряты] — *остаток того же монгола...* — Происхождение этого народа связано с длительным процессом взаимодействия различных по происхождению этнических групп, населявших в прошлом Приамурье и районы Центральной Азии. Предполагают, что в период монгольского господства чингисханидов (XIII–XVI вв.) в этом взаимодействии преобладали северо-монгольские элементы.

*Корф*А. Н. (1831–1893) — барон, генерал. С 1884 года — приамурский генерал-губернатор.

Со включением Маньчжурии в круг нашего влияния... — В 1896 году между Китаем и царской Россией был заключен тайный оборонительный союз против японской агрессии, имевшей целью территориальные захваты в Северо-Восточном Китае (Маньчжурии). По условиям этого союза Россия получила право участия в строительстве железной дороги в Северной Маньчжурии; по договору с Китаем в 1898 году России была передана в аренду на двадцать пять лет территория Ляодунского полуострова с Порт-Артуром и бухтой Далян. Заключенные соглашения и проводившееся крупное железнодорожное и городское строительство способствовали экономическому оживлению на Дальнем Востоке и расширению связей между русской и китайской его частями.

...напоминающие героев «Хижины дяди Тома». — Имеется в виду роман американской писательницы Гарриет Бичер-Стоу (1811–1896)

«Хижина дяди Тома» (1852), изображающий рабскую жизнь негров в США.

...(*Стрельбицкий и другие*)... — Стрельбицкий — топограф, полковник Генерального штаба, возглавивший научную экспедицию по Маньчжурии и Корее в 1895–1896 годах. До него в Корее были экспедиции Анерта и Комарова.

Встают фигуры декабристов. — Сосланные в Сибирь участники восстания 14 декабря 1825 года отбывали каторжные работы в Нерчинских рудниках с лета 1826 года. В 1827 году каторжную колонию декабристов перевели в Читу, а осенью 1830 года — в Петровский завод (на территории нынешней Читинской области).

Я. А. — Здесь и ниже Гарин говорит об участниках экспедиции, в составе которой он путешествовал по Корее: *А. И.* — А. И. Звегинцев, начальник экспедиции. *Н. А.* — Н. А. Корф (барон, подполковник), являлся помощником начальника этой экспедиции. *Я. Е.* — Н. Е. Борминский, техник, участник партии Гарина. *Андрей Платонович* — А.П. Сафонов, инженер путей сообщения, помощник Гарина по экспедиции. *С. П.* — С. П. Кишенский, возглавлял геологическую партию экспедиции. *В. А.* — В. А. Тихов, возглавлял партию по изучению лесов Кореи.

«*Паяцы*» — опера итальянского композитора Р. Леонковалло (1858–1919).

Та самая Усть-Стрелка... — см. «Фрегат „Паллада“», гл. «Через двадцать лет», VII.

...как было во время *Желтухинской республики*... — Желтугинская золотопромышленная «республика» (или «Амурская Калифорния») — небольшое приисковое поселение, существовавшее с 1883 по 1886 год на китайской территории, на берегу речки Желтуги (правый приток Амура), где были обнаружены богатейшие золотоносные площади. Китайское и русское население этой «республики», общим числом около двадцати тысяч человек, управлялось на основе собственного законодательства, не подчиняясь китайским властям. В начале 1886 года китайское правительство направило на Желтугу специальный военный отряд, ликвидировавший поселение золотоискателей. Значительная часть их перешла на русскую территорию, часть же была перебита китайскими войсками.

Кому вольготно, весело живется на Руси? — неточная цитата из поэмы Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» (1863–1877).

Гинцбург Г. О. (1833–1909) — барон, финансист. Владелец одного из крупнейших банков в Петербурге, крупный золотопромышленник, Гинцбург проявлял большую активность также на Дальнем Востоке, являясь одним из проводников авантюристической политики русского царизма в Корею и Маньчжурию.

Во главе предприятия Ли Хун-чан — Ли Хун-чжан (1823–1901), государственный деятель второй половины прошлого столетия в Китае, являлся крупным капиталистом, владевшим предприятиями в разных районах Китая, в том числе и в Маньчжурии.

Весь китайский берег золотой, а на нашем ничего нет. — Золотоносность маньчжурской территории во времена Гарина сильно преувеличивалась. Это отчасти объясняется деятельностью Желтугинской «республики» и связанной с ней «золотой лихорадкой» в Маньчжурии в тот период.

«Проклятый мир...» — из арии Демона в одноименной опере А. Г. Рубинштейна (1829–1894).

Но их теперь... так же мало... — Маньчжуры, коренные жители Маньчжурии, вскоре после установления в Китае власти маньчжурских императоров (1644) в большом количестве переселились со своей родины в Китай. Вместе с тем из внутренних районов Китая в Маньчжурию шел все увеличивавшийся поток китайских переселенцев, в массе которых со временем растворилось оставшееся в Маньчжурии коренное население этой страны. От китайцев они переняли их язык, культуру, обычаи. Маньчжур, до некоторой степени еще сохранивших свои национальные черты, в Маньчжурии в настоящее время насчитывается несколько десятков тысяч.

У вас ввели мировых? — Институт мировых судей был введен во второй половине XIX века; мировыми судами рассматривались преимущественно мелкие уголовные и гражданские дела.

...квиелист. — Квиелизм — мистическое учение (особенно развитое в XVII в.), проповедовавшее смирение и духовное самоуглубление, якобы ведущее к абсолютному душевному покою. Здесь: человек относящийся безучастно к окружающей жизни.

Вторая — бестужевка. — Бестужевками назывались слушательницы Бестужевских курсов — женского высшего учебного заведения, учрежденного в Петербурге в 1878 году, по окончании которых давалось право преподавать в женских средних учебных заведениях. Во главе их стоял профессор русской истории К. Н. Бестужев-Рюмин (1829–1897), по фамилии которого курсы и получили свое наименование.

Они уже однажды владели этим краем... — Размежевание территории Дальнего Востока и установление государственной границы между Россией и Китаем первоначально были произведены Айгунским договором (1858), который определил государственную границу по Амуру, причем Уссурийский край от впадения реки Уссури в Амур до моря считался находящимся в общем владении. Окончательная граница между Китаем и Россией была установлена Пекинским договором (1860), который закрепил за Россией Уссурийский и Амурский края.

...они стадами выходили на берег и паслись там. — Морская корова — вымершее водное млекопитающее (из отряда сирен), крупное животное, до 9 м. длиной и до 3,5 т. весом; к середине XVIII века были полностью истреблены промышленниками. Морские коровы — ластоногие животные, следовательно, они не могли «пасться» на берегу.

...самоед. — Самоедами в России в прошлом называли ненцев и некоторые другие северные народности.

Муравьев. — Имеется в виду граф Н. Н. Муравьев-Амурский (1809–1881). В 1858 году, будучи генерал-губернатором Восточной Сибири, подписал Айгунский договор.

...что произошло в Сант-Яго... — Имеется в виду гибель испанской эскадры в бухте города Сант-Яго де Куба на острове Куба в результате нападения американского военного флота в период испано-американской войны в 1898 году.

Генрих Гогенцоллерн (1862–1929) — прусский принц, брат Вильгельма II, являлся одним из активнейших проводников германского империализма в странах Тихого океана. В 1897 году он командовал германским военным отрядом, захватившим китайскую бухту Цзяочжоу (провинция Шаньдун) и отличившимся жестокой расправой с мирным населением. В 1898 году в Пекине был подписан

германо-китайский договор, фактически превративший всю Шаньдунскую провинцию в сферу германского влияния.

...пышная и затейливая прическа... — Во времена Гарина такую прическу носило все женатое мужское население Кореи. В настоящее время такие прически в Корее можно встретить очень редко и только среди стариков.

...Варфоломеевскую ночь... — то есть массовую резню. В ночь под праздник св. Варфоломея, 24 августа 1572 года, в Париже католиками была организована массовая резня протестантов — гугенотов.

...взятием Порт-Артура... — то есть получением крепости Порт-Артур в аренду (см. прим. к стр. 35).

Квинн Джордж (1845–1924) — американский журналист и путешественник, автор книги «Сибирь и ссылка», переведенной на русский язык в 1890 году.

...Чехове... Дорошевиче. — А. П. Чехов был на Сахалине в 1890 году. Его книга «Остров Сахалин» вышла в 1894 году. Дорошевич В. М. (1864–1922) — журналист, автор книги «Сахалин».

...вроде «Земля и люди». — Под таким названием в России журнала не издавалось. В Петербурге в 1890 годах выходил еженедельный иллюстрированный журнал под названием «Природа и люди».

Гоалин — то есть гаолян.

...незаконный выход маньчжуров к морю. — Деревня Ханси, расположенная на территории русского Приморья, использовалась населением Восточной Маньчжурии в качестве порта в Японском море.

...друидические постройки на вершинах гор... — Здесь имеются в виду жертвенники, наподобие тех, которые сооружались для жертвоприношений, совершаемых друидами — жрецами у кельтских народов.

...не знаем, куда деваться с этим грузом. — По тогдашнему курсу за шесть рублей экспедиция получила около двенадцати килограммов мелкой корейской монеты.

...своей династией. — Имеется в виду последняя династия корейских королей — династия Ли, занявшая корейский престол в

результате дворцового переворота в 1392 году и находившаяся у власти до 1910 года.

...и мужскую и женскую.— В Корее существовали две письменности: китайская иероглифическая и корейская, пользовавшаяся собственным фонетическим алфавитом. Китайская письменность проникла в Корею еще в первые века нашей эры и получила широкое распространение среди господствовавшего класса, став впоследствии официальной письменностью в Корейском государстве. Корейская письменность, которая была распространена среди народа, в господствующих классах презрительно именовалась «женской». Корейский алфавит, один из самых простых современных алфавитов мира, изобретен корейцами в 1443 году и до последнего времени сохранился без изменений. Он долгое время не получал широкого распространения; только в конце прошлого века корейское национальное письмо было официально признано корейским правительством.

...родоначальник маньчжурской династии в Китае. — Имеется в виду маньчжурский военачальник Нурхаци (1559–1626), объединивший под своей властью маньчжурские племена, населявшие Маньчжурию, и создавший династию Дайцин. В первой половине XVII века маньчжурские войска Дайцинов были призваны китайской феодальной знатью для подавления мощного крестьянского восстания, свергнувшего династию китайских императоров. После разгрома этого восстания в 1644 году маньчжуры захватили китайский престол, и маньчжурская военно-феодальная верхушка стала господствующей кастой в Китае.

*Купер*Фенимор (1789–1851) — американский писатель, автор цикла книг об индейцах под названием «Кожаный чулок»; *Эмар*Густав (1818–1883) — французский писатель; автор авантюрных романов.

...избавились от китайцев, но теперь японцы захватывают... — Китай, с которым Япония вела борьбу за влияние в Корее, в результате поражения в японо-китайской войне 1894–1895 годов обязался признать независимость и автономию Кореи, находившейся у него в вассальной зависимости с XIV века. Однако Корея попала еще в большую кабалу к Японии.

Японцы одно с ними племя... — Вопрос о происхождении корейского народа до сих пор еще мало изучен. Предполагают, что корейцы относятся к тунгусской ветви монгольской расы.

...Стрельбицкий, бывший на Пектусане в 1894 году... — Стрельбицкий оставил первое описание Пектусана в своей книге «Из Хунчуна в Мукден и обратно по Ченбайшаньскому хребту» (Отчет о семимесячном путешествии по Маньчжурии и Корее в 1895–1896 гг., Спб. 1897, гл. «Пайшань, область истоков Тумангана, Амнокгана и Сунгари»). Пектусан, прославленный, в корейском и китайском народном творчестве, представляет собой вулканический конус; поднимаясь над окружающей местностью более чем на тысячу метров, он живописно выделяется своими стройными очертаниями и белым цветом склонов, покрытых отложениями пемзы (отсюда и название его Пектусан, или, по-китайски, Байтоушань — Белоголовая гора).

«...откуда, казалось, не было другого выхода, как назад»— Из книги Стрельбицкого «Из Хунчуна в Мукден и обратно по Ченбайшаньскому тракту», Спб. 1897, стр. 127.

...прежней, 1894 года, экспедиции... — Имеется в виду экспедиция, возглавлявшаяся Стрельбицким.

Но и русские приносили жертвы, — тот, который был с баранами, зарезал здесь одного барана. — Стрельбицким во время его путешествия по Корее были взяты с собой в качестве провианта несколько баранов; часть их была зарезана во время нахождения его отряда в районе Пектусана, что было истолковано местным населением как принесение жертвы дракону.

Сафо, или Сапфо — греческая поэтесса конца VII–VI вв. до н. э. *Лорелея*— героиня легенды, созданной немецкими поэтами-романтиками — дева-сирена реки Рейна, сидящая на скале Лурлей и заманивающая своим пением корабельщиков к опасным рифам.

Из десяти снопов — четыре отдают китайцам... — Путь Гарина от Пектусана до среднего течения Амнокгана проходил по пограничной территории, принадлежавшей Китаю. Этот район имел значительное корейское население, переселившееся со своей родины в связи с захватом крестьянских земель корейскими помещиками. На китайской территории корейские переселенцы подвергались жестокой эксплуатации со стороны китайских помещиков.

Кюба— владелец одного из дорогих петербургских ресторанов.

...а худший только представил корейскому правительству. — Торговля женьшенем, составлявшая важнейшую статью корейского экспорта, была монополизирована корейским правительством, и корейское население было обязано сдавать собиравшийся им женьшень в казну.

Язон(в современной транскрипции Ясен) — предводитель аргонавтов, совершивших на судне «Арго» поход в Колхиду за золотым руном (*грея. миф.*). *Одиссей*— герой греческого эпоса, царь острова Итака, свершавший богатые приключениями путешествия.

Меркурий— бог торговли, покровитель путешественников, изображался с кошельком и жезлом в руках, с крылышками на сандалиях и шляпе (*римск. миф.*).

...в последнюю войну... — Имеется в виду японо-китайская война 1894–1895 годов.

Это любимая раба... — В корейском королевстве до 1910 года существовало рабство. Рабы состояли из лиц свободного состояния, осужденных в рабство по суду, из членов семей осужденных и детей, проданных в рабство их родителями. Рабское состояние являлось наследственным.

...берлиозовского «Гибель Фауста» и «Фауста» Гуно. — Имеются в виду оперы Г. Берлиоза (1803–1869) «Осуждение Фауста» (1846) и Ш. Гуно (1818–1893) «Фауст» (1858).

...во всей пятитысячелетней китайской культуре. — Начало истории Китая принято считать с XII века до н. э., — таким образом, ее общий срок существования составляет около четырех тысячелетий.

Несчастливая калека на своих копытах вместо ног. — Существовавший в Китае обычай уродования ног женщинам, распространенный среди всех слоев населения, состоял в искусственном задержании роста женской стопы и изменении ее формы при помощи специальных колодок, которые надевались на ноги в детском возрасте.

Конфуций(Кун-цзы — 551–479 гг. до н. э.) — древнекитайский философ, основатель этического учения, проповедовавшего культ предков, неукоснительное соблюдение неизменяемых определенных семейных и общественных отношений.

...порт, как Шестаков. — Портом Шестакова во времена Гарина на русских картах Кореи именовался пролив между островом Маяндо и мысом Симпхе на восточном побережье Северной Кореи.

...Болгарию после войны... — Имеется в виду русско-турецкая война 1877–1878 годов, во время которой Болгария была освобождена из-под турецкого ига.

Здесь, в колониях, Франция спела свою песенку, как все латинские народы... — Имеется в виду утрата колоний Испанией и Португалией, являвшихся до XIX века крупнейшими колониальными государствами, во владении которых находились почти вся Южная Америка, южная часть Северной Америки, территории в Азии и Африке. Значительная часть испанских и португальских колоний была отторгнута более сильными империалистическими противниками в результате империалистических войн за передел колоний. Часть своих колоний эти страны потеряли в результате войны за независимость южноамериканских народов, образовавших в начале XIX века самостоятельные государства Латинской Америки. С конца XVII века главными соперниками в борьбе за колониальную гегемонию стали Англия, выдвинувшаяся на первое место среди колониальных держав, и Франция. В борьбе за колонии Англия одерживала победы над Францией, расширяя свои приморские владения не только за счет Испании, Португалии и Нидерландов, но также и за счет бывших колоний Франции.

...железная дорога — уже начинающий осуществляться факт... — На Ляодунском полуострове, во время посещения его Гариним, Россией велось строительство южной линии Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД), открывшей выход из Сибири на юг Ляодунского побережья с его незамерзающими бухтами.

...Шанхай... не принадлежит никакому государству. — Китайский город Шанхай в 1842 году по навязанному Китаю Нанкинскому договору был объявлен «открытым портом», в котором иностранцы получали право неограниченной торговли и свободы поселения. В 1843 году Китаю было навязано дополнительное соглашение, предоставлявшее иностранцам в Шанхае право личной неприкосновенности и право учреждения особых кварталов — сеттльментов. В результате большая часть города была захвачена и поделена англичанами, французами, американцами, японцами,

создавшими свои селтльменты и концессии с собственной полицией и войсками. Китайское население, вытесненное за пределы иностранных владений, заселяло рабочие окраины и ютилось в так называемом китайском торговом городе, расположенном по соседству с французской концессией.

...склады опиума, все это принадлежит самому культурному народу в мире... — Ввоз Англией и распространение в Китае опиума вызывал решительное противодействие китайского народа. В 1839 году китайским правительством были уничтожены крупные английские запасы ввезенного в страну опиума, что повлекло за собой нападение Англии, известное под названием опиумной войны. Война закончилась поражением Китая, которому был навязан Нанкинский договор 1842 года, открывавший для Англии свободу торговли в открытых портах Китая.

...дело Дрейфуса. — Процесс, организованный с провокационной целью в 1894 году во Франции реакционными военными и антисемитскими кругами против офицера генерального штаба Альфреда Дрейфуса. Обвиненный на основании подложных документов в шпионаже в пользу Германии, Дрейфус был приговорен к пожизненной ссылке на Чертов остров. Под давлением демократических кругов, в 1898 году дело было пересмотрено, но Дрейфус был снова осужден. Оправдан он был в 1906 году, когда были вскрыты подлоги в первом процессе. В защиту Дрейфуса выступил Э. Золя. В открытом письме, обращенном к президенту, он называл истинного виновника — майора Эстергази, обвинял следствие в необъективности и требовал пласного суда.

...инцидент с Фашодой... — Резкое ухудшение англо-французских отношений в конце XIX века, достигшее своего кульминационного пункта осенью 1898 года в связи с занятием французским отрядом города Фашоды (Восточный Судан), было связано с активизацией колониальной экспансии Англии и Франции в Африке, торопившихся захватить еще «свободные» или спорные территории на этом континенте. Фашодский конфликт закончился в 1899 году капитуляцией Франции.

...столкнули в море десять тысяч европейцев и своих крещеных японцев... — Упомянутое Гариным легендарное событие в Нагасакской бухте является одним из многочисленных и характерных

проявлений антихристианского, по существу антииностранный движения в странах Восточной Азии. Оно являлось своеобразной формой борьбы восточноазиатских народов с экономическим и политическим закабалением азиатских стран иностранным капиталом, огромную роль в котором играла католические миссионерские организации.

Пьер Лоти! Хризантема! — Лота Пьер (1850–1923) — французский романист, член французской академии, автор романов, действие которых происходит на экзотическом фоне. В романе «Госпожа Хризантема» (1887) Лоти идиллически изображает жизнь феодальной Японии.

...в ничтожный промежуток тридцати лет... — В Японии в 1867–1868 годах совершилась буржуазная революция («революция Мэйдзи»), положившая начало быстрому капиталистическому развитию страны и выдвиганию Японии в число крупных империалистических государств.

И почувствовал это наш Гончаров... — И. А. Гончаров, посетивший Японию задолго до буржуазного переворота, писал в своих путевых очерках «Фрегат „Паллада“» о новых настроениях, о стремлении передовых людей Японии преобразовать жизнь — предпосылках последующего бурного капиталистического развития страны.

...их судьба будет не лучше Египта. — В 1850–1860 годах в связи со строительством Суэцкого канала и созданием плантационного хлопководства, Египет был вынужден заключить ряд кабальных внешних займов. Этим воспользовались иностранные державы, и прежде всего Англия, в политических целях, захватив египетские акции на Суэцкий канал и установив финансовый контроль над Египтом. В 1878 году Англия и Франция ввели в состав египетского правительства своих представителей в качестве министров.

Нерон Клавдий Цезарь — римский император (54–68), отличавшийся крайней жестокостью и лицемерием.

Борьба была слишком неравная... — Соединенные Штаты начали войну с Испанией, владевшей Филиппинами, в апреле 1898 года. Вскоре же после объявления войны эскадра США разгромила в Манильском заливе испанский дальневосточный флот, а прибывшие из Соединенных Штатов сухопутные войска (10 тысяч человек) уже в

августе заняли главный город Филиппин — Манилу. В декабре 1898 года был подписан договор, по которому Испания уступила Филиппины Соединенным Штатам.

...в семнадцатом столетии— то есть во времена инквизиции.

*Киплинг*Редьярд Джозеф (1865–1936) — английский писатель, апологет британского империализма.

Три года назад эти острова были Гавайской республикой, и царили здесь испанцы.— Гавайская республика была провозглашена в 1893 году после свержения династии гавайских королей, утвердившихся на Гавайях в конце XVIII века. Переворот был совершен американскими плантаторами, захватившими ведущие посты в новом правительстве. Поэтому уже в 1898 году республиканское правительство Гавайев подписало соглашение с США о присоединении островов к Соединенным Штатам.

*Гарленд*Хамлин (1860–1940) — американский писатель, выходец из фермерской среды, в своих произведениях конца XIX века реалистически изображал жизнь американских фермеров. К концу жизни Гарленд перешел на реакционные позиции.

Гениально описанную смерть нашего хозяина и его работника? — См. прим. к стр. 691, т. 4 наст. издания.

...«Quo vadis?» (лат. — Куда идешь?) — Роман польского писателя Г. Сенкевича (1846–1916), написанный в 1894–1896 годах, рассказывает о борьбе языческого Рима с христианством. В русском переводе роман известен также под названием «Камо грядеши?» (*церк. — слав.*)

Мормоны— североамериканская секта, учение которой представляет смесь многобожия и христианства.

...из Сен-Жерменского отеля... — Сен-Жермен — аристократический квартал Парижа.

...услышим об объявленной французам войне. — Очевидно, речь идет об обострении англо-французских отношений в связи с колониальной борьбой в Африке.

*Жорес*Жан (1859–1914) — деятель международного социалистического движения. *Гед*Жюль (1845–1922) — французский социалист.

Детская тематика занимает большое место у Гарина на протяжении всего его творческого пути. Обращение к ней было обусловлено страстной любовью писателя к детям, большой тревогой за судьбу молодого поколения, с которым у него связывались мысли о светлом будущем России. Почти вся небольшая мемуарная литература о Гарине подчеркивает эту его характерную особенность. А. И. Куприн рассказывает: «Несмотря на то, что у него было одиннадцать своих ребятишек, он с настоящей, истинно отеческой лаской и вниманием относился и к трем своим приемным детям» (А. И. Куприн, Памяти Н. Г. Михайловского (Гарина). Собр. соч. в шести томах, т. 6, Гослитиздат, М. 1958, стр. 601).

Говоря о любви Гарина к детям, о создании им детских сказок, Б. К. Терлецкий — приемный сын писателя — рассказывает в своих воспоминаниях: «Дети для него были источником непроходящей радости. С детьми он отдыхал, с детьми он по-детски смеялся и трепетал сам их маленькими, такими смешными, такими наивными радостями. А мы, дети, жадно ловили его свободные минуты, окружали, тянули каждый в свою сторону и просили все новых и новых сказок, какие творились им здесь же на месте, творились с неподражаемым мастерством. А затем уже наступала и наша очередь, — Николай Георгиевич настойчиво требовал сказок от нас, и наши неопытные наивные попытки заставляли его смеяться заразительно и поощрительно. Никакой принужденности не было между им и нами. Это был товарищ, это был друг, это был тот, кто умел понять нашу детскую тревогу и наш детский интерес» (Б. К. Терлецкий, Несколько воспоминаний о Н. Г. Гарине-Михайловском. ИРЛИ). Представляют интерес записи Куприна о самом процессе создания Гариным детских сказок; вспоминая о своих встречах с ним в Ялте в 1903 году, где в то время находился писатель в связи с изыскательскими работами для постройки южнобережной электрической железной дороги, Куприн пишет: «По вечерам мы долго, большим обществом, сидели у него на балконе, не зажигая огня, в темных сумерках, когда кричали цикады, благоухала белая акация и блестели при луне листья магнолий. И вот тут-то иногда Н. Г. импровизировал свои прелестные детские сказки. Он говорил их тихим голосом, медленно, с оттенком недоумения, как рассказывают обыкновенно сказки детям. И мне не забыть никогда этих

очаровательных минут, когда я присутствовал при том, как рождается мысль и как облекается она в нежные, изящные формы» (А. И. Куприн, Собр. соч. в шести томах, т. 6, стр. 601).

До нас дошло лишь несколько из этих сказок. В настоящем издании печатаются сказки «Книжка счастья», «Курочка Куд» и «Попугай», являющиеся наиболее характерными образцами этого жанра у Гарина.

В детском журнале «Юная Россия» в 1908 году (февраль) был опубликован ряд сказок Гарина; первая из них — «Счастье» сопровождалась следующим примечанием редакции: «С. Н. Михайловский любезно предоставил в распоряжение нашей редакции несколько сказок, еще не бывших в печати, покойного Н. Гарина. Все эти сказки будут напечатаны в журнале „Юная Россия“ в течение текущего 1908 г.». Очевидно, редакции не были известны более ранние публикации некоторых сказок.

Текст сказки «Курочка Куд» содержит разночтения с газетным текстом, характер которых говорит о принадлежности их автору, — возможно, Гарин правил сказки для будущих публикаций.

В настоящем томе сказки печатаются по тексту журнала «Юная Россия».

Книжка счастья *

Впервые — в газете «Русская жизнь», 1894, № 103, 17 апреля, с посвящением: «Моей племяннице Ниночке» и обращением: «Милая Ниночка. Когда я был маленький, я любил читать сказки Вагнера. Это хорошие сказки».

При публикации в «Юной России» (1908, декабрь) снято обращение.

Курочка Куд *

Впервые — в «Самарской газете», 1896, № 275, 25 декабря, с посвящением: «Посвящается маленькой Веруше».

Текст «Юной России» (1908, июль) по сравнению с газетным стилистически исправлен и сокращен. Так, например, после фразы: «Его жена удовлетворенно кивнула своей длинной головой» (стр. 575) — в газете шел текст: «Это было как раз то, что должен был сказать тот, кого она выбрала себе в мужа».

После фразы: «Однажды эта утка прилетела на озеро сразу с тремя женихами» (стр. 578) — в газете было:

«— Немножко много для одной, — сказала цапля.

— У каждого свой обычай, — заметил ей муж, — поживем, увидим».

В журнальной публикации снято посвящение; в собр. соч. изд. Маркса оно заменено подзаголовком: «Сказка для детей старшего возраста».

Попугай *

Известна публикация в журнале «Юная Россия» (1908, апрель).

Орхидея *

Впервые — в журнале «Cosmopolis», 1898, № 1.

По устному свидетельству дочери писателя, Н. Н. Михайловской-Субботиной, пьеса написана на автобиографической основе.

Работа над «Орхидеей» относится, как можно судить по письмам Гарина и по отзывам современной ему критики, к 1896–1898 годам.

По свидетельству А. Санина (см. его статью в «Самарском вестнике», 1898, № 1, 1 февраля, за подписью Сашин), Гарин прочитал свою драму в редакции «Самарского вестника». Пьеса обсуждалась, вызвав ряд критических замечаний; часть из них легла затем в основу статьи Санина.

Гарин сначала предполагал напечатать пьесу в «Русском богатстве», но встретил противодействие редакции, которая забраковала ее. По этому поводу он писал Н. К. Михайловскому: «Вы пишете — драма слабая. Больше ста человек ее слушали, делали много замечаний, но прибавляли обязательно: очень сильная» (письмо от 7 февраля 1897 года. ИРЛИ).

Как видно из газетных заметок и статей, пьеса была принята дирекцией театра Литературно-артистического кружка, и 7 декабря 1897 года состоялась премьера; 9 декабря 1897 года «Орхидея» одновременно шла на сцене петербургского, нижегородского, самарского и одесского театров (см. статью Санина в «Самарском вестнике», 1898, № 1, 1 февраля).

Поставленная в Петербурге, пьеса, однако, не получила признания, так как большинство, не поняв ее социальной

направленности, увидело в ней лишь описание интимной стороны жизни ее автора; это вызвало насмешки и пародии. В этом отношении характерна пародия, появившаяся вскоре после постановки пьесы на сцене (под названием: «Орхидея. Самая новейшая драма в реалистическом вкусе, с опытами гипнотизма и балаганом», за подписью: «Откровенный писатель») и принадлежащая перу К. М. Станюковича. Станюкович писал о Гарине, как о «талантивом беллетристе», написавшем «нелепую драму», которую артисты петербургского театра «оболванили окончательно» («Сын отечества», 1897, № 340, 14 декабря).

Учитывая отзывы критики, Гарин после первой постановки драмы продолжал работу над ней. В начале 1898 года в переработанном виде пьеса была выпущена литографией Московской театральной библиотеки Рассохина (цензурное разрешение от 14 января 1898 года).

Но и этой редакцией писатель не был удовлетворен.

8 своих письмах к Ф. Д. Батюшкову (очевидно, связанному в то время с театром) Гарин вносит в уже отосланный ему для постановки текст пьесы все новые и новые поправки.

Так, вставлен монолог Босницкого во втором явлении четвертого действия, начиная со слов: «Негодяи, конечно, не все» (стр. 633), и кончая словами Беклемишева: «Вам все равно?»; (см. письмо Гарина Батюшкову от 31 декабря 1897 г. ИРЛИ). В архивных документах этой прилагаемой к письму вставки не обнаружено, но она легко выявляется из печатного текста драмы.

Включен также текст от слов Босницкого: «Послушайте! Нельзя так афишировать» (стр. 632), и кончая словами: «тем смешнее будет ваше положение» (стр. 633).

Несколько позднее, в январе 1898 года (письмо хранится в ИРЛИ), Гарин писал Батюшкову: «Воображаю Ваш ужас: вы распечатываете письмо, и опять Гарин, опять „Орхидея“! Мне страшно совестно, но на этот раз действительно последний раз, потому что сейчас исчезаю в лесах Вологодских и Костромских и появлюсь на свет божий, когда с „Орхидеей“ будет уж все кончено. Вот каких две вставки я хотел бы еще сделать. Первая. В первом действии, в исповеди Рославлевой, в том месте, где она говорит, что уже презирала мужа, когда шла за

него». Далее следует текст от слов: «Беклемишев. Зачем же шла?», кончая словами: «Этой свободы я и добивалась...» (стр. 608).

Работая над пьесой, писатель стремился подчеркнуть пробуждение в героине сознания безвыходности ее положения в обществе, основанном на власти денег, сознания несправедливости существующих условий жизни, обрекающих женщину на домашнее рабство. В этом отношении характерна вставка, присланная Гариным в том же письме к третьему действию «Орхидеи», — от слов: «Рославлева... Итак, переговоры», кончая словами: «А Бори все нет» (стр. 625).

В 1898 году драма «Орхидея», заново переработанная автором, была опубликована в первом номере журнала «Cos-mopolis».

В этой редакции изменен состав действующих лиц (в литографии, наряду с действующими лицами окончательного текста, фигурировали два актера и антрепренер), изменено деление на явления и их число.

Снята сцена в 3-м явлении третьего действия; в окончательном тексте это явление кончается словами Рославлевой: «Хорошо, только на минутку» (стр. 627); в литографии после этих слов шла сцена — посещение Рославлевой Алферьевым и Бос-ницким, Рославлева начинает новую деятельность, стремится избавиться от своих поклонников. Внесены изменения и в четвертое действие; в литографии оно начиналось со сцены с актерами, которые говорили об упадке драматургии и актерского ремесла, о невозможности предвидеть успех или провал любой пьесы. Журнальный текст содержит также целый ряд вставок; так, например, в 20-м явлении первого действия вставлен текст, от слов: «Босницкий (*лениво повернул голову, прищурившись, смотрит на Рославлеву*). Я боюсь...», и кончающийся фразой: «О состоянии женского пола в разных правлениях» (стр. 603). В сцене объяснения Беклемишева с Рославлевой (действие 3-е, явление 7) дополнена реплика Беклемишева, от слов: «Пойми, если я не в духе», кончая: «как и в первый день встречи». (стр. 630), и т. д.

В связи с опубликованием пьесы в журнале в печати появился ряд критических отзывов. Критики буржуазно-либерального и реакционного лагеря стремились истолковать драму как чисто психологическую пьесу, игнорируя ее обличительную

направленность. Так, критик «Нового времени» В. П. Буренин, справедливо поставив в заслугу Гарину жизненность образа его героини и считая, что образ Рославлевой является его творческой удачей, основную идею пьесы сводил к тому, что женщины «ищут счастье в забвении и тревогах страсти и чувства, а искать-то его следует в исполнении жизненного долга» («Новое время», 1898, № 7883, 6 февраля).

Критик А. Санин в статье «Легкомысленная литература („Орхидея“, драма в 4 действиях и 5 картинах Н. Гарина)» за подписью Сашин («Самарский вестник», 1898, № 1, 1 февраля) обнаруживает непонимание идейной направленности пьесы. Все содержание драмы он сводит к «нравственной проблеме супружеского долга» и роли его в «союзе брачном и во внебрачном сожителстве».

Пересказав в пошловатом и издевательском тоне содержание драмы и отметив ряд «великолепных картин», Санин заключает, что в общем драма «оставляет впечатление чего-то плупого, пошлого и в высшей степени мизерного».

Непризнание пьесы во многом обуславливалось и тем, что с точки зрения привычных шаблонов она была не сценична, — в «Орхидее» нет необыкновенных ситуаций, эффектного сценического действия, — в драматургических опытах, как и в остальных произведениях, Гарин стремился к отображению подлинной правды, естественного течения жизни.

Являясь как бы «драмой настроения», пьеса во многом напоминает драматизированную повесть, написанную с большой психологической проникновенностью, несомненно под влиянием чеховской драматургии, — эта ее необычность с точки зрения драматургических канонов в известной мере и вызывала отрицательные отзывы критики, отмечавшей, однако, «прекрасно написанные диалоги», исполненные подлинного драматизма.

Характерен в этом смысле приведенный ранее отзыв Буренина, причислявшего драму к числу «литературных» пьес и считавшего, что «именно ее литературность и помешала ее успеху на сцене», хотя «... „Орхидея“, — писал он, — и по замыслу и по выполнению несомненно значительно жизненнее и удачнее многих самых сценичных пьес, имевших самые „шумные“ и „блестящие“ успехи...» Показательно, что в своем отзыве о драме Буренин замалчивал ее

обличительную направленность и видел «узел и смысл драмы» в «роковом вопросе о невозможности возрождения и счастья, основанных на гибели и несчастье других».

В настоящем томе пьеса печатается по тексту журнальной публикации.

...я, как Игорь, привязан теперь к двум березам...— Имеется в виду Игорь, великий князь Киевский (ум. 945). По преданию, когда Игорь попал в плен к древлянам, они привязали его к двум пригнутым березам; когда деревья распрямились, Игорь был разорван надвое.

Подростки *

Впервые — в журнале «Вестник жизни», 1907, № 1.

Написана пьеса вскоре по возвращении Гарина из Маньчжурии в Петербург, незадолго до его смерти.

Приехав в Россию, писатель был поражен происшедшими за время его отсутствия переменами в общественных настроениях в результате революционных событий. Особенно поразила его перемена в настроениях молодежи и прежде всего в настроениях собственных детей. Вот что рассказывает об этом его приемный сын Б. К. Терлецкий:

«Когда... Николай Георгиевич вернулся в 1906 году из Маньчжурии в Петербург, он, как сам признавался, не узнал нас, бывших теперь в возрасте 13–20 лет. Все мы — его сыновья, я и наши многочисленные товарищи считали себя социалистами и, как вся Россия в то время, спорили по различным программным вопросам.

Николай Георгиевич был поражен этой новой для него молодежью, он был поражен той искренностью, с какой молодежь относилась к вопросам революции. Он жадно присматривался к ней и сейчас же, уже за несколько дней до смерти, зафиксировал свои новые наблюдения в драматическом этюде „Подростки“, списанном с действительности» (Б. К. Терлецкий, Несколько воспоминаний о Н. Г. Гарине-Михайловском. ИРЛИ).

Еще находясь в Маньчжурии, Гарин сообщал одному из своих сыновей (письмо от 20 января 1906 года): «Получил письмо от Л. М., где он описывает вас всех: Сережа — С. Д. (социал-демократ. — И. Ю.), Горя — С. Р. (эсер. — Я. Ю.), Тема — А. (анархист. — И.

Ю.). Ступеньки жизни» (ИРЛИ). Узнав, что сыновья принимают участие в подпольной работе, Гарин писал Н. В. Михайловской 24 декабря 1905 года: «Сережу и Гарю... благословляю на благородную работу, о которой, если живы останутся, всегда будут радостно вспоминать. И какие это чудные будут воспоминания на заре их юности: свежие, сильные, сочные» (ИРЛИ). В письме к жене от 7 июня 1906 года он просил ее «изо дня в день вести дневник», об их детях. «В этих маленьких блестках капель воды, — писал он, — незаметно отразилась бы и сверкнула и вся река современной русской жизни» (ИРЛИ).

Пьеса отражает ту полосу русской жизни, когда революция уже шла на убыль и начинался террор царизма, надвигалась столыпинская реакция.

С большим сочувствием писатель указывает на новые настроения молодежи, показывает, с какой страстностью относилась молодежь к вопросам революции, с каким жаром спорила по программным вопросам.

В рукописном отделе ИРЛИ хранится черновой автограф незаконченного рассказа Гарина «Казнь», тематически связанного с «Подростками», а возможно и являющегося их продолжением. В рассказе изображается последний день перед казнью осужденного двадцатипятилетнего юноши — политического заключенного.

Двадцать седьмого ноября 1906 года пьеса была прочитана на редакционном собрании журнала «Вестник жизни», на котором присутствовал А. В. Луначарский.

В то время Гарина, по свидетельству П. А. Румянцева, занимал вопрос о новом театре, в котором бы «писатели и актеры, в совместной работе, отразили весь изгиб современной бурной жизни» (П. Румянцев, Памяти Н. Г. Михайловского-Гарина, Юбилейный сборник инженеров путей сообщения выпуска 1878 года, Спб. 1913, стр. 127).

«При его непосредственном и деятельном участии» проектировалось также создать новый журнал, в котором бы «литературно-художественный отдел органически был слит с общественно-политическим» (там же, стр. 127).

На редакционном совещании «Вестника жизни» и обсуждался вопрос организации такого журнала. На этом же совещании должно

было состояться чтение «Подростков». Гарин запоздал и приехал в редакцию уже после чтения пьесы, когда шли споры о роли интеллигенции в революции. Гарин, как рассказывает П. А. Румянцев, «застал горячую речь Луначарского, который развивал идею, что художник — социал-демократ не только должен бичевать буржуазный мир, не только изображать пролетариев-борцов, но и давать картины будущего, во имя которого он отрицает буржуазную культуру. Возможность рисовать идеальное будущее вызвала скептические замечания беллетристов. К ним присоединился и Гарин».

«Наши писатели — художники-интеллигенты, — сказал Гарин. — Они составляют в современном литературном движении такой же генеральный штаб, какой составляют и интеллигенты, стоящие во главе борющейся пролетарской армии. Интеллигенты, по природе своей, не могут так проникнуться идеями пролетарской борьбы, как проникаются ими сами пролетарии. Но близко уже время, когда сами пролетарии будут руководить пролетарской борьбой. И тогда писателю-пролетарию будет больше по плечу художественно изображать социалистические идеалы, чем современным беллетристам — интеллигентам» (там же, стр. 128). Это были его последние слова, относящиеся к литературе. Через полчаса Гарина не стало.

В настоящем томе пьеса печатается по тексту журнала.

Кропоткин П. А. (1842–1921) — анархист.

Грае Жан (1845–1919) — французский мелкобуржуазный социалист, один из теоретиков анархизма.

Малатеста Эррико (1854–1932) — один из лидеров итальянского анархизма.

Черкезов В. Н. (1846–1925) — анархист. *Вольский* А, — псевдоним польского анархиста В. К. Махайского (1867–1927).

Штирнер Макс (1806–1856) — немецкий философ-идеалист, теоретик анархизма.

Ницше Фридрих (1844–1900) — реакционный немецкий философ, проповедовал аморализм и культ «сильной личности».

Макай Джон-Генрих (род. 1864) — немецкий поэт, последователь анархизма.

Куропаткин А. Н. (1848–1925) — генерал; во время русско-японской войны — главнокомандующий русской армией в Маньчжурии.

...его и Энгельса манифест... — Имеется в виду «Манифест коммунистической партии» (1848).

Оффенбах Жак (1819–1880) — французский композитор, крупнейший мастер французской классической оперетты.

Памяти Чехова*

Впервые — в газете «Вестник Маньчжурской армии», 1904, № 22, 22 июля.

С А. П. Чеховым Гарин познакомился в 1903 году в Крыму, где весной этого года производил изыскания трассы южнобережной электрической железной дороги. В письме к Иванчину-Писареву от 5 октября 1903 года, из Крыма, он писал: «Познакомился и полюбил Чехова. Плох он. И догорает как самый чудный день осени. Нежные тонкие едва уловимые тона... А завтра... Он знает свое завтра и рад и удовлетворен, что кончил свою драму „Сад вишневый“» (ИРЛИ).

По свидетельству Ф. Ф. Вентцель, Гарин говорил о Чехове: «Это — сама простота, кротость и добродушие» (Ф. Ф. Вентцель, Из моих воспоминаний, «Звезда», 1943, №№ 5–6, стр.205).

В Государственном литературном музее (Москва) хранится подаренная Гариным Чехову книга («Детство Темы (Из семейной хроники)» и «Несколько лет в деревне», изд. 1899 года) с автографом: «Проникновеннейшему из писателей Антону Павловичу Чехову от горячо любящего Гарина. 3 октября 1903 года». Там же находится и отдельное издание «Детства Темы» (1903) с надписью: «Дорогому как Чехов вообще и лично для меня на добрую память Антону Павловичу Чехову от автора. 20 ноября 1903. Ялта».

Современники Гарина рассказывают о том, с какой чуткостью и нежностью относился он к Чехову. Ф. Ф. Вентцель вспоминает, что, когда однажды она и Гарин пришли к Чехову и застали его очень расстроенным назойливыми расспросами о его здоровье одной поэтессы, Гарин взялся уладить этот инцидент, обещал устроить так, чтобы больного Чехова больше не тревожили, а выйдя от него — он с грустью сказал:

«Вижу, скоро, скоро уйдет от нас Чехов...» (там же, стр. 206). Гарин говорил о необходимости «вдумчиво и бережно» подходить к таким «высоко одаренным и талантливым людям», как Чехов, и сам относился к нему с трогательной заботой и вниманием. В телеграмме к нему, из Москвы он писал:

«Ольга Леонардовна сообщила, что вы приедете. Необходимо предупредить кондуктора, чтобы топили. Только необходимо в Москве ехать карете, так как снега нет, со вчерашнего дня морозы. Сердечный, самый сердечный привет. Гарин» (Отдел рукописей Гос. библиотеки им. В. И. Ленина).

Чехов также тепло и дружески относился к Гарину. Обратив на него внимание сразу же после появления в печати одного из первых его произведений — очерков «Несколько лет в деревне» (см. отзыв А. П. Чехова в тт. 1 и 3 наст. изд.), он высоко ценил литературный талант писателя. К. Л. Книппер сообщал Чехову (письмо от 6 февраля 1904 года): «Николай Георгиевич уехал до 14-15-го в Ялту; говорит, что Вы и Горький смутили его тем, что цените в нем талантливого писателя: на него напала теперь в этом отношении ярость, и он печет произведения, как блины...» (Отдел рукописей Гос. библиотеки им. В. И. Ленина).

После смерти Чехова Гарин писал Б. К. Терлецкому: «Умер самый чуткий и отзывчивый и, вероятно, самый страдающий человек в России; вероятно, мы даже не можем понять сейчас всю величину и значение потери, какую принесла эта смерть» (Б. К. Терлецкий, Несколько воспоминаний о Н. Г. Гарине-Михайловском. ИРЛИ).

В настоящем томе статья «Памяти Чехова» печатается по тексту газетной публикации.

В прошлом году я производил изыскания в Крыму... — Речь идет об изыскании южнобережной электрической железной дороги.

В прошлом году шел его «Вишневый сад», и мы праздновали 25-летний юбилей А.Я. — Речь идет о первом представлении «Вишневого сада» в Московском Художественном театре, состоявшемся 17 января 1904 года, на котором было отмечено 25-летие литературной деятельности Чехова.

Стр. 658. *...впервые выступил... в 78-м году... под псевдонимом «Человек без селезенки».* — Первое из дошедших до нас

опубликованных произведений Чехова — «Письмо к ученому соседу», журнал «Стрекоза», 1880, № 10, за подписью «...в».

...текущие события... — Здесь Гарин имеет в виду войну с Японией, начавшуюся зимой 1904 года.

Все его сочинения купил, как известно, Маркс, за 75 тысяч рублей. — Речь идет о заключении Чеховым договора с издателем «Нивы» А. Ф. Марксом. По этому договору все сочинения Чехова поступали в вечное владение издателя, — «не только прежние, но и все будущие, сейчас же после их напечатания в журнале, и Чехов не имел права передавать никому и никогда перепечатку своих произведений даже для благотворительных изданий» (Н. Телешов, Записки писателя. Воспоминания и рассказы о прошлом. Избр. произв. в трех томах, т. 3, Гослитиздат, М. 1956, стр. 84).

Накануне 25-летнего юбилея А. П. Чехова группа видных писателей во главе с Горьким попыталась расторгнуть этот кабальный договор. Горьким и Л. Андреевым было составлено письмо, под которым предполагалось собрать подписи писательской и артистической Москвы, и Петербурга. Письмо это были уполномочены передать Марксу Гарин и Ашешов. Однако Чехов, узнав об этом, просил не обращаться к издателю, и письмо так и осталось неотправленным.

А. П., провозжая меня... — Речь идет об отъезде Гарина в марте 1904 года на Дальний Восток.

...а я приеду. — Чехов также собирался поехать в действующую армию. «Если буду здоров, — писал он 13 апреля 1904 года А. В. Амфитеатрову, — то в июле или августе поеду на Дальний Восток не корреспондентом, а врачом. Мне кажется, врач увидит больше, чем корреспондент» (А. П. Чехов, Поли. собр. соч. и писем, т. 20, Гослитиздат, М. 1951, стр. 268).

На выставке *

Статья написана по впечатлениям Гарина во время посещения им Всероссийской торгово-промышленной и художественной выставки, открывшейся в мае 1896 года в Нижнем-Новгороде.

Сохранилась датированная 1896 годом корректура статьи (ИРЛИ), по тексту которой она и печатается. В собрания сочинений не включалась.

Впервые — в книге «В защиту слова», сб. I, изд. 2-е, Спб, 1905, где были напечатаны также: «О свободе печати» В. Г. Короленко, «О том, как газета сама себя высекла» Е. Чирикова, «Оригинальный цензор» А. Иванчина-Писарева и др.

В собрания сочинений не включалась.

Записки Волькенштейн... — Вероятно, имеются в виду «13 лет в Шлиссельбургской крепости» — записки революционерки-народоволки Л. А. Волькенштейн (1857–1906).

К современным событиям *

Впервые — в газете «Новый край» (Харбин), 1906, № 11, 14 января.

Статья написана в период пребывания Гарина на Дальнем Востоке, куда он приехал в мае 1904 года, в самом начале русско-японской войны. Желая быть свидетелем и участником событий, он получил назначение в действующую армию в качестве инженера; одновременно Гарин являлся военным корреспондентом московской газеты «Новости дня».

Здесь, на Дальнем Востоке, и оказался Гарин во время революции.

Находясь вдали от центра важнейших исторических событий, Гарин не стоял в стороне от них. В отличие от многих своих современников — буржуазных интеллигентов — он приветствовал начавшуюся в России революцию. Не являясь членом партии и не принимая непосредственного участия в революционных событиях, Гарин тем не менее тесно соприкасался с рабочим движением и оказывал большевикам в период подготовки вооруженного восстания реальную помощь. Находясь в Маньчжурии, он содействовал распространению среди солдат агитационной социал-демократической литературы, оказывал большевистской партии денежную поддержку (см. стр. 50 в томе 1 наст. издания; см. также воспоминания П. А. Заломова — героя повести М. Горького «Мать» — «Встречи, запомнившиеся на всю жизнь» — «Казахстанская правда», 1938, 20 июня).

Гарин стремился к тому, чтобы и дети его принимали участие в революционном движении. В письме к жене от 24 декабря 1905 года

он писал о сыне Сергее: «Пусть пойдет к Горькому от моего имени и спросит его, что ему делать в с.-д. партии» (ИРЛИ).

Когда революция потерпела поражение, Гарин не поддавался настроениям уныния и разочарования, он продолжал горячо верить в ее конечное торжество. Террор царизма вызывает его гневный протест, но вместе с тем он пытается предотвратить дальнейшее кровопролитие и возлагает в этом отношении некоторые надежды на правительство, которое, как он думает, еще можно уговорить отказаться от губительной для России политики лжи и насилия.

Гарин под влиянием ходячей тогда теории западноевропейских социал-демократов, неверно утверждавших, что условия для социалистической революции в Европе можно считать созревшими лишь тогда, когда пролетариат станет большинством нации, общества, — полагал, что революция не может победить в какой-то одной стране: «или весь мир капиталистический, или весь мир социалистический». Поэтому, с его точки зрения, совершенно бесполезно проливать кровь, так как после победы революции на другой же день снова к власти придет буржуазия, и «пока извилистая эволюция капитала не совершилась», это неизбежно.

Можно говорить о некоторой двойственности политической позиции писателя: с одной стороны — признание им закономерной неизбежности и необходимости революции, с другой — некоторые надежды на царский манифест 17 октября, на Государственную думу. В статье проявились некоторые колебания Гарина между буржуазией и пролетариатом, между реформизмом и революционностью, особенно явные в конце статьи.

В собрания сочинений статья не включалась.

В настоящем томе печатается по тексту газетной публикации.

Выходные данные

Н. Г. Гарин-Михайловский
Собр. соч., т. 5

Подготовка текста А. И. Кучлиной и И. М. Юдиной
Примечания В. Т. Зайчикова и И. М. Юдиной
Оформление художника Н. Крылова

Редактор М. Гордон
Художественный редактор И. Кнхареев
Технический редактор Л. Сутана
Корректор В. Знаменская

Сдано в набор 16/V-58 г.
Подписано к печати 25/VII-58 г.
Бумага 84 x 108/32 — 22,5 печ. л.
36,9 усл. печ. л. 34,45 уч. — изд. л.
Тираж 140 000. Зак. 1891
Цена 11 р. 50 к.

Гослитиздат
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19
Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова
Московского городского Совнархоза
Москва, Ж-54, Валовая 28

notes

Примечания

1

оставь надежду навсегда... (*итал.*)

«Описание Маньчжурии», издание Министерства финансов.
(прим. автора)

Та самая Усть-Стрелка, к которой пристали аргонавты бывшего фрегата «Паллады» на сделанной ими самими в Японии шкуне «Хеде». Как известно, остов фрегата «Паллады», за ветхостью, был оставлен в Амурском заливе, а экипаж перешел на фрегат «Диану». Вследствие землетрясения, бывшего в Японии, «Диана» потерпела крушение, и ее заменила самодельная «Хеда» («Фрегат „Паллада“», том седьмой, стр. 554, соч. И. А. Гончарова). *(прим. автора)*

4

беспощинный провоз (*итал.*)

5

как сброд... (*франц.*)

Обычай побратимства широко распространен у корейцев и очень чтится. *(прим. автора)*

У китайцев тоже есть нечто подобное: душа дыхания. (*прим. автора*)

Корейцы говорят: эти две горы получают лучи от Пектусана и поэтому они тоже священны. *(прим. автора)*

Китайское название той деревни Шадарен, куда и мы шли. (*прим. автора*)

Предсказатель. *(прим. автора)*

СВЕТ С ВОСТОКА (*лат.*).

ВЫСШЕГО СВЕТА (*англ.*).

Спасайся, кто может! (*франц.*)

14

дорогой учитель (*франц.*)

Напечатано в журнале «Начало». *(прим. автора)*

О, да, понимаю (*франц.*)

«Из глубины» (*лат.*) — начальные слова заупокойного католического гимна.

Обычай побратимства широко распространен у корейцев и очень читится. *(прим. автора)*

Начальник небесного сада. *(прим. автора)*

Ли — приблизительно треть версты. *(прим. автора)*

Искатель счастливых могил. *(прим. автора)*

Пятьсот медных кеш составляют наш рубль. *(прим. автора)*

тем самым (*лат.*).

Мужайтесь! (*франц.*)

Поздравляю! (*франц.*)

От нескольких лиц уже я слышу, например, что в городе ходит слух, что речь подполковника Бутузова написана мною; это ложь.
(прим. автора)